трудные повести

20-е годы


ISBN 5-235-01793-5
9 785235 017931



трудные повести

трудные

Ю. Тынянов

А. Платонов

Б. Пастернак

Л. Добычин

Л. Чуковская

ПОВЕСТИ

30-е годы

Москва
«Молодая гвардия»
1992

ББК 84Р7
Т 78

Предисловие, составление
и комментарии А. И. ВАНЮКОВА

Т $\frac{4702010201-022}{078(02)-92}$ 056—92

ISBN 5-235-01793-5

ТРУДНЫЕ ПОВЕСТИ ТРИДЦАТЫХ ГОДОВ

Звезды смерти стояли над нами...
..Там, где мой народ, к несчастью, был.
А. Ахматова. «Реквием»

Из глубин разорванного духовного пространства, помеченного поэтическим свидетельством А. Ахматовой, отчетливо выступает трагический силуэт 30-х годов. Сейчас мы по-новому, в полном объеме, с учетом современных исторических знаний стремимся представить реальное содержание того сложного, противоречивого периода, называемого эпохой первых пятилеток, построения социализма и — сталинизма, большого террора в нашей стране.

Исторически правдивый образ времени активно помогает воссоздать проза, эпика 30-х годов. Причем в наши дни все более заметны многослойность эпического материала, неоднородность процесса литературного развития от года «великого перелома» до начала Великой Отечественной войны.

Необычайный — емкий, глубокий, эпический контекст образуют теперь и прочитанные заново, давно известные, традиционные вещи («Время, вперед» В. Катаева, «Дорога на океан» Л. Леонова, «Кара-Бугаз» К. Паустовского, «Женьшень» М. Пришвина, «Танкер «Дербент» Ю. Крымова), и незаслуженно забытые, забитые ортодоксальной критикой романы и повести («Сестры» В. Вересаева, «Жалость» В. Герасимовой, «Встреча» И. Катаева, «Впрок» А. Платонова, «Город Эн» Л. Добычина), и возвращенные из архивных глубин, но сохранившие первозданную свежесть документа прозаические произведения («Дневник 1930 года» М. Пришвина, «Котлован», «Ювенильное море», «Джан» А. Платонова, «Софья Петровна» Л. Чуковской).

Свой, непростой маршрут наметили на этом открываемом нами материке трудные повести 30-х годов.

Первой в сборнике идет историческая повесть Ю. Н. Тынянова (1894—1943) «Восковая персона». И это не случайно. Как отмечал в 1330 году Юрий Тынянов: «Интерес к прошлому одновременен с интересом к будущему».

В период «развернутого наступления социализма по всему фронту» особенно обострился интерес к переломным, поворотным этапам в отечественной истории, роли личности, героев и классов, народа в национальном строительстве, методам исторического созидания, цене прогресса. В сознании эпохи обнаруживалось не только понимание того непреложного факта, что «история не ждет, она ставит ультиматум» (П. Сорокин), но и стремление извлечь поучительные уроки из катаклизмов национальной истории, сверить курс движения к «сияющим вершинам» с нравственными заветами, прочными традициями. И закономерно возникала историческая параллель с эпохой Петра.

Исторический спектр прений был достаточно широк. С одной стороны звучало убеждение в том, что эпоха Петра не дала России ничего, «кроме пышного фасада, закрепостила сильнее народ и погрузила его на полтора столетия в бездну невежества и бесправия. То же случилось и с нами: поспешив, мы очутились не в XXII столетии, а в XVIII веке» (Питирим Сорокин). С другой точки зрения, «без насильственной реформы Петра, столь во многом мучительной для народа, Россия не могла бы выполнить своей миссии в мировой истории и не могла бы сказать свое слово... В Петре были черты сходства с большевиками. Он и был большевик на троне» (Николай Бердяев). Знаменательно, что в беседе И. В. Сталина с немецким писателем Эмилем Людвигом 13 декабря 1931 года одним из первых вопросов был такой: «Допускаете ли Вы параллель между собой и Петром Великим? Считаете ли Вы себя продолжателем дела Петра Великого?» И. Сталин ответил: «Ни в коем роде. Исторические параллели всегда рискованны. Данная параллель бессмысленна». И, развивая «классовые параллели», секретарски скромно добавил: «Что касается меня, то я только ученик Ленина, и цель моей жизни — быть достойным учеником... Что касается Ленина и Петра Великого, то последний был каплей в море, а Ленин — целый океан».

Теперь ясно, что «Восковая персона» не была в должной степени понята современниками. Между тем она художественно многомерна, повествовательно богата, исторически глубока. Опирающаяся на конкретные исторические источники, повесть Ю. Тынянова давала неповторимый художественный образ Петровской эпохи, «разгадку поэзией». В этом смысле в «Восковой персоне» мастерски реализовался творческий принцип Ю. Н. Тынянова-писателя: «Где кончается документ, там начинаю я».

Художественная мысль Ю. Тынянова в повести «Восковая персона» была воодушевлена не поиском исторических аналогий или анекдотов, аллюзий, а проникновенным исследованием самой природы русской истории, можно сказать, на генетическом уровне. Писатель стремился уловить органиче-

скую «связь нашего настоящего с нашим прошлым» для того, чтобы помочь современникам разобраться в своей наследственности и тем самым постичь будущее». Ю. Тынянов взялся за решение трудной творческой задачи и прекрасно справился с нею. Новаторски осваивая традиции русской классической литературы, прежде всего А. С. Пушкина, он глубоко проникся проблематикой своего времени и в «рамках» исторической повести эпически воссоздал трудный процесс смены власти, эпох, механизм действия разнообразных векторов развития, прихотливый сплав человеческих интересов и страстей.

Перед проницательным читателем проходят трагическая судьба Петра, умирающего от «злой и внутренней секретной болезни», последние «трудные сны» хозяина, страдающего в неизвестности, «на кого отечество и хозяйство и художества оставлю», роковые последствия предсмертного Петрова приказа: «тли до тла». Ю. Тынянов писал своего Петра, снимая с исторического образа двухсотлетние канонические напластования, постигая его как личность в ее ближнем и дальнем воздействии на русскую историю. И кунсткамера, и восковая персона — это Петрова воля. И страстное желание мастера Растрелли создать еще и «всадника на коне», который «будет стоять сто лет и двести» — выражение созидательного потенциала Петровской эпохи.

Тыняновский сюжет складывается так, что в движении повествования тесно связываются трагедия Петра и народа (каторжный народ, люди испытанные) в «новом, пропастном месте», трагикомические претензии временщиков (полковница Екатерина, «надсевшаяся» на императорском престоле, вознесшийся Меншиков, живущий «без памяти», не бравший людей «в живой счет»; «государево око» Ягужинский, «великий любитель шумствовать»), драматическая история петровской «куншткаморы» в «казенном доме» и ее «главного урода» — шестипалого Якова, проданного братом-солдатом, а также «художества» приезжего мастера Растреллия, знающего одно слово по-русски — «рапота». Слово писателя действует с таким расчетом, чтобы читатель сам понял, что такое русский человек, «русские звери», «русский ад», русская история, наши «домашние дела». Уже на первых страницах в повесть врывается «чухонский поперечень», и вся она продута очистительным ветром российской истории — ветром свободы. Этим духом проникнут и финал повести, утверждающий свободный выбор человеческий, немыслимость жить «в каморе» (камере, «казенном доме») до самой смерти, неистребимый порыв к вольной воле.

Где бы ни проходило действие тыняновской повести — в царском дворце или в «фортине», кабаке, в «куншткаморе» или на крестьянском дворе, в формовальном анбаре или на

городских петербурхских улицах, — постоянно ощутимо биение писательской мысли в народе, который все знал, все понимал, все нес и все выносил в себе. Актуально разворачивалась в «Восковой персоне» метафора воска.

Большой культурный смысл был заложен в самом процессе создания целостной структуры «Восковой персоны» в 30-е годы. Журнальный текст повести автор дополнил в первом книжном издании (1931) «списком старых, а также иностранных слов и выражений в алфавитном порядке», а в 1935 году (сборник «Рассказы») Ю. Тынянов ввел деление на главы и к каждой главе поставил эпиграфы, которые придавали дополнительное освещение повествованию. Все это в единстве способствовало углублению в образ эпохи, правду истории.

В автобиографии 1939 года Ю. Н. Тынянов писал: «Я и теперь думаю, что художественная литература отличается от истории не «выдумкой», а большим, более близким и кровным пониманием людей и событий, большим волнением о них. Никогда писатель не выдумает ничего более прекрасного и сильного, чем правда.. «Выдумка» — случайность, которая не от сущности дела, а от художника. И вот, когда нет случайности, а есть необходимость, начинается роман. Но взгляд должен быть много глубже, догадка и решимость много больше, и тогда приходит последнее в искусстве — ощущение подлинной правды: так могло быть, так, может быть, было».

Художественное ощущение подлинной исторической правды определяло и определяет современность повести Ю. Тынянова «Восковая персона». А правда жива всегда. Нужно только иметь мужество видеть ее и говорить ее.

Эту трудную миссию художника слова с честью вынес и выполнил в 30-е годы Андрей Платонов (1899—1951). Автор книги «Луговые мастера», «Сокровенный человек», «Происхождение мастера», высоко оцененных критикой, в год «великого перелома» вступил в «конфликт с обществом», столкнулся с резким неприятием сатирико-философской направленности своего творчества («Город Градов», «Усомнившийся Макар»). Оригинальный платоновский роман-миф «Чевенгур» был набран в издательстве «Молодая гвардия» (1930), но не подписан к печати. Редакция журнала «Красная новь» отказалась напечатать два «отрывка» из романа: «Смерть Копенкина» и «Ребенок в Чевенгуре».

Декабрем 1929 года намечено начало работы А. Платонова над повестью «Котлован», завершенной в апреле 1930-го. Когда мы теперь читаем «Котлован» А. Платонова вместе с дневниками М. М. Пришвина «1930 год», мы поражаемся и глубине прозрения писателей-современников, и своеобразию форм выражения внутреннего существа времени. В этом литературном ряду становятся особо значимым и протокольность, хроникальность, документальность,

эпическая масштабность, притчевость, символика платоновского произведения.

В тот период, когда государственный заказ направлялся только на воспевание «котлована побед» (В. Ильенков, Ф. Панферов), А Платонов создал повесть, которая называлась просто — «Котлован». Писатель оказался провидцем, а образ заглавия его повести — знаком целой эпохи, из которой мы только сейчас начинаем выбираться.

«Истина — тайна, всегда тайна. Очевидных истин нет» — глубинный смысл этого афористического суждения А. Платонова сокровенно прорастает в процессе читательского постижения «Котлована». Все яснее мы познаем, что такое настоящая свобода творчества и ответственность художника перед своим талантом и временем: «Свобода живет только там, где человек свободен перед самим собой..., свобода там, где совесть и отсутствие стыда перед собою за дела свои». А. Платонов шел в литературе самым трудным путем, стремясь «посредством наипростейшего выразить наисложнейшее». Отсюда — своеобычная платоновская форма повествования, лаконичная и емкая, экономная и магически экспрессивная.

Один из героев «Котлована» — Сафронов «знал, что социализм — это дело научное, и произносил слова так же логично и научно, давая им для прочности два смысла — основной и запасной, как и всякому материалу». Платоновские слова, простые, основные слова русского языка, скрепленные единством авторского мышления о человеке и мире, просвечиваются дополнительным, метафорическим смыслом, обретают удивительный запас художественной прочности, выразительности.

Эпическое действо платоновской повести протекает на «трудной земле», где ломается «вековой грунт», роется котлован для строительства «башни», «общепролетарского дома», где заготавливаются «гробы впрок» и «скучают по колхозу», где «храм был пуст», поп «остался без бога, а бог без человека», где осуществляется «ликвидация посредством сплава на плоту кулака как класса» и звучит «марш великого похода», где выносятся директивы о соблюдении санитарности в народной жизни и раздаются призывы к социалистическому порядку, «ибо все равно дальнейшее будет плохо», где нетерпеливые полагали, что «пора уже целыми эшелонами население в социализм отправлять», а «все бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована».

Внешне просты, социально функциональны, почти лубочны герои «Котлована», но в своей внутренней, сокровенной сути они, двигаясь по линии собственной судьбы, обретают удивительный объем глубины и концентрации худо-

жественной мысли, имеют свое «вещество существования» и вместе представляют «вещество» народа.

Герои платоновской повести — это герои философской, бытийной прозы. Все они несут в себе проблему, ставят вопросы. Так, Вощев, человек «живого сердца», которому «без истины стыдно жить», хотел «лучше понять свое будущее», «не решался верить»: «не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки?», и «сомневался на ходу»: «дом человек построит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет?» Производитель работ «общепролетарского дома» инженер Прушевский, который «боялся воздвигать пустые здания — те, в каких люди живут лишь из-за непогоды», — бьется над невыдуманными вопросами: «Из всякой ли базы образуется надстройка? Каждое ли производство жизненного материала дает добавочным продуктом душу в человеке?» Трагическим смыслом наполняется «спрос» новозаветного активиста: «Есть ли что после колхоза и коммуны более высокое и более светлое, дабы немедленно двинуть туда местные бедняцко-середняцкие массы, неудержимо рвущиеся в даль истории, на вершину всемирных невидимых времен». Даже эпизодические персонажи «Котлована», как, например, раскулачиваемый Чиклиным «рассудительный мужик», подключены к думе народной, проникаются прозрениями и предсказаниями: «Ну что же, вы сделаете изо всей республики колхоз, а вся республика-то будет единоличным хозяйством»; «ликвидировать?!. Глядите, ныне меня нету, а завтра вас не будет. Так и выйдет, что в социализм придет один ваш главный человек!»

«Котлован» А. Платонова — трагическая мистерия, в которой в органичном художественном единстве сливаются природа, человек и история, реализм и условность.

Погибли в «костре классовой борьбы» Сафронов и Козлов; гибнет активист, как отмечалось в записной книжке А. Платонова: «Чиклин тоже опустошен, активист тоже: социализм вышел из них», умерла девочка-сиротка Настя, в девичье приданое которой и готовился социализм, в недоумении стоял над этим утихшим ребенком «сокровенный человек» Вощев: «Он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатлении? Зачем ему теперь нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором истина стала бы радостью и движением?»

Финал «Котлована» проникнут сокровенной философско-гуманистической мыслью А. Платонова: «Мертвецы в котловане — это семья будущего в отверстии земли».

Искренней надеждой повествователя на то, что «коммунизм наступит скорее, чем пройдет наша жизнь, что на могилах всех врагов, нынешних и будущих, мы встретимся

с товарищами еще раз и тогда поговорим обо всем окончательно», завершалась «бедняцкая хроника» А. Платонова «Впрок», напечатанная в третьей, мартовской книге журнала «Красная новь» за 1931 год.

А начиналась платоновская хроника в «марте месяце 1930 года», эпически продолжая катастрофический финал «Котлована» и намечая новые пути и формы художественного постижения «истории современности». «Впрок» А. Платонова — это очерковая повесть, объединенная образом героя-повествователя, «странника по колхозной земле»; эпическая хроника 1930 года, разворачивающаяся в «глуши глубокой страны». Она строится как встречи и разговоры в пути по самым насущным политическим, экономическим, социальным, нравственным проблемам и дает точный, скальпельный срез «сокрушающего» времени.

В своей «бедняцкой хронике» А. Платонов не иллюстрировал государственные «вопросы колхозного движения» («Головокружение от успехов», «Ответ товарищам колхозникам» И. В. Сталина), а честно проверял все официальные установки «текущего момента» жизнью. «Впрок» А. Платонова было настроено на «духовное предвидение» и «познание» действительности.

Вместе с путником-повествователем, свидетелем героических, трогательных и печальных событий, и разнообразными героями автор стремился увидеть и понять, что действительно будет «впрок», пригодится народу в его перевернувшейся жизни, а что следует изжить, отринуть в пути.

Не очень прост вопрос о герое-путнике в «бедняцкой хронике» А. Платонова. Критика 30-х годов и не пыталась его решить, демагогически ограничиваясь приклеиванием классовых ярлыков. «Душевный бедняк», «измученный заботой за всеобщую действительность», из той же породы «сокровенных» платоновских людей, что и Фома Пухов («Сокровенный человек»), Александр Дванов («Чевенгур»), Вощев («Котлован»). Он был дорог автору тем, что «он способен был ошибиться, но не мог солгать и ко всему громадному обстоятельству социалистической революции относился... бережно и целомудренно». Вместе с тем он не равнодушный наблюдатель, не проходящий «странник», не гость или нахлебник, а тем более «подкулачник», а «полезный кадр», электротехник, колодезный и черепичный мастер, человек в своем уме, тревожащийся и печалящийся тревогами и печалями «работы по устройству социализма», не приемлющий политиканства, бюрократизма, кампанейщины, ханжества, лицемерия, делячества. В «бедняцкой хронике» А. Платонова двойное зрение: глазами героя-«странника» и глазами автора, что и помогает созданию объемного, стереоскопического образа современности.

Повести А. Платонова, парадоксально-правдиво отражая «текущий момент», глубоко вскрывали противоречия народ-

ной жизни. Их темы — это темы философии истории, взятые в нашем отечественном, трагедийном наполнении и исполнении. На этом пути возникло еще одно прозрение А. Платонова — «тема романа» в записных книжках 1931—1933 гг.: Стратилат делал коммунизм, а сделал другой (выделено автором. — *А. В.*) мир, — ничто в обычно пошлом, нашем злободневном смысле, а другой мир истории, другую категорию, которая могла объективно выйти из развороченных форм прошлого и субъективно-классовой воли Стратилата — не мир Келлера или мой коммунизм, но нечто исторически-прекрасное, неожиданное, неизвестное и действительно необходимое и простое.

Вот основное и высшее противоречие судьбы Стратилата, романа и нашей истории. История будет не та, что ожидают и что делают. Это и есть коммунизм».

В финале «бедняцкой хроники» А. Платонова «Впрок» «странник по колхозной земле» осенью 1930 года «поехал в уральские степи». А в 1932 году, побывав в одном из колхозов на Урале, Б. Л. Пастернак (1890—1960) писал: «То, что я там увидел, нельзя выразить никакими словами. Это было такое нечеловеческое, невообразимое горе, такое страшное бедствие, что оно становилось весьма абстрактным. Я заболел. Целый год не мог спать». Действительно, если мир расколот, то трещина проходит через сердце Поэта.

В то время Б. Пастернак тяжело переживал литературную судьбу своей «Охранной грамоты», которая, мягко говоря, «неодобрительно была принята писательской средой». В эпоху организованного «движения масс», «чрезвычайной противности быть интеллигентом» (Ю. Олеша), духовной, нравственной безграмотности, правовой, политической беззащитности Б. Пастернак создал удивительное, необычное произведение — «повесть личности», личности творческой, поэтической, интеллигентной, мужественной.

Творческая история, идейно-художественная концепция «Охранной грамоты» Б. Пастернака неотрывна от имени Райнера Марии Рильке (1875—1926) — выдающегося немецкого поэта начала XX века. Первая часть «Охранной грамоты» появилась в восьмом номере журнала «Звезда» за 1929 год, и посвящение «памяти Р.-М. Рильке» стояло здесь впереди заглавия. В этом журнальном номере был напечатан и «Реквием» Р.-М. Рильке в переводе Б. Пастернака. Еще один «Реквием» Р.-М. Рильке «По одной подруге» (в пастернаковском переводе) был опубликован в журнале «Новый мир» (1929, книги восьмая-девятая). Эти «Реквиемы» помогают глубже и полнее представить своеобразие позиции Б. Пастернака в «Охранной грамоте», лучше понять ее содержательную природу.

Тут все твое, и вот в чем был твой опыт:
что все, что дорого, должно отпасть,

что в пристальности скрыто отреченье,
что смерть есть то, в чем можно преуспеть.
Тут все твое, три эти формы были
в твоих руках, художник. Вот литье
из первой: — ширь вокруг живого чувства.
Вот что вторую полнило: — творца
не жаждущее ничего воззренье.
В последней же, которую ты сам
разбил, едва лишь первый выпуск сплава
из сердца вырвался в нее, была
та подлинная смерть глубокой ковки
и превосходной выделки, та смерть,
которой ты всего нужнее в жизни,
да и нигде не ближе к ней, чем здесь.
Вот чем владел ты и о чем ты часто
догадывался...

Литье из этих трех форм: живого чувства, воззренья творца, жизни и смерти — прочно сплавлено в тексте «Охранной грамоты».

Р.-М. Рильке «открывает» еще два важных компонента повествовательного сплава Б. Пастернака: это любовь и отношения между жизнью и творчеством, работой:

Порой еще художники провидят:
в преображеньи долг и смысл любви...
Есть между жизнью и большой работой
старинная какая-то вражда.
Так вот: найти ее и дать ей имя
и помоги мне...

Б. Пастернаку были близки рилькеанские идеи «внутреннего» познания бытия, «преображения» поэта-творца в слово, «лепки» действительности:

Мы все, как свет, отбрасываем внутрь
из бытия, когда мы познаем...
...О старый бич поэтов,
что сетуют, тогда как в сказе суть,
что вечно судят о своих влеченьях,
а дело в лепке...
...их речь,
как у больных; они тебе опишут,
что у кого болит, взамен того,
чтобы самим преобразиться в слово.

«Я не пишу своей автобиографии. Я к ней обращаюсь, когда того требует чужая. Вместе с ее главным лицом я считаю, что настоящего жизнеописания заслуживает только герой, но история поэта в этом виде вовсе непредставима, — размышлял Б. Пастернак в первой части «Охранной грамоты». «Всей своей жизни поэт придает такой добровольно крутой наклон, что ее не может быть в биографической вертикали, где мы ждем ее встретить. Ее нельзя

найти под его именем и надо искать под чужим, в биографическом столбце его последователей. Чем замкнутее производящая индивидуальность, тем коллективнее, без всякого иносказания, ее повесть. Область подсознательного у гения не поддается обмеру. Ее составляет все, что творится с его читателем и чего он не знает. Я не дарю своих воспоминаний памяти Рильке. Наоборот, я сам получил их от него в подарок».

«Охранная грамота» Б. Пастернака раскрывается перед нами как свободное, открытое, субъективное (от первого лица) повествование с ярко выраженным образом автора-творца, который как бы на наших глазах вспоминает и осмысляет «лица и происшествия», обусловившие его жизненную, человеческую, поэтическую судьбу.

Б. Пастернак смело преображал традиции автобиографического повествования, емко конденсируя уже в первой части события детства, отрочества и юности в их личном, интимном и обобщенном, судьбоносном смысле и ведя откровенный, большой разговор с читателем-современником.

«Внутреннее зрение» автора открывало в своей памяти и воссоздавало «волнующие» образы и драматические отношения, которые и определяли его чувства, сознание, путь. Движение повествования в «Охранной грамоте» постоянно совмещает авторское чувство прошлого и настоящего, «тогда» и «теперь», а повествовательные образы пространственного поворота, закругления, «откоса» непременно соотносятся с образами временного разрыва, перехода, жизненного освобождения от одной «системы отношений» и поиска другой, новой.

В «Охранной грамоте» тесно переплетаются три темы судьбы: музыкальная, философская и поэтическая, которые развиваются бурно, прерывисто, катастрофично. Так же шла и работа над «воспоминаниями». Вторая и третья части «Охранной грамоты» появились в журнале «Красная новь» в 1931 году (№ 4, 5—6). Многое в творческой лаборатории Б. Пастернака проясняет его письмо отцу-художнику Л. О. Пастернаку — от 26 марта 1930 года: «Я много работаю сейчас, но очень медленно и трудно. Чем дальше, тем труднее мне определить, что это собственно такое, философия ли, искусство ли или что-нибудь другое. Но в художественном письме не требует от тебя мыслей, доведенных до точности формулы, а в контексте, где уместны формулы, не добиваются живости художественных изображений. Я же подчиняю себя и этим требованиям и многим другим, что чудовищно замедляет работу...»

Европейские — немецкие и итальянские — страницы пастернаковской повести юности раскрываются во второй части «Охранной грамоты», героями которой естественно выступают любовь, философия и Венеция. Драматично вра-

стая в жизненный сюжет встреч и прощаний, отъездов и приездов, то есть образ дороги судьбы, человеческого пути, они проникаются зрелыми размышлениями автора о «возвышенном отношении к женщине», искусстве, природе, времени, творческой эстетике.

Выразительной меры «живости художественного изображения» и «мыслей, доведенных до точности формулы», удалось достичь Б. Пастернаку в третьей части «Охранной грамоты». Начавшись воспоминаниями о Р.-М. Рильке, повествование Б. Пастернака завершалось реквиемом В. Маяковскому. Из поэтического «разряда преданий молодых», метаморфоз и «странностей эпохи» эпически извлекалась «серьезнейшая драма».

«На свете есть смерть и предвиденье», — написал Б. Пастернак в самом начале третьей части «Охранной грамоты». В этих координатах и осуществляется свободный, судьбоносный выбор героев повествования, одному из которых «уже некуда деться», а другой, остро сознавая «опасность вакансии поэта», провидел иной путь.

Пастернаковский перевод первого реквиема Р.-М. Рильке заканчивался так:

Слова больших времен, когда деянья
Наглядно зримы были, не про нас.
Не до побед. Все дело в одоленьи.

Этот завет Р.-М. Рильке: «все дело в одоленьи» — стал в год «великого перелома» для Б. Пастернака жизненной и эстетической программой, мудрым предвидением, приведшим «ко второму рождению» («Когда разгуляется», «Доктор Живаго»).

Одна из самых загадочных, трудных повестей 30-х годов — повесть Л. И. Добычина (1896—1936) «Город Эн», «лебединая песня» ленинградского прозаика трагической судьбы. Подписанная к печати 20 октября 1935 года, она уже в начале 1936 года была разгромлена как формалистическая, идейно-враждебная книга, и тем же летом писатель ушел из жизни.

Как и А. Платонов, Б. Пастернак, Леонид Добычин шел в литературе по линии наибольшего сопротивления, оставаясь верным избранному направлению художественного поиска и внутренне свободным, честным перед собой.

Не понят был сборник рассказов Л. Добычина «Портрет» (1931). Вульгарно-социологическая критика увидела в нем только «опошление лозунгов революции, издевательство над бытом», автор бесцеремонно обзывался «уличным фотографом советской действительности, беспомощно зажмурившимся в страхе перед действительностью» (Литературная газета. 1931. 19 февраля, с. 4).

«Город Эн» стал мужественным ответом писателя своему времени. В отточенной художественной форме на биогра-

фическом правоописательном материале он создал повесть прозрения, в которой так нуждался читатель 30-х годов.

Уже самый текст добычинского произведения способствовал воспитанию культуры чтения и понимания, чувства слова и мысли. Он был далек от натуралистического бытописательства, и самодовольного эстетизма, и прямолинейного обличительства.

Великолепно знавший быт старой провинции, Л. Добычин творчески осваивал его в духе классических традиций русской литературы (Н. Гоголь, Ф. Достоевский, А. Чехов). Но художественно осмыслять свой материал писателю пришлось в катастрофических условиях нового уклада и образа жизни 30-х годов XX века. «Повесть написана не об исчезнувших предметах, а об исчезнувших отношениях», — верно заметил В. Каверин.

«Город Эн» Л. Добычина — это художественный образ старой провинции с ее общечеловеческими правилами существования и естественноисторическим развитием, на что уже небезопасно было оглядываться.

«Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов — мерзавцы? Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим». — В словах юного героя добычинской повести проглядывает и грустная ирония, и серьезная авторская позиция.

Писатель показал индивидуальный процесс становления простой, «малой» человеческой личности изнутри — в движении слова, сознания, судьбы героя повествователя. «Наивный», «неправильный» реализм Л. Добычина смог передать и «поэзию детства», и социальную атмосферу времени, и «близорукость» молодого героя, и неожиданность его прозрения. «Вечером, когда стало темно, я увидел, что звезд очень много и что у них есть лучи. Я стал думать о том, что до этого все, что я видел, я видел неправильно».

«Город Эн» Л. Добычина посвящен Александру Павловичу Дроздову — соседу писателя по ленинградской квартире, молодому рабочему, и это скромное посвящение повести рядовому современнику, первому читателю точно раскрывало творческую направленность авторской мысли. Но уже на мартовском (1936 г.) собрании ленинградских писателей, вынесшем, как требовалось тогда, «политическую оценку» произведению, промелькнул «профиль смерти».

Непонятая и непринятая современниками, воспитательная повесть Л. Добычина была прекрасным — и трагическим — прозаическим экспериментом, одухотворенным подлинной свободой художественного творчества. Как осознавал сам автор, то был «свободный труд, залог... личного благосостояния и блага общественного». За это в 1936 году нужно было платить по высшему счету. И писатель пошел навстречу своей судьбе. «А меня не ищите, я отправляюсь в далекие края» — заканчивалось последнее письмо Л. До-

бычина Николаю Чуковскому. В книге «Эпилог» В. Каверин так объяснял самоубийство Л. Добычина: «Мне кажется, что Добычин покончил с собой с целью самоутверждения... Его самоубийство похоже на японское «харакири», когда униженный вспарывает себе живот мечом, если нет другой возможности сохранить свою честь».

«Случай» с Добычиным был характерен не только для литературной среды («товарищи... предали», «все до одного отступились без звука протеста»), но для времени в целом.

В 1937 году Даниил Хармс (1905—1942) создал поразительные — хроникальные и провидческие — строки:

Из дома вышел человек...
И с той поры,
И с той поры,
И с той поры исчез.

Об этой поре — по горячим следам событий — была написана повесть Лидии Чуковской «Софья Петровна».

Это повесть о 37-м, том черном, мифическом 1937 годе, который начинался «процессом антисоветского троцкистского центра», смертью «маршала социализма» Г. К. Орджоникидзе и сакральным высказыванием И. В. Сталина: «Мы построили в основном социализм. Чего же не хватает у нас?.. Не хватает только одного: готовности ликвидировать свою собственную беспечность, свое собственное благодушие, свою собственную политическую близорукость».

В одной из последних глав повести бедная героиня перечитывает предсмертное письмо отравившейся вероналом Наташи Фроленко: «Дорогая Софья Петровна! — написано было в письме. — Не плачьте обо мне, все равно я никому не нужна. Мне так лучше. Может быть, все наладится еще правильно, и Коля будет дома, но я не в силах ждать, пока наладится. Я не могу разобраться в настоящем моменте советской власти».

Повесть Л. Чуковской и была честной, граждански-мужественной попыткой разобраться в настоящем моменте, правдиво показать наши «нехватки» и «готовности ликвидировать».

Гуманистический нерв повествования Л. Чуковской — трагическая судьба простого советского «маленького человека», служащей Софьи Петровны Липатовой, втянутой бредовой действительностью в чудовищную «очередь недоразумения» и безжалостно сломленной, растоптанной.

Ей казалось, что служба — с «исключительной честностью» в машинописном бюро — «так много дает в жизни», но — «страшно как-то стало в издательстве» да и в городе. Большие материнские надежды связывались с сыном Колей, и «хорошая... подросла... смена», но «по ошибке» сын был арестован — и Софья Петровна вступила в крестный реквиемный круг тюремных очередей.

Узнала я, как опадают лица,
Как из-под век выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках.
Как локоны из пепельных и черных
Серебряными делаются вдруг,
Улыбка вянет на губах покорных
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною,
И в лютый холод, и в июльский зной
Под красною, ослепшею стеною.

Высот трагизма достигает финал повести Л. Чуковской. Софья Петровна «ослеплена» прорвавшимся из лагеря Колиным письмом, в котором звучит глухой стон о помощи оклеветанного, забитого и оглохшего сына. И вот — «Софья Петровна вытащила из ящика спички. Чиркнула спичку и подожгла письмо с угла. Оно горело, медленно подворачивая угол, свертываясь трубочкой. Оно свернулось совсем и обожгло ей пальцы.

Софья Петровна бросила огонь на пол и растоптала ногой».

Правда повести обжигающа. В примечаниях 1980 года к «Запискам об Анне Ахматовой (Том I. 1938—1941)» Л. Чуковская просветляюще отметила: «Автор, хоть и соболезнует Софье Петровне, но в отличие от нее понимает происходящее и пытается окружающую действительность изобличать, Софья Петровна же слепа.

О слепоте общества и написана повесть».

Л. Чуковская создала свой «реквием», в котором и «звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь». Герои Л. Чуковской из тех, о ком говорила и Ахматова:

Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.
О них вспоминаю всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде.
И если зажмут мой измученный рот,
Которым кричит стомильонный народ,
Пусть так же они поминают меня
В канун моего поминального дня.

Трудные повести 30-х годов сказали свое горькое упреждающее, точное диагностическое слово в котлованном пространстве переломного времени. И не их вина, что оно не было расслышано тогда и обретает отзвук только сейчас.

А. И. Ванюков

Ю. Тынянов

Восковая персона

2*



ГЛАВА ПЕРВАЯ

Доктор вернейший, потщись мя лечити,
Болезненну рану от мя отлучити.
Акт о Калеандре

1

Еще в четверг было пито. И как пито было! А теперь он кричал день и ночь и осип, теперь английский лекарь хотел пумповать пузырь, пускать воду, теперь он умирал.

А как было пито в четверг! Но теперь архиятр Блументрост подавал мало надежды. Якова Тургенева гузном тогда сажали в лохань, а в лохани были яйца. Но веселья тогда не было и было трудно. Тургенев был старый мужик, клекотал курицей и потом плакал — это трудно ему пришлось.

Каналы не были доделаны, бечевник невский разорен, неисполнение приказа. И неужели так, посреди трудов недоконченных, приходилось теперь взаправду умирать?

От сестры был гоним: она была хитра и зла. Монахине несносен: она была глупа. Сын ненавидел: был упрям. Любимец, миньон, Данилович — вор. И открылась цедула от Вилима Ивановича к хозяйке, с составом питья, такого питьеца, ни про кого другого, про самого хозяина.

Он забился всем телом на кровати до самого парусинного потолка, кровать заходила, как корабль. Это были судороги от болезни, но он еще бился, и сам, нарочно.

Екатерина наклонилась над ним тем, чем брала его за душу, за мясо, — грудями.

И он подчинился.

Которые целовал еще два месяца назад господин камергер Монс, Вилим Иванович.

Он затих.

В соседней комнате итальянский лекарь Лацаритти, черный и маленький, весь щуплый, грел красные ручки, а тот аглицкий, Горн, точил длинный и острый ножик, — резать его.

Монсову голову настояли в спирту, и она в склянке теперь стояла в кунштакморе, для науки.

На кого оставить ту великую науку, все то устройство, государство и, наконец, немалое искусство художества?

О, Катя, Катя, матка! Грубейшая!

2

Данилыч, герцог Ижорский, теперь вовсе не раздевался. Он сидел в своей спальной комнате и подремывал: не идут ли?

Он уж так давно приучился посиживать и сидя дремать: потому что сначала ждал гибели за монастырское пограбление, почепское межевание и великие дачи, которые ему давали: кто по сту тысячей, а кто по 50 ефимков, от городов и от мужиков; от иностранцев разных состояний и от королевского двора; а потом — при подрядах на чужое имя, обшивке войска, изготовлении негодных портищ — и прямо из казны. У него был нос вострый, пламенный, и сухие руки. Он любил, чтоб все огнем горело в руках, чтоб всего было много и все было самое наилучшее, чтобы все было стройно и бережно.

По вечерам он считал свои убытки:

— Васильевский остров был мне подаренный, а потом в одночасье отобран. В последнем жалованье по войскам обнесен. И только одно для меня великое спасенье будет, когда город Батурин подарят.

Светлейший князь Данилыч обыкновенно призывал своего министра Волкова и спрашивал у него отчета, сколько маетностей числится у него по сей час. Потом запирался, вспоминал последнюю цифру, что за ним 52 000 подданных душ, или вспоминал об убойном и сальном промысле, что был у него в архангельском Городе — и чувствовал некоторую потаенную сладость у самых губ, сладость от маетностей, что много всего имеет, больше всех.

Водил войска, строил быстро и рачительно, был прилежный и охотный господин, но миновались походы и кончались канальные строения, а рука была все сухая, горячая, ей работа была нужна, или нужна была баба, или — дача?

Данилыч, князь Римский, полюбил дачу.

Он уже не мог обнять глазом всех своих маетностей, сколько ему принадлежало городов, селений и душ, — и сам себе иногда удивлялся.

— Чем более володею, тем боле рука горит.

Он иногда просыпался по ночам, в своей глубокой алькове, смотрел на Михайловну, герцогиню Ижорскую, и вздыхал:

— Ох, дура, дура!

Потом, оборотясь пламенным глазом к окну, к тем азиятским цветным стеклышкам, или уставясь в кожаные расписные потолки, исчислял, сколько будет у него от казны интересу; чтоб показать в счетах менее, а на самом деле получить более хлеба. И выходило не то на тысяч пятьсот ефимков, не то на все шестьсот пятьдесят. И он чувствовал уязвление. Потом опять долго смотрел на Михайловну:

— Ох, дура, дура! Губастая!

И тут вертко и быстро вдевал ступни в татарские туфли и шел на другую половину, к свояченице Варваре. Та его понимала лучше, с той он разговаривал и так и сяк, аж до самого утра. И это его услаждало. Старые дурни говорили: нельзя. А комната рядом, и можно. От этого он чувствовал государственную смелость.

Но полюбил при том мелкую дачу и так иногда говорил свояченице Варваре или той же Михайловне, Почепской графине:

— Что мне за радость от маетностей, когда я их не могу всех зараз видеть или даже взять в понятие? Видал я 10 000 человек в строях или таборах, а то — тьма, а у меня на сей час по ведомости господина министра Волкова их 52 000 душ, кроме еще нищих и старых гулящих. Это нельзя понять. А дача, она у меня в руке, в пяти пальцах, как живая рыба.

И по прошествии многих мелких и крупных дач и грабительств и ссылке всех неистовых врагов, барона Шафирки, еврея, и многих других, у Данилыча, наследного господина Ораниенбаумского, началось другое сидение: он сидел и ждал суда и казни, а сам все думал, сжав зубы:

— Отдам половину, отшучусь.

А выпив ренского, представлял уже некоторый сладостный город, свой собственный, и прибавлял:

— Но чтоб Батурин был мой.

А потом пошло все хуже и хуже, вор да вор, наружное воровство, и дано было понять, что может быть убыток: вьем обеих ноздрей — и на каторгу.

Оставалась одна надежда в этом упадке: было переве-

дено много денег на Лондон и Амстердам, и впоследствии пригодятся.

Так он сидел и ждал и уж ренского не пил, а только говорил строго министру Волкову:

— Вор мне не брат, а б... не сестра.

Да и Волков переставал уже верить.

Но кто родился под планетой Венерой — Брюс говорил про того: исполнение желаний и избавление из тесных мест. Вот сам и заболел.

Теперь Данилыч сидел и ждал: когда позовут? Михайловна, герцогиня, все молилась, чтоб было поскорей.

И две ночи он уже сидел в параде, во всей своей форме.

И вот, когда он так сидел и ждал, под вечер вошел к нему слуга и сказал:

— Граф Растреллий, по особому делу.

— Что ж его черти принесли? — удивился герцог. — И графство его негодное.

Но вот уже входил сам граф Растреллий. Его графство было не настоящее, а папежское: папа за что-то дал ему графство, или он это графство купил у кого-то, хоть у того же папы, а сам он был никто иной, как художник искусства.

3

Его пропустили с подмастерьем, господином Лежандром. Господин Лежандр шел по улицам с фонарем и освещал дорогу Растреллию, а потом внизу Растреллий доложил, что просит пропустить к герцогу и его подмастерья, господина Лежандра, потому что господин Лежандр бойчей его знает говорить по-немецки.

Их допустили.

По лестнице граф Растреллий всходил бодро и щупал рукой перилы, как будто то был набалдашник его собственной трости. У него были руки круглые, красные, малого размера. Ни на что кругом он не смотрел, потому что дом строил немец Шедель, а что немец мог построить, то было неинтересно Растреллию. А в кабинетной — стоял гордо и скромно. Рост его был мал, живот велик, щеки толстые, ноги малые, как женские, и руки круглые. Он опирался на трость и сильно сопел носом, потому что запыхался. А нос? Нос его был бугровый, бугристый, цвета бурдо, как губка или голландский туф, которым обделан фонтан. Нос был как у тритона, потому что от водки

и от большого искусства граф Растреллий сильно дышал. Он любил круглоту, и если изображал Нептуна, то именно бородатого, и чтоб вокруг плескались морские девки. Так накруглил он по Неве до ста бронзовых штук, и все забавные, на Езоповы басни: против самого Меньшикова дома стоял, например, бронзовый портрет лягушки, которая дулась и под конец лопнула. Эта лягушка была как живая, глаза у ней вылезли.

И Растреллий не любил делать портреты прямые, он любил делать медный портрет, гнутый. Такого человека, если бы кто переманил, то мало бы дать миллион: у него в одном пальце было больше радости и художества, чем у всех немцев. Он в один свой проезд от Парижа до Петерсбурка издержал десять тысяч французской монетой. Этого Меньшиков до сих пор не мог позабыть. И он его даже уважал за это. Сколько искусств он один мог производить? Меньшиков даже с удивлением смотрел на его толстые икры. Что-то уж больно толстые икры, видно, что крепкий человек. Но, конечно, Данилыч, как герцог, сидел в креслах и слушал, а Растреллий стоял и говорил.

Что он говорил по-итальянски и по-французски, господин подмастерье Лежандр говорил по-французски и порусски, а министр Волков понимал и уж тогда докладывал самому герцогу Ижорскому.

Граф Растреллий поклонился и произнес, что дук д'Ижорский — изящный господин и великолепный покровитель искусств, отец их, и что он только для того и пришел, что дук — единственный патрон искусств.

— Ваша алтесса — отец всех искусств, — так передал это господин подмастерье Лежандр, но сказал вместо искусств: «штук», потому что знал польское слово — штука, обозначающее: искусство.

Тут министр господин Волков подумал, что дело идет о грудных и бронзовых штуках, но Данилович, сам герцог, это отверг: ночью и в такое время — и о штуках.

Он ждал.

Но тут граф Растреллий принес жалобу на господина де Каравакка. Каравакк был художник для малых вещей, чтобы писать персоны небольшим размером, и приехал одновременно с графом. Но дук явил свою патронскую милость и начал употреблять его как исторического мастера и именно ему отдал подряд изобразить Полтавскую битву. А теперь до графа дошел слух, что готовится со стороны господина де Каравакка такое дело, что он пришел просить дука в это дело вмешаться.

Слово «Каравакк» Растреллий картавил и так грозно, с таким презрением, как бы карканье ворона. Слюна брызгала у него изо рта. Остальное же говорил достойно.

Тут Данилыч нацелился глазом: зрелище художника стало ему приятно.

— Пусть говорит о деле, — сказал он, — для чего у них стала ссора с Коровяком. Коровяк вострый маляр и берет дешевле.

Ему была приятна ссора Растреллия с Каравакком, и если б не такое время, он что бы сделал? Он созвал бы гостей, да позвал бы того Растреллия и Коровяка, и стравил бы их, аж до драки. Как петухов, этого толстого с тем, с чернявым.

Тут Растреллий сказал, а господин Лежандр пояснил:

— Дошло до его слуха, что когда император помрет, то господин де Каравакк хочет делать с него маску, и господин де Каравакк не умеет делать масок, и маски с мертвых умеет делать он, Растреллий.

Но тут Меньшиков легонько вытянулся в креслах, воздушно соскочил с них и подбежал к двери. Заглянул за дверь и потом долго глядел в окошко; он смотрел, нет ли где изыскателей и доносителей.

Потом он приступил к Растреллию и сказал так:

— Ты что бредишь такие непотребные слова, относящиеся к самой персоне? Император жив и нынче получил облегчение.

Но тут граф Растреллий сильно махнул головой с отрицанием и сделал пальцем движение слева направо.

— Император, конечно, умрет в четыре дня, — сказал он, — и так говорил мне господин врач Лацаритти.

И тут же, поясняя речь, ткнул двумя толстыми и малыми пальцами вниз в пол, — что именно в четыре дня император, конечно, пойдет уже в землю.

И тут Данилыч почувствовал легкий озноб и потрясение, потому что никто еще из посторонних так явно не говорил о царской смерти. Он почувствовал восторг, что как бы восторгают его над полом и он как бы возносится в воздухе над своим состоянием. Он стал как бы изумленный. Все переменилось в нем. И уже за столом и в креслах сидел спокойный человек, отец искусств, который более не интересовался мелкой дачей.

Тут Растреллий сказал, а господин подмастерье Лежандр и министр Волков перевели, каждый по-своему:

— И он, Растреллий, это хочет для того сделать, что той любопытной маской он надеется приобрести большое

внимание при иностранных дворах, и у Цесаря, равно как и во Франции. А зато обещается он, Растреллий, сделать маску и с самого герцога, когда тот умрет, и согласен сделать ему портрет, медный, небольшой, с герцогской дочери:

— Ты ему скажи — я сам с него мазку спущу, — сказал Данилыч, — а с дочки пусть сделает средней величины. Дурак.

И Растреллий обещался.

Но потом, потоптавшись, побулькав толстыми губами, он вытянул вдруг правую ручку, и на правой ручке горели рубины и карбункулы, и он стал говорить до того быстро, что Лежандр и Волков, приоткрыв рты, стояли и ничего не переводили. Его речь была как пузырьки, которые всплывают на воде вокруг купающегося человека и так же быстро лопаются. Пузырьки всплывали и лопались, — и наконец купающийся человек нырнул: граф Растреллий захлебнулся.

Потом герцогу доложили: есть искусство изящное и самое верное, так что нельзя портрет отличить от того человека, с которого портрет сделан. Ни медь, ни бронза, ни самый мягкий свинец, ни левкос не идут против того вещества, из которого делают портреты художники этого искусства. И то искусство самое древнее и дольше всего держится, еще со времен даже римских императоров. И вещество само лезет в руку, так оно лепко, и малейший даже выем или выпуклость оно все передает, стоит надавить или выпятить ладошкой, или влепить пальцем, или вколупнуть стилем, а потом лицевать, гладить, обладить, обравнять, — и получается: великолепие.

Меньшиков с беспокойством следил за пальцами Растреллия. Маленькие пальцы, кривые от холода и многой водки, красные, морщинистые, мяли воздушную глину. И, наконец, оказалось еще следующее: лет двести назад нашли в итальянской земле девушку, и девушка была как живая, у ней все было как живое. И все пальцы живые в точности, и сверху, и сзади — все было как живое. И то была, одни говорили, статуя работы известного мастера Рафаила, а другие говорили, что Андрея Верокия или Орсиния.

И тут Растреллий захохотал, как смеется растущее дитя: его глаза скрылись, вместо носа стали морщины, и он крикнул, торопясь:

— Но то была Юлия, дочь известного Цицерона, живая, то есть не живая, но сама природа сделала со време-

нем ее тем веществом. — И Растреллий захлебнулся. — И то вещество — воск.

— Сколько за тую девку просят? — спросил герцог.

— Она непродажна, — сказал Лежандр.

— Она непродажна, — сказал Волков.

— То и говорить не стоит, — сказал герцог.

Но тут Растреллий поднял вверх малую, толстую свою руку.

— Скажите дуку Ижорскому, — приказал он, — что со всех великих государей, когда умирают, то с них непременно делают по точной мерке такие восковые портреты. И есть портрет покойного короля Луи Четырнадцатого, и его делал славный мастер Антон Бенуа — мой учитель и наставник в этом деле, и теперь во всех Европейских землях, больших и малых, остался для этого дела один мастер: и тот мастер — я.

И пальцем ткнул себя в грудь, и поклонился широко и пышно дуку Ижорскому, Даниловичу.

Спокойно сидел Данилович и спросил у мастера:

— А ростом портрет высок ли?

Растреллий ответил:

— Портрет мелок, как сам покойный французский государь был мал; рот у него женский; нос как у орла клюв; но нижняя губа сильна и знатный подбородок. Одет он в кружева, и есть способ, чтоб он вскакивал и показывал рукой благоволение посетителям, потому что он стоит в музее.

Тут руки у Даниловича задвигались: он был малознающ в устройствах, но роскошен и любил вещи. Он не любил художества, а любил досужество. Но по привычке спросил, как бы из любознания:

— А махина внутри или приделана снаружи, и из стали или железная или какая?

Но тут же махнул рукой на Растреллия и сказал:

— А обычай тот глуп, чтоб персоне вскакивать и всякому бездельнику оказывать честь, да и не время мне сейчас.

Но после краткого перевода Растреллий поймал воздух в кулак и так поднес герцогу:

— Фортуна, — сказал он, — кто нечаянно ногой наступит, — перед тем персона встанет, все то есть фортуна.

И тут наступило полное молчание. Тогда герцог Ижорский вынул из глубокого кармана серебряный футляр, достал из него зубочистку и почистил ею в зубах.

— А воск от литья, от фурмов пушечных что остался, — он на тот портрет годится? — спросил он потом.

Растреллий дал гордый ответ, что нет, не годится, нужен самый белый воск, и тут вошла Михайловна.

— Зовут, — сказала она.

И Данилович, светлейший князь, встал, распоряжаться готовый.

4

По Неве дуло два встречных ветра: сиверик — от шведов и мокряк — с мокрого места, и когда они встретились, тогда получился третий ветер: чухонский поперечень.

Сиверик был прямой и курчавый, мокряк — косой, с загибом. Получился чухонский поперечень, поперек всего. Он ходил кругами по Неве, очищая мале перед местом место, стлал седую бороду дыбом и потом вставал против мест и покрывал их.

Тогда два молодых волка отстали от большой стаи в лесу за Петровским островом. Два волка бежали по протоку Невы, перебежали его, постояли и посмотрели. Они побежали по Васильевскому острову, по линейной дороге, и опять остановились. Они увидели шалаш и деревянную рогатку. В шалаше спал живой человек, укрывшись. Тут они обошли рогатку; они ровно побежали по узкой тропе, шедшей вдоль дороги. Миновали две мазанки и у самого Меньшикова дома спустились на Неву.

Они осторожно спускались: были навалены камни, запорошены снегом, а кой-где и голые; они, волки, ставили нежно свои лапы. И побежали к жидкому лесу, который видели вдалеке.

В одной избе загорелся свет, или он горел уже раньше, но только стал теперь ярче, потом в сумерках выскочил человек с мордастыми собаками, потом спустил их, и тут же закричал и вскоре выстрелил из длинного ружья, Ганс Юрген был повар, а теперь береговой начальник, и он выскочил из своей избы и выстрелил. Мордастые собаки были его доги. У него их было 12 собак.

Волки прижались тогда задом ко льду, но это для того, что вся их сила ушла в передние лапы. Передние лапы делались все прямей, все сильней, волки все более забирали пространства. И они ушли от собак.

Потом выбежали на берег и мимо Летнего сада добежали до Ерика, Фонтанной речки. Тут они пересекли

большую Невскую перспективную дорогу, которая на Новгород, мощеную, на ней лежали поперек доски. Потом, перепрыгивая по болотным кочкам, они скрылись в роще по Фонтанной речке.

А от выстрела он проснулся.

5

Всю ночь он трудился во сне, ему снились трудные сны.

А для кого трудился? — Для отечества.

Рукам его снилась ноша. Он эту ношу таскал с одного беспокойного места в другое, и ноги уставали, становились все тоньше, тоньше, совсем тонкие.

Ему снилось, что та, которую все звали Катериной Алексеевной, а он Катеринушкой, а прежде звали драгунской женой, Катериной Василевской, и Скавронской, и Мартой, и как еще там,— вот она уехала. Он вошел в палаты, и захотелось бежать, так все пусто было без нее, а по палатам бродила медведица. На цепи, чернявая волосом и большие лапы, тихий зверь. И зверь был к нему ласков. А Катерина уехала и сказалась неизвестной. И тут солдат, и солдатское лицо, надутое как пузырь и в мелких морщинах, как рябь по воде. И он составил ношу и поколол солдата шпагой, и тут у него заболело внизу живота, потянуло аж в самую землю, но потом отпустило, хоть и не все. Все-таки он солдата сволок под мышки и слабыми руками стал разыскивать: расклал на полу и прошел горячим веником по спине. А тот лежит смирно, а кругом хозяйство и многие вещи. Как стал водить веником по солдатской спине, так самого пожгло по спине и сам ослабел и изменился. Стало холодно и боязно, и он заходил ногами как бы не по полу. И солдат высоким голосом все кричал, его голосом, Петровым. Тут стали стрелять издалека шведы, и он проснулся, понял, что это не он пытал, а его пытали, и сказал, как будто все это он писал письмо Катерине:

— Приезжай посмотреть, как я живу раненый, на мое хозяйство.

Проснулся еще раз и очутился в сумерках, как в утробе, было душно, натопили с вечера.

И он несколько полежал без мыслей.

Он переменился даже в величине, у него были слабые ноги и живот пустынный, каменный и трудный.

Он решил не вносить ночные сны в кабинетный жур-

нал, как обычно делал: сны были нелюбопытны, и он их побаивался. Он боялся того солдата и морщин, и неизвестно было, что солдат означает. Но нужно было и с ним справиться.

Потом в комнате несколько рассвело, как будто повар помешал ложкой эту кашу.

Начинался день, и хоть он больше не ходил по делам, но как просыпался, дела бродили по нем. Пошел словно в токарню — доточить штуку из кости, — остался недоточенный досканец.

Потом словно бы пора ехать на смотрение в разные места — сегодня авторник, не церемониальный день, дожидаются коляски, наряд на все дороги. Калмыцкую овчину на голову — и в Сенат.

Сенату дать такой указ: на виске не тянуть более разу и веником не жечь, потому что если более и жечь веником, то человек переменяется в себе и может себя потерять.

Но дела его быстро оставили, не доходя до конца, и даже до начала, как тень.

Он совсем проснулся.

Печь была натоплена с вечера так, что глазурь калилась, и как на глазах лопалась, как будто потрескивала. Комната была малая, сухая, воздух лопался, как глазурь от жары.

Ах, если б малую, сухую голову проняла бы фонтанная прохлада!

Чтобы фонтан напружился и переметнул свою струю, — и тогда разорвало бы болезнь.

А когда все тело проснулось, оно поняло: Петру Михайлову приходит конец, самый конечный и скорый. Самое большое оставалось ему неделя. На меньшее он не соглашался, о меньшем он думать боялся. А Петром Михайловым он звал себя, когда любил или жалел.

И тогда глаза стали смотреть на синие голландские кафли, которые он выписал из Голландии, и здесь пробовал такие кафли завести, да не удалось, на эту печь, которая долго после него простоит, добрая печь.

Отчего те кафли не завелись? Он не вспомнил и смотрел на кафли, и смотрение было самое детское, безо всего.

Мельница ветряная,
и павильон с мостом,
и корабли трехмачтовые.

И море.

Человек в круглой шляпе пумпует из круглой пумпы, и три цветка, столь толстых, как бы человеческие члены. Садовник.

Прохожий человек, кафтан в талью, обнимает толстую женку, которой приятно. Дорожная забава.

Лошадь с головой как у собаки.

Дерево, кудрявое, похожее на китайское, коляска, в ней человек, а с той стороны башня, и флаг и птицы летят.

Шалаш, и рядом девка большая, и сомнительно, может ли войти в шалаш, потому что не сделана пропорция.

Голландский монах, плешивый, под колючим деревом читает книгу. На нем толстая дерюга и сидит, оборотясь задом.

И море.

Голубятня, простая, с колонками, а колонки толстые, как колена. И статуи и горшки. Собака позади, с женским лицом, лает. Птица сбоку делает на караул крылом.

Китайская пагода прохладная.

Два толстых человека на мосту, а мост на сваях, как на книжных переплетах. Голландское обыкновение.

Еще мост, подъемный, на цепях, а выем круглый.

Башня, сверху опущен крюк, на крюке веревка, а на веревке мотается кладь. Тащут. А внизу, в канале, лодка и три гребца, на них круглые шляпы, и они везут в лодке корову. И корова с большой головой и ряба, крапленая.

Пастух гонит рогатое стадо, а на горе деревья, колючие, шершавые, как собаки. Летний жар.

Замок, квадратный, старого образца, утки перед замком в заливе, и дерево накренилось. Норд-Ост.

И море.

Разоренное строение или руины, и конное войско едет по песку, а стволы голые, и шатры рогатые.

И корабль трехмачтовый в море.
И прощай, море, и прощай, печь.

Прощайте, прекрасные палаты, более не ходить по вас!
Прощай, верея, верейка! На тебе не отправляться к Сенату!
Не дожидайся! Команду распустить, жалованье выдать!
Прощайте, кортик с портупеей!
Кафтан!
Туфли!
Прощай, море! Сердитое!
Паруса, тоже, прощайте!
Канаты просмоленные!
Морской ветер, устерсы!
Парусное дело, фабричные дворы, прощайте!
Дело навигацкое и ружейное!
И ты тоже прощай, шерстобитное дело и валяное дело! И дело мундира!
Еще прощай, рудный розыск, горы, глубокие, с духотой!
В мыльню сходить, испариться!
Малвазии выпить доктора запрещают!
Еще прощай, адмиральский час, австерия, и вольный дом, и неистовые дома, и охотные бабы, и белые ноги, и домашняя забава! Та приятная работа!
Петергофский огород, прощай! Великолуцкие грабины, липы Амстердамские!
Прощайте, господа иностранные государства! Лев Свейский, Змей Турецкий!
И ты тоже прощай, немалый корабль!
И неизвестно, на кого тебя оставлять!
Сыны и малые дочки, потроха, потрошонки, все перемерли, а старшего злодея сам прибрал! В пустоту приведут!
Прощай, Питер-Бас, господин капитан банбардирской роты Петр Михайлов!
От злой и внутренней секретной болезни умираю!
И неизвестно, на кого отечество и хозяйство и художества оставляю!

Он плакал без голоса в одеяло, а одеяло было лоскутное, из многих лоскутьев, бархатных, шелковых и бумазейных, как у деревенских детей, теплое. И оно промокло с нижнего края. Колпак сполз с его широкой головы: голова была стриженая, солдатская, бритый лоб.

Камзол висел на вешалке, давно строен, сроки прошли и обветшал. К службе более не годится.

А через час придет Катерина, и он знал, что умирает, из-за того, что ее не казнил и теперь допускает в комнату. А нужно было ее казнить, и тогда бы кровь получила облегчение, он бы выздоровел. А теперь кровь пошла на низ, и задержало и держит и не отпускает.

И пустить бы в ту женку нижней кровью, чтобы живот ей разорвало!

А запечного друга, Данилыча, тоже не казнил и тоже не получил облегчения.

А человек рядом, в каморке, замолчал, не скрыпит пером, на счетах не брякает. И не успеть ему на тот гнилой корень топор положить. Прогнали уже, видно, того человечка из каморы, некому боле его докладов слушать.

Миновал ему срок, продали его, умирает солдатский сын, Петр Михайлов!

Губы у него задрожали, и голова стала на подушке запрометываться. Она лежала, смуглая и не горазд большая, с косыми бровями, как лежала семь лет назад голова того, широкоплечего, тоже солдатского сына, голова Алексея, сына Петрова.

А гнева настоящего не было, гнев не приходил, только дрожь. Вот если б рассердиться; он бы рассердился, пощекотала б тогда ему темя хозяйка, — он бы поспал и тогда бы выздоровел.

И тут на башню того замка, на которой моталась кладь на веревке, на ту синюю кафлю — вылез запечный таракан. Вылез, остановился и посмотрел.

В жизни было три боязни и все три большие: первая боязнь — вода, вторая — кровь.

Он в детстве боялся воды, у него от этой мути, от надутия больших вод подступало к горлу. И он за то полюбил ботик, что ботик — были стены, была защита от полой воды. И потом привык.

Крови он боялся, но малое время. Он видел, ребенком, дядю, которого убили, и дядя был до того красный и освежеванный, как туша в мясном ряду, но дядино лицо бледное, и на лице, как будто налепил маляр, была кровь вместо глаза. И он тогда имел страх, и тряску, но было

и некоторое любопытство. И любопытство превозмогло, и он стал любопытен к крови.

И третья боязнь была— тот гад, хрущатый таракан. Эта боязнь осталась.

А что в нем было такого, в таракане, чтоб его бояться? — Ничего.

Он появился лет с пятьдесят назад, пришел из Турции в большом числе, в Турецкую несчастную кампанию. Он водился в австериях, и в мокром месте, и в сухом; любил печь. Может, он его боялся оттого, что гад с Туречины? Или что он защельный, тайно прятался в щели, что все время присутствовал, жил, скрывался, — и нечаянно выползал? Или его китайских усов? Он похож был на Федор Юрьича, кесарь-папу, на князь Ромодановского, своими китайскими усиками. Или что он пустой и, когда его раздавишь, звук от него — хруп, как от пустого места или же от рыбьего пузыря. Или даже что он, мертвая тварь, весь плоский, как плюсна?

И когда нужно было ехать куда — то ехали вперед рассыльщики и курьеры, и они осматривали домы, где пристать, есть ли гад? А без того не приставал. Против гада не было изводчика, ни защиты.

А теперь он, Петр, плакал, в его глазах стояли слезы, и он не видел таракана. А когда одеялом утер глаза — тогда увидел.

Таракан стоял, шевеля усами, посматривал, и на нем был черный туск, как на маслине. Куда пойдут те ноги, сорок сороков? Куда они зашуршат? И соскочит на постель и пойдет писать по одеялу. Тогда стало томно его ножным пальцам, он задрожал; стала гусиная кожа. Он натянул одеяло на нос, а потом опростал руку из-под одеяла, чтобы дотянуться рукой до сапога и бросить сапогом в гада, пока тот стоит и не прячется. Но сапог не было, туфля была легкая и не убьет. Он потянулся и за нею, да не мог достать до нее, далеко, и он, повывая, пополз на руках. Какие слабые! Не держат! А грудь — как тюфяк, набитый трухой. Он так полежал, отдохнул. Потом руками дополз до кресел. Кресла были дубовые, точеные, и вместо ручек — женские руки. Он последний раз подержался за дубовые тонкие пальцы, и рука, как в воду, — съехала в воздух — все за туфлей. А туфли нет, и дна нет, и рука поплыла. Тут зубы забили дробь, потому что таракан стоял без его надзора и ждал его или, может, уже двинулся или сорвался куда.

И вдруг таракан в самом деле упал, как неживой,

стукнул и был таков. И оба были таковы: Петр Алексеевич лежал без памяти и безо всего, как пьяный. Его сила вышла. Но он был терпелив, и все старался очнуться, и скоро очнулся.

Он обернулся, выкатив глаза, на все стороны, — куда ушел гад? — посмотрел плохим взглядом поверх лаковых тынков и увидел незнакомое лицо. Человек сидел налево от кровати, у двери, на скамеечке. Он был молодой, и глаза его были выкачены на него, на Петра, а зубы ляскали и голова тряслась. Он был как сумасбродный или же как дурак, или ему было холодно. Рядом сидел еще один, старик, и спал. Лицом он был похож как бы на Мусина-Пушкина, из Сената. Молодой же по лицу был немец, из голштейнских.

Тогда Петр посмотрел еще и увидел, что у молодого ляскают зубы, а губы видимо трясутся, но что он не дурак, и сказал слабо:

— Ei, dat is nit permittert.

Ему было стыдно, что его таким видит голштейнский, что он забрался в спальную комнату.

Но вместе поменьшел и страх.

А когда взглянул на печь, таракана не было, и он обманул себя, что почудилось, не могло того статься, откуда здесь быть таракану? Стал слаб на некоторое время и забылся, а когда раскрыл глаза, увидел троих людей — все трое не спали, а молодой, которого он посчитал за голштейнского, был тоже сенатор, Долгорукий.

Он сказал:

— Кто?

Тогда старик и все встали, и старик сказал, вытянувши руки по швам:

— Наряжены беречь здравие вашего величества.

Он закрыл глаза и подремал.

Он не знал, что с этой ночи назначены по трое сенаторов стеречь в спальной. Потом, не смотря, махнул рукой:

— После.

И все трое вышли.

6

А в ту еще ночь в каморе, что рядом со спальной комнатой — шло тихое дело. Сидел за столом небольшой человек, рябоват, широколиц, невиден. Шелестел бумагами. Все бумаги были разложены по порядку, чтоб в любое

время предстать в спальную комнату и отрапортовать. Человек возился ночью с бумагами. Он был не из застарелых фамилий, главный фискал, генерал-фискал, и готовил доклад. Имя было ему: Алексей, по фамилии Мякинин. Бумаги он копил через неглавных фискалов; и самый тихий из них был купецкий фискал, Бусаревский. Он был самый неглавный. Он только ходил, слушал, проницал, он понимал это дело. И писывал, как дело не стоит, как оно не идет, и что дано, и что взято, и что утаено в необыкновенных местах. На дачу он имел нюх тонкий, на взятку — верхний, на утайку — нижний.

И когда настала терзательная болезнь, позвали того невидного человека и ему сказано: будь рядом, в каморке, со спальною моей комнатою, сбоку, потому что не могу более ходить в твои места. А ты сиди и пиши и мне докладывай. А обед тебе туда в каморку будут подавать. А сиди и таись. Таись и пиши.

И был после того ежедневно в каморке скрып и бряк — человек кидал на счеты огульные числа; а в обеденный час — чавкал. И утром второго дня человек прошел в спальную комнату тайком и рапортовал. После этого рапорта стало дергать губу, и показалась пена. Человечек стоял и ждал. Он терпеливый, пережидал, а голову держал набок. Невидный человек. Потом, когда губодерга поменьшела, человечек поднял лоб, лоб был морщеный — и заметнул взгляд до самой персоны, даже до самых глаз — и взгляд был простой, ресницы рыжи, этот взгляд бывалый. Тогда человек спросил, потише, как спрашивают о здоровье у хворого человека или у погорелого о доме.

Он спросил:

— А как скажешь, сечь ли мне одни только сучья?

Но рот был неподвижен, не дергался более и не отвечал ничего. А глаза были закрыты и верно начиналось внутреннее секретное грызение. Тогда рябой подумал, что тот не расслышал, и спросил еще потише:

— А и скажешь ли наложить топор на весь корень?

А тот молчал, и этот все стоял со своими бумагами. Человек рябой, невидный. Мякинин Алексей.

Тогда глаза раскрылись и тонкий голос, с трещиною, сказал Алексею Мякинину:

— Тли до тла.

А глаз закосил со страхом на Мякинина — показалось, что Мякинин жалеет. Но тот стоял — рыжий, пе-

стрина шла у него по лбу, небольшой человек, спокойный, — служба.

И теперь человек все прикидывал, и слагал, и пришивал толстою иглою, а в обед чавкал, и утром докладывал — лоб на лоб. Бумаги у него были уже толстые. Приходил к нему Бусаревский, купецкий фискал — был приказ этого неглавного человека пропускать во всякое время.

И когда купецкий фискал ушел, Мякинин разом вспотел и потел долго, вытирал лоб рукой, но и руки вспотели. А потом сел, кинул раза два всего на счетах и заскрыпел. Дело первое было светлейшего князя, герцога Ижорского. И как отскрыпел, пришил к нему начало. А начало уже и раньше было — о знатных суммах, которые его светлость переправил в Амстердамские и Лионские кредиты. Но это начало так и осталось началом, а он пришил еще другое, самое первое начало, — тоже о знатных суммах, которые его светлость положил в Амстердаме и Лионе. Знатнейших суммах. А вспотел он оттого, что те немалые деньги переслала через его светлость в голландский Амстердам и к французенам в Лион не кто иной, как ее самодержавие. Он весь вспотел. А потом заодно пришил ведомость еще неизвестных и тайных дач через Вилима Ивановича и протчих и тоже не его светлости данных, а прямо сказать — ее величеству.

Он особенного дела не завел, а прямо уже вшил в первое. Он потому и вспотел, что не знал, как тут быть: затевать особенное дело или нет. И не затеял. И после того как вшил, заботливым оком посмотрел на листы. И отщелкнул на счетах кости, и они показали сразу многие тысячи. Тьмы. И скостил, ничего на счетах не было.

Тогда толстоватым пальцем вороша по многу листов и слюня этот палец, сделал адицию, прикинул, и всего вышло 92. Долго смотрел и делал изумление лбом и глазами. И потом быстро вдруг — одну кость вверх — сделал супстракцию, осталось: 91. И так он брался, и даже тремя перстами, за эту последнюю кость, и так он на ней обжигался, и наконец не шибко ее приволок назад.

Тогда взялся за свои короткие волосы, сгреб их и начал чесаться. И разом составил счеты на пол.

Залег спать.

А те 92 кости были — 92 головы.

И утром пришел к докладу: тот еще спал. Он, Мякинин, постоял на месте.

Потом глаз открыт и тем дан знак, что слушает. И тихим голосом, даже не голосом, а как бы внутренним воркотаньем, у самого уха, доложено. Но глаз опять закрыт, и Мякинин думал, что лежит без памяти, и стоял, сомневаясь. Но тут покатилась слеза — и той слезой дан знак, что внял. А пальцами другой знак, и его не понял Мякинин: не то — уходить, не то, что нечего делать, нужно дальше следовать, не то как бы: мол, брось; теперь, мол, все равно.

Он так и не понял, а ушел в каморку, больше не скрыпел и счеты тихонько задвинул ногой. И ему забыли в тот день принести обед. Так он сидел голодный и спать не ложился. Потом услышал: что-то неладно, ходят там и шуршат, как на сеновале, а потом тихо, — и все не то. Под утро он оторвал тихонько, что пришил, разорвал на клоки и, осмотрясь, вложил в сапог. А числа цифирью записал в необыкновенном месте, на тот раз, что если придется, то можно все составить и доложить.

Через час толкнули дверь, и вошла Катерина. Тогда Мякинин Алексей встал во фрунт. И пальцем Катерина показала — уходить. Он было взялся за листы, но тут она положила на них свою руку. И посмотрела. И Мякинин Алексей, слова не сказав, пошел вон. Дома пожег в печке все, что было в сапоге. А цифирь осталась, только в непоказанном месте, и никто не поймет.

И немало дел осталось в каморке. Да что там, не об одном и не о двух.

Про великие утайки от кораблей и от судов, что строил, — это про генерал-адмирала господина Апраксина. И почти про всех господ из Сената, кто сколько и за что. Но только с поминовением великих взятков и утаек, а про малые писать места нет. Как купцы прибытки прячут, про купцов Шустовых, которые даже до многих тысячей налоги не платят, а сами в нетях, бродят неведомо где под нашим образом. Как господа дворянство прячут хлеб, и выжидают, чтоб имянно более денег нажить, когда голод настанет, их имена и многое другое. Осталось и куда делось — об этом Мякинин не думал.

Он был рыжий, широколобый, не верховный господин. Если б не Павел Иванович Ягужинский, он бы век не сидел, может, в той каморке, и его бы оттуда не гнала сама Екатерина.

К утру три сенатора пошли в Сенат, и Сенат собрался и издал указ: выпустить многих колодников, которые сосланы на каторги, и освободить, чтоб молили о многолетнем здоровье величества.

Начались большие дела: хозяин еще говорил, но более не мог гневаться. Ночью было послано за Данилычем, герцогом Ижорским. А он, уж из большого дворца, посылал к себе за своим военным секретарем Вюстом и сказал удвоить караулы в городе враз. Вюст враз удвоил.

И тогда все узнали, что скоро умрет.

7

А про это знали еще много раньше в одном месте, где все знают, — именно в кабаке, в фортине, что была на юру.

Фортина стояла при адмиралтействе. Она была строена для мастеровых, которым скучно, потому что мастеровые скучали по родным местам, где они родились, или по жене, по детям, которых дома они били, а то по разной рухляди или же по какой-нибудь даже одной домашней вещи, которая осталась дома, — они по этому сильно скучали в новом, пропастном месте.

И там, в кабаке, было пиво, вино, покружечно и в бадьях, и многие приходили, поодиночке и партиями, выпивали над бадьей из ковша, утирались и ухали:

— Ух.

Все шли в многонародное место — в кабак.

Над фортиною на крыше стояла на шесте государственная птица, орел. Она была жестяная с рисунком. И погнулась от ветра, заржавела, ее стали звать: петух. Но по птице фортину было видно на громадное пространство, даже с большого болота и с березовой рощи вокруг Невской перспективной дороги. Все говорили: пойдем к питуху. Потому что петух — это птица, а питух — пьяница. И тут многие знали друг друга, как при встрече на улицах; в Петерсбурке все люди были на счету. А были и безымянные: бурлаки петербургские. Они были горькие пьяницы.

Горькие пьяницы стояли в сенях над бадьей, пропивали онучи и тут же разувались и честно вешали онучи на бадью. От этого стоял бальзамовый дух. Они пили пиво, брагу, и что текло по усам назад в бадью, то другие

за ними черпали и пили. И здесь было тихо, только был слышен крехт и еще: — ух.

А в первой палате были всякие пьяницы, шумницы, и они пили со смехами и хохотаньем, им было все равно. Они были гулявые. И здесь кричали по углам:

— Вини!

— Жлуди!

Потому что здесь шла картежная игра, зернь и другие похабства. Иногда являлись и драки.

А дальше, в малой палате, в одно окно, были люди среднего рода, разночинцы светской команды, подьячие средней статьи, и мастеровые, и шведы, и французы, и голландцы. А также солдатские женки и драгунские вдовы, и охотные бабы.

И здесь пили молча, а то и громко, — по разности натур, но не шалили. И только немногие пели. Здесь были люди, которым всего скучнее.

В сенях была речь русская и шведская, а во второй — многие наречия. Из второй палаты речь шла в первую, а потом в сени — и уходила гулять до мазанок и до самого болота.

И она, речь, была пьяная, она пошатывалась по улицам.

И хоть речь была разная: шведская, немецкая, турецкая, французская и русская, но пили все по-русски и ругались по-русски. На том кабацкое дело стояло.

У французов был такой разговор: они вспоминали вино, и кто больше винных сортов мог вспомнить, тому было больше уважения, потому что у него был опыт в виноградном питье и знание жизни у себя на родине.

Господин Лежандр, подмастерье, говорил:

— Я бы теперь взял бутылку пантаку, потом еще полбутылки бастру, потом небольшой стакан фронтиниаку и разве еще малый стакан мушкателю. Меня в Париже всегда так угощали.

Но господин Лебланк, столяр, послушав, говорил ему:

— Нет, я не люблю фронтиниаку. Я пью только санкт-лорану, алкану, португалу и секту кенарии. А больше всего я люблю эремитажу. Я в Париже угощал, и все хвалили.

Пораженный таким грубым ответом Лебланка, столяра, подмастерье, господин Лежандр, выпил кружку водки.

— А вы не любите араку? — спросил он потом Лебланка и любопытно взглянул на него.

— Нет, я не люблю араку, и я совсем не пью горячего вина, — ответил Лебланк.

— Э, — сказал тогда господин Лежандр, подмастерье, совсем уж тонким голосом, — а вчера господин мастер Пино меня угощал араком, шеколатом, и мы курили с ним виргинский табак.

И выпил кружку пива.

Но тут господин Леблапк стал свирепеть. Он смотрел во все глаза на Лежандра, свирепел, а усы у него стали как у моржа, во все стороны.

— Пино? — сказал он. — Пино такой же мастер, как я, а я такой же, как Пино. Только он режет рокайли и гротеск, а я режу все. И еще точу для твоего патрона вещи, которые я сам не понимаю, для чего они нужны, тысяча мать, — и последнее слово господин Лебланк, столяр, сказал по-русски.

Господин Лежандр был доволен такими словами столяра, что художественный столяр рассердился.

— А достали ли вы, господин Лебланк, тот дуб — для нас с графом, помните ли вы? — тот отрезок лучшего дуба, чтобы его долбить — как мы с графом вам сказали, — не правда ли?

— Я не достал, — сказал Леблапк, — потому что я не гробовщик, а резчик архитектуры, а здесь только гробы долбят из дуба, а это запрещено законом, и никто не продает, тысяча мать, — и последнее слово он сказал по-русски.

Пива он не пил, а все водку, и тут стал шумен и схватил за грудь господина подмастерья Лежандра и стал трясти.

— Если ты не скажешь мне, зачем твой граф скупает воск, а я должен искать этот дуб — я иду в приказ и, тысяча мать, скажу, что ты помогаешь делать штемпели для запрещенных денег, и не хочешь ли тогда supplice des batogues или du grand Knout?

Тогда господин подмастерье Лежандр стал смирен и сказал так:

— Воск для рук и ног, а дуб для торса.

И они помолчали, а Лебланк стал думать и смотреть на Лежандра, и долго думал, а подумав, —

— Э, — сказал он тогда спокойно, — значит, наверху

в самом деле собираются отправиться к родителям? Не беспокойся, я уже делал один такой торс.

Потом он утер усы и сказал:

— Меня все это не касается, я прямой человек и не люблю людей, когда они кривят. Я тебе дам бутылку флорентинского и пачку табаку брезиль, он лучше виргинского. Меня это не касается. Я заработаю еще тысячи три франков, и я уезжаю из этой страны. Пино такой же мастер, как я. Только он режет рокайли, а я все. И я режу на камне, что ты мог бы знать, если бы интересовался, а он только на дереве. А дуб такой действительно трудно найти.

Тут подмастерье, господин Лежандр, стал насвистывать и запел тонким голосом французскую песню, что он, ран-рон, нашел в лесу девицу и стал ее щекотать, все дальше и больше, а потом ее и совсем ран-рон, а господин Лебланк говорил о дереве Сесафрас, которого в России нет, потом заплакал и произнес из оды Филиппа Депорта, на прощанье с Польшей:

Adieu, pays dun éternel adieu! — ясно уже потому, что в мыслях своих увидел, как заработал свои тысячи франков (и не три, а все пятнадцать) и как он уезжает в город Париж из этого болота. А что Польша, что Россия, было ему все равно.

И тут во второй палате появился Иванко Зуб, он же Иванко Жузла, или Труба, или Иван Жмакин. Он прошелся легкой поступочкой по второй палате, посмотрел что и как и прошел мимо, но его остановил один портной мастер и сказал ему:

— Стой! Твой лик мне знакомый! Ты не из портных ли мастеров?

— Угадал, — сказал Иванко, — я и есть портных дел мастер, а чего это немец поет? — И кивнул головой на Лежандра, и мигнул знакомому ямщику, который хлебал квас, и опять выплыл из палаты своей легкой поступочкой.

А за вторым столом действительно сидел немец и пел немецкую песню.

Бальт ге их, бальт ште их
Унд вейс дох нихт вохин!

Это был господин аптекарский гезель Балтазар Шталь. Он сюда пришел из Кикиных палат, из куншт-

каморы, и он был до того худ и высок, веснушки по всему лицу, что все его знали в Петерсбурке. Но он не часто бывал в фортине. Он состоял при куншткаморе для перемены винного духа в натуралиях. И в год уходило на эти натуралии до 1000 ведер вина, из которого цедили винный дух. И потому, что он переменял этот винный дух, он, гезель, весь пропах этим духом. А теперь сидел в фортине, и против него сидел другой гезель, от славного аптекаря Липгольда, из врачевской аптеки, с Царицына Луга, и тот был старый немец, то есть почти русский. Уже его отец родился в Немецкой слободе на Москве, и поэтому его звание было: старый немец. Он был еще молодой.

Старый немец слушал господина Балтазара с уважением, потому что был почти русский.

Господин Балтазар спел песню, что он то стоит, то ходит, и сам не знает куда, — и объяснил наконец своему товарищу, старому немцу, что он для того пришел в фортину, что уроды выпили весь винный дух. Он ругал их. Уродов было всего четыре человека, и главный урод был Яков, самый из них умный, и Балтазар поставил его поэтому командиром над всеми уродами, которые дураки. Никогда этого не случалось с ним, чтобы он так брутализировал или показывал дурные тентамина, вплоть до вчерашнего великого гезауфа, когда он, Балтазар Шталь, нашел к утру всех уродов почти больными от гнусного пьянства, и еще должен был ухаживать за ними, потому что они натуралии.

Старый немец сказал тогда:

— Тсс! — и так выразил, что он понимает такое трудное положение Балтазара и негодует на уродов.

Сегодня же, сказал Балтазар, ввиду того, что господин Шумахер за границей, и он, Балтазар, теперь заменяет этого великого ученого (а дело это великой государственной важности, но лучше об этом не говорить, потому что в двух банках стоят у него особо такие две человеческие головы, о которых ни слова, и если эти натуралии испортятся, тогда начнется такое, что лучше об этом не думать), — он пошел на квартиру господина архиятера Блументроста — для того, чтобы рапортовать и просить нового винного духа, так как старый уроды выпили всё до капли.

Старый немец сказал тут! О! — и так выразил одновременно, что уважает таких знаменитых лиц и сожа-

леет, что все они принуждены утруждать себя из-за уродов, но что он не желает подробностей о каких-то государственных головах.

— Что же сделал секретарь господина архиятера? — спросил внезапно господин Балтазар.

Старый немец показал руками, что он не знает.

— Он затолкал мои доклады под чернильницу, закричал и затопал на меня, что когда царь болен, то об уродах нечего беспокоиться, и — рраус, рраус, вытолкал меня в дверь. Так разыгралась эта трагедия.

— Ссс, — сказал старый немец и потряс головой, показывая этим, что хоть считает Балтазара правым, но судьей между крупными людьми быть не может.

Потом он сказал, переводя разговор в сторону от таких обидных воспоминаний:

— Да, действительно, конечно, хотя там, наверху, в самом деле, кажется, очень больны, и господин Липгольд сказал мне, что уже послан от господина архиятера человек в Голландию спросить consilium medicum у господина Боергава, потому что здешние доктора не знают такого лекарства.

Тогда, совсем успокоившись, господин Балтазар Шталь поднял палец и сказал негромко:

— Интересно, какой интеррегнум произойти здесь может! Но лучше не говорить. Господин Меншенконф, вот кто будет править — клянусь! Но об этом ни слова.

Но когда он взглянул на старого немца, — никого не было напротив. Старый немец был таков: испугавшись неприличного разговора, он уже был в первой каморе.

А в первой каморе сидел рыбак и пил, и в это время проходил Иванко, и рыбак вдруг остановил его и, вглядевшись, сказал:

— Стой! Будто я тебя знаю, твой вид мне знакомый. Ты не рыбачил ли на Волге?

— Угадал! — сказал Иванко и сощурил глаза, — рыбачил, на Волге, я самый.

И потом прошел легкой поступочкой в угол и сел ко столу, а под столом натаяла лужа от всех ног, и за столом сидели разные люди.

— Вот меня в смех взяло, — сказал Иванко негромко, — вижу, все здесь люди млявые.

И люди все почти, завидя Иванку, разбрелись кто куда, а осталось трое.

Троим Иванко сказал:

— Ну, теперь будет потеха. Помирать коту не в лето, не в осень, не в авторник, не в среду, а в серый пяток. Уже в Ямской слободе лошадей побрали, с почтового двора поскакали — в немечину смерть отвозить. Меня в смех взяло, — вижу, бродят все люди млявые. А завтра всех выпускать будут!

И трое спросили: кого?

— А будут выпускать, — ответил Иванко Жузла, — портных мастеров, которые дубовой иглой шьют, и еще отпускать будут на все четыре стороны волжских рыболовов, тех, кто рыбку ловят по хлевам и по клетям. Их завтра отпускать будут — тут торг, тут яма, стой прямо! А вы млявые! Вот меня в смех взяло!

И тогда один из троих, с длинными волосами, как бы расстрига, пустил над столом хрип:

— Днесь умирает от пипки табацкия!

В скором времени в фортину взошел господин полицейский капитан, а за ним двое рогаточных караульщиков с трещотками, — и капитан прочел указ: закрывать фортину, для многолетнего императорского здоровья. Он выпил над бадьей, караульщики тоже выпили. И ушли все люди, которые уже раньше все знали, все мастеровые, которым скучно, и немцы, и шхиперы, и ямщики, и разные люди.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Не лучше ли жить, чем умереть?
Выменей, король самоедский

1

В кунштсамоое было немалое хозяйство. Она началась в Москве и была каморкой, а потом была в Летнем дворце, в Петербурге; тут было две каморки. А потом стала кунштсамора, каменный дом. Он был отделен от других, на Смольном Дворе; тут было все вместе и, живое, и мертвое, только у сторожей своя мазанка при доме. Сторожей было трое. Один имел смотрение за теми, что в банках, другой за чучелами, обметать их, третий —

в палатках чистить. Потом, когда по важному делу Алексей Петровича сказнили на площадке господина Кикина, всю куншткамиру поголовно, все неестественное и неизвестное перевели в Литейную часть — в Кикины палаты. Так странствовали все натуралии. Так их перевозили из дома в дом. Но это было далеко, заезжать и заходить все стали не так охотно и прилежно. Тогда начали строить кунштхаузы на главной площади, так чтоб со всех сторон были главные вещи: с одной стороны — здание всех коллегий, с другой стороны — крепость, с третьей — кунштхаузы и с четвертой Нева. Но пока что в Кикины палаты мало ходило людей, у них не было такой прилежности. Тогда придумано, чтобы каждый получал при смотрении куншткамиры свой интерес: кто туда заходил, того угощали либо чашкой кофе, либо рюмкой водки или венгерского вина. А на закуску давали цукерброд. Ягужинский, генерал-прокурор, предложил, чтобы всякий, кто захочет смотреть редкости, пусть платит по рублю за вход, из чего можно бы собрать сумму на содержание уродов. Но нет, это не принято, и даже выдавали водку и цукерброды без платы. Тогда стало заметно больше людей заходить в куншткамиру. А двое подьячих — один средней статьи, другой старый — заходили и по два раза на дню, но им уж водку редко давали, а цукербродов никогда. Давали сайку или крендель, а то калач, а то и ничего не давали. Подьячие жили поблизости, в мазанках.

А водил их по куншткамире, чтобы они чего не попортили или не унесли с собой — господин суббиблиотекарь или же сторож. Или главный урод, Яков. Яков был еще и истопник, топил печи. В Кикиных палатах было тепло, иначе младенцы в винном духу могли бы попортиться.

2

Золотые от жира младенцы, все лимонные, плавали ручками в спирту, а ножками отталкивались, как лягвы в воде. А рядом — головки, тоже в склянках. И глаза у них были открыты. Все годовалые, или двулетние. И детские головы смотрели живыми глазами пестрыми: то голубыми, то цвета василька, то темными; человеческие глаза. И где отрезана была голова — можно было подумать, что сейчас брызнет кровь, — так все сохранялось в хлебном вине.

Пуериканут № 70

Смугловатая. Глаза не так широко раскрыты, как у других, а напротив, как бы с неудовольствием скошены — и брови раскосые. Нос краток, лоб широк, подбородок востер. И желтая цветом, важная, эта голова — и малого ребенка и как будто монгольского князька. На ней спокойствие и губы без улыбки, отяжелели. Он был доставлен, мальчик в Палаты из Петропавловской крепости. Из каморы какой неизвестно. И кто из женок там сидел в то время? Трое. И третья была пленная финская девка, по прозванию Ефросинья Федорова. Она сидела по делу Алексей Петровича, царевича, Петрова сына. Она была его любовница, она его и выдала. Она в крепости родила. И стало — капут пуери № 70 — это внук Петров? Ничего того не известно. Тяжелыми веками он смотрит на все, недовольный, важный, как монгольский князек, — как будто жмурится от солнца.

Палата была большая, солнце в ней долго стояло. Дождь за окнами был не страшен. Было тепло. И по разным местам был разбросан господин Буржуа.

Буржуа

Он был великан, французской породы, из города Кале; гайдук и пьяница. Был взят за рост. Сажень и три вершка. И долго искали для него жену побольше ростом, чтоб посмотреть, что выйдет из этого? Может быть, произойдет высокая порода? Ничего не вышло. Был высок, пьяница — и больше пользы от него не было. Родил сына и двух дочерей, обыкновенные люди. Но когда от злой Венеры он умер, с него сняли шкуру. То была вторая шкура. Для Рюйша. Иноземец Еншау взялся ее выделать, много хвастал и уже с год держал ее, все не отдавал, а только просил денег и шумствовал. Самого же Буржуа потрошили. Желудок взят в хлебное вино — и размером был как у быка. Он стоял в банке, в шкапу. А кроме того, стоял скелет господина Буржуа. Велик и, что любопытнее всего, изъеден Венерой, как червем. Так господин Буржуа был в трех видах: шкура (которая за мастером Еншау), желудок (в банке), скелет на свободе.

А в третьей палате стояли звери.

И всякий, кто заходил и смотрел, думал: вот какой блестящий, жирный зверь в чужой земле!

Звери стояли темные, блестящие, с острыми и тупыми мордами, и морды были как сумерки и смотрели в стеклянные стенки. Сходцы со всей земли, жирная шерсть, западники!

Обезьяна в банке сидела смирная, морда у ней была лиловая, строгая, она была как католический святой.

Лежали на столах минералы, сверкали земляными блестками. И окаменелый хлеб из Копенгагена.

И всякий, кто заходил, смотрел на шкафы и долго дивился: вот какие натуралии! А потом наталкивался на тех зверей, которые стояли без шкафов. Без шкафов, на свободе, стояли русские звери или такие, которые здесь, в русской земле, умерли.

Белый соболь, сибирский, ящерицы.

Слон

Он стоял у белого дома, а кругом люди кричали, как обезьяны, хором:

— Шахиншах! — и падали на колени.

А наверху двое, и те не падали на колени. Потом он стал взбираться по лестнице. Уши тяжелые от золота, бока крыты малыми солнцами, кругом воздух, внизу ступени широкие, серые, теплые. И когда взобрался, крикнули вожаки ему слоновье слово, и он тогда поклонился и стал на колени перед кем-то.

— Шахиншах! Хуссейн!

Потом была тростниковая солома под ногами, была вода в губах и обыкновенная еда.

А потом за ним пришли персиянин, араб и армяне в богатых одеждах, и тогда уж время стало шумное, валкое.

Он не знал, что Персида шлет подарок и что подарок это он. Он не мог знать, что Оттоман, Хуссейн Персидский и Петр Московский спорят из-за Кавказа, что Кабарда, Кумыцкие Ханы и Кубанская Орда — кто за кого и один от другого все пропадают. Он плыл на досках, доски качались под ногами, и вода пахла, и так он достиг города Астрахань. Опять стало много людей и верблюдов и крика. И стала твердая земля. А когда его повели по улице, — а он шел медленно, — люди бро-

сались на колени перед ним и мели головами пыль. А он шел медленно, как бог.

Потом уходили из города Астрахань, и много людей с узлами пошли за ним, как идут богомольцы. Теперь уж время стало холодное — воды много, ни тростниковой соломы, ни муки, пустое время, и уж многое пропало. Уже вступил в неизвестную страну.

И привели его в город не в город, не то дома, не то корабли, не то небо, не то нет. Подвели его к деревянному дому и крикнули слоновье слово, и опять он стал перед кем-то на колени.

Тогда по воде вдруг загудело, и прогудело много раз.

А он шел медленно, как бог, но никто перед ним не падал. И там, где он спал, пахло чужим и горьким деревом, было серое время, была водка на губах, рис во рту и не было тростника под ногами. Больше слонов он не видал, а видел только не-слонов. Потом время стало трескучее. Ветер мычал поверх деревьев, синоватый, чужой. Он не знал — не мог знать, — что это называется: Норд. От этого был немалый холод, и слон дрожал.

Тогда слон перестал скучать по слонам и стал тосковать по не-слонам, потому что и те пропали.

А потеплело — его вывели с Зверового Двора. И многие не-слоны стали бросать в него палками и камнями. Тогда слон оробел и побежал, как младенец, а кругом свистели, и топали, и это над ним смеялись.

Ночью слон не спал: с вечера его напоили сторожа водкой. И вот в каморе рядом сделалось глухое дыханье и вздыхательный рев, ровный. Он послушал: львиное дыхание. И он не мог знать, что это тоже шахские подарки — рядом, а именно: лев и львица; он был пьяный, встал, сорвал цепь и вышел в сад. А сад был ненастоящий, в нем не было деревьев, а только один забор. Тогда он поломал забор и пошел на Васильевский остров. Там он стреканул по дороге, как неразумный младенец, за ним побежали, а он все набавлял шагу. В него метали щебень, щепье, камни, доски. И когда ему стало больно, глаза у него застлало кровью, он поднял хобот и пошел вперед, как в строю, как будто рядом было много слонов. Он поломал чухонскую деревню, и тут его поймали, и ударили ногой в бок. Его опять свели на Зверовой Двор.

Не-слонов становилось все меньше, их глаза явля-

лись все реже, и последний не-слон часто шатался, кричал, как обезьяна, и ударял ногой в слоновье брюхо. А хобот повис, как ветер, и лень его поднять, чтобы отогнать ту последнюю обезьяну.

Тогда слона стали мало кормить, он стал спадать с тела от бедной еды и лежал сморщенный, серая кожа была на нем как ситец на старухе, глаз красный и дымный и более не похож на глаз. Он ходил под себя, его недра тряслись. Такие просторные! И весь обмяк, стал как грязная пьяница, только дыханье ходило в боках.

Тогда он умер, шкуру сняли и набили, и он стал чучело.

Различные минералы великой земли лежали на столах.

Неподалеку стоял африканский осел — зебра, как калмыцкий халат.

Морж.

Лапландский олень Джигитей

Это Самоеды пришли. Это великая Самоядь послала гонцов в Петерсбурк, и самоеды шли на оленях и стали на Петровом острову. Много деревьев и довольно моху. Один раз зажгли большой огонь, плясали, били в ладоши и пели. Он не мог, Джигитей, знать, что умер король Самоедский и нет более, он только нюхал дым. Потом пришли к Джигитею.

— Джигитей-ей-ей!

Ветер был во рту, и олень ел его вместо моха, пока не стало больно, потому что досыта наелся. А его все кололи в бок, вожжи все пели, он ел и ел ветер и больше не мог.

И когда доскакал до некоего места, кругом кричали:

— Король Самоедский, — а с него сняли лямку, и человек гладил его иршаной рукавицей, а он упал.

Он упал, потому что объелся ветром, и умер, и шкуру сняли, набили, — и он стал чучело.

Лежали минералы на столах.

Стояли болваны, которых искал Гагарин, сибирский провинциал. Хотел достать из земли минералов, а

ископал в Самарканде медные фигуры: портреты минотавроса, гуся, старика и толстой девки. Руки у девки как копыта, глаза толстые, губы смеются, а в копытах своих держит светильник, что когда-то горел, а теперь не горит. А у гуся в морде сделана дудка. И это боги, а дудка сделана, чтоб говорить за бога, за того гуся. И это обман. Надписи на всех как иголки, и никто в Академии прочесть не может.

Жеребец Лизетта, самого хозяина. Бурой шерсти. Носил героя в Полтавской баталии, был ранен. Хвост не более 10 вершков длиною, седло обыкновенной величины. Стремена железны, на полфунта от земли.

Два пса — один кобель, другой сучка. Самого хозяина. Первый — датской породы, Тиран, шерсть бурая, шея белая. Вторая — Лента — аглинской породы. Обыкновенный пес. Потом щенята: Пироис, Эоис, Аетон и Флегон. И кроме живых уродов еще много всего.

А в подвале человеческие вещи: две головы, в склянках, в хлебном вине.

Первая называлась Вилим Иванович Монс, и хоть стояла на колу с месяц и снег и дождь ее обижали, но можно еще было распознать, что рот гордый и приятный, а брови печальны. А он такой и был, и даже в самой большой силе, когда со всех сторон были ему большие дачи, когда он с хозяйкой леживал, — он всегда был печальный. Это сразу было можно по бровям признать.

Ach, sto jest swet if swete, ach, fso prati fnaja,
Ne magu schit, ne umerty, sertra taskliwajaé?

Может, он хозяйку и не любил полковницу? А только для больших дач и для будущей фортуны с нею лежал? И в это время сам ужасался своим газартом и ждал беды?

А вторая голова была Марья Даниловна Хаментова — Гамильтон. То голова, на которой было столь ясно строение жилок, где какая жилка проходит, — что сам хозяин на помосте сперва эту голову поцеловал, потом объяснил тут же стоящим, как много жил проходит от головы к шее и обратно. И велел голову в хлебное вино и в куншткамиру. А раньше с Марьей леживал. И она имела много нарядов, соболей, она каталась в аглинской карете.

А теперь за ними двумя ходил живой урод сверху и привык к ним. Но посетителям до времени их не пока-

зывали. Потому что хотя были ясны все жилки в головах, но это было домашнее дело, нельзя было каждому, — и даже большим персонам, — выказывать свою домашность.

К Благовещенью не всех носили: носили малых царенков, старых сестер. Кто умирал от болезни, тех носили. Алексей Петрович был у Петра и Павла. А и здесь, среди раритетов, было немало знакомых, домашних, тех, что случайные: Марья Даниловна, Вилим Иванович, внучек, лошадь и две собачки со щенятами.

А в малой комнате были еще птицы — как цветы: белые, красные, голубые и желтые. Сама голубая, хвост черный, клюв белый. Кто ее, такую, поймал?

И сам хозяин, когда был однажды в комнате, он открыл вдруг шкап и вынул голубую и поцеловал.

Лежали дорогие камни, красные, желтые и синие, честные камни, которые прислал Геннин Уральский, которые достали из-под земли чьи-то руки. А чьи руки?

3

Указ о монстрах или уродах. Чтобы в каждом городе приносили или приводили к коменданту всех человечьих, скотских, звериных и птичьих уродов. Обещан платеж, по смотрении. Но мало приводили. Драгунская вдова принесла двух младенцев, у каждого по две головы, а спинами срослись. Сделан ли платеж малый, или что другое, — но в таком великом государстве более уродов не оказывалось.

И тогда генерал-прокурор, господин Ягужинский, присоветовал ввести на уродов тарифу, чтоб платеж был справедливый. Плата такая: за человечьего урода по 10 рублей, за скотского и звериного по 5, за птичьего по 3. Это за мертвых.

А за живых — за человечьего по сту рублей, за скотского и звериного по 15, за птичьего урода по 7. Чтоб не слушали нашептов, что уроды от ведомства и от порчи. Чтоб доставляли в кунштками ору. Для науки. Если же кто будет обличен в недоставлении — с того штраф вдесятеро против платежа. А если урод умрет, класть его в спирты. Нет спиртов — класть в двойное вино, а то и в простое и затянуть говяжьим пузырем. Чтоб не портился.

4

Многие стали косо смотреть: нет ли где монстра или урода? Потому что за человечьего урода платили по сто рублей. Стали косо смотреть друг на друга. Особенно смотрели коменданты и губернаторы.

Встречались монстры. Князь Козловский прислал барашка, восемь ног; другого барашка, три глаза, шесть ног. Он ехал по дороге, видит — что такое? — пасется баран, а у него ног не то шесть, не то осьмь, в глазах рябит. Думал, что от водки, и проехал мимо, — потом велел имать; привели барана — осьмь ног. Приказано искать хозяина. Пошли в дом: там не найдено никого — хозяин в нетях и скорей всего схоронился в овсы. Велено барана взять. Получено благоволение и тридцать рублей денег. Тогда узнал про это уфимский комендант Бахметьев и высмотрел такого теленка, у которого были две монструозные ноги. Но за ноги дано 10 рублей. Нежинский комендант прислал человечьего урода: 1 младенец, глаза под носом, уши под шеей, а сам нос нивесть где. Тогда пушкарская вдова из Москвы, с Тверской улицы, представила младенца, у которого рыбий хвост. А губернатор, князь Козловский, все смотрел, нет ли человечьего монстра, потому что сто рублей и пятнадцать рублей — оказывало большую разницу. Но нет, не было. Тогда послал двух собачек. Собачки были обыкновенные, но дело в том, что они родились от девки 60 лет. И хотел получить двести рублей, как за человечьих уродов. Все-таки дано двадцать, потому что собачки были не скоты и даже не уроды. И он дал наказ всем комендантам — смотреть востро, и тогда получат часть. И послана в куншткамору свинья, с человечьим лицом, — если смотреть сбоку — чело у нее, у свиньи, похоже на людское. Человеческий фронт. Но одним это казалось, а другим нет. Дано 10 рублей.

Живых уродов было трое: Яков, Фома и Степан. Фома и Степан были редкие монстры, но дураки. Они были двупалые: на руках и на ногах у них было всего по два пальца, как клешни. Но обходились и двумя. Если им подавали руки и говорили:

— Здравствуй, пожалуй! — то монстр Фома или монстр Степан жали руки и кланялись. Оба были молодые, одному 17, другому 15 лет. Их привел рогатовный

караульщик, а они не могли себя назвать, кто такие, потому что были дураки. Караульщику дали три рубля. Потом явился черепаховых дел мастер и сказал, что дураки — ему племянники, и тоже потребовал платежа. Но сказано, чтоб убирался, потому что за недонесение должен был еще сам выплатить штрафу 1000 рублей.

Сторож был старый солдат и часто бывал шумен. Он приходил в вечернее время, когда не было посетителей, и кричал:

— Двупалые! Стройся в кучки!

И двупалые строились. Это была как бы команда и сторож делал ей смотр. На Якова он не кричал. Яков был шестипалый. Он был умный, и его продал брат.

5

Он был шестипалый, и умный, и крестьянствовал. Земля была изношенная, переношенная, вымотанная вся, но было бортное ухожье, и еще отец поставил пасеки. Поставил, умер и перестал крестьянствовать, вышел из тягла. Тогда в тягло вошли мать и Яков, шестипалый. Брат же его, Михалко, был в солдатах, его взяли еще перед нарвским походом, когда Якова не было еще в тягле, он еще не родился. Он был моложе брата на пятнадцать лет. И вдруг теперь, через двадцать два года, пришла на погост какая-то команда, стала постоем, а к Якову явился старый солдат и сказался Михалкою. Мать его признала.

Он смотрел строго. Как садились за стол, он смотрел в рот Якову, сколько ест, чтоб не слишком много ел. Что-то у него было на уме. Он посвистывал. Ходил на полковой двор, уезжал, бывало. Куда уезжал? Он не любил разговаривать. Его на улице так окликали:

— Эй, война!

А тягло тянул Яков.

Мать стала сохнуть, в лице зелень, жадные глаза. Она тоже стала посматривать в рты, кто сколько ест. А иногда говаривала:

— Хоть бы он шумел или разодрался. Другие шумствуют.

Другие, верно, шумствовали. Мундирчики у многих истратились, стали являться зипуны. Пять человек оказались в нетях. Перестали ходить на полковой двор, а потом там у всех спрашивали: где они? А им сказали:

нет. Многие поженились, пристроились ко дворам, к дымам. Потом стали охаживать двор, огород. И в малое время команда расползлась и ударила во все стороны; хоть чинила обиды и часто являлось солдатское воровство, но все-таки с шумными людьми можно жить. А потом полковой двор опустел. Уехал куда-то господин капрал, и выросла во дворе жирная трава. Там остался один фелтвебол, и он стал держать торг зельный и винный. И не слыхать было ни о Балка полке, ни о самом господине Балке, командире.

А Михалко слагал какое-то прошение. Он знал грамоте. И вот однажды поехал и приехал. Мундир издержался, он построил себе из дерюги кафтан, а обшлага и отвороты нашил на дерюгу. Шестипалый ходил и скучал под этим братным взглядом. Он не знал своего брата; пока он тягло справлял, пота и ухожье его, и пчелы его, и мед, и воск. А война ест хлеб. Он, Яков, знал белить воск под луной, его научили. А солдат все приведет в пустоту. Раз как-то задумался, вышел на двор, посмотрел на ухожье, ухожье было темное, и сказал тихо:

— Не наямишься на этот рот.

Взошел в избу и дал денег солдату на вино. Солдат взял у него по счету, строго. Деньги у Якова были спрятаны в таком месте, что и мать не знала. В двух местах. В одном мало, в другом поболее. Он из малого места доставал для солдата.

Михалко же составлял челобитную о характере. И он ее писал два года, по слову в день, а уезжал в город, и там подьячий ему ту челобитную правил.

Всемилостивейший царь и государь!

Служу я всенижайший в господина Балка полку с году... со всяким прилежанием. Пулей бит в нарфском деле в спину. От ран имел желтую болезнь и получил облегчение на марцыальных водах по приказу вашего самодержавия. Ныне пришел в конечный упадок в деревне Сивачи. Мундир явился ветхий и в дырьях, чего для ото всех осмеян. Характеру и трактаменту никакого не имею. И ныне всемилостивейшим вашего величества указом даются чины и характеры. Того ради, всемилостивейший государь, прошу твоего самодержавия, дабы, по милосердию вашему, удостоен я был характером, готов в поход, готов в баталию, или в караул, рогаточным и тре-

щотным караульщиком, или в Приказ, чем бы я мог пропитание иметь. Вашего величества нижайший раб

господина Балка полка
солдат.

А подписывать все не торопился. И год, с которого был взят, — не помнил. Носил полгода листок под рубахой и по ночам шелестил. И листок стал ветхий, как мундир. Просыпалась мать, поднимала худую голову и качала ею, как на шестке: шелестит. Хоть бы шумствовал.

Но однажды просиял. Ходил на зельный двор, пришел домой, стал чистить ремень, косачом оголил бороду — и лик его просиял.

Мать ахнула.

Потом подступил к Якову и сказал:

— Собирайся, по указу его самодержавия, по приказу господина Балка полка. Давать подводу для отвоза арештованных в Санкт-Петерсбурк. По делу калечества.

И посмотрел кругом. И взгляд этот был как звезда: он не обращен был ни на мать, ни на брата. Он растекался по сторонам. И тогда мать и брат поняли, что дом не дом, а пчелы залетные, и воск будут другие топить. Что нужно ехать.

И они поехали, ехали день и ночь и молчали. И приехали в Санкт-Петерсбурк, и солдат продал своего брата в куншткамиру и получили 50 рублей. По указу его величества. Солдат господина Балка полка. И он вернулся домой. А Яков стал монстр, потому что у него было по шести пальцев на обеих руках и на обеих ногах. И стал ковылять по Кикиным палатам и получил характер: истопник. И Яков посматривал на товарищей. Товарищи были заморские, без движения. Большие лягушки, которых звали: лягвы. Прилипало, который липнет к кораблям и может топить их. И Яков уважал Прилипало, или иначе держиладие, за то, что тот может топить корабли. И Яков стал спрашивать сторожей, сторожа стали называть ему: змей, морской пес, гнюсь. И Яков стал водить по камере посетителей. Он водил их по комнате, показывал шестым пальцем и говорил кратко:

— Легва. Вино простое.

Или так:

— Мальчонок. Двойное вино.

Он получал в месяц два рубля, а на дураков выдавали по рублю.

Раз подьячий средней статьи, которому не дали калача, ухватился рукой за хобот слона, что было настрого запрещено, потому что один, другой хватится за хобот, потом могут и вовсе оторвать. А потом стал хватать его, Якова, за пальцы, чтобы лучше рассмотреть, какой он шестипалый. Тогда Яков, не говоря ни слова, показал подьячему кулак, и тот сразу осел. А потом запросил пардону и стал его уважать. И Яков жил в свое удовольствие. Перед отъездом пошел он в одно неизвестное место, открыл деньги, завязал в пояс, и тот пояс был теперь на нем. И двупалые его боялись, а сторожа уважали. Он звал двупалых: неумы. Он их водил в мыльню париться. А когда стал ходить за теми, за двумя головами, внизу, он долго смотрел Марье Даниловне в глаза, — а глаза были открыты, как будто она кого-то увидала, кого не ждала, и урод смотрел строение жилок.

И когда подсмотрел, какие жилки где находятся, тогда он понял, что такое человек.

Но все дни ему было скучно, и ему казалось, что его скука от слона, что он такой серый, большой, с хоботом. И было положение: они будут жить в каморе до самой смерти, а потом их положат в спирты, и они станут натуралии.

6

А брат Михалко вернулся без характера: он раздумал подавать челобитную, он решил ждать времени. Безо времени нельзя подавать. И застал дома большую перемену. Мать хозяйствовала и стала разговорчива. И также начала посматривать на него, как Яков раньше смотрел. Но воска белить не могла, как Яков, и Михалко тоже не мог. Братские деньги, как пришел, он увязал в тряпицу и сунул в опечье, между камнями. Место сухое. А откуда тот способ добыл Яков? Может, от прохожего шведа? Никто не знал.

И воск стал не тот: с пергой, темный, ломался. Может, дело в гоне, как его топить? Или пчела переменилась?

И мать все теперь говорила о воске. И уж думать забыла о Якове, а о воске все помнила, какой он был.

Проходили разные люди через повост. Кто опи — богомольцы или беглые, никто не знал.

У вдруг вечером мать сказала:

— В воске вся сила. Теперь воск как хлеб. И дань вощаная. Потому что у царевой немки пестрина пошла по посу; чтоб ее избыть, она воск ест. А воск на еду идет белый.

И тогда солдат подавился хлебом и ощутил челобитную на груди, и челобитная зашелестела, он ударил по столу кулаком и крикнул, побелев от великого страха и гордости:

— Слово и дело!

7

Тогда каторга шевелилась по дорогам, как вошь. Таял снег, и она шла и осклизалась, потому что она, каторга, отвыкла ходить по земле, разве что ходила собирать милостыню на пропитание. Но тогда она ходила скованная, а теперь ноги были свободны, и они осклизались. А были здесь люди испытанные, те, которых пытали. И те ходили плохо. Пройдут — сядут. Где снегу меньше. А к ночи слынивали — в леса и в деревни. И затопило деревни, как будто каторга это Нева, и она вышла из берегов, пошла по дорогам и вошла в деревенские улицы. Деревни запирались. Там бродили люди и били в колотушки.

— Тк-тк-тк.

И собаки лаяли с сердцем, с злостью, крутили хвосты и ставили уши дозором.

Караульщики-профо̀сы и гноеопрятатели всех вывели на большую перспективную дорогу, довели до последней заставы, до рогатки и сказали:

— Прочь. Теперь не ворочайтесь.

А были такие, что возвращались потихоньку, но тех стража била палками, ударяла в трещотки и градские собаки тех хватали за пятки.

По дорогам шел разный каторжный народ. И здесь были солдат и солдатская мать, среди испытанных. Их сказки во всем разошлись, и их пытали.

Вправили профо́сы мать в хомут, и мать сказала:

— Тех речей о воске не помню. А говорила я не о царице, а о немке, что у царя взята. А кто такова, не знаю.

А когда ее спросили, откуда она те речи взяла, и дали 2 кнута, она показала:

— Рыжий, высокий, волосья стоят во все стороны, и знатно, что из попов или сын попов, кто его знает. Проходил повост и спросил воды напиться. И говорил те слова. А кто таков, не знаю. Может быть, не русский, из немцев.

И дали матери 10 кнутьев, а больше не давали, потому что здоровье стало меньшеть.

Солдату руки выворотили, и он сказал:

— Говорено про персону, что у нее по носу пестрина. И персона в скаредных словах названа немкой. И если не то сказал, велите меня смертию казнить. А я солдат господина Балка полка.

Дано ему 10 кнутьев.

— Дурак, — сказали ему, — никакого Балка полка теперь вовсе нет.

И оба говорили свои пыточные речи, а потом посмотрели кто надо и увидели, что речи не так уж много расходятся и что ни мать, ни сын своих речей не меняют. А того рыжего, с волосьями, весьма затруднительно теперь догнать по дальности времени.

Но тут пошла большая перемена, велено всех гнать за многолетнее царское здоровье, и выгнали мать с сыном. Вывели прохвосты их за заставу и сказали:

— Прочь!

А сын сжевал свое прошение о характере, все съел, чтоб не нашли и чего похуже не вышло, и ту челобитную не подал и так ушел из города Санкт-Петерсбурка, как пришел — без характера. Но сын с матерью не встретились. Они шли разными дорогами и слабели. Нищее дело стояло на чем? На покорстве, и чтоб ничего не спускать с глаз. Нищее дело было похоже на торговое дело, все равно как воск продавать на сторону. Только теперь был уже не воск, а покорство, и гладкое слово молодым, и плохая речь старикам, — чтобы показать, что они такие смирные, что даже говорить хорошо не могут. Они продавали по дворам нищий товар, и им за него подешеву давали. А глаза были потуплены, и глаза были испытанные и видели все насквозь, что за забором. И руки были вывернутые и клали в суму, что смотрел глаз. Так они пришли, каждый своей дорогой, к своему повосту, и у повоста встретились и, не глядя друг на друга, рядышком пошли к дому.

А у дома встретила их гладкая черная собака и стала лаять и скалиться, аж зубами скрыпеть. Тогда из их избы вышел старостин сын, отер рот и спросил:

— Чего надобно?

И махнул рукой:

— А вы подите, подите.

И тогда мать присела у дерева и больше не встала.

А солдат господина Балка полка взглянул вокруг себя и не узнал ни избы, ни людей, ни ухожья, ни матери. И он ушел военным шагом туда, откуда пришел.

8

Урод поманил шестым пальцем подьячего средней статьи и сказал ему:

— Подь сюда.

За слоном, у самого мальчишки без черепа, они сговорились. И подьячий назавтра принес Якову челобитную, длинную, написанную старым манером, — о небытии. Подьячий был застарелый, он еще при Никоне терся.

Всенижайший раб Яков, Шумилин сын, просил призреть худобу его и понеже готов не токмо шестых своих перстов лишиться, а инно и всех худых рук и ног и даже самого живота, — повелеть ему не быть в анатомии, кунштказморою называемой. Уже стало ему, горькому, вся дни тошно провождать посреди лягв, и младенцев утоплых, и слонов, и ныне он, нижайший, стал как зверь средь зверей, а большой науки от него нет, потому что нет у него ни носа аки хобота, или же подо ртом нос, но токмо имеет шестые персты. И за то свое небытие дает он впятеро больше против своей цены и будет по вся дни высматривать бараны осминогие и где теля двуглавое, или конь рогат, или змий крылат — он все то винен в анатомию привезти и без платы, и подводы свои.

Сидела ли у трудной постелюшки,
Была ли у душевного расставаньица?

Песнь

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В полшеста часа зазвонило жидко и тонко: караульный солдат на мануфактуре Апраксина забил в колокол, чтоб все шли на работу. Ударили в било на порохо-

вых, на Березовом, Петербургском острове и в доску — на восковых на Выборгской. И старухи встали на работу в Прядильном дому.

В полшеста часа было ни темно, ни светло, было жидко, и был серый снег. Фурманщики задували уже фитили в фонарях.

В полшеста часа забил колоколец у него в горле, и он умер.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

И не токмо в кавалерии воюет,
Но и в инфантерии храбро марширует.
Пастушок Михаил Валдайский

Сердце мое пылает, не могу терпети,
Хочу с тобой ныне амур возымети.
Комедиальный акт

У нее, кроме Нестера, есть шестеро.
Поговорка

1

Весь день, всю ночь он был на ногах. Глаз его смотрел востро, две морщины были на лбу, как будто их сделала шпага, и шпага была при нем, и ордена на нем, и отвороты мундирные топорщились. Он ходил как часы.

— Тик-так.

Его шаг был точный.

Он стал легкий, жира в нем не было, осталось одно мясо. Он был как птица или же как шпага: лететь так лететь, колоть так колоть.

И это было все равно как на войне, когда нападал на шведов: тот же сквозной лес и те же невидные враги и тайные команды.

Он сказал Катерине дать денег, и та без слова — только посмотрела ему в лицо — открыла весь государственный ящик — бери. Из тех денег ничего себе не оставил, разве какая мелочь прилипла, — все получили господа гвардия. И его министры скакали день и ночь. И господин министр Волков вернулся раз — стал желт, поскакал в другой, вернулся — стал бел. И господин Вюст где-то все похаживал, и одежа прилипла к его телу от пота.

А в нужное время отворил герцог Ижорский своей

ручкой окно, чтоб впустить легкий ветер во дворец. Кто там лежал в боковой палате? Мертвый? Живой? Не в нем дело. Дело в том — кому быть? И он впустил ветер. И ветер вошел не ветром, а барабанным стуком: забили на дворе в барабаны господа гвардия, лейб-Меньшиков полк. И господа Сенат, которые сидели во дворце, перестали спорить, кому быть, и тогда все поняли: да, точно так, быть бабьему царству.

Виват, полковница!

Это было в третьем часу пополуночи.

И тогда, когда он понял: есть! все есть — в руках птица! — тогда его отпустило немного, а он подумал, что совсем отпустило, — и пошел бродить.

Он стал бродить по дворцу и руки заложил за спину, и его еще немного отпустило против прежнего — припустал.

А в полшеста часа, когда взошел в боковую, а тот еще лежал неприбранный, — отпустило совсем.

И вспомнил Данилыч, от кого получал свою государственную силу, с кем целовался, с кем колокола на пушки лил, с кем посуду серебряную плавил на деньги, — сколько добра извел, — кого обманывал.

И вот он стал на единый момент словно опять Алексашка, который спал на одной постели с хозяином, его глаза покраснели, стали волчьи, злые от грусти.

И тогда — Екатерина возрыдала.

Кто в первый раз услыхал этот рев, тот испугался, тот почуял — есть хозяйка. И нужно реветь. И весь дом заревел и казался с улицы разнообразно ревущим.

И ни господа гвардия, которые бродили по дворцу, как стадные конюхи по полю, господа гвардия — дворянская косточка, ни мышастые старички — господа Сенат и никто из слуг не заметили, что в дом вошел господин граф Растреллий.

2

А он шел, опираясь на трость, и сильно дышал, он спешил, чтоб не опоздать, в руке у него был аршин купецкий, каким меряют перинные тики или бархаты на платье. А впереди семенил господин Лежандр, подмастерье, с ведром, в котором был белый левкос, как будто он шел белить стены.

И вошел в боковую, художник, отдернул занавес с алькова и посмотрел на Петра.

— Не хватит, — сказал он хрипло и кратко, оборотясь к Лежандру. — Придется докупать, а где теперь достать?

Потом еще отступил и посмотрел издали.

— Я говорил вам, господин Лежандр, — прокаркал он недовольно, — чтоб вы менее таскались по остериям и более обращали внимания на дело. Но ты прикупил мало, и теперь мы останемся без ног.

И еще отступил и тут обратился к вошедшей Екатерине наклонением всего корпуса.

— О, мать! — произнес он. — Императрикс! Высокая! Мы снимаем подобие с полубога!

И он вдруг подавился, надулся весь, и слезы горохом поскакали у него из глаз.

Он засучил рукава.

И через полчаса он вышел в залу и вынес на блюде подобие. Оно не застыло, и мастер поднял ввысь малый толстый палец, предупреждая: чтобы не касались, не лезли целоваться.

Но никто не лез.

Гипсовый портрет смотрел на всех яйцами надутых глаз, две морщины были на лбу, и губа была дернута влево, а скулы набрякали материю и гневом.

Тогда художник остановил глаз: в зале среди господ Сената и господ гвардии толкался и застревал малый чернявый человек, он стремился, а его не пускали. И мастер надул губы от важности и довольства, и лицо его стало, как у лягушки, потому что тот чернявый господин Луи де Каравакк, и этот вострый художник запоздал.

Дук Ижорский дернул мастера за рукав и мотнул головой: уходить. И мастер оставил гипсовое подобие и ушел. Он унес с собою в простом холстяном мешке второе личное подобие — восковое, — ноги из левкоса и ступни и ладони из воска.

И гипсовое подобие на всех смотрело.

Тогда Екатерина возрыдала.

3

Он не заехал домой, а поехал с Лежандром прямо в Формовальный Анбар. Он жил в Литейной Части, на-

против Литейного Двора, а работал рядом со Двором — в анбаре. И он любил этот анбар.

Тот анбар был крепкий, бревенчатый, большая печь топилась в нем, и было тепло, а кругом был снег и снег, потому что впереди была Нева.

Раздували мех работники, и он пробежал мимо мастерских малыми шагами и пропотал:

— Ррапота!

Он знал всего одно это слово по-русски, а с толмачом у него не пошло, он брызгал слюной, и толмач не мог переводить, не поспевал. Он прогнал толмача. И он словом да еще руками — обходился. Его понимали.

И он любил красный, каленый свет из печи и полутьму, потому что в Формовальном Анбаре белый свет шел сверху, из башенки, и был бедный. А стены были глухие, круглые, и они блестели от тепла. Тут лежали пушки, фурмы для литья, его работы, восковые, гоубицы, маленькие пушечки и пушечные части — дело артиллерии.

Он пробежал в свою каморку, боковую, полутемную, — малое окошко сверху, — где стоял стол некрашеный и скамья и тоже топилась печь, меньшая, а на полицах лежали винты и трубки бомбенные и гранатные и стояла большая плоская фляга с ромом. В углу лежала больпая пушка. Она лежала здесь, чтобы всем показывать ее неверность. Ее лили еще по Винпуса манеру.

Он составил в угол холстину, где лежали голова и формы, скинул парадное платье, повесил на гвоздь и сел за работу. Он разложил на столе клочки, которые вынул из кармана, и начал с них писать большие листы. Вывел заглавие медленно, со скрыпом и любуясь толстым письмом с тонким росчерком, который был вроде поклона:

Petri primi, magni, Imperatoris, facies et status.

И на листах он написал великое количество невнятицы, сумбура, недописи — это были заметки — и ясных чисел, то малых, то больших, кудрявых, — и это был обмер. А почерк его руки был какой? Как пляс карлов или же как если бы вдруг на бумаге вырос кустарник. Он был с полетами, со свиными хвостиками, с крючками и внезапный, грубый нажим, тонкий свист, и клякса. Такие это были заметки, и только он один их мог понимать. А рядом с цифрами он слов более не писал. Он чертил палец, и вокруг пальца собирались цифры, как

рыба на корм, и шел объем и волна — это был мускул, и била толстая фонтанная струя — и это была вытянутая нога, и озеро с водоворотом был живот. Потому что он любил треск воды, и мускулы были для него как трещащие струи. Потом всхлипнул пером на всю страницу и кончил.

И, отодвинув лист, посмотрел на него, принахмурясь и тревожно. Так в тревоге посидел. Покосился с суеверием в угол, где стоял холстинный мешок с восковым лицом и частями из левкоса и воска. Вздохнув, оборотясь к господину Лежандру, он сказал, как будто жалел самого себя:

— Теплой воды.

Подмастерье лил воду на короткие пальцы и смотрел на них так, как если бы в них было все дело.

— Завтра утром вы запряжете мой фаэтон и поедете на восковые заводы. Вы возьмете белый, только белый. В лавке, dans Le Gostiny Riad, опять будете искать самые глубокие краски. Змеиную кровь. И вы заплатите за них все, что я вам дам, и ни одна монета не залежится в вашем кармане. И ни одна траттория не увидит вашего лица.

И с долгой печалью смотрел он на Лежандра и все искал, к чему бы придраться еще и чего бы наговорить ему такого, чтоб его проняло, господина подмастерья, чтоб он, господин Лежандр, сказал ему нужное слово.

— И вы поедете по Васильевскому острову, и мимо дома господина де Каравакка вы поедете с шумом. Вы можете шуметь, погоняя лошадь, чтобы г. де Каравакк посмотрел из окна собственного дома, кто едет. Вы можете ему поклониться.

Тут господин Лежандр ухмыльнулся на эти слова графа Растреллия.

— Что вы смеетесь? — спросил Растреллий и стал раздувать ноздри. — Что вы смеетесь? — закричал он и тогда уж пыхнул. — Я спрашиваю вас! Сьер Лежандр! Я знаю вас! Вы все смеетесь! Мять глину!

Вот тут он и ошибся словом, потому что нужно было греть воск и делать пустую форму, а не мять глину, — и вот это-то и было нужное слово. И тут же сразу мастер стал греть воск у печи и щупать его, потом взял для чего-то кусочек на язык, жевнул, воск ему не показался на вкус, и он заворчал:

— Это что за воск! Это не корсиканский. Это не самшитовый. Тьфу!

Печь была теплая, и он тихо дышал, а грудь была открыта, и на ней вился волос.

Он выплюнул воск, вытер руки и закричал с радостью и картаво:

— Гипс! Дать форму! Правая рука! Начинаем!

И уже мелкой скороговоркой сказал Лежандру и не успел договорить:

— Змеиную кровь! змеиную кровь в лавке завтра. Дайте мне лак, для обмазки, ну, что ж вы стоите? Гипс!

И малые руки пошли в ход.

4

Первый сон был такой: опрятный и большой огород, как бы Летний сад, и курчавые деревья и господа министры. И кто-то ее легко толкает в спину к тому, к Левенвольду, или к этому, к Сапеге, а тот — этот молодой, у него усики немецкие, стрелками, и шпага на боку тоненькая, смешная.

А кто-то — это Alexander. Она его не видит.

Второй сон был гораздо глубок, она покорная опустилась на дно, и дно оказалось молодостью и двором; по двору шла Марта. Латгальский месяц стоял, светил на ее голые ноги, навоз под ногами был жирный, рыжий. И все как было, и она шла в хлев доить коров. В хлеву была раскрыта дверь, а коровы ждали ее и жевали. Посреди двора стоял фонарь и светил красным светом на ее ноги. Марта, это была она, и она не дошла до хлева и остановилась у фонаря, а кругом березы, белые и толстые, ветки дрожат, их ветер качает. А перед хлевом пустым стояли девки в ряд — оборотясь к ней спиною, и ветер поднял самары им на головы, они стали как белые флаги. Девки пели:

Klauseetas
Meitinas
Wehl tee wihrin lehti.

Третий сон был простой: корова мычала во сне, потом вышла из сна и стала мычать на лугу, а Марта беспокоилась: ушла из дому; пора... что пора — того она не могла вспомнить. Девки тихо пели:

Klauseetas
Meitinas.

И Марта проснулась. Девки еще пели. Она замурлыкала, провожая их:

Wehl tee wihrin lehti.

Откуда взялась эта песня и кто ее пел, она ничего того не вспомнила: она лежала одна и мурлыкала. Она не помнила песни и тихонько ее пела:

Ka juhs wisi blakus eesat,
Unpa pulkeem pakal skreesat,
Weenu puinscha bardu.

Она ничего не понимала.

Она была слабая от своей силы и пела песню, которой не помнила.

Тогда в страхе она свесила ноги, потому что она проснулась Мартой, а не Екатериной, и приложила руки к груди. Она заблудилась в языках, потому что одни старалась позабыть, а другим была быстро изучена. И эта песня, и этот язык были у ней до пятнадцати лет, и оттуда взялись и там остались. И до одиннадцати лет этот язык был как зеленый овес и как ива, что валилась в воду, и все не могла упасть, и лежала над водой, а дети на ней плясали и купали ее. Потом еще этот язык был писк: пищали сосцы; она доила коров. И этот язык был латгальский и детский и назывался: деревня Вишки. И эта деревня потерялась, ее имя забыто. И тяжелая женщина, у ней волосы как войлок, нос угреват и красен, и высокая белая грудь, — она говорила на этом языке, ее приемная мать. И серый латыш, который был в седой сермяге, и курил мох, и молчал как мох — приемный отец, — говорил с матерью по ночам, а она слушала. И этот язык был непонятный латгальский язык: скрып и качанье. Она смотрела из темного угла и слушала. Потом ее взяли в город, и город был большой, в деревне его звали Алуксне, а по крепости он звался город Марьенбург, черепичные кровли; полы в пасторском доме, которые она мыла, ползала на четвереньках, были чистые. А раз стал ее учить немецкому языку пасторский сынок, беленький, и обучил ее совсем другому. И тот, другой язык Марта поняла и стала так говорить по-немецки, что пасторскому сы-

ну стало невмоготу, и ее стали гнать из судомоек. К шестнадцати годам город стал военный от шведов, от полковой музыки, от мундиров, мандерунков, которые сильно тянули ее; ее коже приятно было, что жесткие, что с круглыми кантами. Ее возили по озеру в лодке соседские парни кататься, а на островах росла жирная трава и липы, а на одном острове стоял замок, комтурный, семибашенный. Сторожила этот замок шведская стража и не подпускала лодок, а парни все были покорные. И подъемный мост был поднят, как дорога, по которой можно добраться до неба. Окна светились по ночам, а кто там жег огонь? И этот замок был для нее как целое царство, и когда говорили по вечерам: «шведы», или если кто-нибудь говорил: «Каролус», — она видела все семь глав башенных перед собою. И она вышла замуж за соседского сына, за латышского мальчика Яниса Крузе, и стала фру Крузе, потому что Янис был шведский капрал, в мандерунке. Фру Крузе, драгунская жена. Этот молоденький учил ее говорить по-шведски, а сам не знал. И она догадывалась, какой это шведский язык, какой он хороший. А тут ее заметил этот высокий, с белыми густыми усами, тонкий, курносый, его мандерунк был как картина, как лист живописный, и сразу научил ее говорить по-шведски, и она заговорила во всех мелочах, потому что он был главный, ученый лейтенант. Его имя она понимала потом на всех языках, и когда Вилим Иванович уже был с нею, она иногда нарочно ошибалась и вдруг говорила ему:

— Эй, Ландстрем!

А потом смеялась и махала рукой с большой добротою: Монс.

Ту фамилию она помнила, как будто это была вещь. И раз он поехал с нею кататься по озеру, они близко подъехали к тому комтурному замку, и она увидела часовых, увидела их лица. Тогда часовые отдали им салют, и она покраснела от гордости. И когда на улице увидел ее комендант всего города, самый сухой, самый прямой человек во всем городе, и он был старик и его имени боялся ее муж, его имя было как выстрел: Пхилау фон Пильхау, — он понял, кто идет по улице, потому что она легко дышала и шла как на бой — и она была у него в ту же ночь, и он научил ее шведским учтивостям, хитрым ответам, — потому что он был уже стар. Теперь, когда она ходила по улицам, — все замолкали, а дети подбегали к окнам, и матери их били, чтоб они на нее

не смотрели, — потому что по улицам шла Крузе, потому что ей стал тесен город, как пояс, и еще стали низки красные трубы и дым шел далеко, и старушечий язык стал чужой. А старухи говорили, когда она проходила, пошведски, и по-латышски, и по-немецки одно малое женское слово. И Ландстрем был любезный кавалир, он уезжал из города и уговаривал бежать, а она соглашалась, тогда город обложили det rysk swin, и стали стрелять Бутурлин, шведского языка не стало, город взяли, замок разрушили, а она попала в полон k det rysk swin, солдаты русские ее начали сильно учить говорить по-русски, а она была в одной рубахе; и Шереметьев потом учил, потом сам Данилович, герцог Ижорский, учил ее говорить по-русски, потом хозяин. И он оставил ей в первую ночь за хороший разговор круглый дукат золотой — два рубли, — потому что разговор был хороший, охотный. И она не говорила, она пела. И все разговоры всех наречий услыхала она и говорила на всех, ловко перенимала, а все чтоб ходить вокруг хозяина. Она их всех чуяла по глазам или по голосу, она по голосу знала, каков будет человек в разговоре. И она не понимала слов, она только притворялась, что понимает — это начиналось у ней дыханием в груди и доходило до рта — ответом, и ответ бывал всегда ловкий, она прямо в цель попадала. А понимала она только один человеческий язык, и тот язык был как дитя растущее, или листья, или сено, или те девки на молодом дворе:

Wehl tee wihrin lehti.

И она соберется туда, в Крышборх и Марьенбурх. Сколько раз она у старика просила, чтоб отдал ей балтские земли, но не отдавал. А теперь поедет в золотом полукаретье, или цугом в восемь лошадей или более кататься, господа гвардия на соловых лошадках вокруг нее как птенцы, — и чтобы все жители вышли кланяться ей за околицу. Ксендз и корчмарь, у которого брат служил в корчме, и пастор и курлянчики — все выйдут встречать. И потом она кого-нибудь осчастливит и переночует. Будут хлопотать все, чтоб услужить! Но все они уже умерли, и незачем туда ехать. Фу! Марьенбурх! Что ж туда ехать, в деревню? Свиней смотреть! И замок разрушен.

Была пора, была самая пора идти, а она не понимала, что от нее еще нужно, что ей сегодня такое делать.

Она будет плакать, потом она даст праздник господам гвардии и сама им будет разливать вино. Она засучит рукава, ну и бог с ними, и выпьет сама. Но все-таки лучше после похорон. Они любят ее: matuska polkownica. Вот она так сидит, просторная, толстая, открытая. Тут она остереглась: не слишком ли много воли? То все — ходи вокруг хозяина, а теперь сама себе хозяйка и сидит здесь совсем открытая. Все моря кругом, сквозной лес и мало домов — и она отовсюду видна, и все иностранные государства на нее теперь глядят. А у ней ноги белые, им еще ходить хочется. Она не понимает того государственного языка: не выдать ли Лизавету замуж во Францию? Но Франция медлит, а замедление ради политики и для того, что Лизавета, Лизенка — байстручка, потом уже привенчана. Дела, дела, ох! Как там, в Сенате? Все Alexander, все он один, но он такой фальшивый, что нельзя верить. «Пойдем, мать», или «сядем, мать». Этого не было раньше. Какая она ему мать? Она ему укажет его место. Так нельзя, не можно. А что было двадцать лет назад, — на это у нее памяти нет, у нее много всего было за двадцать лет. И как он стар! Сухой и старый, как... полено. Фу! Старик! И она уж по-русски сказала то слово, которое переняла и любила:

— Уж я надселася.

Тут пошел канареечный щебет в клетках: тех канареек хозяин отнял у Вилима Ивановича, когда его казнил, и повесил клетки ей в комнату, чтобы она помнила. Она сунула большие и красные ступни в войлошные туфли и пошла к канарейкам задавать корм. И тут она почувствовала, что ноги-то ветерком относит, что она еще со вчерашнего вечера пьяная. А отчего? Оттого, что масленая неделя стоит, более ни от чего. Он умер, и спустя два дня — настала масленица. И для ней масленая в полмасленые, а вчера пришлось. Потому что считается за праздник. А Елизавет — Лизенка много выпила, и она даже не ожидала, как эта Mädel крепка на ногах. А Голстейнского рвало, как из ведра. Какой слабый! Фу!

Был бы Вилим Иванович, этот любезный и истинно любезный кавалер, с нею! Вот он бы сказал ей: Mein Verderben, mein Tod, mein Lieb und Lust! Он знал, о! Как хорошо он все знал! Куда нужно ехать, и кого принять, и что пить, и что можно сказать und alle Lustig keiten — jeden Tag.

Клетки висели над столиком, а на столике лежали его вещи, она их теперь велела принести к себе. И вещи были истинно щеголеватые, вещи красивого кавалира, и они еще пахли. Трубка в оправе пряденной, золотой, — она пахла приятным и легким табаком, золотный кошелек, — она возьмет его себе и будет носить при себе. Страусовое перо и табакерка с порошком, чтобы чистить зубы. Те белые зубы, со смехами! Часы с ее портретом на крышке, который делал майстер Коровяк, которые она сама ему подарила. И у нее здесь белая грудь и голова набок. Нос только чрезмерный нарисован. Она стерла пыль с часов — совсем новые часы, красивая вещь! И жемчуга, сколько жемчугов она ему дарила! А пуговицы можно нашить на новое платье. И страусовое перо к опахалу приладить. Да, он был нарядный, все любил напоказ. И золотой пуппхен с малой шпагой — это бог войны. О! Ведь он был такой ученый и истинно ловкий господин и писал ей такие песни! «Welt, ade» и дальше не вспоминала. И умер как вор, а теперь бы она его всего убрала в золото! Он за ней бы ходил! И не дождался всего два месяца. И чуть она через него сама не погибла. Фу! Пропал как дурак, сам виноват, он был неосторожный, все хвастал. А теперь бы ходил за нею одетый как кукла!

Она положила послать в куншткамиру бога войны, как истинную редкость, все поставила на место и на сей день забыла Вилима Ивановича.

И тут сквозь приятный канарейский щебет сказал за ее спиной голос хозяина:

— Пойдем в Персию!

Тот голос хриповат, от табаку и сел, и то был его голос, старика.

И она обмерла, а хозяин хохотнул:

— Katrina! Артикул метать! Хо! Хо!

И то был не хозяин, а то был хозяйский гвинейский попугай, которого, когда тот болел, к ней принесли и который все время молчал, а теперь заговорил. Свернуть бы ему шею! За что такую птицу многие люди любят и платят за них немалые деньги! И положила тоже послать в куншткамиру, как околеет, а чтоб скорей околел — не кормить.

Была пора, была самая пора, и времени она не стала терять, зазвонила в колоколец. Тотчас вошли фрейлины, и она стала производить умывание и притиранье.

Подавали ей расписной кувшин в расписной мисе, и

то была великая новость, как во Франции имеют моду: и кувшин и миса из толстой бумаги, проклеенной, и воду держат лучше фарфора. А в кувшине вода, и она стала плескаться и плеснула дацкой водой на грудь.

Дацкую воду составлял аптекарь Липгольд из нюфаровой воды, бобовой, огурешной, лимонной, из брионии и лилейных цветов. Для нее имали семь белых голубей, их аптекарский гезель щипал, рубил их головы и напортки долой; мелко толок — и в воду. И перегонял. И эту дацкую личную воду она любила. Она ей плескалась и подавала рукой на грудь.

А венецианскую воду, производящую на смуглой коже белизну, она вылила на фрейлину в гневе. Та вода была майское молоко от черной коровы, и ей была не нужна, о том она уже раз фрейлине сказала. Она не была смуглая, у ней была своя, натуральная белость, и она закричала толстым голосом и вылила на фрейлину эту воду.

Потом уж было недолго: притерлась помадой бараньих ног и лилией — для мягости и блеска, а воском для чего-то притерла ноги. И, двинув ушами, нарисовала на виске три синие жилки, как елочкой, — для обозначения головной боли.

Горчичным маслом она натерла правую руку.

На нее накинули черные агажанты.

Она терпеливо стояла.

Ей насунули на голову фонтанж, черный и белый, и облачили в черную мантию.

И тогда, обутая, одетая, толстая, белая, в черном и белом, понесла Марта свои груди вперед — в парадную залу.

И поднесла левую свою руку, умытую ангельскою водою, к лицу — закрыла слегка лицо — как бы в скорби, — из залы шел дух.

А когда вошла в залу — опять увидала всех господ иностранных министров. Господа иностранные государства, собирались сюда, чтоб смотреть, как она плачет с 10 пополуночи до 2 часов пополудни. И она увидела Левенвольдика, молодого, со стрелками, с усиками — и поняла, что приблизит. Потом посмотрела вбок и увидела Сапегу, жениха племянницыны, еще совсем ребенка, и поняла, что приблизит.

Марта поднесла свою правую руку к лицу. В гробу там было...

И слезы потекли, как круиный дождь.
Екатерина возрыдала.

5

Характера не получил. Знаки на теле приобрел подозрительные. Артикул метать более не годен. Апшита, или отпускного письма, не имеет. Таким он пробрался назад, в город Петерсбурк. Отбылый из службы солдат Балка полка. На окраине стояла харчевня, перед ней веки и крошни, а с их торговали три маркитанта-мужика калачами и водкой. В той харчевне он сел высматривать себе дело. Деньги у него были, нищие, что по дороге выпросил. Медными деньгами пять пятикопеечников, и все новые деньги, с государственными птицами, под птицами пять точек. А старые денежки и копейки, где ездок с копьем и гуртики глубокие, те никто не давал: те прятали. Те деньги считались за хорошие. И были еще три денежки, которые солдат пробовал на зуб, и о них у него было мнение, не воровские ли, потому что бока были гладкие, без рубежков. Воровские деньги были тоже хорошие, но медные воровские шли много дешевле, чем старые. Это был убыток.

Так он пробовал на зуб денежки, и в это время вошли в харчевню цугом три слепых старика: один — толстый, рыжий, в дерюге, другой — средний человек и третий тоже, а вел их дурак, который запрометывал головой. Он ввел их, усадил за стол рядом и тогда перестал трясти головой, а старцы раскрыли свои глаза, и все оказались зрячие. Взяли калачей, стали пить чай и попросили вестовского сахару. Пили они громко, хлюпали, а потом стали говорить и говорили тихо. О каких-то лентах, о позументах, другой о воске, а третий молчал. Опять поговорили, и солдат услыхал: «магистрат», «бурмистр», — только и всего, больше не слышал, они очень тихо говорили. В харчевню вошел какой-то молодец, поклонился трем старцам, а они сказали дураку идти вон, и молодец к ним присел, но поодаль. Тогда солдат вышел в сени; там стоял дурак, запрометнув голову, и лил прямо в глотку вино. Солдат дал ему закусить калача и спросил: чей будешь?

Тот ответил:

— Я у купцов в дураках живу. А ты откуда?

— Я отбылый солдат Балка полка.

После того солдат дал дураку две денежки, чтоб тот

дал ему раз глотнуть. После этого разговорились. Дурак рассказал, что он ходит в притворстве, а чей — давно позабыл и помнить не хочет, закрылся ото всего беспамятством и перед купцами молчит. Купцы богатые, а он их водит суще для притворства — просить милостыню. А первый, рыжий и толстый, он щепетильный гостиный купец, второй — тоже гостиный, его зять, а третий тоже родственник и состоит фабрическим интересентом на восковом либо на позументном заводе, и он состоять более не хочет и для того потерял себя. Что они видят лучше хоть бы его или солдата, а ходят так, чтоб избыть налогу, которого на них много наложено. Так цугом и ходят, сказаны у себя в нетях, сами записаны па богадельню, а всюду у них понасажены малые люди, хоть вроде того же молодца. А он у них в дураках и получает харч, порты и деньгами все, что соберут. Он и есть прямой нищий. Что так стало в самое последнее время, — он от старцев слышал, — когда сам стал вдаваться в бабью власть и подаваться в боярскую толщину, а ранее был купецкий магистрат и те купцы не ходили в нетях.

Тут солдат Балка полка хотел крикнуть: «Слово и дело!» — и уже посмотрел на дурака изумленным взглядом, но дурак спросил его:

— Ты часом не слыхал, что такое в лесу растет?

Солдат наморщил лоб, чтоб подумать, к чему дураку теперь нужен лес, когда здесь город и городские дела, служба, но дурак ему сам ответил:

— Растут в лесу батоги.

И солдат отменил свое решение и так и не крикнул, «ни слова, ни дела».

— Вы, солдаты, известны, — сказал ему дурак, — железные посы, самохвалы.

И солдат Балка полка от этих слов развел руками, смирился и ответил, нельзя ли ему на службу, потому что он теперь почитай что и не солдат. Сам Балк, командир, куда-то подевался. Характер потеряи.

— Денег давай, — сказал дурак и пояснил: солдат даст ему все, что у него есть, а он его пристроит. Деньги солдат отдал не все, а оставил два пятикопеешника. И дурак научил подойти к молодцу, который у старцев, и проситься в фабрические.

— Там, слыхал я, нынче щипать, сучить набирают, а ты ему поклонись получше. А я пойду.

И взошел в харчевню.

Там старцы отдыхали от чаю и от докладов, что делал им молодец, и пар шел у них из уст.

— Он изумленный, — с полным удовольствием сказал молодцу старец о дураке. — Сумасбродный. Но на еду востер и жаден и шаг тверд. Так и ходим.

Тут вошел в харчевню солдат, и дурак запрометнул было голову, но старцы сказали:

— Ну полно, хлебай свое, чего ты, как конь дикий, головой запрометываешь?

Он отхлебнул, поклонился и сказал старцам:

— Аминь.

И старцы построились и пошли, а дурак шел впереди.

Молодец же остался, и солдат подошел к нему и поклонился получше, и молодец его завербовал щипать-сучить, а потом послушал военную речь и увидал, что солдат крепкий и руки у него тяжелые, и он как есть без хитростей, — и определил: быть ему сторожем, сторожить работных людей на восковом дворе, бить в било по утрам, ходить с собаками. А сторожевой команды всего четыре человека. Пашпорта ни апшита он не спросил и только сказал:

— Как что — кошками.

Солдат Балка полка посмотрел на него, а он ему объяснил:

— Тебе. Драть. Морскими кошками. Как что. А коли не так, так тебя.

И они вышли на улицу.

Уже перед мостом была поднята рогатка, и десятский караульщик пошел домой спать. Старцы шли цугом, а впереди дурак.

Старцы пели:

Сим молитву деет,
Хам пшеницу сеет,
Фет власть имеет,
Смерть всем владеет.

А дурак распевал громче всех.

6

— Без всякого сомнения, сьер Лежандр, он был способный человек. Но посмотрите, какие ноги! Это слабые ноги. Такие ноги должны ходить, ходить и бегать. Стоять они не могут: они упадут, ибо опоры в них нет никакой. Не ищите в них мускулов развитых, мускулов тол-

стых и гладких, как у величавых людей. Это одни сухожилия. Это две лошадиные ноги.

Он плюнул. Он был недоволен ногами, потому что ноги были тонкие и в них не было никакой радости для его рук. И он ходил вокруг да около, огорчался, мял воск руками; к ваялу он не прикасался. Потом взглянул на воск в руке, мнул еще разок, и в глазах стала игра. Замесил в кулак змеиной крови и опять глянул, приосанился. Погрел у открытой печки. Ткнул ваялом и потом сделал черту на комке, как бы человеческую линию. Яблоко лежало у него в руке. Поджелтил то яблоко шафраном и бормотнул что-то в сторону, вежливо и недоброжелательно. Так, высунув язык, поделал он с индигом разную мелочь. И вышли два листика. Взяв в толстые пальцы кисточку, обмакнул то яблоко сандараком, и оно засветилось как изнутри, якобы только что сорванное. И у мастера выпятились брыла, как у ребенка, который тянется за грудью, или как будто он губами, а не пальцами сделал яблоко.

— Главное, чтобы были жилки, — говорил он важно и вертел яблоко. — Чтобы изнутри была полнота. Чтобы не было... сухожилий. Чтобы все было полно и... слепо. Чтоб никто не мог подумать ни на минуту, что внутри пустота. Дайте мне проволоку.

Он прикрепил листки.

Тут глаза стали постреливать, губы — жевать, и он сделал: длинную сливину, тусклую, с синей пенкой на щеке, с чисто женским завоем, апельсин, в пупырышках, которые натыкал иголкою, цитрон, чрезмерно желтый, и виноград, тяжелый, слепой, гроздь темного испанского винограда, который сам лез в рот.

Он все разложил на большой пушке и после того обратился к господину Лежандру, как человек ленивый и не желающий более работать:

— Вы никогда не слыхали, сьер Лежандр, об императоре Элиогабале?

— Кажется, испанский, — сказал сьер Лежандр.

— Нет. Римский. Вы не должны хвастать своей ученостью, сьёр Лежандр.

Тут Лежандр принял вид любопытного и любознательного и, не переставая пригонять шов на ступне, в том месте, где она должна была соединиться с бабкой, спросил, в котором же это веке жил столь знаменитый император?

— В котором? В пятом веке, — спокойно ответил мастер. — Не все ли вам равно, когда он жил, если вы не знаете, кто он такой? Совсем не в этом дело. Я просто хотел сообщить вам, что этот император любил такие фрукты и поощрял. И все должны были их есть и запивать водой, как была мода.

Тут он мотнул головой, оставшись доволен удивлением господина Лежандра.

И Лежандр сказал:

— Гм. Гм.

— Воск помогает против дижестии, — сказал мастер бегло. — И эти придворные господа жрали этот воск. И, по всей вероятности, хвалили на вкус. А сам он ел, конечно, натуральные. Этот римский император.

И он ткнул пальцем в плоды, не глядя на них и холодно.

— Таково развращение среди придворных, — сказал он Лежандру значительно, — suum cuique.

Сьер Лежандр приладил ступню, и теперь все почти: руки, и ноги, и большое коромысло — плечи лежали на столе, и изо всех частей торчали в разные стороны железные прутья.

— Membra disiecta, — сказал мастер, — ноги! — и вдался в латынь. И это означало, что мастер скоро вдастся в фурию. Он пофыркивал. И господин Лежандр молчал, а мастер говорил:

— Вы, кажется, думаете, сьёр Лежандр, — сказал он, — что другие выгадали более меня? Может быть, повторяю, другие мастера выполняют более почетную и выгодную работу? Ведь вам так это представляется?

Сьер Лежандр покрутил носом — ни да, ни нет, а вкруговую.

— Ну, что же, — сказал, попыхивая, Растреллий, — вы можете в таком случае идти к Каваракку помогать ему разводить сажу для картинок. Или лучше всего идите-ка вы к господину Конраду Оснеру, в большой сарай. Он вас научит изображать Симона Волхва в виде пьяницы, летящего вниз головой. А кругом чтобы кувыркались черти. Но только не проситесь обратно ко мне. Вы у меня полетите вниз головой, как Симон Волхв.

Потом он несколько поуспокоился и сказал с горечью:

— Вы еще не понимаете мира и вещей, монсьер Лежандр.

Столь неохотно повысил он его в монсьеры.

— Вы, конечно, знаете, и, без сомнения, вы слыхали об этом, несмотря на свой рассеянный характер, — вы не могли об этом не узнать, — что похороны будут большие. Карнизы, и архитравы, и фестоны, и троны. Над карнизами будет висеть пояс, а на нем блестками будут вышиты слезы. Вы могли бы, сьер Лежандр, выдумать что-нибудь глупее? Балдахины, и кисти, и бахрома, и Hollande, и Брабант!

Нос у него раздулся, как раковина, в которую дует тритон.

— Пирамиды, подсвечники, мертвые головы! Вкус господина маршала Брюса и господина генерала Бока! Которые понимают только маршировать. Господа военные рыгуны! И наш знакомый граф Егушинский, этот дебошан всех борделей! Он, кажется, главный распорядитель. Он привык к борделям и думает, что там лучший вкус, — и он устраивает этот похоронный зал! Вы слыхали, сьер Лежандр, о статуях, кои там льются, как ложки? О! Вы не слыхали? Плачущая Россия с носовым платком. Марс, который блюет от печали. Геркулес, который потерял свою палку, как дурак! Подождите, не мешайте мне! Урна, которую держат ревущие гении! Урыльник! Двенадцать гениев держат урыльник! Их столько никогда не бывало! Мраморные скелеты, какие-то занавесы! Вы не видели этого прожекта! Милосердие с огромным задом. Храбрость с задранным подолом и Согласие с толстым пупом! Это он в каком-то борделе видел! И мертвые серебряные головы на крыльях. И они еще увиты лаврами, эти морды. И я вас спрашиваю, и я предлагаю вам немедленно ответить: где вы видели, чтобы головы летали на крыльях и были притом увенчаны лаврами? Где?

Он бросил кусок воска в печь, и воск зашипел, брызнул и заплакал.

— Вот, — сказал Растреллий. — Это дрянь. Выбросьте сейчас же целый пласт! Вон! А после похорон господа министры разберут эти все справедливости по домам, на память, эти дикари, и их детишки будут писать на толстых бедрах разные гнусные надписи, как это здесь принято на всех домах и заборах. И они развалятся через две недели. «Подобие мрамора»! И в таком случае, я приношу свою благодарность. Я не желаю делать эти болваны из поддельных составов. Да мне и не предлага-

ли. Я лью пушки и делаю сады, но я не хочу этих мраморов. И я буду делать другое.

Тут он скользнул мимо Лежандра взглядом в окно.

— Всадник на коне. И я сделаю для этого города вещь, которая будет стоять сто лет и двести. В тысяча восемьсот двадцать пятом году еще будет стоять.

Он схватил виноград с пушки.

— Вот такой будет грива, и конская морда, и глаза у человека! Это я нашел глаза! Вы болван!

Он побежал в угол и цепкими пальцами вытащил из холстинного мешка восковую маску.

И все, что говорил он ранее, — весь беспричинный некоторый гнев, и великая ругня, и фукование, что все это означало? Это означало — суеверие, означало лень перед главной работой. Он еще не касался лица, он ходил вокруг да около того холстинного мешка, этот хитрый, вострый и быстрый художник искусства.

И только теперь он осмотрел прилежно маску — и издал как бы глухой, хрипящий вздох:

— Левая щека!

Левая щека была вдавлена.

И тут художник стал гадать: отчего?

Оттого ли, что он ранее снимал подобие из левкоса и нечувствительно придавил мертвую щеку, в которой уже не было живой гибкости? Или оттого, что воск попался худой? И он стал давить чуть-чуть у рта и наконец успокоился. Лицо приняло выражение, выжидательность, и впалая щека была не так заметна.

И так стал он отскакивать и присматриваться, а потом налетал и правил.

И он прошелся теплым пальцем у крайнего рубезка и стер губодергу, рот стал, как при жизни, гордый — рот, который означает в лице мысль и ученье, и губы, означающие духовную хвалу. Он потер окатистый лоб, погладил височную мышцу, как гладят у живого человека, унимая головную боль, и немного огладил толстую жилу, которая стала от гнева. Но лоб не выражал любви, а только упорство и стояние на своем. И широкий краткий нос он выгнул еще более, и нос стал чуткий, чующий постиженье добра. Узловатые уши он поострил, и уши, прилегающие плотно к височной кости, стали выражать хотение и тяжесть.

И он вдавил слепой глаз — и глаз стал нехорош, — яма, как от пули.

После того они замесили воск змеиной кровью, растопили и влили в маску, — и голова стала тяжелая, как будто влили не топленый воск, а мысли.

— Никакого гнева, — сказал мастер, — ни радости, ни улыбки. Как будто изнутри его давит кровь, и он прислушивается.

И, взяв ту голову в обе руки, редко поглаживал ее.

Лежандр смотрел на мастера и учился. Но он более смотрел на мастерово лицо, чем на восковое. И он вспомнил то лицо, на которое стало походить лицо мастера: то лицо было Силеново, на фонтанах, работы Растреллия же.

Это лицо из бронзы было спокойное, оно было даже равнодушное, и сквозь открытый рот лилась беспрестанно вода, которой как бы не замечали ни глаза, ни лицо — так изобразил граф Растреллий крайнее сладострастие Силена.

И теперь, точно рот мастера был приоткрыт, слюна текла по углам губ, и глаза его застлало крайним равнодушием и как бы непомерной гордостью.

И он поднял восковую голову, посмотрел на нее, и вот, как бы страх в углу губ, — и он более не стирал этого страха и не заглаживал. И вдруг нижняя губа у него шлепнула, он поцеловал ту голову в бледные еще губы и заплакал.

Вскоре господин Лебланк принес болванку, она была пустая внутри. И господин механикус в чине поручика, Ботом, принес махину, вроде стенных часов, только без циферблата, там были колесики, цепочки, и гирьки, и шестеренки, и он долго это вделывал в болванку.

Господин Лежандр приладил все швы, и портрет вчерне был готов. Господин Растреллий натер крахмалом, чтобы не пожухло и не растрескалось и чтоб не было потом мертвой пыльцы.

Так его посадили в кресла, и он сел. Но швы выглядели тяжелыми ранами, и корпус был выгнут назад, как бы в мучении, и ямы глаз чернели.

И потому, что был похож и не похож и так было нехорошо, господин Растреллий накинул зеленую холстину, и снял фартук, и вымыл руки.

Вскоре заехал господин Ягужинский, немного уже грузный. Ягужинский увидел на пушке фрукты, и ему захотелось иностранных фруктов, он закусил яблоко и сейчас же выплюнул и изумился.

Потом все долго хохотали над этим куриозным случаем.

Уходя, господин Ягужинский сделал распоряжение — завтра, когда вставят глаза, послать восковой портрет во дворец — одевать. И заказал графу Растреллию сделать за немалые деньги серебряные головы с крыльями, аки бы летящие, и в лавровых венцах, а также Справедливость и Милосердие в женских образах.

И граф согласился.

— Я давно не работал на серебре, — сказал он Лежандру. — Это благородный металл.

7

Ее со многими сравнивали. Ее сравнивали с Семирамидой Вавилонской, Александрой Маккавейской, Палмирской Зиновеей, Римской Ириной, с царицей Савской, Кандакией Ефиопской, двумя египетскими Клеопатрами, с Аравийской Муавией, с Дидоной Карфагенской, Миласвятой Гишпанской, из Славянского рода, и с новейшей Кастеллянской Елисавет, с Марией Венгерской, Вендой Польской, Маргаритой Дацкой, с Марией и Елисавет Английскими и Анной Почтенной, с Шведской Христианой и Елеонорой, и с Темирой Российской, что Кира, царя персидского, не токмо победила, но и обезглавила, и с самодержицей Ольгой.

А потом выходили в другую комнату и говорили:

— Хороша баба, да на уторы слаба!

И она не дождалась.

Масленица была уж очень обжорная, сытная в этом году, все его поминали, и все пили и ели, и она всех дарила и кормила, чтоб были довольны. Прислали ей из Киева кабана, козулей и оленя. Кабан был злой, она его подарила. И еще сделала подарки: золотых табакерок четыре, из пряденого серебра пять. Хоть и был какой-то запрет носить пряденое серебро, да других не было, пускай уж носят. И старалась все делать по вкусу: Толстой любил золото, Ягужинский картинки, и парусники, и женскую красоту, игровых девушек, Репнины — поесть, и она все им предоставляла. И подносила, и сводила, и пить заставляла. И она так много дарила, и ела столько блинов, и столько вина пила, и столько рыдала, что растолстела, опухла, ее как на дрожжах подняло за эту неделю.

И она не дождалась.

Еще там, в малой палате, стояло это все, и еще по комнатам шел этот самый дух и попы ревели, а она уж не выдержала, она почувствовала, что плечи свободные, а в груди стеснение, и что осовела, что губы стали дуреть, и ноги нагнело.

Тогда, ночью, она оделась темно, укутала голову и пошла, куда нужно. Она прошла мимо часовых, и пошла по берегу, а снег таял, было ни темно, ни светло, а на углу ее дожидался тот, этот, молодой, Сапега.

Они пошли куда-то, ноги у ней шли сильно, и она знала, что все сойдет хорошо, ей это было приятно, и она была сама не своя, и земля под ногами в малых льдинках, и она совсем уж не такая старая и совсем не такая пьяная, она крепко ходит.

Дошли они до избушки, и он стал, тот, молодой, возиться с дверью, а тут не стало время и земля уж не была такая очень холодная, он подстелил ей свой плащ.

Тогда она сказала:

— Ох, ето страм.

8

И, наконец, его обвопили, и уложили, и все дело покончили. И в палатах открыли окна, ветер гулял в палатах и все очистил. А потом разобрали все, что там было, — сняли пояс со слезами, прибрали Справедливость и гениев с урной и отослали в Оружейную Канцелярию, при которой быть Академии Для Правильного Рисования.

И тогда уж все пошло свободней и свободней, и сдох попугай гвинейский.

Сразу же послан и с клеткою в кунштказмору. И вместе с ним — Марс золотой, из вещей Вилима Ивановича.

И тут она стала погуливать по палатам хозяйкою и тихонько напевала.

И ей не мог быть приятен вид, открывавшийся в палате: на возвышенных креслах, под балдахином, сидело восковое подобие. И хоть она велела тот балдахин с креслами, для величия, огородить золочеными пнями, а между пнями пустить зеленые с золотом веревки, — но все от него было холодно и не хозяйственно, как в склепе или где еще. Он был парсуна или же портрет, но неизвестно было, как с ним обращаться, и многое такое даже

не стать было говорить при нем. Хоть он был и в самом деле портрет, но во всем похож и являлся подобием. Он был одет в нарадные одежды, и она сама их выбирала, не без мысли; те самые одежды, в которых был при ее коронации. Чтоб все помнили именно про ту коронацию. Кресла поставили ему лучшие, березовые, те, что с легкими распорками, с точеными балясинами, — на вкус его великолепия. И он сидел на подушке, и, положа свободно руки на локотники, держал ладони полурастворенными, как бы ощупывал мизинцем позументики.

Камзол голубой, цыфрованный. Галстук дала батистовый, верхние чулки выбрала пунцовые со стрелками. И подвязки — его, позументные, новые, он еще ни разу их не повязывал. И ведь главное было то, что на нем, как на живом человеке, было не только все верхнее, как положено, но и нижнее: исподница, сорочка выбивается кружевными манжетками.

И смотреть с ног вовсе не могла, потому что уговорили ее обуть его в старые штиблеты, для того чтоб все видели, как он заботился об отечестве, что был бережлив и не роскошен. И эти штиблеты, если на них смотреть прилежно — изношенные, носы загнуты, скоро подметку менять, — и сейчас топнут. И она не могла смотреть слишком высоко, потому что голова закинута с выжиданием, а на голове его собственный, жестковатый волос. Его парик. Смотреть же на пояс и на портупею тоже не хотелось. Он кортика не вынет, назад не задвинет, — и вот каждый раз об этом приходить в мнение и опять отходить.

А в ножнах кармашек, в нем его золотой нож с вилкою: к обеду.

Хуже всего было, что оно двигалось на тайных пружинах, как кому пожелается. Спачала она не хотела его принимать, а сказала прямо отдать художнику и денег не платить, из-за этих пружин, что они сделаны. Но потом ей объяснили, что на то было светлейшее согласие. Тогда она велела его огородить и веревками обтянуть, не столько ради величия, а чтоб хоть не вставал. И опасалась близко подходить.

И не было приличного места, где его содержать: в доме от него неприятно, мало какие могут быть дела, а он голову закинул, выжидает. Сидит день и ночь, и когда светло и в темноте. Сидит один, и неизвестно, для чего он нужен. От него несмелость, глотать за обедом он мешает. В присутственные места посылать его никак не-

возможно, потому что сначала будет помешательство делам, а потом, когда привыкнут, не слишком бы осмелели. И хоть оно восковое, а все в императорском звании. В Оружейную Канцелярию, где быть Академии Рисования, — тоже нельзя: первое, что еще нет Академии, а только будет; другое — что это не только художество, но и важный и любопытный государственный предмет.

И так он сидел, ото всех покинутый. Но малая зала уже очистилась и нужна была. А тут подох попугай и послан сразу в кунштканору. И туда же — государственные медали с эмблемами и боями. И вещи, которые он точил, — паникадило, доскапец и другие, из слоновой кости. Это тоже важные государственные памяти.

Тогда стало ясно: да, быть ему в кунштканоре, как предмету особенному, замысловатому и весьма редкому и по художеству и по государству.

Там ему место.

9

У Растреллия остался немалый запас белого воска. Он лежал в углу кучей, бледный, ноздреватый, постылый. Наконец он надоел. Мастер откромсал изрядный шмат кривым ножом, а часть, будучи скуп, оставил про запас. Он стал делать модель монумента, какой желал себе представить посреди обширной площади, и, делая его с лестью и гордостью, иногда во время работы присанивался и льстиво улыбался. Всадник был всего с пол-аршина, а ехал гордо. На челе у всадника были острые лепестки — славный лавровый венец. На пузастом постаменте, по бочкам, мастер налепил амуров с открытыми ртами и ямками на пупках, какие бывают на щеках у девок, когда они смеются. Среди амуров разместил он большие раковины и остался доволен.

Никаких баталий, а просто осклабленные амуры с толстыми перетянутыми ножками и раскрытые рты раковины.

Так все в природе встречало героя с радостью и готовностью. Герой неспешно ехал в лавровом веночке на толстой и прекрасной лошади, и было видно по ее мослакам, что может ехать долго. На деле весь всадник был с пол-аршина, из воска, но все это была модель для будущего памятника. Впрочем, неизвестно было, как понравится, удастся ли уговорить, поставить, дадут ли заказ

и сколько заплатят. Мастер сказал господину Лежандру, подмастерью, разнежась и хвастая:

— Здесь вскоре, вероятно, будут ставить памятник, монсьер Лежандр. Будут большие заказы, большие деньги и много разговоров. И если б мне пришлось прежде отливки героя или лошади скончаться среди моих неоконченных трудов на радость господину Каравакку — который, однако же, сдохнет гораздо раньше меня, не правда ли? — если бы я умер, говорю я, от отягощения пузыря или был отравлен подосланным от господ Каравакка и Оснера мерзавцем, — я подозреваю, что мой повар подкуплен, — в таком случае, монсьер Лежандр, вы закончите отливку, как я вам укажу, поставите памятник прилично и похороните меня великолепно и пышно, ничего не жалея, с печалью, как графа и учителя. В этой мокрой стране все, что останется из денег моих, можете взять себе. И всем этим вы прославитесь. Ни в каком случае не бросайте начатого этого мною предприятия! А я боюсь, что скончаюсь от отягощения моего пузыря: он дает себя чувствовать. Если ж я останусь жив, я, по всей вероятности, прибавлю вам жалованья. И таким образом вы будете получать в три раза более того, что получают эти бедные дьяволы-ученики у Каравакка и пьяницы Оснера.

И размягчаясь, мастер выпил стакан элбира и выслал вон господина Лежандра. Он позевал, осмотрел еще раз малого гордого всадника, покрыл все полотном и позвал жившую у него в услужении девку, чтобы она погасила свечу и веселила его на чужой, мокрой стороне.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Ей худо будет; спокаесься после,
Неутешно плакати будешь опосле.

Акт

Хоть пойду в сады или в винограды,
Не имею в сердце ни малой отрады.

Егор Столетов

1

Он был белозуб, большерот, хохотлив, нос баклушей. Дом у него был большой, и он долго его строил, и дом хотел быть квадратом, а выходил покоем и вышел в бес-

порядке. Если б квадратом, он зашел бы за линию, а это запрещалось.

И во дворе он поставил весьма изящный истукан: Флёра, несущая в мисе цветы и улыбающаяся. А бабы-поварихи бросали в ту мису объедки. Дом был дворец, а около дома, летом, пас коров пастух, с луговой стороны, к Галерной. Он с ним не мог управиться. Был генерал-прокурор, многих знатных воров изловил, а пастуха гнал и не мог согнать, — пастух играл в рожок, и коровы мычали. И он махнул рукой.

Он шумствовал и имел голос толстый, как канат, и был гневлив до затмения и до животного мычания. Он был площадной человек. И вот он был недоволен, Павел Иванович Ягужинский.

Данилович, герцог Ижорский, называл его так: язва. Он ругал его шпигом и говорил о нем, о его должности: шпигование имеет над делами. Он называл его: горлопан, плясало, неспустиха, язва, шумница, что он пакости делает людям, что он архи-обер-скосырь, что не по силе борца сыскал, что он ветреница, дебошан.

Он называл дом его: Ягужинский кабак, потому что там жили разные люди. И еще: Пашкина люстра, как если б это был распутный дом, или берлога, где звери лежат, или же бабий двор.

Он намекал о нем заочно: женка у него, у Пашки, была зазорная, подол задравши, бегала по домам, и он, Пашка, ее в монастырь сунул, а сам уманил другую, да такую, что вместе с ним в один вой воет. Щербатый черт, а не дама. Что он всех, как бешеный скот, забодает; что отец его пастух, в сопелку дул, а он, Пашка, горазд плясать. Он пистолет-миновет пляшет и на господ из Сената покрикивает, Смехотворец, Протокопай. Называл его: Господин Фарсон, и еще: Арцух фон Поплей — это в том отношении, что Павел Иванович был любезник и любил чувство и музыку, что он знался с погаными девками актерскими, и актеров набирал, и любил драматическое действо. А господин Фарсон и Арцух фон Поплей были новейшие драматические названия. И может, еще оттого, что он был остер говорить на чужих языках и этим перед многими гордился: Фарсон. Или что он хотел достать герцогского звания, а был только что граф, и этих бар полон анбар: Арцух фон Поплей. Что он лезет носом, что он шпиг. Это он давал намек на должность. Ягужинский был и полковник, и генерал-маеор, но, во-первых, был он «государевым оком».

Это око смотрело, и нос лез во все, и весьма нюхал, и ревизовал. Ничего не боясь. Потому что он был дебошан и горлодер.

Он был площадной человек, никому не похлебствовал, лез, высматривал. Его не одолели. Нет, он не свалился. Пил только он теперь чрезмерно — настой, вино, английское пиво элбир, — теперь он жадно все это тянул. Без вина он плакал теперь. Потому что один остался. И вот — как что — подойдет, опрокинет — и готов к действию. Чинить надзор, смотрение, чтобы дело стояло и чтобы оно шло, и кого надлежит бить по рукам. И если кто его тронет, тогда ягужинская глотка раскроется, и глаза выкатят, и толстый рев:

— Го-го-го-го!

Этого угрожательного рева боялись, и от него стекла дрожали. И он уцелел. Но он был недоволен.

Он говорил ранее о Даниловиче, господине Ораниенбаумском:

— Menshenkot! Загреба! Хунцват! Сердце коронованное в гербе имеет, а внутреннее сердце мышь съела! Сухостой! Пакость делает нижним людям, а вверху наружно льстит! Ему все равно, хотя бы паклад в государстве! Только бы в боярскую толщу пролезть, прынц Кушмен! Он, Данилович, себе в карман все Российские Европы прикармапит. Поперек въезжает, зная и не зная. Скаредный, адский советник Ахитофел! Прегордый Голеаф!

И тут же делал намек на ночные разговоры Александра Даниловича со свояченицей:

— И что ему в Варваре, когда у него все в кармане!

Теперь, когда герцога метнуло уж очень высоко, Ягужинский не слетел, не сослан, — он по вечерам запирался. И сидел один. Теперь жена его к нему редко показывалась. Она была у него умная и щербатая от оспы — и так, как будто у ней по лицу куры гуляли. Он не любил смотреть ей в лицо, он любил ее вид с боков или же сзади, так, чтобы лица вовсе не было видно. А теперь он перестал смотреть и с боков. Он теперь думал.

Он считал по пальцам: Остерман — потатуй, молчансобака, неизвестно кого за ногу хватит. Апраксин — человек обжорный и нежелатель дела. Вор. Господин Брюс — ни яман, ни якши, человек средней руки. Потом господа гвардия, нахлебнички, война без бою, а потом кто? — потом боярская толща. Голицыны, Долгоруковы,

татарское мыло, боярская спесь. Выходило: теперь он один, Паша, Павел Иванович. И он не испугался, он только очень себя жалел, до слез. Он крякнул и выпил элбиру. Потом велел звать пленного шведского господина Густафсона, что жил у него в доме для разных домашних дел, а для каких? Для музыки. Он ему играл по вечерам, во время шумства, на пикульке, и пикулькин звук был сладкий и мутительный, он тянул слезы из глаз, он его канатом вязал. Так он себя терзал, потому что у него было чувство и любезность, а не только толстый рев и дебошанство, как о нем говорили некоторые. Господин Густафсон играл ему, Павел Иванович тянул настой и смотрел поверх себя — на потолки, а они были штукатурены, по немецкой моде, а по самой середине мастер Пильман вывел ему голую девку, стоящую посреди цветов, и для смеха Павел Иванович ему заказал правильно нарисовать фигуру знакомой актерки, и вышла похожа.

Павел Иванович смотрел теперь на ее живот, потом на стены с индийскими выбойками, а выбойки были уже кое-где и початы, забрызганы и прострелены, для шутки.

Он ел много, еда была дареная, от разных дворов; от венского двора метвурст и оливки, а от дацкого анчовисы и копченые сельди из бочонка; как он много пил теперь вина, то ел без всякого разбору, и венское и дацкое, а кости бросал под стол и слушал музыку.

Звук пикульки был такой тонкий и круглый, как бы голос какой девицы, человеческий голос, который все изображал разные чувства, юлил, плакал, вертелся, как завойное шило, тоньшел даже до свиста, а там опять толстел, и потом даже стал как бы другой человек в этой комнате, другой, потому что шведский господин Густафсон, который дул в пикульку,— в счет не шел. И после того, как швед сыграл свою мутительную, до слез, музыку,— Павел Иванович вдруг остановил шведа и выслал его вон. У него стал мгновенно от этой музыки в голове переворот. Он вдруг на минуту как-то так стал думать за Даниловича. Или нет, не так, он подумал, может быть, что эх, хорошо было бы, если б именно сейчас был главным советником, а не Данилович. Вот это было бы хорошо. А потом опять стал считать: Апраксин — обжора, вор, и другие — и вдруг, — от музыки и от настою он вошел во мнение: что ведь и Данилович на своем Васильевском острове теперь сидит и тоже считает. А кого

он другого может насчитать? Все те же, и еще он сам, Павел Иванович на придачу. И на ком тогда станет? Потому что стать-то нужно на ком-нибудь. И пойдет в боярскую толщу. А если пойдет, так вернет из Сибири Шафирова, Шаюшкина сына; он на Долгоруковой женат и всех ему бояр перетянет. А вернет Шаюшкина сына, отымут у Пашеньки Мишин остров, который был от того взят и ему подарен. Три мазанки! Море! Роща березовая!

А не бывать Шаюшкину сыну с Алексашкою в царях! А не возьмут площадного человека!

А были бы купцы, магистратские люди, да мастеровые, да чернь!

Го-го-го-го!

Вот тут и началось настоящее шумство.

2

Его свезли в куншткамору ночью, чтобы не было лишних мыслей и речей. Уставили ящик со всею снастью в крошни, закидали соломой и отвезли в Кикины палаты. Едут солдаты во тьме, везут что-то. Может быть, фураж, и никому нет дела.

Несли все сторожа, да и двупалые помогали. Они были сонные, еще не рассвело, и помощь от них была какая? Они светили. Держали в клешнях своих самые большие свечи, которые были в Кикиных палатах, и так старались, чтоб ветер не задул.

А в палатах очистили большой угол, передвинули оленя да перенесли три шафа. Два дня вешали там завесы, набивали ступени; обили их алым сукном с позументами. И одели все красной камкою, для предохранения от пыли. Уставили работы господина Лебланка: навес с лавровым суком и с пальмовым. На куполе была подушка деревянная, взбитая, со складками, как будто ее сейчас с постели взяли, — так ее сделал господин Лебланк, — на подушке царская корона с пупышками, а над короною стоит на одной ноге государственная птица, орел, как бы к морозу, или собирается лететь. Во рту лавровый сук, в когтях — литеры Пе и Пе.

Когда уставляли, поломали тот лавровый сук и одно крыло. Лебланк чинил, замазывал и получил за починку особо. Он за этот навес и за болванку получил немалые деньги и теперь собирался уезжать.

Поднимали даже полы, и господин механикус Боттом пустил там разные железные прутики и пружины, подпольную снасть.

И усадили. Смотрел он в окно. А по бокам уставили шафы с разным платьем, тоже его собственным, подвесили к окну гвинейского попугая. Поставили в углу собачек: Тиран, Эопс и Лизет Даниловна.

Так он ее называл, эта Лизет была как будто родная сестра Даниловичу. Это он так говорил в шутку и в смех. А она была собака, рыжая, аглицкой породы.

А в углу — лошадь, тоже Лизета, — но она облезла, и ее покрыли попоной, а на попоне тоже литеры Пе и Пе.

Но потом пришли в сомнение. Собаки еще ничего, собак в палаты не только допускают, особенно немецкие люди, но еще и кости им бросают, как прилично образованным людям, и если собаки ученые, они носят поноску, выказывают свой ум и так радуют гостей. Но лошадей в палаты никто не пускал, разве только Калигула, император римский и такой, что лучше его не поминать. Нельзя преобращать важное зрелище в конское стойло. Хоть и любимый конь и участвовал в Полтавском бою, но облез, и от него пойдет тля. И вскоре лошадь Лизету убрали вон и с попоною.

А пока таскали, переносили некоторые натуралии, уставляли — уплыло из склянок несколько винного духу — по пальцам.

И ночью шестипалый прошел в портретную палату (теперь ее так стали звать).

Темно было. Сторожа спали, их винный дух, что по пальцам тек, свалил. Видны были собаки Тиран, Лизет и Эопс, и мертвая шерсть стояла на них дыбом.

И, закинув голову, в голубом, и опершись руками о подлокотники, протянув удобно вперед длинные ноги, — сидела персона.

Издали смотрел на нее шестипалый.

— Так вот какой он был!

Большой, звезда на нем серебряная!

И все то — воск.

Воск он всю жизнь собирал по ухожью и в ульях, воск он таплевал, резал, в руках мял, случалось делал из него свечки, воск его пальцы помнили лучше, чем хлеб, который он сегодня утром ел, — и сделали из того воска человека!

А для чего? Для кого? Зачем тот человек сделан, и вокруг собаки стоят, птица висит? И тот человек смотрит в окно? Одетый, обутый, глаза открыты.

Где столько воска набрали?

И тут он подвинулся поближе и увидел голову.

Волос как шерсть.

И ему захотелось пощупать воск рукой. Он еще подошел.

Тогда чуть зазвенело, звякнуло, и тот стал подыматься.

Шестипалый стоял, как стояли в углу натуралии, — он не дышал.

И еще звякнуло, зашипело, как в часах перед боем, — и, мало дрогнув, встав во весь рост, повернувшись, — воск сделал рукой мановение — как будто сказал шестипалому:

— Здравствуй.

3

В тот месяц много ездили друг к другу в гости и стали больше пить вина. Когда человек встречался с другими людьми, ему было уж не так страшно, что кругом болота и что воздух неверный. Этот страх тогда проходил. Человек тут обтесывался, как камень в воде, и становился не способен к упорству и мнению. И сани, разные пошевни, а когда снег сошел — и коляски, полукаретья, — скрыпели тогда по городу. И больше ездили в полукаретьях, чтоб не брать с собою провожатых холопей, а только двух лакеев, чтобы не было лишнего шпегования.

Павел Иванович за сегодняшний день побывал у Остермана и еще у некоторых. А вечером к нему приходили малые люди — из купецких людей, потом из магистрацких, и долго сидел у него в комнате, где на потолке был правильно нарисован актеркин живот, — Мякинин, Алексей.

Потом все ушли, а он подошел к окошку и увидел: в небе адмиралтейский спиц, олово, воздух и на той стороне Невы огоньки в Меньшиковых мазанках. Все спокойно, и ничего не случится, ни большого жара, ни наводнения. Все на месте, а где самый Меньшиков дом — отсюда не видно. Он стал шататься от зеркала к зеркалу, и все зеркала показывали одно и то же: губы набрякли, голубой глаз в пленке, от настою, — и статура, и некоторые мано-

вения рук. И все время он бормотал, сквозь белые зубы,— с придушьем и свистом, а потом — губы чмок — и толстый голос, до зубного скрежета и даже до животного мычания. И в конце — фукование и — пых, как бы с горьким смехом. Все вместе — как будто учил и репетовал комендию, новую и неслыханную. Подплыл к зеркалу, что у двери, оно отражало правое окно во двор, и гзымз — и шепотом:

— Дракон Магометов!

Посмотрел кругом себя, со знанием и свирепостью в глазах, и не увидел ничего, кроме мебелей и серебра, тогда развел руками, как бы в полном и последнем непонимании или как будто он все сделал, что мог, и более ни за что ручаться не может:

— Голеаф!

И передохнув, походив, он посмотрел в окно и увидел фонарь и фонарный свет, который падал стекловидно, как круглый фонтан на землю. Сам от себя ставил и с чугунным столбом, для примера протчим.

— Фонарные деньги? — угрожательно сказал он.

И тут он сделал хитрость в глазах.

— А для чего, господа Сенат, — хотя бы и фонарные деньги, — то для чего с Адмиралтейского Острова по Мью-реку по копейке тех денег собирают? А в Санктпетерсбуркском по деньге?

— А не для того ли, — и протянул перст, как римский оратор, — не для того ли, что там Меньшиков зять проживает?

Горько посмеялся.

— И не светят фонари, — сказал он единым хрипом, — и уже не светят фонари, для того, что побраны лишние поборы — деньги квадратные, хлебные, банные, сенные, дровяные, и прорубные, и повалечные, и хомутные! И горькие деньги!

И схватился рукой за лацкан, как бы издал рыдание:

— Для шпегования живу, а не для управления! И прошу и имянно указую, а ответ тяжелый!

И, отдышавшись, стал перечислять кратко и быстро:

— Беглые, и умершие и взятые в солдаты из подушной не выключенные. И бегущие в Башкиры...

Тут поскоблил пальцем над правой бровью, потому что позабыл. Походил и спохватился. И указал в окно, прямо на Флёру, несущую цветы.

Вошла щербатая.

И щербатая села и стала слушать, а он сказал ей, вместо Флёры:

— Вот я, Анна, тебе говорю и объявляю, что после расположения полков на кватеры в душах явился ущерб! Двинули в казанское царство — и убыло тринадцать тыщей человеческих душ! Ето безделъство!

А щербатая, склонив глаза, слушала и стучала ресницами. Она была умная.

— Ведь я вправду говорю, — сказал он щербатой, хоть та и не возражала. — Ведь небезужасно слышать, что одна баба от голоду дочь свою, кинув в воду, утопила.

А щербатая ждала от него еще слов, и ей дела не было до бабы, да и тому тоже. Тогда он рассердился на нее за такое бесчувствие и стукнул по столу:

— С господ офицеров положить половинную сбавку! Потому что мирное время! И пускай идут из Петерсбурка, а шпаги свои положат на время в футляр! Или уж воевать — так не с бабами!

Тут он налил и выпил элбиру, а щербатая сказала:

— И персицкие дела.

Не допив, махнул на нее рукой и спросил:

— А для чего канальное строение от солдатов перервал? И каналы в запустение придут. Для чего? И Петерсбурк-колонна, конечно, перестанет.

И со злобой и с надмением откинув голову назад, сделал хальную улыбку:

— А ревизии нынче не будет, господа Сенат! Не будет ничего ревизовано, потому что сей пронзительный княжеский ум ревизию не пускает. И так все видит!

И развел ладонями, как веерами, перед самыми глазами, с насмешкою, и плеснул элбиром. И тут бросил стакань наземь, со звоном и хрустом.

— Генеральный фундамент на всем свете земля и коммерция. А он за новые тарифы себе дачу в карман положил. Не без страсти! И теперь в изумлении купецкие люди: ли коммерцию в архангельский Город переведут, ли в Кронштадт, или вовсе изведут? И быть ли Санктпетерсбурку или Городу? Дайте мне ответ, господа высокий Сенат, — сказал он щербатой, — потому что это есть немалое проблема! И Петерсбурк уже неверный!

— Дацкие дела, — сказала тихонько щербатая и тряхнула головою с большой тревогой и страхом, но одобряя.

— И с немалым ужастием и страхом смотрю я, — и он схватил ее тонкую руку в свою, красную и большую, — как светлейшая машина слепа! И в дацких делах ожесточение! Оружие на землю валится! И уже офицеры холопами его стали! Насильством добывают!

Выбежав на середину комнаты и рванув кафтан на груди, он заревел, вертя головою:

— И всякий приходит и просит, чтоб была справедливость! Такова сила в житье моем! Ни потешения, ни отрады! И кровь путь покажет!

И щербатая быстро-быстро махала ресницами.

А он все вертел головою во все стороны, как будто искал какого предмета или же прибавления к словам, и вдруг, неожиданно для себя самого, возопил:

— Голеаф!

Тут он упал в кресла и посмотрел кругом: свечи горят, играют на серебре, на стене пятно, палата большая и могла быть меньше. В креслах сидит жена, щербатая, умная, а могла бы сидеть другая, не такая умная, да не щербатая. И все не идет с места, а кругом город сделался неверный и может запустеть к лету. Задрожит и поползет. Такой город! Тридцать тысячей человеческих душ! Оползает — уже напротив мазанка заколочена, где жил портных дел мастер, немец Михайло Григорьев. А куда ушел? В нетях. Разбредутся прочь от работного места и скажут, что место болотное. А начнет же он завтра его тревожить, как палкою пса. Потому что довольно уже! Будет ему! Конь Калигулов!

На сегодня было довольно.

Он сказал, помолчав и совсем другим голосом, как бы со скукою и с жалостью сердца:

— Толстой обещался, и Остерман молчать будет. И на завтра, Аннушка, мне ленту приготовь. А элбиру уже на сегодня довольно. Бардеуса пришлите. И кликните мне, пожалуйста, балбера-цырульника, и он мне кровь пустит.

4

С детства была камора низкая, и деревянные стены были копченые, бревна пахли дымом. На всю камору была печь; в печи — дрова.

Посередине стоял огромный деревянный обрубок, как будто в комнате рос дуб, его срубили, и это пень.

Отец был толстый, красный, с него капал пот на те-

стяные листы. Он выворачивал обеими руками большую сковороду на обрубок, громко считал, а когда говорил:

— Сорок сороков! — переставал считать, отирал пястью пот со лба, а руки о фартук, и больше не пек.

Фартук был румяный, поджарый и стоял колом.

Востроносая мать ворочала так тонко пальцами на обрубке, точно белошвея, и чинила тесто луком и бараньим сердцем.

А он, Александр Данилович, все нюхал тонко и длинно: дымок, конопельное масло. А отец был молчалив, уходил из дому и приходил шумный, без речи и без портов. А мать была вострая и считала деньги в углу. И когда, много лет спустя, плавал в море и уже был адмиралом — нюхнул: смола. Матросы смолили гальюн, и дым был сладкий, бревна прослаетились дымом. Тогда на малое время как бы опять все у него явилось в его памяти через этот запах: камора, и тот пень, и отец, красный затылок, и печь, и:

— Сорок сороков!

В последние годы он раза три так вспоминал себя, опомнился. А больше не вспоминал. Потому что он теперь не помнил, он жил без памяти. И все ясно видели со стороны, как менялся. Он несколько раз в жизни менялся — то был тонкий и быстрый, и весьма красив, и проказлив, потасклив и жаден. И видно было, что дальнего стремления у него не было никакого, а просто было большое движение, газард и смех. Потом лет пять ходил и ездил, плотный, и осмотрительный, и чинный, и взыскательный к людям, и жадный. Потом — опять его унесло. Стал востер, отвращаться от людей, лицом безобразен, по вострому носу пошли красные жилки. И тогда стал отделяться от своего начала, забыл о том, кем был, и появились дельные мысли, прицел глаза, беспокойство, и люди стали для него все одинаковы, остались только свои сыновья и дочки, — он о них еще думал и понимал, что своя кровь.

Он вознесся.

Он сидел и смотрел на превосходные печи, осматривал палаты, сколь тонка резьба — и все было ему как чужое, несколько холодное. Может, — строить новый дворец или куда-нибудь ехать? Возьмет в руки табакерку, вознесет в нос табацкий понюх, — и раньше было так: пальцы эту табакерку понимали, что своя табакерка, что в ней край недаром обтерся, что это — время, и его вещь, и его добро. И нос прочищался, и появлялась яс-

ная память. Что нужно сегодня сказать, и какое смешное происшествие было вчера: что дура повара в зад укусила, и что завтра не без дел, и что день кончен.

А теперь день не кончался. В просторных и дальних мыслях брал он в руки табакерку и заправлял табак в нос, а что держит в руках, забывал. Пальцы брали табак как с воздуха. И ему все равно было, потому что он разлюбил вещи. Стало много новых табакерок, пряденого золота, одна с жемчугом, другая с бриллиантом, и он их терял. И вещи стали плоше, много принцметальных в доме, дороги и новая мода, но желты, как медь.

И когда говорил с Варварою, стал косить, потому что не мог всего сказать, а раньше о главных делах она знала. Ее спальная комната была рядом. Когда ночью просыпался, он сам дивился, что стал весь жильный, вытянутый, как струна.

И дела и убытки. Город Батурин, что когда-то штурмом брал и, конечно, разрушил, вечное владение, надо управить тысячу триста дворов, а всего под ним более ста тысячей и пятисот человеческих душ, кроме волостей Почепских и Польских. Да за убыток по Ингерманландии отдано сорок пять тысячей душ за деньгами невступно шестнадцать тысячей. И мало просил. Можно бы тридцать. И это убыток.

А что теперь его звание? Принц, или хоть герцог Ижорский, или князь Рымский? С теми перышками страусовыми в гербе и с княжеской шапкой? А он хочет быть как принц Артоис Королевский во Франции. И притом, против цесарского обычая и завсегда так бывает: чтоб зваться Генералиссимусом, а коли не хотят, так: Генерал-Поручик России.

Днем он много дел делал и такие слова говорил, которые уже двадцать лет как позабыл. С Катериной.

Он понимал, как день за днем ее привораживать. Он сначала ей сказал, указуя на гроб:

— Мать! Осударыня!

А потом, в другой палате:

— А не поговоришь ли мало, мать, о делах?

И ту «мать» уже не так сказал.

И потом, день за днем, опять приучился ее подталкивать, за руки брать, близиться.

А как убрали и зарыли, — он и привалился.

Он мог жестоко действовать в этих разговорах — и вот тогда, в то время как ничего не думал, но ее, Кате-

рипу, всю видел, — вот тогда начало в голове вертеться, как бы колесо даже со свистом, и он не мог того колеса остановить:

— Хочу быть формальным регентом, чтоб мне, мне, именно мне — править.

И так подряд: мне, мне, именно мне.

А он совсем не хотел быть регентом, а хотел быть разве генералиссимусом. Но он вознесся, он действовал, и она была вся, как есть, видна, — и в нем это завертелось.

И он все это забывал, он даже не мог остановиться и подумать, что́ для этого нужно делать, и не думал — а назавтра делал.

И безо всяких мыслей, — опять когда был с Катериной и смотрел на нее вострым глазом, — а у нее глаза были закрытые, — опять явилось это самое колесо, и уже другое:

— Прынцессу за сына, а тогда имянно, имянно, имянно буду регентом.

А потом забывал и днем распоряжался.

А вещей становилось все меньше, или не меньше (вещей стало больше), но все кругом оголело. Как на корабле, когда выходят уже в открытое море, — на нем вещи меняются. И посуда та же — порцелинная или глинная — и скамья, а все чужое. И когда приедут, — те вещи опять переменятся. Они на время. Другие вещи будут. И он стал понимать себя, какой он со стороны, — худой. И стал понимать, что его голос сухой и без внутренней мякоти, как бывало.

И раз, когда был вознесен, а она, Катерина, распахнута, он понял, что она устарела, и не подумал, а просто так, будто сказал:

— Как избыть человека? Как ее, как ее избыть?

И он даже бормотнул это, потому что в ту минуту он был не без страсти к ней, к Марте. А избывать ее теперь и вовсе никак не хотел.

И тут стала еще одна перемена: он стал осторожен к людям, и хоть был гневлив и памятозлобен, но после гнева, если тот кланялся низко и со смирением, он ему отдавал поклон. Он стал даже забывать обиды, потому что не брал людей в живой счет. И перестал насмехаться, а раньше ему люди казались весьма забавны. Такова ему пришлась власть.

Он вызвал из Сибири Шафирова, своего неприятеля.

И он осматривал своих министров, господина Волкова и господина Вюста, и думал строго:

— Ох, воруют!

Он стал бояться больших дач, которые ему предлагали, потому что дачи теперь ему были все малы, а другие, верно, тоже берут, и не слишком ли много уходит денежного капитала? По его лейб-гвардии непорядки. Вюст не без подозрения — краснорож, всегда брал, взятчик. А теперь такие конюшни себе построил, и тонкий дух от него пошел — маеран! Ох, берет! А сколько интереса? Вот что нелюбопытно!

И решил, что после, когда уж станет формально, он Вюста прогонит. Даст ему диплом обнадеживательный, и пусть идет.

И он смотрел на дочек опытным глазом, на белость их кожи, на грудь, какова она будет, он заботливо на них смотрел и предназначал, выбрал. Выбрал Марью. И иногда ею любовался. А жену перестал видеть, как будто она приблудная или прямо так, от стада отбилась да в дом забрела.

И перед тем как поехать в Сенат, — почувствовал беспокойство: нужно делать людям облегчение. Он позвал своего министра Волкова. После той ночи, когда трон менялся, Волков стал хиреть, — был желтый и дышал глубоко. И он был сердит на Волкова: были хлопоты, скакал там ночью, захворал, — пусть, но так хиреть, как бы назло, и смотреть жалко в глаза — это скучно является. Дано ж ему, Волкову, денег и маетностей — все за ту ночь. Зачем же хворает?

Герцог Ижорский сказал министру:

— О полегчании по табацким делам указ заготовил ли? И о ноздрях?

Тут Волков сунул ему в руки два листа, и те листы герцог взял осторожно в обе руки и далеким взглядом поглядел в них.

Печатанные новою азбукою листы он понимал, как держать, потому что начинались они всегда с больших литеров. Бывали и другие приметы: внизу линии литер — сетерсы, чтоб не ошибиться, ставили слово, которое потом шло первым на другую страницу, и по тому бесстрочному словечку тоже легко было заметить, где в странице голова, где ноги.

А тут дал рукописание, и до того ровное, без титлов и хвостиков, как горох с мякиной. И министр, господин

Алексей Волков, жалостно смотрел: светлейший глаз постреливал осторожно по бумагам, с одного листа на другой, а руки держали те бумаги вниз головами.

— Пестрит, — сказал герцог, — ты мне скажи поскорее, меня в Сенат ждут.

Волков указал перстом на бумагу, с испода:

— Екстракт табацким делам и указам, прежде бывшим, в бывое царствование. И бывым делам по ноздревому вынятию.

Встал принц Александр и посмотрел в желтое лицо, скучное даже до зевоты.

— Ты мне мертвых листов не носи, — сказал он. — Полно тебе. Указ ноздревой чтоб сегодня был. Чтобы ноздри вынимать не до кости. И по табацким делам. Простой табак, и витой, и крошеной — пусть все без страха продают. Читать с барабанным боем после обеда по всему городу и по Мью-реке. И по слободам.

5

А город стоял, и вдруг снег стаял. И люди ходили по улицам, а улицы сильно потели, потому что были немощеные. Их еще ногами не так гладко притоптали, только тропки вдоль улиц были притоптаны, являлись в улочных концах и кочки. Вокруг Невской перспективной дороги болото сильно потело. Утром был такой туман, как дым, как будто все сгорело; а пожаров не было. Люди тогда много в Петерсбурке говорили об этом: отчего так земля потеет? И что легче с дровами, потому что стало теплеть. Стало больше людей в Татарском Таборе, на вечернем толчке. Они шли на теплоту.

В гостином ряду была большая гостиная торговля, денная, а в Татарском Таборе, на горелом месте,— и вечерняя. Тут происходило толкучее волнение. И торговля любила место. У самого кронверка двадцать лет назад построили лавки, и там торговля была скучная, лавки новые; висит узда новая или торговое платье — строгий товар. Мало крику, и не заводилась грязь. Тогда ряды сгорели. И как они сгорели, это дело зашевелилось, оно пошло. Явились шалаши горелые, из горелых досок, пришли татары — ветошные люди, армянин с армянского торгу, захудалый, и поставил в закоулке лавку полпьяный мастеровой человек, чтобы зубы выламывать. Он был шведский или немецкий человек, и все его уже знали в Петерсбурке. И вокруг был крик и тишина, и по-

том: «ох!» — и выломанный зуб. Он продавал и аптечные товары, тут же на земле расставил фляжки. Ходил и на дом, если кто попросит, — руду метать или спускать волоски, потому что был еще и рудомет. Он был суще говоря цырульник. И там было много народу. Сделались щели торговые и закоулки, разные купецкие дыры и ямины. Развалы стали. Явился крик, клятва и ротьба. Воровство завязалось. Уже васильковский кафтан за кем-то гнался и снимал фузею, а ему кричали: струна барабанная! Воздух стал густой, человеческая моргота.

И началась грязь, дело стало обрастать. Под ногами и по прилавкам, и на руках. Грязь была разная: калмыцкая, сухая заваль — от конских приборов, и татарский лоск от ветоши, а потом жирная и мясная грязь, тут же и потрохи и мертвечина. И это было указом генерального полицмейстера вовсе запрещено. Нельзя продавать битое мясо необряженное, мертвечину должно убирать, а торговцам битым ходить всем в белых мундирах — для великой чистоты. И за мертвечину три рубля штрафных, а за остальное тоже штрафы, и кошками бить, и на каторгу. Но не исполняли. И тут же, за площадкой, был еще ряд, его звали: душной ряд. От него дух шел. Весы тут были неорленые, посуда немеряная, и живой товар — весь мертвый. И тут из рук в руки тащили друг у друга убоину и кричали:

— Гей!

— Товара не ломай!

Тут у бадьи стоял купец и продавал всем квас, пустой товар. Пирожники кричали, подавали пироги, а пироги были обмотаны тряпьем, как грудные дети. Тряпье было ношеное, и в нем была теплота, она тоже стоила денежку; холодные пироги были дешевле. А рядом — финский мужик из деревни, что за островом, и у него в кадушке сало, богатый мужик. И кто хотел купить, тот пальцем это сало умазывал и клал палец в рот. И тогда на него смотрели. Он пробовал товар. И глаза у него тогда раскрывались беспокойно, как будто человек в первый раз увидел такое небо, и такой город, и толкучие ряды, тот Татарский Табор. И еще раз, и глубже совал палец в бадью, и опять клал его в рот. И все глядели, как покупающий человек смотрит товар. И медленно двигал он языком, и что-то там делалось у него во рту, и он останавливался. Он тряс головой:

— Негоже!

И его нет. Он толчется, он сбрую приторговывает.

И вдруг продает старые порты.

И люди были разные. Торговые и мелочные люди. Они не любили василькового цвета, не любили площади, и меры не любили, а любили щель, были защельные; они были толкучие люди. И были такие торговые люди, что торговали ветром. Они устали из портов, из карманов удить, они с голов шапки тащили. Тогда человек, который толокся, он вдруг понимал, что его голове холодно, но, что у него волос от ветра шевелится, и хватался обеими руками за шапку.

И нет шапки.

Тогда он кричал:

— Воры!

И все начинали кричать:

— Воры!

И медленно являлся тогда васильковый кафтан, зеленый камзол. Картуз был на нем васильковый, и епанечка васильковая, а шпага с медным ефесом. Он являлся ловить воров. И тут же ловил вора, если он попадался, и тогда все глядели, что будет, — и если приходили на помощь другие васильковые кафтаны, вора тут же и клали носом вниз, руки ему заворачивали и били его морскими кошками по спине.

Но сами они были нескоры, штаны васильковые, васильковые картузы, они тех воров догнать не торопились, чтобы скоро идти на помощь, на секурс, у них не было такого духа. Как Агролим говорит в комендиальном акте: «Не мешкаю, шествую, предъявлю, конечно», а сам стоит на месте.

А теперь грязь теплая, и мяса в мясном и мездровом ряду стали темнеть, томиться, — наступила весна. Мастеровые люди посматривали, и потому что было тепло, они высматривали вещи не самые нужные, а вещи тонкие и которые давно уже собирались купить, а потом все забывали; торговались долго, а покупали внезапно и потом жалели, что купили. Они ходили больше по железным, игольным, юхвенным делам.

А нетчиков было мало в новом городе, они туда не шли, им мешало, что в Петерсбурке земля потеет и пускает туманы. Большие нетчики сидели в Москве. Но как стал легкий дух, ходили малыми стайками и здесь, по Татарскому Табору, малые нетчики. Кто при дяде или тете состоял, или приезжал временно из вотчины, или

здесь в Петерсбурке таплся. Зимой сидели крепко, а к весне вышли. Они пересыпали с утра, потом вставали, пересемывали, и время их щемило, что много времени: час, другой — и никого, и ничего, и далеко еще до едова. От этого у них была меланхолия. Тогда они враз бросались на Татарский Табор смотреть разные вещи и придерживаться, или ломать себе зуб у мастерового зубных дел, если зуб болел. Подышать там весенним воздухом и в душно́м ряду, или в вандышевом, поплескаться у манатейпых дел, у шапочных или золотых.

Слепые старцы приходили. Им давали по луковке. Разная нищета слезила и пела вдоль по стенкам. И легкой поступочкой тут прошел Иванко Жузла, или Иван Жмакин, он никого не задел, не толкнул, ничего не сказал. Он только глядел на всех, и его взгляд был не верхний и не нижний — он был средний — на руки и на то, что в руках. И только потом смотрел в лицо. Так он увидел руки в полумундирных рукавах: дерюга, а поверх дерюги форменные красные обшлага, и усмехнулся. А в руках был вощаный круг, — и Иванко сделал тут в сторону кив и морг, и еще один человек поглядел на эти руки.

А потом он прицепился к воску, и взял его в руки, помял — круг был крепкий, не поддался, — и посмотрел в лицо отбылому солдату Балка полка. Спросил про то, про се, потом отвел в сторону. И другой человек тут оказался, затертый, как тряпье; оборыш: морготь, а не человек. Вощаной круг было солдатово жалованье за три месяца, и он его продавал.

Иванко тот круг вертел, он хотел его купить.

— А тебе па что? — спросил солдат.

Иванко вертел круг, глядел солдату в глаза и потом, погодя, сказал:

— Для фурмов.

Тут он назвал солдата гранодиром, и солдат Балка полка выпятил грудь вперед. Потом он свел солдата в фортину, запить продажу, и прошел у самого носу, мимо каптенармуса генерал-плицмейстерской команды василькового картуза, и даже ему мигнул, — и морготь горькая тоже пошла за ними.

Там солдат Балка полка долго с ним глотал, и он восторгался и стал рассказывать про музыку и про шквадронцы, как он в кавалериях воевал, как он не пошел в бомбардирскую науку и почему, а теперь сторо-

жит, а с ним еще трое и пес шведской, и он никого не боится, что хоть бы завтра он один сторожит, а те трое пойдут гулять со двора, что он солдат Балка полка, вот он кто.

— Пес швецкой? — спросил Иванко, — вот меня в смех взяло. А скажи, гранодир, как того пса швецкого звать? Хозяин собачий, швед, под Полтавой он, видно, швед, пропал?

— Звать пса Хунцватом, а где Полтава, того не знаю, — сказал солдат Балка полка, — не слыхал.

Но тут Иванко так скучно взглянул на солдата, и отдал ему в руки его вощаной круг, и сказал, что на фурмы воск этот не идет, и для того он купить его не хочет, и поплыл с ножки на ножку, с морготьем своим, с оборышем.

6

Когда случился тот неслыханный скандал, тот крик, и брань, и бушевание, те язвительные и зазорные взаимные обзывы: хунцват, вор, шумница и другие, и явилась драка, ручная и ножная, между первыми людьми государства, с подножками, а потом с обнажением шпаг, и конец драки: разъем от господ Сената, — в то время была теплая погода.

И когда он ехал домой, он вначале не мог отдышаться, в ушах был звон, дыхание в ноздрях, а не в груди, и губная дрожь. И он велел себя возить. Тогда мало-помалу он почувствовал облегчение и заметил, что по Неве идет сквозной дым, как нагар на сливе, воздух потонел, потом сказал свернуть к Летнему Огороду. И нюхал толстый дух, решил, что от кленьев, молодых, как от палки. Проехал вдоль по Невскому перспективному болоту — там несожженные березы уже пустили клей. Понял, что они через месяц станут раскидываться. От этого голова остыла, и когда приехал домой, не стал метать руду, не позвал господина Густафсона дуть в пикульку, но заснул внезапно и успел заметить, что устал и правая рука болит.

Назавтра поехал кататься, еще не заходя ни к кому, — и повстречал Апраксина, хотел его поздравствовать, а тот свой нос отвернул. Апраксин был обжора, он был вор, но от этого отворота, от этого Апраксина носа он потемнел и ни к кому не заехал.

И все его оставили.

В ту же ночь он начал шумствовать, с раздираньем платьев и с созывом всего дома, с пикулькиными собачьими свистами, с большими пениями, с пальбою по тапетам и в потолок, в самый плафон, где была нарисована актерка в своем виде. Актеркин живот прострелен и все другое.

И назавтра вышла из Ягужинского дома, из той ягужинской люстры, команда не команда, свита не свита,— вышли люди с ружьями, со свистом, с пением, человек даже до двадцати.

И впереди всех шел Павел Иванович, господин Ягужинский, при звезде, при ленте и со шпагою. Он качался на ногах.

С великим ужасом бежали от них прочь прохожие люди, и сворачивали лошадей люди проезжие, и от них бежали десятские, и рогаточные караульщики, а полицмейстерской команды сержанты и каптенармусы.

В той свите господина Ягужинского был шумный шведский господин Густафсон, и он дул с аффектом, по всю силу, — в пикульку.

А другие, пройдя по Невской перспективной дороге, стреляли в птиц, потому что уже прилетели болотные утки, и это было запрещено указом. И набито много дикой птицы, а две пули попали в мазанку. И тут же господа из свиты пускали разнообразные струи на землю и кричали разные слова.

И эта свита с господином прошла по улицам, как наводнение или же ураган, называемый смерчем.

Явилось по пути нестройное пение. Люди эти пели все вместе, хором; и только с трудом можно было расслышать слова:

Любовь, любовь приносили,
Жар и фимиан!

А потом один хриплым голосом возносил:

Престань ты прельщати
И вовсе блазнити;
Ты бо мя
Ничем утешаешь!

И потом, хором, ревом:

Любовь, любовь приносили,
Жар и фимиан!

И хотя песня была любовная, но при пикулькиных отчаянных свистах и беспрестанных ревах и вздохах это пение было грозное для слуха.

И никто не успел опомниться, как прокатилась вся свита, или, иначе, команда или компания, до реки и перебралась за реку, и ее донесло до самых Кикиных палат.

А впереди всех шел скоро, и ветер его подталкивал сзади, при звезде, кавалерии и шпаге, и в руке на отвесе тяжелая тросточка или же дубинка, — сам господин генеральный прокурор, и у него было тяжелое лицо.

И так не успели ничего понять ни сторож, старый солдат, ни другой, — и в анатомию, в кунштткамору ввалилась вся компания, вся команда. Но, ввалившись, ослабела. Потому что спокойно глядели на них утоплые младенцы и лягвы и улыбался мальчик, у которого было видно устройство мозга и черепа. И они отстали в передней комнате, и там же стояли сторожа и глядели и тряслись, чтоб не было покражи натуралий или ломки и порчи, чтоб никто не унес в кармане малой склянки или какой-нибудь птицы. И тут же стояли двупалые и смотрели на шумных людей человеческими глазами. Но они были дураки и тоже тихие. Балтазар Шталь выступил вперед и сказал голосом ослабевшим и хрипким:

— Excellenz! Я, как апотекарь...

Но, не глядя на него, господин генеральный прокурор свободным шагом прошел далее. И с ним только двое двинулись из его свиты, шведский господин Густафсон и еще один. И за ними пошел шестипалый Яков. Он шел за господином Ягужинским, вытянув голову, как идет охотничья собака, нюхавшая дикую птицу, покорно и затаясь в себе. Потому что живая птица влетела в кунштткамору, дикая, площадная, толстая, в голубом шелку, и со звездою и при шпаге, и это был человек, и он не шел, он летел. В палате, где стояли разные сибирские боги, с обманными дудками, — застрял еще один человек. И в портретную палату влетела та толстая птица со слепыми, мутными голубыми глазами и вошли два человека: шведский господин Густафсон и Яков, шестипалый, урод.

И, влетев в портретную, Ягужинский остановился, шатнулся и вдруг пожелтел. И, сняв шляпу, он стал подходить.

Тогда зашипело и заурчало, как в часах перед боем,

и, сотрясшись, воск встал, мало склонив голову, и сделал ему благоволение рукой, как будто сказал:

— Здравствуй.

Этого генеральный прокурор не ожидал. И, отступая, он растерялся, поклонился нетвердо и зашел влево. И воск повернулся тогда на длинных и слабых ногах, которые сидели столько времени и отерпли, — голова откинулась, а рука протянулась и указала на дверь:

— Вон.

Гнев он понял — он был его денщиком и умел утишать гнев, это он первый узнал, что его гнев проходит от прекрасного женского лица, но тут не было женщин, а был олень и другие скучни. И, сделав движение, которое тот любил, — руку к груди, — он стал его уговаривать: что больше не к кому идти ему, Павлу Ягужинскому, Пашке, и что он для того пришел к персоне, хоть тихо и мало поговорить, или хоть поглядеть, и чтоб он его не гнал, что он сейчас в шумстве, да с кем не бывает и так, он мелким шагом дополз до середины, и тогда воск склонил голову, а рука упала.

И Павел Ягужинский стал говорить, и он стал жаловаться, а шведский господин Густафсон стоял важный и пьяный и не понимал. А урод стоял и слушал. И все понимал. А тот все толще говорил и под конец уже кричал, а воск стоял, склонив голову.

— О пронзительные княжеские умы! что я хохотун! и неусыпаемого сумасбродства президент! что мне на сопелке играть! что я сын пастухов! А он? первый заводчик всем блядовствам, и первое его мастерство в том, чтобы всех до последней меры обмануть и заграбить, — в этом его мастерство состоит! Охотник до Венуса, хоть и не в силу более! Ханжит! Корону роняет, ей руки выцелует: — Сударыня! — а сам и женит и разводит, на королевства сажает, а у других отнимает и короне приказывает! И уже все вдвоем, и день и ночь! Боярскую толщу вызвал, вор! Листы твои мертвыми зовет! Сказал мне арест, шпагу вынув. Чего отроду над собою не видал!

И он заплакал, из голубых глаз поползли слезы, как смола, и, утерши нос и над собою рыдая, весь покривясь от жалости к себе, он крикнул во всю Ягужинскую глотку:

— А кто адского сына натуральный отец? — Конюх!

И воск, склонив голову в жестких Петровых воло-

сах, слушал Ягужинского. И Ягужинский отступил. Тогда воск упал на кресла со стуком, и голова откинулась и руки повисли. Подошел Яков, урод шестипалый, и сложил эти слабые руки на локотники.

И тогда, сделав усилие, с дикостью посмотрел вокруг пьяный и грузный человек, который сюда птицею влетел, — и увидел шведского господина Густафсона и пришел в удивление. Обернулся вбок и увидел собачку Эопс.

Тогда он протянул руку и погладил собаку. И так ушел, ослабев.

7

Прошел верховой слух.

Из средних людей мало кто понял: были заняты своим делом, и до них еще не дошло. Низового слуха вовсе не было, или был, но малый? При кавалерии и ленте, шумный, — это все видано не раз и слыхано. Шведский господин Густафсон не понимал по-русски, да и не весьма был затронут всем, потому что ко всему привык, и его занятие было — музыкальная игра. За игру он получал в Ягужинском доме сервиз, то есть уксус, дрова, свечи и постель. Сторожа в кунштkaморе смотрели за вещами, как бы кто не ушманал какого младенца или обезьяны в склянке, и для них это было верховое шумство, по весеннему делу. Они в портретную не входили. И оставался Яков, шестипалый. В нем теперь сидел низовой слух, как запечатленное вино. Он видел, он сложил те руки на локотниках.

Когда князь Рымский, после обнажения шпаги, — приехал домой, румяный от озлобления крови, — он не знал: как ему быть. Был бы жив сам, он тотчас бы к нему поехал, упал бы на колени и пустил бы взгляд, тот вялый и косой, против которого тот не мог стоять даже до конца. И положил бы его, Пашку, на плаху, а потом, может быть, и просил бы. А теперь? Теперь полная свобода класть его со всеми потрохами на ту плаху, и дом бы его прибрать, кабацкого шумилки. Но слишком свободно, и что-то не хочется. Когда слишком просторно, это неверное дело. Он еще с баталий это знал. Не к Марте же ехать, не к Катерине. И он поехал домой.

Он был зябкий, кровь его становилась скучная, он уклонялся в старость и все не снимал зимней шубы и прятал в ворот нос.

А потом, когда министр господин Волков доложил о кунштакаморе, он поехал в кунштакамору.

В загривчатых своих лисах, ворот пластипчатый, соболий, упрятав нос, поскакал он туда. И когда выглянул этот нос, вострый как тесак, из лис, — стало тихо так, что показалось: только олепь еще мало дышит да, может, обезьяна в банке, а люди давно перестали.

И тут выступил господин Балиазар Шталь, гезель, и сказал без голосу:

— Алтесса, я как аптекарь...

Но не смотрел на него и ничего не сказал немцу.

И, обратив свой нос к двупалым, осмотрел их лбы и глаза и видел, что дураки.

Стал средним голосом спрашивать сторожей. А сторожа отвечали и слышали, как стучит сердце у оленя.

Тогда, послушав сторожей, он высунул длинную руку, взял легко и привычно за шиворот Якова, шестипалого, и Яков почувствовал, что идет легко, как по воздуху, и идет туда, куда указуют.

И ввел во вторую палату. И там ослабил руку, державшую за шивороток, и шестипалый остановился, как маятник, и понял, что спущен с виски.

И, не глядя, средним голосом спросила его толстая шуба. Тогда Яков в одно мгновенье стал хитрый и решил, что будет говорить совсем не то, что слышал, а что скажет, что ничего не слышал, — и сразу решил говорить мало и выдумывать, и в то же мгновенье лисья шуба посмотрела на него человеческими глазами, а глаза были скучные, как уголье, когда оно гаснет. И шестипалый услышал, что он рассказывает все, что слышал и видел, и удивился, что помнит даже такое, о чем не думал.

Тогда лисья шуба подобралась, и скучные глаза еще раз посмотрели на голову Якова, на его глаза, на шестипалые руки, на младенца косоглазого, что стоял тут же в банке, — и быстро двинулась, прошумела — в портретную. А дверь закрылась за шубой.

И тогда Яков, стоя на месте, где стоял, присунул быстро голову к двери и поглядел в замочную скважину. Шуба стояла, как черное поле, и потом поле качнулось и медленно пошло: на воск, на подобие.

И тогда шестипалый увидел колебание, что встает воск, и увидел сбоку перст, который указывал: вон. Яков успел отшатнуться: прямо на него, в дверь, выбежал человек в кармазинном, как огненном, кафтане. И он был

худой. А толстая лисья шуба волочилась за ним, как живой зверь. И он остановился, глаза у него забегали. Он натянул шубу и тут наткнулся на Якова, на шестипалого.

Тут взглянули два человека в глаза друг друга.

Лисья шуба прошла, соболий ворот встал, и нос спрятался. Он задел по дороге китайского бога или же сибирского болвана, и тот покатился, сторожа бросились поднимать. Не обернулся.

А потом — цугами, цугами проехал он куда-то.

И все складывали шапки и останавливались.

8

Какая ночь была потом!

Серая.

Погода вдруг изменилась — встал ветер, и все наоборот. То шло к весне, мелкая погода, а теперь приходилось ждать либо холода, либо большой воды. И на небе не было обыкновенных звезд или луны, а была одна белая дорога, которая кишит малыми звездами. Эта молочная дорога, и было небо, а земля черная, и ветер и лед; было хуже видно, чем во тьме. Эта ночь была скучная в Петерсбурке. Это кораблям на адмиралтейском дворе было тяжко: они качались на цепях и урчали.

В Ягужинском доме теперь было тихо, потому что дом притаился и все полегли спать; либо полуспали, либо уже спали до дна, до черноты. Ягужинский дом был теперь как остров в басне, который назывался: гора любезных, до которой не доходят ведомости, и она окружена тихой водой. Потому что неизвестно, что теперь будет и куда ушлют. А что ушлют, все думали так. Пропал, пролетел, ветреница!

А ветреница — сидел теперь тих, похмелье с него спало, и пристало мнение. Он все не мог вспомнить, что он такое позабыл. Притом фонарь за окном качался, как утоплый. Потом он читал свой гороскоп, который ему в Вене самый большой астролог и за немалые деньги составил, по лбовым линиям. И находил неверное утешение.

По гороскопу, или иначе по латитудинам планет, он был горяч и мокротен, и любовь была ему от народа простого, а не от больших и властных персон. Март знаменовал трудность в его делах, ради ненавистных гонений от политичных и придворных врагов на его интере-

сы, прибыли и характер. Март как раз и был теперь, он самый; на дворе и под окнами стоял март, сегодня стоял, завтра кончался, а на Васильевском острове — враги. И придворные и политичные — все верно. И, однако, Аргон-звездарь тут же подтверждал, что вышеупомянутые враги не могут учинить никакого действа, и он останется сверху, вышпий над ними, и победит все противности.

И вспомнил он опять безо всякой данной ему гороскопом причины одну венскую шляхтянку, от которой был счастлив, потому что не только был ее любитель, но и любим ею. Была гладкая, чернобровая, неверные глаза и губы надуты. И та гладкая, та чванная шляхтянка — она в Вене, а он в Санктпетерсбурке, и их обоих, как веревочкой, тянет друг к другу, по всей географии — и это есть государственный союз с Веною, всем нужный и полезный. И того не понимают. Да что уж! Полно. И тому не быть.

А в этом году, говорил звездарь, Сатурн обретается при конце Маркурия. Смертная ненависть министра и его лукавство. Немилость вышних. Замешание. И победа. И жизнь будет расширяться, в добром счастье, до пятидесяти лет и более.

И все то — обман, и даром плачены деньги.

А венская шляхтянка далека, и что она теперь делает? Она в приятных беседах или лежит больная. А вот что с ним завтра будет — этого гороскоп не знает. Он подошел к окну, увидел: олово, ветки, грязь, морготь дымный воздух, и как будто там кто копошится внизу.

И ему показалось: опять его первая жена, изумленная, дура, — она опять вырвалась, убежала из монастыря и, задрав подол, бегает вокруг дома и срамит его.

Тогда еще раз всмотрелся и увидел: ветки, морготь тряпье старое, грязная Флера, несущая в мисе нечто. Махнул рукою и отошел от окна.

На Выборгских восковых тоже была ночь, ночь фабрическая.

Анбар стоял замкнут, все мазанки тоже, и мазанка, где казна, и сарай с печью. На дворе две телеги порожние. Солдат Балка полка бродил за сараем, — и вот он услышал тонкие голоса и треп, что-то трепалось, и тогда позвал шведскую собачку:

— Хунцват.

Но собака не лаяла, солдат Балка полка сел на лавку и закрыл глаза, подремал. Потом опять позвал соба-

ку, и та не явилась. Он пошел к мазанке, где была казна, — услышал нечто: возня, железный скрып. А когда окликнул, никто не отозвался. И вдруг легкий бег, и кто-то огрел его по голове и сказал:

— Эй, гранодир! — И он посклизнулся.

Проснулся, увидел: олово, ветки, ночь фабрическая и дверь в мазанке открыта. Тогда ударил в трещотки и понял, что грабеж.

А на Васильевском острове был Меньшиков дом и Меньшикова ночь. В большой теплоте сидел он там и грел свои ноги в чулках-валенках у камеля, который был кафельный, синий, строен в одно время с Петровым. Он смотрел в уголье, оно томилось, и на свой штучный пол, по которому уголье играло, как котята. Он курил длинную свою трубочку и пускал клочьями дым. Он думал, что устал за этот год, но не уклонился в старость, а это в ногах опять явилась старая болезнь, скоробудика, которую лечил дважды доктор Быдло, да не вылечил. И что потом поедет в Ранбов отдыхать и дом управить. Будет редить большой огород, сделает какой-нибудь грот с брызганьем и водотечением, или в саду наставит чуланов мраморных со статуями и горшками, на крыльце уставит новую игру, такую, чтоб шарики в окошечки молотами гонять — малибанк, — голубятню художник искусства распишет. А игра эта весьма забавна и задирчива и вводит в газард.

Он отдохнет. Пусть будет в Ранбове роскошество, и возьмет себе потешную охрану из мальчишков, как у Султана, послы говорили. Он усмехнулся и пыхнул трубкою. И цветы сажать. Он любил цветы. Он их в руке разминал и нюхал. И ему ничего не нужно. Только избыть великие убытки и несносные обиды, которые должен до времени сносить. И от кого? От ротозея, площадного человека! Он будет отдыхать в Ранбове, а саму зазвать, и она пущай играет в ту игру, в малибанк. И сватать Марью за царенка. Только тогда он на ноги встанет. Тогда он и Пашке споет: Ай — сват — люли! Полно ему, Пашке, врать про него: рыба-лещ, мипуща вещ. Попоет он Пашке про леща. На помосте! А теперь разве его к Самоедам послать, в Сибирь. Пущай только сама в Ранбов едет. Довольно уже. Пьет она вино до дрожания и до валяния и много шалит и дурует, а здоровье все большое, не избыть того здоровья! А у него здоровье хужеет. Эх ты, Быдло, Быдло!

Тут послал кликнуть Волкова и так ему сказал:

— О кунштканорном деле урода, шестипалого. Держать того урода в анатомии негоже. Он востер и будет с Ягужинского лая говорить. Брать его в Приказ сумневаюсь, для того что натуралия, и о нем все иностранные государства известны. Переменных речей от него не чаю. И класть того шестипалого в склянку с двойным вином; класть его в спирты; а для того что такой скляницы большой на стекольных нету, — положить в две скляницы руки его и ноги. В двойное вино. Или в спирты, как найдется. Но чтоб тихо. И завтра поедешь и поднесешь ему от меня вина. И для того тихого вина бери ты апотечную коробочку.

И улыбнулся:

— Для сласти.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Я хочу елей во огнь возлияти
И охотное остроумие твое еще более
возбуждати.

Пастор Глюк

1

И эта ночь кончилась, на небе явилась краска, румянец, еще никто не вставал, и мазанки, и магазейны, и фабрические дворы, и дворцы, и каналы были как неживые.

Тогда дрогнули в мазанках и во дворцах полы от гуда, и затряслись мелким дребезгом стекла.

И это был первый залф, как будто воркнула собака такого размера, как река Нева, но еще не лает. Кто спал — те во сне пошевелились, и первый залф не всех разбудил.

А по реке, по болотам и по рощам — пыхнул второй залф. И уж это был лай.

Тогда все проснулись.

Полуодетые, еще в исподницах, выбегали девки на дворы и смотрели дальним взглядом: что?

Большие люди хлопали в ладоши, и дворня щетинилась в нижних жильях: кто?

Тогда был еще залф, протяжный.

И город поднялся на ноги.

Подскочил герцог Ижорский к окну, стал смотреть строгим взглядом, и когда от пятого залфа затряслась земля, он уже переменил три решения. Первое решение

было сонное: что шведы. Но отменено, даже не приступая, потому что где там шведам теперь нападать, когда Каролус в могиле, а со Швецией трактамен. И это решение сонное.

Второе решение было: Пашка, Ягужинский. Он колобродит, он из пушек палит. Еще скорее отменено. Первое, что пушек достать не может, а другое, что не пойдет. И второе решение сонное.

Третье решение было: большая вода. Море пошло на город и, конечно, затопит и со всем добром.

Но тут проскакали мимо окна телеги, а на них солдаты его лейб-гвардии полка. И лошади были полоумные, чуть не на карачках ползли, солдаты били их в три кнута, а с телег во все стороны торчали холсты, а холсты по углам бил ветер, и эти холсты были паруса.

Тогда он открыл окно и опытной рукой остановил, крикнул:

— Куда?

Но те остановиться не могли, потому что лошади летели прямо, свои окорока по земле расстилали, и сделалось сильное воздушное стремление. Кораблей тоже сразу не остановишь. С телег дан мимолетом ответ:

— На Выборгские...

И понял, что великий пожар. Посмотрел на небо — небо было красное.

И зашевелилось и побежало. Лопались ворота в полковых дворах, и вылетали солдаты и ундер-офицеры волокли, как змиев, великие заливательные трубы. И набатчик тащил свой набат. Вытащил и ударил в набат. Крюки с цепями несли, и оттого стоял звон цепной, застеночный, и те крюки — на телеги.

И дьячок, что сидел крепко в своей мазанке три года, и дал обет не стричься, и все только урчал низким голосом, — он выскочил теперь, и под дерюгой у него был белый голубь. Потому что настало время сделать чудо — бросить того голубя в огонь, — и огонь ляжет. Он того голубя уже два года припасал. И он шел, гордый, на голове колтун, без шапки, и голубь когтил ему грудь.

Великие войлочные щиты и большие паруса подпял Литейный Двор, где бомбенные припасы. И если взлетит на воздух, — придет старое царство, потому что новое, новый город, и все коллегии, и бани, и монументы, конечно, взлетят.

И проявился Иванко Жмакин. Он бежал в легкую

вприпрыжечку на огонь. Он эту ночь всю как есть не ложился. И теперь бежал на огонь. И огневщики бежали — тащить, что придется, — одежу, золото, или, может, попадутся честные камни или холсты.

И верхом на коне выехал Ягужинский, генеральный прокурор, и толстым голосом кричал:

— Гей! Куда!

И было неизвестно, где огонь. Если огонь на Васильевском острове, нужно тащить непременно и без отлагания, и время как смерть, — трубы заливательные в пруды, потому что на Васильевском острове, собственно, для заливания и утушения накопаны пруды.

А если на Адмиралтейском острове, то, покрыв щитами корабельный двор и огородив парусами ветер, крючьями растаскивать все горящее, что бы ни горело, потому что государственный флот в опасности.

Но огня там не было. И, стало быть, где был огонь? И огонь был в Литейной части. А артиллерия — главный апартамент государства, и лоппет артиллерия — гибель городу и конечная гибель.

Тогда все телеги поскакали в Литейную часть.

И огонь уже подбирается к Литейному Двору, и уже мазанки выгорели. Уже к бомбенному сараю огонь идет.

Там кричали друг другу. И храбрые скакали вперед, а трусы ударялись назад. И было много, и тех и других.

Появились на улицах кареты, но без гербов и литеров; убегали из города иностранные господа, потому что думали, что пришли калмыки, калмыцкий хан взял город. Они тихо ехали, спрятав носы в шубы российских медведей, и смотрели кругом с иностранной гордостью. Деньги у них были в шкатулках.

И нетчики, мелкие, бежали за город в колымагах, те бежали безо всего, спасая единственно свою жизнь.

Господин граф Растреллий проснулся после того, как девять раз обернул свой стакан, и под конец его разбил, — схватил свою последнюю работу и выбежал на улицу без шляпы. А работа была его не баталии и не медный какой-нибудь благородный портрет, а просто он отлил из бронзы малого арапчонка. Арапчонок пузастый, со смехами на щеках, а пуп большой. Отлил он его для пробы, чтобы испробовать бронзу, а вчера сказал Лежандру перетащить из формовального анбара, и, осмотрев, решил: прилепит к бронзовому же портрету какой-нибудь благородной женской особы, у ног, потому что

женские особы любят здесь арапчат, а малая фигурка даст знак, что под платьем голое, и еще даст смех.

И теперь утром он сунул ее под мышку и выскочил.

А малый восковый всадник, модель, сделанная для отлития из бронзы и бессмертной славы, остался дома и мог во время такого пожара быть украден, или растоптан, или даже мог растаять.

Кругом был истинный ад, но не тот, уже падтреснувший, с людьми, которые были обязаны змеями, какой нарисовал в капелле Михаил Анжело, а другой, чужой, русский ад, составленный из конских морд, детей, солдат и морских парусов на суше.

В Литейной части остановились телеги. Ветхие заплатанные паруса подняли перед Литейным Двором, для того чтобы огородить ветер, и они надулись. Как будто другой флот собрался убегать от новых шведов. Телеги согрудились и далее не могли идти, но скрыпели от напруги. А жеребцы заголосили, кобылы стали лягаться.

Растреллий прокаркал нечто, но на него никто не обратил внимания... И тут его кто-то сзади сильно обхватил, и это был трепещущий господин Лежандр, подмастерье. Господин подмастерье был потерянный человек, он плакал, требовал проходу и кричал, что они иностранные художники искусства, но на него никто не смотрел. А куда идти — сам Лежандр не знал нипочем.

Господин граф Растреллий несколько потемнел. Он был пришелец, перегрин, первой родины не помнил, во второе отечество возвращаться не желал. Приходили страшные времена к варварам, и неизвестно, что за паруса и для его они нужны именно на суше. Может быть, это такой бунт?

Тут конь наехал на него. И мастер вдруг окрысился и двинул сильно кулаком в ту морду. И она отвернулась, забилась, стала косить и в морде появились боязнь и понимание, сильно обозначились жилы, грива запуталась, это был битюжок полковой, — и вот тогда мастер увидел, что такие жилы и такие ноздри он сделает на памятнике, где будет представлен всадник.

— Что вы кричите? — сказал он вдруг Лежандру. — Что вы плачете? Вы болван. Это просто военные репетиции. Вы видите паруса. Это военные и морские репетиции.

И он вернулся в свой дом, и с арапчонком.

В куншткаморе было разорение. Балтазар Шталь, гезель, схватился за голову обеими руками и стоял в па-

лате, как китайский идол. Двупалый тащил оленя на двор. Сторожа, вытащив щиты, помавали. И другой двупалый, заронтав и пророкотав невнятное слово, снял с полки скляницу с младенцем и бросил в окно. Младенец летел на улицу. И, наконец, услыхав, что Литейный Двор горит, бросились все, ища спасения, вон.

Яков только успел обуться и завязать пояс, денежный, и тоже выскочил. Он пробрался вслед за сторожами, потом отстал. Осмотрелся, — кругом солдаты, вилы и крючья. И Яков быстро ухватил с телеги чьи-то голицы и напялил на руки, а солдаты стояли на телеге, задом к нему, и кричали:

— Тащи!

Это они кричали кому-то про трубы заливательные.

Теперь он был в голицах, и теперь он был не шестипалый, а был как пятипалый, то есть как все люди. И он засмеялся и стал тащить какую-то трубу, похожую на змея.

А огня не было видно нигде, дома стояли. И вдруг в него, в Якова, попала вода, и жеребцу рядом зацепило всю морду водой, он скалил зубы и кричал, будто хотел свою голову отвертеть и бросить.

Все побежали.

И когда Яков много отбежал, он увидел, что паруса опущены, и услышал, как поют телеги: это пел деготь от тихого хода. И телеги уплыли.

Он посмотрел на ноги — обуты. На руки — в голицах. И пояс при нем. Тогда он зашагал к харчевне, потому что был голоден, и спросил у маркитанта саек и калачей, потом купил печенки гусачьей, рыбьей головизны, ешн виноградной — стал есть.

Он медленно ел и жамкал, и так он ел час и два часа. И потом съел еще сычуг телячий, а больше не мог. И когда ел, не снимал голиц, и голицы стали как натертые ворванью. Вытер руки о порты и понял, что брюхо полно едой, а руки свободные. Потом ушел.

Набаты замолчали, и только малые барабаны сыпали военный горох. А в городе смеялась одна женщина, до упаду и до задиранья ног. И переставала, а потом опять будто кто хватал ее за бока, и она опять падала без голосу. И та женщина была сама Екатерина Алексеевна, ее самодержавие.

Потому что сегодня было первое апреля, и это она подшутила, чтоб все ехали и бежали кто куда, и не знали, куда им идти и ехать и для чего.

Это она всех обманула, как был обычай во всех иностранных государствах, у знатных особ, первого апреля подшучивать.

Уже два месяца прошло с тех пор, как хозяин умер, да и зарыли уже его с две недели. И траур был снят.

И ее смех был так захватчив, что ее водой отпаивали и давали ей нюхать уксус четырех разбойников. А кругом все фрейлины лежали вповалку, изображая, до чего прилипчив ее смех. И все были неодетые, а и почти голые, груди наружу, потому что лень было с утра одеваться, а до вечера далеко. Многие даже тихо дрыгали ногами, а одна все морщила брови, и ее лицо становилось все в морщинах, как будто ей больно, — до того ее смех забрал. И смеха такого большого у фрейлины не было, потому что она сама вначале испугалась. Она и не смеялась, а только говорила:

— Ох, я падселася.

2

А Яков ходил по Петерсбурку, и от каналов у него голова кружилась: он никогда не видел таких ровных и длинных канав.

На свинцовые шутки по Неве не посмотрел — уже довольно насмотрелся в кунштexistence. И ходил из повоста в повост — и Адмиралтейский остров, и Васильевский, и Выборгскую, — он все их считал за повосты, за деревни, а между повостами что? Реки, рощи, болота.

У Мьи-реки пробился к мясному ряду, увяз и испугался, не того, что увязнет, а что подошва отстанет, и тогда увидят, что шестипалый.

Он долго ходил. Деньги были при нем. Он в манатейном ряду на Васильевском острову купил себе всю новую одежду, чистую. Цырульник-немец чисто его выбрил. И Яков стал похож на немца, на немецкого мастерового человека средней руки. В иршаных рукавицах, бритый, — видно, что из немцев. И сперва он ходил окраинами, а теперь стал гулять всюду. И одни дома были крыты лещадью, другие гонтом. А на окраине, на большой Невской перспективной дороге, — там и дерном и берестой. Скота было мало. Только у большого Летнего острова, па лугу паслись коровы, молочные, да за манатейным рядом у Мьи-реки плакали бараны. Ни бортьев, ни пасек, и негде им быть: куда пчелам лететь? На березу, что ли?

Он еще не знал, куда себя поместить и чем жить будет. И так он пошел на главный, Петерсбуркский остров, увидел церковь Петра и Павла и крепость.

На церкви, кроме креста, еще были три спицы, а на спицах мотались полотна, узкие, крашеные, до того длинные, как змеиный язык; знатная церковь.

А у дома, широкого, а одно жилье — площадка, и туда смотрел народ, а оттуда шел человеческий голос. И Якову сказали, что это плясовая площадка. И он долго не мог понять, какова площадка и отчего тот человек прыгает и для чего он кричит мелко и дробно. А что кричит — было неслышно. И Якову все пальцем туда показывал какой-то человек и, не глядя на него, дергал за рукав и говорил: во-во-во! вот он! закрутился. А были и понимающие люди, из канцеллистов. Те смотрели смирно и строго, со знанием.

Там плясал человек.

На площадке стояло деревянное лошадиное подобие. Шея длинная, бока толстые, ноги и морда малые. А спина острая, и было видно на воздухе, какая она тонкая, — как нож; над ней самый воздух был тонкий. И вокруг этой монструозной лошади были вбиты в землю колья, ровные, тесаные, с острыми концами, и густые, как сплошник, как сосновый лес. А на них плясал человек. Человек был разутый, босой, на нем только рубашка, и он ходил по кольям, по бодцам, и корчился, припадал, потом опять вскакивал. А вокруг частокола стояли солдаты с фузеями, и человек подбежал к краю и пал на колени — на те острия, а потом с великим визжанием вскочил на ноги и о чем-то просил солдата. Но тот взял фузею наперевес, и человек снова пошел плясать. И Яков подвинулся поближе. Сосед сказал ему, что этот пляс военный и сторожевой, и для солдатов, сущих и отбылых, для винных солдатов. Тогда шестипалый подошел еще ближе и видел, как сняли солдаты того человека с кольев, — осторожно, неловко, как берут на руки детей, — и так посадили на лошадь. И видел, как держится человек руками за ту длинную деревянную шею, как те руки слабеют.

И как слабеют руки — опускается человек на острую спину и воет и лает дробно. И так, сказал Якову канцеллист, он должен сидеть полчаса, тот винный солдат. А баба-калашница ходила и продавала калачи, она сказала, что солдат провинился, украл или у него украли, и вот пляшет, — и она улыбнулась, калашница, еще мо-

лодая. И когда те голые руки обнимали шею, — было видно, как устроена человеческая рука, какие на ней ямины. И опять он сидел на остром хребте и прыгал вверх, а кругом мальчишки похохатывали. Оттого площадка и звалась плясовая. А раньше до лошади и до тех бодцов, площадка называлась: пляц, пляцовая площадка, и только когда на ней начали так плясать, стала зваться плясовая. Мать подняла ребенка, и он смотрел на солдата и пружился и тпрукал.

— А за что ему такое большое битье? — спрашивал Яков.

— Это не битье, это учение, — отвечал канцеллист.

И тогда тот невидный подтакнул:

— Так дураков и учат, из фуфали в шелупину передергивают.

А когда сняли солдата и положили его на рогожку, Яков подошел совсем близко и увидел: лежал и смотрел на него Михалко, его брат. Отбылый из службы солдат Балка полка. Сторожевой команды. А лицо его было худое, глаза переменились в цвете. И те глаза были умные.

И Яков прошел мимо брата, как и все проходят, как проходит время, или как проходят огонь и воду, как свет проходит сквозь стекло, как пес проходит мимо раненого пса, — он тогда притворяется, что не видел, не заметил того пса, что он сторонний и идет по своему делу.

И пошел в харчевню, в многонародное место, где пар, где люди, где еда.

3

Он сидел перед большими зеркалами, потому что сегодня был высокий день рождения и потому что уже публично и обще снят траур, и он хотел одеться на вкус своего великолепия.

Он сегодня хотел быть особенно хорошо одетым. Он сидел тихо и засматривал в зеркала взглядом пронзительным, истинно женским, без пощады к себе, но и с исследованием достоинств. Не было красоты, но сановитость и широкость в поклоне и здравствовании. Он разделся весь, и двое слуг натерли его спиритусом из фляжки. Посмотрел в зеркала, — и кожа была еще молода.

Накинули сорочку самого тонкого полотна с рукавами полными, сложены мелкими складками, а к ним кружевные манжеты на два вершка, и руки в них потонули.

Потом натянули чулки зеленого персидского шелка и стали, возясь на коленках, управлять золотые пряжки на башмаках.

А когда надели камзол, он слуг выслал и оставил одного барбира. Он сам продернул кружева в галстук в три сгиба и пришпилил запонкой, принцметальной с хрустальным узелком. Сам наладил под мышками новый кафтан. Приладил золотые лацканы. Сам опоясался золотым поверх кафтана поясом. Тут барбир надел ему на голову парик взбитый, лучших французских волосов. И тогда принял, смотрясь в зеркало, лицо: выжидание с усмешкою.

На нем был красный кафтан на зеленой подкладке, зеленый камзол и штаны и чулки зеленые.

Надел перстни.

И взял в одну руку денежные мешочки, шитые золотом, — для музыкантов, а в другую — муфту перяную, алого цвета.

Это были его цвета, по тем цветам его издали признавали иностранные государства. И кто хотел показать ему, что любит его или держит его сторону, партию, тот надевал красное и зеленое. И почти все были так одеты, на одну моду.

И он поехал во дворец и почувствовал: как от тельного спиритуса и роскошества он помолодел и у него смех на губах играет, только еще не над кем шутить.

Но тут сделал в лице перемену, потому что вначале будет весел, но с выжиданием.

Потом — разговор тайный, чтоб Ягужинское дело разом кончить, — а потом веселье с насмешками и с венгерским горячим. А Пашке он на дом тут же пошлет сказать арешт и с высылкой.

А и ветерок повевает в лицо, ай-сват-люли! Он избудет дела, тогда в Ранбове сделает кашкады пирамидные.

Так, с высоким духом и с радостью приехал он во дворец и прошел с той перяною муфтою, как птицею, в руках — по залам, а ему все кланялись в пояс, и он видел, у кого хоть мало шелк на спине или в боках истерся, — это он нес свой поклон ее самодержавию.

Но когда донес уж свой поклон, он увидел, что возле нее стоит Ягужинский, Пашка.

И тут герцога Ижорского несколько отшатнуло. А Пашка нашептывал, а Екатерина смеялась, и госпожа Лизавет хваталась за живот, такие жарты он им говорил.

Но отшатнулся герцог Ижорский всего на одну минуту — ведь он был роскошник, и поклон его был широк, а взгляд пронзителен и на лице усмешка, — он подошел.

Тут встала Екатерина и взяла его за руку, а госпожа Лизавет взяла Ягужинского Пашку и подвели друг к другу и заставили целоваться.

И поцелуй Пашкин был прохладный. А герцог раньше в воздух сделал громкий чмок и только нюхнул носом Пашкину шею.

Когда обошел?

И тут же быстро, как он умел, потому что был роскошник и быстрый действователь — бросил думать, чтобы сослать Пашку именно к Самоедам или в Сибирь, — а можно его с почетом и не без пользы — послом в Дацкую землю или куда-нибудь, может и поплоше, в армию куда.

И сделал герцог Ижорский музыкантам ручкой и бросил им денежный подарок — мешочек.

Тут фагот заворчал, как живот, заскрыпели скрыпицы и вступила в дело пикулька.

И герцог Ижорский, Данилович, он засмеялся и прошел по зале той птичьей, той хорохорной, свободной поступочкой, за которую его жена любила.

Он закрыл до половины свои глаза, заволок их, от гордости и от уязвления. И глаза были с ленью, с обидой, как будто он сегодня уклонился в старость, морные глаза.

А он все бросал музыкантам свои перстни, и ему было не жалко.

А потом сел играть в короли с Левенволдом, и с Сапегою, и с Остерманом, взял сразу все семь взятков и стал королем.

И Остерман сказал ему вежливо — снять, а он посмотрел на него с надменением и усмехнулся, ему стало смешно. Он знал, что не нужно снимать, а нужно сказать: Хлопцы есть. Но гордость на него нашла, смех, ему ничего не было жалко, и он снял.

Тут все засмеялись, и он все, что взял, — все отдал

другим. И Остерман смеялся так, что смеха не слышно было: замер. А ему было смешно, и все равно, и он сделал это от гордости.

И опять свободно прошел по зале — человек не простой, человек с перяною муфтою.

А Ягужинский, Пашка, тоже был весел. За него запросили, его отмолили, он знал это дело, мог рассказывать веселые штуки. А какие штуки? Все правду. Рассказывал Елизавете про Англию, что она остров, а госпожа Елизавет не верила и думала, что он над ней смеется. Потом стал рассказывать про папежских монахов, какие они смешные грехи между собою имеют, и все со смеху мерли. Горячее венгерское и элбир и французское — он все это мог пить. Он пошел плясать. Он тоже бросил музыкантам кошель.

Он плясал.

А победы не было, он плясал и это понял.

Придет он домой и ляжет спать. Жена его умная, она его помирила. Она щербатая.

А поедет он, Пашка, в город Вену, и там метресса, та, гладкая.

А что гладкая?

Ну и придет к нему, и ляжет с ним, и все не то.

Он понимал, что выиграл, все выиграл, и вот нет победы. А отчего так — он не понимал.

Он плясал пистолет-миновет, Кеттентанца, что сам хозяин любил, больше не плясали. А плясали с поцелуями, связавшись носовыми платками, по парам, и дамы до того впивались, что рушили все танцевальные фигуры, и их с великим смехом отдирали. А многие так, с платком вместе, и валились в соседнюю камору; там было темно и тепло.

И плясал Ягужинский.

Делал каприоли.

Он свою даму давно бросил, и глаза у него были в пленке, и он ими не глядел, а все плясал.

Он плясал, потому что не понимал, почему это нет победы? Отчего это так, что он выиграл и вошел в силу, а нет победы?

И увидит опять шляхтянку из Вены, глаза неверные, губы надутые, и ляжет с нею, — и все не то? И это совсем другое дело.

Это морготь, олово, ветки, — и старая жена убежала опять из монастыря, дура, и, задравши подол, пляшет там вокруг дома?

Эй, сват-люли!

И гости надселися от смеха и все казали пальцами, как пляшет Ягужинский. Как он пляшет! Кружится, вертится, сбил мундкоха с ног, всем женщинам на шлепы пăступает, выпятил губы — так вдался Ягужинский в пляс.

А он вдался в пляс и плясал, а потом кончился этот вечер, апреля 2-го числа 1725 года.

4

В куншткаморе выбыли две натуралии: капут пуери № 70, в склянке, ее двупалый выбросил в окошко, и с пуером, в день обмана первого апреля, так, с дурацких глаз, взял да и выбросил. Он видел, что другие тащут оленя и сибирских болванов, вот он пустил младенца в окно.

И выбыл монстр шестипалый, курьозите, живой.

И две большие скляницы со спиртами, что привезли к вечеру 2-го дня в куншткамору из Выборских стекольных, по светлейшему повелению, стояли праздны.

А двупалые выпили из одной склянки спиритус — размешали его пополам с водою, на это ума у них хватило. Они были, двупалые, в великом веселье, и ходили, и толклись, и смеялись, хмыкали, и потом стали плясать перед восковым подобием и так плясали неловко, что оно встало и указало им: вон.

И неумы ушли к себе, гуськом, смирно. Им было весело и все равно.

А воск стоял, откинув голову, и указывал на дверь.

Кругом было его хозяйство, Петрово, — собака Тиран и собака Лизета, и щенок Эоис. У Эоиса шерстка стояла.

Лошадка Лизета, что носила героя в Полтавском сражении, и с попоною.

Стояли в подвале две головы, знакомые, домашние: Марья Даниловна и Вилим Иванович. А у Марьи Даниловны была вздернута правая бровь.

Висел попугай гвинейский, набитый, вместо глаз два темных стеклышка, блестящие.

Только не было внучка, его выбросил в банке неум, в окно, того важного, золотистого.

Лежало на столах великое хозяйство минеральное.

И все было спокойно, потому что это была великая наука.

А у Марьи Даниловны еще была приподнята одна бровь тонкая.

Стоял в Кикиных палатах, в казенном доме воск работы знаменитого известного мастера, господина графа Растреллия, который теперь невдалеке, тоже по Литейной части, спал.

А важная натуралия, монструм рарум, шестипалый,— он выбыл, и это был убыток, и его велено ловить.

Шестипалый стоял теперь в одном доме, у полицейской жены Агафьи, где был тайный шинок, возле тайных торговых бань, так что и бани и шинок были для одних открыты, а для других закрыты.

И в это время шестипалый сидел и рассказывал, а напротив него сидел Иванко Жузла, или Иванко Труба, или Иван Жмакин, и оба были трезвые.

— Наука там большая, — говорил шестипалый, — большая наука. И конь там крылат, и змей рогат. А наука вся как есть уставлена по шафам; те шафы немецкого дела и деланы в самом Стекольном городе. Камни честные — те в шафах замкнуты, чтобы не покрали, их не видать. А другая наука — та вся в скляницах, винных. И вино там всякое: есть простое вино, есть двойное вострое.

И Иван ему завидовал.

— Привозили из немцев, — говорил он, — корабль голанский, — я помню.

— А главная наука — в погребе, в склянице, двойное вино, и это девка, и у ней правая бровь дернута. И никто в анатомиях не знает, для чего та бровь дернута.

И Иван сомневался:

— Для чего правая?

А потом собрались, и шестипалый расплатился с хозяйкой. А когда они собрались уходить, к ним пристала одна морготь кабацкая и сказала, чтоб стереглись рогаточных и трещотных людей, потому что они близко, и чтоб лучше домой шли.

Тут Иванко сощурил глаз, схватил морготь за шивороток и усмехнулся.

— А была бы, — сказал Иванко, зажмурившись, — по кабакам зернь, да была бы по городам чернь, а теперь мы пойдем подаваться на Низ, к башкирам, на ничьи земли.

И ушли.

СПИСОК СТАРЫХ И ИНОСТРАННЫХ СЛОВ И ВЫРАЖЕНИЙ В ПОВЕСТИ «ВОСКОВАЯ ПЕРСОНА»

Ach, sto jest swet i f swete, ach, fso pratifnaja,
Ne, magu schit, ne umerty, sertza taskliwaja!

Ах, што есть свет, и в свете, ах, все противное.
Не могу жить, ни умерти, сердце тоскливое!

Обыкновенные русские стихи или песня, сочинения Вилима Ивановича Монса. Он писал русские слова немецким (или латинским) письмом. Такая грамота называлась «слободским языком» (по «Немецкой Слободе» в Москве).

Adien, pays d'un éternel adien!

Прощай, страна вечного прощания!

Стих поэта XVI века Филиппа Депорта. Поэт легкого нрава, придворный куртизан. Увязался в Польшу за герцогом Анжуйским, которого в Польше выбрали королем. Польша ему не понравилась, и он, уезжая, написал эти стихи. Лебланк, видимо, школяром где-то читал или слышал этот стих.

Адмиральский час — 11 часов, перед обедом. В этот час кончались присутствия всех коллегий, в том числе и адмиралтейской; члены (и Петр) заходили в австерию (см.) выпить водки.

Австерия, остерия (итальянское osteria) — гостиница, кабак.

Алкан — вино; полностью: алкан романея, то есть аликанте, известное испанское вино. Темного цвета. Выделывалось в окрестностях города Аликанте. Лозы туда привез Карл V с Рейна. Любимое вино англичан.

Алтесса — итальянское: altessa, французское: altesse. Титул, примерно: светлость. Говорили и писали: «Ваше алтесса» и «Ваша алтесса».

Апартамент — собственно: комната, часть дома, строения.

Апшит, абшит (немецкое: Abschied) — увольнение, отставка или бумага об отставке, отпускное письмо из службы.

Арак — крепкая водка из риса, изюма и пр. Арабское слово: альраки (по-берберийски: альрак), то есть хмельное. Приготовлялся в Ост-Индии и на ост-индийских островах.

Архиятер, архиатр; звание вроде лейб-медика; также начальник канцелярии главнейшей аптеки.

Арцух — старый русский вид слова: герцог.

А х и т о ф е л — библейский персонаж; советник царя Давида. Искал случая отомстить ему за убийство Урии, мужа его внучки Вирсавии. Стал на сторону Авессалома в борьбе против отца и, когда убедился, что дело Авессалома проиграно, — повесился. Если вспомнить, что «Авессаломом» называл Феофан Прокопович Алексея Петровича, то окажется, что намек Ягужинского ядовитый! Всего скорей намек на планы Меньшикова насчет сына Алексея, будущего Петра II.

Бальт ге их, бальт ште их,
Унд вейс дох них вохин

Bald geh ich, bald steh ich
Und weiss doch nicht wohin

Немецкая песня, сочинения Вилима Ивановича Монса. Перевод в тексте.

Б а л б е р, барбир, — французское слово bardier, от французов перешло к немцам. Брадобритель, парикмахер.

Б а с (Питер Бас). Голландское слово — baas, заведующий работами, смотритель, мастер. Цеховое звание. Петр получил его в Саардаме. Курс от корабельного подмастерья до баса он прошел всего в два дня. Явный парад.

Б а с т р — старое обозначение канарского вина. Немцы называли его Bastard-Wein, поляки — Buster, Bastard (вино-смесь, смешанное вино). В ходу было еще при Иване IV.

Б а т а л и я — французское bataille, бой, битва.

Б е ч е в и к, б и ч е в н и к — место по обоим берегам судоходных рек, дорога для людей и лошадей, чтоб тянуть суда бечевой; место для пристаней, складки товаров, конопатки и осмолки судов, для причала судов и житья работников.

Б р у т а л и з и р о в а т ь — вести себя по-скотски, от: грубейшим образом, по-скотски, по-зверски.

Б ы д л о — здесь: Бидло, Бидлоо, Николай, врач-голландец, сначала лейб-медик Петра, потом первый директор первой медицинской школы. Быдло, кроме того, по-польски, а оттуда и по-русски — скот. Так непочтительно осмысляли фамилию лейб-медика.

Welt, ade, ich bin dein müde,
Ich will nach dem Himmel zu.

Немецкие стихи Вилима Ивановича Монса:

Свет, прощай, я утомлен тобой,
Я хочу отойти к небесам.

В XIX веке это назвали бы элегией.

Взяток — взятка.

Вини, вины — старое картежное слово: масть пики. В XVI—XVII вв. эта масть изображалась на немецких картах как виноградный лист или плод с острой верхушкой и черенком. Слово «вино» означало не только вино, которое пьют, но и виноград.

Виниус, Андрей Денисович — голландский купец, жил в России при деде Петра. Занимался хлебной торговлей, а потом литейным делом и поставлял в казну пушки.

Винный дух — старое обозначение спирта. Латинское «спиритус вини» и есть «винный дух».

Газард — риск, опасность; по объяснению самого Петра: «страхом чинимое дело».

Гальюн — голландское galyoen, передняя оконечность надводной части деревянного корабля. Позже стало так называться находящееся в этой части отхожее место.

Гезауф — немецкое слово Gesauf, попойка.

Гезель — немецкое Gesell, товарищ, помощник. При аптеках было по 1 аптекарю, по 2 гезеля и по 4 ученика.

Гзымз — немецкое Gesims, карниз.

Гоубица, гаубица (польское haubica) — «пушка, которая и не ядром, но бомбами и дробью стреляет» (объяснение самого Петра).

Гранодир, гренадер — «пехотный солдат, который мечет из рук ядра». К этому объяснению Петр прибавил: «и гранаты». В гренадеры приказано было брать «больших мужиков».

Dans Le gostiny riad — в гостином ряду.

Дебошан — от французского debaucher развращать — гуляка, развратник, распутник.

Det rysk swin (шведск.) — русские свиньи.

Дук, французское: дюк, от латинского dux, значило: князь, воевода, также и герцог.

Du grand Knout см. Supplice.

E, dat is nit per mittert — старонемецкое: «Эй, это не разрешается!»

Эмблема — изображение, символ, живописная поделка, штукарная резьба.

Ефес (от немецкого Gefäss) — рукоятка.

Exсllenz (немецк.) — превосходительство.

Жарт (польск.) — шутки.

Жлуди (собственно: желуди) — старое картежное слово, означает масть «трефы» или «кресты». На старых немецких картах было изображение желудей.

Залф (испорченное латинское salve — салют) — залп.

Интеррегнум — латинское слово: междуцарствие.

Интерес — польза, корысть, прибыль, выгода.

Интересант (немецкое: Interessent, от латинского interesse — находиться при чем-нибудь) — участник, компаньон.

Ирха, ирга — козлиная и овечья шкура, кожа, по выделке похожая на замшу.

Канцеллист — немецкое Kanzellist — канцелярист.

Каприоль — козлиный прыжок.

Кеттетанц — цепной танец, изобретен и введен Петром.

Klaussetas.
Meitinas
Wehl tee wihrin Lehti
Ka juhs wisi Blakus eesat
Un pa pulkeen pakal skreesat
Wélnu puischa bardu

Лифляндская песня (запись 1715 год): Послушайтесь, девушки, пока еще парни дешевы. Все вы рядышком и толпой побежите за бородкой парня.

Комтурный — от «комтурство», область, которая передавалась светским лицам, членам духовных орденов, на откуп для управления и кормления.

Курлянчики — польское: kurlandezyk — курляндцы.

Кушимен — французский пасквиль на Меньшикова, Prince Kouchimen. Анаграмма фамилии: Men-chi-kou-kou-chi-men.

Латитудины (латин.) — широты.

Левкос, левкас — мел с клеем особого состава.

Л е щ а д ь — *плитняк, тесаный, слоистый; тонкие кирпичики, черепица.*

Л и т е р а (латин.) — *буква.*

Л и т е р с е т е р е н — *наборщики.*

Л ю с т р а (латинское: lustruim) — *распутный дом, берлога, пещера, где звери лежат.*

М а г а з е й н, магазин — *склад, житный двор, питейный погреб.*

М а е т н о с т ь (польское: majetnsc) — *владение, собственность.*

Mein Verderben, mein Lieb und Lust (немецкое) — *Моя погибель, моя любовь и радость.*

Membra disiecta (латин.) — *члены разрозненные.*

Menschenkopf, Menschenkott — *игра с фамилией Меньшикова, пущенная в ход одним его врагом. Первое слово означает по-немецки: человечья голова, второе* — *человечий кал.*

М е т в у р с т (немецкое: Mettwurst) — *итальянская колбаса.*

М е т р е с с а, метреска — *с польского, итальянского, французского: любовница, наложница.*

М о н с т р, монштра (французское monstre, латинское monstrum) — *урод, чудовище, достопримечательность, урод.*

М о н с т р у м р а р у м (латинское: monstrum rarum) — *редкий урод.*

М у н д к о х (немецкое Mundkoch) — *главный повар.*

М у ш к а т е л ь — *мускатное вино.*

П а н т а к, понтак — *вино.*

Petri Primi Magni Imporatoris Facies et status — *латынь: Петра Первого Великого императора лицо и фигура.*

П е р е г р и н (латин.) — *чужестранный человек, пришелец; отсюда* — *пилигрим.*

П и к у л ь к а — *флейта пикколо.*

П и п к а (от немецкого Pfeiffe) — *люлька, курительная трубка.*

П и с т о л е т - м и н о в е т — *особый танец, изобретенный Петром (миновет* — *менуэт.)*

П о р т у г а л — *вино.*

П о р ц е л и н н а я — *фарфоровая (порцелин* — *фарфор, от французского porcelaine, голландского* — *porcelein).*

П р и в е н ч а н н ы й — *прижитый до брака, а потом*

усыновленный; такие дети стояли у венца вместе с родителями.

Принцметальный (немецкое: Prinzmetall, французское: metall du prince Robert, английское: princes metal) — из томпака особого вида.

Профос (немецкое: profoss.) — старший над арестантами, тюремный староста. Смотрел за чистотой, чинил казни по уставу. Произносилось и так: профост. Отсюда уже легко и просто: прохвост, известное как бранное слово.

Пуеркапут (латин.) — мальчикова голова.

Пумка (голландское — Pŭmp. немецкое — Pumpe) — помпа, насос.

Пумповать — качать насосом.

Ранбов — старое наименование Ораниенбаума, тогда меньшиковского имения.

Рокайли — раковины.

Рраус — рраус — собственно немецкое: heraus! heraus! — вон! вон.

Санктлоран (то есть Санк-Лоран) — французское вино.

Свейский — шведский.

Сектенария (итальянское: secco Canarie) — сухое канарское вино (с Канарских островов).

Секурс — подкрепление, помощь (военный термин).

Скоробудика (итальянское: Scorbutico) — скорбут, цинга.

Спиритус — спирт, см.: винный дух.

Стекольный город, Стекольна — Стокгольм.

Suum cuique (латин.) — каждому свое.

Supplice des batognes или du grand Knout (франц.) — наказание батогами или кнутовая казнь.

Тарифа — то же, что тариф.

Тентамина (латин.) — поползновения.

Трактат — договор.

Und alle Lustigkeiten, jedcn tag (нем.) — и всякие веселости, каждый день.

Устерсы (голландское: doesters) — устрицы.

Ушманать — уговорить, улестить.

Фет — Яфет.

Фискал — финансовый надзиратель.

Фонтанж — головное женское украшение, названное так по имени любовницы Людовика XIV, госпожи Фонтанж.

Фронтиниак — французское вино.

Ф у з е я (польское: furyia, французское: fuseé) — скорострельная трубка, ружье.

Ф у р м, фурма (латинское: forma) — чугунная труба для плавки.

Х а р а к т е р — чин.

Х у н ц в а т (испорченное немецкое: Hundsfott) — брань: сукин сын.

Ц у к е р б р о т (нем.) — дословно — сахарный хлебец, печенье.

Ц е д у л к а, цедула (польское: cedula) — записка, расписка.

Ш а ф (от немецкого schaffen — делать создавать) — шкаф, шкап.

Ш а ф и р к а — Шафиров, Петр Исаевич, барон, вицеканцлер, дипломат; уничижительно — «шафирка», еще уничижительное и от «шафир», шафер.

Ш к в а д р о н ц ы — эскадроны.

Ш п и г, шпег (польское: szpieg) — шпион, шпик. Шпигование — надсмотр, наблюдсние, слежка.

Щ е п е т и л ь н ы й — мелочный, галантерейный.

Э л б и р (английское: ale beer) — эль, пиво.

Э р м и т а ж, или армитаж — здесь: французское вино.

Я к ш и (татарск.) — хорошо, ладно.

Отсюда якшаться с кем, знаться, водиться.

Я м а н (татарск.) — плохо.

А. Платонов

Котлован

Повесть

Впрок

Бедняцкая хроника



КОТЛОВАН

В день тридцатилетия личной жизни Вощеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования. В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда.

Вощев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее. Но воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге — в природе было такое положение. Вощев не знал, куда его влечет, и облокотился в конце города на низкую ограду одной усадьбы, в которой приучали бессемейных детей к труду и пользе. Дальше город прекращался — там была лишь пивная для отходников и низкооплачиваемых категорий, стоявшая, как учреждение, без всякого двора, а за пивной возвышался глиняный бугор, и старое дерево росло на нем одно среди светлой погоды. Вощев добрел до пивной и вошел туда на искренние человеческие голоса. Здесь были невыдержанные люди, предававшиеся забвению своего несчастья, и Вощеву стало глуше и легче среди них. Он присутствовал в пивной до вечера, пока не зашумел ветер меняющейся погоды; тогда Вощев подошел к открытому окну, чтобы заметить начало ночи, и увидел дерево на глинистом бугре — оно качалось от непогоды, и с тайным стыдом заворачивались его листья. Где-то, наверно, в саду совторгслужащих, томился духовой оркестр; однообразная, несбывающаяся музыка уносилась ветром в природу через приовражную пустошь, потому что ему редко полагалась радость, но ничего не мог совершить

равнозначного музыке и проводил свое вечернее время неподвижно. После ветра опять настала тишина, и ее покрыл еще более тихий мрак. Вощев сел у окна, чтобы наблюдать нежную тьму ночи, слушать разные грустные звуки и мучиться сердцем, окруженным жесткими каменистыми костями.

— Эй, пищевой! — раздалось в уже смолкшем заведении. — Дай нам пару кружечек — в полость налить!

Вощев давно обнаружил, что люди в пивную всегда приходили парами, как женихи и невесты, а иногда целыми дружными свадьбами.

Пищевой служащий на этот раз пива не подал, и двое пришедших кровельщиков вытерли фартуками жаждущие рты.

— Тебе, бюрократ, рабочий человек одним пальцем должен приказывать, а ты гордишься!

Но пищевой берег свои силы от служебного износа для личной жизни и не вступал в разногласия.

— Учреждение, граждане, закрыто. Займитесь чем-нибудь на своей квартире.

Кровельщики взяли с блюдечка по соленой сушке и вышли прочь. Вощев остался один в пивной.

— Гражданин! Вы требовали только одну кружку, а сидите здесь бессрочно! Вы платили за напиток, а не за помещение!

Вощев захватил свой мешок и отправился в ночь. Вопрошающее небо светило над Вощевым мучительной силой звезд, но в городе уже были потушены огни, и кто имел возможность, тот спал, наевшись ужином. Вощев спустился по крошкам земли в овраг и лег там животом вниз, чтобы уснуть и расстаться с собой. Но для сна нужен был покой ума, доверчивость его к жизни, прощение прожитого горя, а Вощев лежал в сухом напряжении сознательности и не знал — полезен ли он в мире или все без него благополучно обойдется? Из неизвестного места подул ветер, чтобы люди не задохнулись, и слабым голосом сомнения дала знать о своей службе пригородная собака.

— Скучно собаке, она живет благодаря одному рождению, как и я.

Тело Вощева побледнело от усталости, он почувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза.

Пивник уже освежал свое заведение, уже волновались кругом ветры и травы от солнца, когда Вощев с сожалением открыл налившиеся влажной силой глаза.

Ему снова предстояло жить и питаться, поэтому он пошел в завком — защищать свой ненужный труд.

— Администрация говорит, что ты стоял и думал среди производства, — сказали в завкоме. — О чем ты думал, товарищ Вощев?

— О плане жизни.

— Завод работает по готовому плану треста. А план личной жизни ты мог бы прорабатывать в клубе или в красном уголке.

— Я думал о плане общей жизни. Своей жизни я не боюсь, она мне не загадка.

— Ну и что ж ты бы мог сделать?

— Я мог выдумывать что-нибудь вроде счастья, а от душевного смысла улучшилась бы производительность.

— Счастье произойдет от материализма, товарищ Вощев, а не от смысла. Мы тебя отстоять не можем, ты человек несознательный, а мы не желаем очутиться в хвосте масс.

Вощев хотел попросить какой-нибудь самой слабой работы, чтобы хватило на пропитание: думать же он будет во внеурочное время, но для просьбы нужно иметь уважение к людям, а Вощев не видел от них чувства к себе.

— Вы боитесь быть в хвосте: он — конечность, и сели на шею!

— Тебе, Вощев, государство дало лишний час на твою задумчивость — работал восемь, теперь семь, ты бы и жил — молчал! Если все мы сразу задумаемся, то кто действовать будет?

— Без думы люди действуют бессмысленно! — произнес Вощев в размышлении.

Он ушел из завкома без помощи. Его пеший путь лежал среди лета, по сторонам строили дома и техническое благоустройство — в тех домах будут безмолвно существовать доныне бесприютные массы. Тело Вощева было равнодушно к удобствам, он мог жить не изнемогая в открытом месте и томился своим несчастьем во время сытости, в дни покоя на прошлой квартире. Ему еще раз пришлось миновать пригородную пивную, еще раз он посмотрел на место своего ночлега — там осталось что-то общее с его жизнью, и Вощев очутился в пространстве, где был перед ним лишь горизонт и ощущение ветра в склонившееся лицо.

Через версту стоял дом шоссейного надзирателя. Привыкнув к пустоте, надзиратель громко ссорился с женой,

а женщина сидела у открытого окна с ребенком на коленях и отвечала мужу возгласами брани; сам же ребенок молча щипал оборку своей рубашки, понимая, но ничего не говоря.

Это терпение ребенка ободрило Вощева, он увидел, что мать и отец не чувствуют смысла жизни и раздражены, а ребенок живет без упрека, вырастая себе на мучение. Здесь Вощев решил напрячь свою душу, не жалеть тела на работу ума, с тем, чтобы вскоре вернуться к дому дорожного надзирателя и рассказать осмысленному ребенку тайну жизни, все время забываемую его родителями. «Их тело сейчас блуждает автоматически, — наблюдал родителей Вощев, — сущности они не чувствуют».

— Отчего вы не чувствуете сущности? — спросил Вощев, обратясь в окно. — У вас ребенок живет, а вы ругаетесь, он же весь свет родился окончить.

Муж и жена со страхом совести, скрытой за злобностью лиц, глядели на свидетеля.

— Если вам нечем спокойно существовать, вы бы почитали своего ребенка — вам лучше будет.

— А тебе чего тут надо? — со злостной тонкостью в голосе спросил надзиратель дороги. — Ты идешь и иди, для таких и дорогу замостили...

Вощев стоял среди пути не решаясь. Семья ждала, пока он уйдет, и держала свое зло в запасе.

— Я бы ушел, но мне некуда. Далеко здесь до другого какого-нибудь города?

— Близко, — ответил надзиратель. — Если не будешь стоять, то дорога доведет.

— А вы чтите своего ребенка, — сказал Вощев, — когда вы умрете, то он будет.

Сказав эти слова, Вощев отошел от дома надзирателя на версту и там сел на край канавы, но вскоре он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины, он не мог дальше трудиться и ступать по деревне, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться, Вощев, истомившись размышлением, лег в пыльные, проезжие травы; было жарко, дул дневной ветер, и где-то кричали петухи на деревне — все передавалось безответному существованию, один Вощев отделился и молчал. Умерший, палый лист лежал рядом с головою Вощева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное от-

деление мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности: «Ты не имел смысла жизни, — со скупостью сочувствия полагал Вощев, — лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить».

— Все живет и терпит на свете, ничего не сознавая, — сказал Вощев близ дороги и встал, чтоб идти, окруженный всеобщим терпеливым существованием. — Как будто кто-то один или несколько немногих извлекли из нас убежденное чувство и взяли его себе.

Он шел по дороге до изнеможения: изнемогал же Вощев скоро, как только его душа вспоминала, что истину она перестала знать.

Но уже был виден город вдалеке, дымились его кооперативные пекарни, и вечернее солнце освещало пыль над домами от движения населения. Тот город начинался кузницей, и в ней во время прохода Вощева чинили автомобиль без дорожной езды. Жирный калека стоял подле коновязи и обращался к кузнецу:

— Миш, насыпь табачку, опять замок ночью сорву!

Кузнец не отвечал из-под автомобиля. Тогда увечный толкнул его костылем в зад.

— Миш, лучше брось работать — насыпь, убытков наделаю!

Вощев приостановился около калеки, потому что по улице двинулся из глубины города строй детей-пионеров с уставшей музыкой впереди.

— Я ж вчера тебе целый рубль дал, — сказал кузнец. — Дай мне покой хоть на неделю! А то я терплю-терплю и костыли твои пожгу!

— Жги! — согласился инвалид. — Меня ребята на тележке доставят — крышу с кузни сорву!

Кузнец отвлекся видом детей и, добрея, насыпал увечному табаку в кисет:

— Грабь, саранча!

Вощев обратил внимание, что у калеки не было ног — одной совсем, а вместо другой находилась деревянная приставка, держался изувеченный опорой костылей и подсобным напряжением деревянного отростка правой отсеченной ноги. Зубов у инвалида не было никаких, он их сработал начисто на пищу, зато наел громадное лицо и тучный остаток туловища, его коричневые, скупо отверстые глаза наблюдали посторонний для них мир с жадностью обездоленности, с тоской скопившейся стра-

сти, а во рту его терлись десны, произнося неслышные мысли безногого.

Оркестр пионеров, отдалившись, заиграл музыку молодого похода. Мимо кузницы с сознанием важности своего будущего ступали точным маршем босые девочки; их слабые, мужающие тела были одеты в матроски, на задумчивых, внимательных головах вольно возлежали красные береты, и их ноги были покрыты пухом юности. Каждая девочка, двигаясь в меру общего строя, улыбалась от чувства своего значения, от сознания серьезности жизни, необходимой для непрерывности строя и силы похода. Любая из этих пионерок родилась в то время, когда в полях лежали мертвые лошади социальной войны, и не все пионеры имели кожу в час своего происхождения, потому что их матери питались лишь запасами собственного тела: поэтому на лице каждой пионерки осталась трудность немощи ранней жизни, скудость тела и красоты выражения. Но счастье детской дружбы, осуществление будущего мира в игре юности и достоинстве своей строгой свободы обозначали на детских лицах важную радость, заменившую им красоту и домашнюю упитанность.

Вощев стоял с робостью перед глазами шествия этих неизвестных ему, взволнованных детей; он стыдился, что пионеры, наверное, знают и чувствуют больше его, потому что дети — это время, созревающее в свежем теле, а он, Вощев, устраняется спешащей, действующей молодостью в тишину безвестности, как тщетная попытка жизни добиться своей цели. И Вощев почувствовал стыд и энергию — он захотел немедленно открыть всеобщий долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью.

Одна пионерка выбежала из рядов в прилегающую к кузнице ржаную ниву и там сорвала растение. Во время своего действия маленькая женщина нагнулась, обнажив родинку на опухающем теле, и с легкостью неощутимой силы исчезла мимо, оставляя сожаление в двух зрителях — Вощеве и калеке. Вощев поглядел на инвалида; у того надулось лицо безвыходной кровью, он простонал звук и пошевелил рукою в глубине кармана. Вощев наблюдал настроение могучего увечного, но был рад, что уроду империализма никогда не достанутся социалистические дети. Однако калека не смотрел до конца пионерское шествие, и Вощев побоялся за целость и непорочность маленьких людей.

— Ты бы глядел глазами куда-нибудь прочь, — сказал он инвалиду. — Ты бы лучше закурил!

— Марш в сторону, указчик! — произнес безногий. Вощев не двигался.

— Кому говорю? — напомнил калека. — Получить от меня захотел?!

— Нет, — ответил Вощев. — Я испугался, что ты на ту девочку свое слово скажешь или подействуешь как-нибудь.

Инвалид в привычном мучении наклонил свою большую голову к земле.

— Чего же я скажу ребенку, стервец. Я гляжу на детей для памяти, потому что помру скоро.

— Это, наверно, на капиталистическом сражении тебя повредили, — тихо проговорил Вощев. — Хотя калеки тоже стариками бывают, я их видел.

Увечный человек обратил свои глаза на Вощева, в которых сейчас было зверство превосходящего ума, увечный даже помолчал от обозления на прохожего, а потом сказал с медленностью ожесточения:

— Старики такие бывают, а вот калечных таких, как ты, — нету.

— Я на войне настоящей не был, — сказал Вощев.— Тогда б и я вернулся оттуда не полностью весь.

— Вижу, что ты не был: откуда же ты дурак! Когда мужик войны не видал, то он вроде нерожавшей бабы — идиотом живет. Тебя ж сквозь скорлупу всего заметно!

— Эх!.. — жалобно произнес кузнец. — Гляжу на детей, а самому так и хочется крикнуть: «Да здравствует Первое Мая!»

Музыка пионеров отдохнула и заиграла вдали марш движения. Вощев продолжал томиться и пошел в этот город жить.

До самого вечера молча ходил Вощев по городу, словно в ожидании, когда мир станет общеизвестен. Однако ему по-прежнему было неясно на свете, и он ощущал в темноте своего тела тихое место, где ничего не было, но ничто ничему не препятствовало начаться. Как заочно живущий, Вощев гулял мимо людей, чувствуя нарастающую силу горюющего ума и все более уединяясь в тесноте своей печали.

Только теперь он увидел середину города и строящиеся устройства его. Вечернее электричество уже было зажжено на построечных лесах, но полевой свет тиши-

ны и вянущий запах сна приблизились сюда из общего пространства и стояли нетронутыми в воздухе. Отдельно от природы в светлом месте электричества с желанием трудились люди, возводя кирпичные огорожи, шагая с ношей груза в тесовом бреду лесов. Вощев долго наблюдал строительство неизвестной ему башни, он видел, что рабочие шевелились равномерно, без резкой силы, но что-то уже прибыло в постройке для ее завершения.

— Не убывают ли люди в чувстве своей жизни, когда прибывают постройки? — не решался верить Вощев. — Дом человек строит, а сам расстроится. Кто жить тогда будет? — сомневался Вощев на ходу.

Он отошел от середины города на конец его. Пока он двигался туда, наступила безлюдная ночь; лишь вода и ветер населяли вдали этот мрак и природу, и одни птицы сумели воспеть грусть этого великого вещества, потому что они летали сверху и им было легче.

Вощев забрел в пустырь и обнаружил теплую яму для ночлега; снизившись в эту земную впадину, он положил под голову мешок, куда собирал для памяти и отмщения всякую безвестность, опечалился и с тем уснул. Но какой-то человек вошел на пустырь с косой в руках и начал сечь травяные рощи, росшие здесь испокон века.

К полночи косарь дошел до Вощева и определил ему встать и уйти с площадки.

— Чего тебе! — неохотно говорил Вощев. — Какая тут площадь, это лишнее место.

— А теперь будет площадь, теперь здесь положено быть каменному делу. Ты утром приходи поглядеть на это место, а то оно скоро скроется навеки под устройством.

— А где же мне быть?

— Ты смело можешь в бараке доспать. Ступай туда и спи до утра, а утром ты выяснишься.

Вощев пошел по рассказу косаря и вскоре заметил дощатый сарай на бывшем огороде. Внутри сарая спали на спине семнадцать или двадцать человек, и припотушенная лампа освещала бессознательные человеческие лица. Все спящие были худы, как умершие, тесное место меж кожей и костями у каждого было занято жилами, и по толщине жил было видно, как много крови они должны пропускать во время напряжения труда. Ситец рубах с точностью передавал медленную освежающую работу сердца — оно билось вблизи, во тьме опустошенного тела каждого уснувшего. Вощев всмотрелся в лицо ближ-

него спящего — не выражает ли оно безответного счастья удовлетворенного человека. Но спящий лежал замертво, глубоко и печально скрылись его глаза, и охладевшие ноги беспомощно вытянулись в старых рабочих штанах. Кроме дыхания, в бараке не было звука, никто не видел снов и не разговаривал с воспоминаниями, — каждый существовал без всякого излишка жизни, и во время сна оставалось живым только сердце, берегущее человека. Вощев почувствовал холод усталости и лег для тепла среди двух тел спящих мастеровых. Он уснул, незнакомый этим людям, закрывшим свои глаза, и довольный, что около них ночует, — и так спал, не чувствуя истины, до светлого утра.

Утром Вощеву ударил какой-то инстинкт в голову, он проснулся и слушал чужие слова, не открывая глаз.

— Он слаб!

— Он несознательный!

— Ничего: капитализм из нашей породы делал дураков, и этот — тоже остаток мрака.

— Лишь бы он по сословию подходил: тогда — годится.

— Видя по его телу, класс его бедный.

Вощев в сомнении открыл глаза на свет наступившего дня. Вчерашние спящие живыми стояли над ним и наблюдали его немощное положение.

— Ты зачем здесь ходишь и существуешь? — спросил один, у которого от измождения слабо росла борода.

— Я здесь не существую, — произнес Вощев, стыдясь, что много людей чувствуют сейчас его одного. — Я только думаю здесь.

— А ради чего же ты думаешь, себя мучаешь?

— У меня без истины тело слабнет, я трудом кормиться не могу, я задумывался на производстве, и меня сократили...

Все мастеровые молчали против Вощева: их лица были равнодушны и скучны, редкая, заранее утомленная мысль освещала их терпеливые глаза.

— Что же твоя истина! — сказал тот, кто говорил прежде. — Ты же не работаешь, ты не переживаешь вещества существования, откуда же ты вспомнишь мысль!

— А зачем тебе истина? — спросил другой человек, разомкнув спекшиеся от безмолвия уста. — Только в уме у тебя будет хорошо, а снаружи гадко.

— Вы уж, наверное, все знаете? — с робостью слабой надежды спросил их Вощев.

— А как же иначе? Мы же всем организациям существование даем! — ответил низкий человек из своего высохшего рта, около которого от изможденпя слабо росла борода.

В это время отворился дверной вход, и Вощев увидел ночного косаря с артельным чайником: кипяток уже поспел на плите, которая топилась на дворе барака: время пробуждения миновало, наступила пора питаться для дневного труда...

Сельские часы висели на деревянной стене и терпеливо шли силой тяжести мертвого груза: розовый цветок был изображен на облике механизма, чтобы утешать всякого, кто видит время. Мастеровые сели в ряд по длине стола, косарь, ведавший женским делом в бараке, нарезал хлеб и дал каждому человеку ломоть, а в прибавок еще по куску вчерашней холодной говядины. Мастеровые начали серьезно есть, принимая в себя пищу как должное, но не наслаждаясь ею. Хотя они и владели смыслом жизни, что равносильно вечному счастью, однако их лица были угрюмы и худы, а вместо покоя жизни они имели изможденпе. Вощев со скупостью надежды, со страхом утраты наблюдал этих грустно существующих людей, способных без торжества хранить внутри себя истину: он уже был доволен и тем, что истина заключалась на свете в ближнем к нему теле человека, который сейчас только говорил с ним, значит, достаточно лишь быть около того человека, чтобы стать терпеливым к жизни и трудоспособным.

— Иди с нами кушать! — позвали Вощева евшие люди.

Вощев встал и, еще не имея полной веры в общую необходимость мира, пошел есть, стесняясь и тоскуя.

— Что же ты такой скудный? — спросили у него.

— Так, — ответил Вощев. — Я теперь тоже хочу работать над веществом существования.

За время сомнения в правильности жизни он редко ел спокойно, всегда чувствуя свою томящую душу.

Но теперь он поел хладнокровно, и наиболее активный среди мастеровых, товарищ Сафронов, сообщил ему после питания, что, пожалуй, и Вощев теперь годится в труд, потому что люди нынче стали дороги, наравне с материалом: вот уже который день ходит профуполномоченный по окрестностям города и пустым местам, чтобы

встретить бесхозяйственных бедняков и образовать из них постоянных тружеников, но редко кого приводит — весь народ занят жизнью и трудом.

Вощев уже наелся и встал среди сидящих.

— Чего ты поднялся? — спросил его Сафронов.

— Сидя, у меня мысль еще хуже развивается. Я лучше постою.

— Ну, стой. Ты, наверное, интеллигенция — той лишь бы посидеть да подумать.

— Пока я был бессознательным, я жил ручным трудом, а уж потом — не увидел значения жизни и ослаб.

К бараку подошла музыка и заиграла особые жизненные звуки, в которых не было никакой мысли, но зато имелось ликующее предчувствие, приводившее тело Вощева в дребезжащее состояние радости. Тревожные звуки внезапной музыки давали чувство совести, они предлагали беречь время жизни, пройти даль надежды до конца и достигнуть ее, чтобы найти там источник этого волнующего пения и не заплакать перед смертью от тоски тщетности.

Музыка перестала, и жизнь осела во всех прежней тяжестью.

Профуполномоченный, уже знакомый Вощеву, вошел в рабочее помещение и попросил всю артель пройти один раз поперек старого города, чтобы увидеть значение того труда, который начнется на выкошенном пустыре после шествия.

Артель мастеровых вышла наружу и со смущением остановилась против музыкантов. Сафронов ложно покашливал, стыдясь общественной чести, обращенной к нему в виде музыки. Землекоп Чиклин глядел с удивлением и ожиданием — он не чувствовал своих заслуг, но хотел еще раз прослушать торжественный марш и молча порадоваться. Другие робко опустили терпеливые руки.

Профуполномоченный от забот и деятельности забывал ощущать самого себя, и так ему было легче; в суете сплачивания масс и организации подсобных радостей для рабочих он не помнил про удовлетворение удовольствиями личной жизни, худел и спал глубоко по ночам. Если бы профуполномоченный убавил волнение своей работы, вспомнил про недостаток домашнего имущества в своем семействе или погладил бы ночью свое уменьшившееся, постаревшее тело, он бы почувствовал стыд существова-

ния за счет двух процентов тоскующего труда. Но он не мог останавливаться и иметь созерцающее сознание.

Со скоростью, происходящей от беспокойной преданности трудящимся, профуполномоченный выступил вперед, чтобы показать расселившийся усадьбами город квалифицированным мастеровым, потому что они должны сегодня начать постройкой то единое здание, куда войдет на поселение весь местный класс пролетариата, — и тот общий дом возвысится над всем усадебным, дворовым городом, а малые единоличные дома опустеют, их непроницаемо покроет растительный мир, и там постепенно остановят дыхание исчахшие люди забытого времени.

К бараку подошли несколько каменных кладчиков с двух новостроящихся заводов, профуполномоченный напрягся от восторга последней минуты перед маршем строителей по городу; музыканты приложили духовые принадлежности к губам, но артель мастеровых стояла врозь, не готовая идти. Сафронов заметил ложное усердие на лицах музыкантов и обиделся за унижаемую музыку.

— Это что еще за игрушки придумали? Куда это мы пойдем — чего мы не видали!

Профуполномоченный потерял готовность лица и почувствовал свою душу — он всегда ее чувствовал, когда его обижали.

— Товарищ Сафронов! Это окрпрофбюро хотело показать вашей первой образцовой артели жалость старой жизни, разные бедные жилища и скучные условия, а также кладбище, где хоронились пролетарии, которые скончались до революции без счастья, — тогда бы вы увидели, какой это погибший город стоит среди равнины нашей страны, тогда бы вы сразу узнали, зачем нам нужен общий дом пролетариату, который вы начнете строить вслед за тем...

— Ты нам не переугождай! — возражающе произнес Сафронов. — Что мы — или не видели мелочных домов, где живут разные авторитеты? Отведи музыку в детскую организацию, а мы справимся с домом по одному своему сознанию.

— Значит, я переугожденец? — все более догадываясь, пугался профуполномоченный. — У нас есть в профбюро один какой-то аллилуйщик, а я, значит, переугожденец?

И, заболев сердцем, профуполномоченный молча пошел в учреждение союза, и оркестр за ним.

На выкошенном пустыре пахло умершей травой и сыростью обнаженных мест, отчего яснее чувствовалась

общая грусть жизни и тоска тщетности. Вощеву дали лопату, он сжал ее руками, точно хотел добыть истину из земного праха; обездоленный, Вощев согласен был и не иметь смысла существования, но желал хотя бы наблюдать его в веществе тела другого, ближнего человека, — и чтобы находиться вблизи того человека, мог пожертвовать на труд все свое слабое тело, истомленное мыслью и бессмысленностью.

Среди пустыря стоял инженер — не старый, но седой от счета природы человек. Весь мир он представлял мертвым телом — он судил его по тем частям, какие уже были им обращены в сооружения; мир всюду поддавался его внимательному и воображающему уму, ограниченному лишь сознанием косности природы; материал всегда сдавался точности и терпению, значит, он был мертв и пустынен. Но человек был жив и достоин среди всего унылого вещества, поэтому инженер сейчас вежливо улыбался мастеровым, Вощев видел, что щеки у инженера были розовые, но не от упитанности, а от излишнего сердцебиения, и Вощеву понравилось, что у этого человека волнуется и бьется сердце.

Инженер сказал Чиклину, что он уже разбил земляные работы и разметил котлован, и показал на вбитые колышки: теперь можно начинать. Чиклин слушал инженера и добавочно проверял его разбивку артели, грунтовый труд был его лучшей профессией; когда же настанет пора бутовой кладки, то Чиклин подчинится Сафронову.

— Мало рук, — сказал Чиклин инженеру, — это измор, а не работа — время всю пользу съест.

— Биржа обещала прислать пятьдесят человек, а я просил сто, — ответил инженер. — Но отвечать будем за все работы в материке только вы и я; вы — ведущая бригада.

— Мы вести не будем. А будем равнять всех с собой. Лишь бы люди явились.

И сказав это, Чиклин вонзил лопату в верхнюю мякоть земли, сосредоточив вниз равнодушно-задумчивое лицо. Вощев тоже начал рыть почву вглубь, пуская всю силу в лопату; он теперь допускал возможность того, что детство вырастет, радость сделается мыслью и будущий человек найдет себе покой в этом прочном доме, чтобы глядеть из высоких окон в простертый, ждущий его мир. Уже тысячи былинок, корешков и мелких почвенных приютов усердной твари он уничтожил навсегда и работал в теснинах тоскливой глины. Но Чиклин его

опередил, он давно оставил лопату и взял лом, чтобы крошить нижние сжатые породы. Упраздняя старинное природное устройство, Чиклин не мог его понять.

От сознания малочисленности своей артели Чиклин спешно ломал вековой грунт, обращая всю жизнь своего тела в удары по мертвым местам. Сердце его привычно билось, терпеливая спина истощалась потом, никакого предохраняющего сала у Чиклина под кожей не было — его старые жилы и внутренности близко подходили наружу, он ощущал окружающее без расчета и сознания, но с точностью. Когда-то он был моложе, и его любили девушки — из жадности к его мощному, бредущему куда попало телу, которое не хранило себя и было предано всем. В Чиклине тогда многие нуждались как в укрытии и покое среди его верного тепла, но он хотел укрывать слишком многих, чтобы и самому было чего чувствовать, тогда женщины и товарищи из ревности покидали его, а Чиклин, тоскуя по ночам, выходил на базарную площадь и опрокидывал торговые будки или вовсе уносил их куда-нибудь прочь, за что томился затем в тюрьме и пел оттуда песни в летние вишневые вечера.

К полудню усердие Вощева давало все меньше и меньше земли, он начал уже раздражаться от рытья и отстал от артели; лишь один худой мастеровой работал тише его. Этот задний был угрюм, ничтожен всем телом, пот слабости капал в глину с его мутного однообразного лица, обросшего по окружности редкими волосами; при подъеме земли на урез котлована он кашлял и вынуждал из себя мокроту, а потом, успокоившись, закрывал глаза, словно желая сна.

— Козлов! — крикнул ему Сафронов. — Тебе опять неможется?

— Опять, — ответил Козлов своим бледным голосом ребенка.

— Наслаждаешься много, — произнес Сафронов. — Будем тебя класть спать теперь на столе под лампой, чтобы ты лежал и стыдился.

Козлов поглядел на Сафронова красными сырыми глазами и промолчал от равнодушного утомления.

— За что он тебя? — спросил Вощев.

Козлов вынул соринку из своего костяного носа и посмотрел в сторону, точно тоскуя о свободе, но на самом деле ни о чем не тосковал.

— Они говорят, — ответил он, — что у меня женщины нету, — с трудом обиды сказал Козлов, — что я но-

чью под одеялом сам себя люблю, а днем от пустоты тела жить не гожусь. Они ведь, как говорится, все знают!

Вощев снова стал рыть одинаковую глину и видел, что глины и общей земли еще много остается — еще долго надо иметь жизнь, чтобы превозмочь забвеньем и трудом этот залегший мир, спрятавший в своей темноте истину всего существования. Может быть, легче выдумать смысл жизни в голове — ведь можно нечаянно догадаться о нем или коснуться его печально текущим чувством.

— Сафронов, — сказал Вощев, ослабев терпеньем,— лучше я буду думать без работы, все равно весь свет не разроешь до дна.

— Не выдумаешь, — не отвлекаясь сообщил Сафронов, — у тебя не будет памяти вещества, и ты станешь вроде Козлова думать сам себя, как животное.

— Чего ты стонешь, сирота! — отозвался Чиклин спереди. — Смотри на людей и живи, пока родился.

Вощев поглядел на людей и решил кое-как жить, раз они терпят и живут; он вместе с ними произошел и умрет в свое время неразлучно с людьми.

— Козлов, ложись вниз лицом, отдышься! — сказал Чиклин. — Кашляет, вздыхает, молчит, горючет — так могилы роют, а не дома.

Но Козлов не уважал чужой жалости к себе — он сам незаметно погладил за пазухой свою глухую ветхую грудь и продолжал рыть связной грунт. Он еще верил в наступление жизни после постройки больших домов и боялся, что в ту жизнь его не примут, если он представится туда жалобным нетрудовым элементом. Лишь одно чувство трогало Козлова по утрам — его сердце затруднялось биться, но все же он надеялся жить в будущем хотя бы маленьким остатком сердца; однако по слабости груди ему приходилось во время работы гладить себя изредка поверх костей и уговаривать шепотом терпеть.

Уже прошел полдень, а биржа не прислала землекопов. Ночной косарь травы выспался, сварил картошек, полил их яйцами, смочил маслом, подбавил вчерашней каши, посыпал сверху для роскоши укропом и принес в котле эту сборную пищу для развития павших сил артели.

Ели в тишине, не глядя друг на друга и без жадности, не признавая за пищей цены, точно сила человека происходит из одного сознания.

Инженер обошел своим ежедневным обходом разные непременные учреждения и явился на котлован. Он по-

стоял в стороне, пока люди съели все из котла, и тогда сказал:

— В понедельник будут еще сорок человек. А сегодня — суббота, вам уже пора кончать.

— Как так кончать? — спросил Чиклин. — Мы еще куб или полтора выбросим, раньше кончать ни к чему.

— А надо кончать, — возразил производитель работ. — Вы уже работаете больше шести часов, и есть закон.

— Тот закон для одних усталых элементов, — воспрепятствовал Чиклин. — А у меня еще малость силы осталось до сна. Кто как думает? — спросил он у всех.

— До вечера долго, — сообщил Сафронов, — чего жизни зря пропадать, лучше сделаем вещь. Мы ведь не животные, мы можем жить ради энтузиазма.

— Может, природа нам что-нибудь покажет внизу, — сказал Вощев.

— И то! — произнес неизвестно кто из мастеровых.

Инженер наклонил голову, он боялся пустого домашнего времени, он не знал, как ему жить одному.

— Тогда и я пойду почерчу немного и свайные гнезда посчитаю опять.

— А то что ж: ступай почерти и посчитай! — согласился Чиклин. — Все равно земля вскопана, кругом скучно — отделаемся, тогда назначим жизнь и отдохнем.

Производитель работ медленно отошел. Он вспомнил свое детство, когда под праздники прислуга мыла полы, мать убирала горницы, а по улице текла неприютная вода, и он, мальчик, не знал, куда ему деться, и ему было тоскливо и задумчиво. Сейчас тоже погода пропала, над равниной пошли медленные сумрачные облака, и во всей России теперь моют полы под праздник социализма, — наслаждаться как-то еще рано и ни к чему, лучше сесть, задуматься и чертить части будущего дома.

Козлов от сытости почувствовал радость, и ум его увеличился.

— Всему свету, как говорится, хозяева, а жрать любят, — сообщил Козлов. — Хозяин бы себе враз дом построил, а вы помрете на порожней земле.

— Козлов, ты скот! — определил Сафронов. — На что тебе пролетариат в доме, когда ты одним своим телом радуешься?

— Пускай радуюсь! — ответил Козлов. — А кто меня любил хоть раз? Терпи, говорят, пока старик капита-

лизм помрет, теперь он кончился, а я опять живу один под одеялом, и мне ведь грустно!

Вощев заволновался от дружбы к Козлову.

— Грусть — это ничего, товарищ Козлов, — сказал он, — это значит, наш класс весь мир чувствует, а счастье все равно далекое дело... От счастья только стыд начнется!

В следующее время Вощев и другие с ним опять встали на работу. Еще высоко было солнце и жалобно пели птицы в освещенном воздухе, не торжествуя, а ища пищи в пространстве; ласточки низко мчались над склоненными роющими людьми, они смолкали крыльями от усталости, и под их пухом и перьями был пот нужды — они летали с самой зари, не переставая мучить себя для сытости птенцов и подруг. Вощев поднял однажды мгновенно умершую в воздухе птицу и павшую вниз: она была вся в поту, а когда ее Вощев ощипал, чтобы увидеть тело, то в его руках осталось скудное печальное существо, погибшее от утомления своего труда. И нынче Вощев не жалел себя на уничтожение сросшегося грунта: здесь будет дом, в нем будут храниться люди от невзгоды и бросать крошки из окон живущим снаружи птицам.

Чиклин, не видя ни птиц, ни неба, не чувствуя мысли, грузно разрушал землю ломом, и его плоть истощалась в глинистой выемке, но он не тосковал от усталости, зная, что в ночном сне его тело наполнится вновь.

Истомленный Козлов сел на землю и рубил топором обнажившийся известняк, он работал, не помня времени и места, спуская остатки своей теплой силы в камень, который он рассекал, — камень нагревался, а Козлов постепенно холодел. Он мог бы так весь незаметно скончаться, и разрушенный камень был бы его бедным наследием будущим растущим людям. Штаны Козлова от движения заголились, сквозь кожу обтягивались кривые острые кости голеней, как ножи с зазубринами. Вощев почувствовал от тех беззащитных костей тоскливую нервность, ожидая, что кости прорвут непрочную кожу и выйдут наружу; он попробовал свои ноги в тех же костных местах и сказал всем:

— Пора пошабашить! А то вы уморитесь, умрете, и кто тогда будет людьми?

Вощев не услышал себе слово в ответ. Уже наставал вечер; вдалеке подымалась синяя ночь, обещая сон и прохладное дыхание, и — точно грусть — стояла мерт-

вая высота над землей. Козлов по-прежнему уничтожал камень в земле, ни на что не отлучаясь взглядом, и, наверно, скучно билось его ослабевшее сердце.

Производитель работ общепролетарского дома вышел из своей чертежной конторы во время ночной тьмы. Яма котлована была пуста, артель мастеровых заснула в бараке тесным рядом туловищ, и лишь огонь ночной притушенной лампы проникал оттуда сквозь щели теса, держа свет на всякий несчастный случай или для того, кто внезапно захочет пить. Инженер Прушевский подошел к бараку и поглядел внутрь через отверстие бывшего сучка; около стены спал Чиклин, его опухшая от силы рука лежала на животе, и все тело шумело в питающей работе сна; босой Козлов спал с открытым ртом, горло его клокотало, будто воздух дыхания проходил сквозь тяжелую темную кровь, а из полуоткрытых бледных глаз выходили редкие слезы — от сновидения или неизвестной тоски.

Прушевский отнял голову от досок и подумал. Вдалеке светилась электричеством ночная постройка завода, но Прушевский знал, что там нет ничего, кроме мертвого строительного материала и усталых недумающих людей. Вот он выдумал единственный общепролетарский дом вместо старого города, где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом; через год весь местный пролетариат выйдет из мелкоимущественного города и займет для жизни монументальный новый дом. Через десять или двадцать лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное, счастливое поселение трудящиеся всей земли. Прушевский мог бы уже теперь предвидеть, какое произведение статической механики в смысле искусства и целесообразности следует поместить в центре мира, но не мог предчувствовать устройства души поселенцев общего дома среди этой равнины и тем более вообразить жителей будущей башни посреди всемирной земли. Какое тогда будет тело у юности и от какой волнующей силы начнет биться сердце и думать ум?

Прушевский хотел это знать уже теперь, чтобы не напрасно строились стены его зодчества; дом должен быть населен людьми, а люди наполнены той излишней теплотою жизни, которая названа однажды душой. Он

боялся воздвигать пустые здания — те, в каких люди живут лишь из-за непогоды.

Прушевский остыл от ночи и спустился в начатую яму котлована, где было затишье. Некоторое время он посидел в глубине, под ним находился камень, сбоку возвышалось сечение грунта, и видно было, как на урезе глины, не происходя из нее, лежала почва. Изо всякой ли базы образуется надстройка? Каждое ли производство жизненного материала дает добавочным продуктом душу в человеке? А если производство улучшить до точной экономии — то будут ли происходить из него косвенные, нежданные продукты?

Инженер Прушевский уже с двадцати пяти лет почувствовал стеснение своего сознания и конец дальнейшему понятию жизни, будто темная стена предстала в упор перед его ощущающим умом. И с тех пор он мучился, шевелясь у своей стены, и успокаивался, что, в сущности, самое срединное, истинное устройство вещества, из которого скомбинирован мир и люди, им постигнуто,— вся насущная наука расположена еще до стены его сознания, а за стеною находится лишь скучное место, куда можно и не стремиться. Но все же интересно было — не вылез ли кто-нибудь за стену вперед. Прушевский еще раз подошел к стене барака, согнувшись, поглядел по ту сторону на ближнего спящего, чтобы заметить на нем что-нибудь неизвестное в жизни; но там мало было видно, потому что в ночной лампе иссякал керосин, и слышалось одно медленное, западающее дыхание. Прушевский оставил барак и отправился бриться в парикмахерскую ночных смен; он любил, чтобы во время тоски его касались чьи-нибудь руки.

После полуночи Прушевский пришел на свою квартиру — флигель во фруктовом саду, открыл окно в темноту и сел посидеть. Слабый местный ветер начинал иногда шевелить листья, но вскоре опять наступала тишина. Позади сада кто-то шел и пел свою песню; то был, наверно, счетовод с вечерних занятий или просто человек, которому скучно спать.

Вдалеке на весу и без спасения светила неясная звезда, и ближе она никогда не станет. Прушевский глядел на нее сквозь мутный воздух, время шло, и он сомневался.

— Либо мне погибнуть?

Прушевский не видел, кому бы он настолько требовался, чтоб непременно поддерживать себя до еще да-

лекой смерти. Вместо надежды ему осталось лишь терпенье, и где-то за чередою ночей, за опавшими, расцветшими и вновь погибшими садами, за встреченными и минувшими людьми существует его срок, когда придется лечь на койку, повернуться лицом к стене и скончаться, не сумев заплакать. На свете будет жить только его сестра, но она родит ребенка, и жалость к нему станет сильнее грусти по мертвому, разрушенному брату.

— Лучше я умру, — подумал Прушевский. — Мною пользуются, но мне никто не рад. Завтра я напишу последнее письмо сестре, надо купить марку с утра.

И решив скончаться, он лег на кровать, и заснул со счастьем равнодушия к жизни. Не успев еще почувствовать всего счастья, он от него проснулся в три часа пополуночи, и, осветив квартиру, сидел среди света и тишины, окруженный близкими яблонями, до самого рассвета, и тогда открыл окно, чтобы слышать птиц и шаги пешеходов.

После общего пробуждения в ночлежный барак землекопов пришел посторонний человек. Изо всех мастеровых его знал один только Козлов благодаря своим прошлым конфликтам. Это был товарищ Пашкин, председатель окрпрофсовета. Он имел уже пожилое лицо и согбенный корпус тела — не столько от числа годов, сколько от социальной нагрузки: от этих данных он говорил отечески и почти все знал или предвидел.

«Ну, что ж, — говорил он обычно во время трудности, — все равно счастье наступит исторически». И с покорностью наклонял унылую голову, которой уже нечего было думать.

Близ начатого котлована Пашкин постоял лицом к земле, как ко всякому производству.

— Темп тих, — произнес он мастеровым. — Зачем вы жалеете подымать производительность? Социализм обойдется и без вас, а вы без него проживете зря и помрете.

— Мы, товарищ Пашкин, как говорится, стараемся,— сказал Козлов.

— Где ж стараетесь?! Одну кучу только выкопали!

Стесненные упреком Пашкина, мастеровые промолчали в ответ. Они стояли и видели: верно говорит человек — скорей надо рыть землю и ставить дом, а то умрешь и не поспеешь. Пусть сейчас жизнь уходит, как теченье дыханья, но зато посредством устройства дома ее

можно организовать впрок — для будущего неподвижного счастья и для детства.

Пашкин глянул вдаль — в равнины и овраги: где-нибудь там ветры начинаются, происходят холодные тучи, разводится разная комариная мелочь и болезни, размышляют кулаки и спит сельская отсталость, а пролетариат живет один, в этой скучной пустоте, и обязан за всех все выдумать и сделать вручную вещество долгой жизни. И жалко стало Пашкину все свои профсоюзы, и он познал в себе доброту к трудящимся.

— Я вам, товарищи, определю по профсоюзной линии какие-нибудь льготы, — сказал Пашкин.

— А откуда же ты льготы возьмешь? — спросил Сафронов. — Мы их вперед должны сделать и тебе передать, а ты нам.

Пашкин посмотрел на Сафронова своими уныло-предвидящими глазами и пошел внутрь города на службу. За ним вслед отправился Козлов и сказал ему, отдалившись:

— Товарищ Пашкин, вон у нас Вощев зачислился, а у него путевки с биржи труда нет. Вы его, как говорится, должны отчислить назад.

— Не вижу здесь никакого конфликта — в пролетариате сейчас убыток, — дал заключение Пашкин и оставил Козлова без утешения. А Козлов тотчас же начал падать пролетарской верой и захотел уйти внутрь города, чтобы писать там опорачивающие заявления и налаживать различные конфликты с целью организационных достижений.

До самого полудня время шло благополучно: никто не приходил на котлован из организующего или технического персонала, но земля все же углублялась под лопатами, считаясь лишь с силой и терпением землекопов. Вощев иногда наклонялся и подымал камешек, а также другой слипшийся прах и клал его на хранение в свои штаны. Его радовало и беспокоило почти вечное пребывание камешка в среде глины, в скоплении тьмы: значит, ему есть расчет там находиться, тем более следует человеку жить.

После полудня Козлов уже не мог надышаться — он старался вдыхать серьезно и глубоко, но воздух не проникал, как прежде, вплоть до живота, а действовал лишь поверхностно. Козлов сел в обнаженный грунт и дотронулся руками к костяному своему лицу.

— Расстроился? — спросил его Сафронов. — Тебе

для прочности надо бы в физкультуру записаться, а ты уважаешь конфликт: ты мыслишь отстало.

Чиклин без спуску и промежутка громил ломом плиту самородного камня, не останавливаясь для мысли или настроения, он не знал, для чего ему жить иначе — еще вором станешь или тронешь революцию.

— Козлов опять ослаб! — сказал Чиклину Сафронов. — Не переживет он социализма — какой-то функции в нем не хватает!

Здесь Чиклин сразу начал думать, потому что его жизни некуда было деваться, раз исход ее в землю прекратился, он прислонился влажной спиной к отвесу выемки, глянул вдаль и вообразил воспоминание — больше он ничего думать не мог. В ближнем к котловану овраге сейчас росли понемногу травы и замертво лежал ничтожный песок; неотлучное солнце безрасчетно расточало свое тело на каждую мелочь здешней, низкой жизни, и оно же, посредством теплых ливней, вырыло в старину овраг, но туда еще не помещено никакой пролетарской пользы. Проверяя свой ум, Чиклин пошел в овраг и обмерил его привычным шагом, равномерно дыша для счета. Овраг был полностью нужен для котлована, следовало только спланировать откосы и врезать глубину в водоупор.

— Козлов пускай поболеет, — сказал Чиклин, прибыв обратно. — Мы тут рыть далее не будем стараться, а погрузим дом в овраг и оттуда наладим его вверх: Козлов успеет дожить.

Услышав Чиклина, многие прекратили копать грунт и сели вздохнуть. Но Козлов уже отошел от своей усталости и хотел идти к Прушевскому сказать, что землю больше не роют и надо предпринимать существенную дисциплину. Собираясь совершить такую организованную пользу, Козлов заранее радовался и выздоравливал. Однако Сафронов оставил его на месте, лишь только он тронулся.

— Ты что, Козлов, курс на интеллигенцию взял? Вон она сама спускается в нашу массу.

Прушевский шел на котлован впереди неизвестных людей. Письмо сестре он отправил и хотел теперь упорно действовать, беспокоиться о текущих предметах и строить любое здание в чужой прок, лишь бы не тревожить своего сознания, в котором он установил особое нежное равнодушие, согласованное со смертью и с чувством сиротства к остающимся людям. С особой трога-

тельностью он относился к тем людям, которых ранее почему-либо не любил, — теперь он чувствовал в них почти главную загадку своей жизни и пристально вглядывался в чуждые и знакомые глупые лица, волнуясь и не понимая.

Неизвестные люди оказались новыми рабочими, что прислал Пашкин для обеспечения государственного темпа. Но рабочими прибывшие не были: Чиклин сразу, без пристальности обнаружил в них переученных наоборот городских служащих, разных степных отшельников, и людей, привыкших идти тихим шагом позади трудящейся лошади: в их теле не замечалось никакого пролетарского таланта труда, они более способны были лежать навзничь или покоиться как-либо иначе.

Прушевский определил Чиклину расставить свежих рабочих по котловану и дать им выучку, потому что надо уметь жить и работать с теми людьми, которые есть на свете.

— Нам это ничто, — высказался Сафронов. — Мы ихнюю отсталость сразу в активность вышибем.

— Вот-вот, — произнес Прушевский, доверяя, и пошел позади Чиклина на овраг.

Чиклин сказал, что овраг это более чем пополам готовый котлован и посредством оврага можно сберечь слабых людей для будущего. Прушевский согласился с тем, потому что он все равно умрет раньше, чем кончится здание.

— А во мне пошевельнулось научное сомнение, — сморщив свое вежливо-сознательное лицо, сказал Сафронов. И все к нему прислушались. А Сафронов глядел на окружающих с улыбкой загадочного разума. — Откуда это у товарища Чиклина мировое представление получилось? — произносил постепенно Сафронов. — Иль он особое лобзание в малолетстве имел, что лучше ученого предпочитает овраг! Отчего ты, товарищ Чиклин, думаешь, а я с товарищем Прушевским хожу, как мелочь между классов, и не вижу себе улучшенья!..

Чиклин был слишком угрюм для хитрости и ответил приблизительно:

— Некуда жить, вот и думаешь в голову.

Прушевский посмотрел на Чиклина как на бесцельного мученика, а затем попросил произвести разведочное бурение в овраге и ушел в свою канцелярию. Там он начал тщательно работать над выдуманными частями общепролетарского дома, чтобы ощущать предметы и поза-

быть людей в своих воспоминаниях. Часа через два Вощев принес ему образцы грунта из разведочных скважин. «Наверно, он знает смысл природной жизни», — тихо подумал Вощев о Прушевском и, томимый своей последовательной тоской, спросил:

— А вы не знаете, отчего устроился весь мир?

Прушевский задержался вниманием на Вощеве: неужели они тоже будут интеллигенцией, неужели нас капитализм родил двоешниками, — боже мой, какое у него уже теперь скучное лицо!

— Не знаю, — ответил Прушевский.

— А вы бы научились этому, раз вас старались учить.

— Нас учили каждого какой-нибудь мертвой части: я знаю глину, тяжесть веса и механику покоя, но плохо знаю машины и не знаю, почему бьется сердце в животном. Всего целого или что внутри — нам не объяснили.

— Зря, — определил Вощев. — Как же вы живы были так долго? Глина хороша для кирпича, а для вас она мала!

Прушевский взял в руку образец овражного грунта и сосредоточился на нем — он хотел остаться только с этим темным комком земли. Вощев отступил за дверь и скрылся за нею, шепча про себя свою грусть.

Инженер рассмотрел грунт и долго, по инерции самодействующего разума, свободного от надежды и желания удовлетворения, рассчитывал тот грунт на сжатие и деформацию. Прежде, во время чувственной жизни и видимости счастья, Прушевский посчитал бы надежность грунта менее точно, — теперь же ему хотелось беспрерывно заботиться о предметах и устройствах, чтобы иметь их в своем уме и пустом сердце вместо дружбы и привязанности к людям. Занятие техникой покоя будущего здания обеспечивало Прушевскому равнодушие ясной мысли, близкое к наслаждению, — и детали сооружения возбуждали интерес, лучший и более прочный, чем товарищеское волнение с единомышленниками. Вечное вещество, не нуждавшееся ни в движении, ни в жизни, ни в исчезновении, заменяло Прушевскому что-то забытое и необходимое, как существо утраченной подруги.

Окончив исчисление своих величин, Прушевский обеспечил несокрушимость будущего общепролетарского жилища и почувствовал утешение от надежности материала, предназначенного охранять людей, живших доселе

снаружи. И ему стало легко и неслышно внутри, точно он жил не предсмертную, равнодушную жизнь, а ту самую, про которую ему шептала некогда мать своими устами, но он ее утратил даже в воспоминании.

Не нарушая своего покоя и удивления, Прушевский ставил канцелярию земляных работ. В природе отходил в вечер опустошенный летний день: все постепенно кончалось вблизи и вдали: прятались птицы, ложились люди, смирно курился дым из отдаленных полевых жилищ, где безвестный усталый человек сидел у котелка, ожидая ужина, решив терпеть свою жизнь до конца. На котловане было пусто, землекопы перешли трудиться на овраг, и там сейчас происходило их движение. Прушевскому захотелось вдруг побыть в далеком центральном городе, где люди долго не спят, думают и спорят, где по вечерам открыты гастрономические магазины и оттуда пахнет вином и кондитерскими изделиями, где можно встретить незнакомую женщину и пробеседовать с ней всю ночь, испытывая таинственное счастье дружбы, когда хочется жить вечно в этой тревоге; утром же, простившись под потушенным газовым фонарем, разойтись в пустоте рассвета без обещанья встречи.

Прушевский сел на лавочку у канцелярии. Так же он сидел когда-то у дома отца — летние вечера не изменились с тех пор, — и он любил тогда следить за прохожими мимо; иные ему нравились, и он жалел, что не все люди знакомы между собой. Одно же чувство было живо и печально в нем до сих пор: когда-то, в такой же вечер, мимо дома его детства прошла девушка, и он не мог вспомнить ни ее лица, ни года того события, но с тех пор всматривался во все женские лица и ни в одном из них не узнавал той, которая, исчезнув, все же была его единственной подругой и так близко прошла не остановившись.

Во время революции по всей России день и ночь брехали собаки, но теперь они умолкли: настал труд, и трудящиеся спали в тишине. Милиция охраняла снаружи безмолвие рабочих жилищ, чтобы сон был глубок и питателен для утреннего труда. Не спали только ночные смены строителей да тот безногий инвалид, которого встретил Вощев при своем пришествии в этот город. Сегодня он ехал на низкой тележке к товарищу Пашкину, дабы получить от него свою долю жизни, за которой он приезжал раз в неделю.

Пашкин жил в основательном доме из кирпича, чтобы

невозможно было сгореть, и открытые окна его жилища выходили в культурный сад, где даже ночью светились цветы. Урод проехал мимо окна кухни, которая шумела, как котельная, производя ужин, и остановился против кабинета Пашкина. Хозяин сидел неподвижно за столом, глубоко вдумавшись во что-то невидимое для инвалида. На его столе находились различные жидкости и баночки для укрепления здоровья и развития активности — Пашкин много приобрел себе классового сознания, он состоял в авангарде; накопил уже достаточно достижений и потому научно хранил свое тело — не только для личной радости существования, но и для ближних рабочих масс. Инвалид обождал время, пока Пашкин, поднявшись от занятия мыслью, проделал всеми членами беглую гимнастику и, доведя себя до свежести, снова сел. Урод хотел произвести свое слово в окно, но Пашкин взял пузырек и после трех медленных вздохов выпил оттуда каплю.

— Долго я тебя буду дожидаться? — спросил инвалид, не сознававший ни цены жизни, ни здоровья. — Опять хочешь от меня кой-чего заработать?

Пашкин нечаянно заволновался, но напряжением ума успокоился — он никогда не желал тратить нервность своего тела.

— Ты что, товарищ Жачев: чем не обеспечен, чего возбуждаешься?

Жачев ответил ему прямо по факту:

— Ты что ж, буржуй, иль забыл, за что я тебя терплю? Тяжесть хочешь получить в слепую кишку? Имей в виду — любой кодекс для меня слаб!

Здесь инвалид вырвал из земли ряд роз, бывших под рукой, и, не пользуясь, бросил их прочь.

— Товарищ Жачев, — ответил Пашкин, — я тебя вовсе не понимаю: ведь тебе идет пенсия по первой категории, как же так? Я уж и так чем мог всегда тебе шел навстречу.

— Врешь ты, классовый излишек, это я тебе навстречу попадался, а не ты шел!

В кабинет Пашкина вошла его супруга — с красными губами, жующими мясо.

— Левочка, ты опять волнуешься? — сказала она. — Я ему сейчас сверток вынесу: это прямо стало невыносимым, с этими людьми какие угодно нервы испортишь!

Она ушла обратно, волнуясь всем невозможным телом.

— Ишь, как жену, стервец, расхарчевал! — произ-

посил из сада Жачев. — На холостом ходу всеми клапанами работает, значит, ты можешь заведовать такой с...!

Пашкин был слишком опытен в руководстве отсталыми, чтобы раздражаться.

— Ты бы и сам, товарищ Жачев, вполне мог содержать для себя подругу: в пенсии учитываются все минимальные потребности.

— Ого, гадина тактичная какая! — определил Жачев из мрака. — Моей пенсии и на пшено не хватает — на просо только. А я хочу жиру и что-нибудь молочного. Скажи своей мерзавке, чтобы она мне в бутылку сливок погуще налила!

Жена Пашкина вошла в комнату мужа со свертком.

— Оля, он еще сливок требует, — обратился Пашкин.

— Ну вот еще! Может, ему крепдешину еще купить на штаны? Ты ведь выдумаешь!

— Она хочет, чтоб я ей юбку на улице разрезал, — сказал с клумбы Жачев. — Иль окно спальной прошиб до самого пудреного столика, где она свою рожу успащивает, — она от меня хочет заработать!..

Жена Пашкина помнила, как Жачев послал в ОблКК заявление на ее мужа и целый месяц шло расследование, — даже к имени придирались: почему и Лев и Ильич? Уж что-нибудь одно! Поэтому она немедленно вынесла инвалиду бутылку кооперативных сливок, и Жачев, получив через окно сверток и бутылку, отбыл из усадебного сада.

— И качество продуктов я дома проверю, — сообщил он, остановив свой экипаж у калитки. — Если опять порченый кусок говядины или просто объедок попадется — надейтесь на кирпич в живот: по человечеству я лучше вас — мне нужна достойная пища.

Оставшись с супругой, Пашкин до самой полночи не мог превозмочь в себе тревоги от урода. Жена Пашкина умела думать от скуки, и она выдумала во время семейного молчания вот что:

— Знаешь что, Левочка?.. Ты бы организовал как-нибудь этого Жачева, а потом взял и продвинул его на должность — пусть бы хоть увечными он руководил! Ведь каждому человеку нужно иметь хоть маленькое господствующее значение, тогда он спокоен и приличен... Какой ты все-таки, Левочка, доверчивый и нелепый!

Пашкин, услышав жену, почувствовал любовь и спокойствие, к нему снова возвращалась основная жизнь.

— Ольгуша, лягушечка, ведь ты гигантски чуешь массы! Дай я к тебе за это приорганизуюсь!

Он приложил свою голову к телу жены и затих в наслаждении счастьем и теплотой. Ночь продолжалась в саду, вдалеке скрипела тележка Жачева — по этому скрипящему признаку все мелкие жители города хорошо знали, что сливочного масла нет, ибо Жачев всегда смазывал свою повозку именно сливочным маслом, получаемым в свертках от достаточных лиц; он нарочно стравлял продукт, чтобы лишняя сила не прибавлялась в буржуазное тело, а сам не желал питаться этим зажиточным веществом. В последние два дня Жачев почему-то почувствовал желание увидеть Никиту Чиклина и направил движение своей тележки на земляной котлован.

— Никит! — позвал он у ночлежного барака. После звука еще более стала заметна ночь, тишина и общая грусть слабой жизни во тьме. Из барака не раздалось ответа Жачеву, лишь слышалось жалкое дыхание.

— Без сна рабочий человек давно бы кончился, — подумал Жачев и без шума поехал дальше. Но из оврага вышли двое людей с фонарями, так что Жачев стал им виден.

— Ты кто такой низкий? — спросил голос Сафронова.

— Это я, — сказал Жачев, — потому что меня капитал пополам сократил. А нет ли между вами двумя одного Никиты?

— Это не животное, а прямо человек! — отозвался тот же Сафронов. — Скажи ему, Чиклин, мнение про себя.

Чиклин осветил фонарем и все краткое тело Жачева, а затем в смущении отвел фонарь в темную сторону.

— Ты что, Жачев? — тихо произнес Чиклин. — Кашу приехал есть? Пойдем, у нас она осталась, а то к завтрему прокиснет, все равно мы ее вышвыриваем.

Чиклин боялся, чтобы Жачев не обижался на помощь и ел кашу с тем сознанием, что она уже ничья и ее все равно вышвырнут. Жачев и прежде, когда Чиклин работал на прочистке реки от карчи, посещал его, дабы кормиться от рабочего класса; но среди лета он переменил курс и стал питаться от максимального класса, чем рассчитывал принести пользу всему неимущему движению в дальнейшее счастье.

— Я по тебе соскучился, — сообщил Жачев, — меня

нахождение сволочи мучает, и я хочу спросить у тебя, когда вы состроите свою чушь, чтоб город сжечь!

— Вот сделай злак из такого лопуха! — сказал Сафронов про урода. — Мы все свое тело выдавливаем для общего здания, а он дает лозунг, что наше состояние — чушь, и нигде нету момента чувства ума!

Сафронов знал, что социализм — это дело научное, и произносил слова так же логично и научно, давая им для прочности два смысла — основной и запасной, как всякому материалу. Все трое уже достигли барака и вошли в него. Вощев достал из угла чугун каши, закутанный для сохранения тепла в ватный пиджак, и дал пришедшим есть, Чиклин и Сафронов сильно остыли и были в глине и сырости; они ходили в котлован раскапывать водяной подземный исток, чтобы перехватить его вмертвую глиняным замком.

Жачев не развернул своего свертка, а съел общую кашу, пользуясь ею для сытости и для подтверждения своего равенства с двумя евшими людьми. После пищи Чиклин и Сафронов вышли наружу — вздохнуть перед сном и поглядеть вокруг. И так они стояли там свое время. Звездная темная ночь не соответствовала овражной, трудной земле и сбивающемуся дыханию спящих землекопов. Если глядеть лишь понизу, в сухую мелочь почвы и в травы, живущие в гуще и бедности, то в жизни не было надежды; общая всемирная невзрачность, а также людская некультурная унылость озадачивали Сафронова и расшатывали в нем идеологическую установку. Он даже начинал сомневаться в счастье будущего, которое представлял в виде синего лета, освещенного неподвижным солнцем, — слишком смутно и тщетно было днем и ночью вокруг.

— Чиклин, что же ты так молча живешь? Ты бы сказал или сделал мне что-нибудь для радости!

— Что ж мне, обнимать тебя, что ли, — ответил Чиклин. — Вот выроем котлован, и ладно... Ты вот тех, кого нам биржа прислала, уговори, а то они свое тело на работе жалеют, будто они в нем имеют что!

— Могу, — ответил Сафронов, — смело могу! Я этих пастухов и писцов враз в рабочий класс обращу, они у меня так копать начнут, что у них весь смертный элемент выйдет на лицо... А отчего, Никит, поле так скучно лежит? Неужели внутри всего света тоска, а только в нас одних пятилетний план?

Чиклин имел маленькую каменистую голову, густо

обросшую волосами, потому что всю жизнь либо бил балдой, либо рыл лопатой, а думать не успевал и не объяснил Сафронову его сомнения.

Они вздохнули среди наставшей тишины и пошли спать. Жачев уже согнулся на своей тележке, уснув как мог, а Вощев лежал навзничь и глядел глазами с терпением любопытства.

— Говорили, что все на свете знаете, — сказал Вощев, — а сами только землю роете и спите! Лучше я от вас уйду — буду ходить по колхозам побираться: все равно мне без истины стыдно жить.

Сафронов сделал на своем лице определенное выражение превосходства, прошелся мимо ног спящих легкой, руководящей походкой.

— Э-э, скажите, пожалуйста, товарищ, в каком виде вам желательно получить этот продукт — в круглом или жидком?

— Не трожь его, — определил Чиклин, — мы все живем на пустом свете, разве у тебя спокойно на душе?

Сафронов, любивший красоту жизни и вежливость ума, стоял с почтением к участи Вощева, хотя в то же время глубоко волновался: не есть ли истина лишь классовый враг? Ведь он теперь даже в форме сна и воображенья может предстать!

— Ты, товарищ Чиклин, пока воздержись от своей декларации, — с полной значительностью обратился Сафронов. — Вопрос встал принципиально, и надо его класть обратно по всей теории чувств и массового психоза...

— Довольно тебе, Сафронов, как говорится, зарплату мне снижать, — сказал пробужденный Козлов. — Перестань брать слово, когда мне спится, а то на тебя заявление подам! Не беспокойся, сон ведь тоже как зарплата считается, там тебе укажут!..

Сафронов произнес во рту какой-то правоучительный звук и сказал своим вящим голосом:

— Извольте, гражданин Козлов, спать нормально — что это за класс нервной интеллигенции здесь присутствует, если звук сразу в бюрократизм растет?.. А если ты, Козлов, умственную начинку имеешь и в авангарде лежишь, то привстань на локоть и сообщи: почему это товарищу Вощеву буржуазия не оставила ведомости всемирного мертвого инвентаря и он живет в убытке и в такой смехотворности?..

Но Козлов уже спал и чувствовал лишь глубину своего тела. Вощев же лег вниз лицом и стал жаловаться

шепотом самому себе на таинственную жизнь, в которой он безжалостно родился.

Все последние бодрствующие легли и успокоились: ночь замерла рассветом — и только одно маленькое животное кричало где-то на светлеющем теплом горизонте, тоскуя или радуясь.

Чиклин сидел среди спящих и молча переживал свою жизнь: он любил иногда сидеть в тишине, наблюдать все, что было видно. Думать он мог с трудом и сильно тужил об этом — поневоле ему приходилось лишь чувствовать и безмолвно волноваться. И чем больше он сидел, тем гуще в нем от неподвижности скапливалась печаль, так что Чиклин встал и уперся руками в стену барака, лишь бы давить и двигаться во что-нибудь. Спать ему никак не хотелось — наоборот, он бы пошел сейчас в поле и поплясал с разными девушками и людьми под веточками, как делал в старое время, когда работал на кафельно-изразцовом заводе. Там дочь хозяина его однажды моментально поцеловала: он шел в глиномялку по лестнице в июне месяце, а она шла навстречу и, приподнявшись на скрытых под платьем ногах, охватила его за плечи и поцеловала своими опухшими, молчаливыми губами в шерсть на щеке. Чиклин теперь уже не помнит ни лица ее, ни характера, но тогда она ему не понравилась, точно была постылым существом, — и так он прошел в то время мимо нее не остановившись, а она, может быть, и плакала потом, благородное существо.

Надев свой ватный, желто-тифозного цвета пиджак, который у Чиклина был единственным со времен покорения буржуазии, обосновавшись на ночь, как на зиму, он собрался пойти походить по дороге и, совершив что-нибудь, уснуть затем в утренней росе.

Неизвестный вначале человек вошел в ночлежное помещение и стал в темноте входа.

— Вы еще не спите, товарищ Чиклин! — сказал Прушевский. — Я тоже хожу и никак не усну: все мне кажется, что я кого-то утратил и никак не могу встретить...

Чиклин, уважавший ум инженера, не умел ему сочувственно ответить и со стеснением молчал.

Прушевский сел на скамью и поник головой, решив исчезнуть со света, он больше не стыдился людей и сам пришел к ним.

— Вы меня извините, товарищ Чиклин, но я все вре-

мя беспокоюсь один на квартире. Можно, я просижу здесь до утра?

— А отчего ж нельзя? — сказал Чиклин. — Среди нас ты будешь отдыхать спокойно, ложись на мое место, а я где-нибудь пристроюсь.

— Нет, я лучше так посижу. Мне дома стало грустно и страшно, я не знаю, что мне делать. Вы, пожалуйста, не думайте только что-нибудь про меня неправильное.

Чиклин и не думал ничего.

— Не уходи отсюда никуда, — произнес он. — Мы тебя никому не дадим тронуть, ты теперь не бойся.

Прушевский сидел все в том же своем настроении: лампа освещала его серьезное, чуждое счастливого самочувствия лицо, но он уже жалел, что поступил несознательно, прибыв сюда: все равно ему уже не так долго осталось терпеть до смерти и до ликвидации всего.

Сафронов приоткрыл от разговорного шума один глаз и думал, какую бы ему наиболее благоприятную линию принять в отношении сидящего представителя интеллигенции. Сообразив, он сказал:

— Вы, товарищ Прушевский, насколько я имею сведения, свою кровь портили, чтобы выдумать по всем условиям общепролетарскую жилплощадь. А теперь, я наблюдаю, вы явились ночью в пролетарскую массу, как будто сзади вас ярость какая находится! Но раз курс на спецов есть, то ложитесь против меня, чтоб вы постоянно видели мое лицо и смело спали...

Жачев тоже проснулся на тележке.

— Может, он кушать хочет? — спросил он для Прушевского. — А то у меня есть буржуйская пища.

— Какая такая буржуйская и сколько в ней питательности, товарищ? — поражаясь, произнес Сафронов. — Где это вам представился буржуазный персонал?

— Стихни, темная мелочь! — ответил Жачев. — Твое дело целым остаться в этой жизни, а мое — погибнуть, чтоб очистить место!

— Ты не бойся, — говорил Чиклин Прушевскому, — ложись и закрывай глаза. Я буду недалеко, как испугаешься, так кричи меня.

Прушевский пошел, пригнувшись, чтоб не шуметь, на место Чиклина и там лег в одежде.

Чиклин снял с себя ватный пиджак и бросил его на ноги одеваться.

— Я четыре месяца взносов в профсоюз не платил, —

тихо сказал Прушевский, сразу озябнув внизу и укрываясь. — Все думал, что успею.

— Теперь вы механически выбывший человек: факт! — сообщил со своего места Сафронов.

— Спите молча! — сказал Чиклин всем и вышел наружу, чтобы пожить одному среди скучной ночи.

Утром Козлов долго стоял над спящим телом Прушевского: он мучился, что это руководящее умное лицо спит, как ничтожный гражданин, среди лежащих масс, и теперь потеряет свой авторитет. Козлову пришлось глубоко соображать над таким недоуменным обстоятельством, он не хотел и был не в силах допустить вред для всего государства от несоответствующей линии прораба, он даже заволновался и поспешно умылся, чтобы быть наготове. В такие минуты жизни, минуты грозящей опасности, Козлов чувствовал внутри себя горячую социальную радость и эту радость хотел применить на подвиг и умереть с энтузиазмом, дабы весь класс его узнал и заплакал над ним. Здесь Козлов даже продрог от восторга, забыв о летнем времени. Он с сознанием подошел к Прушевскому и разбудил его от сна.

— Уходите на свою квартиру, товарищ прораб, — хладнокровно сказал он. — Наши рабочие еще не подтянулись до всего понятия, и вам будет некрасиво нести должность.

— Не ваше дело, — ответил Прушевский.

— Нет, извините, — возразил Козлов, — каждый, как говорится, гражданин обязан нести данную ему директиву, а вы свою бросаете вниз и равняетесь на отсталость. Это никуда не годится, я пойду в инстанцию, вы нашу линию портите, вы против темпа и руководства — вот что такое!

Жачев ел деснами и молчал, предпочитая ударить сегодня же, но попозднее Козлова в живот, как рвущуюся вперед сволочь. А Вощев слышал эти слова и возгласы, лежал без звука, по-прежнему не постигая жизнь. «Лучше б я комаром родился: у него судьба быстротечна», — полагал он.

Прушевский, не говоря ничего Козлову, встал с ложа, посмотрел на знакомого ему Вощева и сосредоточился далее взглядом на спящих людях, он хотел произнести томящее его слово или просьбу, но чувство грусти, как усталость, прошло по лицу Прушевского, и он стал ухо-

дить. Шедший со стороны рассвета Чиклин сказал Прушевскому:

— Если вечером ему опять покажется страшно, то пусть приходит снова ночевать, и если чего-нибудь хочет, пусть лучше говорит.

Но Прушевский не ответил, и они молча продолжали вдвоем свою дорогу. Уныло и жарко начинался долгий день: солнце, как слепота, находилось равнодушно над низовою бедностью земли, но другого места для жизни не было дано.

— Однажды, давно, — почти еще в детстве, — сказал Прушевский, — я заметил, товарищ Чиклин, проходящую мимо меня женщину, такую же молодую, как я тогда. Дело было, наверное, в июне или июле, и с тех пор я почувствовал тоску и стал все помнить и понимать, а ее не видел и хочу еще раз посмотреть на нее. А больше уж ничего не хочу.

— В какой местности ты ее заметил? — спросил Чиклин.

— В этом же городе.

— Так она, должно быть, дочь кафельщика! — догадался Чиклин.

— Почему? — произнес Прушевский. — Я не понимаю!

— Я ее тоже встречал в июне месяце и тогда же отказался смотреть на нее. А потом, спустя срок, у меня нагрелось к ней что-то в груди, одинаково с тобой. У нас с тобой был один и тот же человек.

Прушевский скромно улыбнулся:

— Но почему же?

— Потому что я к тебе ее приведу, и ты ее увидишь, лишь бы она жила сейчас на свете!

Чиклин с точностью воображал себе горе Прушевского, потому что и он сам, хотя и более забывчиво, грустил когда-то тем же горем — по худому, чужеродному, легкому человеку, молча поцеловавшему его в левый бок лица. Значит, один и тот же редкий, прелестный предмет действовал вблизи и вдали на них обоих.

— Небось уж она пожилой теперь стала, — сказал вскоре Чиклин. — Наверно, измучилась вся, и кожа на ней стала бурая или кухарочная.

— Наверно, — подтвердил Прушевский. — Времени прошло много, и если жива еще она, то вся обуглилась.

Они остановились на краю овражного котлована, надо бы гораздо раньше начать рыть такую пропасть под об-

щий дом, тогда бы и то существо, которое понадобилось Прушевскому, пребывало здесь в целости.

— А скорей всего она теперь сознательница, — произнес Чиклин, — и действует для нашего блага: у кого в молодых летах было несчетное чувство, у того потом ум является.

Прушевский осмотрел пустой район ближайшей природы, и ему жалко стало, что его потерянная подруга и многие нужные люди обязаны жить и теряться на этой смертной земле, на которой еще не устроено уюта, и он сказал Чиклину одно огорчающее соображение.

— Но ведь я не знаю ее лица! Как же нам быть, товарищ Чиклин, когда она придет?

Чиклин ответил ему:

— Ты ее почувствуешь и узнаешь — мало ли забытых на свете! Ты вспомнишь ее по одной своей печали!

Прушевский понял, что это правда, и, побоявшись не угодить чем-нибудь Чиклину, вынул часы, чтобы показать свою заботу о близком дневном труде.

Сафронов, делая интеллигентную походку и задумчивое лицо, приблизился к Чиклину.

— Я слышал, товарищи, вы свои тенденции здесь бросали, так я вас попрошу стать попассивнее, а то время производству настает! А тебе, товарищ Чиклин, надо бы установку на Козлова взять — он на саботаж линию берет.

Козлов в то время ел завтрак в тоскующем настроении: он считал свои революционные заслуги недостаточными, а ежедневно приносимую общественную пользу — малой. Сегодня он проснулся после полуночи и до утра внимательно томился о том, что главное организационное строительство идет помимо его участия, а он действует лишь в овраге, но не в гигантском руководящем масштабе. К утру Козлов постановил для себя перейти на инвалидную пенсию, чтобы целиком отдаться наибольшей общественной пользе, — так в нем с мучением высказывалась пролетарская совесть.

Сафронов, услышав от Козлова эту мысль, счел его паразитом и произнес:

— Ты, Козлов, свой принцип заимел и покидаешь рабочую массу, а сам вылезаешь вдаль: значит, ты чужая вша, которая свою линию всегда наружу держит.

— Ты, как говорится, лучше молчи! — сказал Козлов. — А то живо на заметку попадешь!.. Помнишь, как ты подговорил одного бедняка во время самого курса на

коллективизацию петуха зарезать и съесть? Помнишь? Мы знаем, кто коллективизацию хотел ослабить! Мы знаем, какой ты четкий!

Сафронов, в котором идея находилась в окружении житейских страстей, оставил весь резон Козлова без ответа и отошел от него прочь своей свободомыслящей походкой. Он не уважал, чтобы на него подавались заявления.

Чиклин подошел к Козлову и спросил у него про все.

— Я сегодня в соцстрах пойду становиться на пенсию, — сообщил Козлов. — Хочу за всем следить против социального вреда и мелкобуржуазного бунта.

— Рабочий класс — не царь, — сказал Чиклин, — он бунтов не боится.

— Пускай не боится, — согласился Козлов. — Но все-таки лучше будет, как говорится, его постеречь.

Жачев уже был вблизи на тележке, и, откатившись назад, он разогнался вперед и ударил со всей скорости Козлова молчаливой головой в живот. Козлов упал назад от ужаса, потеряв на минуту желание наибольшей общественной пользы. Чиклин, согнувшись, поднял Жачева вместе с экипажем на воздух и зашвырнул прочь в пространство. Жачев, уравновесив движение, успел сообщить с линии полета свои слова: «За что, Никит? Я хотел, чтоб он первый разряд пенсии получил!» — и раздробил повозку между телом и землей благодаря падению.

— Ступай, Козлов! — сказал Чиклин лежачему человеку. — Мы все, должно быть, по очереди туда уйдем. Тебе уж пора отдышаться.

Козлов, опомнившись, заявил, что он видит в ночных снах начальника Цустраха товарища Романова и разное общество чисто одетых людей, так что волнуется всю эту неделю.

Вскоре Козлов оделся в пиджак, и Чиклин совместно с другими очистил его одежду от земли и приставшего сора. Сафронов управился принести Жачева и, свалив его изнемогшее тело в угол барака, сказал:

— Пускай это пролетарское вещество здесь полежит — из него какой-нибудь принцип вырастет.

Козлов дал всем свою руку и пошел становиться на пенсию.

— Прощай, — сказал ему Сафронов, — ты теперь как передовой ангел от рабочего состава, ввиду вознесения его в служебные учреждения...

Козлов и сам умел думать мысли, поэтому безмолвно

отошел в высшую общеполезную жизнь, взяв в руку свой имущественный сундучок.

В ту минуту за оврагом, по полю, мчался один человек, которого еще нельзя было разглядеть и остановить; его тело отощало внутри одежды, и штаны колебались на нем, как порожние. Человек добежал до людей и сел отдельно на земляную кучу, как всем чужой. Один глаз он закрыл, а другим глядел на всех, ожидая худого, но не собираясь жаловаться; глаз его был хуторского, желтого цвета, оценивающий всю видимость со скорбью экономии.

Вскоре человек вздохнул и лег дремать на животе. Ему никто не возражал здесь находиться, потому что мало ли кто еще живет без участия в строительстве, — и уже настало время труда в овраге.

Разные сны представляются трудящемуся по ночам — одни выражают исполненную надежду, другие предчувствуют собственный гроб в глинистой могиле; но дневное время проживается одинаковым, сгорбленным способом — терпеньем тела, роющего землю, чтобы посадить в свежую пропасть вечный, каменный корень неразрушимого зодчества.

Новые землекопы постепенно обжились и привыкли работать. Каждый из них придумал себе идею будущего спасения отсюда — один желал нарастить стаж и уйти учиться, второй ожидал момента для переквалификации, третий же предпочитал пройти в партию и скрыться в руководящем аппарате, — и каждый с усердием рыл землю, постоянно помня эту свою идею спасения.

Пашкин посещал котлован через день и по-прежнему находил темп тихим. Обыкновенно он приезжал верхом на коне, так как экипаж продал в эпоху режима экономии, и теперь наблюдал со спины животного великое рытье. Однако Жачев присутствовал тут же и сумел во время пеших отлучек Пашкина в глубь котлована опоить лошадь так, что Пашкин стал беречься ездить всадником и прибывал на автомобиле.

Вощев, как и раньше, не чувствовал истины жизни, но смирился от истощения тяжелым грунтом и только собирал в выходные дни всякую несчастную мелочь природы как документы бесплапового создания мира, как факты меланхолии любого живущего дыхания.

И по вечерам, которые теперь были темнее и дольше, стало скучно жить в бараке. Мужик с желтыми глазами, что прибежал откуда-то из полевой страны, жил также среди артели: он находился там безмолвно, но искупал свое существование женской работой по общему хозяйству вплоть до прилежащего ремонта истертой одежды. Сафронов уже рассуждал про себя: не пора ли проводить этого мужика в союз как обслуживающую силу, но не знал, сколько скотины у него в деревне на дворе и отсутствуют ли батраки, поэтому задерживал свое намерение.

По вечерам Вощев лежал с открытыми глазами и тосковал о будущем, когда все станет общеизвестным и помещенным в скупое чувство счастья. Жачев убеждал Вощева, что его желание безумное, потому что вражья имущая сила вновь происходит и загораживает свет жизни, надо лишь сберечь детей как нежность революции и оставить им наказ.

— А что, товарищи, — сказал однажды Сафронов, — не поставить ли нам радио для заслушиванья достижений и директив! У нас есть здесь отсталые массы, которым полезна была бы культурная революция и всякий музыкальный звук, чтоб они не скопляли в себе темное настроение!

— Лучше девочку-сиротку привести за ручку, чем твое радио, — возразил Жачев.

— А какие, товарищ Жачев, заслуги или поученье в твоей девочке? Чем она мучается для возведения всего строительства?

— Она сейчас сахару не ест для твоего строительства, вот чем она служит, единогласная душа из тебя вон! — ответил Жачев.

— Ага, — вынес мнение Сафронов, — тогда, товарищ Жачев, доставать нам на своем транспорте эту жалобную девочку, мы от ее мелодичного вида начнем более согласованно жить.

И Сафронов остановился перед всеми в положении вождя ликбеза и просвещения, а затем прошелся убежденной походкой и сделал активно мыслящее лицо.

— Нам, товарищи, необходимо здесь иметь в форме детства лидера будущего пролетарского света: в этом товарищ Жачев оправдал то положение, что у него голова цела, а ног нету.

Жачев хотел сказать Сафронову ответ, но предпочел

притянуть к себе за штанину ближнего хуторского мужика и дать ему развитой рукой два удара в бок, как наличному виноватому буржую. Желтые глаза мужика только зажмурились от муки, но сам он не сделал себе никакой защиты и молча стоял на земле.

— Ишь ты, железный инвентарь какой — стоит и не боится, — рассердился Жачев и снова ударил мужика с навеса длинной рукой. — Значит, ему, ехидному, где-то еще больней было, а у нас прелесть: чуй, чья власть, коровий супруг!

Мужик сел вниз для отдышки. Он уже привык получать от Жачева удары за свою собственность в деревне и неслышно превозмогал боль.

— Вот еще надлежало бы и товарищу Вощеву приобрести от Жачева карающий удар, — сказал Сафронов. — А то он один среди пролетариата не знает, для чего ему жить.

— А для чего, товарищ Сафронов? — прислушался Вощев издали сарая. — Я хочу истину для производительности труда.

Сафронов изобразил рукой жест нравоучения, и на лице его получилась морщинистая мысль жалости к отсталому человеку.

— Пролетариат живет для энтузиазма труда, товарищ Вощев! Пора бы тебе получить эту тенденцию. У каждого члена союза от этого лозунга должно тело гореть!

Чиклина не было, он ходил по местности вокруг кафельного завода. Все находилось в прежнем виде, только приобрело ветхость отживающего мира; уличные деревья рассыхались от старости и стояли давно без листьев, но кто-то существовал еще, притаившись за двойными рамами в маленьких домах, живя прочней дерева. В молодости Чиклина здесь пахло пекарней, ездили угольщики и громко пропагандировалось молоко с деревенских телег. Солнце детства нагревало тогда пыль дорог, и своя жизнь была вечностью среди синей, смутной земли, которой Чиклин лишь начинал касаться босыми ногами. Теперь же воздух ветхости и прощальной памяти стоял над потухшей пекарней и постаревшими яблоневыми садами.

Непрерывно действующее чувство жизни Чиклина доводило его до печали тем более, что он увидел один забор, у которого сидел и радовался в детстве, а сейчас тот забор заиндевел мхом, наклонился, и давние гвозди тор-

чали из него, освобождаемые из тесноты древесины силой времени: это было грустно и таинственно, что Чиклин мужал, забывчиво тратил чувство, ходил по далеким местам и разнообразно трудился: а старик забор стоял неподвижно и, помня о нем, все же дождался часа, когда Чиклин прошел мимо него и погладил забвенные всеми тесины отвыкшей от счастья рукой.

Кафельный завод был в травянистом переулке, по которому насквозь никто не проходил, потому что он упирался в глухую стену кладбища. Здание завода теперь стало ниже, ибо постепенно врастало в землю, и безлюдно было на его дворе. Но один неизвестный старичок еще находился здесь — он сидел под навесом для сырья и чинил лапти, видно, собираясь отправляться в них обратно в старину.

— Что ж тут такое есть? — спросил у него Чиклин.

— Тут, дорогой человек, констервация — советская власть сильна, а здешняя машина тщедушна, она и не угождает. Да мне теперь почти что все равно: уж самую малость осталось дышать.

Чиклин сказал ему:

— Изо всего света тебе одни лапти пришлись! Подожди меня здесь на одном месте, я тебе что-нибудь доставлю из одежды или питанья.

— А ты сам-то кто же будешь? — спросил старик, складывая для внимательного выраженья свое чтущее лицо. — Жулик, что ль, иль просто хозяин-буржуй?

— Да я из пролетариата, — нехотя сообщил Чиклин.

— Ага, стало быть, ты нынешний царь: тогда я тебя обожду.

С силой стыда и грусти Чиклин вошел в старое здание завода: вскоре он нашел и ту деревянную лесенку, на которой некогда его поцеловала хозяйская дочь, — лесенка так обветшала, что обвалилась от веса Чиклина куда-то в нижнюю темноту и он мог на последнее прощанье только пощупать ее истомленный прах. Постояв в темноте, Чиклин увидел в ней неподвижный, чуть живущий свет и куда-то ведущую дверь. За тою дверью находилось забытое или не внесенное в план помещение без окон и там горела на полу керосиновая лампа.

Чиклину было неизвестно, какое существо притаилось для своей сохранности в этом безвестном убежище, и он стал на месте посреди.

Около лампы лежала женщина на земле, солома уже

истерлась под ее телом, а сама женщина была почти непокрытая одеждой; глаза ее глубоко смежились, точно она томилась или спала, и девочка, которая сидела у ее головы, тоже дремала, но все время водила по губам матери коркой лимона, не забывая об этом. Очнувшись, девочка заметила, что мать успокоилась, потому что нижняя челюсть ее отвалилась от слабости и разверзла беззубый темный рот; девочка испугалась своей матери и, чтобы не бояться, подвязала ей рот веревочкой через темя, так что уста женщины вновь сомкнулись. Тогда девочка прилегла к лицу матери, желая чувствовать ее и спать. Но мать легко пробудилась и сказала:

— Зачем же ты спишь? Мажь мне лимоном по губам, ты видишь, как мне трудно.

Девочка опять начала водить лимонной коркой по губам матери. Женщина на время замерла, ощущая свое питание из лимонного остатка.

— А ты не заснешь и не уйдешь от меня? — спросила она у дочери.

— Нет, я уж спать теперь расхотела. Я только глаза закрою, а думать все время буду о тебе: ты же моя мама ведь!

Мать приоткрыла свои глаза, они были подозрительные, готовые ко всякой беде жизни, уже побелевшие от равнодушия, и она произнесла для своей защиты:

— Мне теперь стало тебя не жалко и никого не нужно, я стала как каменная, потуши лампу и поверни меня на бок, я хочу умереть.

Девочка сознательно молчала, по-прежнему смачивая материнский рот лимонной шкуркой.

— Туши свет, — сказала старая женщина, — а то я все вижу тебя и живу. Только не уходи никуда, когда я умру, тогда пойдешь.

Девочка дунула в лампу и потушила свет. Чиклин сел на землю, боясь шуметь.

— Мама, ты жива еще или уже тебя нет? — спросила девочка в темноте.

— Немножко, — ответила мать. — Когда будешь уходить от меня, не говори, что я мертвая здесь осталась. Никому не рассказывай, что ты родилась от меня, а то тебя заморят. Уйди далеко-далеко отсюда и там сама позабудься, тогда ты будешь жива...

— Мама, а отчего ты умираешь — оттого, что буржуйка или от смерти?..

— Мне стало скучно, я уморилась, — сказала мать.

— Потому что ты родилась давно-давно, а я нет, — говорила девочка. — Как ты только умрешь, то я никому не скажу, и никто не узнает, была ты или нет. Только я одна буду жить и помнить тебя в своей голове... знаешь что, — помолчала она, — я сейчас засну на одну только каплю, даже на полкапли, а ты лежи и думай, чтоб не умереть.

— Сними с меня твою веревочку, — сказала мать, — она меня задушит.

Но девочка уже неслышно спала, и стало вовсе тихо: до Чиклина не доходило даже их дыхания. Ни одна тварь, видно, не жила в этом помещении — ни крыса, ни червь, ничто, — не раздавалось никакого шума. Только раз был непонятный гул — упал ли то старый кирпич в соседнем забвенном убежище или грунт перестал терпеть вечность и разваливался в мелочь уничтожения.

— Подойдите ко мне кто-нибудь!

Чиклин вслушался в воздух и пополз осторожно во мрак, стараясь не раздавить девочку на ходу. Двигаться Чиклину пришлось долго, потому что ему мешал какой-то материал, попадавшийся по пути. Ощупав голову девочки, Чиклин дошел затем рукой до лица матери и наклонился к ее устам, чтобы узнать — та ли это бывшая девушка, которая целовала его однажды в этой же усадьбе, или нет. Поцеловав, он узнал по сухому вкусу губ и ничтожному остатку нежности в ее спекшихся трещинах, что она та самая.

— Зачем мне нужно? — понятливо сказала женщина. — Я буду всегда теперь одна. — И, повернувшись, умерла лицом вниз.

— Надо лампу зажечь, — громко произнес Чиклин и, потрудившись в темноте, осветил помещение.

Девочка спала, положив голову на живот матери; она сжалась от прохладного подземного воздуха и согревалась в тесноте своих членов. Чиклин, желая отдыха ребенку, стал ждать его пробуждения, а чтобы девочка не тратила свое тепло на остывающую мать, он взял ее к себе на руки и так сохранял до утра, как последний жалкий остаток погибшей женщины.

В начале осени Вощев почувствовал долготу времени и сидел в жилище, окруженный темнотой усталых вечеров.

Другие люди тоже либо лежали, либо сидели — общая лампа освещала их лица, и все они молчали. Товарищ Пашкин бдительно спабдил жилище землекопов радиорупором, чтобы во время отдыха каждый мог приобретать смысл классовой жизни из трубы.

— Товарищи, мы должны мобилизовать крапиву на фронт социалистического строительства! Крапива есть не что иное, как предмет нужды заграницы...

— Товарищи, мы должны, — ежеминутно произносила требование труба, — обрезать хвосты и гривы у лошадей! Каждые восемьдесят тысяч лошадей дадут нам тридцать тракторов!..

Сафронов слушал и торжествовал, жалея лишь, что он не может говорить обратно в трубу, дабы там слышно было об его чувстве активности, готовности на стрижку лошадей и о счастье. Жачеву же, и наравне с ним Вощеву, становилось беспричинно стыдно от долгих речей по радио, им ничего не казалось против говорящего и наставляющего, а только все более ощущался личный позор. Иногда Жачев не мог стерпеть своего угнетенного отчаяния души, и он кричал среди шума сознания, льющегося из рупора:

— Остановите этот звук! Дайте мне ответить на него!..

Сафронов сейчас же выступал вперед своей изящной походкой.

— Вам, товарищ Жачев, я полагаю, уже достаточно бросать свои выраженья и пора всецело подчиниться производству руководства.

— Оставь, Сафронов, в покое человека, — говорил Вощев, — нам и так скучно жить.

Но социалист Сафронов боялся забыть про обязанность радости и отвечал всем и навсегда верховным голосом могущества:

— У кого в штанах лежит билет партии, тому надо беспрерывно заботиться, чтоб в теле был энтузиазм труда. Вызываю вас, товарищ Вощев, соревноваться на высшее счастье настроенья!

Труба радио все время работала, как вьюга, а затем еще раз провозгласила, что каждый трудящийся должен помочь скоплению снега на коллективных полях, и здесь радио смолкло: наверно, лопнула сила науки, дотоле равнодушно мчавшая по природе всем необходимые слова.

Сафронов, заметив пассивное молчание, стал действовать вместо радио:

— Поставим вопрос: откуда взялся русский народ? И ответим: из буржуазной мелочи! Он бы и еще откуда-нибудь родился, да больше места не было. А потому мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм!..

Не имея исхода для силы своего ума, Сафронов пускал ее в слова и долго их говорил. Опершись головами на руки, иные его слушали, чтоб наполнять этими звуками пустую тоску в голове, иные же однообразно горевали, не слыша слов и живя в своей личной тишине. Прушевский сидел на самом пороге барака и смотрел в поздний вечер мира. Он видел темные деревья и слышал иногда дальнюю музыку, волнующую воздух. Прушевский ничему не возражал своим чувством. Ему казалась жизнь хорошей, когда счастье недостижимо, и о нем лишь шелестят деревья и поет духовная музыка в профсоюзном саду.

Вскоре вся артель, смирившись общим утомлением, уснула, как жила в дневных рубашках и верхних штанах, чтобы не трудиться над расстегиванием пуговиц, а хранить силы для производства.

Один Сафронов остался без сна. Он глядел на лежащих людей и с горестью высказывался:

— Эх ты, масса, масса. Трудно организовать из тебя скелет коммунизма! И что тебе надо? Стерве такой? Ты весь авангард, гадина, замучила!

И, четко сознавая бедную отсталость масс, Сафронов прильнул к какому-то уставшему и забылся в глуши сна.

А утром он, не вставая с ложа, приветствовал девочку, пришедшую с Чиклиным, как элемент будущего и затем снова задремал.

Девочка осторожно села на скамью, разглядела среди стенных лозунгов карту СССР и спросила у Чиклина про черты меридианов:

— Дядя, это что такое — загородки от буржуев?

— Загородки, дочка, чтобы они к нам не перелезали, — объяснил Чиклин, желая дать ей революционный ум.

— А моя мама через загородку не перелезала, а все равно умерла!

— Ну так что ж, — сказал Чиклин. — Буржуйки все теперь умирают.

— Пускай умирают, — произнесла девочка. — Ведь все равно я ее помню и во сне буду видеть. Только живота ее нету, мне спать не на чем головой.

— Ничего, ты будешь спать на моем животе, — обещал Чиклин.

— А что лучше — ледокол «Красин» или Кремль?

— Я этого, маленькая, не знаю: я же — ничто! — сказал Чиклин и подумал о своей голове, которая одна во всем теле не могла чувствовать, а если бы могла, то он весь свет объяснил бы ребенку, чтоб он умел безопасно жить.

Девочка обошла новое место своей жизни и пересчитала все предметы и всех людей, желая сразу же распределить, кого она любит и кого не любит, с кем водится и с кем нет; после этого дела она уже привыкла к деревянному сараю и захотела есть.

— Кушать дайте! Эй, Юлия, угроблю!

Чиклин поднес ей кашу и накрыл детское брюшко чистым полотенцем.

— Что ж кашу холодную даешь, эх ты, Юлия!

— Какая я тебе Юлия?

— А когда мою маму Юлией звали, когда она еще глазами смотрела и дышала все время, то женилась на Мартыныче, потому что он был пролетарский, а Мартыныч, как приходит, так и говорит маме: эй, Юлия, угроблю! А мама молчит и все равно с ним водится.

Прушевский слушал и наблюдал девочку: он давно уже не спал, встревоженный явившимся ребенком и вместе с тем опечаленный, что этому существу, наполненному, точно морозом, свежей жизнью, надлежит мучиться сложнее и дольше его.

— Я нашел твою девушку, — сказал Чиклин Прушевскому. — Пойдем смотреть ее, она еще цела.

Прушевский встал и пошел, потому что ему было все равно — лежать или двигаться вперед.

На дворе кафельного завода старик доделал свои лапти, но боялся идти по свету в такой обуже.

— Вы не знаете, товарищи, что, заарестуют меня в лаптях иль не тронут? — спросил старик. — Нынче ведь каждый последний и тот в кожаных голенищах ходит: бабы сроду в юбках наголо ходили, а теперь уже тоже у каждой под юбкой цветочные штаны надеты, ишь ты, как ведь стало интересно!

— Кому ты нужен! — сказал Чиклин. — Шагай себе молча.

— Это я и слова не скажу! Я вот чего боюсь: ага, скажут, ты в лаптях идешь, значит — бедняк! А ежели бедняк, то почему один живешь и с другими бедными не скопляешься!.. Я вот чего боюсь! А то бы я давно ушел.

— Подумай, старик, — посоветовал Чиклин.

— Да думать-то уже нечем.

— Ты жил долго: можешь одной памятью работать.

— А я все уже позабыл, хоть сызнова живи.

Спустившись в убежище женщины, Чиклин наклонился и поцеловал ее вновь.

— Она же мертвая! — удивился Прушевский.

— Ну и что ж! — сказал Чиклин. — Каждый человек мертвым бывает, если его замучивают. Она ведь тебе нужна не для житья, а для одного воспоминания.

Став на колени, Прушевский коснулся мертвых, огорченных губ женщины и, почувствовав их, не узнал ни радости, ни нежности.

— Это не та, которую я видел в молодости, — произнес он. И, поднявшись над погибшей, сказал еще: — А может быть, и та, после близких ощущений я всегда не узнавал своих любимых, а вдалеке томился о них.

Чиклин молчал. Он и в чужом и в мертвом человеке чувствовал кое-что остаточно-теплое и родственное, когда ему приходилось целовать его или еще глубже как-либо проникать к нему.

Прушевский не мог отойти от покойной. Легкая и горячая, она некогда прошла мимо него — он захотел тогда себе смерти, увидя ее уходящей с опущенными глазами, ее колеблющееся грустное тело. И затем слушал ветер в унылом мире и тосковал о ней. Побоявшись однажды настигнуть эту женщину, это счастье в его юности, он, может быть, оставил ее беззащитной на всю жизнь, и она, уморившись мучиться, спряталась сюда, чтобы погибнуть от голода и печали. Она лежала сейчас навзничь — так ее повернул Чиклин для своего поцелуя, — веревочка через темя и подбородок держала ее уста сомкнутыми, длинные, обнаженные ноги были покрыты густым пухом, почти шерстью, выросшей от болезней и бесприютности — какая-то древняя, ожившая сила превращала мертвую еще при ее жизни в обрастающее шкурой животное.

— Ну, достаточно, — сказал Чиклин. — Пусть хра-

нят ее здесь разные мертвые предметы. Мертвых ведь тоже много, как и живых, им не скучно меж собой.

И Чиклин погладил стенные кирпичи, поднял неизвестную устарелую вещь, положил ее рядом со скончавшейся, и оба человека вышли. Женщина осталась лежать в том вечном возрасте, в котором умерла.

Пройдя двор, Чиклин возвратился назад и завалил дверь, ведущую к мертвой, битым кирпичом, старыми каменными глыбами и прочим тяжелым веществом. Прушевский не помогал ему и спросил потом:

— Зачем ты стараешься?

— Как зачем? — удивился Чиклин. — Мертвые тоже люди.

— Но ей ничего не нужно.

— Ей нет, но она мне нужна. Пусть сэкономится что-нибудь от человека — мне так и чувствуется, когда я вижу горе мертвых или их кости, зачем мне жить!

Старик, делавший лапти, ушел со двора — одни опорки как память о скрывшемся навсегда валялись на его месте.

Солнце уже высоко взошло, и давно настал момент труда. Поэтому Чиклин и Прушевский спешно пошли на котлован по земляным, немощеным улицам, осыпанным листьями, под которыми были укрыты и согревались семена будущего лета.

Вечером того же дня землекопы не пустили в действие громкоговорящий рупор, а, наевшись, сели глядеть на девочку, срывая тем профсоюзную культработу по радио. Жачев еще с утра решил, что как только эта девочка и ей подобные дети мало-мало возмужают, то он кончит всех больших жителей своей местности; он один знал, что в СССР немало населено сплошных врагов социализма, эгоистов и ехидн будущего света, и втайне утешался тем, что убьет когда-нибудь вскоре всю их массу, оставив в живых лишь пролетарское младенчество и чистое сиротство.

— Ты кто ж такая будешь, девочка? — спросил Сафронов. — Чем у тебя папаша-мамаша занимались?

— Я никто, — сказала девочка.

— Отчего же ты никто? Какой-нибудь принцип женского рода угодил тебе, что ты родилась при советской власти?

— А я сама не хотела рожаться, я боялась — мать буржуйкой будет.

— Так как же ты организовалась?

Девочка в стеснении и в боязни опустила голову и начала щипать свою рубашку; она ведь знала, что присутствует в пролетариате, и сторожила сама себя, как давно и долго говорила ей мать.

— А я знаю, кто главный.

— Кто же? — прислушался Сафронов.

— Главный — Ленин, а второй — Буденный. Когда их не было, а жили одни буржуи, то я и не рожалась, потому что не хотела. А как стал Ленин, так и я стала!

— Ну, девка, — смог проговорить Сафронов. — Сознательная женщина — твоя мать! И глубока наша советская власть, раз даже дети, не помня матери, уже чуют товарища Ленина!

Безвестный мужик с желтыми глазами скулил в углу барака про одно и то же свое горе, только не говорил, отчего оно, а старался побольше всем угождать. Его тоскливому уму представлялась деревня во ржи, и над нею носился ветер и тихо крутил деревянную мельницу, размалывающую насущный, мирный хлеб. Он жил так в недавнее время, чувствуя сытость в желудке и семейное счастье в душе; и сколько годов он ни смотрел из деревни вдаль и в будущее, он видел на конце равнины лишь сияние неба с землею, а над собою имел достаточный свет солнца и звезд.

Чтобы не думать дальше, мужик ложился вниз и как можно скорее плакал льющимися неотложными слезами.

— Будет тебе сокрушаться-то, мещанин! — останавливал его Сафронов. — Ведь здесь ребенок теперь живет, иль ты не знаешь, что скорбь у нас должна быть аннулирована!

— Я, товарищ Сафронов, уж обсох, — заявил издали мужик. — Это я по отсталости растрогался.

Девочка вышла с места и оперлась головой о деревянную стену. Ей стало скучно по матери, ей страшна была новая одинокая ночь, и еще она думала, как грустно и долго лежать матери в ожидании, когда будет старенькой и умрет ее девочка.

— Где же живот-то? — спросила она, обернувшись на глядящих на нее. — На чем же я спать буду?

Чиклин сейчас же лег и приготовился.

— А кушать? — сказала девочка. — Сидят все, как Юлии какие, а мне есть нечего!

Жачев подкатился к ней на тележке и предложил фруктовой пастилы, реквизированной еще с утра у заведующего продмагом.

— Ешь, бедная! Из тебя еще неизвестно что будет, а из нас — уже известно.

Девочка съела и легла лицом на живот Чиклина. Она побледнела от усталости и, позаботившись, обхватила Чиклина рукой, как привычную мать.

Сафронов, Вощев и все другие землекопы долго наблюдали сон этого малого существа, которое будет господствовать над их могилами и жить на успокоенной земле, набитой их костьми.

— Товарищи! — начал определять Сафронов всеобщее чувство. — Перед нами лежит без сознания фактический житель социализма. Из радио и прочего культурного материала мы слышим лишь линию, а щупать нечего. А тут покоится вещество создания и целевая установка партии — маленький человек, предназначенный состоять всемирным элементом! Ради того нам необходимо как можно внезапней закончить котлован, чтобы скорей произошел дом и детский персонал огражден был от ветра и простуды каменной стеной!

Вощев попробовал девочку за руку и рассмотрел ее всю, как в детстве он глядел на ангела на церковной стене; это слабое тело, покинутое без родства среди людей, почувствует когда-нибудь согревающий поток смысла жизни, и ум ее увидит время, подобное первому исконному дню.

И здесь решено было начать завтра рыть землю на час раньше, дабы приблизить срок бытовой кладки и остального зодчества.

— Как урод я только приветствую ваше мнение, а помочь не могу! — сказал Жачев. — Вам ведь так и так все равно погибать — у вас же в сердце не лежит ничто, лучше любите что-нибудь маленькое, живое и отравливайте себя трудом. Существуйте пока что!

Ввиду прохладного времени Жачев заставил мужика снять армяк и одел им ребенка на ночь; мужик же всю свою жизнь копил капитализм — ему, значит, было время греться.

Дни своего отдыха Прушевский проводил в наблюдениях либо писал письма сестре. Момент, когда он наклеивал марку и опускал письмо в ящик, всегда давал ему спокойное счастье, точно он чувствовал чью-то нужду по

себе, влекшую его оставаться в жизни и тщательно действовать для общей пользы.

Сестра ему ничего не писала, она была многодетная и изможденная и жила как в беспамятстве. Лишь раз в год, на пасху, она присылала брату открытку, где сообщала: «Христос воскресе, дорогой брат! Мы живем по-старому, я стряпаю, дети растут, мужу прибавили на один разряд, теперь он приносит 48 рублей. Приезжай к нам гостить. Твоя сестра Аня».

Прушевский подолгу носил эту открытку в кармане и, перечитывая ее, иногда плакал.

В свои прогулки он уходил далеко, в одиночестве. Однажды он остановился на холме, в стороне от города и дороги. День был мутный, неопределенный, будто время не продолжалось дальше — в такие дни дремлют растения и животные, а люди понимают родителей. Прушевский тихо глядел на всю туманную старость природы и видел на конце ее белые спокойные здания, светящиеся больше, чем было света в воздухе. Он не знал имени тому законченному строительству и назначению его, хотя можно было понять, что те дальние здания устроены не только для пользы, но и для радости. Прушевский с удивлением привыкшего к печали человека наблюдал точную нежность и охлажденную, сомкнутую силу отдаленных монументов. Он еще не видел такой веры и свободы в сложенных камнях и не знал самосветящегося закона для серого цвета своей родины. Как остров, стоял среди остального новостроящегося мира этот белый сюжет сооружений и успокоенно светился. Но не все было бело в тех зданиях — в иных местах они имели синий, желтый и зеленый цвета, что придавало им нарочную красоту детского изображения. «Когда же это выстроено?» — с огорчением сказал Прушевский. Ему уютней было чувствовать скорбь на земной потухшей звезде: чужое и дальнее счастье возбуждало в нем стыд и тревогу — он бы хотел, не сознавая, чтобы вечно строящийся и недостроенный мир был похож на его разрушенную жизнь.

Он еще раз пристально посмотрел на тот новый город, не желая ни забыть его, ни ошибиться, но здания стояли по-прежнему ясными, точно вокруг них была не муть родного воздуха, а прохладная прозрачность.

Возвращаясь назад, Прушевский заметил много женщин на городских улицах. Женщины ходили медленно,

несмотря на свою молодость, они, наверное, гуляли и ожидали звездного вечера.

На рассвете в контору пришел Чиклин с неизвестным человеком, одетым в одни штаны.

— Вот к тебе, Прушевский, — сказал Чиклин. — Он просит отдать гробы ихней деревне.

— Какие гробы?

Громадный, опухший от ветра и горя голый человек сказал не сразу свое слово, он спачала опустил голову и напряженно соображал. Должно быть, он постоянно забывал помнить про самого себя и про свои заботы: то ли он утомился или же умирал по мелким частям на ходу жизни.

— Гробы! — сообщил он горячим, шерстяным голосом. — Гробы тесовые мы в пещеру сложили впрок, а вы копаете всю балку. Отдай гробы!

Чиклин сказал, что вчера вечером близ северного пикета на самом деле было отрыто сто пустых гробов: два из них он забрал для девочки — в одном гробу сделал ей постель на будущее время, когда она станет спать без его живота, а другой подарил ей для игрушек и всякого детского хозяйства: пусть она тоже имеет свой красный уголок.

— Отдайте мужику остальные гробы, — ответил Прушевский.

— Все отдавай, — сказал человек. — Нам не хватает мертвого инвентаря, народ свое имущество ждет. Мы те гробы по самообложению заготовили, не отымай нажитого!

— Нет, — произнес Чиклин. — Два гроба ты оставь нашему ребенку, они для вас все равно маломерные.

Неизвестный человек постоял, что-то подумал и не согласился:

— Нельзя! Куда ж мы своих ребят класть будем! Мы по росту готовили гробы: на них метины есть — кому куда влезать. У нас каждый и живет оттого, что гроб свой имеет: он нам теперь цельное хозяйство! Мы те гробы облеживали, как в пещеру зарыть.

Давно живущий на котловане мужик с желтыми глазами вошел, поспешая в контору.

— Елисей, — сказал он полуголому. — Я их тесемками в один обоз связал, пойдем волоком тащить, пока сушь стоит!

— Не устерег двух гробов, — высказался Елисей. — Во что теперь сам ляжешь?

— А я, Елисей Саввич, под кленом дубравным у себя во дворе, под могучее дерево лягу. Я уж там и ямку под корнем себе уготовил, помру — пойдет моя кровь соком по стволу, высоко взойдет! Иль, скажешь, моя кровь жидка стала, дереву не вкусна?

Полуголый стоял без всякого впечатления и ничего не ответил. Не замечая подорожных камней и остужающего ветра зари, он пошел с мужиком брать гробы. За ними отправился Чиклин, наблюдая спину Елисея, покрытую целой почвой нечистот и уже обрастающую защитной шерстью. Елисей изредка останавливался на месте и оглядывал пространство сонными, опустевшими глазами, будто вспоминая забытое или ища укромной доли для угрюмого покоя. Но родина ему была безвестной, и он опускал вниз затихшие глаза.

Гробы стояли длинной чередой на сухой высоте над краем котлована. Мужик, прибежавший прежде в барак, был рад, что гробы нашлись и что Елисей явился: он уже управился пробурить в гробовых изголовьях и подножьях отверстия и связать гробы в общую супрягу. Взявши конец веревки с переднего гроба на плечо, Елисей уперся и поволок, как бурлак, эти тесовые предметы по сухому морю житейскому. Чиклин и вся артель стояли без препятствий Елисею и смотрели на след, который межевали пустые гробы по земле.

— Дядя, это буржуи были? — заинтересовалась девочка, державшаяся за Чиклина.

— Нет, дочка, — ответил Чиклин. — Они живут в соломенных избушках, сеют хлеб и едят с нами пополам.

Девочка поглядела наверх, на все старые лица людей.

— А зачем им тогда гробы? Умирать должны одни буржуи, а бедные нет!

Землекопы промолчали, еще не сознавая данных, чтобы говорить.

— И один был голый! — произнесла девочка. — Одежду всегда отбирают, когда людей не жалко, чтоб она осталась. Моя мама тоже голая лежит.

— Ты права, дочка, на все сто процентов, — решил Сафронов. — Два кулака от нас сейчас удалились.

— Убей их пойди! — сказала девочка.

— Не разрешается, дочка: две личности — это не класс...

— Это один да еще один, — сочла девочка.

— А в целости их было мало, — пожалел Сафронов. — Мы же, согласно пленуму, обязаны их ликвидировать не меньше как класс, чтобы весь пролетариат и батрачье сословие осиротели от врагов!

— А с кем останетесь?

— С задачами, с твердой линией дальнейших мероприятий, понимаешь что?

— Да, — ответила девочка. — Это значит плохих людей всех убивают, а то хороших очень мало.

— Ты вполне классовое поколение, — обрадовался Сафронов, — ты с четкостью сознаешь все отношения, хотя сама еще малолеток. Это монархизму люди без разбору требовались для войны, а нам только один класс дорог, да мы и класс свой будем скоро чистить от несознательного элемента.

— От сволочи, — с легкостью догадалась девочка. — Тогда будут только самые-самые главные люди! Моя мама себя тоже сволочью называла, что жила, а теперь умерла и хорошая стала, правда ведь?

— Правда, — сказал Чиклин.

Девочка, вспомнив, что мать ее находится одна в темноте, молча отошла, ни с кем не считаясь, и села играть в песок. Но она не играла, а только трогала кое-что равнодушной рукой и думала.

Землекопы приблизились к ней и, пригнувшись, спросили:

— Ты что?

— Так, — сказала девочка, не обращая внимания. — Мне у вас стало скучно, вы меня не любите, как ночью заснете, так я вас изобью.

Мастеровые с гордостью поглядели друг на друга, и каждому из них захотелось взять ребенка на руки и помять его в своих объятиях, чтобы почувствовать то теплое место, откуда исходит этот разум и прелесть малой жизни.

Один Вощев стоял слабым и безрадостным, механически наблюдая даль: он по-прежнему не знал, есть ли что особенное в общем существовании, ему никто не мог прочесть на память всемирного устава, события же на поверхности земли его не прельщали. Отдалившись несколько, Вощев тихим шагом скрылся в поле и там

прилег полежать, не видимый никем, довольный, что он больше не участник безумных обстоятельств.

Позже он нашел след гробов, увлеченных двумя мужиками за горизонт в свой край согбенных плетней, заросших лопухами. Быть может, там была тишина дворовых теплых мест или стояло на ветру дорог бедняцкое колхозное сиротство с кучей мертвого инвентаря посреди. Вощев пошел туда походкой механически выбывшего человека, не сознавая, что лишь слабость культработы на котловане заставляет его не жалеть о строительстве будущего дома. Несмотря на достаточно яркое солнце, было как-то нерадостно на душе, тем более что в поле простирался мутный чад дыханья и запаха трав. Он осмотрелся вокруг — всюду над пространством стоял пар живого дыханья, создавая сонную, душную незримость, устало длилось терпенье на свете, точно все живущее находилось где-то посредине времени и своего движения: начало его всеми забыто, и конец неизвестен, осталось лишь направление. И Вощев ушел в одну открытую дорогу.

Козлов прибыл на котлован пассажиром в автомобиле, которым управлял сам Пашкин. Козлов был одет в светло-серую тройку, имел пополневшее от какой-то постоянной радости лицо и стал сильно любить пролетарскую массу. Всякий свой ответ трудящемуся человеку он начинал некими самодовлеющими словами: «Ну хорошо, ну прекрасно» — и продолжал. Про себя же любил произносить: «Где вы теперь, ничтожная фашистка!» И многие другие краткие лозунги-песни.

Сегодня утром Козлов ликвидировал как чувство свою любовь к одной средней даме. Она тщетно писала ему письма о своем обожании, он же, превозмогая общественную нагрузку, молчал, заранее отказываясь от конфискации ее ласк, потому что искал женщину более благородного, активного типа. Прочитав же в газете о загруженности почты и нечеткости ее работы, он решил укрепить этот сектор социалистического строительства путем прекращения дамских писем к себе. И он написал даме последнюю итоговую открытку, складывая с себя ответственность любви:

Где раньше стол был яств,
Теперь там гроб стоит!
Козлов

Этот стих он только что прочитал и спешил его не забыть. Каждый день, просыпаясь, он вообще читал в постели книги, и, запомнив формулировки, лозунги, стихи, заветы, всякие слова мудрости, тезисы различных актов, резолюций, строфы песен и прочее, он шел в обход органов и организаций, где его знали и уважали как активную общественную силу, — и там Козлов пугал и так уже напуганных служащих своей научностью, кругозором и подкованностью. Дополнительно к пенсии по первой категории он обеспечил себе и натурное продовольствие.

Зайдя однажды в кооператив, он подозвал к себе, не трогаясь с места, заведующего и сказал ему:

— Ну хорошо, ну прекрасно, но у вас кооператив, как говорится, рочдэлльского вида, а не советского! Значит, вы не столб со столбовой дороги в социализм?!

— Я вас не сознаю, гражданин, — скромно ответил заведующий.

— Так, значит, опять: просил он, пассивный, не счастья у неба, а хлеба насущного, черного хлеба! Ну хорошо, ну прекрасно! — сказал Козлов и вышел в полном оскорблении, а через одну декаду стал председателем лавкома этого кооператива. Он так и не узнал, что эту должность получил по ходатайству самого заведующего, который учитывал не только ярость масс, но и качество яростных.

Спустившись с автомобиля, Козлов с видом ума прошел на поприще строительства и стал на краю его, чтобы иметь общий взгляд на весь темп труда. Что касается ближних землекопов, то он сказал им:

— Не будьте оппортунистами на практике!

Во время обеденного перерыва товарищ Пашкин сообщил мастеровым, что бедняцкий слой деревни печально заскучал по колхозу и нужно туда бросить что-нибудь особенное из рабочего класса, дабы начать классовую борьбу против деревенских пней капитализма.

— Давно пора кончать зажиточных паразитов! — высказался Сафронов. — Мы уже не чувствуем жара от костра классовой борьбы, а огонь должен быть: где ж тогда греться активному персоналу!

И после того артель назначила Сафронова и Козлова идти в ближнюю деревню, чтобы бедняк не остался при социализме круглой сиротой или частным мошенником в своем убежище.

Жачев подъехал к Пашкину с девочкой на тележке и сказал ему:

— Заметь этот социализм в босом теле. Наклонись, стервец, к ее костям, откуда ты сало съел!

— Факт! — произнесла девочка.

Здесь и Сафронов определил свое мнение.

— Зафиксируй, товарищ Пашкин, Настю — это ж наш будущий радостный предмет!

Пашкин вынул записную книжку и поставил в ней точку; уже много было точек изображено в книжке Пашкина, и каждая точка знаменовала какое-либо внимание к массам.

В тот вечер Настя постелила Сафронову отдельную постель и села с ним посидеть. Сафронов сам попросил девочку поскучать о нем, потому что она одна здесь сердечная женщина. И Настя тихо находилась при нем весь вечер, стараясь думать, как уйдет Сафронов туда, где бедные люди тоскуют в избушках, и как он станет вшивым среди чужих.

Позже Настя легла в постель Сафронова, согрела ее и ушла спать на живот Чиклина. Она давным-давно привыкла согревать постель своей матери, перед тем как туда ложился спать неродной отец.

Маточное место для дома будущей жизни было готово; теперь предназначалось класть в котловане бут. Но Пашкин постоянно думал светлые думы, и он доложил главному в городе, что масштаб дома узок, ибо социалистические женщины будут исполнены свежести и полнокровия, и вся поверхность земли покроется семенящим детством; неужели же детям придется жить снаружи, среди неорганизованной погоды?

— Нет, — ответил главный, сталкивая нечаянным движением сытный бутерброд со стола, — разройте маточный котлован вчетверо больше.

Пашкин согнулся и возвратил бутерброд снизу на стол.

— Не стоило нагибаться, — сказал главный. — На будущий год мы запроектировали сельхозпродукции по округу на полмиллиарда.

Тогда Пашкин положил бутерброд обратно в корзину для бумаг, боясь, что его сочтут за человека, живущего темпами эпохи режима экономии.

Прушевский ожидал Пашкина вблизи здания для немедленной передачи распоряжения на работы. Пашкин

же, пока шел по вестибюлю, обдумал увеличить котлован не вчетверо, а в шесть раз, дабы угодить наверняка и забежать вперед главной линии, чтобы впоследствии радостно встретить ее на чистом месте, — и тогда линия увидит его, и он запечатлеется в ней вечной точкой.

— В шесть раз больше, — указал он Прушевскому. — Я говорил, что темп тих!

Прушевский обрадовался и улыбнулся. Пашкин, заметив счастье инженера, тоже стал доволен, потому что почувствовал настроение инженерно-технической секции своего союза.

Прушевский пошел к Чиклину, чтобы наметить расширение котлована. Еще не доходя, он увидел собрание землекопов и крестьянскую подводу среди молчавших людей. Чиклин вынес из барака пустой гроб и положил его на телегу; затем он принес еще и второй гроб, а Настя стремилась за ним вслед, обрывая с гроба свои картинки. Чтоб девочка не сердилась, Чиклин взял ее под мышку и, прижав к себе, нес другой рукой гроб.

— Они все равно умерли, зачем им гробы! — негодовала Настя. — Мне некуда будет вещи складывать!

— Так уж надо, — отвечал Чиклин. — Все мертвые — это люди особенные.

— Важные какие! — удивлялась Настя. — Отчего ж тогда все живут! Лучше б умерли и стали важными!

— Живут для того, чтобы буржуев не было, — сказал Чиклин и положил последний гроб на телегу. На телеге сидели двое — Вощев и ушедший когда-то с Елисеем подкулацкий мужик.

— Кому отправляете гробы? — спросил Прушевский.

— Это Сафронов и Козлов умерли в избушке, а им теперь мои гробы отдали: ну что ты будешь делать?! — с подробностью сообщила Настя. И она прислонилась к телеге, озабоченная упущением.

Вощев, прибывший на подводе из неизвестных мест, тронул лошадь, чтобы ехать обратно в то пространство, где он был. Оставив блюсти девочку Жачеву, Чиклин пошел шагом за удалявшейся телегой.

До самой глубины лунной ночи он шел вдаль. Изредка, в боковой овражной стороне, горели укромные огни неизвестных жилищ, и там же заунывно брехали собаки — может быть, они скучали, а может быть, замечали въезжавших командированных людей и пуга-

лись их. Впереди Чиклина все время ехала подвода с гробами, и он не отрывался от нее.

Вощев, опершись о гробы спиной, глядел с телеги вверх — на звездное собрание и в мертвую массовую муть Млечного Пути. Он ожидал, когда же там будет вынесена резолюция о прекращении вечности времени, об искуплении томительности жизни. Не надеясь, он задремал и проснулся от остановки.

Чиклин дошел до подводы через несколько минут и стал смотреть вокруг. Вблизи была старая деревня: всеобщая ветхость бедности покрывала ее — и старческие, терпеливые плетни, и придорожные, склонившиеся в тишине деревья имели одинаковый вид грусти. Во всех избах деревни был свет, но снаружи их никто не находился. Чиклин подступился к первой избе и зажег спичку, чтобы прочитать белую бумажку на двери. В той бумажке было указано, что это обобществленный двор № 7 колхоза имени Генеральной Линии и что здесь живет активист общественных работ по выполнению государственных постановлений и любых кампаний, проводимых на селе.

— Пусти! — постучал Чиклин в дверь.

Активист вышел и впустил его. Затем он составил приемочный счет на гробы и велел Вощеву идти в сельсовет и стоять всю ночь в почетном карауле у двух тел павших товарищей.

— Я пойду сам, — определил Чиклин.

— Ступай, — ответил активист. — Только скажи мне свои данные, я тебя в мобилизованный кадр зачислю.

Активист наклонился к своим бумагам, прощупывая тщательными глазами все точные тезисы и задания: он с жадностью собственности, без памяти о домашнем счастье строил необходимое будущее, готовя для себя в нем вечность, и потому он сейчас запустел, опух от забот и оброс редкими волосами. Лампа горела перед его подозрительным взглядом, умственно и фактически наблюдающим кулацкую сволочь.

Всю ночь сидел активист при непогашенной лампе, слушая, не скачет ли по темной дороге верховой из района, чтобы спустить директиву на село. Каждую новую директиву он читал с любопытством будущего наслаждения, точно подглядывал в страстные тайны взрослых, центральных людей. Редко проходила ночь, чтобы не появлялась директива, и до утра изучал ее активист, на-

капливая к рассвету энтузиазм несокрушимого действия. И только изредка он словно замирал на мгновение от тоски жизни — тогда он жалобно глядел на любого человека, находящегося перед его взором; это он чувствовал воспоминание, что он — головотяп и упущенец — так его называли иногда в бумагах из района. «Не пойти ли мне в массу, не забыться ли в общей, руководимой жизни?» — решал активист про себя в те минуты сиротства и боялся долгого томления по социализму, пока каждый пастух не очутился среди радости, ибо уже сейчас можно быть подручным авангарда и немедленно иметь всю пользу будущего времени. Особенно долго активист рассматривал подпись на бумагах; эти буквы выводила горячая рука округа, а рука есть часть целого тела, живущего в довольстве славы на глазах преданных, убежденных масс. Даже слезы показывались на глазах активиста, когда он любовался четкостью подписей и изображениями земных шаров на штемпелях, ведь весь земной шар, вся его мягкость скоро достанется в четкие, железные руки, — неужели он останется без влияния на всемирное тело земли? И со скупостью обеспеченного счастья активист гладил свою истощенную нагрузками грудь.

— Чего стоишь без движения? — сказал он Чиклину. — Ступай сторожить политические трупы от зажиточного бесчестья; видишь, как падает наш героический брат!

Через тьму колхозной ночи Чиклин дошел до пустынной залы сельсовета. Там покоились его два товарища. Самая большая лампа, назначенная для освещения заседаний, горела над мертвецами. Они лежали рядом на столе президиума, покрытые знаменем до подбородков, чтобы не были заметны их гибельные увечья и живые не побоялись бы так же умереть.

Чиклин встал у подножья скончавшихся и спокойно засмотрелся в их молчаливые лица. Уж ничего не скажет теперь Сафронов из своего ума, и Козлов не поболит душой за все организационное строительство и не будет получать полагающуюся ему пенсию.

Текущее время тихо шло в полночном мраке колхоза; ничто не нарушало обобществленного имущества и тишины коллективного сознания. Чиклин закурил, приблизился к лицам мертвых и потрогал их рукой.

— Что, Козлов, скучно тебе?

Козлов продолжал лежать умолкшим образом, будучи убитым; Сафронов тоже был спокоен, как довольный человек, и рыжие усы его, нависшие над ослабевшим полуоткрытым ртом, росли даже из губ, потому что его не целовали при жизни. Вокруг глаз Козлова и Сафронова виднелась засохшая соль бывших слез, так что Чиклину пришлось стереть ее и подумать — отчего же это плакали в конце жизни Сафронов и Козлов?

— Ты что ж, Сафронов, совсем улегся иль думаешь встать все-таки?

Сафронов не мог ответить, потому что сердце его лежало в разрушенной груди и не имело чувства.

Чиклин прислушался к начавшемуся дождю на дворе, к его долгому скорбящему звуку, поющему в листве, в плетнях и в мирной кровле деревни; безучастно, как в пустоте, проливалась свежая влага, и только тоска хотя бы одного человека, слушающего дождь, могла бы вознаградить это истощение природы. Изредка вскрикивали куры в огороженных захолустьях, но их Чиклин уже не слушал и лег спать под общее знамя между Козловым и Сафроновым, потому что мертвые — это тоже люди. Сельсоветская лампа безрасчетно горела над ними до утра, когда в помещение явился Елисей и тоже не потушил огня, ему было все равно, что свет, что тьма. Он без пользы постоял некоторое время и вышел так же, как пришел.

Прислонившись грудью к воткнутой для флага жердине, Елисей уставился в мутную сырость порожнего места. На том месте собрались грачи для отлета в теплую даль, хотя время их расставания со здешней землей еще не наступило. Еще ранее отлета грачей Елисей видел исчезновение ласточек, и тогда он хотел было стать легким, малосознательным телом птицы, но теперь он уже не думал, чтобы обратиться в грача, потому что думать не мог. Он жил и глядел глазами лишь оттого, что имел документы середняка, и его сердце билось по закону.

Из сельсовета раздались какие-то звуки, и Елисей подошел к окну и прислонился к стеклу: он постоянно прислушивался ко всяким звукам, исходящим из масс или природы, потому что ему никто не говорил слов и не давал понятия, так что приходилось чувствовать даже отдаленное звучание.

Елисей увидел Чиклина, сидящего между двумя ле-

жащими навзничь. Чиклин курил и равнодушно утешал умерших своими словами.

— Ты кончился, Сафронов! Ну и что ж? Все равно я ведь остался, буду теперь, как ты: стану умнеть, начну выступать с точкой зрения, увижу всю твою тенденцию, ты вполне можешь не существовать...

Елисей не мог понимать и слушал одни звуки сквозь чистое стекло.

— А ты, Козлов, тоже не заботься жить. Я сам себя забуду, но тебя начну иметь постоянно. Всю твою погибшую жизнь, все твои задачи спрячу в себя и не брошу их никуда, так что ты считай себя живым. Буду день и ночь активным, всю организационность на заметку возьму, на пенсию стану, лежи спокойно, товарищ Козлов!

Елисей надышал на стекло туман и видел Чиклина слабо, но все равно смотрел, раз глядеть ему было некуда. Чиклин помолчал и, чувствуя, что Сафронов и Козлов теперь рады, сказал им:

— Пускай весь класс умрет — да я и один за него останусь и сделаю всю его задачу на свете! Все равно жить для самого себя я не знаю как!.. Чья это морда уставилась на нас? Войди сюда, чужой человек!

Елисей сейчас же вошел в сельсовет и стал, не соображая, что штаны спустились с его живота, хотя вчера вполне еще держались. Елисей не имел аппетита к питанию и поэтому худел в каждые истекшие сутки.

— Это ты убил их? — спросил Чиклин.

Елисей поднял кверху штаны и уж больше не упускал их, ничего не отвечая, наставя на Чиклина свои бледные, пустые глаза.

— А кто же? Пойди приведи мне кого-нибудь, кто убивает нашу массу.

Мужик тронулся и пошел через порожнее сырое место, где находилось последнее сборище грачей; грачи ему дали дорогу; и Елисей увидел того мужика, который был с желтыми глазами; он приставил гроб к плетню и писал на нем свою фамилию печатными буквами, доставая изобразительным пальцем какую-то гущу из бутылки.

— Ты чего, Елисей? Аль узнал какое распоряжение?

— Так себе, — сказал Елисей.

— Тогда ничего, — покойно произнес пишущий мужик. — А мертвых не обмывали еще на совете? Пу-

гаюсь, как бы казенный инвалид не приехал на тележке, он меня рукой тронет, что я жив, а двое умерли.

Мужик пошел помыть мертвых, чтобы обнаружить тем свое участие и сочувствие: Елисей тоже побрел ему вслед, не зная, где ему лучше всего находиться.

Чиклин не возражал, пока мужик снимал с погибших одежду и носил их поочередно в голом состоянии окунать в пруд, а потом, вытерев насухо овчинной шерстью, снова одел и положил оба тела на стол.

— Ну, прекрасно, — сказал тогда Чиклин. — А кто же их убил?

— Нам, товарищ Чиклин, неизвестно, мы сами живем нечаянно.

— Нечаянно! — произнес Чиклин и сделал мужику удар в лицо, чтоб он стал жить сознательно. Мужик было упал, но побоялся далеко уклоняться, дабы Чиклин не подумал про него чего-нибудь зажиточного, и еще ближе предстал перед ним, желая посильнее изувечиться, а затем исходатайствовать себе посредством мученья право жизни бедняка. Чиклин, видя перед собою такое существо, двинул ему механически в живот, и мужик опрокинулся, закрыв свои желтые глаза.

Елисей, стоявший тихо в стороне, сказал вскоре Чиклину, что мужик стих.

— А тебе жалко его? — спросил Чиклин.

— Нет, — ответил Елисей.

— Положь его в середку между моими товарищами.

Елисей поволок мужика к столу и, подняв его изо всех сил, свалил поперек прежних мертвых, а уж потом приноровил как следует, уложив его тесно близ боков Сафронова и Козлова. Когда Елисей отошел обратно, то мужик открыл свои желтые глаза, но уж не мог их закрыть, и так остался глядеть.

— Баба-то есть у него? — спросил Чиклин Елисея.

— Один находился, — ответил Елисей.

— Зачем же он был?

— Не быть он боялся.

Вощев пришел в дверь и сказал Чиклину, чтоб он шел — его требует актив.

— На тебе рубль, — дал поскорее деньги Елисею Чиклин. — Ступай за котлован и погляди, жива ли там девочка Настя, и купи ей конфет. У меня сердце по ней заболело.

Активист сидел с тремя своими помощниками, по-

худевшими от беспрерывного геройства и вполне бедными людьми, но лица их изображали одно и то же твердое чувство — усердную беззаветность. Активист дал знать Чиклину и Вощеву, что директивой товарища Пашкина они должны приурочить все свои скрытые силы на угождение колхозному разворачиванию.

— А истина полагается пролетариату? — спросил Вощев.

— Пролетариату полагается движение, — произнес активист, — а что навстречу попадется, то все его: будь там истина, будь кулацкая награбленная кофта — все пойдут в организованный котел, ты ничего не узнаешь.

Близ мертвых в сельсовете активист опечалился вначале, но затем, вспомнив новостроящееся будущее, бодро улыбнулся и приказал окружающим мобилизовать колхоз на похоронное шествие, чтобы все почувствовали торжественность смерти во время развивающегося светлого момента обобществления имущества.

Левая рука Козлова свесилась вниз, и весь погибший корпус его накренился со стола, готовый бессознательно упасть. Чиклин поправил Козлова и заметил, что мертвым стало совершенно тесно лежать: их уже было четверо вместо троих. Четвертого Чиклин не помнил и обратился к активисту за освещением несчастья, хотя четвертый был не пролетарий, а какой-то скучный мужик, покоившийся на боку с замолкшим дыханьем. Активист представил Чиклину, что этот дворовый элемент есть смертельный вредитель Сафронова и Козлова, но теперь он заметил свою скорбь от организованного движения на него и сам пришел сюда, лег на стол между покойными и лично умер.

— Все равно бы я его обнаружил через полчаса, — сказал активист. — У нас стихии сейчас нет ни капли, деться никому некуда! А кто-то еще один лишний лежит!

— Того я закончил, — объяснил Чиклин. — Думал, что стервец явился и просит удара. Я ему дал, а он ослаб.

— И правильно: в районе мне и не поверят, чтоб был один убиец, а двое — это уж вполне кулацкий класс и организация!

После похорон в стороне от колхоза зашло солнце, и стало сразу пустынно и чуждо на свете: из-за утреннего края района выходила густая подземная туча, к

полночи она должна дойти до здешних угодий и пролить на них всю тяжесть холодной воды. Глядя туда, колхозники начинали зябнуть, а куры уж давно квохтали в своих закутах, предчувствуя долготу времени осенней ночи. Вскоре на земле наступила сплошная тьма, усиленная чернотой почвы, растоптанной бродящими массами; но верх был еще светел — среди сырости неслышного ветра и высоты там стояло желтое сияние достигавшего туда солнца и отражалось на последней листве склонившихся в тишине садов. Люди не желали быть внутри изб — там на них нападали думы и настроения — они ходили по всем открытым местам деревни и старались постоянно видеть друг друга; кроме того, они чутко слушали — не раздастся ли издали по влажному воздуху какого-либо звука, чтобы услышать утешение в таком трудном пространстве. Активист еще давно пустил устную директиву о соблюдении санитарности в народной жизни, для чего люди должны все время находиться на улице, а не задыхаться в семейных избах. От этого заседавшему активу было легче наблюдать массы из окна и вести их все время дальше.

Активист тоже успел заметить эту вечернюю желтую зарю, похожую на свет погребения, и решил завтра же с утра назначить звездный поход колхозных пешеходов в окрестные, жмущиеся к единоличию деревни, а затем объявить народные игры.

Председатель сельсовета, середняцкий старичок, подошел было к активисту за каким-нибудь распоряжением, потому что боялся бездействовать, но активист отрешил его от себя рукой, сказав только, чтобы сельсовет укреплял задние завоевания актива и сторожил господствующих бедняков от кулацких хищников. Старичок председатель с благодарностью успокоился и пошел делать себе сторожевую колотушку.

Вощев боялся ночей, он в них лежал без сна и сомневался; его основное чувство жизни стремилось к чему-либо надлежащему на свете, и тайная надежда мысли обещала ему далекое спасение от безвестности всеобщего существования. Он шел на ночлег рядом с Чиклиным и беспокоился, что тот сейчас ляжет и заснет, а он будет один смотреть глазами во мрак над колхозом.

— Ты сегодня, Чиклин, не спи, а то я чего-то боюсь.

— Не бойся. Ты скажи, кто тебе страшен, — я его убью.

— Мне страшна сердечная озадаченность, товарищ Чиклин. Я и сам не знаю что. Мне все кажется, что вдалеке есть что-то особенное или роскошный несбыточный предмет, и я печально живу.

— А мы его добудем. Ты, Вощев, как говорится, не горюй.

— Когда, товарищ Чиклин?

— А ты считай, что уж добыли: видишь, нам все теперь стало ничто...

На краю колхоза стоял Организационный Двор, в котором активист и другие ведущие бедняки производили обучение масс: здесь же проживали недоказанные кулаки и разные проштрафившиеся члены коллектива, одни из них находились на дворе за то, что впали в мелкое настроение сомнения, другие — что плакали во время бодрости и целовали колья па своем дворе, отходящие в обобществление, третьи — за что-нибудь прочее, и, наконец, один был старичок, явившийся на Организационный Двор самотеком, — это был сторож с кафельного завода: он шел куда-то сквозь, а его здесь приостановили, потому что у него имелось выражение чуждости на лице.

Вощев и Чиклин сели на камень среди Двора, предполагая вскоре уснуть под здешним навесом. Старик с кафельного завода вспомнил Чиклина и дошел до него, дотоле он сидел в ближайшей траве и сухим способом стирал грязь со своего тела под рубашкой.

— Ты зачем здесь? — спросил его Чиклин.

— Да я шел, а мне приказали остаться: может, говорят, ты зря живешь, дай посмотрим. Я было шел молча мимо, а меня назад окорачивают: стой, кричат, кулашник! С тех пор я здесь и проживаю на картошных харчах.

— Тебе же все равно где жить, — сказал Чиклин, — лишь бы не умереть.

— Это-то ты верно говоришь! Я к чему хочешь привыкну, только сначала томлюсь. Здесь уж меня и буквам научили, и число заставляют знать: будешь, говорят, уместным классовым старичком. Да то что ж, я и буду!..

Старик бы всю ночь проговорил, но Елисей возвратился с котлована и принес Чиклину письмо от Пру-

шевского. Под фонарем, освещающим вывеску Организационного Двора, Чиклин прочитал, что Настя жива и Жачев начал возить ее ежедневно в детский сад, где она полюбила советское государство и собирает для него утильсырье; сам же Прушевский сильно скучает о том, что Козлов и Сафронов погибли, а Жачев по ним плакал громадными слезами.

«Мне довольно трудно, — писал товарищ Прушевский, — и я боюсь, что полюблю какую-нибудь одну женщину и женюсь, так как не имею общественного значения. Котлован закончен, и весной будем его бутить. Настя умеет, оказывается, писать печатными буквами, посылаю тебе ее бумажку».

Настя писала Чиклину.

«Ликвидируй кулака как класс. Да здравствует Ленин, Козлов и Сафронов.

Привет бедному колхозу, а кулакам нет».

Чиклин долго шептал эти написанные слова и глубоко растрогался, не умея морщить свое лицо для печали и плача; потом он направился спать.

В большом доме Организационного Двора была одна громадная горница, и там все спали на полу благодаря холоду. Сорок или пятьдесят человек народа открыли рты и дышали вверх, а под низким потолком висела лампа в тумане вздохов, и она тихо качалась от какого-то сотрясения земли. Среди пола лежал и Елисей; его спящие глаза были почти полностью открыты и глядели, не моргая, на горящую лампу. Нашедши Вощева, Чиклин лег рядом с ним и успокоился до более светлого утра.

Утром колхозные босые пешеходы выстроились в ряд на Оргдворе. Каждый из них имел флаг с лозунгом в руках и сумку с пищей за спиной. Они ожидали активиста, как первоначального человека в колхозе, чтобы узнать от него, зачем им идти в чужие места.

Активист пришел на Двор совместно с передовым персоналом и, расставив пешеходов в виде пятикратной звезды, стал посреди всех и произнес свое слово, указывающее пешеходам идти в среду окружающего беднячества и показать ему свойство колхоза путем призвания к социалистическому порядку, ибо все равно дальнейшее будет плохо. Елисей держал в руке самый длинный флаг и, покорно выслушав активиста, тронулся

привычным шагом вперед, не зная, где ему надо остановиться.

В то утро была сырость и дул холод с дальних пустопорожних мест. Такое обстоятельство тоже не было упущено активом.

— Дезорганизация! — с унылостью сказал активист про этот остужающий вечер природы.

Бедные и средние странники пошли в свой путь и скрылись вдалеке, в постороннем пространстве. Чиклин глядел вслед ушедшей босой коллективизации, не зная, что нужно дальше предполагать, а Вощев молчал без мысли. Из большого облака, остановившегося над глухими дальними пашнями, стеной пошел дождь и укрыл ушедших в среде влаги.

— И куда они пошли? — сказал один подкулачник, уединенный от населения на Оргдворе за свой вред. Активист запретил ему выходить далее плетня, и подкулачник выражался через него. — У нас одной обувки на десять годов хватит, а они куда лезут?

— Дай ему! — сказал Чиклин Вощеву.

Вощев подошел к подкулачнику и сделал удар в его лицо. Подкулачник больше не отзывался.

Вощев приблизился к Чиклину с обыкновенным недоумением об окружающей жизни.

— Смотри, Чиклин, как колхоз идет на свете — скучно и босой.

— Они потому и идут, что босые, — сказал Чиклин. — А радоваться им нечего: колхоз ведь житейское дело.

— Христос тоже, наверно, ходил скучно, и в природе был ничтожный дождь.

— В тебе ум бедняк, — ответил Чиклин. — Христос ходил один неизвестно из-за чего, а тут двигаются целые кучи ради существования.

Активист находился здесь же на Оргдворе; прошедшая ночь прошла для него задаром — директива не спустилась на колхоз, и он опустил теченье мысли в собственной голове; но мысль несла ему страх упущений. Он боялся, что зажиточность скопится на единоличных дворах и он упустит ее из виду. Одновременно он опасался и переусердия — поэтому обобществил лишь конское поголовье, мучаясь за одиноких коров, овец и птицу, потому что в руках стихийного единоличника и козел есть рычаг капитализма.

Сдерживая силу своей инициативы, неподвижно стоял активист среди всеобщей тишины колхоза, и его подручные товарищи глядели на его смолкшие уста, не зная, куда им двинуться. Чиклин и Вощев вышли с Оргдвора и отправились искать мертвый инвентарь, чтобы увидеть его годность.

Пройдя некоторое расстояние, они остановились на пути, потому что с правой стороны улицы без труда человека открылись одни ворота, и через них стали выходить спокойные лошади. Ровным шагом, не опуская голов к растущей пище на земле, лошади сплоченной массой миновали улицу и спустились в овраг, в котором содержалась вода. Напившись в норму, лошади вошли в воду и постояли в ней некоторое время для своей чистоты, а затем выбрались на береговую сушь и тронулись обратно, не теряя строя и сплочения между собой. Но у первых же дворов лошади разбрелись — одна остановилась у соломенной крыши и начала дергать солому из нее, другая, нагнувшись, подбирала в пасть остаточные пучки тощего сена, более же угрюмые лошади вошли на усадьбу и там взяли на знакомых, родных местах по снопу и вынесли его на улицу.

Каждое животное взяло посильную долю пищи и бережно несло ее в направлении тех ворот, откуда вышли до того все лошади.

Прежде пришедшие лошади остановились у общих ворот и подождали всю остальную конскую массу, а уж когда все совместно собрались, то передняя лошадь толкнула головой ворота нараспашку и весь конский строй ушел с кормом на двор. На дворе лошади открыли рты, пища упала из них в одну среднюю кучу, и тогда обобществленный скот стал вокруг и начал медленно есть, организованно смирившись без заботы человека.

Вощев в испуге глядел на животных через скважину ворот, его удивляло душевное спокойствие животного скота, будто все лошади с точностью убедились в колхозном смысле жизни, а он один живет и мучается хуже лошади.

Далее лошадиного двора находилась чья-то неимущая изба, которая стояла без усадьбы у огорожки на голом земном месте. Чиклин и Вощев вошли в избу и заметили в ней мужика, лежавшего на лавке вниз лицом. Его баба прибирала пол и, увидев гостей, утерла

нос концом платка, отчего у ней сейчас же потекли привычные слезы.

— Ты чего? — спросил ее Чиклин.

— И-и, касатики! — произнесла женщина и еще гуще заплакала.

— Обсыхай скорей и говори! — образумил ее Чиклин.

— Мужик-то который день уткнулся и лежит... Баба, говорит, посуй мне пищу в нутро, а то я весь пустой лежу, душа ушла изо всей плоти, улететь боюсь, клади, кричит, какой-нибудь груз на рубашку. Как вечер, так я ему самовар к животу привязываю. Когда ж что-нибудь настанет-то?

Чиклин подошел к крестьянину и повернул его навзничь — он был действительно легок и худ, и бледные, окаменевшие глаза его не выражали даже робости. Чиклин близко склонился к нему.

— Ты что — дышишь?

— Как вспомню, так вздохну, — слабо ответил человек.

— А если забудешь дышать?

— Тогда помру.

— Может, ты смысла жизни не чувствуешь, так потерпи чуть-чуть, — сказал Вощев лежачему.

Жена хозяина исподволь, но с точностью разглядывала пришедших, и от едкости глаз у нее нечувствительно высохли слезы.

— Он все чуял, товарищи, все дочиста душевно видел! А как лошадь взяли в организацию, так он лег и перестал. Я-то хоть поплачу, а он нет.

— Пусть лучше плачет, ему милее будет, — посоветовал Вощев.

— Я и то ему говорила. Разве же можно молча лежать — власть будет пугаться. Я-то нарочно, вот правда истинная — вы люди, видать, хорошие, — я-то как выйду на улицу, так и зальюсь вся слезами. А товарищ активист видит меня — ведь он всюду глядит, он все щепки сосчитал, — как увидит меня, так и приказывает: плачь, баба, плачь сильней — это солнце новой жизни взошло, и свет режет ваши темные глаза. А голос-то у него ровный, и я вижу, что мне ничего не будет, и плачу со всем желанием...

— Стало быть, твой мужик только недавно существует без душевной прилежности? — обратился Вощев.

— Да как вот перестал меня женой знать, так и почитай, что с тех пор.

— У него душа — лошадь, — сказал Чиклин. — Пускай он теперь порожняком поживет, а его ветер продует.

Баба открыла рот, но осталась без звука, потому что Вощев и Чиклин ушли в дверь.

Другая изба стояла на большой усадьбе, огороженной плетнями, внутри же избы мужик лежал в пустом гробу и при любом шуме закрывал глаза, как скончавшийся. Над головой полуусопшего уже несколько недель горела лампада, и сам лежащий в гробу подливал в нее масло из бутылки время от времени. Вощев прислонил свою руку ко лбу покойного и почувствовал, что человек теплый. Мужик слышал то и вовсе затих дыханьем, желая побольше остыть снаружи. Он сжал зубы и не пропускал воздуха в свою глубину.

— А теперь он похолодал, — сказал Вощев.

Мужик изо всех темных своих сил останавливал внутреннее биение жизни, а жизнь от долголетнего разгона не могла в нем прекратиться. «Ишь ты какая, чтущая меня сила, — между делом думал лежачий, — все равно я тебя затомлю, лучше сама кончись».

— Как будто опять потеплел, — обнаруживал Вощев по течению времени.

— Значит, не боится еще, подкулацкая сила, — произнес Чиклин.

Сердце мужика самостоятельно поднялось в душу, в горловую тесноту, а там сжалось, отпуская из себя жар опасной жизни в верхнюю кожу. Мужик тронулся ногами, чтобы помочь своему сердцу вздрогнуть, но сердце замучилось без воздуха и не могло трудиться. Мужик разинул рот и закричал от горя смерти, жалея свои целые кости от сотления в прах, свою кровавую силу тела от гниения, глаза от скрывающегося белого света и двор от вечного сиротства.

— Мертвые не шумят, — сказал Вощев мужику.

— Не буду, — согласно ответил лежачий и замер, счастливый, что угодил власти.

— Остывает, — пощупал Вощев шею мужика.

— Туши лампаду, — сказал Чиклин. — Над ним огонь горит, а он глаза зажмурил — вот где нет никакой скупости на революцию.

Вышедши на свежий воздух, Чиклин и Вощев встре-

тили активиста — он шел в избу-читальню по делам культурной революции. После того он обязан был еще обойти всех средних единоличников, оставшихся без колхозов, чтобы убедить их в неразумности огороженного дворового капитализм.

В избе-читальне стояли заранее организованные колхозные женщины и девушки.

— Здравствуйте, товарищ актив! — сказали они все сразу.

— Привет кадру! — ответил задумчиво активист и постоял в молчаливом соображении. — А теперь мы повторим букву «А», слушайте мои сообщения и пишите...

Женщины прилегли к полу, потому что вся изба-читальня была порожняя, и стали писать кусками штукатурки на досках. Чиклин и Вощев тоже сели вниз, желая укрепить свое знание в азбуке.

— Какие слова начинаются на «А»? — спросил активист.

Одна счастливая девушка привстала на колени и ответила со всей быстротой и бодростью своего разума:

— Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист! Твердый знак везде нужен, а архилевому не надо!

— Правильно, Макаровна, — оценил активист. — Пишите систематично эти слова.

Женщины и девушки прилегли на полу и начали настойчиво рисовать буквы, пользуясь коробящей штукатуркой. Активист тем временем засмотрелся в окно, размышляя о каком-то дальнейшем пути или, может быть, томясь от своей одинокой сознательности.

— Зачем они твердый знак пишут? — сказал Вощев.

Активист оглянулся.

— Потому что из слов обозначаются линии и лозунги и твердый знак нам полезней мягкого. Это мягкий нужно отменить, а твердый нам неизбежен: он делает жесткость и четкость формулировок. Всем понятно?

— Всем, — сказали все.

— Пишите далее понятия на «Б». Говори, Макаровна!

Макаровна приподнялась и с доверчивостью перед наукой заговорила:

— Большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо бедняка, браво-браво-ленинцы!

Твердые знаки ставить на бугре и большевике и еще на конце колхоза, а там везде мягкие места!

— Бюрократизм забыла, — определил активист. — Ну, пишите. А ты, Макаровна, сбегай мне в церковь — трубку прикури...

— Давай я схожу, — сказал Чиклин. — Не отрывай народ от ума.

Активист втолок в трубку лопушиные крошки, и Чиклин пошел зажигать ее от огня. Церковь стояла на краю деревни, а за ней уж начиналась пустынность осени и вечное примиренчество природы. Чиклин поглядел на эту нищую тишину, на дальние лозины, стынущие в глинистом поле, но ничем пока не мог возразить.

Близ церкви росла старая забвенная трава и не было тропинок или прочих человеческих проходных следов — значит, люди давно не молились в храме. Чиклин прошел к церкви по гуще лебеды и лопухов, а затем вступил на паперть. Никого не было в прохладном притворе, только воробей, сжавшись, жил в углу; но и он не испугался Чиклина, а лишь молча поглядел на человека, собираясь, видно, вскоре умереть в темноте осени.

В храме горели многие свечи: свет молчаливого, печального воска освещал всю внутренность помещения до самого подспудья купола и чистоплотные лица святых с выражением равнодушия глядели в мертвый воздух, как жители того, спокойного света, но храм был пуст.

Чиклин раскурил трубку от ближней свечи и увидел, что впереди на амвоне еще кто-то курит. Так и было — на ступени амвона сидел человек и курил. Чиклин подошел к нему.

— От товарища активиста пришли? — спросил курящий.

— А тебе что?

— Все равно я по трубке вижу.

— А ты кто?

— Я был поп, а теперь отмежевался от своей души и острижен под фокстрот. Ты погляди!

Поп снял шапку и показал Чиклину голову, обработанную как на девушке.

— Ничего ведь?.. Да все равно мне не верят, говорят, я тайно верю и явный стервец для бедноты. При-

ходится стаж зарабатывать, чтоб в кружок безбожья приняли.

— Чем же ты его зарабатываешь, поганый такой? — спросил Чиклин.

Поп сложил горечь себе в сердце и охотно ответил:

— А я свечки народу продаю, — ты видишь, вся зала горит! Средства же скопляются в кружку и идут активисту для трактора.

— Не бреши: где же тут богомольный народ?

— Народу тут быть не может, — сообщил поп. — Народ только свечку покупает и ставит ее Богу, как сироту, вместо своей молитвы, а сам сейчас же скрывается вон.

Чиклин яростно вздохнул и спросил еще:

— А отчего ж народ не крестится здесь, сволочь ты такая!

Поп встал перед ним на ноги для уважения, собираясь с точностью сообщить:

— Креститься, товарищ, не допускается: того я записываю скорописью в поминальный листок...

— Говори скорей и дальше! — указал Чиклин.

— А я не прекращаю своего слова, товарищ бригадный, только я темпом слаб, уж вы стерпите меня... А те листки с обозначением человека, осенившего себя рукодействующим крестом, либо склонившего свое тело перед небесной силой, либо совершившего другой акт почитания подкулацких святителей, — те листки я каждую полуночь лично сопровождаю к товарищу активисту.

— Подойди ко мне вплоть, — сказал Чиклин.

Поп готовно опустился с порожек амвона.

— Зажмурься, паскудный.

Поп закрыл глаза и выразил на лице умильную любезность. Чиклин, не колебнувшись корпусом, сделал попу сознательный удар в скуло. Поп открыл глаза и снова зажмурил их, но упасть не мог, чтобы не давать Чиклину понятия о своем неподчинении.

— Хочешь жить? — спросил Чиклин.

— Мне, товарищ, жить бесполезно, — разумно ответил поп. — Я не чувствую больше прелести творения — я остался без Бога, а Бог без человека...

Сказав последние слова, поп склонился на землю и стал молиться своему ангелу-хранителю, касаясь пола фокстротной головой.

В деревне раздался долгий свисток, и после него заржали лошади.

Поп остановил молящуюся руку и сообразил значение сигнала.

— Собрание учредителей, — сказал он со смирением.

Чиклин вышел из церкви в траву. По траве шла было баба к церкви, выправляя позади себя помятую лебеду, но, увидев Чиклина, она обомлела на месте и от испуга протянула ему пятак за свечку.

Организационный Двор покрылся сплошным народом; присутствовали организованные члены и неорганизованные единоличники, кто еще был маломочен по сознанию или имел подкулацкую долю жизни и не вступал в колхоз.

Активист находился на высоком крыльце и с молчаливой грустью наблюдал движенье жизненной массы на сырой, вечерней земле, он безмолвно любил бедноту, которая, поев простого хлеба, желательно рвалась вперед в невидимое будущее, ибо все равно земля для них была пуста и тревожна; он втайне дарил городские конфеты ребятишкам неимущих и с наступлением коммунизма в сельском хозяйстве решил взять установку на женитьбу, тем более что тогда лучше выявятся женщины. И сейчас чей-то малый ребенок стоял около активиста и глядел на его лицо.

— Ты чего взарился? — спросил активист. — На тебе конфетку.

Мальчик взял конфету, но одной пищи ему было мало.

— Дядь, отчего ты самый умный, а картуза у тебя нету?

Активист без ответа погладил голову мальчика: ребенок с удивлением разгрыз сплошную каменистую конфету — она блестела как рассеченный лед, и внутри ее ничего не было, кроме твердости. Мальчик отдал половину конфеты обратно активисту.

— Сам доедай, у ней в середке вареньев нету: это сплошная коллективизация, нам радости мало!

Активист улыбнулся с проницательным сознанием, он предчувствовал, что этот ребенок в зрелости своей жизни вспомнит о нем среди горящего света социализ-

ма, добытого сосредоточенной силой актива из плетневых дворов деревень.

Вощев и еще три убежденных мужика носили бревна к воротам Оргдвора и складывали их в штабель — им заранее активист дал указание на этот труд.

Чиклин тоже пошел за трудящимися и, взяв бревно около оврага, понес его к Оргдвору: пусть идет больше пользы в общий котел, чтоб не было так печально вокруг.

— Ну как же будем, граждане? — произнес активист в вещество народа, находившегося перед ним. — Вы что ж, опять капитализм сеять собираетесь иль опомнились?..

Организованные сели на землю и курили с удовлетворительным чувством, поглаживая свои бородки, которые за последние полгода что-то стали реже расти: неорганизованные же стояли на ногах, превозмогая свою тщетную душу, но один сподручный актива научил их, что души в них нет, а есть лишь одно имущественное настроение, и они теперь вовсе не знали, как им станется, раз не будет имущества. Иные, склонившись, стучали себе в грудь и слушали свою мысль оттуда, но сердце билось легко и грустно, как порожнее, и ничего не отвечало. Стоявшие люди ни на мгновенье не упускали из вида активиста, ближние же ко крыльцу, глядели на руководящего человека со всем желанием в неморгающих глазах, чтобы он видел их готовое настроение.

Чиклин и Вощев к тому времени уже управились с доставкой бревен и стали их затесывать в лапу со всех концов, стараясь устроить большой предмет. Солнца не было в природе ни вчера, ни нынче, и унылый вечер рано наступил над сырыми полями: тишина распространялась сейчас по всему видимому свету, только топор Чиклина звучал среди нее и отзывался ветхим скрипом на близкой мельнице и в плетнях.

— Ну что же! — терпеливо сказал активист сверху. — Иль вы так и будете стоять между капитализмом и коммунизмом; ведь уж пора тронуться — у нас в районе четырнадцатый пленум идет!

— Дозволь, товарищ актив, еще малость средноте постоять, — попросили задние мужики, — может, мы обвыкнемся; нам главное дело привычка, а то мы все стерпим.

— Ну стойте, пока беднота сидит, — разрешил активист в вещество народа, находившегося перед ним. — Плотить бревна в один блок.

— А к чему ж те бревна-то ладят, товарищ активист? — спросил задний середняк.

— А это для ликвидации классов организуется плот, чтоб завтрашний день кулацкий сектор ехал по речке в море и далее...

Вынув поминальные листки и классово-расслоечную ведомость, активист стал метить знаки по бумагам; а карандаш у него был разноцветный, и он применял то синий, то красный цвет, а то просто вздыхал и думал, не кладя знаков до своего решения. Стоячие мужики открыли рты и глядели на карандаш с томлением слабой души, которая появилась у них из последних остатков имущества, потому что стала мучиться. Чиклин и Вощев тесали в два топора сразу, и бревна у них складывались одно к другому вплоть, основывая сверху просторное место.

Ближний середняк прислонился головой к крыльцу и стал в таком покое некоторое время.

— Товарищ актив, а товарищ!..

— Говори ясно, — предложил середняку активист между своим делом.

— Дозволь нам горе горевать в остатнюю почь, а уж тогда мы век с тобой будем радоваться!

Активист кратко подумал.

— Ночь — это долго. Кругом нас темпы по округу идут, горюйте, пока плот не готов.

— Ну хоть до плота, и то радость, — сказал средний мужик и заплакал, не теряя времени последнего горя. Бабы, стоявшие за плетнем Оргдвора, враз взвыли во все задушевные свои голоса, так что Чиклин и Вощев перестали рубить дерево топорами. Организованная членская беднота поднялась с земли довольная, что ей горевать не приходится, и ушла смотреть на свое общее, насущное имущество деревни.

— Отвернись и ты от нас на краткое время, — попросили активиста два середняка. — Дай нам тебя не видеть.

Активист отстранился с крыльца и ушел в дом, где с жадностью начал писать рапорт о точном исполнении мероприятия по сплошной коллективизации и о ликвидации посредством сплава на плоту кулака как класса;

при этом активист не мог поставить после слова «кулака» запятую, так как и в директиве ее не было. Дальше он попросил себе из района новую боевую компанию, чтоб местный актив работал бесперебойно и четко чертил дорогую генеральную линию вперед. Активист желал бы еще, чтобы район объявил его в своем постановлении самым идеологичным во всей районной надстройке, но это желание утихло в нем без последствий, потому что он вспомнил, как после хлебозаготовок ему пришлось заявить о себе, что он умнейший человек на данном этапе села, и, услышав его, один мужик объявил себя бабой.

Дверь дома отворилась, и в нее раздался шум мученья из деревни; вошедший человек стер мокроту с одежды, а потом сказал:

— Товарищ актив, там снег пошел и холод дует.

— Пускай идет, нам-то что?

— Нам — ничего, нам хоть что ни случилось — мы управимся! — вполне согласился явившийся пожилой бедняк. Он был постоянно удивлен, что еще жив на свете, потому что ничего не имел, кроме овощей с дворового огорода и бедняцкой льготы, и не мог никак добиться высшей, довольной жизни.

— Ты мне, товарищ главный, скажи на утеху: писаться мне в колхоз на покой иль обождать?

— Пишись, конечно, а то в океан пошлю!

— Бедняку нигде не страшно; я б давно записался, только зою сеять боюсь.

— Какую зою? Если сою, то она ведь официальный злак!

— Ее, стерву.

— Ну, не сей, — я учту твою психологию.

— Учти, пожалуйста.

Записав бедняка в колхоз, активист вынужден был дать ему квитанцию в приеме в членство и в том, что в колхозе не будет зои, и выдумать здесь же надлежащую форму для этой квитанции, так как бедняк нипочем не уходил без нее.

Снаружи в то время все гуще падал холодный снег: земля от снега стала смирней, но звуки середняцкого настроения мешали наступить сплошной тишине. Старый пахарь Иван Семенович Крестинин целовал молодые деревья в своем саду и с корнем сокрушал их прочь из почвы, а его баба причитала над голыми ветками.

— Не плачь, старуха, — говорил Крестинин. — Ты в колхозе мужиковской давалкой станешь. А деревья эти — моя плоть, и пускай она теперь мучается, ей же скучно обобществляться в плен!

Баба, услышав мужние слова, так и покатилась по земле, а другая женщина — не то старая девка, не то вдовуха — сначала бежала по улице и голосила таким агитирующим монашьим голосом, что Чиклину захотелось в нее стрелять, а потом она увидела, как крестининская баба катится понизу, и тоже бросилась навзничь и забила ногами в суконных чулках.

Ночь покрыла весь деревенский масштаб, снег сделал воздух непроницаемым и тесным, в котором задыхалась грудь, но все же бабы вскрикивали повсеместно и, привыкая к горю, держали постоянный вой. Собаки и другие мелкие нервные животные тоже поддерживали эти томительные звуки, и в колхозе было шумно и тревожно, как в предбаннике, средние же и высшие мужики молча работами по дворам и закутам, охраняемые бабьим плачем у раскрытых настежь ворот. Остаточные, необобществленные лошади грустно спали в станках, привязанные к ним так надежно, чтобы они никогда не упали, потому что иные лошади уже стояли мертвыми; в ожидании колхоза безубыточные мужики содержали лошадей без пищи, чтоб обобществиться лишь одним своим телом, а животных не вести за собою в скорбь.

— Жива ли ты, кормилица?

Лошадь дремала в стойле, опустив навеки чуткую голову; один глаз у нее был слабо прикрыт, а на другой не хватило силы, и он остался глядеть в тьму. Сарай остыл без лошадиного дыханья, снег западал в него, ложился на голову кобылы и не таял. Хозяин потушил спичку, обнял лошадь за шею и стоял в своем сиротстве, нюхая по памяти пот кобылы, как на пахоте.

— Значит, ты умерла? Ну ничего, я тоже скоро помру, нам будет тихо.

Собака, не видя человека, вошла в сарай и понюхала заднюю ногу лошади. Потом она зарычала, впилась пастью в мясо и вырвала себе говядину. Оба глаза лошади забелели в темноте, она поглядела ими обоими и переступила ногами шаг вперед, не забыв еще от чувства боли жить.

— Может, ты в колхоз пойдешь? Ступай тогда, а я подожду, — сказал хозяин двора.

Он взял клок сена из угла и поднес лошади ко рту. Грязные места у кобылы стали темными, она уже смежила последнее зрение, но еще чуяла запах травы, потому что ноздри ее шевельнулись и рот распался надвое, хотя жевать не мог. Жизнь ее уменьшалась все дальше, сумев дважды возвратиться на боль и еду. Затем ноздри ее уже не повелись от сена, и две новые собаки равнодушно отъедали ногу позади, но жизнь лошади еще была цела — она лишь бледнела в дальней нищете, делилась все более мелко и не могла утомиться.

Снег падал на холодную землю, собираясь остаться на зиму; мирный покров застелил на сон грядущий всю видимую землю, только вокруг хлевов снег растаял и земля была черна, потому что теплая кровь коров и овец вышла из-под огорож наружу и летние места оголились. Ликвидировав весь последний дышащий живой инвентарь, мужики стали есть говядину и всем домашним также наказывали ее кушать; говядину в то краткое время ели, как причастие, — есть никто не хотел, но надо было спрятать плоть родной убоины в свое тело и сберечь ее там от обобществления. Иные расчетливые мужики давно опухли от мясной еды и ходили тяжко, как двигающиеся сараи; других же рвало беспрерывно, но они не могли расстаться со скотиной и уничтожали ее до костей, не ожидая пользы желудка. Кто вперед успел поесть свою живность или кто отпустил ее в колхозное заключение, тот лежал в пустом гробу и жил в нем, как на тесном дворе, чувствуя огороженный покой.

Чиклин оставил заготовку плота в такую ночь. Вощев тоже настолько ослабел телом без идеологии, что не мог поднять топора и лег в снег: все равно истины нет на свете, или, быть может, она и была в каком-нибудь растении или в героической твари, но шел дорожный нищий и съел то растение или растоптал гнетущуюся низом тварь, а сам умер затем в осеннем овраге, и тело его выдул ветер в ничто.

Активист видел с Оргдвора, что плот не готов, однако он должен был завтрашним утром отправить в район пакет с итоговым отчетом, поэтому дал немедленный свисток к общему учредительному собранию. Народ выступил со дворов на этот звук и всем неорганизованным еще составом явился на площадь Оргдвора. Бабы уже не плакали и высохли лицом, мужики тоже держались

самозабвенно, готовые организоваться навеки. Приблизившись друг к другу, люди стали без слова всей середняцкой гущей и загляделись на крыльцо, на котором находился активист с фонарем в руке, — от этого собственного света он не видел разной мелочи на лицах людей, но зато его самого наблюдали все с ясностью.

— Готовы, что ль? — спросил активист.

— Подожди, — сказал Чиклин активисту. — Пусть они попрощаются до будущей жизни.

Мужики было приготовились к чему-то, но один из них произнес в тишине:

— Дай нам еще одно мгновенье времени!

И сказав последние слова, мужик обнял соседа, поцеловал его трижды и попрощался с ним.

— Прощай, Егор Семеныч!

— Не в чем, Никанор Петрович; ты меня тоже прости.

Каждый начал целоваться со всею очередью людей, обнимая чужое доселе тело, и все уста грустно и дружелюбно целовали каждого.

— Прощай, тетка Дарья, не обижайся, что я твою ригу сжег.

— Бог простит, Алеша, теперь рига все одно не моя.

Многие, прикоснувшись взаимными губами, стояли в таком чувстве некоторое время, чтобы навсегда запомнить новую родню, потому что до этой поры они жили без памяти друг о друге и без жалости.

— Ну, давай, Степан, побратаемся.

— Прощай, Егор, жили мы люто, а кончаемся по совести.

После целования люди поклонились в землю — каждый всем, и встали на ноги, свободные и пустые сердцем.

— Теперь мы, товарищ актив, готовы, пиши нас всех в одну графу, а кулаков мы сами тебе покажем.

Но активист еще прежде обозначил всех жителей — кого в колхоз, а кого на плот.

— Иль сознательность в вас заговорила? — сказал он. — Значит, отозвалась массовая работа актива! Вот она, четкая линия в будущий свет!

Чиклин здесь вышел на высокое крыльцо и потушил фонарь активиста — ночь и без керосина была светла от свежего снега.

— Хорошо вам теперь, товарищи? — спросил Чиклин.

— Хорошо, — сказали со всего Оргдвора. — Мы ничего теперь не чуем, в нас один прах остался.

Вощев лежал в стороне и никак не мог заснуть без покоя истины внутри своей жизни, тогда он встал со снега и вошел в среду людей.

— Здравствуйте! — сказал он колхозу, обрадовавшись. — Вы стали теперь, как я, я тоже ничто.

— Здравствуй! — обрадовался весь колхоз одному человеку.

Чиклин тоже не мог стерпеть быть отдельно на крыльце, когда люди стояли вместе снизу; он опустился на землю, разжег костер из плетневого материала, и все начали согреваться от огня.

Ночь стояла смутно над людьми, и больше никто не произносил слова, только слышалось, как по-старинному брехала собака на чужой деревне, точно она существовала в постоянной вечности.

Очнулся Чиклин первым, потому что вспомнил что-то насущное, но, открыв глаза, все забыл. Перед ним стоял Елисей и держал Настю на руках. Он уже держал девочку часа два, пугаясь разбудить Чиклина, а девочка спокойно спала, греясь на его теплой, сердечной груди.

— Не замучил ребенка-то? — спросил Чиклин.

— Я не смею, — сказал Елисей.

Настя открыла глаза на Чиклина и заплакала по нем; она думала, что в мире все есть взаправду и навсегда, и если ушел Чиклин, то она уже больше нигде не найдет его на свете. В бараке Настя часто видела Чиклина во сне и даже не хотела спать, чтобы не мучиться наутро, когда оно настанет без него.

Чиклин взял девочку на руки.

— Тебе ничего было?

— Ничего, — сказала Настя. — А ты здесь колхоз сделал? Покажи мне колхоз!

Поднявшись с земли, Чиклин приложил голову Насти к своей шее и пошел раскулачивать.

— Жачев не обижал тебя?

— Как же он обидит меня, когда я в социализме останусь, а он скоро помрет!

— Да, пожалуй, что и не обидит! — сказал Чиклин

и обратил внимание на многолюдство. Посторонний, пришлый народ расположился кучами и малыми массами по Оргдвору, тогда как колхоз еще спал общим скоплением близ ночного, померкшего костра. По колхозной улице также находились нездешние люди: они молча стояли в ожидании той радости, за которой их привели сюда Елисей и другие колхозные пешеходы. Некоторые странники обступили Елисея и спрашивали его:

— Где же колхозное благо — иль мы даром шли? Долго ли нам бродить без остановки?

— Раз вас привели, то актив знает, — ответил Елисей.

— А твой актив спит, должно быть?

— Актив спать не может, — сказал Елисей.

Активист вышел на крыльцо со своими сподручными, и рядом с ним был Прушевский, а Жачев полз позади всех. Прушевского послал в колхоз товарищ Пашкин, потому что Елисей проходил вчера мимо котлована и ел кашу у Жачева, но от отсутствия своего ума не мог сказать ни одного слова. Узнав про то, Пашкин решил во весь темп бросить Прушевского на колхоз как кадр культурной революции, ибо без ума организованные люди жить не должны, а Жачев отправился по своему желанию как урод, и поэтому они явились втроем с Настей на руках, не считая еще тех подорожных мужиков, которым Елисей велел идти вслед за собой, чтобы ликовать в колхозе.

— Ступайте скорее плот кончайте, — сказал Чиклин Прушевскому, — а я скоро обратно к вам поспею.

Елисей пошел вместе с Чиклиным, чтобы указать ему самого угнетенного батрака, который почти спокон века работал даром на имущих дворах, а теперь трудится молотобойцем в колхозной кузне и получает пищу и приварок как кузнец второй руки; однако этот молотобоец не числился членом колхоза, а считался наемным лицом, и профсоюзная линия, получая сообщение об этом официальном батраке, одном во всем районе, глубоко тревожилась. Пашкин же и вовсе грустил о неизвестном пролетарии района и захотел как можно скорее избавить его от угнетения.

Около кузницы стоял автомобиль и жег бензин на одном месте. С него только что сошел прибывший вместе с супругой Пашкин, чтобы с активной жадностью обнаружить здесь остаточного батрака и, снабдив его

лучшей долей жизни, распустить затем райком союза за халатность обслуживания членской массы. Но еще Чиклин и Елисей не дошли до кузни, как товарищ Пашкин уже вышел из помещения и отбыл на машине обратно, опустив только голову в кузов, будто не зная, как ему теперь быть. Супруга товарища Пашкина из машины не выходила вовсе: она лишь берегла своего любимого человека от встречных женщин, обожающих власть ее мужа и принимавших твердость его руководства за силу любви, которую он может им дать.

Чиклин с Настей на руках вошел в кузню; Елисей же остался постоять наружи. Кузнец качал мехом воздух в горн, а медведь бил молотом по раскаленной железной полосе на наковальне.

— Скорее, Миш, а то мы с тобой ударная бригада! — сказал кузнец.

Но медведь и без того настолько усердно старался, что пахло паленой шерстью, сгорающей от искр металла, а медведь этого не чувствовал.

— Ну, теперь будя! — определил кузнец.

Медведь перестал колотить и, отошедши, выпил от жажды полведра воды. Утерев затем свое утомленно-пролетарское лицо, медведь плюнул в лапу и снова приступил к труду молотобойца. Сейчас ему кузнец положил ковать подкову для одного единоличника из окрестностей колхоза.

— Миш, это надо кончить поживей: вечером хозяин приедет — жидкость будет! — И кузнец показал на свою шею, как на трубу для водки. Медведь, поняв будущее наслаждение, с большей охотой начал делать подкову. — А ты, человек, зачем пришел? — спросил кузнец у Чиклина.

— Отпусти молотобойца кулаков показать: говорят, у него стаж велик.

Кузнец поразмышлял немного о чем-то и сказал:

— А ты согласовал с активом вопрос? Ведь в кузне есть промфинплан, а ты его срываешь!

— Согласовал вполне, — ответил Чиклин. — А если план твой сорвется, то я сам приду к тебе его подымать... Ты слыхал про араратскую гору — так я ее наверняка бы насыпал, если б клал землю своей лопатой в одно место!

— Нехай тогда идет! — выразился кузнец про медведя. — Ступай на Оргдвор и вдарь в колокол, чтоб

Мишка обеденное время услыхал, а то он не тронется — он у нас дисциплину обожает.

Пока Елисей равнодушно ходил на Оргдвор, медведь сделал четыре подковы и просил еще трудиться. Но кузнец послал его за дровами, чтобы нажечь из них потом углей, и медведь принес целый подходящий плетень. Настя, глядя на почерневшего, обгорелого медведя, радовалась, что он за нас, а не за буржуев.

— Он ведь тоже мучается, он, значит, наш, правда ведь? — говорила Настя.

— А то как же! — отвечал Чиклин.

Раздался гул колокола, и медведь мгновенно оставил без внимания свой труд — до того он ломал плетень на мелкие части, а теперь сразу выпрямился и надежно вздохнул: шабаш, дескать. Опустив лапы в ведро с водой, чтоб отмыть на них чистоту, он затем вышел вон для получения еды. Кузнец ему указал на Чиклина, и медведь спокойно пошел с человеком, привычно держась впрямую, на одних задних лапах. Настя тронула медведя за плечо, а он тоже коснулся слегка ее лапой и зевнул всем ртом, откуда запахло прошлой пищей.

— Смотри, Чиклин, он весь седой!

— Жил с людьми — вот и поседел от горя.

Медведь обождал, пока девочка вновь посмотрит на него, и, дождавшись, зажмурил для нее один глаз. Настя засмеялась, а молотобоец ударил себя по животу так, что у него что-то там забурчало, отчего Настя засмеялась еще лучше, медведь же не обратил на малолетнюю внимания.

Около одних дворов идти было так же прохладно, как и по полю, а около других чувствовалась теплота. Коровы и лошади лежали в усадьбах с разверзнутыми тлеющими туловищами — и долголетний, скопленный под солнцем жар жизни еще выходил из них в воздух, в общее зимнее пространство. Уже много дворов миновали Чиклин и молотобоец, а кулачество что-то нигде не ликвидировали.

Снег, изредка опускавшийся дотоле с верхних мест, теперь пошел чаще и жестче, — какой-то набредший ветер начал производить вьюгу, что бывает, когда устанавливается зима. Но Чиклин и медведь шли сквозь снежную, секущую частоту прямым уличным порядком, потому что Чиклину невозможно было считаться с на-

строением природы: только Настю Чиклин спрятал от холода за пазуху, оставив снаружи лишь ее голову, чтоб она не скучала в темном тепле. Девочка все время следила за медведем, ей было хорошо, что животные тоже есть рабочий класс, а молотобоец глядел на нее как на забытую сестру, с которой он жировал у материнского живота в летнем лесу своего детства. Желая обрадовать Настю, медведь посмотрел вокруг: чего бы это схватить или выломать ей для подарка? Но никакого мало-мальски счастливого предмета не было вблизи, кроме глиносоломенных жилищ и плетней. Тогда молотобоец вгляделся в снежный ветер и быстро выхватил из него что-то маленькое, а затем поднес сжатую лапу к Настиному лицу. Настя выбрала из его лапы муху, зная, что мух теперь тоже нету — они умерли еще в конце лета. Медведь начал гоняться за мухами по всей улице, — мухи летели целыми тучами, перемежаясь с несущимся снегом.

— Отчего бывают мухи, когда зима? — спросила Настя.

— От кулаков, дочка! — сказал Чиклин.

Настя задушила в руке жирную кулацкую муху, подаренную ей медведем, и сказала еще:

— А ты убей их как класс! А то мухи зимой будут, а летом нет: птицам нечего есть станет.

Медведь вдруг зарычал около прочной, чистой избы и не хотел идти дальше, забыв про мух и девочку. Бабье лицо уставилось в стекло окна, и по стеклу поползла жидкость слез, будто баба их держала все время наготове. Медведь открыл пасть на видимую бабу и взревел еще яростней, так что баба отскочила внутрь жилища.

— Кулачество! — сказал Чиклин и, вошедши па двор, открыл изнутри ворота. Медведь тоже шагнул через черту владения па усадьбу.

Чиклин и молотобоец свидетельствовали вначале хозяйственные укромные места. В сарае, засыпанные мякиной, лежали четыре или больше мертвые овцы. Когда медведь тронул одну ногой, из нее поднялись мухи: они жили себе жирующим способом в горячих говяжьих щелях овечьего тела и, усердно питаясь, сыто летали среди снега, нисколько не остужаясь от него.

Из сарая наружу выходил дух теплоты, и в трупных скважинах убоины, наверно, было жарко, как летом в тлеющей торфяной земле, и мухи жили там вполне пор-

мально. Чиклину стало тяжко в большом сарае, ему казалось, что здесь топятся банные печи, а Настя зажмурила от вони глаза и думала, почему в колхозе зимой тепло и нету четырех времен года, про какие ей рассказывал Прушевский на котловане, когда на пустых осенних полях прекратилось пение птиц.

Молотобоец пошёл из сарая в избу и, заревев враждебным голосом, выбросил через крыльцо вековой громадный сундук, откуда посыпались швейные катушки.

Чиклин застал в избе одну бабу и еще мальчишку; мальчишка дулся на горшке, а мать его, присев, разгнездилась среди горницы, будто все вещество из нее опустилось вниз; она уже не кричала, а только открыла рот и старалась дышать.

— Мужик, а мужик! — начала звать она, не двигаясь от немощи горя.

— Чего? — отозвался голос с печки, потом там заскрипел рассохшийся гроб и вылез хозяин.

— Пришли, — сказывала постепенно баба, — иди встречай... Головушка моя горькая!

— Прочь! — приказал Чиклин всему семейству.

Молотобоец попробовал мальчишку за ухо, и тот вскочил с горшка, а медведь, не зная, что это такое, сам сел для пробы на низкую посуду.

Мальчик стоял в одной рубашке и, соображая, глядел на сидящего медведя.

— Дядь, отдай какашку! — попросил он, но молотобоец тихо зарычал на него, тужась от неудобного положения.

— Прочь! — произнес Чиклин кулацкому населению.

Медведь, не трогаясь с горшка, издал из пасти звук, и зажиточный ответил:

— Не шумите, хозяева, мы сами уйдем.

Молотобоец вспомнил, как в старинные года он корчевал пни на угодьях этого мужика и ел траву от безмолвного голода, потому что мужик давал ему пищу только вечером — что оставалось от свиней, а свиньи ложились в корыто и съедали медвежью порцию во сне. Вспомнив такое, медведь поднялся с посуды, обнял поудобнее тело мужика и, сжав его с силой, что из человека вышло нажитое сало и пот, закричал ему в голову на разные голоса — от злобы и наслышки молотобоец мог почти разговаривать.

Зажиточный, обождав, пока медведь отдастся от него, вышел как есть на улицу и уже прошел мимо окна снаружи, — только тогда баба помчалась за ним, а мальчик остался в избе без родных. Постояв в скучном недоумении, он схватил горшок с пола и побежал с ним за отцом-матерью.

— Он очень хитрый, — сказала Настя про этого мальчика, унесшего свой горшок.

Дальше кулак встречался гуще. Уже через три двора медведь зарычал снова, обозначая присутствие здесь своего классового врага. Чиклин отдал Настю молотобойцу и вошел в избу один.

— Ты чего, милый, явился? — спросил ласковый, спокойный мужик.

— Уходи прочь! — ответил Чиклин.

— А что, ай я чем не угодил?

— Нам колхоз нужен, не разлагай его!

Мужик не спеша подумал, словно находился в душевной беседе.

— Колхоз вам не годится...

— Прочь, гада!

— Ну что ж, вы сделаете изо всей республики колхоз, а вся республика-то будет единоличным хозяйством!

У Чиклина захватило дыхание, он бросился к двери и открыл ее, чтобы видна была свобода, — он также когда-то ударился в замкнувшуюся дверь тюрьмы, не понимая плена, и закричал от скрежещущей силы сердца. Он отвернулся от рассудительного мужика, чтобы тот не участвовал в его преходящей скорби, которая касается лишь одного рабочего класса.

— Не твое дело, стервец! Мы можем царя назначить, когда нам полезно будет, и можем сшибить его одним вздохом... А ты — исчезни!

Здесь Чиклин перехватил мужика поперек и вынес его наружу, где бросил в снег, мужик от жадности не был женатым, расходуя всю свою плоть в скоплении имущества, в счастье надежности существования, и теперь не знал, что ему чувствовать.

— Ликвидировали?! — сказал он из снега. — Глядите, нынче меня нету, а завтра вас не будет. Так и выйдет, что в социализм придет один ваш главный человек!

Через четыре двора молотобоец опять ненавистно за-

ревел. Из дома выскочил бедный житель с блином в руках. Но медведь знал, что этот хозяин бил его древесным корнем, когда он переставал от усталости водить жернов за бревно. Этот мужичишка заставил на мельнице работать вместо ветра медведя, чтобы не платить налога, а сам скулил всегда по-батрацки и ел с бабой под одеялом. Когда его жена тяжелела, то мельник своими руками совершал ей выкидыш, любя лишь одного большого сына, которого он давно определил в городские коммунисты.

— Покушай, Миша! — подарил мужик блин молотобойцу.

Медведь обернул блином лапу и ударил через эту прокладку кулака по уху, так что мужик вякнул ртом и повалился.

— Опорожняй батрацкое имущество! — сказал Чиклин лежачему. — Прочь с колхоза и не сметь более жить на свете!

Зажиточный полежал вначале, а потом опомнился.

— А ты покажешь мне бумажку, что ты действительное лицо!

— Какое я тебе лицо? — сказал Чиклин. — Я никто; у нас партия — вот лицо!

— Покажи тогда хоть партию, хочу рассмотреть.

Чиклин скудно улыбнулся.

— В лицо ты ее не узнаешь, я сам ее еле чувствую. Являйся нынче на плот, капитализм, сволочь!

— Пусть он едет по морям: нынче здесь, а завтра там, правда ведь? — произнесла Настя. — Со сволочью нам скучно будет!

Дальше Чиклин и молотобоец освободили еще шесть изб, нажитых батрацкой плотью, и возвратились на Оргдвор, где стояли в ожидании чего-то очищенные от кулачества массы.

Сверив прибывший кулацкий класс со своей расслоечной ведомостью, активист нашел полную точность и обрадовался действию Чиклина и кузнечного молотобойца. Чиклин также одобрил активиста.

— Ты сознательный молодец, — сказал он, — ты чуешь классы, как животное.

Медведь не мог выразиться и, постояв отдельно, пошел на кузню сквозь надающий снег, в котором жужжали мухи: одна только Настя смотрела ему вслед и жалела этого старого, обгорелого, как человека.

Прушевский уже справился с доделкой из бревен плота, а сейчас глядел на всех с готовностью.

— Гадость ты, — говорил ему Жачев. — Чего глядишь, как оторвавшийся? Живи храбрее — жми друг дружку, а деньги в кружку! Ты думаешь, это люди существуют? Ого! Это одна наружная кожа, до людей нам далеко идти, вот чего мне жалко!

По слову активиста кулаки согнулись и стали двигать плот в упор на речную долину. Жачев же пополз за кулачеством, чтобы обеспечить ему надежное отплытие в море по течению и сильнее успокоиться в том, что социализм будет, что Настя получит его в свое девичье приданое, а он, Жачев, скорее погибнет как уставший предрассудок.

Ликвидировав кулаков вдаль, Жачев не успокоился, ему стало даже труднее, хотя неизвестно отчего. Он долго наблюдал, как систематически уплывал плот по снежной текущей реке, как вечерний ветер шевелил темную мертвую воду, льющуюся среди охладелых угодий в свою отдаленную пропасть, и ему делалось скучно, печально в груди. Ведь слой грустных уродов не нужен социализму, и его вскоре также ликвидируют в далекую тишину.

Кулачество глядело с плота в одну сторону — на Жачева; люди хотели навсегда заметить свою родину и последнего, счастливого человека на ней.

Вот уже кулацкий речной эшелон начал заходить на повороте за береговой кустарник, и Жачев начал терять видимость классового врага.

— Эй, паразиты, прощай! — закричал Жачев по реке.

— Про-щай-ай! — отозвались уплывающие в море кулаки.

С Оргдвора заиграла призывающая вперед музыка; Жачев поспешно полез по глинистой круче на торжество колхоза, хотя и знал, что там ликуют одни бывшие участники империализма, не считая Насти и прочего детства.

Активист выставил на крыльцо Оргдвора рупор радио, и оттуда звучал марш великого похода, а весь колхоз вместе с окрестными пешими гостями радостно топтался на месте. Колхозные мужики были светлы лицом, как вымытые, им стало теперь ничего не жалко, безвестно и прохладно в душевной пустоте. Елисей, когда сме-

нилась музыка, вышел на среднее место, вдарил подошвой и затанцевал по земле, ничуть при этом не сгибаясь и не моргая белыми глазами; он ходил как стержень — один среди стоячих, — четко работая костями и туловищем. Постепенно мужики рассопелись и начали охаживать вокруг друг друга, а бабы весело подняли руки и пошли двигать ногами под юбками. Гости скинули сумки, кликнули к себе местных девушек и понеслись понизу, бодро шевелясь, а для своего угощенья целовали подружек-колхозниц. Радиомузыка все более тревожила жизнь; пассивные мужики кричали возгласы довольствия, более передовые всесторонне развивали дальнейший темп праздника, и даже обобществленные лошади, услышав гул человеческого праздника, пришли поодиночке на Оргдвор и стали ржать.

Снежный ветер утих; неясная луна выявилась на дальнем небе, опорожненном от вихрей и туч, на небе, которое было так пустынно, что допускало вечную свободу, и так жутко, что для свободы нужна была дружба.

Под этим небом, на чистом снегу, уже засиженном кое-где мухами, весь народ товарищески торжествовал. Давно живущие на свете люди и те стронулись и топтались, не помня себя.

— Эх ты, эсесерша наша мать! — кричал в радости один забвенный мужик, показывая ухватку и хлопая себя по пузу, щекам и по рту. — Охаживай, ребята, наше царство-государство: она незамужняя!

— Она девка иль вдова? — спросил на ходу танца окрестный гость.

— Девка! — объяснил двигающийся мужик. — Аль не видишь, как мудрит?!

— Пускай ей помудрится! — согласился тот же пришлый гость. — Пускай посдобничает! А потом мы из нее сделаем смирную бабу: добро будет!

Настя сошла с рук Чиклина и тоже топталась около мчавшихся мужиков, потому что ей хотелось. Жачев ползал между всеми, подсекая под ноги тех, которые ему мешали, а гостевому мужику, желавшему девочку-эсесершу выдать замуж мужику, Жачев дал в бок, что б он не надеялся.

— Не сметь думать что попало! Иль хочешь речной самотек заработать? Живо сядешь на плот!

Гость уж испугался, что он явился сюда.

— Боле, товарищ калека, ничто не подумаю. Я теперь шептать буду.

Чиклин долго глядел в ликующую гущу народа и чувствовал покой добра в своей груди; с высоты крыльца он видел лунную чистоту далекого масштаба, печальность замершего света и покорный сон всего мира, на устройство которого пошло столько труда и мученья, что всеми забыто, чтобы не знать страха жить дальше.

— Настя, ты не стынь долго, иди ко мне, — позвал Чиклин.

— Я ничуть не озябла, тут ведь дышат, — сказала Настя, бегая от ласково ревущего Жачева.

— Ты три руки, а то окоченеешь: воздух большой, а ты маленькая!

— Я уже их терла: сиди молчи!

Радио вдруг среди мотива перестало играть. Народ же остановиться не мог, пока активист не сказал:

— Стой до очередного звука!

Прушевский сумел в краткое время поправить радио, но оттуда послышалась не музыка, а лишь человек.

— Слушайте наши сообщения: заготовляйте ивовое корье!..

И здесь радио опять прекратилось. Активист, услышав сообщение, задумался для памяти, чтобы не забыть об ивово-корьевой кампании и не прослыть на весь район упущенцем, как с ним совершилось в прошлый раз, когда он забыл про организацию для кустарника, а теперь весь колхоз сидит без прутьев. Прушевский снова начал чинить радио, и прошло время, пока инженер охладевшими руками тщательно слаживал механизм; но ему не давалась работа, потому что он не был уверен — предоставит ли радио бедноте утешение и прозвучит ли для него самого откуда-нибудь милый голос.

Полночь, наверное, была уже близка; луна высоко находилась над плетнями и над смирной старческой деревней, и мертвые лопухи блестели, покрытые мелким смерзшимся снегом. Одна заблудившаяся муха попробовала было сесть на ледяной лопух, но сразу оторвалась и полетела, зажужжав в высоте лунного света, как жаворонок под солнцем.

Колхоз, не прекращая топчущейся, тяжкой пляски, тоже постепенно запел слабым голосом. Слов в этой песне понять было нельзя, но все же в них слышалось жалобное счастье и напев будущего человека.

— Жачев! — сказал Чиклин. — Ступай прекрати

движенье, умерли они, что ли, от радости: пляшут и пляшут.

Жачев уполз с Настей в Оргдом и, устроив ее там спать, выбрался обратно.

— Эй, организованные, достаточно вам танцевать: обрадовались, сволочь!

Но увлеченный колхоз не принял жачевского слова и веско топтался, покрывая себя песней.

— Заработать от меня захотели? Сейчас получите!

Жачев сполз с крыльца, внедрился среди суетящихся ног и начал спроста брать людей за нижние концы и опрокидывать для отдыха на землю. Люди валились, как порожние штаны; Жачев даже сожалел, что они, наверно, не чувствуют его рук и враз замолкают.

— Где же Вощев? — беспокоился Чиклин. — Чего он ищет вдалеке, мелкий пролетарий?

Не дождавшись Вощева, Чиклин пошел его искать после полуночи. Он миновал всю пустынную улицу деревни до самого конца, и нигде не было заметно человека, лишь медведь храпел в кузне на всю лунную окрестность да изредка покашливал кузнец.

Тихо было кругом и прекрасно. Чиклин остановился в недоуменном помышлении. По-прежнему покорно храпел медведь, собирая силы для завтрашней работы и для нового чувства жизни. Он больше не увидит мучившего его кулачества и обрадуется своему существованию. Теперь, наверно, молотобоец будет бить по подковам и шинному железу с еще большим сердечным усердием, раз есть на свете неведомая сила, которая оставила в деревне только тех средних людей, какие ему нравятся, какие молча делают полезное вещество и чувствуют частичное счастье; весь же точный смысл жизни и всемирное счастье должны томиться в груди роющего землю пролетарского класса, чтобы сердца молотобойца и Чиклина лишь надеялись и дышали, чтоб их трудящаяся рука была верна и терпелива.

Чиклин в заботе закрыл чьи-то распахнутые ворота, потом осмотрел уличный порядок — цело ли все, и, заметив пропадающий на дороге армяк, поднял его и снес в сени ближней избы: пусть хранится для трудового блага.

Склонившись корпусом от доверчивой надежды, Чиклин пошел по дворовым задам — смотреть Вощева дальше. Он перелезал через плетневые устройства, проходил

мимо глиняных стен жилищ, укреплял накренившиеся колья и постоянно видел, как от тощих загородок сразу начиналась бесконечная порожняя зима. Настя смело может застынуть в таком чужом мире, потому что земля состоит не для зябнущего детства; только такие, как молотобоец, могли вытерпеть здесь свою жизнь, и то поседели от нее. «Я еще не рождался, а ты уже лежала, бедная, неподвижная моя! — сказал вблизи голос Вощева, человека. — Значит, ты давно терпишь: иди греться!»

Чиклин повернул голову вкось и заметил, что Вощев нагнулся за деревом и кладет что-то в мешок, который был уже полон.

— Ты чего, Вощев?

— Так, — сказал тот и, завязав мешку горло, положил себе на спину этот груз.

Они пошли вдвоем ночевать на Оргдвор. Луна склонилась уже далеко ниже, деревня стояла в черных тенях, все глухо смолкло, лишь одна сгустившаяся от холода река шевелилась в обжитых сельских берегах.

Колхоз непоколебимо спал на Оргдворе. В Оргдоме горел огонь безопасности — одна лампа на всю потухшую деревню; у лампы сидел активист за умственным трудом, он чертил графы ведомости, куда хотел занести все данные бедняцко-середняцкого благоустройства, чтоб уже была вечная, формальная картина и опыт как основа.

— Запиши и мое добро! — попросил Вощев, распаковывая мешок.

Он собрал по деревне все нищие, отвергнутые предметы, всю мелочь безвестности и всякое беспамятство — для социалистического отмщения. Эта истершаяся терпеливая ветхость некогда касалась батрацкой, кровной плоти, в этих вещах запечатлена навеки тягость согбенной жизни, истраченной без сознательного смысла и погибшей без славы где-нибудь под соломенной рожью земли. Вощев, не полностью соображая, со скупостью скопил в мешок вещественные остатки потерянных людей, живших, подобно ему, без истины и которые скончались ранее победного конца. Сейчас он предъявлял тех ликвидированных тружеников к лицу власти и будущего, чтобы посредством организации вечного смысла людей добиться отмщения — за тех, кто лежит в земной глубине.

Активист стал записывать прибывшие с Вощевым

вещи, организовав особую боковую графу под названием «перечень ликвидированного насмерть кулака как класса, пролетариатом, согласно имущественно-выморочного остатка». Вместо людей активист записывал признаки существования: лапоть прошедшего века, оловянную серьгу от пастушьего уха, штанину из рядна и разное другое снаряжение трудящегося, но неимущего тела.

К тому времени Жачев, спавший с Настей на полу, сумел нечаянно разбудить девочку.

— Отверни рот: ты зубы, дурак, не чистишь, — сказала Настя загородившему ее от дверного холода инвалиду. — И так у тебя буржуи ноги отрезали, ты хочешь, чтоб и зубы попадали?

Жачев с испугом закрыл рот и начал гонять воздух носом.

Девочка потянулась, оправила теплый платок на голове, в котором она спала, но заснуть не могла, потому что разгулялась.

— Это утильсырье принесли? — спросила она про мешок Вощева.

— Нет, — сказал Чиклин, — это тебе игрушки собрали. Вставай выбирать.

Настя встала в свой рост, потопталась для развития и, опустившись на месте, обхватила раздвинутыми ногами зарегистрированную кучу предметов. Чиклин составил ей лампу со стола на пол, чтоб девочка лучше видела то, что ей понравится; активист же и в темноте писал без ошибки.

Через некоторое время активист спустил на пол ведомость, дабы ребенок пометил, что он получил сполна все нажитое имущество безродно умерших батраков и будет пользоваться им впрок. Настя медленно нарисовала на бумаге серп и молот и отдала ведомость назад.

Чиклин снял с себя стеганую ватную кофту, разулся и ходил по полу в чулках довольный и мирный, что некому теперь отнять у Насти ее долю жизни на свете, что течение рек идет лишь в пучины морские, и уплывшие на плоту не вернутся мучить молотобойца — Михаила; те же безымянные люди, от которых остались только лапти и оловянные серьги, не должны вечно тосковать в земле, но и подняться они не могут.

— Прушевский, — обратился Чиклин.

— Я, — ответил инженер, он сидел в углу, опершись туда спиной, и равнодушно дремал. Сестра ему давно

ничего не писала; если она умерла, то он решил уехать стряпать пищу на ее детей, чтобы истомить себя до потери души и скончаться когда-нибудь старым, привыкшим нечувствительно жить человеком, это одинаково, что умереть теперь, но еще грустнее; он может, если поедет, жить за сестру, дальше и печальней помнить ту прошедшую в его молодости девушку, сейчас уже едва ли существующую. Прушевский хотел, чтобы еще немного побыла на свете, хотя бы в одном его тайном чувстве, взволнованная юная женщина, забытая всеми, если погибла, стряпающая детям щи, если жива.

— Прушевский! Сумеют или нет успехи высшей науки воскресить назад сопревших людей?

— Нет, — сказал Прушевский.

— Врешь, — упрекнул Жачев, не открывая глаз. — Марксизм все сумеет. Отчего ж тогда Ленин в Москве целым лежит? Он науку ждет — воскреснуть хочет. А я б и Ленину нашел работу, — сообщил Жачев. — Я б ему указал, кто еще добавочно получить должен кое-что! Я почему-то любую стерву с самого начала вижу!

— Ты дурак потому что, — объяснила Настя, копаясь в батрацких остатках. — Ты только видишь, а надо трудиться. Правда ведь, дядя Вощев?

Вощев уже успел покрыться пустым мешком и лежал, прислушиваясь к биению своего бестолкового сердца, которое тянуло все его тело в какую-то нежелательную даль жизни.

— Неизвестно, — ответил Вощев Насте. — Трудись и трудись, а когда дотрудишься до конца, когда узнаешь, все, то уморишься и помрешь. Не расти, девочка, затоскуешь!

Настя осталась недовольна.

— Умирать должны одни кулаки, а ты — дурак. Жачев, сторожи меня опять, я спать захотела.

— Иди, девочка, — отозвался Жачев. — Иди ко мне от подкулачника; он заработать захотел — завтра получит!

Все смолкли, в терпении продолжая ночь, лишь активист немолчно писал, и достижения все более расстилались перед его сознательным умом, так что он уже полагал про себя: «Ущерб приносишь Союзу, пассивный дьявол, мог бы весь район отправить на коллективизацию, а ты в одном колхозе горюешь, пора уж целыми эшелонами население в социализм отправлять, а ты все узкими масштабами стараешься. Эх горе!»

Из лунной чистой тишины в дверь постучала чья-то негромкая рука, и в звуках той руки был еще слышен страх-пережиток.

— Входи, заседанья нету, — сказал активист.

— Да то-то, — ответил оттуда человек, не входя. — А я думал, вы думаете.

— Входи, не раздражай меня, — промолвил Жачев.

Вошел Елисей; он уже выспался на земле, потому что глаза его потемнели от внутренней крови, и окреп от привычки быть организованным.

— Там медведь стучит в кузне и песню рычит, весь колхоз глаза открыл, нам без тебя жутко стало!

— Надо пойти справиться, — решил активист.

— Я сам схожу, — определил Чиклин. — Сиди записывай получше: твое дело — учет.

— Это пока я дурак! — предупредил активиста Жачев. — Но скоро мы всех разактивим: дай только массам измучиться, дай детям подрасти!

Чиклин пошел в кузню. Велика и прохладна была ночь над ним, бескорыстно светили звезды над снежной чистотою земли, и широко раздавались удары молотобойца, точно медведь застыдился спать под этими ожидающими звездами и отвечал им чем мог. «Медведь — правильный пролетарский старик», — мысленно уважал Чиклин. Далее молотобоец удовлетворенно и протяжно начал рычать, сообщая вслух какую-то счастливую песню.

Кузница была открыта в лунную ночь на всю земную светлую поверхность, в горне горел дующий огонек, который поддерживал сам кузнец, лежа на земле и потягивая веревку мехом. А молотобоец, вполне довольный, ковал горячее шинное железо и пел песню.

— Ну никак заснуть не дает, — пожаловался кузнец. — Встал, разревелся, я ему горно зажег, а он и пошел бузовать... Всегда был покорен, а нынче как с ума сошел!

— Отчего ж такое? — спросил Чиклин.

— Кто его знает. Вчера вернулся с раскулачки, так все топтался и по-хорошему бурчал. Угодили, стало быть, ему. А тут еще проходил один подактивный — взял и материю пришил на плетень. Вот Михаил глядит все туда и соображает чего-то. Кулаков, дескать, нету, а красный лозунг от этого висит. Вижу, входит кто-то в его ум и там останавливается...

— Ну, ты спи, а я подую, — сказал Чиклин. Взяв веревку, он стал качать воздух в горн, чтобы медведь готовил шины на колеса для колхозной езды.

Поближе к утренней заре гостевые вчерашние мужики стали расходиться в окрестность. Колхозу же некуда было уйти, и он, поднявшись с Оргдвора, начал двигаться к кузне, откуда слышалась работа молотобойца. Прушевский и Вощев тоже явились со всеми совместно и глядели, как Чиклин помогает медведю. Около кузни висел на плетне возглас, нарисованный по флагу: «За партию, за верность ей, за ударный труд, пробивающий пролетариату двери в будущее».

Уставая, молотобоец выходил наружу и ел снег для своего охлаждения, а потом опять всаживал молоток в мякоть железа, все более увеличивая частоту ударов; петь молотобоец уже вовсе перестал — всю свою яростную безмолвную радость он расходовал в усердие труда, а колхозные мужики постепенно сочувствовали ему и коллективно крякали во время звука кувалды, чтоб шины были прочней и надежней. Елисей, когда присмотрелся, то дал молотобойцу совет:

— Ты, Миш, бей с отжошкой, тогда шина хрустка не будет и не лопнет. А ты лупишь по железу, как по стерве, а оно ведь тоже добро! Так — не дело!

Но медведь открыл на Елисея рот, и Елисей отошел прочь, тоскуя о железе. Однако и другие мужики тоже не могли более терпеть порчи.

— Слабже бей, черт! — загудели они. — Не гадь всеобщего: теперь имущество что сирота, пожалеть некому... Да тише ты, домовой!

— Что ты так содишь по железу?! Что оно — единоличное, что ль?

— Выйди остынь, дьявол! Уморись, идол шерстяной!

— Вычеркнуть его надо из колхоза, и боле ничего. Аль нам убытки терпеть на самом-то деле!

Но Чиклин дул воздух в горне, а молотобоец старался поспеть за огнем, и крушил железо как врага жизни, будто если нет кулачества, так медведь один есть на свете.

— Ведь это же горе! — вздыхали члены колхоза.

— Вот грех-то: все теперь лопнет! Все железо в скважинах будет!

— Наказание господне... А тронуть его нельзя — скажут, бедняк, пролетариат, индустриализация!..

— Это ничего. Вот если кадр, скажут, тогда нам за него плохо будет.

— Кадр — пустяк. Вот если инструктор приедет либо сам товарищ Пашкин, тогда нам будет жара!

— А может, ничего не станет? Может — бить?

— Что ты, осатанел, что ли? Он — союзный: намедни товарищ Пашкин специально приезжал — ему ведь тоже скучно без батраков.

А Елисей говорил меньше, но горевал почти что больше всех. Он и двор-то когда имел, так ночей не спал — все следил, как бы что не погибло, как бы лошадь не опилась — не объелась, да корова чтоб настроение имела, а теперь, когда весь колхоз, весь здешний мир отдан его заботе, потому что на других надеяться он опасался, теперь у него уже загодя болел живот от страха такого имущества.

— Все усохнем! — произнес молча проживший всю революцию середняк. — Раньше за свое семейство боялся, а теперь каждого береги — это нас вовсе замучает за такое иждивение.

Вощеву грустно стало, что зверь так трудится, будто чует смысл жизни вблизи, а он стоит на покое и не пробивается в дверь будущего: может быть, там действительно что-нибудь есть. Чиклин к этому времени уже кончил дуть воздух и занялся с медведем готовить бороньи зубы. Не сознавая ни наблюдающего народа, ни всего кругозора, двое мастеровых неустанно работали по чувству совести, как и быть должно. Молотобоец ковал зубья, а Чиклин их закаливал, но в точности не знал времени, сколько нужно держать в воде зубья без перекалки.

— А если зуб на камень наскочит?! — стеная, произнес Елисей. — Если он на твердь какую-либо заедет — ведь пополам зубок будет!

— Вынай, дьявол, железку из жидкого! — воскликнул колхоз. — Не мучай матерьял!

Чиклин вынул было из воды перетомленный металл, но Елисей уже вошел в кузню, отобрал у Чиклина клещи и начал закаливать зубья своими обеими руками. Другие организованные мужики также бросились внутрь предприятия и с облегченной душой стали трудиться над железными предметами с тою тщательной жадностью, когда

прок более необходим, чем ущерб. «Эту кузню надо запомнить побелить, — спокойно думал Елисей за трудом. — А то стоит вся черная — разве это хозяйское заведение?»

— Дайте я буду веревку все время дергать, — попросил Вощев у Елисея. — У вас воздух в горно тихо идет.

— Ну, дергай, — согласился Елисей. — Только не шибко, — веревка теперь дорога, а к новым мехам тоже с колхозной сумкой не подойдешь!

— Я буду потихоньку, — сказал Вощев и стал тянуть и отпускать веревку, забываясь в терпенье труда.

Приходило утро зимнего дня, и обычный свет сплошь распространялся по всему району. Лампа же все еще горела в Оргдворе, пока Елисей не заметил этого лишнего огня. Заметив же, он сходил туда и потушил лампу, чтоб керосин был цел.

Уже проснулись девушки и подростки, спавшие дотоле в избах; они, в общем, равнодушно относились к тревоге отцов, им было неинтересно их мученье, и они жили как чужие в деревне, словно томились любовью к чему-то дальнему. И домашнюю нужду они переносили без внимания, живя за счет своего чувства еще безответственного счастья, но которое все равно должно случиться. Почти все девушки и все растущее поколение с утра уходили в избу-читальню и там оставались не евши весь день, учась письму и чтению, счету чисел, привыкая к дружбе и что-то воображая в ожидании. Прушевский один остался в стороне, когда колхоз ухватился за кузню, и все время неподвижно был у плетня. Он не знал, зачем его прислали в эту деревню, как ему жить забытым среди массы, и решил точно назначить день окончания своего пребывания на земле; вынув книжку, он записал в нее поздний вечерний час глухого зимнего дня: пусть все улягутся спать, окоченелая земля смолкнет от шума всякого строительства, и он, где бы ни находился, ляжет вверх лицом и перестанет дышать. Ведь никакое сооружение, никакое довольство, ни милый друг, ни завоевание звезд — не превозмогут его душевного оскудения, он все равно будет сознавать тщетность дружбы, основанной не на превосходстве и не на телесной любви, и скуку самых далеких звезд, где в недрах те же медные руды и нужен будет тот же ВСНХ. Прушевскому казалось, что все чувства его, все влечения и давняя тоска встретились в рассудке и сознали самих себя до

самого источника происхождения, до смертельного уничтожения наивности всякой надежды. Но происхождение чувств оставалось волнующим местом жизни: умерев, можно навсегда утратить этот единственно счастливый, истинный район существования, не войдя в него. Что же делать, боже мой, если нет тех самозабвенных впечатлений, откуда волнуется жизнь и, вставая, протягивает руки вперед к своей надежде?

Прушевский закрыл лицо руками. Пусть разум есть синтез всех чувств, где смиряются и утихают все потоки тревожных движений, но откуда тревога и движенье? Он этого не знал, он только знал, что старость рассудка есть влеченье к смерти, это единственное его чувство, и тогда он, может быть, замкнет кольцо — он возвратится к происхождению чувств, к вечернему летнему дню своего неповторившегося свидания.

— Товарищ! Это ты пришел к нам на культурную революцию?

Прушевский опустил руки от глаз. Стороною шли девушки и юношество в избу-читальню. Одна девушка стояла перед ним — в валенках и в бедном платке на доверчивой голове, глаза ее смотрели на инженера с удивленной любовью, потому что ей была непонятна сила знания, скрытая в этом человеке; она бы согласилась преданно и вечно любить его, седого и незнакомого, согласилась бы рожать от него, ежедневно мучить свое тело, лишь бы он научил ее знать весь мир и участвовать в нем. Ничто ей была молодость, ничто свое счастье — она чувствовала вблизи несущееся, горячее движение, у нее поднималось сердце от ветра всеобщей стремящейся жизни, но она не могла выговорить слов своей радости и теперь стояла и просила научить ее этим словам, этому уменью чувствовать в голове весь свет, чтобы помогать ему светиться. Девушка еще не знала, пойдет ли с нею ученый человек, и неопределенно смотрела, готовая опять учиться с активистом.

— Я сейчас пойду с вами, — сказал Прушевский.

Девушка хотела обрадоваться и вскрикнуть, но не стала, чтобы Прушевский не обиделся.

— Идемте, — произнес Прушевский.

Девушка пошла вперед, указывая дорогу инженеру, хотя заблудиться было невозможно: однако она желала быть благодарной, но не имела ничего для подарка следующему за ней человеку.

Члены колхоза сожгли весь уголь в кузне, истратили все наличное железо на полезные изделия, починили всякий мертвый инвентарь и с тоскою, что кончился труд и как бы теперь колхоз не пошел в убыток, оставили заведение. Молотобоец утомился еще раньше — он вылез недавно поесть снегу от жажды, и пока снег таял у него во рту, медведь задремал и свалился всем туловищем вниз, на покой.

Вышедши наружу, колхоз сел у плетня и стал сидеть, озирая всю деревню, снег же таял под неподвижными мужиками. Прекратив трудиться, Вощев опять вдруг задумался на одном месте.

— Очнись! — сказал ему Чиклин. — Ляжь с медведем и забудься.

— Истина, товарищ Чиклин, забыться не может...

Чиклин обхватил Вощева поперек и сложил его к спящему молотобойцу.

— Лежи молча, — сказал он над ним, — медведь дышит, а ты не можешь! Пролетариат терпит, а ты боишься! Ишь ты, сволочь какая!

Вощев приник к молотобойцу, согрелся и заснул.

На улицу выскочил всадник из района на трепещущем коне.

— Где актив? — крикнул он сидящему колхозу, не теряя скорости.

— Скачи прямо! — сообщил путь колхоз. — Только не сворачивай ни направо, ни налево!

— Не буду! — закричал всадник, уже отдалившись, только сумка с директивами билась на его бедре.

Через несколько минут тот же конный человек пронесся обратно, размахивая в воздухе сдаточной книгой, чтоб ветер сушил чернила активистской расписки. Сытая лошадь, разметав снег и вырвав почву на ходу, срочно скрылась вдалеке.

— Какую лошадь портит, бюрократ! — думал колхоз. — Прямо скучно глядеть.

Чиклин взял в кузнице железный прут и понес его ребенку в виде игрушки. Он любил ей молча приносить разные предметы, чтобы девочка безмолвно понимала его радость к ней.

Жачев уже давно проснулся. Настя же, приоткрыв утомленный рот, невольно и грустно продолжала спать.

Чикин внимательно всмотрелся в ребенка — не поврежден ли он в чем со вчерашнего дня, цело ли полностью его тело; но ребенок был весь исправен, только

лицо его горело от внутренних младенческих сил. Слеза активиста капнула на директиву — Чиклин сейчас же обратил на это внимание. Как и вчера вечером, руководящий человек неподвижно сидел за столом. Он с удовлетворением отправил через районного всадника законченную ведомость ликвидации классового врага и в ней же сообщил все успехи деятельности; но вот спустилась свежая директива, подписанная почему-то областью через обе головы — района и округа, — и в лежащей директиве отмечались маложелательные явления нерегибщины, забеговщества, переусердщины и всякого сползания по правому и левому откосу с отточенной остроты четкой линии: кроме того, назначалось обнаружить выпуклую бдительность актива в сторону среднего мужика; раз он попер в колхозы, то не является ли этот генеральный факт таинственным умыслом, исполняемым по наущению подкулацких масс; дескать, войдем в колхозы всей бушующей пучиной и размоем берега руководства, на нас, мол, тогда власти не хватит, она уморится.

«По последним материалам, имеющимся в руке областного комитета, — значилось в конце директивы, — видно, например, что актив колхоза имени Генеральной Линии уже забежал в левацкое болото правого оппортунизма. Организатор местного коллектива спрашивает вышестоящуюся организацию: есть ли что после колхоза и коммуны более высшее и более светлое, дабы немедленно двинуть туда местные бедняцко-середняцкие массы, неудержимо рвущиеся в даль истории, на вершину всемирных невидимых времен. Этот товарищ просит ему прислать примерный устав такой организации, а заодно бланки, ручку с пером и два литра чернил. Он не понимает, насколько он тут спекулирует на искреннем в основном здоровом, середняцком чувстве тяги в колхозы. Нельзя не согласиться, что такой товарищ есть вредитель партии, объективный враг пролетариата и должен быть немедленно изъят из руководства навсегда».

Здесь у активиста дрогнуло ослабевшее сердце, и он заплакал на областную бумагу.

— Что ты, стервец? — спросил его Жачев.

Но активист не ответил ему. Разве он видел радость в последнее время, разве он ел или спал вдосталь или любил хоть одну бедняцкую девицу? Он чувствовал себя как в бреду, его сердце еле билось от нагрузки, он лишь снаружи от себя старался организовать счастье и хотя бы в перспективе заслужить районный пост.

— Отвечай, паразит, а то сейчас получишь! — снова проговорил Жачев. — Наверно, паразит, гад, нашу республику испортил!

Сдернув со стола директиву, Жачев начал лично изучать ее на полу.

— К маме хочу! — сказала Настя, пробуждаясь.

Чиклин нагнулся к заскучавшему ребенку.

— Мама, девочка, умерла, теперь я остался!

— А зачем ты меня носишь? Где четыре времени года? Попробуй, какой у меня страшный жар под кожей! Сними с меня рубашку, а то сгорит, выздоровлю — ходить не в чем будет!

Чиклин попробовал Настю, она была горячая, влажная, кости ее жалобно выступали изнутри; насколько окружающий мир должен быть нежен и тих, чтоб она была жива!

— Накрой меня, я спать хочу. Буду ничего не помнить, а то болеть ведь грустно, правда?

Чиклин снял с себя всю верхнюю одежду, кроме того, отобрал ватные пиджаки у Жачева и активиста и всем этим теплым веществом закутал Настю. Она закрыла глаза, и ей стало легко в тепле и во сне, будто она полетела среди прохладного воздуха. За текущее время Настя немного подросла и все более походила на мать.

— Я так и знал, что он сволочь, — определил Жачев про активиста. — Ну что ты будешь делать с этим членом?!

— А что там сообщено? — спросил Чиклин.

— Пишут то, что с ними нельзя не согласиться!

— А ты попробуй не согласись! — в слезах произнес активный человек.

— Эх, горе мне с революцией, — серьезно опечалился Жачев. — Где же ты, самая пущая стерва? Иди, дорогая, получить от увечного воина!

Почувствовав мысль и одиночество, не желая безответно тратить средства на государство и будущее поколение, активист снял с Насти свой пиджак; раз его устраняют, пусть массы сами греются. И с пиджаком в руке он стал посреди Оргдома — без дальнейшего стремления к жизни, весь в крупных слезах и в том сомнении души, что капитализм, пожалуй, может еще явиться.

— Ты зачем ребенка раскрыл? — спросил Чиклин. — Остудить хочешь?

— Плешь с ним, с твоим ребенком! — сказал активист.

Жачев поглядел на Чиклина и посоветовал ему:

— Возьми железку, какую из кузни принес!

— Что ты! — ответил Чиклин. — Я сроду не касался человека мертвым оружием: как же я тогда справедливость почувствую?

Далее Чиклин покойно дал активисту ручной удар в грудь, чтоб дети могли уповать еще, а не зябнуть. Внутри активиста раздался слабый треск костей, и весь человек свалился на пол; Чиклин же с удовлетворением посмотрел на него, будто только что принес необходимую пользу. Пиджак у активиста вырвался из рук и лежал отдельно, никого не покрывая.

— Накрой его! — сказал Чиклин Жачеву. — Пускай ему тепло станет.

Жачев сейчас же одел активиста его собственным пиджаком и одновременно пощупал человека — насколько он цел.

— Живой он? — спросил Чиклин.

— Так себе, средний, — радуясь, ответил Жачев. — Да это все равно, товарищ Чиклин: твоя рука работает как кувалда, ты тут ни при чем.

— А он горячего ребенка не раздевай! — с обидой сказал Чиклин. — Мог чаю скипятить и согреться.

В деревне поднялась снежная метель, хотя бури было не слышно. Открыв на проверку окно, Жачев увидел, что это колхоз метет снег для гигиены: мужикам не нравилось теперь, что снег засижен мухами, они хотели более чистой зимы.

Отделавшись на Оргдворе, члены колхоза далее трудиться не стали и поникли под навесом в недоумении своей дальнейшей жизни. Несмотря на то, что люди уже давно ничего не ели, их и сейчас не тянуло на пищу, потому что желудки были завалены мясным обилием еще с прошлых дней. Пользуясь мирной грустью колхоза, а также невидимостью актива, старичок кафельного завода и прочие неясные элементы, бывшие до того в заключении на Оргдворе, вышли из задних клетей и разных укрытых препятствий жизни и отправились вдаль по своим насущным делам.

Чиклин и Жачев прислонились к Насте с обоих боков, чтобы лучше ее беречь. От своего безвыходного тепла девочка стала вся смуглой и покорной, только ум ее печально думал.

— Я опять к маме хочу! — произнесла она, не открывая глаз.

— Нету твоей матери, — не радуясь, сказал Жачев. — От жизни все умирают — остаются одни кости.

— Хочу ее кости! — попросила Настя. — Ктой-то это плачет в колхозе?

Чиклин готовно прислушивался; но все было тихо кругом — никто не плакал, не от чего было заплакать. День уже дошел до своей середины, высоко светило бледное солнце над округом, какие-то далекие массы двигались по горизонту на неизвестное межселенное собрание — ничто не могло шуметь. Чиклин вышел на крыльцо. Тихое несознательное стенание пронеслось в безмолвном колхозе и затем повторилось. Звук начинался где-то в стороне, обращаясь в глухое место, и не был рассчитан на жалобу.

— Это кто? — крикнул Чиклин с высоты крыльца во всю деревню, чтоб его услышал тот недовольный.

— Это молотобоец скулит, — ответил колхоз, лежавший под навесом. — А ночью он песни рычал.

Действительно, кроме медведя, заплакать сейчас было некому. Наверно, он уткнулся ртом в землю и выл печально в глушь почвы, не соображая своего горя.

— Там медведь о чем-то тоскует, — сказал Чиклин Насте, вернувшись в горницу.

— Позови его ко мне, я тоже тоскую, — попросила Настя. — Неси меня к маме, мне здесь очень жарко!

— Сейчас, Настя. Жачев, ползи за медведем. Все равно ему работать здесь нечего — материала нету!

Но Жачев, только что исчезнув, уже вернулся назад: медведь сам шел на Оргдвор совместно с Вощевым; при этом Вощев держал его, как слабого, за лапу, а молотобоец двигался рядом с ним грустным шагом.

Войдя в Оргдом, молотобоец обнюхал лежачего активиста и сел равнодушно в углу.

— Взял его в свидетели, что истины нет, — произнес Вощев. — Он ведь только работать может, а как отдохнет, задумается, так скучать начинает. Пусть существует теперь как предмет — на вечную память, я всех угощу!

— Угощай грядущую сволочь, — согласился Жачев. — Береги для нее жалкий продукт!

Наклонившись, Вощев стал собирать вынутые Настей ветхие вещи, необходимые для будущего отмщения, в свой мешок, Чиклин поднял Настю на руки, и она открыла опавшие свои, высохшие, как листья, смолкшие гла-

за. Через окно девочка засмотрелась на близко приникших друг к другу колхозных мужиков, залегших под навесом в терпеливом забвении.

— Вощев, а медведя ты тоже в утильсырье понесешь? — озаботилась Настя.

— А то куда же? Я прах и то берегу, а тут ведь бедное существо!

— А их? — Настя протянула свою тонкую, как овечья ножка, занемогшую руку к лежачему на дворе колхозу.

Вощев хозяйственно поглядел на дворовое место и, отвернувшись оттуда, еще более поник своей скучающей по истине головою.

Активист по-прежнему неподвижно молчал на полу, пока задумавшийся Вощев не согнулся над ним и не пошевелил его из чувства любопытства перед всяким ущербом жизни. Но активист, притаясь или умерев, ничем не ответил Вощеву. Тогда Вощев присел близ человека и долго смотрел в его слепое открытое лицо, унесенное в глубь своего грустного сознания.

Медведь помолчал немного, а потом вновь заскулил, и на его голос весь колхоз пришел с Оргдвора в дом.

— Как же, товарищи активы, нам дальше-то жить? — спросил колхоз. — Вы горюйте об нас, а то нам терпежа нет! Инвентарь у нас исправный, семена чистые, дело теперь зимнее — нам чувствовать нечего. Вы уж постарайтесь!

— Некому горевать, — сказал Чиклин. — Лежит ваш главный горюн.

Колхоз спокойно пригляделся к опрокинутому активисту, не имея к нему жалости, но и не радуясь, потому что говорил активист всегда точно и правильно, вполне по завету, только сам был до того поганый, что когда все общество задумало его однажды женить, дабы убавить его деятельность, то даже самые незначительные на лицо бабы и девки заплакали от печали.

— Он умер, — сообщил всем Вощев, подымаясь снизу. — Все знал, а тоже кончился.

— А может, дышит еще? — усомнился Жачев. — Ты его попробуй, пожалуйста, а то он от меня ничего еще не заработал: я ему тогда добавлю сейчас!

Вощев снова прилег к телу активиста, некогда действовавшему с таким хищным значением, что вся всемирная истина, весь смысл жизни помещались в нем и

более нигде, а уж Вощеву ничего не досталось, кроме мученья ума, кроме бессознательности в несущемся потоке существования и покорности слепого элемента.

— Ах ты гад! — прошептал Вощев над этим безмолвным туловищем. — Так вот отчего я смысла не знал! Ты, должно быть, не меня, а весь класс испил, сухая душа, а мы бродим, как тихая гуща, и не знаем ничего!

И Вощев ударил активиста в лоб — для прочности его гибели и для собственного сознательного счастья.

Почувствовав полный ум, хотя и не умея еще произнести или выдвинуть в действие его первоначальную силу, Вощев встал на ноги и сказал колхозу:

— Теперь я буду за вас горевать!

— Просим!! — единогласно выразился колхоз.

Вощев отворил дверь Оргдома в пространство и узнал желанье жить в эту разгороженную даль, где сердце может биться не только от одного холодного воздуха, но и от истинной радости одоления всего смутного вещества земли.

— Вынесите мертвое тело прочь! — указал Вощев.

— А куда? — спросил колхоз. — Его ведь без музыки хоронить никак нельзя! Заведи хоть радио!..

— А вы раскулачьте его по реке в море! — догадался Жачев.

— Можно и так! — согласился колхоз. — Вода еще течет!

И несколько человек подняли тело активиста на высоту и понесли его на берег реки. Чиклин все время держал Настю при себе, собираясь уйти с ней на котлован, но задерживался происходящими условиями.

— Из меня отовсюду сок пошел, — сказала Настя. — Неси меня скорее к маме, пожилой дурак! Мне скучно!

— Сейчас, девочка, тронемся. Я тебя бегом понесу. Елисей, ступай кликни Прушевского — уходим, мол, а Вощев за всех останется, а то ребенок заболел.

Елисей сходил и вернулся один: Прушевский идти не захотел, сказал, что он всю здешнюю юность должен сначала доучить, иначе она может в будущем погибнуть, а ему ее жалко.

— Ну пускай остается, — согласился Чиклин. — Лишь бы сам цел был.

Жачев как урод не умел быстро ходить, он только полз; поэтому Чиклин сообразил сделать так, что Настю велел нести Елисею, а сам понес Жачева. И так они, спеша, отправились на котлован по зимнему пути.

— Берегите Медведева Мишку! — обернувшись, приказала Настя. — Я к нему скоро в гости приду!

— Будь спокойна, барышня! — пообещал колхоз.

К вечернему времени пешеходы увидели вдалеке электрическое освещение города. Жачев уже давно устал сидеть на руках Чиклина и сказал, что надо бы в колхозе лошадь взять.

— Пешие скорей дойдем, — ответил Елисей. — Наши лошади уж и ездить отвыкли: стоят с коих пор! У них и ноги опухли, ведь им только и ходу, что корма воровать.

Когда путники дошли до своего места, то увидели, что весь котлован занесен снегом, а в бараке было пусто и темно. Чиклин, сложив Жачева на землю, стал заботиться над разведением костра для согревания Насти, но она ему сказала:

— Неси мне мамины кости, я хочу их!

Чиклин сел против девочки и все время жег костер для света и тепла, а Жачева услал искать у кого-нибудь молоко. Елисей долго сидел на пороге барака, наблюдая ближний светлый город, где что-то постоянно шумело и равномерно волновалось во всеобщем беспокойстве, а потом свалился на бок и заснул, ничего не евши.

Мимо барака проходили многие люди, но никто не пришел проведать заболевшую Настю, потому что каждый нагнул голову и непрерывно думал о сплошной коллективизации.

Иногда вдруг наставала тишина, но затем опять пели вдалеке сирены поездов, протяжно спускали пар свайные копры, и кричали голоса ударных бригад, упершихся во что-то тяжкое, кругом беспрерывно нагнеталась общественная польза.

— Чиклин, отчего я всегда ум чувствую и никак его не забуду? — удивилась Настя.

— Не знаю, девочка. Наверно, потому, что ты ничего хорошего не видела.

— А почему в городе ночью трудятся и не спят?

— Это о тебе заботятся.

— А я лежу вся больная... Чиклин, положи мне мамины кости, я их обниму и начну спать. Мне так скучно стало сейчас!

— Спи, может, ум забудешь.

Ослабевшая Настя вдруг приподнялась и поцеловала склонившегося Чиклина в усы — как и ее мать, она умела первая, не предупреждая, целовать людей.

Чиклин замер от повторившегося счастья своей жизни и молча дышал над телом ребенка, пока вновь не почувствовал озабоченности к этому маленькому, горячему туловищу.

Для охранения Насти от ветра и для общего согревания Чиклин поднял с порога Елисея и положил его сбоку ребенка.

— Лежи тут, — сказал Чиклин ужаснувшемуся во сне Елисею. — Обними девочку рукой и дыши на нее чаще.

Елисей так и поступил, а Чиклин прилег в стороне на локоть и чутко слушал дремлющей головой тревожный шум на городских сооружениях.

Около полуночи явился Жачев; он принес бутылку сливок и два пирожных. Больше ему ничего достать не удалось, так как все новодействующие не присутствовали на квартирах, а шиковали где-то на стороне. Весь исхлопотавшись, Жачев решился в конце концов оштрафовать товарища Пашкина как самый надежный свой резерв; но и Пашкина дома не было — он, оказывается, присутствовал с супругой в театре. Поэтому Жачеву пришлось появиться на представлении, среди тьмы и внимания к каким-то мучающимся на сцене элементам и громко потребовать Пашкина в буфет, останавливая действие искусства. Пашкин мгновенно вышел, безмолвно купил для Жачева в буфете продуктов и поспешно удалился в залу представления, чтобы снова там волноваться.

— Завтра надо опять к Пашкину сходить, — сказал Жачев, успокаиваясь в дальнем углу барака, — пускай печку ставит, а то в этом деревянном эшелоне до социализма не доедешь!..

Рано утром Чиклин проснулся; он озяб и прислушался к Насте. Было чуть светло и тихо, лишь Жачев бурчал во сне свое беспокойство.

— Ты дышишь там, средний черт! — сказал Чиклин к Елисею.

— Дышу, товарищ Чиклин, а как же нет? Всю ночь ребенка теплом обдавал!

— Ну?

— А девчонка, товарищ Чиклин, не дышит: захолодала с чего-то!

Чиклин медленно поднялся с земли и остановился на месте. Постояв, он пошел туда, где лежал Жачев, посмотрел — не уничтожил ли калека сливки и пирожные,

потом нашел веник и очистил весь барак от скопившегося за безлюдное время разного налетевшего сора.

Положив веник на его место, Чиклину захотелось рыть землю; он взломал замок с забытого чулана, где хранился запасной инвентарь, и, вытащив оттуда лопату, не спеша направился на котлован. Он начал рыть грунт, но почва уже смерзлась, и Чиклину пришлось сечь землю на глыбы и выворачивать ее прочь целыми мертвыми кусками. Глубже пошло мягче и теплее; Чиклин вонзался туда секущими ударами железной лопаты и скоро скрылся в тишину недр почти во весь свой рост, но и там не мог утомиться и стал громить грунт вбок, разверзая земную тесноту вширь. Попав в самородную каменную плиту, лопата согнулась от мощности удара, тогда Чиклин зашвырнул ее вместе с рукояткой на дневную поверхность и прислонился головой к обнаженной глине.

В этих действиях он хотел забыть свой ум, а ум его неподвижно думал, что Настя умерла.

— Пойду за другой лопатой! — сказал Чиклин и вылез из ямы.

В бараке он, чтобы не верить уму, подошел к Насте и попробовал ее голову; потом он прислонил свою руку ко лбу Насти, проверяя его жизнь по теплу.

— Отчего ж она холодная, а ты горячий? — спросил Чиклин и не слышал ответа, потому что его ум теперь сам забылся.

Далее Чиклин сидел все время на земляном полу, и проснувшийся Жачев тоже находился с ним, храня неподвижно в руках бутылку сливок и два пирожных. А Елисеев, всю ночь без сна дышавший на девочку, теперь утомился и уснул рядом с ней и спал, пока не услышал ржущих голосов родных обобществленных лошадей.

В барак вошел Вощев, а за ним Медведев и весь колхоз; лошади же остались ожидать снаружи.

— Ты что? — увидел Вощева Жачев. — Ты зачем оставил колхоз иль хочешь, чтоб умерла вся наша земля? Иль заработать от всего пролетариата захотел? Так подходи ко мне — получишь как от класса!

Но Вощев уже вышел к лошадям и не дослушал Жачева. Он привез в подарок Насте мешок специально отобранного утиля в виде редких, непродающихся игрушек, каждая из которых есть вечная память о забытом человеке. Настя хотя и глядела на Вощева, но ничему не обрадовалась, и Вощев прикоснулся к ней, видя ее откры-

тый смолкший рот и ее равнодушное, усталое тело. Вощев стоял в недоумении над этим утихшим ребенком, он уже не знал, где же теперь будет коммунизм на свете, если его нет сначала в детском чувстве и в убежденном впечатлении? Зачем ему теперь нужен смысл жизни и истина всемирного происхождения, если нет маленького, верного человека, в котором истина стала бы радостью и движеньем?

Вощев согласился бы снова ничего не знать и жить без надежды в смутном вожделении тщетного ума, лишь бы девочка была целой, готовой на жизнь, хотя бы и замучилась с теченьем времени. Вощев поднял Настю на руки, поцеловал ее в распавшиеся губы и с жадностью счастья прижал ее к себе, найдя больше того, чем искал.

— Зачем колхоз привел? Я тебя спрашиваю вторично! — обратился Жачев, не выпуская из рук сливок и пирожных.

— Мужики в пролетариат хотят зачисляться, — ответил Вощев.

— Пусть зачисляются, — произнес Чиклин с земли. — Теперь надо еще шире и глубже рыть котлован. Пускай в наш дом влезет всякий человек из барака и глиняной избы. Зовите сюда всю власть и Прушевского, а я рыть пойду!

Чиклин взял лом и новую лопату и медленно ушел на дальний край котлована. Там он снова начал разверзать неподвижную землю, потому что плакать не мог, и рыл, не в силах устать, до ночи и всю ночь, пока не услышал, как трескаются кости в его трудящемся туловище. Тогда он остановился и глянул кругом. Колхоз шел вслед за ним и не переставая рыл землю; все бедные и средние мужики работали с таким усердием жизни, будто хотели спастись навеки в пропасти котлована. Лошади тоже не стояли — на них колхозники, сидя верхом, возили в руках бутовый камень, а медведь таскал этот камень пешком и разевал от натуги пасть.

Только один Жачев ни в чем не участвовал и смотрел на весь роющий труд взором прискорбия.

— Ты что сидишь, как служащий какой? — спросил его Чиклин, возвратившись в барак. — Взял бы хоть лопаты поточил!

— Не могу, Никит, я теперь ни во что не верю! — ответил Жачев в это утро второго дня.

— Почему, стервец?

— Ты же видишь, что я урод империализма, а ком-

мунизм — это детское дело, за то я и Настю любил... Пойду сейчас на прощанье товарища Пашкина убью.

И Жачев уполз в город, более уже никогда не возвратившись на котлован.

В полдень Чиклин начал копать для Насти специальную могилу. Он рыл ее пятнадцать часов подряд, чтоб она была глубока и в нее не сумел бы проникнуть ни червь, ни корень растения, ни тепло, ни холод и чтоб ребенка никогда не беспокоил шум жизни с поверхности земли. Гробовое ложе Чиклин выдолбил в вечном камне и приготовил еще особую в виде крышки, гранитную плиту, дабы на девочку не лег громадный вес могильного праха.

Отдохнув, Чиклин взял Настю на руки и бережно понес ее класть в камень и закапывать. Время было ночное, весь колхоз спал в бараке, и только молотобоец, почуяв движение, проснулся, и Чиклин дал ему прикоснуться к Насте на прощанье.

Декабрь 1929 — апрель 1930

ВПРОК

(Бедняцкая хроника)

В марте месяце 1930 года некий душевный бедняк, измученный заботой за всеобщую действительность, сел в поезд дальнего следования на московском Казанском вокзале и выбыл прочь из верховного руководящего города.

Кто был этот только что выехавший человек, который в дальнейшем будет свидетелем героических, трогательных и печальных событий? Он не имел чудовищного, в смысле размеров и силы, сердца и резкого, глубокого разума, способного прорывать колеблющуюся пленку явлений, чтобы овладеть их сущностью.

Путник сам сознавал, что сделан он из телячьего материала мелкого настороженного мужика, вышел из капитализма и не имел благодаря этому правильному сознанию ни эгоизма, ни самоуважения. Он походил на полевого паука, из которого вынута индивидуальная, хищная душа, когда это ветхое животное несется сквозь пространство лишь ветром, а не волей жизни. И, однако, были моменты времени в существовании этого человека, когда в нем вдруг дрожало сердце, и он со слезами на глазах, с искренностью и слабохарактерностью выступал на защиту партии и революции в глухих деревнях республики, где еще жил и косвенно ел бедноту кулак.

У такого странника по колхозной земле было одно драгоценное свойство, ради которого мы выбрали его глаза для наблюдения, именно: он способен был ошибиться, но не мог солгать и ко всему громадному обстоятельству социалистической революции относился настолько бережно и целомудренно, что всю жизнь не умел найти слов для изъяснения коммунизма в собственном уме. Но польза его для социализма была от этого не велика, а

ничтожна, потому что сущность такого человека состояла, приблизительно говоря, из сахара, разведенного в моче, тогда как настоящий пролетарский человек должен иметь в своем составе серную кислоту, дабы он мог сжечь всю капиталистическую стерву, занимающую землю.

Если мы в дальнейшем называем путника как самого себя («я»), то зто — для краткости речи, а не из признания, что безвольное созерцание важнее напряжения и борьбы. Наоборот, в наше время бредущий созерцатель — зто, самое меньшее, полугад, поскольку он не прямой участник дела, создающего коммунизм. И далее — даже настоящим созерцателем, видящим истинные вещи, в наше время быть нельзя, находясь вне труда и строя пролетариата, ибо ценное наблюдение может произойти только из чувства кровной работы по устройству социализма.

Итак, этот человек поехал в отдаленные черноземные равнины, где у открытых водоемов стоят, обдуваемые ветром, глиносоломенные избы мелкоимущественных бедняков.

Езда в вагоне изменилась. Ранее в окно можно было наблюдать лишь пустынность страны, лишь разрозненность редких деревень, расположенных так робко и временно, будто они были сиротами в чужой земле и постоянно готовы исчезнуть. Некогда зто были лишь постои бредущего народа, не верующего в свою местную судьбу, ожидающего, когда ему повелят стронуться дальше, где еще хуже.

Теперь же по бокам железной дороги строились различные пункты, предприятия, конторы, башни, а ярославские и амовские автомобили усердно возили материалы по губительной немощеной земле. Люди стояли на кирпичных кладках и заботливо старались трудиться, уже навсегда осваивая зти порожние убыточные пространства.

На многие сотни километров строящаяся республика не меняла своего беспокойного лица, сияющего свежим тесом на вечернем солнце. Везде можно было видеть железные и кирпичные приспособления для деревенского общественного хозяйства или целые корпуса благодетельных заводов.

— Сколько травы навсегда скроется, — сказал один добровольно живущий старичок, ехавший попутно со

мной, — сколько угодий пропадет под кирпичной тяжестью!

— Порядочно, — ответил ему другой человек, имеющий среднее тамбовское лицо, может быть, житель бывшего Шацкого уезда. Он тоже пристально наблюдал всякое строительство в оконное стекло и шептал что-то с усмешкой гада, швыряя между тем какие-то кусочки из своего пищевого мешка в рот. Этот житель старой глухой земли не признавал, наверно, научного социализма, он бы охотно положил пятак в кружку сборщика на построение храма и вместо радио всю жизнь слушал бы благовест. Он верил, судя по покойному счастью на его лице, что древние вещества мира уничтожат революцию, — поэтому он глядел не только на новостроящуюся республику, но также на овраги, на могучие обнажения глины, на встречных нищих, на растущие деревья, на ветер на небе — на весь мертвый порожняк природы, потому что этого дела слишком много и оно, дескать, не может быть истреблено революцией, как она ни старайся. Ветхое лежачее вещество все равно, мол, задавит советский едкий поток своим навалом и прахом. Имея такое духовное предвидение, тамбовский человек скушал еще немного кое-чего и от внутренней покойной расположенности чувств вздохнул, как будущий праведник.

— Бывало, едет воз с молоком, — произнес попутный старичок, — телега вся скрипит, сам хозяин пешком идет, а на возу его баба разгнездилась. А теперь только холодный инвентарь перебрасывают!

— Тракторы горячие, а жизнь прохладная, — сказал тамбовский по лицу человек.

— Вот то-то и горе, — враз согласился старичок.

— Не горюйте, — посоветовал сверху неизвестный человек, лежавший там на голых досках. — Оставьте горе нам.

— Да как хочешь, я ничего! — испугался старичок.

— Да и я тоже ничего не говорил, — предупредил тамбовский житель.

— Бери молоко, — сказал верхний человек и опустил в красноармейской фляжке этот напиток. — Пей и не скули!

— Да мы сыты, кушай сам, ради бога, — отказался старичок.

— Пей, — говорит, — пока я не слез! Я же слышал, ты по молоку скучал.

Старичок в страхе попил молочка и передал фляжку тамбовцу — тот тоже напился.

Вскоре с верхней полки слез сам хозяин молока; он был в старом красноармейском обмундировании, доставшемся ему по демобилизации, и обладал молодым нежным лицом, хотя уже утомленным от ума и деятельности. Он сел на край лавки и закурил.

— Люди говорят, на табак скоро нехватка будет, — высказался старичок. — Семашка не велел больше желчное семя разводить, чтобы пролетариат жил чистым воздухом.

— На — закуривай! — дал бывший красноармеец папиросу старику.

— Я, товарищ, не занимаюсь.

— Кури, тебе говорят!

Старичок закурил из уваженья, не желая иметь опасности от встречного человека. Красноармеец заговорил со мной.

— С ними едешь?

— Нет, я один.

— А сам-то кто будешь?

— Электротехник.

— Ну, здравствуй, — обрадовался красноармеец и дал мне свою руку.

Я для него был полезный кадр, и сам тоже обрадовался, что я нужный человек.

— А ты утром не соскочишь со мной? Ты бы в нашем колхозе дорог был: у нас там солнце не горит.

— Соскочу, — ответил я.

— Постой, а куда ж ты тогда едешь?

— Да мне хоть некуда — где понадоблюсь, там и выйду из вагона.

— Это хорошо, это нам полезно. А то все, понимаешь, заняты! Да еще смеются, гады, когда скажешь, что над нашим колхозом солнце не горит! А отчего ты не смеешься?

— А может, мы зажжем ваше солнце? Там увидим — плакать или смеяться.

— Ну, раз ты так говоришь, то зажгем! — радостно воскликнул мой новый товарищ. — Хочешь, я за кипятком сбегаю? Сейчас Рязань будет.

— Мы вместе пойдем.

— Ты бы ярлык носил на картузе, что электротехник. А то я думал — ты подкулачник: у тебя вид скверный.

Утром мы сошли с ним на маленькой станции. Внутри станции был бедный пассажирский зал, от одного вида которого, от скуки и общей невзрачности у всякого человека заболевал живот. По стенам висели роскошные плакаты, изображающие пароходы, самолеты и курьерские поезда, плакаты призывали к далеким благополучным путешествиям и показывали задумчивых, сытых женщин, любующихся синей волжской водой, а также обильной природой на берегах.

В этом пассажирском зале присутствовал единственный человек, жевавший хлеб из сумки.

— Сидишь? — спросил его дежурный по станции, возвращаясь от ушедшего поезда. — Когда ж ты тронешься? Уже третья неделя пошла, как ты приехал.

— Ай я тебе мешаю, что ль? — ответил этот оседлый пассажир. — Чего тебе надо? Пол я тебе мету, окна протираю; намедни ты заснул, а я депешу принял и вышел, без шапки постоял, пока поезд промчался. Я живу у тебя нормально.

Дежурный больше не обижал пожилого человека.

— Ну живи дальше. Я только боюсь, ты пробудешь здесь еще месяца четыре, а потом потребуешь штата.

— Стат мне не нужен, — отказался пассажир. — С документами скорее пропадешь, а без бумажки я всегда проживу на самую слабую статью, потому что обо мне ничего не известно.

Мой спутник, демобилизованный красноармеец товарищ Кондров остановился от такого разговора.

— Имей в виду, — сказал он дежурному, — ты работаешь, как стервец; теперь у меня будет забота о тебе.

С этим мы вышли на полевую колесную дорогу. Голая природа весны окружила нас, сопротивляясь ветром в лицо, но нам было это не трудно.

Через несколько часов пешеходной работы мы остановились у входных ворот деревни, устроенных в виде триумфальной дуги, на которых было написано: «С.-х. коллектив «Доброе начало». Сам колхоз расположился по склону большой балки, внизу же ее протекал ручей, работавший круглый год. Избы колхоза были обыкновенно деревенскими, все имущественное оборудование было давним и знакомым, только люди показались мне неизвестными. Они ходили во множественном числе по всем местам деревни, щупали разные предметы, подвинчива-

ли гайки на плугах, дельно ссорились и серьезно размышляли. Общим чувством всего населения колхоза была тревога и забота, и колхозники старались уменьшить свою тревогу перед севом рачительной подготовкой. Каждый считал для пользы дела другого дураком и поэтому проверял гайки на всех плугах, только своею собственной рукой. Я слышал краткие собеседования.

— Ты смотрел спицы на сеялках?

— Смотрел.

— Ну и что ж?

— Кои шатались, те починил.

— Починил? Знаю я, как ты починишь! Надел с утра рубаху-баян и ходит! Дай-ка я сам схожу — сызнова починю.

Тот, на котором была рубаха-баян (о сорока пуговицах, напоминающих кнопки гармонии), ничего не возразил, а лишь вздохнул, что никак не мог угодить на колхозных членов.

— Васьк, ты бы сбегал лошадей посмотреть!

— А чего их глядеть? Я глядел: стоят, овес жуют, который день, аж салом подернулись.

— А ты все-таки сбегай их проведать!

— Да чего бегать-то, лысый человек? Чего зря колхозные ноги бить?

— Ну, так: поглядишь на их настроенье, прибежишь — скажешь.

— Вот дьявол жадный, — обиделся моложавый Васька. — Ведь я все кулачество по найму прошел, а так сроду не мотался.

— Чудак: у кулака было грабленое, а у нас кровное.

В конце концов Васька пошел все-таки глядеть на настроенье общественных лошадей.

— Граждане, — сказал подошедший человек с ведром олеонафта; из этого ведра он мазал все железные движущиеся и неподвижные части по колхозу, страшась, что они погибнут от ржави и трения. — Граждане, вчерашний день Серега опять цигарки с огнем швырял куда попало. Сообщаю это, а то будет пожар!

— Брешешь, смазчик, — возразил присутствовавший здесь же громадный Серега. — Я их заплевывал.

— Заплевывал, да мимо, — спорил смазчик, — а огонь сухим улетал.

— Ну ладно, будет зудеть, — смирился Серега. —

Ты сам ходишь олеонафтом наземь капаешь, а он ведь на общие средства куплен.

— Граждане, он нагло и по-кулацки врет. Пускай хоть одну каплю где-нибудь сыщет. Что он меня мучает!

— Будя вам, — сказал Кондров, — не пересобачивайте общие заботы. Ты, Серега, кури скромней, а ты — капать капай, — колхозу капля не ужасна, а вот мажь — где нужно, а не где сухо. Зачем ты шины-то на телегах мажешь?

— Ржави боюсь, товарищ Кондров, — ответил смазчик. — Я прочитал, что ржавь — это тихий огонь, а товарищ Куйбышев по радио говорил — у нас голод на железо: я и скуплюсь на него.

— Соображай до конца, — объяснил смазчику Кондров, — олеонафт тоже железными машинами добывается. А раз ты зря его тратишь, то в Баку машины напрасно идут.

— Ну? — испугался смазчик и сел в удивлении на свое ведро: он думал, что олеонафт — это просто себе густая жидкость.

— Петька, — сказал малому лысый мужичок, тот, что услал Ваську к лошадям. — Пойди, ради бога, все избы обежи — пускай бабы вьюшки закроют, а то тепло улетучится.

— Да теперь не холодно, — сообщил Серега.

— Все равно: пусть бабы привыкают беречь сгоревшее добро, им эта наука на зиму годится.

Петька безмолвно побежал приказывать бабам про вьюшки.

— Слухай, дядя Семен! Ты чего ж вчера сено от моей кобылы отложил, а к своему мерину подсунул? Ишь ты, средний дьявол какой, — знать, колхоз тебе не по диаметру!

Дядя Семен стоял, помутившись лицом.

— Привык к мерину, — сказал он, — впоследствии войду — он сопит на меня и глазами моргает, а кругом норма — скотину нечем поласкать, вот и положил твое сено.

— А ты теперь к человеку привыкай, тогда тебя все меренья уважать будут!..

— Буду привыкать, — грустно пообещал дядя Семен.

— Не то пойти крышку на колодезь сделать? — произнес Серега, стоявший без занятия.

— Пойди, дорогой, пойди. С малолетства с мелкими

животными воду пьем. Может, при хорошей воде харчей есть меньше станем.

Отошедши с Кондровым в глубь колхоза, я обнаружил, что вправо от деревни, на незасеянной высоте склона стоит новая деревянная каланча, метров в десять-двенадцать. Наверху каланчи блестело жестяное устройство, бывшее, судя по форме, рефлектором; причем оно было поставлено так, что должно направлять лучи неизвестного источника света целиком в сторону колхоза.

— Вон наше солнце, которое не горит, — сказал мне Кондров, указав на каланчу. — Ты есть хочешь?

— Хочу. А у вас есть запасы?

— Хватит. Прошлый год осень была большевицкая — все родилось.

Поев разного добра в попутной избе, в которой висела электрическая лампочка, мы пошли с Кондровым не на каланчу, а к ручью. На ручье, около кустарной запруды, помещался дубовый амбар с сильным мельничным пошвенным колесом; запруда служила, очевидно, для сбора запаса воды.

— Наливное колесо у вас работало бы полезней! — сказал я.

— Ну что ж, ты только скажи, как нужно сделать, а мы будем его делать, — ответил мне Кондров.

Мне стало печально и тревожно близ такого человека: ведь он за маленькое знание отдаст что угодно; а с другой стороны, его всякая вредительская стерва может легко обмануть и повести на гибель, доказав предварительно, что она знает в своей голове алгебру и механику.

Кондров отомкнул амбар. Никакой мельницы в амбаре не было, там стояла небольшая динамо-машина, и больше ничего. На валу водяного колеса имелся деревянный шкив, с которого посредством ремня снималась сила на динамо-машину. Обследование установило, что водяное колесо способно было дать через динамо-машину мощность, достаточную, чтобы в колхозе горело двадцать тысяч экономических электрических свечей, или сорок тысяч тех же свечей в полуваттных лампах. При переделке водяного колеса с пошвенного на наличное мощность всей установки можно было повысить по крайней мере на одну треть; динамо-машина же была рассчитана на сорок лошадиных сил и могла терпеть много нагрузки.

— А наше солнце, понимаешь, не горит! — горестно проговорил надо мною Кондров. — Оно потухло.

Провода из амбара тянулись по ракитам, по плетням, по стенам изб и, ответвляясь на попутный колхоз, отправлялись к солнцу. Мы тоже пошли на солнце. Провода всюду были достаточно исправны, на самом солнце я тоже не мог заметить чего-либо порочного. Особенно меня удовлетворил жестяной рефлектор: его отражающие поверхности имели такую хорошо сосчитанную кривизну, что всю светосилу отправляли ровно на колхоз и на его огородные угодья, ничего не упуская вверх или в бесполезные стороны. Источник света представлял из себя деревянный диск, на котором было укреплено сто стосвечных полуваттных ламп, то есть общая светлая мощность солнца равнялась десяти тысячам свечей. Кондров говорил, что этого все же мало — немедленно нужно добиться света по крайней мере в сорок тысяч свечей; особенно удобен был бы, конечно, прожектор, но его невозможно приобрести.

— Сейчас я схожу пущу колесо и динамо, и ты увидишь, что наше солнце не горит! — огорченно сказал мне Кондров.

Он сходил и пустил — и солнце действительно не загорелось. Я стоял на каланче в недоумении. Ток в главных проводах был, колхозники собрались под каланчой и обсуждали доносившийся до меня вопрос.

— Власть у нас вся научная, а солнце не светит!

— Вредительство, пожалуй что!

— Сколько строили, думали — у нас пасмурности не будет, букеты распустятся, а оно стоит холодное!

— Это же горе! Как встанешь, глянешь, что оно не светит, так и загорюешь весь от головы вниз!

— Вон старики наши перестали верить в бога, а как солнце не загорелось, то они опять начали креститься.

— Дедушка Павлик обещал ликвидировать бога как веру, если огонь вспыхнет на каланче. Он тогда в электричество как в бога обещал поверить.

— А горело это солнце хоть раз? — спросил я у народа.

— Горело почти что с полчаса! — сказал народ и заотвечал дальше, споря сам с собой.

— Больше горело: не бреши!

— Меньше — я обрадоваться не успел!

— Как же меньше, когда у меня слезы от яркости потекли?!

— Они у тебя и от лампадки текут.

— Ярко горело? — спросил я.

— Роскошно, — закричали некоторые.

— У нас раздался было научный свет, да жалко, что кончился, — сказал знакомый мне смазчик.

— А нужно вам электрическое солнце? — поинтересовался я.

— Нам оно впрок; ты прочитай формальность около тебя.

Я оглянулся и увидел бумажную рукопись, прибитую гвоздями к специальной доске. Вот этот смысл на той бумаге:

«Устав для действия электросолнца в колхозе «Доброе начало»:

1. Солнце организуется для покрытия темного и пасмурного дефицита небесного светила того же названия.

2. Колхозное солнце соблюдает свет над колхозом с шести часов утра до шести часов вечера каждый день и круглый год. При наличии стойкого света природы колхозное солнце выключается, при отсутствии его включается вновь.

3. Целью колхозного солнца является спускание света для жизни, труда и культработы колхозников, полезных животных и огородов, захватываемых лучами света.

4. В ближайшее время простое стекло на солнце надо заменить научным, ультрафиолетовым, которое развивает в освещенных людях здоровье и загар. Озаботиться товарищу Кондрову.

5. Колхозное электросолнце в то же время культурная сила, поскольку некоторые старые члены нашего колхоза и разные верующие остатки соседних колхозов и деревень дали письменное обязательство — перестать держаться за религию при наличии местного солнца. Электросолнце также имеет то прекрасное значение, что держит на земле постоянно яркий день и не позволяет скучиваться в настроеньях колебанию, невежеству, сомнению, тоске, унылости и прочим предрассудкам и тянет всякого бедняка и середняка к познанию происхождения всякой силы света на земле.

6. Наше электросолнце должно доказать городам, что советская деревня желает их дружелюбно догнать и перегнать в технике, науке и культуре, и выявить, что и в городах необходимо устроить районное общественное солнце, дабы техника всюду горела и гремела по нашей стране.

7. Да здравствует ежедневное солнце на советской земле!»

Все это было совершенно правильно и хорошо, и я обрадовался этому действительному строительству новой жизни. Правда, было в таком явлении что-то трогательное и смешное, но это была трогательная неуверенность детства, опережающего тебя, а не падающая ирония гибели. Если бы таких обстоятельств не встречалось, мы бы никогда не устроили человечества и не почувствовали человечности, ибо нам смешон новый человек, как Робинзон для обезьяны; нам кажутся наивными его занятия, и мы втайне хотим, чтобы он не покинул умирать нас одних и возвратился к нам. Но он не вернется, и всякий душевный бедняк, единственное имущество которого — сомнение, погибнет в выморочной стране прошлого.

Кондров вернулся.

— Ты, наверно, в Москву ездил за ультрафиолетовыми лампами? — спросил я его.

— За ними, — ответил он, — сказали, что еще не продаются, все только собираются делать их, чешутся чего-то!

— Ты где был, когда начало гореть солнце и потухло?

— Здесь же, на солнце.

— Жарко было около диска?

— Ужасно!

Я зашел за диск и начал проверять всю проводку, но проверять ее было нечего: вся изоляция на проводах сотлела, все провода покоились на коротком замыкании, а входные предохранители, конечно, перегорели. Всю эту оснастку делал, оказывается, кузнец из другой деревни, соответственно одной лишь своей сообразительности.

По общему решению, с Кондровым мы сделали полный анализ негорению солнца, а затем сообщили свое мнение присутствовавшим близ нас членам колхоза. Наше мнение было таково: солнце потухло от страшной световой жары, которая испортила провода, стало быть, нужно реже посадить лампы на диске.

— Не нужно! — отверг задний середняк. — Вы не понимаете. Вы поставьте на жесть какие-либо сосуды с водой, вода будет остужать жару, а нам для желудка придется кипяченая вода.

Слово середняка, стоявшего позади, было разумно и приемлемо для дела; если на рефлекторе устроить водя-

ную рубашку, то жесть будет холодить провода, кроме того, каждый час можно получать по ведру кипятку.

— Ну как? — спросил меня Кондров среди общего задумавшегося молчания.

— Так будет верно, — ответил я.

— Крутильно-молотильную бригаду прошу подойти ко мне! — громко произнес Кондров.

Эта бригада была наиболее упорной в любом тяжком, срочном или малоизвестном труде. Вчера она только что закончила сплошную очистку семян и, проспав двадцать часов, теперь постепенно подошла к Кондрову.

Под солнечной каланчой мы устроили производственное совещание, на котором выяснили все части и материалы для рационализации солнца, а также способ переделки повешенного водобойного колеса на наличное сверху.

После того мне дали освобождение, и я заинтересовался здешней классовой борьбой. За этим я пошел в избу-читальню, зная, что культурная революция у нас часто идет по раскулаченным местам. Так и оказалось: изба-читальня занимала дом старинного, векового кулака Семена Верещагина, до своей ликвидации единолично и зажиточно хозяйствовавшего на хуторе Перепальном сорок лет (в ожидании того, как назваться колхозом «Доброе начало», деревня называлась хутором Перепальным). Верещагин и ему подобный его сосед Ревушкин жили не столько за счет своих трудов, сколько за счет своей особой мудрости.

С самого начала советской власти Верещагин выписывал четыре газеты и читал в них все законы и мероприятия с целью пролезть между ними в какое-либо узкое и полезное место. И так долго и прочно существовал Семен Верещагин, притаясь и мудрствуя. Однако его привела в смущение в последнее время дешивизна скота, а Верещагин исстари занимался негромкими барышами на скупке и перепродаже чужой скотины. Долго искал Верещагин каких-либо законов на этот счет, но газеты говорили лишь что-то косвенное. Тогда Верещагин решил использовать и самую косвенность. Он вспомнил в уме, что его лошадь стоит нынче на базаре рублей тридцать, а застрахована за сто семнадцать. А тут еще колхоз вот-вот грянет, и тогда лошадь станет вовсе как бы не скот и не предмет. Целыми длинными днями сидел Верещагин на лавке и грустно думал, хитря одним желтым глазом.

«Главное, чтобы государство меня не услышало, — соображал он. — Что-то я нигде не читал, чтобы лошадей мучить нельзя было: значит — можно. Как бы только Осоавиахим не встрял; да нет, его дело аэропланы!»

И Верещагин сознательно перестал давать пищу лошади. Он ее привязал намертво к стойлу веревками и давал только воду, чтобы животное не кричало и не привлекало бдительного слуха соседей.

Так прошла неделя. Лошадь исчахла и глядела почти что по-человечьи. А когда приходил к ней Верещагин, то она даже открывала рот, как бы желая произнести томящее ее слово.

И еще прошла неделя или десятидневка. Верещагин — для ускорения кончины лошади — перестал ей давать и воду. Животное поникло головой и беспрерывно хрипело от своей тоски.

— Кончайся, — приказывал коню Верещагин. — А то советская власть ухватлива. Того и гляди о тебе вспомнит.

А лошадь жила и жила, точно в ней была какая-то идейная устойчивость.

На двадцатый день, когда у коня уже закрылись глаза, но еще билось сердце, Верещагин обнял свою лошадь за шею и по истечении часа задушил ее. Лошадь через два часа остыла.

Верещагин тихо улыбнулся над побежденным государством и пошел в избу — отдохнуть от волнения нервов.

Дней через десять он отправился получить за павшую лошадь страховку, как только сельсовет дал ему справку, что конь погиб от желудочного томления.

За вырученные сто рублей Верещагин купил на базаре три лошади и, как сознательный гражданин, застраховал это поголовье в окружной конторе Госстраха.

Пропустив месяц и не услышав, чтобы государство зашумело на него, Верещагин перестал кормить и новых трех лошадей. Через месяц он теперь будет иметь двести рублей чистого дохода, а тамо еще, и так далее — до бесконечности избытка.

Прикрутив лошадей веревками к стойлам, Верещагин стал ждать их смерти и своего дохода.

Однако дворовая собака Верещагина тоже не сидела с убытками — она начала отрывать от омертвелых лошадей задние куски, так что лошади пытались шагать

от боли, и таскала мясные куски по чужим дворам, чтобы прятать. Собаку крестьяне заметили, и вскоре сельсовет во всем составе, во главе с Кондровым, пришел к Верещагину, чтобы обнаружить у него склад говядины. Склада сельсовет никакого не нашел, а ночью прибежала во двор Верещагиных целая стая чужих собак, и, присев, эти дворовые животные стали выть.

На другой день левый бедняцкий сосед Верещагина перелез через плетень и увидел трех изодранных собаками умирающих лошадей.

Верещагин тоже не спал, а думал. Он уже с утра пошел взять справку о трех своих павших лошадях, которых он купил, дескать, лишь для того, чтобы отдать в организующуюся лошадиную колонну, но вышла одна божья воля. Кондров поглядел на Верещагина и сказал:

— Не пройдет, Верещагин, твое мероприятие, мы от собак обо всем твоем способе жизни узнали. Иди в чулан пока, а мы будем заседать про твою судьбу: сегодня газета «Беднота» пришла, там написано про тебя и про всех таковых личностей.

— Почта у нас работает никуда, товарищ председатель, — сказал Верещагин. — Я ведь думал, что теперь машины пойдут, а лошадь — вредное существо, оттого я и не лечил такую отсталую скотину.

— Ага, ты умней всего государства думал, — произнес тогда Кондров. — Ну ничего, ты теперь на ять попадешь под новый закон о сбережении скота.

— Пусть попадаю, — с хитростью смирился Верещагин. — Зато я за полную индустриализацию стоял, а лошадь есть животное-оппортун!

— Вот именно! — воскликнул в то время Кондров. — Оппортун всегда кричит «за», когда от него чашку со щами отодвинут! Иди в чулан и жди нашего суждения, пока у меня нервы держатся, враг всего человечества!

Через месяц или два Верещагина и аналогичного Ревушкина бывшие ихние батраки — Серега, смазчик и другие — прогнали пешим ходом в район и там оставили навеки.

Ни один середняк в Перенальном при раскулачивании обижен не был — наоборот, середняк Евсеев, которому поручили с точностью записать каждую мелочь в кулацких дворах, чтобы занести ее в колхозный доход, сам обидел советскую власть. А именно, когда Евсеев увидел горку каких-то бабье-дамских драгоценных предметов в

доме Ревушкина, то у Евсеева раздвоилось от жадной радости в глазах, и он взял себе лишнюю половину, по его мнению, лишь вторившую предметы, — таким образом от женского инвентаря ничего не осталось, а государство было обездолено на сумму в сто или двести рублей.

Такое единичное явление в районе обозначили впоследствии разгибом, а Евсеев прославился как разгибщик — вопреки перегибщику. Здесь я пользуюсь обстоятельствами, чтобы объявить истинное положение: перегибы при коллективизации не были сплошным явлением, были места, свободные от головокружительных ошибок, и там линия партии не прерывалась и не заезжала в кривой уклон. Но, к сожалению, таких мест было не слишком много. В чем же причина такого бесперебойного проведения генеральной линии?

По-моему, в самостоятельно размышляющей голове Кондрова. Многих директив района он просто не выполнял.

— Это писал хвастун, — говорил он, читая особо напорные директивы, вроде «даешь сплошь в десятидневку» и т. п. — Он желает прославиться, как автор такой, я, мол, первый социализм бумажкой достал, сволочь такая!

Другие директивы, наоборот, Кондров исполнял со строгой тщательностью.

— А вот это верно и революционно! — сообщил он про дельную бумагу. — Всякое слово хрустит в уме, читаешь — и как будто свежую воду пьешь: только товарищ Сталин может так сообщить! Наверно, районные черти просто себе списали эту директиву с центральной, а ту, которую я бросил, сами выдумали, чтобы умнее разума быть!

Действовал Кондров без всякого страха и оглядки, несмотря на постоянно грозящий ему палец из района:

— Гляди, Кондров, не задерживай рвущуюся в будущее бедноту! — заводи темп на всю историческую скорость, невер несчастный!

Но Кондров знал, что темп нужно развить в бедняцком классе, а не только в своем настроении; районные же люди приняли свое единоличное настроение за всеобщее воодушевление и рванулись так далеко вперед, что давно скрылись от малоимущего крестьянства за полевым горизонтом.

Все же Кондров совершил недостойный его факт: в день получения статьи Сталина о головокружении к Кондрову по текущему делу заехал предрика. Кондров сидел в тот час на срубе колодца и торжествовал от настоящей радости, не зная, что ему сделать сначала — броситься в снег или сразу приняться за строительство солнца, — но надо было обязательно и немедленно утомиться от своего сбывшегося счастья.

— Ты что гудишь? — спросил его неосведомленный предрика. — Сделай мне сводочку...

И тут Кондров обернул «Правдой» кулак и сделал им удар в ухо предрика.

До самого захода небесного солнца я находился в колхозе и, облюбовав все достойное в нем, вышел из него прочь. Колхозное солнце еще не было готово, но я надеялся увидеть его с какого-нибудь придорожного дерева из ночной тьмы.

Отойдя верст за десять, я встретил подходящее дерево и влез на него в ожидании. Половина района была подвержена моему наблюдению в ту начинавшуюся весеннюю ночь. В далеких колхозах горели огни. Слышен был работающий где-то триер, и отовсюду раздавался знакомый, как колокольный звон, стерегущий голос собак, работающих на коммунизм с тем же усердием, что и на кулацкий капитализм. Я нашел место, где было расположено «Доброе начало», но там горело всего огня два, и оттуда не доносилось собачьего лая.

Я пропустил долгое время, поместившись на боковой отрасли дерева, и все глядел в окружающую, постепенно молкнущую даль. Множество прохладных звезд светило с неба в земную тьму, в которой неустанно работали люди, чтобы впоследствии задуматься и над судьбой посторонних планет, поэтому колхоз более приемлем для небесной звезды, чем единоличная деревня. Утомившись, я нечаянно задремал и так пробыл неопределенное время, пока не упал от испуга, но не убился. Неизвестный человек отстранился от дерева, давая мне свободное место падать, — от голоса этого человека я и проснулся наверху.

Разговорившись с человеком, я пошел за ним вслед по дороге, ведущей дальше от «Доброго начала». Иногда я оглядывался назад, ожидая света колхозного солнца, но все напрасно. Человек мне сказал, что он *борец с неглавной опасностью* и идет сквозь округ по командировке.

— Прощай, Кондров! — в последний раз обернулся я на «Доброе начало».

Навстречу нам часто попадались какие-то одинокие и групповые люди — видно, в колхозное время и пустое поле имеет свою плотность населения.

— А какая опасность неглавная? — спросил я того, с кем шел. — Ты бы лучше с главной боролся!

— Неглавная кормит главную, — ответил мне дорожный друг. — Кроме того, я слабосердечен, и мне дали левачество, как подсобный для правых районов! Главная опасность — вот та хороша: там пожилые почетные бюрократы, там разные акционерные либералы — тех крушить надо вдосталь — и для самообразования будет полезно: кто ее знает, может быть, правые уже последние ошибочники, последние вышибленные души кулаков!

Ах, как жалко, что у меня сердце слабое, а то бы мне главную дали: ах, и пожил бы я в такое сокрушающее время! До чего ж приятно и полезно сшибить правых и левых, чтобы у здешнего кулачества не осталось ни души, ни ума!

Я смотрел на говорящего человека. Лета его были еще не старые, настолько его туловище глядело измученным существом.

Он дышал неравномерно и редко, все время забывался во внутренних мыслях и едва ли достаточно ел пищи.

Переваливая за горизонт, мы заметили по бледному свету на земле, что сзади нас взошла луна. Мы оглянулись.

Я увидел среди дальнего мрака слабое круглое светило, все же боровшее сплошную тьму.

— Это солнце зажгли в колхозе! — сказал я.

— Да, возможно, — безразлично согласился борец с неглавной опасностью. — Для луны — для последователя солнца — это слишком неважный огонь. И последователем надо быть уметь.

Ночевали мы с ним в неопределенной избушке, которую увидели в стороне от тракта.

— Пункт бы здесь устроить какой-нибудь, — сказал мне на утренней заре прохожий товарищ. — Зачем стоит эта хатка пустой, когда основной золотой миллиард, нашу идеологию, не каждый имеет в душе!

— Это правда, — сказал я, — на свете много душевных бедняков.

В течение первой половины дня мы шли дальше.

По сырым полям кое-где уже ходили всем составом колхозы и щупали руками землю, определяя ее весеннюю спелость.

Затем мы дошли до деревни Понизовка, расположенной действительно по низу земли. Это объясняется недостатком воды или трудностью ее добычи на верхних почвах.

Вообще колхозное и совхозное водоснабжение должно стать большим предметом нашей пятилетки, ибо, как я заметил, степень обработки и освоенности земель обратно пропорциональна водоснабжению.

Это значит, что высокие водораздельные земли, обычно самые ценные по качеству, самые структурные по составу, хуже обрабатываются, и за такими полями бывает меньше ухода.

Оно и понятно, потому что водоразделы лежат далеко от хозяйственной базы, всегда прижатой к естественному открытому водоему или к неглубокой грунтовой воде.

Я видел в зерновых районах не меньше ста громадных сел, и все они согнаны на водопой в низы — в долины речек, в балки и прочие провалы рельефа.

Высокие же, самые тучные земли — далеки и пустынны.

Это означает громадные, вероятно, в несколько сот миллионов рублей ежегодно, потери для нашего хозяйства, благодаря недобору урожая с водораздельных почв.

В чем же заключается решение задачи? В том, чтобы селить колхозы и основывать совхозные усадьбы прямо на водоразделах, в центре плодородия почв. А водоснабжение для них следует устраивать посредством глубоких трубчатых колодцев. Добавочное значение тут будет еще в резком оздоровлении деревни. Та заразная жижа открытых водоемов, которой утоляют свою жажду многие деревенские районы СССР, потеряет тогда свой смысл как источник водоснабжения. Артезианская же глубокая вода трубчатых колодцев безвредней, вкуснее и чище, чем хлорированная водопроводная.

Сейчас, когда идешь по дальним частям СССР, то видишь как бы пустую незаселенную страну. Это потому, что все поселения спрятались в низовые ущелья, иначе говоря — гидрологические условия определили собой способ заселения нашей земли. Соображая же несколько глубже, можно сказать, что феодально-капиталистические производственные отношения держали деревню у

ручьев и болот, оставляя в полном или частичном запустении самые лучшие по плодородию суходолы. Отсюда ясно, что для многих наших южных, юго-восточных и центрально-черноземных районов социализм должен явиться, в числе прочих своих элементов, также и в качестве воды на водоразделах.

Вот отчего деревня, встреченная нами, называлась Понизовкой — именем, которое подходяще и для тысячи других деревень.

Борец с неглавной опасностью пошел непосредственно в сельсовет, и здесь я был свидетелем действий его опытного ума, умевшего всякую бюрократическую сложность обращать в понятную простоту истины.

— Что же ничего нам не сообщили? — спросил моего дорожного товарища секретарь сельсовета. — Мы бы вам тарантас послали навстречу!

— Не указывай! — ответил борец. — Береги лошадей для сева, а не для меня.

На стене совета висели многие схемы и плакаты, и в числе их один крупный план, сразу привлекший зоркий ум борца с опасностью. План изображал закрепленные сроки и название боевых кампаний: сортировочной, землеуказательной, разъяснительной, супряжно-организационной, пробно-посевной, проверочной к готовности, посевной, контрольной, прополочной, уборочной, учетно-урожайной, хлебозаготовительной, транспортно-тарочной и едоцкой.

Глубоко оглядевшись, борец сел против пожилого, несколько угрюмого председателя. Ему было интересно, почему сельсовет заботится и о том, чтобы люди ели хлеб, — разве они сами непосильны для этого или настолько отстали, что откажутся от современной пищи!

— А кто его знает? — ответил председатель. — Может, обозлятся на что-нибудь, либо кулаков послушают, и станут не есть! А мы не можем допустить ослабления населения!

Секретарь дал со своего места дополнительное доказательство необходимости жесткого проведения едоцкой кампании.

— Если так считать, — сказал секретарь, — тогда и прополочная кампания не нужна: ведь ходили же раньше бабы сами полоть просо, а почему же мы их сейчас мобилизуем?

— Потому что, молодой человек, вы только приказываете верить, что общественное хозяйство лучше едино-

личного, а почему лучше — не показываете, — ответил мой дорожный товарищ.

— Нам показывать некогда, социализм не ждет! — возразил секретарь.

— Ну, конечно, — заключил борец. — Вы строить и достраивать ничего не хотите, вам охота поскорее как-нибудь отстроиться и лечь на отдых среди счастья... Вот она — левая бегущая юность! — уже ко мне обратился командированный.

Настроение председателя было иным. Он угрюмо предвидел, что дальше жизнь пойдет еще хуже. По его выходило, что людей придется административно кормить из ложек, будить по утрам и уговаривать прожить очередную обыденку. Секретарь же с ним постоянно ссорился и считал его правым трусом, сам в то же время яростно и директивно натягивая группу бедняков-активистов, не давая им ни понять, ни почувствовать, вперед, бегом через колхоз, на коммуну.

Спустя немного времени окружной товарищ сильно смеялся такому четкому обстоятельству, когда левый и правый сидят в одной комнате и все время как бы производят один другого из единой кулацкой бездны.

— Едоцкая кампания была ниточкой, на которую я сразу поймал и левацкого карася и правую щуку, — объяснил мне окружной спутник. — Придется мне в этом селе посидеть и кой-кого обидеть из этих дрессировщиков масс.

— Да ты слишком примиренчески с ними говоришь, — сказал я. — При чем тут юность, нежность, когда левый правит на катастрофу? Крой безупречно и правых, и левых!

— Это верно, — вдумчиво согласился борец. — Случись что тяжелое, левый ведь побежит к правому — боюсь, скажет, дяденька! А этот дяденька зарычит своим басом и угробит все на свете, кулацкий кум!

Окружной человек еще немного подумал среди тишины кончающегося степного дня.

— Правильно, правильно: у левых дискант, у правых бас, а у настоящей революции баритон, звук гения и точного мотора.

И здесь борец с неглавной опасностью отошел от меня, я же направился из Понизовки дальше по своему маршруту, несмотря на вечернее время.

Идти мне пришлось недолго: два неизвестных инже-

нера ехали с шофером на автомобиле и взялись меня подвезти до ближайшего места. С полчаса мы ехали спокойно, потом в моторе что-то жестко и часто забилось, словно в камеры цилиндров попалось металлическое трепещущее существо. Конус, тормоз — и шофер вышел смотреть повреждение. Отняв гайки, мы общими усилиями попробовали поднять блок цилиндров, но силы у нас оказалось меньше тяжести, а энтузиазма не было. Прохожий человек стоял и судил нас:

— Вы маломочны и беретесь не так. Лучше ступайте на Самодельные хутора — отсюда версты две будет, и того нет. Возьмите оттуда Гришку — он вам один машину зарядит. А так вы замучитесь: вы люди не те.

Мы помолчали из уважения к себе перед прохожим, но затем сообразили, что без этого Григория с хутора и без лошадей нам не обойтись, темнело уже.

Я пошел на хутор. В лощине существовали четыре закопченных двора, из каждой трубы шел какой-то нефтяной дым, и всюду в этом поселении гремели молотки. Хутор был похож не на деревню, а на группу придорожных кузниц; самые же дома, когда я подошел ближе, были вовсе не жилищами, а мастерскими, и там горел огонь труда над металлом. Опустелые поля окружали эту индустрию, видно, что хуторяне не пахали и не сеяли, а занимались железным делом какого-то постоянного машинного мастерства. Вдруг резкая воздушная волна ударила мне в глаза горячим песком, снесенным с почвы, и вслед за этим раздался пушечный удар. От неожиданного страха я присел на лопух и слегка обождал. Голый человек, черный и обгорелый — не на солнце, а близ огня — вышел из хаты-мастерской и поднял позади меня огромный деревянный кляп.

Этот человек оказался необходимым нам Григорием. Он только что испробовал прочность железной трубы посредством выстрела из нее деревянной пробкой: железная труба лежала в горне, имея воду внутри, и работала, как паровой котел, — на давление, пока не вышибла кляпа из отверстия.

Григорий пошел со мной и поступил с автомобилем очень просто: он выбрал начинку из двух цилиндров, в виде рассыпавшихся вкладышей, и запустил мотор на двух цилиндрах.

— Ехать можно, — сказал нам Григорий. — Только в двух холостых цилиндрах теперь живот болит — там газ и масло гоняются непостижимо как.

Мы поехали на его хутор. Хутор этот живет уже лет двести, и всегда в нем было не более четырех дворов. В свое отошедшее в древность время хутор был ремонтной мастерской чумачьих телег, арб и чиновничьих экипажей, а теперь на хуторе поселились бывшие партизаны и демобилизованные красноармейцы, происхождением из шахтеров, московских холодных сапожников и деревенских часовых мастеров, делавших в свое время, за недостатком заказов, девичьи бусы.

— Вы ездили на автомобиле? — спросил Григория один основной пассажир-инженер.

— Кто мне давал его?! — с вопросительной обидой произнес Григорий, правивший машиной.

— А как же вы едете так прилично?

— А я же еду и думаю, — объяснил Григорий. — Машина же сама говорит, что ей симпатично, а я ее слушаю и норовлю.

На этом хуторе мы ночевали, потому что Григорий обещал поделать вкладыши из металла, который никогда не лопнет и не раскрошится.

Мы легли на ночлег в солому близ сарая, в котором хранился уголь и брак продукции. Едва только мы углубились в прохладу сна на свежем воздухе, как нас разбудил гром аплодисментов и длительные овации. Вокруг ничего не существовало, кроме тихой и порожней степи, а в одном строении хутора гремел восторг масс и трезво дребезжало стекло открытого окна. Я встал в раздражении испорченного сна, но со счастьем любопытства.

— Неопределенных возгласов не хватает! — услышал я рассуждение Григория в тишине кончившейся овации. — Люди всегда работают сразу — и в ладоши и в голос крика! Иначе не бывает. Когда рад, то все члены организма начинают передачу.

Я не понимал и пошел внутрь мастерской. На полу жилья стоял станок, похожий на тот, что точит ножи и всякие лезвия, но с особым значительным ящиком и разными мелкими деталями. Привод станка в действие явно был ножной. Весь этот аплодирующий автомат был изготовлен полевыми мастеровыми для Петропавловского драмкружка, которому нужны были, по ходу одной пьесы, приветствующие массы за сценой.

Здесь пришел другой мастеровой — Павел, по прозванию Прынцып; он принес кусок блестящего металла в руке.

— Что это? — спросил я у Григория.

— Это мы детекторы из него крошим.

— И много вам заказывают?

— Тыщи. Наши деревни музыку обожают, а слободы еще более. Я думаю, что дальше в степь радио и не проходит: у нас в округе антенн гуще, чем деревьев, вся волна тут оседает.

Затем мастеровые сели ужинать; их было семь человек, и все они слегка походили друг на друга. Стол находился под кущей закоптевшего единственного дерева — в конце двора; над столом, подвешенная к дереву, горела чугунная люстра из десяти пятисвечных электрических лампочек, а самое электрическое питание лампам подавал аккумулятор с чердака. На столе имелись для аппетита полевые жестяные цветы в банке и две стальные гравюры, изображающие любовь.

После сытного ужина, рассчитанного на утоление мощных туловищ степных мастеровых, состоялось чтение газеты вслух. Читал Григорий, а остальные серьезно слушали и отвечали искренними чувствами.

— «Нашей погранохраной задержан польский шпион Злучковский!» — читал Григорий.

— К ногтю! — решили слушатели про того шпиона.

— «В Баку открыт новый мощный завод смазочных масел».

— Машинам необходимы жиры. Это первейшая нужда, — одобряли такое дело мастеровые, сочувствуя машинам.

— «Камчатская пушная экспедиция Госторга шлет приветствие пролетариату Советского Союза».

И все слушатели молча наклоняли головы в ответном приветствии.

— «Близ Ашхабада наблюдались слабые толчки почвы. В деревне Исмидие разрушен один дом».

— Зря: люди работают, а посторонняя сила лезет.

Это были очень серьезные люди. Было заметно, что они не слушают происшествия, а чувствуют их, не созерцают, а изучают и в легкой работе ума отдыхают тяжелым телом.

После ужина Григорий принялся за изделие вкладышей для автомобильного мотора. По его системе вкладыши должны получиться прочнее, чем были, потому что он собирался их делать не из целого куска бронзы, а из частей.

— Ты видел дома из одного цельного камня? — спросил Григорий у меня.

— Нет, — по справедливости сообщил я.

— Оттого они и стоят по сто лет, оттого и держат бури, жару, дожди и сотрясения! Я тебе вкладыши сварю из крупинок и частей, как кирпичный дом. Будешь ездить сильно. Митрий, порть мне бронзу на мелочь.

Дмитрий начал рубить кусок бронзы.

— Брось, — догадался Григорий. — Бронза стоит государству средств и организации. Руби мне ее из старых вкладышей.

И так было поступлено.

Еще не успел сварить и отформовать Григорий вкладыши, как из степной ночи предстал перед мастерской таинственный, озадаченный всадник. То был друг Григория — комсомолец из далекой слободы.

— Гриша, к нам бог вступает, поп и бабы ему иже херуим хором поют, на голове у него свет горит!.. Едем со мной на лошадином заду!

— Заводи машину, — сказал Григорий мне. — Буди шофера!

Шофера я разбудил, а инженеры от усталости ехать не захотели.

Через минуту мы помчались с хутора на паре цилиндров — бороться с пришествием бога в слободу, а позади нас поспевал комсомолец на коне.

Мы приехали быстрее бога: он еще не дошел до слободы, а медленно двигался по горизонту, окруженный старым народом, и над головой его действительно светился нимб беловатого огня. Мы дали газ в мотор и, с перебоями в цилиндрах, достигли бога и верующих в него.

Шел старик по земле, одетый в рядно, босой и торжественный. Борода, ясные очи и благодушие пожилого лица служили как бы определенными признаками бога-отца. Вокруг косматых головных волос светилось ровное озарение. Увидев автомобиль, бог-отец выпустил из рук чернохвостого голубя, означавшего духа святого; голубь не хотел было улетать от кормильца, но Григорий дал воющий сигнал — и птица понеслась боком вдаль.

За это мы получили из толпы камень, разбивший стекло в правой фаре.

Григорий тогда встал на шоферское сиденье:

— Господа старики и старухи! (В южных слободах любят это почтительно-отжившее обращение). Господь

устал от тягости грехов народа и пешего хода по земному пространству. Мы приехали сюда на машине, чтобы заставить дьявола послужить господу... Садись, бог!

— Охотно, голубчик! — согласился близко созерцавший нас бог-отец.

Он был усажен в пассажирское заднее сиденье, и рядом с ним сел Григорий, а шофер повел машину с такой скоростью, чтобы старики и старухи поспевали сзади бежать.

Ночь продолжалась над нами; глубокая звездная природа существовала вокруг нас, не замечая местного людского происшествия. В слободе заметили приближение того, кто явился во второй раз в мир человечества, и сторож зазвонил в главный колокол с малыми подголосками, произнося на них пасхальную службу.

Шоферское боковое зеркало все время отражало свет заднего бога, и вдруг оно погасло; я не мог обернуться, потому что по указанию шофера качал воздух в бензиновый бак, но зеркало опять заблестело божьим сиянием, и я успокоился.

У входа в храм лежал ниц поп и так же повалены были все те, кто раньше ходил под богом. В стороне стояла группа комсомольцев, трактористов и молодых слобожан, они бесстрашно улыбались накануне светопреставления. Один крестьянин, уже положительного возраста, подошел ко мне в сомнении:

— Либо, товарищ, правда — бог где-то был, а теперь явился, когда не нужен.

Я не разубеждал его словами, поскольку бог-отец почти фактически был. Здесь божий свет снова потух. Поп поднял очи.

— Где же свет господень, что я видел во мгновении времени?

— Сейчас, — ответил бог. Но свет вокруг его головы не происходил.

— Давай я зажгу! — предложил Григорий. — Ты будешь копаться — должность потеряешь.

Он заголил богу рядно, как юбку, пошарил на его груди, и свет засиял.

— У тебя зажимы на батарее ослабли, — тихо сообщил Григорий богу.

— Знаю! — согласно сказал господь. — Туда бы нужно болтики и гаечки, а разве их обнаружишь где в степи.

После посещения храма мы повезли бога в избу-читальню. Так пожелал Григорий, а бог согласился. У Григория был замысел: в этой зажиточной слободе почти никто не верил в радио, а считали его граммофоном. — Григорий вез бога в техническое доказательство. В избе-читальне собралось народу порядочно, тем более что прибывал бог.

В громкоговорителе же ослаб аккумулятор, и про то знал Григорий, а у бога висела вокруг груди свежая батарея элементов. Григорий поставил бога вблизи громкоговорителя и прицепил его проводами к аппарату. Радио, получив усиленное питание, зазвучало четким басом, но зато свет вокруг головы бога потух.

— Верите ли вы теперь в радио? — спросил Григорий собрание, во время перерыва для подготовки оркестра в Москве.

— Верим, — ответило собрание. — Верим господу и в шумную машину.

— А во что не верите? — испытывал Григорий.

— В граммофон теперь не верим, — сообщило собрание.

— Вот тебе раз! — раздражился Григорий. — А если мы вам граммофон сделаем, тогда поверите?

— Послухаем. Слухать будем, а верить обождем.

— А если я вас бога сейчас лишу?

Собрание и тому не особенно удивилось.

— Ну что ж, — ответил за всех неимущий мужик Евсей, читатель центральных газет. — Вместо одного бога за нами десять безбожников ухажорствовать будут. Чем, Гриш, меньше веришь, тем оно к тебе внимания и доходу больше.

В полночь настала пора расходиться. Но вышло горе: никто не брал бога ужинать и ночевать в свою хату. Слобожане требовали, чтобы сельсовет назначил подворную очередь на содержание бога, а неорганизованно иметь бога не желали.

— Да возьми хоть ты его, Степан, — сказал Евсей соседу. — У тебя новая хата порожняя, как-нибудь уляжешься.

— Чего ты? — обиделся Степан. — Я третьего дня бревна на мост по самообложению возил.

Бог уже захотел есть и озяб от свежей ночи, проникавшей в окна избы-читальни.

Наконец над ним сжалился комсомолец, который при-

езжал за нами на хутор, и позвал старика в свою хату, где существовала одна его бедная мать.

Григорий озлобился на такую религию и увез бога на хутор как старика. Там бог поел, выспался и наутро остался трудиться второстепенным кузнецом. Он оказался кочегаром-летуном астраханской электростанции, тронувшимся в путь в виде бога-отца для проповеди святой коллективной жизни и для подыскания себе почетного счастья в колхозе.

— Я тебя еще раз поймаю — ушибу! — пообещал Григорий. — Живи здесь и работай на производстве. Проповедуй молотком, а не ртом.

Довольный бог остался: все же в нем жила душа кочегара и пролетария, жила и думала: кулак или другой буржуй не сумел бы стать богом,— он, невежда, не знает электротехники.

С теми техническими способностями, какие были у Григория Михайловича Скрынко, сидеть ему на хуторе и стрелять из труб деревянными пробками — не к чему и вредно для государства. Наутро я сказал Григорию об этом. Он послушал и показал мне на окружные бумаги, в силу которых он назначался директором машинно-тракторной станции из шестидесяти тяжелых тракторов; начальной базой для этой станции предназначался тот самый механический хутор, где жил сейчас Григорий. Машины и оборудование для МТС должны были прибыть в течение одной-двух недель.

Это было прекрасно. Лучшего вождя и друга машин, чем Григорий Михайлович, найти в этой местности нельзя. Кроме того, только в случае внезапной смерти Григория Михайловича посевной план МТС мог бы быть не выполнен, а при его жизни этот план наверняка будет превышен процентов на сто, ибо у него трактора не остановятся никогда и он заставит машину работать даже на одном цилиндре, лишь бы сберечь весеннюю минуту.

— А я недоволен, — сказал мне в последующей беседе Григорий Скрынко. — Вот проверну здесь генеральную линию, покажу всей средноте, что такое колхоз в натуре, что такое весна на тракторном руле, а потом учиться уеду, — больше не могу терпеть!

— Чего вы не можете терпеть?

— Отсталости. Зачем нам нужны трактора в каких-то двенадцать, двадцать или шестьдесят сил. Это капитали-

стические слабосильные марки! Нам годятся машины в двести сил, чтоб она катилась на шести широких колесах, чтоб на ней не аэроплан трещал, а дышал бы спокойный нефтяной дизель либо газогенератор. Вот что такое советский трактор, а не фордовская горелка!

— Это, пожалуй, верно. Но как того добиться?

— Стану сам профессором тяги, вот и добьюсь.

Наверное, так и случится, что года через три-четыре или пять у нас начнут пропадать фордзоновские царапалки и появятся мощные двухсотсильные пахари конструкции профессора Г. М. Скрынко.

— Что будет дальше на моем пути? — спросил я у Григория.

— Колхоз «Без кулака», — сказал Григорий. — Там председателем мой двоюродный брат, Сенька Кучум, скажи ему, что ты был у меня. А еще далее у тебя будет 2-е Отрадное, там тоже меня знают, и ты кланяйся кому-нибудь!

Я направился в этот указанный колхоз, но ввиду ночной тьмы не успел достигнуть места назначения и явился туда наутро нового дня.

При входе в колхоз висела вывеска с названием этого общественного сельского хозяйства, а под вывеской план работ на текущий год, изображенный по железу, и классовый состав колхоза:

48 бедняков, 11 батраков, 73 середняка, 2 учителя, 1 прочая женщина с детьми-сиротами.

Колхоз «Без кулака» существует с августа 1929 г., причем в 1928 г. при единоличном ведении хозяйства нынешними участниками колхоза засеяно озимыми всего 182 гектара, колхоз же посеял озимых 232 гектара, по яровым колхоз наметил увеличить площадь посева в полтора раза против того, что сеяли нынешние члены, будучи единоличниками. За счет какой же конкретной силы произошло увеличение производительности сложенных бедняцко-середняцких хозяйств?

Не зная этого, я пошел к Семену Кучуму, чтобы спросить. Семен, по прозванию Кучум, удивил меня мрачностью лица и резким голосом, раздающимся из глубины его постоянно скорбящего сердца.

— Я не могу тебе ответить, — сказал он мне, — потому что для нас нет такого вопроса, для нас это понятно без всякого ума.

— У вас, наверное, тракторы есть или вам МТС работала?

— Нет еще ни трактора, ни МТС.
— А что же есть?
— Чего в тебе нет: в нас нет вопроса.
— А отчего же мужики больше сеять начали?
— А для чего же они колхоз организовали — для бурьяна, что ли?
— Ты обходишь мой вопрос, — я же с добром спрашиваю.
— Не обхожу, — сообщил Кучум. — По-твоему, все наше дело должно выйти так: собрались люди в кучу с одним планом и желанием, стали работать, и вдруг ничего у них не вышло. Это же страшно, и так быть не может! Так думает безумный или ненавистный.
— И я так думаю иногда.
— Понятно: в тебе нет колхозного чувства и классовой нужды, не все поспевают за революцией. Кто имеет чувство иль хотя бы нашу классовость, у того и ум, а чувства — остаются одни вопросы и злоба.
Я поник. Это была приблизительная правда. Я остался в колхозе на несколько дней, не особо все же доверяя Семену Кучуму. Больше Кучум уже ни разу не говорил со мной, потому что вообще не произносил слов без нужды, хотя был вежливым и спокойным от какого-то равномерного делового уныния человеком. Дальше я существовал лишь свидетелем некоторых событий.
В этой деревне около четверти населения было в колхозе. Остальные же крестьяне все время мучились душой: входить им или обождать. Работал Кучум непостижимо, я больше никогда не видел такого колхозного организатора.
Однажды подходят к нему четыре бедняка — у всех одно заявление: бери их и зачисляй в колхоз. Бедняки эти были общеизвестными, но в смысле качества — люди не вполне усердные, так как давно уже отчаялись найти дорогу к облегчению своей жизни. Это их усердие, вероятно, и озлобило Кучума, поскольку дорога для жизни бедноты была уже открытой.
— Чего еще! — с грубым недружелюбием сказал им Кучум. — Вы что, очертенели, что ль? Вы думаете, в колхозе легко вам будет?
— Да, может, Семен Ефимыч, и легче, — ответили бедняки.
— Это вам люди набрехали, — угрюмо объяснил Кучум. — В колхозе же труд, забота, обязанности, дисциплина, — куда вы лезете?

— А как же нам быть-то, Семен Ефимыч?

— Да будьте на своих дворах, охота вам горе добывать!

Бедняки в раздумчивости уходили от Кучума; некоторые же считали шепотом, что Кучум — тайный подкулачник.

Середняки обычно приходили в колхоз писаться поодиночке. Они подавали бумагу с молчанием и с морщинкой на лбу, въевшейся в их головы еще с зимы.

— Пиши и нас, Семен Ефимыч, я человек не каменный.

— А какой же ты? — спрашивал Кучум.

— Я трогательный. Я же вижу ваши обстоятельства, а у себя не вижу ничего, — живу неподвижно, как вечный какой!

— Истомиться у нас пожелал, — уныло-недоуменно ставит вопрос Кучум. — Другую морщину нажить на лоб хочешь?

— Да хоть бы и так, Семен Ефимыч!

— Хоть бы и так? Нет, ты уже иди назад — нам мучеников не нужно. Помучайся лучше на своей усадьбе — отмучаешься, тогда придешь.

Я решил, что Кучум нарочно не принимал единоличников, чтобы поднять колхоз изолированным способом на высоту благосостояния. Но большинство единоличников-крестьян чувствовали другое: они глубоко чтили Кучума.

— Сначала мы тоже думали, что он пьяный или дурной, а потом узнали, что он настоящий, — объяснил мне многократно не принятый в колхоз бедняк Астапов.

Оказывается, и в прошлом году Кучум тоже создавал колхоз крайне неохотно, с отсрочкой и с оттяжкой, страшно поднимая этой истомой чувство бедноты, положившей уже уйти в колхоз. Такими непонятными действиями Кучум устроил не просто поток бедноты в колхоз, а целый напор, давку у его дверей, ибо сумел организовать какую-то высокую загадочность колхоза и дал в массу чувство недостойности быть его членами. Но в то же время Кучум не хитрил, не казался политиком. Он никогда не обещал ничего хорошего вперед, не давал никаких обязательств и поручательств на светлую жизнь, и первый, среди всех известных мне колхозных активистов, имел мужество угрюмо сказать колхозникам, что их вначале ожидает горе неладов, неумелости, непорядка и нужды; причем нужда эта будет еще горче, чем бывает

она на одном дворе, и побороть ее тоже будет трудней, чем одинокому хозяину, но зато, когда колхоз окрепнет, нужда сделается невозможной и безвозвратной. Эту мысль Кучум, однако, не выговаривал, а лишь думал ее молча, — говорил же он другое.

— Но, может, потом нам будет хорошо? — робко спрашивали его первые колхозники.

— Не знаю, — искренне отвечал Кучум, — это зависит от вас, а не от меня. Помогать я вам буду, кулака в колхоз не пущу, но кормиться и добиваться лучшего вы должны сами. Вы не думайте, что только советской власти необходим ваш колхоз, — советская власть и без хлеба жила, — колхоз нужен вам, а не ей.

— Да ну?! — пугались первые колхозники. — А мы слышали, что колхоз советской власти по душе!

— Ну что ж, что по душе! У советской власти душа же бедняцкая — стало быть, что вам хорошо, то и ей впрок.

Так еле-еле, под напором нескольких неимущих был устроен колхоз «Без кулака».

И действительно, Семен Кучум никого не обманул — тяжело пришлось колхозникам в первое смутное время организационности. А Семен ходил среди всех в такие дни тужести и говорил:

— Ну, кого выписывать прочь? — Но никто не пожелал выписаться.

Только много позже, уже зимой, один человек, хвастающий тем, что он официальный батрак, выписался из колхоза.

— Не могу, — сказал он, — харчи дают без гущи, работай от сна до сна, все помнить велят, лучше я батрацкой льготой буду жить.

— Вали, — ответил ему Кучум. — Кулак ведь не одних большевиков из нашего брата делал, а и вечных рабов еще вроде тебя. Вали к чертовой матери!

После осеннего сева Кучум, однако, принял в колхоз дворов, кажется, десять, и то с серьезным разговором. Я написал «принял», но это не значит, что Кучум решал все дела колхоза в одиночку, наоборот, он отказывался ото всех дел, кроме прямой работы вроде пахоты. Но сами колхозники так относились к Кучуму, что ничего не совершали без его слова. Если же он молчал, тогда коллективисты чувствовали его настроение и по его настрое-

нию делали свои постановления. После сортировки зерна и подготовки к севу Кучум принял еще дворов пять. Такими способами приема Кучум так настроил всю единоличную часть деревни, что большая часть единоличников уже напирала в ворота колхоза. Но Кучум не совершал приема без показательных фактов колхоза, без достижений таких образцов работ, которые служат ясным и простым доказательством выгодности общественного трудового хозяйства. Поэтому он и принял десять дворов только после осеннего сева, произведенного, говорят, так, что единоличники стояли по сторонам колхозного поля и плакали, точно видели что-то трогательное.

После подготовки к севу также состоялся прием новых членов, и после весны, надо думать, Кучум отойдет сердцем и даст вход беднякам и середнякам. Правило Кучума, очевидно, было такое: чем больше колхоз доказывает сам себя (доказывает фактически — на ощупь населению), тем больше он пополняется новыми членами. Кучум не разрешал обманываться людям.

Такая политика, в сущности, лишала возможности бедноту и лучшую часть середняков проявить свою активность. Такая политика, похожая отчасти на безвольный самотек, могла разоружить революционные силы деревни, и впоследствии район серьезно и резко указал Кучуму, что хотя сам он, Кучум, человек милый и геройский, но политика его почти кулацкая, и Кучум, обидевшись, все-таки согласился с районом, потому что ума и дисциплины в нем было больше, чем однодворного эгоизма.

Но в это время мне странно было видеть и слышать, как единоличники, не принятые еще в колхоз, любили этот колхоз и заботились о нем. Один средний крестьянин, по уличному прозванию Пупс, хотел, например, организовать группу колхозных кандидатов, дабы обеспечить себе первоочередное проникновение в колхоз, но Кучум запретил такое неопределенное дело и разрешил Пупсу создать лишь товарищество общественной обработки земли. Пупс такое товарищество (ТОЗ) учредил, но остался все же в большой обиде на Кучума и выпивши ходил по деревне с песней:

Эх, в колхозе вольно жить,
Вольно жить, не тужить.
Выпьешь бутылку-другую кваску
И побежишь погулять по леску.

Дойдя до правления колхоза, Пупс долго требовал, чтобы к нему вышел Кучум, — он хотел еще раз поглядеть на великого человека.

В разных частях быта и хозяйственной сноровки единоличников сказывалось влияние колхоза. Каждый личный хозяин норовил суетиться на своем дворе по звонкам колхоза, раздававшимся на всю деревню. Ему было теперь неудобно лежать дома на лавке, зная, что в колхозе трудятся. Особенно же доставалось женской части единоличников. Насмотревшись порядков в колхозе, мужики ходили теперь по своим домашним угодьям с презрением:

— Марфуш! А Марфуш! — терпя свое сердце, обращался супруг к жене, а жена его доила корову. — Ты бы хвостяную конечность к коровьей ножке привязала: чего ж тебя хвостом животное по морде бьет! Ты бы хоть раз на колхозные дворы сходила, поглядела бы, как там членки доют!

Другой хозяин всю ночь спал с открытым окном избы, потому что в колхозе люди спали с воздушным сообщением. Третий человек выписывал сразу две газеты на одного себя, поскольку в колхозе приходилось по газете на каждую взрослую душу.

И еще я заметил, что колхозные девицы были самыми модными барышнями среди юношей единоличных дворов. Они им казались вкусней и сознательней, и гораздо изящней, точно социалистические парижанки среди феодального строя.

Единоличные девки, глядя на молодых колхозниц, единодушно бросили белиться, перестав тереться щеками о белые стены, ибо ни одна колхозница не украшала свое лицо красками.

Таково было великое томление единоличников по колхозу, устроенному Кучумом без большого восторга. Мало того, я наблюдал людей, прибывших из окрестных деревень и, видимо, надеявшихся, что можно будет скустоваться своей деревней с колхозом Кучума.

— Действуйте себе на горе, если вам жизнь не дорога, — сообщал Кучум таким гостям, — а жаловаться потом ко мне не приходите.

— Ишь ты какой! — обижались пришельцы. — У тебя, стало быть, и колхоз, и весь свет жизни, а мы сиди под собственным плетнем и жуй житное с солью.

— Я же вам говорю, чтобы вы организовались, раз вы беды не боитесь!

— А у вас-то в колхозе аль беда какая?

Беды в колхозе, пожалуй, не было, но и покоя жизни тоже никто не знал. Но все же единоличники верили, что в колхозе с каждым днем прибавляется по одной капле лучшей жизни, а у них эта влага стоит в срезе, на одном уровне.

Кучум подсчитал, что о союзе с окрестными колхозами он будет говорить во время самой нужды в этом союзе, например, во время появления МТС, при землеустройстве, при организации борьбы с несознательными полезными вредителями и в других больших хозяйственных случаях.

Мне было очень интересно, как сумел этот мрачный вождь бедняцкого движения к хлебу и свету организовать труд в колхозе и распределение продуктов.

В этом деле он оказался скупым рыцарем. Весь состав колхоза он разбил на две половины: люди до 20 лет (юноши и девушки) и люди старше 20 лет.

При этом молодое поколение (до двадцати лет) разбивается еще на ряд групп: младенчество, детство, отрочество, рабочая молодежь в 15—20 лет. Для всей этой молодежной части колхоза снабжение было установлено, как в коммуне, без всякой разницы и поправки на общественную трудовую полезность (принималась во внимание только возрастная разница: например, младенец и уже работающий юноша в 17 лет и т. п.). Даже членов старше 20 лет натуральное и денежное снабжение происходило сдельным способом. В хозяйственном плане колхоза было записано и утверждено следующее: «Весь доход колхоза «Без кулака», за отчислением от него амортизации, налога, расходов по скоту, страховки и пр., делится на число душ-едоков; души-едоки до 20 лет получают свою долю дохода полностью, а более старшие лишь половину своей доли, и из расчета этой половины душевого дохода составляется сдельный расценок каждого члена старше 20 лет. Другая половина душевого дохода старшего члена за минувший хозгод делится так: четверть ее идет на усиление пищи и одежды молодого поколения, т. е. не свыше 20 лет, две четверти на хозяйственное развитие коллектива и последняя четверть в запасный, неприкосновенный фонд, а также на помощь индустриализации государства».

Ясно, что Кучум имел на свежее поколение великую надежду и впряг всех взрослых людей, уже испорченных

бывшим империализмом, работать на это живое будущее.

Кучум знал, что нынешнее юношество уже будет жить в коммуне и не станет нуждаться в сдельщине. Впрочем, молодежь не нуждалась в сдельщине и сейчас: я узнал, что колхозники в возрасте 15—20 лет работали с предельным напряжением сил и не имели надобности в каком-либо подгоняющем принуждении, — им было необходимо лишь обучение. Эта картина трудового усердия молодежи стала обычной в нашей стране, потому что советская юность не знает причин для избежания труда, разве что лишь когда переутомится или влюбится.

Рабочие планы составлялись в этом колхозе на каждые 10 дней. Согласно такому общему декадному плану, всякому члену колхоза выдавался на руки личный план-талон, в котором обозначались объем работ, число часов для ее исполнения и расценок. Такие индивидуальные планы-талоны указывали обязанности каждого члена в течение одного, двух, а иногда и трех дней.

Весь плановый и операционный штат колхоза состоял из Кучума и его помощника, бывшего батрака Силайлова; но и эти двое также получали личные планы-талоны на обычную работу, общей же плановой и руководящей деятельностью они занимались по вечерам или рано утром.

Из новых учреждений в колхозе был детский сад с яслями и Дом коллективиста, работавший под заботой двух учителей-колхозников, — причем эти учителя были освобождены от всякой сельскохозяйственной работы и снабжались так, как если бы им было меньше двадцати лет. Последнее обстоятельство указывало на глубокий расчетливый такт Кучума; в остальном же он был скупец и безжалостный хозяин. Это его свойство сказалось и в плане колхоза, и во внешнем виде колхозников — одевались они плохо и имели худой, изработанный вид.

Зато молодая часть колхоза была совсем другая — не только пригожа и сыта на лицо, но и одета вполне прилично: недаром колхозные девушки были парижанками для всех единоличных девок. В эту сторону Кучум уже ничего не жалел и лично ездил в город закупать мануфактурный материал для молодежи, беря для консультации парня и девицу.

В мою бытность в этом колхозе Кучум совершил одно замечательно правильное начинание: он от имени колхоза вызвал на соревнование весь местный состав единоличников, желавших быть колхозниками. Предметом соревнования были все обычные статьи весеннего сева: семзерно, площадь засева на лошадь-человека, срок и т. д. Призом же соревнования было следующее: если единоличники выиграют у колхоза или хотя бы близко сравняются с ним, то всех соревнующихся единоличников Кучум принимает в колхоз; если проиграют — пусть с приемом подождут до осени.

Единоличники вызов Кучума приняли.

— Мы ему, черту, покажем, кто мы такие! — ожесточаясь для неимоверного труда, говорили некоторые единоличники.

— Попробуем. Может, и сладим.

— С ним попробуешь! Он, гляди, вот-вот и спать перестанет.

— Это бы ничего. Плохо то, что и другие все запляшут скоро под его шаг.

— На лицо-то он вялый, а как почнет рвать и метать, как только почва его носит!

— Ну, ведь и мы из костяного материала сделаны!

— Замучил он нас. Если бы он бабой был, то мы бы думали, что он присушку знает, а раз он мужик, то непонятно. При нем, говорят, и дети в яслях не плачут.

— А что же они делают?

— Кто ее знает! Наверно, сознавать начинают.

— Вот крест-то нам господь послал! От него, как от бабы, и отвязаться нельзя.

— Даже странно! — почти научно выразился какой-то единоличный малый.

Мне неизвестно, чем закончилось это редкое соревнование. Если даже колхоз и не выиграл, что при Кучуме недопустимо, то выиграло государство, ибо в той деревне засеяны, наверно, не только все порожние земли, но даже и овражные косогоры, ибо ярость мужиков была велика, да и у кучумовцев она не маленькая, хотя и другого качества.

Теперь задумаемся над тем, правильна ли работа Кучума во всех частях, нет ли в его работе скрытой установки на самотек, на этого врага бедноты и средних мужиков? Колхозы, конечно, есть судьба всемирного трудящегося крестьянства, но если авангард того же

крестьянства и пролетариата не разбудит сознания в массах, не создаст тяги в колхозы, то судьба эта опоздает, а замедленное движение всегда чревато риском и падением.

Да, в работе Кучума есть и была бессознательная установка на самотек, на политику прижатых тормозов, но я считаю, что напирающая беднота украдет вскоре у Кучума эту установку, и тогда, потерпев самотек, он приобретет полный дар вождя.

В день своего отхода из колхоза я увидел, наконец, как уныло-равнодушный Кучум был краткое время бешеным. К нему явился снятый с должности председатель колхозного куста, расположенного отсюда километров за двадцать. Он с Кучумом был хорошо знаком и почти что приходился ему другом, что замечалось по искренности отношения и легкой радости на обоих лицах. Прибывший кустовой председатель начал жаловаться на неправильности: его прогнали за перегибы, за то, что он раскулачил будто бы сорок человек середняков и закрыл церковь без либерального подхода к массам; но ведь те середняки завтра могли бы стать кулаками, и он лишь пресек их растущую тенденцию. А что касается церкви, то народ, сам не сознавая, давно потерял надежду в наличие бога, и он только фиксировал этот факт путем запрещения религии, — за что же, спрашивается, его ликвидировали как председателя?

Здесь бывший председатель сообщил следующее свое мнение: собаке рубят хвост для того, чтобы она поумнела, потому что на другом конце хвоста находится голова. Тут он явно намекал на то, что, дескать, райисполком — голова, а он — хвост, точно рик и вправду приказывал ему в течение недели учредить коммунизм. Даже мне было глубоко грустно слушать такую отъявленную негодяйскую речь.

Чем больше слушал Кучум эти слова своего друга, тем все значительней серело его лицо. Затем он стал бордовый, равнодушные его глаза осветились мгновенной энергией, и, слегка приподнявшись, Кучум молча совершил резкий, хрустящий удар в грудь противосидящего друга. Друг без дыхания повалился навзничь. Но Кучум не чувствовал еще удовлетворения. Он вышел из-за стола, поднял упавшего за куртку и дал ему свежий, сокрушительный удар в скулу — так что бывший председатель прошиб затылком оконную раму и вывалился из

помещения на улицу, осыпанный мелочью стекла. После этого акта Кучум вновь приобрел унылое выражение своего лица, я же почувствовал *значение партии для сердца* этих угрюмых непобедимых людей, способных годами томить в себе безмолвную любовь и расходовать ее только в изможедающий, счастливый труд социализма.

— До свидания! — сказал я Кучуму.

— Прощай, — товарищески мягко произнес он, зная, что, куда бы я ни делся, я все же всюду останусь в строительстве социализма, и какой-нибудь прок от меня будет.

Наевшись в колхозе мяса, я пошел из общего хозяйства по прямому направлению и часов через шесть дошел до большого селения под названием Гущевка. Я стал в крайней избе на ночлег и долго лежал на лавке без сна, а в полночь в это же место пришел ночевать товарищ Упоев, главарь района сплошной коллективизации, не имевший постоянного местопребывания.

К утру я уже коренным образом познакомился с товарищем Упоевым и узнал мужественную, *необоримую* жизнь этого простого человека.

Раньше любая кулацкая сила постоянно говорила бедняку Упоеву: «Ты отсталый, ты человек напрасный на этом свете, ты псих, большевиком ты состоять не годишься — большевики люди проворные».

Но Упоев не верил ни кулаку, ни событию — он был неудержим в своей активности и ежедневно *тратил тело для революции*.

Семья Упоева постепенно вымерла от голода и халатного отношения к ней самого Упоева, потому что все свои силы и желания он направлял на заботу о бедных массах. И когда ему сказали: «Упоев, обратись на свой двор, пожалей свою жену — она тоже была когда-то изящной середнячкой», то Упоев глянул на говорящих своим активно-мыслящим лицом и сказал им евангельским слогом, потому что марксистского он еще не знал, указывая на весь бедный окружающий его мир: «Вот мои жены, отцы, дети и матери, — нет у меня никого, кроме неимущих масс! Отойдите от меня, кулацкие эгоисты, не останавливайте хода революционности! Вперед — в социализм!»

И все зажиточные, наблюдая энергичное бешенство Упоева, молчали вокруг этого полуголого, еле живого от своей едкой идеи человека.

По ночам же Упоев лежал где-нибудь в траве, рядом с прохожим бедняком, и плакал, орошая слезами терпеливую землю: он плакал, потому что нет еще нигде полного, героического социализма, когда каждый несчастный и угнетенный очутится на высоте всего мира. Однажды в полночь Упоев заметил в своем сновидении Ленина и утром, не оборачиваясь, пошел, как был, на Москву.

В Москве он явился в Кремль и постучал рукой в какую-то дверь. Ему открыл красноармеец и спросил: «Что надо?»

— О Ленине тоскую, — отвечал Упоев, — хочу свою политику рассказать.

Постепенно Упоева допустили к Владимиру Ильичу.

Маленький человек сидел за столом, выставив вперед большую голову, похожую на смертоносное ядро для буржуазии.

— Чего, товарищ? — спросил Ленин. — Говорите мне, как умеете, и буду вас слушать и делать другое дело — я так могу.

Упоев, увидев Ленина, заскрипел зубами от радости и, не сдержавшись, закапал слезами вниз. Он готов был размолоть себя под жерновом, лишь бы этот небольшой человек, думающий две мысли враз, сидел за своим столом и чертил для вечности, для всех безрадостных и погибающих свои скрижали на бумаге.

— Владимир Ильич, товарищ Ленин, — обратился Упоев, стараясь быть мужественным и железным, а не оловянным. — Дозволь мне совершить коммунизм в своей местности! Ведь зажиточный гад опять хочет бушевать, а по дорогам снова объявились люди, которые не только что имущества, а и пачпорта не имеют! Дозволь мне опереться на пешеходные нищие массы!..

Ленин поднял свое лицо на Упоева, и здесь между двумя людьми произошло собеседование, оставшееся навсегда в классовой тайне, ибо Упоев договаривал только до этого места, а дальше плакал и стонал от тоски по скончавшемуся.

— Поезжай в деревню, — произнес Владимир Ильич на прощанье, — мы тебя снарядим — дадим одежду и пищу на дорогу, а ты объединяй бедноту и пиши мне письма: как у тебя выходит.

— Ладно, Владимир Ильич, через неделю все бедные и средние будут чтить тебя и коммунизм!

— Живи, товарищ, — сказал Ленин еще один раз. — Будем тратить свою жизнь для счастья работающих и погибающих: ведь целые десятки и сотни миллионов умерли напрасно!

Упоев взял руку Владимира Ильича, рука была горячая, и тягость трудовой жизни желтела на задумавшемся лице Ленина.

— Ты гляди, Владимир Ильич, — сказал Упоев, — не скончайся нечаянно. Тебе-то станет все равно, а как же нам-то.

Ленин засмеялся — и это радостное давление жизни уничтожило с лица Ленина все смертные пятна мысли и утомления.

— Ты, Владимир Ильич, главное, не забудь оставить нам кого-нибудь вроде себя — на всякий случай.

По возвращении в деревню Упоев стал действовать хладнокровнее. Когда же в нем начинало бушевать излишнее революционное чувство, то Упоев бил себя по животу и кричал:

«Исчезни, стихия!»

Однако не всегда Упоев мог помнить про то, что он отсталый и что ему надо думать: в одну душную ночь он сжег кулацкий хутор, чтобы кулаки чувствовали — чья власть.

Упоева тогда арестовали за классовое самоуправство, и он безмолвно сел в тюрьму.

В тюрьме он сидел целую зиму, и среди зимы увидел сон, что Ленин мертв, и проснулся в слезах.

Действительно, тюремный надзиратель стоял в дверях и говорил, что Ленин мертв, и плакал слезами на свечку в руке.

Когда под утро народ утих, Упоев сказал самому себе:

— Ленин умер, чего же ради такая сволочь, как я, будет жить! — и повесился на поясном ремне, прицепив его к коечному кольцу. Но неспавший бродяга освободил его от смерти и, выслушав объяснения Упоева, веско возразил:

— Ты действительно — сволочь! Ведь Ленин всю жизнь жил для нас таковых, а если и ты кончишься, то, спрашивается, для кого ж он старался?

— Тебе хорошо говорить, — сказал Упоев. — А я лично видел Ленина и не могу теперь почувствовать, зачем я остался на свете!

Бродяга оглядел Упоева нравоучительным взглядом:

— Дурак: как же ты не постигаешь, что ведь Ленин-то — умнее всех, и если он умер, то нас без призору не покинул!

— Пожалуй что, и верно, — согласился Упоев и стал обсыхать лицом.

И теперь, когда прошли годы с тех пор, когда Упоев стоит во главе района сплошной коллективизации и сметает кулака со своей революционной суши, — он вполне чувствует и понимает, что Ленин действительно позаботился и его сиротой не оставил.

И каждый год, зимой, Упоев думает о том бродяге, который вытащил его в тюрьме из петли, который понимал Ленина, никогда не видя его, лучше Упоева.

В общем же Упоев был почти что счастлив, если не считать выговора от Окрзу, который он получил за посев крапивы на десяти гектарах. И то он был не виноват, так как прочел в газете лозунг: «Даешь крапиву на фронт социалистического строительства!» — и начал размножать этот предмет для отправки его за границу целыми эшелонами.

Упоев радостно думал, что вопрос стоит о крапивочной норке капиталистов руками заграничных, маловооруженных товарищей.

Бродя в последующие дни по усадьбам и угодьям колхоза, я убедился, что мнение о зажиме колхозной массы со стороны колхозных руководителей неверно.

От Упоева колхозники чувствовали не зажим, а отжим, который заключался в том, что Упоев немедленно отжимал прочь всякого нерачительного или ленивого работника и лично совершал всю работу на его глазах.

Мне пришлось наблюдать, как он согнал рулевого с трактора, потому что тот жег керосин с черным дымом, и сам сел править, а рулевой шел сзади пешком и смотрел, как надо работать. Так же внезапно и показательно Упоев внизывался в среду сортировщиков зерна и порочил их невнимательный труд посредством показа своего умения. Он даже нарочно садился обедать среди отсталых девок и показывал им, как надо медленно и продуктивно жевать пищу, дабы от нее получилась польза и не было бы желудочного завала. Девки действительно, из страха или сознания — не могу сказать точно, от чего, — пере-

стали глотать говядину целыми кусками. Раньше же у них постоянно бурчало в желудке от несварения. Подобным же способом показа образца Упоев приучил всех колхозников хорошо умываться по утрам, для чего вначале ему пришлось мыться на трибуне посреди деревни, а колхозники стояли кругом и изучали его правильные приемы.

С этой же трибуны Упоев всенародно чистил зубы и показывал три глубоких вдоха, которые надо делать на утренней заре каждому сознательному человеку.

Не имея квартиры, ночуя в той избе, какая ему только предстанет в ночной темноте, Упоев считал своей горницей все колхозное тело и, томимый великим душевным чувством, выходил иногда на деревянную трибуну и говорил доклады на закате солнца. Эти его речи содержали больше волненья, чем слов, и призывали к прекрасной обоюдной жизни на тучной земле. Он поднимал к себе на трибуну какую-нибудь пригожую девушку, гладил ее волосы, целовал в губы, плакал и бушевал грудным чувством.

— Товарищи! Вечно идет время на свете — из нас уж душа вон выходит, а в детях зато волосы растут. Вы поглядите своими глазами кругом, насколько с летами расцветает советская власть и хорошеет молодое поколение! Это ж ужасно прелестно, от этого сердце день и ночь стучит в мою кость, и я скорблю, что уходит план моей жизни, что он выполняется на все сто процентов, и скоро я скроюсь в землю под ноги будущего всего человечества... Кто сказал, что я тужу о своей жизни?

— Ты сам сказал, — говорила Упоеву рядом стоящая девушка.

— Ага, я сказал! Так позор мне, позор такой нелепой сволочи! Бояться гибнуть — это буржуазный дух, это индивидуальная роскошь... Скажите мне громко, зачем я нужен, о чем мне горевать, когда уже присутствует большевицкая юность и новый шикарный человек стал на учет революции?! Вы гляньте, как солнце заходит над нашими полями — это ж всемирная слава колхозному движению! Пусть теперь глядит на нас любая звезда ночи — нам не стыдно существовать, мы задаром организуем все бедное человечество, мы трудимся навстречу далеким планетам, а не живем как гады! Скажи и ты что-нибудь или спой сразу песню! — обращался к девушке Упоев.

Девушка стеснялась.

— Скажи хоть приблизительно! — упрашивал ее Упоев в волнении.

— Что же я тебе скажу, когда мне и так хорошо! — сообщала девица.

— Дядя Упоев, дай я тебе куплет спою! — предложил один юноша из рядов колхоза.

— Ну спой, сукин сын! — согласился Упоев.

Парень тронул на гармонике мотив и спел задушевным тоном:

Эх, любят девки, как одна,
Любят Ваньку-пер..на!

— Раскулачу за хулиганство, стервец! — выслушав хороший голос, воскликнул Упоев и бросился было с трибуны к гармонисту. Но его остановили активисты:

— Брось, Упоев, у него голос хороший, а у нас культработа слаба!

Позже Упоев спрашивал у меня о происхождении человека: его в избе-читальне тоже однажды спросили об этом, а он точно не знал и сказал только, что, наверно, в самом начале человечества был актив, который и организовал людей из животных. Но слушатели спросили и про актив — откуда же он взялся?

Я ответил, что, по-моему, вначале тоже был вождевой актив, но в точности не мог объяснить всей картины происхождения человека из обезьяны.

— Отчего обезьяна-то стала человеком, или ей плохо было? — допытывался Упоев. — Отчего она вдруг поумнела?

Здесь я вспомнил про Кучума и про того, кого он расшиб на месте.

— Самый главный стержень у животного и человека, товарищ Упоев, — это позвоночный столб с жидкостью внутри. Один конец позвоночника — это голова, а другой — хвост.

— Понимаю, — размышлял Упоев. — Позвоночник в человеке вроде бревна, в нем упор жизни.

— Может быть, какие-нибудь звери отгрызли обезьяньи хвосты, и сила, какая в хвост шла, вдарилась в другой конец — в голову, и обезьяны поумнели!

— А, может быть! — радостно удивился Упоев. — Стало быть, нам тоже звери-кулаки и подкулачники должны что-нибудь отъесть, чтобы мы поумнели.

— Они уже отгрызли, — сказал я.

— Как так отгрызли? Что же мне больно не было?

— А перегибщпк линии — это тебе не подкулачник?

— Он, стерва.

— А он больно сделал коллективизации или не больно?

— Факт — больно, гада такая!

На том мы и расстались, чтобы спать. Но после полуночи Упоев постучал мне в голову, и я проснулся.

— Слушай, ты ведь мне ложь набрехал! — произнес Упоев. — Я лег спать и одумался: это ведь не кулаки нам хвост отгрызли, а мы им классовую голову оторвали! Ты кто? Покажи документы!

Документов я с собой не носил. Однако Упоев простил мне это обстоятельство и экстренно проводил ночью за черту колхоза.

— Я Полное собрание сочинений Владимира Ильича ежедневно читаю, я к товарищу Сталину скоро на беседу пойду, — чего ты мне голову морочишь?

— Я слышал, что один перегибщик так говорил, — слабо ответил я.

— Перегибщик или головокруженец есть подкулачник: кого же ты слушаешь? Эх, гадина! Пойдем назад ночевать.

Я отказался. Упоев посмотрел на меня странно беззащитными глазами, какие бывают у мучающихся и сомневающихся людей.

— По-твоему, наверное, тоже Ленин умер, а один дух его живет? — вдруг спросил он.

Я не мог уследить за тайной его мысли и за поворотами настроения.

— И дух и дело, — сказал я. — А что?

— А то, что ошибка. Дух и дело для жизни масс — это верно, а для дружелюбного чувства нам нужно иметь конкретную личность среди земли.

Я шел молча, ничего не понимая... Упоев вздохнул и дополнительно сообщил:

— Нам нужен живой — и такой же, как Ленин... Засею землю — пойду Сталина глядеть: чувствую в нем свой источник. Вернусь, на всю жизнь покоен буду.

Мы попрощались.

— Вертайся, черт с тобой! — попросил меня Упоев.

Из предрассудка я не согласился и ушел во тьму. Шаги Упоева смолкли на обратном пути. Я пошел неуверенно, не зная, куда мне идти и где осталась позади

железная дорога. Глушь глубокой страны окружала меня, я уже забыл, в какой области и районе я нахожусь, я почти потерялся в несметном пространстве.

Но Упоев бы и здесь никогда не утратил стойкости души, потому что у него есть на свете центральная дорога и любимые им люди идут впереди него, чтобы он не заблудился.

Все более уважая Упоева, я шел постепенно вперед своим средним шагом и вскоре встретил степной рассвет утра. Дороги подо мной не было; я спустился в сухую балку и пошел по ее дну к устью, зная, что чем ближе вода к поверхности, тем скорее найдешь деревню.

Так и было. Я заметил дым ранней печки и через краткое время вошел на глинистую, природную улицу неизвестного селения. С востока, как из отверстия, дуло холодом и сонливой сыростью зари. Мне захотелось отдохнуть; я свернул в междуусадебный проезд, нашел тихое место в одном плетневом закоулке и улегся для сна.

Проснулся я уже при высоком солнцестоянии — наверно, в полдень. Невдалеке от меня, среди улицы, топтался народ, и посреди него сидел человек без шапки, верхом на коне. Я подошел к общему месту и спросил у ближнего человека: кто этот измученный на сильной лошади?

— Это воинствующий безбожник — только сейчас прибыл. Он давно нашу местность обслуживает, — объяснил мне сельский гражданин.

Действительно, товарища Щекотулова, активно отрицавшего бога и небо, знали уже довольно подробно. Он уже года два как ездил по деревням верхом на коне и сокрушал бога в умах и сердцах отсталых верующих масс.

Действовал товарищ Щекотулов убежденно и просто. Приезжает он в любую деревню, останавливается среди людного кооперативного места и восклицает:

— Граждане, кто не верит в бога, тот пускай остается дома, а кто верит — выходи и становись передо мной организованной массой!

Верующие с испугу выходили и становились перед глазами товарища Щекотулова.

— Бога нет! — громко произносил Щекотулов, выждав народ.

— А кто ж главный? — вопрошал какой-нибудь темный пожилой мужик.

— Главный у нас — класс! — объяснял Щекотулов и говорил дальше. — Чтоб ни одного хотя бы слабоверующего человека больше у вас не было! Верующий в гадабога есть расстройщик социалистического строительства, он портит, безумный член, настроение масс, идущих вперед темпом! Немедленно прекратите религию, повысьте уровень ума и двиньте бывшую церковь в орудие культурной революции! Устройте в церкви радио, и пусть оно загремит взрывами классовой победы и счастьем достижений!..

Передние женщины, видевшие возбуждение товарища Щекотулова, начинали утирать глаза от сочувствия кричащему проповеднику.

— Вот, — обращался товарищ Щекотулов. — Сознательные женщины плачут передо мной, стало быть, они сознают, что бога нет.

— Нету, милый, — говорили женщины. — Где же ему быть, когда ты явился.

— Вот именно, — соглашался товарищ Щекотулов.— Если бы он даже и явился, то я б его уничтожил ради бедноты и середнячества.

— Вот он и скрылся, милый, — горевали бабы. — А как ты уедешь, то он и явится.

— Откуда явится? — удивлялся Щекотулов. — Тогда я его покараулю.

— Чего ж тебе караулить: бога нету, — с хитростью сообщали бабы.

— Ага! — сказал Щекотулов. — Я так и знал, что убедил вас. Теперь я поеду дальше.

И товарищ Щекотулов, довольный своей победой над отсталостью, ехал проповедовать отсутствие бога дальше. А женщины и все верующие оставались в деревне и начинали верить в бога против товарища Щекотулова.

В другой деревне товарищ Щекотулов поступал так же: собирал народ и говорил:

— Бога нет!

— Ну-к что ж, — отвечали ему верующие. — Нет и нет, стало быть, тебе нечего воевать против него, раз Иисуса Христа нет.

Щекотулов становился своим умом в тупик.

— В природе-то нет, — объяснял Щекотулов, — но в вашем теле он есть.

— Тогда залезь в наше тело!

— Вы, граждане, обладаете идиотизмом деревенской жизни. Вас еще Маркс Карл предвидел.

— Так как же нам делать?

— Думайте что-нибудь научное!

— А про что думать-то?

— Думайте, как, например, земля сама по себе сотворилась.

— У нас ум слаб: нас Карл Маркс предвидел, что мы — идиотизм!

— А раз вы думать не можете, — заключал Щекотулов, — то лучше в меня верьте, лишь бы не в бога.

— Нет, товарищ оратор, ты хуже бога. Бог хотя невидим, и за то ему спасибо, а ты тут — от тебя покоя не будет.

Последний резон был произнесен при мне. Он заставил Щекотулова обомлеть на одно мгновение, — видимо, мысль его несколько устала. Но он живо опомнился и мужественно закричал на всех:

— Это контрреволюция! Я разрушу ваш подкулацкий Карфаген!

— Стоп, товарищ, сильно шуметь! — сказал с места невидимый мне человек.

И я услышал голос, говорящий о Щекотулове как о помощнике религии и кулацком сподручном. Человек говорил, что религия — тончайшее дело, ее ликвидировать можно только посредством силы коллективного хозяйства и с помощью высшей и героической социальной культуры. Такие же, как Щекотулов, лишь пугают народ и еще больше обращают его лицо к православию. — Щекотуловым не место в рядах районных культработников.

Вторым выступил я, потому что почувствовал ярость против Щекотулова и революционную страсть перед массами; я тщательно старался объяснить религию, как средство доведения народа капиталистами до потери сознания, а также рассказал, насколько мог, правильные способы ликвидации этого безумия; при этом я опорочил Щекотулова, борющегося с безумием темными средствами, потому что Щекотулов есть тот левый прыгун, с которым партия сейчас воюет.

Щекотулов, дав мне закончить, быстро повернул лошадь и решительно поскакал вон из деревни, имея такой вид, будто он поехал вести на нас войска.

— Ишь, гадюка; в колхозы он небось ездить пере-

стал! — сказал кто-то ему вслед. — Там враз бы ему в разум иголку через ухо вдели! Маркс-Энгельс какой!

Деревня, где я теперь присутствовал, называлась 2-м Отрадным, 1-е же находилось еще где-нибудь. 2-е Отрадное до сих пор еще не было колхозом, и даже ТОЗа в нем не существовало, точно здесь жили какие-то особо искренние единоличники или непоколебимые подкулачники. Со вниманием, как за границей, я шел по этой многодворной деревне, желая понять по наглядным фактам и источникам уцелевший здесь капитализм.

На завалинке одной полуистлевшей избы сидел пожилой крестьянин и, видимо, горевал.

— О чем ты скучаешь? — спросил я его.

— Да все об колхозе! — сказал крестьянин.

— А чего же о нем скучать-то?

— Да как же не горевать, когда у всех есть, а у нас нету! Все уж давно организованы, а мы живем как анчутки! Нам так убыточно!

— А тебе очень в колхоз охота?

— Страсть! — искренно ответил крестьянин.

Либо он обманывал меня, либо я был дурак новой жизни. Я постоял в неизвестности и отошел посмотреть на местный капитализм. Он заключался в дворах, непримиримо желавших стать поместьями, и в слабых по виду людях, только устно тосковавших по колхозу, а на самом деле, может быть, мечтавших о ночной чуме для всех своих соседей, дабы наутро каждому стать единственным хозяином всего выморочного имущества. Но, с другой стороны, на завалинках сидели горюны о колхозном строительстве, а самого колхоза не было. Стало быть, здесь существовала какая-то серьезная загадка. Поэтому я ходил и исследовал, будучи весь начеку.

Вечером я попал в избу-читальню, узнав за весь день лишь одно — что все хотят в колхоз, а колхоз не учреждается. В избе-читальне стояло пять столов, за которыми заседали пять комиссий по организации колхоза. На стенах висели названия комиссий: «уставная». «классово-отборочная», «инвентарная», «ликвидационно-кулацкая» и, наконец, — «разъяснительно-добровольческая».

Послушав непрерывную работу этих комиссий, я понял, что такого большого количества глупых людей, собранных в одном месте, быть не может. Стало быть, в комиссиях сидели подкулацкие деятели, желавшие умертвить колхозное живое начало в бесконечных, якобы

подготовительных, бюрократических хлопотах. Я поговорил с председателем «разъяснительно-добровольческой» комиссии — мне хотелось узнать, в чем заключается его работа.

— Боимся, чтобы принуждения не было: развиваем добровольчество! — сообщил председатель.

— Развили уже, или не удается? — спросил я.

— Как вам сказать? Конечно, знамя массовой разъяснительной работы мы держим высоко, но кто его знает, а вдруг единоличники еще не убедились! Перегнуть ведь теперь никак нельзя, приходится держать курс на святое чувство убедительности.

Мне показалось, что председатель несколько скрытный человек.

— Давно работают ваши комиссии?

— Да уж четвертый месяц. Зимой-то мы не управились организоваться, а теперь ведем массовую кампанию.

Окружающие комиссии что-то тихо писали, а мужики заунывно ожидали колхоза на завалинах. Один из таких ожидальцев пришел потом к председателю комиссии для дачи сведений. Его спросили:

— Чувствуешь желание коллективизации?

— Еще бы! — ответил крестьянин.

— А отчего же ты чувствуешь?

— От безлошадности. Ты ведь, — обратился он к председателю, — мне исполу пашешь, а вон лошадиная бригада исполу и пашет, и сеет, и зерно на двор везет. Только та лошадиная колонна на колхозы работает, а на нас не управляется.

— Так это же твое рваческое настроение, а не колхозное чувство! — даже удивился председатель. — Ты, значит, еще не убежден в колхозе!

— Да как тут понять, — выразился безлошадный. — Колхоза мы почти что и не чувствуем — чувствуем, что нашему брату жить там барыш!

— Барыш — рвачество, а не сознание, — ответил председатель. — Придется нам еще шире повести разъяснительную кампанию!..

— Веди ее бессрочно, — сказал безлошадный, — тебе ведь колхоз — убыток...

Председатель терпеливо промолчал.

Легко было догадаться, что здешние зажиточные и подкулачники стали чиновниками и глубоко эксплуатировали принцип добровольности, откладывая организацию колхоза в далекое время какой-то высшей и всеобщей

убежденности. Неизвестно, насколько здесь имелось потворство со стороны района, только вся кулацкая норма населения деревни (около пяти процентов) сидела в комиссиях, а бедняки и средние, видя в окружающих колхозах развитие усердного труда и жизненного довольства, считали свое единоличие убытком, упущением и даже грехом, кто еще остаточно верил в бога. Но зажиточные, ставшие бюрократическим активом села, так официально-косноязычно приучили народ думать и говорить, что иная фраза бедняка, выражающая искреннее чувство, звучала почти иронически. Слушая, можно было подумать, что деревня населена издевающимися подкулачниками, а на самом деле это были бедняки, завтрашние строители новой великой истории, говорящие свои мысли на чужом двусмысленном, кулацко-бюрократическом языке. Бедняцкие бабы выходили под вечер из ворот и, пригорюнившись, начинали голосить по колхозу. Для них отсутствие колхоза означало переплату лошадным за пахоту, побирушничество за хлебом до новины по зажиточным дворам, дальнейшая жизнь без ситца и всяких обновок и скудное сиротство в голой избе, тогда как колхозные бабы уже теперь гуляют по волости в новых платках и хвалятся, что говядину порциями едят. Одной завистью, одним обычным житейским чувством бедняцкие бабы вполне точно понимали, где лежит их высшая жизнь.

Но внутри самой ихней деревни сидел кулацкий змей, а единоличные бедняки ходили в гунях, никогда не пробуя колхозного мяса.

Удивительно еще то, что колхозные комиссии ни разу не собирали во 2-м Отрадном бедняцко-середняцкого пленума, откладывая такое дело вплоть до неимоверной проработки всей гущи оргвопросов, которые ежедневно выдумывали сами же члены-подкулачники.

Посоветовавшись с некоторыми энергичными бедняками, я написал письмо товарищу Г. М. Скрынко на Самодельный хутор, поскольку он был наиболее разумным активистом прилегающего района.

«Товарищ Григорий! Во 2-м Отрадном колхозное строительство подпольно захвачено зажиточно-подкулацкими людьми, женская беднота заявляет свое страдание непосредственно песнями на улицах. А твой район и возглавляемая тобой МТС почти что рядом. Советую тебе заехать прежде в районную власть и, узнав, нет ли там корней каких-либо, расцветших целыми ветвями во

2-м Отрадном, прибыть сюда для ликвидации бюрократического очага».

Один бедняк взялся свезти письмо товарищу Г. М. Скрынко, я же, убежденный, что Скрынко явится во 2-е Отрадное и ликвидирует бюрократическое кулачество, пошел дальше из этого места.

Погода разведрилась, в природе стало довольно хорошо, и я шел со спокойной за колхозы душою. Озимые поколения хлебов широко росли вокруг, и ветер делал бредущие волны по их задумчивой зеленой гуще — это лучшее зрелище на всей земле. Мне захотелось уйти сегодня подальше, минуя милые колхозы, дабы найти вдали что-нибудь более выдающееся.

Вечером солнце застало меня вблизи какого-то парка: от проезжей дороги внутрь парка вела очищенная аллея, а у начала аллеи находилась арка с надписью: «С.-х. артель имени Награжденных героев, учрежденная в 1923 г.». Здесь, наверное, общественное производство достигло высокого совершенства. Люди, может быть, уже работали с такой же согласованной легкостью, как дышали сердцем. С этой ясной надеждой я свернул со своего пути и вступил на землю коммуны. Пройдя парк, я увидел громадную и вместе с тем уютную усадьбу артели героев. Десятки новых и отремонтированных хозяйственных помещений в плановом разумном порядке были расположены по усадьбе; три больших жилых дома находились несколько в стороне от служб, вероятно, для лучших санитарно-гигиенических условий. Если раньше эта усадьба была приютом помещику, то теперь не осталось от прошлого никакого следа. Не желая быть ни гостем, ни нахлебником, я пошел в контору артели и, сказав, что я колодезный и черепичный мастер, был вскоре принят на должность временного техника по ремонту водоснабжения и по организации правильного водопользования. В тот же час мне была отведена отдельная комната, предоставлена постель, и меня, как служебное лицо, зачислили на паек. С давно исчезнувшим сознанием своей общественной полезности я лег в кровать и предался отдыху авансом за будущий труд по водоснабжению.

Поздно вечером я посетил клуб артели, интересуясь ее членским составом. В клубе шла пьеса «На командных высотах», содержащая изложение умиления пролетариа-

та от собственной власти, то есть чувство, совершенно чуждое пролетариату. Но эта правая благонамеренность у нас идет как массовое искусство, потому что первосортные люди заняты непосредственным строительством социализма, а второстепенные усердствуют в искусстве.

Члены артели героев, устроенной по образцу якобы коммуны, имели спокойный чистоплотный вид и глядели на героев действия пьесы как на самих себя, отчего еще более успокаивались и удовлетворялись. Четыре девочки-дочки стояли по углам сцены и держали десятилинейные лампы; одеты девочки были в белые платья, на головах их лежали густые прически, и весь их вид напоминал старинных гимназисток.

Кроме нормальной сытости лиц, ничего в тот вечер я заметить в артельщиках не успел.

Проработав же несколько дней на ремонте трубчатого колодца, я узнал достаточно многое и неутешительное для себя. Своими глазами я, пожалуй, не сумел бы все разглядеть, но со мной на колодце работали два члена артели, и они мне объяснили некоторые обстоятельства про тех, кто тщетно хотел бы уподобиться действительным героям жизни.

Эти два члена, оказывается, были в артели недавно и ненавидели почти всех других артельщиков; причиной такого безумного явления было следующее: рик и сельские партячейки вели политику на пополнение артели «Награжденные герои» бедняками-активистами; правление же артели не хотело принимать никаких новых членов, ибо для правления хороши были только старые, сжившиеся между собой люди. Но кто же были эти старые члены артели, ее основатели? Может быть, тайные кулаки?

— Что ты?! — удивились два человека, поставленные со мной на ремонт колодца. — Это сплошное геройство гражданской войны! Их партия на все зубы пробовала, ничего не выходит: вполне наши люди!

— А отчего же они никого в свою артель пускать не хотят?

Бедняки несколько подумали.

— Видишь ты, в семнадцатом году и они бедняками были — стало быть, не было у них ничего, кроме своего класса, а теперь накопали бугор имущества, а класс оставили в покое...

Однако невозможно было, чтобы все герои битв с белогвардейцами стали хозяйственными рачителями и врагами окрестной бедноты: куда же могла исчезнуть их основная беззаветная натура? И я узнал, что действительно иные основатели артели уже давно умерли от болезней и плохо залеченных ран, другие же бросили артель и ушли безвозвратно в города, третьи же остались в артели навеки. Эти третьи были героями не от классовых органических свойств, а от каких-то мгновенных условий фронта, то есть не помня себя, а теперь они эксплуатировали свои нечаянные подвиги со всей ухваткой буржуазной мелочи.

Председатель артели товарищ Мчалов пришел на нашу работу в конце четвертого дня. Я увидел полнотелого пожилого человека с горюющей заботой на лице, но со старым красноармейским шлемом на голове.

— Озимые-то, говорят, все в черноземной области померзли, — сказал он мне. — Чего только кушать будем в будущем операционном году?.. И сейчас тоже — нужен бы дождь под овсы, а его нет и нет!..

— Ты бы лучше кулацкий картуз надел на голову, — сказал я ему. — А красноармейский убор лучше бы снял! Кто тебе врет и кого ты слушаешь!..

— Да, кажется мне так, а люди сообщают, — произнес председатель. — Ведь сердце-то болит!.. Слушай, ты как колодезь исправишь, так уходи, а то за тебя в соцстрах придется платить, прозодежду покупать, ты ведь не член, от тебя заботы не оберешься, а воды мы и без тебя напьемся!..

Обедать мне полагалось в общей столовой, обед был плохой, и я голодал, не понимая, почему члены артели так упитаны в теле. Потом все те же оппозиционно настроенные бедняки-новочленцы показали мне, что артельщики обедают еще вторично по своим комнатам. Обед же в столовой совершался как можно беднее, дабы постоянно торчащим на усадьбе артели окрестным беднякам не казалось, что в артели сладко едят.

Чем больше я жил в этой артели, тем больше убеждался, что ее идеология — ханжество, несмотря на значительное общее достояние, несмотря на крупные производственные успехи. Артельщики-герои, особенно перед посторонними мужиками, постоянно ныли о плохом уро-

жае прошлого года и о том, что жизнь в артели убыточна и придется, видно, скоро на дворы разделяться и уходить в старину.

Все это было, конечно, лицемерие. Годовой доход на каждого члена артели по крайней мере вдвое превышал таковой же доход на местную душу середняка-единоличника, а доля основного капитала, падающая на каждого артельщика, приближалась к тысяче рублей.

Но откуда же это ханжество, эта хитрая скрытая борьба с партией и бедняками за сохранение только для себя своего удела?

Сама артель находилась островком среди довольно пространного если не моря, то озера единоличников. Бедняцкий актив ближайших деревень, а также советско-партийные организации давно имели желание сделать эту артель центром, источником опыта общественно-классового хозяйства для большого колхоза-комбината. Но артель, состоявшая из бывших героев, геройски сопротивлялась, — разрушать же высокое в производственном смысле хозяйство ни активисты-бедняки, ни партийцы не хотели. Наоборот, все их попытки поставить артель во главе колхозного движения основывались на добровольном соглашении с правлением артели. Но соглашение это не удавалось. Больше того, за последние 4 года артель приняла в новые члены только 10 человек бедняков, и то под большим давлением всех организаций. Причем двое из этих 10 обжились в артели, прониклись ее скопческим духом делячества, трое вышли назад, променяв сундуки артели на воздух большевистского ветра, пятеро же составляли в артели настоящую большевистскую оппозицию сектантскому правлению; с двоими из них я был знаком. Понятно, эти пятеро не имели решающего значения в артели, их даже при первом случае могли вычистить из членства. Но они-то, по-моему, и есть действительный зародыш будущего, большевистского правления артели, которое и должно сменить бывших героев и нынешних хапжей и сладкоежек.

Во всем районе, где находилась артель имени Награжденных героев, в колхозах было лишь процентов двадцать бедняков и середняков; больших колхозных массивов не существовало еще вовсе, и все маленькие точечные колхозы, как и артель, варились в своем деляческом соку. Отсутствие массовости колхозного движения, святое ханжеское соблюдение принципа добровольности (по суще-

ству же развитие пассивности в лучших людях бедноты), какая-то безветренность всей обстановки и создала, вместо колхозной нарастающей реки, лужицы-колхозики и целое болото такой артели.

Доделав порученную мне колодезную работу, я получил десять рублей и должен был уходить. Но оставлять такую роскошно-производственную артель новорастущим феодалам было весьма жалко. Ведь артель в прошлом, средне благоприятном году дала урожая пшеницы почти по две тонны с гектара, одних фруктов было отпущено кооперации на двадцать пять тысяч рублей. Было ясно, что это хозяйственное место может объединить, поставить на ноги и двинуть вперед несколько сот бедняцких хозяйств. Так зачем же тут содержать несколько десятков неподвижно жиреющих «героев»?

Интересно еще сообщить, что в артели было всего два трактора. Все работы совершались вековыми старинными способами; хорошие же результаты объяснялись крайним трудолюбием, дружной организацией и скупостью к своей продукции артельщиков; в этих качествах им нельзя отказать, и эти качества должны остаться и тогда, когда эта ханжеско-деляческая артель станет большевистской. Что же будет в артели, если снабдить ее тракторами, удобрениями, приложить к ее угодьям вместо сухого рачительства ударный труд, сменить имущественного скопца на большевика и агронома и, главное, сделать артель действительно трудовым товариществом крестьян-бедняков?

Двое оппозиционно настроенных членов артели и я долго обсуждали болезненные предметы артели, не видя, как найти способ их уничтожения.

Один член в конце беседы спросил меня:

— А что у нас сильнее и лучше всего?

Я ему сказал, что это диктатура пролетариата.

— Пойду в Окрисполком, пойду в окружной комитет партии, попрошу сменить наше правление артели посредством диктатуры пролетариата, — сказал товарищ. — Везде коммуны и старые артели ведут колхозы, а у нас одна мертвая пробка.

— Наверное, наша артельная коммуна — это не коммунизм, — произнес другой артельщик.

— Наша артель вроде кулацкого товарищества на трудовых паях и на государственном имуществе, — сообщил я некоторое определение.

— А ведь учредители — герои гражданской войны! — с жалостью сказал один из присутствующих членов.

— Но время побеждает героев и делает из них одну смехотворность!

Это сказал я, но коммунары тут же меня опровергли.

— Ты ложь говоришь: есть такие герои, которые никогда не опаздывают против времени, они его ведут позади себя!

Ввиду очевидности я, конечно, согласился. После этого мы собрали одному артельщику общие средства, и он пошел призывать сюда в помощь пролетарскую диктатуру.

Человек ушел и через два дня вернулся. Во 2-м Отрадном, оказывается, уже сидела какая-то комиссия из областного города, которая установила существенную связь между правлением артели пожилых героев и пятью колхозными комиссиями 2-го Отрадного.

Таким образом, было установлено еще до прибытия товарища Скрынко, что артель «Награжденные герои» была лишь агентурой подкулацкой стихии, действовавшей во 2-м Отрадном, и — обратно, артель была крепостью зажиточных групп единоличников. Связь эта, в сущности, была известна давно: она выражалась в брачных узах между членами артели и подкулачницами и наоборот. То, что было связано по классу, то затем было укреплено плотью.

Ввиду этого тайной деревенской буржуазии приходил конец, и я с удовлетворением отправился отсюда в очередную даль, какая была мне видна из усадьбы артели.

Под религиозный праздник пасхи я вошел в небольшой колхоз «Сильный поток» и был здесь свидетелем конца жизни Филата-батрака, историю которого я постараюсь сейчас неприкосновенно изложить.

Филата приняли в колхоз самым последним, когда уже все середняки успели записаться.

— Ты всегда управишься войти в членство, — говорили Филату руководящие лица. — Ты же человек в классовом размере абсолютный!

И Филат ждал, не зная, чему ему радоваться, поскольку он еще не член колхоза. Со скучным выражением лица он ходил по колхозу и устранял прочь всякие неполадки. Была ли открыта дверь в избу, покачнулся ли плетень, иль просто петух ходил отдельно от кур — Фи-

лат притворял дверь, устанавливал плетень и подгонял к курам петуха.

Во время ветра Филат выходил на тот край колхозной деревни, куда направлялся ветер, и глядел, чтобы ветер не выдул из деревни чего-либо полезного. А если что полезное ветер уносил, то Филат подхватывал ту полезную вещь и возвращал ее обратно в обобществленный фонд.

И так жил Филат в усиленных заботах о колхозном добре и порядке, не будучи членом артельного хозяйства.

К Филату давно все привыкли, и он был необходим в колхозе. Когда у кого рожала баба — звали Филата вести хозяйство и смотреть за малыми детьми; кроме того, Филат мог чистить трубы, умел отучивать кур от желания быть наседками и рубил хвосты собакам для злобы.

Такого человека правление колхоза решило принять на первый день пасхи, дабы вместо воскресенья Христа устроить воскресенье бедняка в колхозе.

Накануне пасхи Филата одели в роскошную чистоплотную одежду, взяв ее из колхозного кооператива, а старую одежду Филата повесили в особый амбар, который назывался «музеем бедняка и батрака, жившего в эпоху кулачества как класса».

Избу-читальню загодя украсили флагом и лозунгами, а утром на пасхальный день Филата вывели на крыльцо, около которого стояла, собравшись, вся колхозная масса. Филат, увидев солнце на небе и организованный народ внизу, обрадовался всеми силами своего тела и захотел жить в будущем еще более преданно и трудоспособно, чем он жил дотоле.

— Вот, — сказал активный председатель всему колхозу, — вот вам новый член нашего колхоза — товарищ Филат. Не колокол звучит над унылыми хатами, не поп поет загробные песни, не кулак, наконец, сало жует, а наоборот, Филат стоит, улыбается, трудящееся солнце сияет над нашим колхозом и всем мировым интернационалом, и мы сами чувствуем непонятную радость в своем туловище! Но отчего же, непонятно, наша радость? Оттого что Филат самый был гонимый, самый молчаливый и самый мало кушавший человек на свете! Он никогда не говорил слов, а всегда двигался в труде — и вот теперь он воскрес, последний бедняк, посредством организации колхоза!.. Скажи же, Филат, нам, что теперь ты, грустный труженик, должен сиять на свете вместо кулацкого Христа...

Филат улыбнулся ближнему народу и всей окрестной цветущей природе.

— Я, товарищи, говорю тихо, потому что меня никогда не спрашивали. Я думал только, чтоб было счастье когда-нибудь в батрацком котле, но боюсь хлебать то счастье — пусть уж лучше другим достается...

Здесь Филат побелел лицом и прислонился к телу председателя колхоза.

— Что ты, Филат?! — закричал весь колхоз. — Живи смелей, робкая душа, ты теперь членом будешь! Проповедуй нам труд и усердие, последний человек!

— Могу, — тихо сказал Филат, — только сердце мое привыкло к горю и обману, а вы мне даете счастье — грудь не выдержит.

— Ничего, обтерпишься! — крикнули колхозники. — Глянь на солнце, дайте ему воздуху...

Но Филат настолько ослаб от счастья, что опустился на траву и стал умирать от излишнего биения сердца.

Филата вынесли на траву и положили лицом к небесному свету солнца. Все замолкли и стояли неподвижно.

И вдруг раздался голос какого-то притаившегося подкулачника:

— Значит, есть Иисус Христос, раз он покарал Филата-батрака!

Филат услышал то слово сквозь тьму своего потухающего ума и встал на ноги, потому что если он сумел вытерпеть 37 лет жизни, то мог стерпеть и превозмочь смерть, хотя бы на последнюю минуту.

— Врешь, тайный гад! Вот он я, живой — ты видишь, солнце горит над рожью и надо мной! Меня кулаки тридцать лет томили, и вот меня уже нет.

Вслед за тем Филат шагнул два шага, открыл глаза и умер с побелевшим взором.

— Прощай, Филат! — сказал за всех председатель. — Велик твой труд, безвестный знаменитый человек.

И каждый колхозник снял шапку и широко открыл глаза, чтобы они сохли, а не плакали.

Невдалеке от колхоза «Сильный поток» я встретил железнодорожную насыпь и, отойдя вдоль нее, достиг станции и поехал поездом.

В течение одних суток я уехал далеко, что сошел с поезда уже в Острогожском округе, на родине ценнейшей во всем СССР Михновской овцы. Однако Острогожский

округ не имеет возможности всерьез и планово заняться разведением последней, ввиду того что сухих здоровых для овец пастбищ в округе нет, а сырые подлунные и заболоченные пастбища страшно заражены всевозможными инфекциями и в особенности почечной двуусткой овец.

Селения Острогожского района — Ольшаны, Гумны, Писаревка, Осиповка, Гнилое, Средне-Воскресенское, Рыбенское, Луки, Александровка — и других районов совершенно отказались от разведения и выращивания овец, так как последние, поголовно пораженные фациолезом, гибнут тысячами на заболоченных пастбищах.

Далеко не полный учет говорит о гибели в течение двух последних лет до 40 000 пораженных почечно-глистной болезнью овец — на общую сумму за округлением 500 000 рублей.

Все препараты, применяемые при медикаментном методе лечения, не достигают желаемых результатов, и население и ветперсонал убедились в совершенной бесцельности всякого лечения при наличии заболоченных пастбищ, так как овцы каждую минуту, с каждым стеблем болотной травы получают все новую и новую порцию глистов.

С ветеринарно-санитарной точки зрения, опасно и экономически невыгодно отдать заболоченные места микробам-бактериям и глистам для их пышной жизни и лишить скот здоровых кормов, которыми так беден Острогожский округ.

Исходя из вышесказанного, Окрветотдел в своих докладах и планах считает мелиорацию — осушение болот и заболоченных пастбищ — единственным средством избавить овцеводство от постоянной угрозы гибели и находит существенно необходимым немедленную организацию работ по осушке заболоченных пастбищ, в первую очередь по течению реки Тихой Сосны с ее притоками, как прорезывающую весь округ, пойма которой (массив поймы 30 000 гектаров), после осушения станет экономической базой округа, а также будет разрешена проблема разведения Михновской овцы во всем округе.

Но когда-то во всем Острогожском округе были девственные пастбища, хотя это было не только до появления здесь овцы, но и до человека — еще прежде оседания первых поселений людей по берегам Тихой Сосны, — ибо именно к тому начальному времени относится зарождение оврагов в меловых отложениях в связи с хозяй-

ственной деятельностью человека. Овраги же, выходя своими устьями в пойму реки, выносили в нее почвенный материал и тем создавали затухание речного потока, начиная долгую эпоху заболачивания.

Если посмотреть на всю площадь Острогожского округа, то можно увидеть великое народнохозяйственное бедствие от быстрого роста болот.

Но со смертью рек не только дохнут овцы и падает животноводство — начинает умирать и человек. Злокачественная хроническая малярия сильно распространена среди жителей долины Тихой Сосны.

И было бы, конечно, малодушием, установив такое грозное бедствие, не попытаться вступить с природой в сражение для отвоевывания у нее громадных бросовых площадей, чтобы дать скоту питательный, безболезненный корм, а трудящимся людям продукцию и здоровье.

Эта борьба с природой за десятки тысяч гектаров заболоченных площадей началась в 1925 году. Проект регулировочно-осушительных работ по реке Тихая Сосна охватывает пойменный массив протяжением в 40 километров и на площади в 80 квадратных километров. Примерно треть всего объема работ уже выполнена; сами работы с 1927 года механизированы, то есть чистит и углубляет реку не человек, стоящий с лопатой в воде, а плавучий экскаватор — причем эта затерянная в болотах машина может служить некоторой общей гордостью советской землечерпательной техники, ибо машина оригинальной конструкции и впервые сделана в Советском Союзе (ни до войны, ни после в России подобные машины не делались, их покупали обычно в Америке). Но советские инженеры применяют для борьбы с болотами не только машины, а и взрывную технику, разрушая слежавшиеся насосы и карчу, душащие реку, динамитом.

Насколько население заинтересовано в успехе работ, видно из того, что участие населения в затратах, преимущественно натуральным трудом, составляет 52% исполнительной сметы. Но эти данные относятся к эпохе мелиоративных товариществ, то есть ко времени простейших целевых объединений крестьянства; теперь же, когда в долине Тихой Сосны есть мощные колхозы, надо ожидать гораздо более высокого темпа осушительных работ и еще более энергичного участия в них населения.

Придолинное крестьянство еще в 1924 году, когда я

был на Тихой Сосне, уже знало, что вести пойменное хозяйство, тем более создать из болота луга одним напряжением единоличного хозяйства нельзя — и в 1925 году, к моменту начала работ, все заинтересованное обедневшее крестьянство объединилось в мелиоративные товарищества, то есть в зачаточную форму производственного кооператива.

Таковы богатые факты на этой бедной долине, где и посейчас идет тяжелая борьба за создание девственной, погибшей родины Михновской овцы.

Выбравшись из этой дружно трудящейся долины на суходолы, я вошел в колхозную деревню «Утро человечества», прельщенный как хорошим названием, так и добавочным лозунгом на вывеске колхоза, взятым из метрической системы:

«Всем угнетенным народам — на долгие времена». Ясно, что это относилось к колхозной организации жизни и труда.

У заставы колхоза стоял некий, старый уже, человек, с милым, но грозным лицом, и смотрел на меня.

— Ты кто? — спросил он.

Я ему приблизительно ответил, так как вопрос, в сущности, не очень прост.

— А ты не кадр?

— Кадр.

— Где служишь?

— В уме.

— Ну, входи, пожалуйста, — это хорошее учреждение. Пойдем, я тебя яичницей покормлю. А я, знаешь, кто?

— Кто?

— Да председатель всей бузы новой жизни, товарищ Пашка. Здравствуй!

— Здравствуй!

Раньше я боялся, гожусь ли я в новую жизнь, а теперь видел, что чем жизнь новее, тем люди ко мне проще и родней.

Веселая жена Пашки живо и прилежно сделала нам яичницу, а мы стали ее есть. Во время пищи я загляделся на супругу Пашки — она была красива до прелести, хотя в общем уже пожилая; но не в этом заключалась ее привилегия, а в том, что она веселая и уверенная в своей жизни и, кроме того, мудрая и передовая, как я узнал впоследствии.

Мне уже приходилось встречать ряд колхозниц, подобных этой женщине, и я обращал свое внимание на их повеселевший прав. Отчего это получалось, трудно сформулировать, поскольку на колхозницах лежит сейчас больше забот и тревог, чем на единоличницах; однако же единоличницы в большинстве своем лишь традиционно-унылые, беспросветные бабы.

— Так, стало быть, ты кадр! — поев, высказался Пашка (отчества его я еще не знал) и тронул меня в грудь.

— Кадр, — подтвердил я.

— Ну а вдруг ты ложный! — догадливо испугался Пашка. — Ответь мне на общий вопрос: сколько нужно кирпичей, чтоб построить научную избушку-читальню?

Второй проверочный вопрос Пашки был из трудной области:

— Говорят, что мир бесконечен и звездам нет счета! Неверно, товарищ! Это буржуазная идеология: буржуям выгодно, чтоб мир был такой широкий, дабы гадам не тесно жилось и было куда бежать от пролетариата. А помоему, мир имеет конец и звездам есть окончательный счет.

Я подтвердил, что Пашка говорит вполне справедливо: вселенная не может быть неопределенно бесконечной.

— А отчего электричество железо любит, а стекло не уважает?

— Есть ли в веществе какие законы или там одни только тенденции? Вот, говорят, что можно сделать две палки, равные друг другу! Чушь! Я четыре недели стругал две линейки, и все же на полволоска они никак не сходились! Где же законы равенства? Одни только тенденции и более нет ничего!

По возможности, я отвечал на все его вопросы.

— Ну, достаточно! — определил часа через два Пашка. — Оставайся у нас колхозным техником — решай великую задачу, чтобы нам догнать и перегнать и не умориться. Можешь? А мы хотим сделать тут такой колхоз, чтоб он был, как автомобиль «форд», годен по организационной форме и мужику-африканцу и бедняку-индейцу. Ясно тебе?

— Ясно-то ясно, только это не нужно: африканский мужик и сам не дурак.

— Он-то нет, а ты-то дурак! Ведь СССР — самая передняя до революции держава! Отчего же нам не де-

лать для всего отсталого света социальные заготовки?! А уж по нашим заготовкам пускай потом всемирная беднота пригоняет себе жизнь в меру и впрок!..

Пожив и потрудившись в «Утре человечества», я узнал про товарища Пашку все подробности его истекшей жизни. Эти подробности обозначали Пашку как великого человека, выросшего из мелкого дурака — пусть даже некоторые его действия покажутся неловкими и смешными: ведь мы имеем перед собой только начало будущего человека.

Всем своим воспитанием и просвещением он был обязан исключительно своей жене, которая его довела до ума и активности. Вот как дело было.

В старину, до революции, Павла Егоровича никто не звал полностью, хотя он жил уже в полном возрасте, — все его называли Пашкой, потому что он был глуп, как грунт или малолетний. В то прошедшее время он скупал в земельных обществах овраги и старые колодцы — ему хотелось иметь хоть какое-нибудь имущество, чтобы сознавать свой смысл жизни в государстве. На приобретение истинных домов и форменной скотины у Пашки не хватало средств, поэтому ему приходилось считать своими усадьбами овраги. Такие места ему доставались дешево: однажды за полведра водки он скупил в волости все болота и песчаные угодья.

— Бери — владей, — выпив и утерев рты, сказали волостные мужики. Какая-нибудь мелочь вырастет. Хозяином себя будешь считать.

После того Пашка проводил свою жизнь в оврагах и на поверхности заросших мокрых пучин. Там ему было уютно, кругом его простиралась собственность, и он мог видеть насекомых, всецело принадлежавших ему.

В другой раз Пашка приобрел фруктовое дерево. Шел он мимо помещичьего сада и видит: ползет по дереву черный червь. Пашка испугался, что тот червь съест сначала одно дерево, а потом и весь благоухающий сад. А когда начнут пропадать сады, то государство ослабнет, а затем нагрянет какая-нибудь босая команда и отнимет у Пашки овраги и мочежинные владения.

Тогда Пашка пришел к помещику:

— Стефан Еремеевич! У тебя там на дереве черный червь явился: он тебе все фруктовые стволы сгложет — ты гляди!

— Ты говоришь, черный червь! — с задумчивым умом

произносил Стефан Еремеевич. — Что это: флора или фауна? Черный червь! Так что же мне делать с ним? А вот что, Пашка, ты возьми то дерево, вырви его с корнем и тащи вон с поместья, а дома то дерево сожгешь. Но не смей червей ронять, смотри себе в след и подбирай червей в шапку!

Пашка изъял из сада вредное дерево и перенес его к себе в овраг, где и вонзил в глину, желая, чтобы вырос собственный сад.

Но дерево умерло, и наступила революция. Неимущие стали мучить Пашку, как врага народа. Из оврага его сразу выгнали, чтобы он там не был.

И отправился тогда Пашка вдоль страны, дабы найти себе неизвестное место. По дороге он содрал с себя одежду, изранил тело и специально не ел: он уже заметил, будучи отсталым хищником, что для значения в Советском государстве надо стать худшим на вид человеком.

И действительно, его уважали сельсоветы.

— Вот, — говорили сельсоветы на Пашку, — идет наш сподвижник, угнетенный человек. Где ты, товарищ, существовал?

— В овраге, — отвечал Пашка.

Предсельсовета смотрел на Пашку со слезами на глазах.

— Поешь молочка с хлебцем, мы тебя в актив привлечем: нам весьма нужны подобные люди.

Пашка напивался, наедался и оставался.

В одной деревне его оставили заведовать кооперативом. Пашка увидел товары и пожалел их продавать: население все может поесть и уничтожить, а что толку? Имущество всегда нужно поберечь: людей хватает, а материализма мало.

Из кооператива Пашку удалили. А он почел себя от этого происшествия недостаточно бедным, чтобы быть достойным Советского государства, и обратился в нищего. Больше всего он боялся остаться без звания гражданина, без смысла жизни в сердце.

Однако Пашку привлекли к суду, как бродягу и непроизводительного труженика, тратящего бесплатно пролетарскую еду. На суде Пашка сказал, что он ищет самого низшего места в жизни, дабы революция его признала своей необходимостью. Теперь он хочет умереть, чтобы избавить государство от своего присутствия и тем облегчить его положение, тем более, что беднее мертвеца нет на свете пролетария.

Рабочий судья выслушал Пашку и сказал ему:

— Капитализм рожал бедных наравне с глупыми. С беднотою мы справимся, но куда нам девать дураков? И тут мы, товарищи, подходим к культурной революции. А отсюда я полагаю, что этого товарища, по названию Пашка, надо бросить в котел культурной революции, сжечь на нем кожу невежества, добраться до самых костей рабства, влезть под череп психологии и налить ему во все дырья наше идеологическое вещество...

Здесь Пашка вскрикнул от ужаса казни и лег на пол, чтобы загодя скончаться. Но за него вступилась дамочка, помощница судьи:

— Так нельзя пугать бессознательного. Следует его сначала пожалеть, а уж потом учить. Вставай на ноги, товарищ Пашка, мы тебя отдадим в мужья одной сознательной бабочке, она тебя с жалостью будет учить быть товарищем и светлым гражданином, потому что ты рожден капиталистическим мраком.

С тех пор Пашку отдали бабе в мужья, и он, из страха перед ней, стал жить сознательным тружеником, благодаря свою судьбу и советскую власть, в руках которой эта судьба находится.

Начиная с того светлого судебного момента и доныне Пашка все время лез в гору и дошел до поста председателя колхоза — настолько в нем увеличилось количество ума благодаря воздействию сознательной супруги.

И в районе Пашку тоже высоко ценили, как низовую пружину, жмущую бедные и средние массы вперед; он же сам все более тосковал, что не знает всей научности на свете, и собирался поехать учиться после пятилетки.

Я прожил в колхозе «Утро человечества» очень долго: я был свидетелем ярового сева на 140% от плана и участником трех строительств — прудовой плотины, семенного амбара и силосной башни.

После каждого очередного успеха Пашка выступал на собрании колхоза и провозглашал приблизительно одну и ту же тему:

— Я — товарищ Пашка — со всеми вами, бедняками и товарищами, добьюсь того, чтобы в СССР никогда не смолкал рев гудков индустриализации, как над британским империализмом никогда не заходит солнце. И дальше того: мы добьемся, чтобы дым наших заводов застил солнце над Британией!.. Мы должны в будущем году взять какой-нибудь героический завод, дабы полностью

снабжать его из нашего колхоза пшеничным зерном, — пусть наш рабочий товарищ оставит черный кислый хлеб и кушает наш первый первач! Это говорю я — товарищ Пашка!..

Дожив близ Пашки до начала осени, полюбив его до глубокой дружбы, ибо он был живым доказательством, что глупость есть лишь преходящее социальное условие, я все же в один светлый день подал ему руку на прощание и поехал в уральские степи.

— Езжай куда хочешь, — сказал мне Павел Егорович. — Все мы кипим в одном классовом котле, и сок твоей жизни дойдет до меня.

Расставаясь с товарищами и врагами, я надеюсь, что коммунизм наступит скорее, чем пройдет наша жизнь, что на могилах всех врагов, нынешних и будущих, мы встретимся с товарищами еще раз и тогда поговорим обо всем окончательно.

Б. Пастернак

Охранная грамота

Повесть



Памяти Райнера Мария Рильке

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Жарким летним утром 1900 года с Курского вокзала отходит курьерский поезд. Перед самой отправкой к окну снаружи подходит кто-то в черной тирольской разлетайке. С ним высокая женщина. Она, вероятно, приходится ему матерью или старшей сестрой. Втроем с отцом они говорят о чем-то одном, во что все вместе посвящены, с одинаковой теплотой, но женщина перекидывается с мамой отрывочными словами, по-русски, незнакомец же говорит только по-немецки. Хотя я знаю этот язык в совершенстве, но таким его никогда не слыхал. Поэтому тут, на людном перроне, между двух звонков, этот иностранец кажется мне силуэтом среди тел, вымыслом в гуще невымышленности.

В пути, ближе к Туле, эта пара опять появляется у нас в купе. Говорят о том, что в Козловой Засеке курьерскому останавливаться нет положенья и они не уверены, скажет ли обер-кондуктор машинисту вовремя придержать у Толстых. Из следующего за тем разговора я заключаю, что им к Софье Андреевне, потому что она ездит в Москву на симфонические и еще недавно была у нас, то же бесконечно важное, что символизировано буквами гр. Л. Н. и играет скрытую, но до головоломности прокуренную роль в семье, никакому воплощенью не поддается. Оно видено в слишком раннем младенчестве. Его седина, впоследствии подновленная отцовыми, репинскими и другими зарисовками, детским воображеньем давно присвоена другому старику, виденному чаще и, вероятно, позднее, — Николаю Николаевичу Ге.

Потом они прощаются и уходят в свой вагон. Немного спустя летящую насыпь берут разом в тормоза. Мелькают березы. Во весь раскат полотна сопят и сталкивают-

ся тарели сцеплений. Из вихря певучего песку облегченно вырывается кучевое небо. Полуповоротом от рощи, распластываясь в русской, к высадившимся подпархивает порожняя пара пристяжкой. Мгновенно волнующая, как выстрел, тишина разъезда, ничего о нас не ведающего. Нам тут не стоять. Нам машут на прощанье платками. Мы отвечаем. Еще видно, как их подсаживает ямщик. Вот, отдав барыне фартук, он привстал, краснорукавый, чтоб поправить кушак и подобрать под себя длинные полы поддевки. Сейчас он тронет. В это время нас подхватывает закругленье, и, медленно перевертываясь, как прочитанная страница, полустанок скрывается из виду. Лицо и происшествие забываются, и, как можно предположить, навсегда.

2

Проходит три года, на дворе зима. Улицу на треть укоротили сумерки и шубы. По ней бесшумно носятся клубы карет и фонарей. Наследованью приличий, не раз прерывавшемуся и раньше, положен конец. Их смыло волной более могущественной преемственности — лицевой.

Я не буду описывать в подробностях, что ей предшествовало. Как в ощущеньи, напоминавшем «шестое чувство» Гумилева, десятилетку открылась природа. Как первой его страстью в ответ на пятилепестную пристальность растенья явилась ботаника. Как имена, отысканные по определителю, приносили успокоенье душистым зрачкам, безвопросно рвавшимся к Линнею, точно из глухоты к славе.

Как весной девятьсот первого года в Зоологическом саду показывали отряд дагомейских амазонок. Как первое ощущенье женщины связалось у меня с ощущеньем обнаженного строя, сомкнутого страданья, тропического парада под барабан. Как раньше, чем надо, стал я невольником форм, потому что слишком рано увидал на них форму невольниц. Как летом девятьсот третьего года в Оболенском, где по соседству жили Скрябины, купаясь, тонула воспитанница знакомых, живших за Протвой. Как погиб студент, бросившийся к ней на помощь, и она затем сошла с ума, после нескольких покушений на самоубийство с того же обрыва. Как потом, когда я сломал себе ногу, в один вечер выбывши из двух будущих войн, и лежал без движения в гипсе, горели за ре-

кой эти знакомые, и юродствовал, трясясь в лихорадке, тоненький сельский набат. Как, натягиваясь, точно запущенный змей, колотилось косоугольное зарево и вдруг, свернув трубою лучинный переплет, кувырком ныряло в кулебячные слои серо-малинового дыма.

Как, скача в ту ночь с врачом из Малоярославца, поседел мой отец при виде клубившегося отблеска, облаком вставшего со второй версты над лесною дорогой и вселявшего убеждение, что это горит близкая ему женщина с тремя детьми и трехпудовой глыбой гипса, которой не поднять, не боясь навсегда ее искалечить.

Я не буду этого описывать, это сделает за меня читатель. Он любит фабулы и страхи и смотрит на историю как на рассказ с непрекращающимся продолженьем. Неизвестно, желает ли он ей разумного конца. Ему по душе места, дальше которых не простирались его прогулки. Он весь тонет в предисловиях и введеньях, а для меня жизнь открывалась лишь там, где он склонен подводить итоги. Не говоря о том, что внутреннее члененье истории навязано моему пониманью в образе неминуемой смерти, я и в жизни оживал целиком лишь в тех случаях, когда заканчивалась утомительная варка частей и, пообедав целым, вырывалось на свободу всей ширью оснащенное чувство.

Итак, на дворе зима, улица на треть подрублена сумерками и весь день на побегушках. За ней, отставая в вихре снежинок, гонятся вихрем фонари. Дорогой из гимназии имя Скрябина, все в снегу, соскакивает с афиши мне на закорки. Я на крышке ранца заношу его домой, от него натекает на подоконник. Обожанье это бьет меня жестче и неприкрашеннее лихорадки. Завидя его, я бледнею, чтобы вслед за тем густо покраснеть именно этой бледности. Он ко мне обращается, я лишаюсь соображения и слышу, как под общий смех отвечаю что-то невпопад, но что именно — не слышу. Я знаю, что он обо всем догадывается, но ни разу не пришел мне на помощь. Значит, он меня не щадит, и это именно то безответное, неразделенное чувство, которого я и жажду. Только оно, и чем оно горячее, тем больше ограждает меня от опустошений, производимых его непередаваемой музыкой.

Перед отъездом в Италию он заходит к нам прощаться. Он играет, — этого не описать, — он у нас ужинает, пускается в философию, простодушничает, шутит. Мне все время кажется, что он томится скукой. Присту-

пают к прощанью. Раздаются пожеланья. Кровавым комком в общую кучу напутствий падает и мое. Все это говорится на ходу, и возгласы, теснясь в дверях, постепенно передвигаются к передней. Тут все опять повторяется с резюмирующей порывистостью и крючком воротника, долго не падающим в туго ушитую петлю. Стучит дверь, дважды поворачивается ключ. Проходя мимо рояля, всем петельчатым свеченьем пюпитра еще говорящего о его игре, мама садится просматривать оставленные им этюды, и только первые шестнадцать тактов слагаются в предложенье, полное какой-то удивляющейся готовности, ничем на земле не вознаградимой, как я без шубы, с непокрытой головой скатываюсь вниз по лестнице и бегу по ночной Мясницкой, чтобы его воротить или еще раз увидеть.

Это испытано каждым. Всем нам явилась традиция, всем обещала лицо, всем, по-разному, свое обещанье сдержала. Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить. Никогда, прикрывшись кличкой среды, не довольствовалась она сочиненным о ней сводным образом, но всегда отражала к нам какое-нибудь из решительнейших своих исключений. Отчего же большинство ушло в облике сносной и только терпимой общности? Оно лицу предпочло безличье, испугавшись жертв, которых традиция требует от детства. Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции, — дело наших сердец, пока мы дети.

3

Конечно, я не догнал его, да вряд ли об этом и думал. Мы встретились через шесть лет, по его возвращении из-за границы. Срок этот упал полностью на отроческие годы. А как необозримо отрочество, каждому известно. Сколько бы нам потом ни набегало десятков, они бессильны наполнить этот ангар, в который они залетают за воспоминаньями, порознь и кучею, днем и ночью, как учебные аэропланы за бензином. Другими словами, эти годы в нашей жизни составляют часть, превосходящую целое, и Фауст, переживший их дважды, прожил сущую невообразимость, измеримую только математическим парадоксом.

Он приехал, и сразу же пошли репетиции «Экстаза». Как бы мне хотелось теперь заменить это названье, от-

дающее тугою мыльною оберткой, каким-нибудь более подходящим! Они происходили по утрам. Путь туда лежал разварной мглой. Фуркасовским и Кузнецким, тонувшими в ледяной тюре. Сонной дорогой в туман погружались висячие языки колоколен. На каждой по разу ухал одинокий колокол. Остальные дружно безмолвствовали всем воздержаньем говевшей меди. На выезде из Газетного Никитская била яйцо с коньяком в гулком омуте перекрестка. Голося, въезжали в лужи кованые полозья, и цокал кремень под тросами концертантов. Консерватория в эти часы походила на цирк порой утренней уборки. Пустовали клетки амфитеатров. Медленно наполнялся партер. Насилу загнанная в палки на зимнюю половину, музыка шлепала оттуда лапой по деревянной обшивке органа. Вдруг публика начинала прибывать ровным потоком, точно город очищали неприятелю. Музыку выпускали. Пестрая, несметно ломящаяся, молниеносно множащаяся, она скачками рассыпалась по эстраде. Ее настраивали, она с лихорадочной поспешностью неслась к согласью и, вдруг достигнув гула неслыханной слитности, обрывалась на всем басистом вихре, вся замерев и выровнявшись вдоль рампы.

Это было первое поселенье человека в мирах, открытых Вагнером для вымыслов и мастодонтов. На участке возводилось вымышленное лирическое жилище, материально равное всей ему на кирпич перемолотой вселенной. Над плетнем симфонии загорелось солнце Ван Гога. Ее подоконники покрывались пыльным архивом Шопена. Жильцы в эту пыль своего носа не совали, но всем своим укладом осуществляли лучшие заветы предшественника.

Без слез я не мог ее слышать. Она вгравировалась в мою память раньше, чем легла в цинкографические доски первых корректур. В этом не было неожиданности. Рука, ее написавшая, за шесть лет перед тем легла на меня с не меньшим весом.

Чем были все эти годы, как не дальнейшими превращениями живого отпечатка, отданного на произвол роста? Не удивительно, что в симфонии я встретил завидно счастливую ровесницу. Ее соседство не могло не отозваться на близких, на моих занятиях, на всем моем обиходе. И вот как оно отозвалось.

Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней — Скрябина. Музыкально лепетать я стал незадолго до первого с ним знакомства. К его возвращенью

я был учеником одного поныне здравствующего композитора. Мне оставалось еще только пройти оркестровку. Говорили всякое, впрочем, важно лишь то, что, если бы говорили и противное, все равно жизни вне музыки я себе не представлял.

Но у меня не было абсолютного слуха. Так называется способность узнавать высоту любой произвольно взятой ноты. Отсутствие качества, ни в какой связи с общею музыкальностью не стоящего, но которым в полной мере обладала моя мать, не давало мне покоя. Если бы музыка была мне поприщем, как казалось со стороны, я бы этим абсолютным слухом не интересовался. Я знал, что его нет у выдающихся современных композиторов, и, как думают, может быть, и Вагнер, и Чайковский были его лишены. Но музыка была для меня культом, то есть той разрушительной точкой, в которую собиралось все, что было самого суеверного и самоотреченного во мне, и потому всякий раз, как за каким-нибудь вечерним вдохновеньем окрылялась моя воля, я утром спешил унизить ее, вновь и вновь вспоминая о названном недостатке.

Тем не менее у меня было несколько серьезных работ. Теперь их предстояло показать моему кумиру. Устройство встречи, столь естественной при нашем знакомстве домами, я восприпял с обычной крайностью. Этот шаг, который при всяких обстоятельствах показался бы мне навязчивым, в настоящем случае вырастал в моих глазах до какого-то кощунства. И в назначенный день, направляясь в Глазовский, где временно проживал Скрябин, я не столько вез ему свои сочинения, сколько давно превзошедшую всякое выраженье любовь и свои извинения в воображаемой неловкости, невольным поводом к которой себя сознавал. Переполненный номер четвертый тискал и подкидывал эти чувства, неумолимо неся их к страшно близившейся цели по бурому Арбату, который волокли к Смоленскому, по колено в воде, мохнатые и потные вороны, лошади и пешеходы.

4

Я оценил тогда, как вышколены у нас лицевые мышцы. С перехваченной от волненья глоткой, я мямлил что-то отсохшим языком и запивал свои ответы частыми глотками чаю, чтобы не задохнуться или не сплоховать как-нибудь еще.

По челюстным мослам и выпуклостям лба ходила кожа, я двигал бровями, кивал и улыбался, и всякий раз, как я дотрагивался у переносицы до складок этой мимики, щекотливой и садкой, как паутина, в руке у меня оказывался судорожно зажатый платок, которым я вновь и вновь отирал со лба крупные капли пота. С затылка, связанная занавесями, всем переулком дымилась весна. Впереди, промеж хозяев, удвоенной словоохотливостью старавшихся вывести меня из затруднения, дышал по чашкам чай, шипел пронзенный стрелкой пара самовар, клубилось отуманенное водой и навозом солнце. Дым сигарного окурка, волокнистый, как черепаховая гребенка, тянулся из пепельницы к свету, достигнув которого пресыщенно полз по нему вбок, как по суконке. Не знаю отчего, но этот круговорот ослепленного воздуха, испарявшихся вафель, курившегося сахару и горевшего, как бумага, серебра нестерпимо усугублял мою тревогу. Она улеглась, когда, перейдя в залу, я очутился у рояля.

Первую вещь я играл еще с волнением, вторую — почти справясь с ним, третью — поддавшись напору нового и непредвиденного. Случайно взгляд мой упал на слушавшего.

Следуя постепенности исполнения, он сперва поднял голову, потом — брови, наконец, весь расцветши, поднялся и сам и, сопровождая изменения мелодии неуловимыми изменениями улыбки, поплыл ко мне по ее ритмической перспективе. Все это ему нравилось. Я поспешил кончить. Он сразу пустился уверять меня, что о музыкальных способностях говорить нелепо, когда налицо несравненно большее, и мне в музыке дано сказать свое слово. В ссылках на промелькнувшие эпизоды он подсел к роялю, чтобы повторить один, наиболее его привлекший. Оборот был сложен, я не ждал, чтобы он воспроизвел его в точности, но произошла другая неожиданность, он повторил его не в той тональности, и недостаток, так меня мучивший все эти годы, брызнул из-под его рук, как его собственный.

И, опять, предпочтя красноречию факта превратности гаданья, я вздрогнул и задумал надвое. Если на признанье он возразит мне: «Боря, но ведь этого нет и у меня», тогда — хорошо, тогда, значит, не я навязываюсь музыке, а она сама суждена мне. Если же речь в ответ зайдет о Вагнере и Чайковском, о настройщиках и так далее, — но я уже приступал к тревожному пред-

мету, и, перебитый на полуслове, уже глотал в ответ: «Абсолютный слух? После всего, что я сказал вам? А Вагнер? А Чайковский? А сотни настройщиков, которые наделены им?..»

Мы прохаживались по залу. Он клал мне руку то на плечо, то брал меня под руку. Он говорил о вреде импровизации, о том, когда, зачем и как надо писать. В образцы простоты, к которой всегда следует стремиться, он ставил свои новые сонаты, ославленные за головоломность. Примеры предосудительной сложности приводил из банальнейшей романсной литературы. Парадоксальность сравненья меня не смущала. Я соглашался, что безличье сложнее лица. Что небережливое многословье кажется доступным, потому что оно бессодержательно. Что, развращенные пустотою шаблонов, мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы. Незаметно он перешел к более решительным наставленьям. Он справился о моем образовании и, узнав, что я избрал юридический факультет за его легкость, посоветовал немедленно перевестись на философское отделение историко-филологического, что я на другой день и исполнил. А тем временем, как он говорил, я думал о происшедшем. Сделки своей с судьбою я не нарушал. О худом выходе загаданного помнил. Развенчивала ли эта случайность моего бога? Нет, никогда, — с прежней высоты она подымала его на новую. Отчего он отказал мне в том простейшем ответе, которого я так ждал? Это его тайна. Когда-нибудь, когда уже будет поздно, он подарит меня этим упущенным признаньем. Как одолел он в юности свои сомненья? Это тоже его тайна, она-то и возводит его на новую высоту. Однако в комнате давно темно, в переулке горят фонари, пора и честь знать.

Я не знал, прощаясь, как благодарить его. Что-то подымалось во мне. Что-то рвалось и освобождалось. Что-то плакало, что-то ликовало.

Первая же струя уличной прохлады отдала домами и далями. Целое их столпотворение поднялось к небу, вынесенное с булыжника единодушием московской ночи. Я вспомнил о родителях и об их нетерпеливо готовящихся расспросах. Мое сообщение, как бы я его ни повел, никакого смысла, кроме радостнейшего, иметь не могло. Тут только, подчиняясь логике предстоявшего рассказа, я впервые как к факту отнесся к счастливым

событиям дня. Мне они в таком виде не принадлежали. Действительностью становились они лишь в предназначеньи для других. Как ни возбуждала весть, которую я нес домашним, на душе у меня было неспокойно. Но все больше походило на радость сознанье, что именно этой грусти мне ни во чьи уши не вложить и, как и мое будущее, она останется внизу, на улице, со всей моею, моей в этот час, как никогда, Москвой. Я шел переулками, чаще надобности переходя через дорогу. Совершенно без моего ведома во мне таял и надламывался мир, еще накануне казавшийся навсегда прирожденным. Я шел, с каждым поворотом все больше прибавляя шагу, и не знал, что в эту ночь уже рву с музыкой.

В возрастах отлично разбиралась Греция. Она остерегалась их смешивать. Она умела мыслить детство замкнуто и самостоятельно, как заглавное интеграционное ядро. Как высока у ней эта способность, видно из ее мифа о Ганимеде и из множества сходных. Те же воззрения вошли в ее понятие о полубоге и герое. Какая-то доля риска и трагизма, по ее мысли, должна быть собрана достаточно рано в наглядную, мгновенно обозримую горсть. Какие-то части зданья, и среди них основная арка фатальности, должны быть заложены разом, с самого начала, в интересах его будущей соразмерности. И, наконец, в каком-то запоминающемся подобии, быть может, должна быть пережита и смерть.

Вот отчего при гениальном, всегда неожиданном, сказочно захватывающем искусстве античность не знала романтизма.

Воспитанная на никем потом не повторенной требовательности, на сверхчеловечестве дел и задач, она совершенно не знала сверхчеловечества как личного аффекта. От этого она была застрахована тем, что всю дозу необычного, заключающуюся в мире, целиком прописывала детству. И когда по ее приеме человек гигантскими шагами вступал в гигантскую действительность, поступь и обстановка считались обычными.

5

В один из ближайших вечеров, отправляясь на собрание «Сердарды», пьяного сообщества, основанного десятком поэтов, музыкантов и художников, я вспомнил, что обещал принесть Юлиану Анисимову, читавшему

перед тем отличные переводы из Демеля, другого немецкого поэта, которого я предпочитал всем его современникам. И опять, как не раз уже и раньше, сборник «Mir zur Feir» очутился у меня в руках в труднейшую мою пору и ушел по слякоти на деревянный Разгуляй, в отсырелое сплетенье старины, наследственности и молодых обещаний, чтобы, одурев от грачей в мезонине под тополями, вернуться домой с новой дружбой, то есть с чутьем еще на одну дверь, в городе, где их было тогда еще немного. Пора рассказать, однако, как ко мне попал этот сборник. Дело в том, что шестью годами раньше, в те декабрьские сумерки, которые я принимался тут описывать дважды, вместе с бесшумной улицей, всюду подстерегавшейся таинственными ужимками снежинок, ездил на коленках и я, помогая маме в уборке отцовских этажерок. Уже пройденная тряпкой и уторканная с четырех боков печатная требуха правильными рядами возвращалась на распотрошенные полки, как вдруг из одной стопы, особенно колышливой и ослушной, вывалилась книжка в серой выгоревшей обложке. По совершенной случайности я не втиснул ее назад и, подобрав с полу, взял потом к себе. Прошло много времени, и я успел полюбить книгу, как вскоре и другую, присоединившуюся к ней и надписанную отцу тою же рукою. Но еще больше времени прошло, пока я однажды понял, что их автор, Райнер Мария Рильке, должен быть тем самым немцем, которого давно как-то, летом, мы оставили в пути на вертящемся отрыве забытого лесного полустанка. Я побежал к отцу проверять догадку, и он ее подтвердил, недоумевая, почему это так могло меня взволновать.

Я не пишу своей биографии. Я к ней обращаюсь, когда того требует чужая. Вместе с ее главным лицом я считаю, что настоящего жизнеописания заслуживает только герой, но история поэта в этом виде вовсе непредставима. Ее пришлось бы собирать из несущественностей, свидетельствующих об уступках жалости и принужденью. Всей своей жизни поэт придает такой добровольно крутой наклон, что ее не может быть в биографической вертикали, где мы ждем ее встретить. Ее нельзя найти под его именем и надо искать под чужим, в биографическом столбце его последователей. Чем замкнутее производящая индивидуальность, тем коллективнее, без всякого иносказания, ее повесть. Область подсознательного у гения не поддается обмеру. Ее составляет все,

что творится с его читателями и чего он не знает. Я не дарю своих воспоминаний памяти Рильке. Наоборот, я сам получил их от него в подарок.

6

Хотя к этому располагал рассказ, я вопроса о том, что такое музыка и что к ней приводит, не ставил. Я не сделал этого не только оттого, что, проснувшись однажды на третьем году ночью, застал весь кругозор залитым ею более чем на пятнадцать лет вперед и, таким образом, не имел случая пережить ее проблематику. Но еще и оттого, что она теперь перестает относиться к нашей теме. Однако того же вопроса в отношении искусства по преимуществу, искусства в целом, иными словами — в отношении поэзии, мне не обойти. Я не отвечу на него ни теоретически, ни в достаточно общей форме, но многое из того, что я расскажу, будет на него ответом, который я могу дать за себя и своего поэта.

Солнце вставало из-за Почтамта и, соскальзывая по Кисельному, садилось на Неглинке. Вызолотив нашу половину, оно с обеда перебиралось в столовую и кухню. Квартира была казенная, с комнатами, переделанными из классов. Я учился в университете. Я читал Гегеля и Канта. Времена были такие, что в каждую встречу с друзьями разверзались бездны и то один, то другой выступал с каким-нибудь новоявленным откровеньем.

Часто подымали друг друга глубокой ночью. Повод всегда казался неотложным. Разбуженный стыдился своего сна, как нечаянно обнаруженной слабости. К перепугу несчастных домочадцев, считавшихся поголовными ничтожествами, отправлялись тут же, точно в смежную комнату, в Сокольники, к переезду Ярославской железной дороги. Я дружил с девушкой из богатого дома. Всем было ясно, что я ее люблю. В этих прогулках она участвовала только отвлеченно, на устах более бессонных и приспособленных. Я давал несколько грошовых уроков, чтоб не брать денег у отца. Летами, с отъездом наших, я оставался в городе на своем иждивеньи. Иллюзия самостоятельности достигалась такой умеренностью в пище, что ко всему присоединялся еще и голод и окончательно превращал ночь в день в пустопорожней квартире. Музыка, прощанье с которой я только еще

откладывал, уже переплеталась у меня с литературой. Глубина и прелесть Белого и Блока не могли не открыться мне. Их влияние своеобразно сочеталось с силой, превосходившей простое невежество. Пятнадцатилетнее воздержание от слова, приносившегося в жертву звуку, обрекало на оригинальность, как иное увечье обрекает на акробатику. Вместе с частью моих знакомых я имел отношение к «Мусагету». От других я узнал о существовании Марбурга: Канта и Гегеля сменили Коген, Наторп и Платон.

Свою жизнь тех лет я характеризую намеренно случайно. Эти признаки я мог бы умножить или заменить другими. Однако для моей цели достаточно и приведенных. Обозначив ими вприкидку, как на расчетном чертеже, мою тогдашнюю действительность, я тут же и спрошу себя, где и в силу чего из нее рождалась поэзия. Обдумывать ответ мне долго не придется. Это единственное чувство, которое память сберегла мне во всей свежести.

Она рождалась из перебоев этих рядов, из разности их хода, из отставанья более косных и их нагроможденья позади, на глубоком горизонте воспоминанья.

Всего порывистее неслась любовь. Иногда, оказываясь в голове природы, она опережала солнце. Но так как это выдавалось очень редко, то можно сказать, что с постоянным превосходством, почти всегда соперничая с любовью, двигалось вперед то, что, вызолотив один бок дома, принималось бронзировать другой, что смывало погодой погоду и вращало тяжелый ворот четырех времен года. А в хвосте, на отступах разной дальности, плелись остальные ряды. Я часто слышал свист тоски, не с меня начавшейся. Настигая меня с тылу, он пугал и жалобил. Он исходил из оторвавшегося обихода и не то грозил затормозить действительность, не то молил примкнуть его к живому воздуху, успевшему зайти тем временем далеко вперед. В этой оглядке и заключалось то, что зовется вдохновеньем. К особенной яркости, ввиду дали своего отката, звали наиболее отечные, нетворческие части существованья. Еще сильнее действовали неодушевленные предметы. Это были натурщики натюрморта, отрасли, наиболее излюбленной художниками. Копаясь в последнем отдалении живой вселенной и находясь в неподвижности, они давали наиполнейшее понятие о движущемся целом, как всякий кажущийся нам контрастом предел. Их расположение обозначало

границу, за которой удивленью и состраданью нечего делать. Там работала наука, отыскивая атомные основания реальности.

Но так как не было второй вселенной, откуда можно было бы поднять действительность из первой, взяв ее за вершки, как за волоса, то для манипуляций, к которым она сама взывала, требовалось брать ее изображенье, как это делает алгебра, стесненная такой же однoплоскостностью в отношении величины. Однако это изображенье всегда казалось мне выходом из затрудненья, а не самоцелью. Цель же я видел всегда в пересадке изображенного с холодных осей на горячие, в пуске отжитого вслед и в нагонку жизни. Без особых отличий от того, что думаю и сейчас, я рассуждал тогда так. Людей мы изображаем, чтобы накинуть на них погоду. Погоду, или, что одно и то же, природу, — чтобы на нее накинуть нашу страсть. Мы втаскиваем вседневность в прозу ради поэзии. Мы вовлекаем прозу в поэзию ради музыки. Так, в широчайшем значении слова, называл я искусство, поставленное по часам живого, бьющего поколеньями рода.

Вот отчего ощущенье города никогда не отвечало месту, где в нем протекала моя жизнь. Душевный напор всегда отбрасывал его в глубину описанной перспективы. Там, отдуваясь, топтались облака, и, расталкивая их толпу, висел поперек неба сплывшийся дым несметных печей. Там линиями, точно вдоль набережных, окунались подъездами в снег разрушившиеся дома. Там утлую невзрачность прозябанья перебирали тихими гитарными щипками пьянства, и, сварясь за бутылкой вкрутую, раскрасневшиеся степенницы выходили с качающимися мужьями под ночной прибой извозчиков, точно из гогочущей горячки шаек в березовую прохладу предбанника. Там травились и горели, обливали разлучниц кислотой, выезжали в атласе к венцу и закладывали меха в ломбарде. Там втихомолку перемигивались лаковые ухмылки рассыхавшегося уклада и в ожиданьи моего часа усаживались, разложа учебники, мои питомцы-второгодники, ярко накрашенные малоумьем, как шафраном. Там также сотнею аудиторий гудел и замирал серо-зеленый, полузаплеванный университет.

Скользнувши стеклами очков по стеклам карманных часиков, профессора поднимали головы в обращении к хорам и потолочным сводам. Головы студентов отделя-

лись от тужурок и на длинных шнурах повисали четными дружками к зеленым абажурам.

За этими побывками в городе, куда я ежедневно попадал точно из другого, у меня неизменно учащалось сердцебиенье. Покажись я тогда врачу, он предположил бы, что у меня малярия. Однако эти приступы хронической нетерпеливости лечению хиной не поддавались. Эту странную испарину вызывала упрямая аляповатость этих миров, их отечная, ничем изнутри в свою пользу не издержанная наглядность. Они жили и двигались, точно позируя. Объединяя их в какое-то поселенье, среди них мысленно высилась антенна повальной предопределенности. Лихорадка нападала именно у основанья этого воображаемого шеста. Ее порождали токи, которые эта мачта посылала на противоположный полюс. Собеседуя с далекою мачтой гениальности, она вызывала из ее краев в свой поселок какого-то нового Бальзака. Однако стоило отойти от рокового шеста подальше, как наступало мгновенное успокоенье.

Так, например, меня не лихорадило на лекциях Савина, потому что этот профессор в типы не годился. Он читал с настоящим талантом, выраставшим по мере того, как рос его предмет. Время не обижалось на него. Оно не рвалось вон из его учреждений, не скакало в отдушины, не бросалось опрометью к дверям. Оно не задувало дыма назад в бора́ и, сорвавшись с крыши, не хваталось за крюк уносящегося во вьюгу трамвайного прицепа. Нет, с головой уйдя в английское средневековье или Робеспьеров конвент, оно увлекало за собой и нас, а с нами и все, что нам могло вообразиться живого за высокими университетскими окнами, выведенными у самых карнизов.

Я также оставался здоров в одном из номеров дешевых меблирашек, где в числе нескольких студентов вел занятия с группой взрослых учеников. Никто тут не блистал талантами. Достаточно было и того, что, не ожидая ниоткуда наследства, руководители и руководимые объединялись в общем усилии сдвинуться с мертвой точки, к которой собиралась пригвоздить их жизнь. Как и преподаватели, среди которых имелись оставленные при университете, они были для своих знаний малотипичны. Мелкие чиновники и служащие, рабочие, лакеи и почтальоны, они ходили сюда затем, чтобы стать однажды чем-нибудь другим.

Меня не лихорадило в их деятельной среде, и, в ред-

ких ладах с собою, я часто заворачивал отсюда в соседний переулок, где в одном из дворовых флигелей Златоустинского монастыря целыми артелями проживали цветочники. Именно здесь запасались полною флорой Ривьеры мальчишки, торговавшие ею на Петровке в разнос. Оптовые мужики выписывали ее из Ниццы, и на месте у них эти сокровища можно было достать за совершенный бесценок. Особенно тянуло к ним с перелома учебного года, когда, открыв в один прекрасный вечер, что занятья давно ведутся не при огне, светлые сумерки марта все больше и больше зачащали в грязные номера, а потом и вовсе уже не отставали и на пороге гостиницы по окончании уроков. Не покрытая, против обыкновения, низким платком зимней ночи, улица как из-под земли вырастала у выхода с какой-то сухою сказкой на чуть шевелящихся губах. По дюжей мостовой отрывисто шаркал весенний воздух. Точно обтянутые живой кожицей, очертания переулка дрожали зябкой дрожью, заждавшись первой звезды, появленье которой томительно оттягивало ненасытное, баснословно досужее небо.

Вонючую галерею до потолка загромождали порожние плетушки в иностранных марках под звучными итальянскими штемпелями. В ответ на войлочное кряхтенье двери наружу выкатывалось, как за нуждой, облако белого пара, и что-то неслыханно волнующее угадывалось уже и в нем. Напролет против сеней, в глубине постепенно понижавшейся горницы, толпились у крепостного окошка малолетние разносчики и, приняв подотчетный товар, рассовывали его по корзинкам. Там же, за широким столом, сыновья хозяина молчаливо вспарывали новые, только что с таможни привезенные посылки. Разогнутая надвое, как книга, оранжевая подкладка обнажала свежую сердцевину тростниковой коробки. Сплотившиеся путла похолодевших фиалок вынимались цельным куском, точно синие слои вяленой малаги. Они наполняли комнату, похожую на дворницкую, таким одуряющим благоуханьем, что и столбы предвечернего сумрака, и пластавшиеся по полу тени казались выкроенными из сырого темно-лилового дерна.

Однако настоящие чудеса ждали еще впереди. Пройдя в самый конец двора, хозяин отмыкал одну из дверей каменного сарая, поднимал за кольцо погребное творило, и в этот миг сказка про Али Бабу и сорок разбойников сбывалась во всей своей ослепительности.

На дне сухого подполья разрывчато, как солнце, горели четыре репчатые молнии, и, соперничая с лампами, безумствовали в огромных лоханях, отобранные по колерам и породам, жаркие снопы пионов, желтых ромашек, тюльпанов и анемон. Они дышали и волновались, точно тягаясь друг с другом. Нахлынув с неожиданной силой, пыльную душистость мимоз смывала волна светлого запаха, водянистого и изнизанного жидкими иглами аниса. Это ярко, как до белизны разведенная настойка, пахли нарциссы. Но и тут всю эту бурю ревности побеждали черные кокарды фиалок. Скрытные и полусумасшедшие, как зрачки без белка, они гипнотизировали своим безучастием. Их сладкий, непрокашлянный дух заполнял с погребного дна широкую раму лаза. От них закладывало грудь каким-то деревянистым плевритом. Этот запах что-то напоминал и ускользал, оставляя в дураках сознанье. Казалось, что представленье о земле, склоняющее их к ежегодному возвращенью, весенние месяцы составили по этому запаху, и родники греческих поверий о Деметре были где-то невдалеке.

7

В то время и много спустя я смотрел на свои стихотворные опыты как на несчастную слабость и ничего хорошего от них не ждал. Был человек, С. Н. Дурылин, уже и тогда поддерживавший меня своим одобрением. Объяснялось это его беспримерной отзывчивостью. От остальных друзей, уже видавших меня почти ставшим на ноги музыкантом, я эти признаки нового несовершеннолетья тщательно скрывал.

Зато философией я занимался с основательным увлеченьем, предполагая где-то в ее близости зачатки будущего приложения к делу. Круг предметов, читавшихся по нашей группе, был так же далек от идеала, как и способ их преподавания. Это была странная мешанина из отжившей метафизики и неоперившегося просвещенства. Согласья ради оба направления поступались последними остатками смысла, который мог бы им еще принадлежать, взятым в отдельности. История философии превращалась в беллетристическую догматику, психология же вырождалась в ветреную пустяковину брошюрного пошиба.

Молодые доценты, как Шпет, Самсонов и Кубицкий, порядка этого изменить не могли. Однако и старшие

профессора были не так уж в нем виноваты. Их связывала необходимость читать популярно до азбучности, сказавшаяся уже и в те времена. Не доходя отчетливо до сознания участников, кампания по ликвидации неграмотности была начата именно тогда. Сколько-нибудь подготовленные студенты старались работать самостоятельно, все более и более привязываясь к образцовой библиотеке университета. Симпатии распределялись между тремя именами. Большая часть увлекалась Бергсоном. Приверженцы геттингенского гуссерлианства находили поддержку в Шпете. Последователи Марбургской школы были лишены руководства и, предоставленные самим себе, объединялись случайными разветвлениями личной традиции, шедшей еще от С. Н. Трубецкого.

Замечательным явлением этого круга был молодой Самарин. Прямой отпрыск лучшего русского прошлого, к тому же связанный разными градациями родства с историей самого здания по углам Никитской, он раза два в семестр заявлялся на иное собрание какого-нибудь семинария, как отделенный сын на родительскую квартиру в час общего обеденного сбора. Референт прерывал чтенье, дожидаясь, пока долговязый оригинал, смущенный тишиной, которую он вызывал и сам растягивал выбором места, взберется по трескучему помосту на крайнюю скамью дощатого амфитеатра. Но только начиналось обсужденье доклада, как весь грохот и скрип, втащенный только что с таким трудом под потолок, возвращался вниз в обновленной и неузнаваемой форме. Придравшись к первой оговорке докладчика, Самарин обрушивал оттуда какой-нибудь экспромт из Гегеля или Когена, скатывая его как шар по ребристым уступам огромного ящичного склада. Он волновался, проглатывал слова и говорил прирожденно громко, выдерживая голос на той ровной, всегда одной, с детства до могилы усвоенной ноте, которая не знает шепота и крика и вместе с округлой картавостью, от нее неотделимой, всегда разом выдает породу. Потеряв его впоследствии из виду, я невольно вспомнил о нем, когда, перечитывая Толстого, вновь столкнулся с ним в Нехлюдове.

8

Хотя у летней кофейни на Тверском бульваре не было своего названья, звали ее все Café grec. Ее не за-

крывали на зиму, и тогда ее назначенье становилось странною загадкой. Однажды не сговариваясь, по случайности, сошлись в этом голом павильоне Локс, Самарин и я. Мы были единственными его посетителями не только в тот вечер, но, может быть, и за весь истекший сезон. Дело переламывалось к теплу, потягивало весной. Только появился и едва подсел к нам Самарин, как зафилософствовал и, вооружаясь сухим бисквитом, стал отбивать им, как регентским камертоном, логические члененья речи. Поперек павильона протянулся кусок гегелевской бесконечности, составленной из сменяющихся утверждений и отрицаний. Вероятно, я сказал ему о теме, которую избрал для кандидатского сочинения, вот он и соскочил с Лейбница и математической бесконечности на диалектическую. Вдруг он заговорил о Марбурге. Это был первый рассказ о самом городе, а не о школе, какой я услышал. Впоследствии я убедился, что о его старине и поэзии говорить иначе и нельзя, тогда же, под стрекотанье вентиляционной вертушки, мне это влюбленное описанье было в новинку. Внезапно он спохватился, что шел сюда не кофейничать и только на минуту, вспугнул хозяина, дремавшего в углу за газетой, и, узнав, что телефон в неисправности, вывалился из обледенелого скворешника еще шумнее, чем ввалился. Вскоре поднялись и мы. Погода переменилась. Поднявшийся ветер стал шпарить февральскою крупою. Она ложилась на землю правильными мотками, восьмеркой. Было в ее яростном петляньи что-то морское. Так, мах к маху, волнистыми слоями складывают канаты и сети. Доро́гой Локс несколько раз заговаривал на свою излюбленную тему о Стендале, я же отмалчивался, чему немало способствовала метель. Я не мог позабыть о слышанном, и мне жалко было городка, которого, как я думал, мне никогда, как ушей своих, не видать.

Это было в феврале, а в апреле месяце как-то утром мама объявила, что скопила из заработков и сберегла на хозяйстве двести рублей, которые мне и дарит с советом съездить за границу. Не изобразить ни радости, ни полной неожиданности подарка, ни его незаслуженности. Фортепьянного бренчанья по такой сумме надо было натерпеться немало. Однако отказываться у меня не было сил. Выбирать маршрут не приходилось. Тогда европейские университеты находились в постоянной осведомленности друг о друге. Начав в тот же день беготню по канцеляриям, я вместе с немногочисленными

документами унес с Моховой некоторое сокровище. Это был двумя неделями раньше отпечатанный в Марбурге подробный перечень курсов, предположенных к чтенью на летнем семестре 1912 года. Изучая проспект с карандашом в руке, я не расставался с ним ни на ходу, ни за решетчатыми стойками присутствий. От моей потерянности за версту разило счастьем, и, заражая им секретарей и чиновников, я, сам того не зная, подгонял и без того несложную процедуру.

Программа у меня, разумеется, была спартанская. Третий, а за границей, если придется, и четвертый класс, поезда́ последней скорости, комната в какой-нибудь подгородной деревушке, хлеб с колбасой да чай. Мамино самопожертвованье обязывало к удесятеренной жадности. За ее деньги следовало попасть еще и в Италию. Кроме того, я знал, что очень чувствительную долю поглотит вступительный взнос в университет и оплата отдельных семинариев и курсов. Но если б у меня денег было и вдесятеро больше, я по тем временам от этой росписи не отступил бы. Я не знаю, как распорядился бы остатком, но ничто бы на свете меня тогда во второй класс не перевело и никаких следов на ресторанной скатерти оставить не склонило. Терпимость в отношении удобств и потребность в уюте появились у меня только в послевоенное время. Оно наставило таких препятствий тому миру, который не допускал в мою комнату никаких прикрас и поблажек, что временно не мог не измениться и весь мой характер.

9

У нас сходил еще снег и небо кусками выплывало из-под наста на воду, как выскользнувшая из-под кальки переводная картинка, а по всей Польше жарко цвели яблони, и она неслась с утра на ночь и с запада на восток, по-летнему бессонная, какой-то романской частью славянского замысла.

Берлин показался мне городом подростков, получивших накануне в подарок тесаки и каски, трости и трубки, настоящие велосипеды и сюртуки, как у взрослых. Я застал их на первом выходе, они не привыкли еще к перемене, и каждый важничал тем, что ему вчера выпало на долю. На одной из превосходнейших улиц меня окликнуло из книжной витрины Наторпово руководство по логике, и я вошел за ним с ощущеньем, что увижу

завтра автора въяве. Из двух суток пути я провел уже одну ночь без сна на немецкой территории, теперь мне предстояла другая.

Откидные полати в третьем классе заведены только у нас в России, за границей же за дешевое передвижение приходится отдуваться ночами, клюя носом вчетвером на глубоко выбранной и разделенной подлокотниками скамейке. Хотя на этот раз обе лавки отделенья были к моим услугам, мне было не до сна. Лишь изредка с большими перерывами входили на перегон-другой отдельные пассажиры, больше студенты, и, безмолвно откланявшись, проваливались в теплую ночную неизвестность. При каждой их смене под крыши перронов вкатывались спящие города. Исконное средневековье открывалось мне впервые. Его подлинность была свежа и страшна, как всякий оригинал. Лязгая знакомыми именами, как голой сталью, путешествие вынимало их одно за другим из читанных описаний, точно из пыльных ножен, изготовленных историками.

На подлете к ним поезд вытягивался кольчужным чудом из десяти клепаных кузовов. Кожаный напуск переходов вспучивался и обвисал кузнечными мехами. Залитое огнями вокзала, в чистых бокалах ясно лучилось пиво. По каменным платформам плавно удалялись порожняком багажные тележки на толстых и точно каменных катках. Под сводами колоссальных дебаркадеров потели торсы короткорылых локомотивов. Казалось, что на такую высоту их занесла игра низких колес, нежданно замерших на полном заводе.

Отовсюду к пустынному бетону тянулись его шестисотлетние предки. Четвертованные косыми балками трельяжа стены разминали свою сонную роспись. На них теснились пажи, рыцари, девушки и рыжебородые людоеды, и клетчатая дранка шпалерника повторялась, как орнамент, на решетчатых наличниках шлемов, в разрезах шарообразных рукавов и в крестчатой шнуровке корсажей. Дома подступали почти вплотную к опущенному окну. Вконец потрясенный, я лежал на его широком ребре, зашептываясь до самозабвенья коротким восклицанием восторга, теперь устаревшим. Но было еще темно, и скачущие лапы дикого винограда едва чернелись на штукатурке. Когда же вновь ударял ураган, отзывавшийся углем, росой и розами, то, внезапно обданный горстью искр из рук увлеченно несшейся ночи, я быстро поднимал окно и задумывался о непредвиди-

мостях завтрашнего дня. Но надо хоть как-нибудь сказать о том, куда и зачем я ехал.

Созданье гениального Когена, подготовленное его предшественником по кафедре Фридрихом Альбертом Ланге, известным у нас по «Истории материализма», Марбургское направление покоряло меня двумя особенностями. Во-первых, оно было самобытно, перерывало все до основанья и строило на чистом месте. Оно не разделяло ленивой рутины всевозможных «измов», всегда цепляющихся за свое рентабельное всезнайство из десятых рук, всегда невежественных и всегда, по тем или другим причинам, боящихся пересмотра на вольном воздухе вековой культуры. Не подчиненная терминологической инерции Марбургская школа обращалась к первоисточникам, т. е. к подлинным распискам мысли, оставленным ею в истории науки. Если ходячая философия говорит о том, что думает тот или другой писатель, а ходячая психология — о том, как думает средний человек, если формальная логика учит, как надо думать в булочной, чтобы не обсчитаться сдачей, то Марбургскую школу интересовало, как думает наука в ее двадцатипятивековом непрекращающемся авторстве, у горячих начал и исходов мировых открытий. В таком, как бы авторизованном самой историей, расположении философия вновь молодела и умнела до неузнаваемости, превращаясь из проблематической дисциплины в исконную дисциплину о проблемах, каковой ей и надлежит быть.

Вторая особенность Марбургской школы прямо вытекала из первой и заключалась в ее разборчивом и взыскательном отношении к историческому наследству. Школе чужда была отвратительная снисходительность к прошлому, как к некоторой богадельне, где кучка стариков в хламидах и сандалиях или париках и камзолах врет непроглядную отсебятину, извинимую причудами коринфского ордера, готики, барокко или какого-нибудь иного зодческого стиля. Однородность научной структуры была для школы таким же правилом, как анатомическое тождество исторического человека. Историю в Марбурге знали в совершенстве и не уставали тащить сокровище за сокровищем из архивов итальянского Возрождения, французского и шотландского рационализма и других плохо изученных школ. На историю в Марбурге смотрели в оба гегельянских глаза, т. е. гениально обобщенно, но в то же время и в точных границах здра-

вого правдоподобия. Так, например, школа не говорила о стадиях мирового духа, а, предположим, о почтовой переписке семьи Бернулли, но при этом она знала, что всякая мысль сколь угодно отдаленного времени, застигнутая на месте и за делом, должна полностью допускать нашу логическую комментацию. В противном случае она теряет для нас непосредственный интерес и поступает в ведение археолога или историка костюмов, нравов, литератур, общественно-политических веяний и прочего.

Обе эти черты самостоятельности и историзма ничего не говорят о содержании Когеновой системы, но я не собирался, да и не взялся бы говорить о ее существе. Однако обе они объясняют ее притягательность. Они говорят о ее оригинальности, т. е. о живом месте, занятом ею в живой традиции для одной из частей современного сознанья.

Как одна из его частиц, я мчался к центру притяжения. Поезд пересекал Гарц. Дымным утром, выскочив из лесу, промелькнул средневековым углеконом тысячелетний Гослар. Позже пронесся Геттинген. Имена городов становились все громче. Большинство из них поезд отшвыривал с пути на всем лету, не нагибаясь. Я находил названия этих откатывающихся волчков на карте. Вокруг иных подымались стародавние подробности. Они вовлекались в их круговорот, как звездные спутники и кольца. Иногда горизонт расширялся, как в «Страшной мести», и, дымясь сразу в несколько орбит, земля в отдельных городах и замках начинала волновать, как ночное небо.

10

Два года, предшествовавших поездке, слово Марбург не сходило у меня с языка. Упоминание о городе в главах о Реформации имелось в каждом учебнике для средней школы Книжечка о Елизавете Венгерской, погребенной в нем в начале XIII века, была «Посредником» издана даже для детей. Любая биография Джордано Бруно в числе городов, где он читал на роковом пути из Лондона на родину, называла и Марбург. Между тем, как это ни маловероятно, я ни разу в Москве не догадался о тождестве, существовавшем между Марбургом этих упоминаний и тем, ради которого я грыз таблицы производных и дифференциалов и с Мак-Лоррена пере-

скакивал на Максвелла, окончательно мне недоступного. Надо было, подхватя чемодан, пройти мимо рыцарской гостиницы и старой почтовой станции, чтобы оно встало передо мной впервые.

Я стоял, заломя голову и задыхаясь. Надо мной высился головокружительный откос, на котором тремя ярусами стояли каменные макеты университета, ратуши и восьмисотлетнего замка. С десятого шага я перестал понимать, где нахожусь. Я вспомнил, что связь с остальным миром забыл в вагоне и ее теперь вместе с крюками, сетками и пепельницами назад не воротишь. Над башенными часами праздно стояли облака. Место казалось им знакомым. Но и они ничего не объясняли. Было видно, что, как сторожа этого гнезда, они никуда отсюда не отлучаются. Царила полуденная тишина. Она сносилась с тишиной простершейся внизу равнины. Обе как бы подводили итог моему обалденью. Верхняя пересылалась с нижней томительными веяниями сирени. Выжидательно чирикали птицы. Я почти не замечал людей. Неподвижные очертанья кровель любопытствовали, чем все это кончится.

Улицы готическими карлицами лепились по крутизнам. Они располагались друг под другом и своими подвалами смотрели на чердаки соседних. Их теснины были заставлены чудесами коробчатого зодчества. Расширяющиеся кверху этажи лежали на выпущенных бревнах и, почти соприкасаясь кровлями, протягивали друг другу руки над мостовой. На них не было тротуаров. Не на всех можно было разойтись.

Вдруг я понял, что пятилетнему шарканью Ломоносова по этим мостовым должен был предшествовать день, когда он входил в этот город впервые, с письмом к Лейбницеву ученику Христиану Вольфу, и никого еще тут не знал. Мало сказать, что с того дня город не изменился. Надо знать, что таким же неожиданно маленьким и древним мог он быть уже и для тех дней. И, повернув голову, можно было потрястись, повторяя в точности одно, страшно далекое, телодвиженье. Как и тогда, при Ломоносове, рассыпавшись у ног всем сизым кишением шиферных крыш, город походил на голубиную стаю, завороженную на живом слете к смененной кормушке. Я трепетал, справляя двухсотлетие чужих шейных мышц. Придя в себя, я заметил, что декорация стала реальностью, и отправился разыскивать дешевую гостиницу, указанную Самариным.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Я снял комнату на краю города. Дом стоял в ряду последних по Гиссенской дороге. В этом месте каштаны, которыми она была обсажена, как по команде заходя друг другу в плечо, всей шеренгой забирали вправо. Оглянувшись в последний раз на хмурую гору со старым городом, шоссе пропадало за лесом.

При комнате был дрянной балкончик, выходивший на соседний огород. Там стоял снятый с осей вагон старой марбургской конки, превращенный в курятник.

Комнату сдавала старушка чиновница. Она жила вдвоем с дочерью на тощую вдовью пенсию. Мать и дочь были на одно лицо. Как бывает всегда с женщинами, пораженными базедовой болезнью, они перехватывали мой взгляд, воровски устремленный на их воротнички. В эти мгновенья мне воображались детские воздушные шары, собранные к кончику ухом и натуго перевязанные. Может быть, они об этом догадывались.

Их глаза, из которых хотелось выпустить немного воздуху, положив им ладонь на горло, смотрел в мир старый прусский пиетизм.

Однако для данной части Германии этот тип был не характерен. Здесь господствовал другой, среднегерманский, и даже в природу закрадывались первые подозренья о юге и западе, о существовании Швейцарии и Франции. И было очень кстати перед лицом ее лиственных догадок, зеленевших в окне, перелистывать французские томы Лейбница и Декарта.

За полями, подступавшими к мудреному птичнику, виднелась деревня Окерсгаузен. Это было длинное становище длинных риг, длинных телег и здоровенных першеронов. Оттуда вдоль по горизонту тащилась другая дорога. По вступлении в город она окрещивалась Barfüsserstrasse. Босомыгами же в середине века звали монахов-францисканцев.

Вероятно, по ней именно каждый год приходила сюда зима. Потому что, глядя в ту сторону с балкона, можно было представить себе много подходящего. Ганса Сакса. Тридцатилетнюю войну. Сонную, а не волнующую природу исторического бедствия, когда оно измеряется десятилетьями, а не часами. Зимы. зимы, зимы, и потом, по прошествии века, пустынного, как зевок людоеда, первое воз-

никновенье новых поселений под бродячими небесами, где-нибудь в дали одичавшего Гарца, с черными, как пожарища, именами, вроде Elend, Sorge[1] и тому подобными.

Сзади, в стороне от дома, подминая под себя кусты и отраженья, протекала река Лан. За ней тянулось полотно железной дороги. Вечерами в глухое сопенье кухонной спиртовки врывалось учащенное позвякивание механического колокола, под звон которого сам собою опускался железнодорожный шлагбаум. Тогда в темноте у переезда вырастал человек в мундире, в предупрежденье пыли быстро опрыскивавший его из лейки, и в тот же миг поезд проносился мимо, судорожно бросаясь вверх, вниз и во все стороны. Снопы его барабанного света попадали в хозяйские кастрюли. И всегда пригорало молоко.

На речное масло Лана соскальзывала звезда-другая. В Окерсгаузене ревел только что пригнанный скот. На горе по-оперному вспыхивал Марбург. Если бы могло так случиться, что братья Гримм опять, как сто лет назад, приехали сюда изучать право у знаменитого юриста Савиньи, они сызнова уехали бы отсюда собирателями сказок. Удостоверившись, что ключ от входных дверей при мне, я отправился в город.

Исконные горожане уже спали. Навстречу попадались одни студенты. Все точно выступали в вагнеровских «Мейстерзингерах». Дома, казавшиеся декорациями уже и днем, сближались еще теснее. Висячим фонарям, перекинутым над мостовой со стены на стену, негде было разгуляться. Их свет изо всех сил обрушивался на звуки. Он обливал гул удалявшихся пяток и взрывы громкой немецкой речи лилиевидными бликами. Точно электричество знало преданье, сложенное об этом месте.

Давно-давно, лет за полтысячи до Ломоносова, когда новым годом, годом повседневности, был на земле тысяча двести тридцатый год, сверху, из Марбургского замка, по этим склонам спускалось живое историческое лицо — Елизавета Венгерская.

Это такая даль, что, если ее достигнуть воображеньем, в точке прибытья сама собой подымется снежная буря. Она возникнет от охлажденья, по закону побежденной недосягаемости. Там наступит ночь, горы оденутся лесом, в лесах заведутся дикие звери. Людские же нравы и обычаи покроются ледяной корой.

У будущей святой, канонизованной спустя три года

[1] Бедствие, забота *(нем.)*.

после смерти, был духовником тиран, то есть человек без воображенья. Трезвый практик видел, что истязанья, налагаемые на исповедницу, приводят ее в состоянье восхищенья. В поисках мучений, которые были бы ей в истинную муку, он запретил ей помогать бедным и больным. Тут историю сменяет легенда. Будто бы это было ей не под силу. Будто, чтобы обелить грех ослушанья, снежная вьюга заслоняла ее своим телом на пути в нижний город, превращая хлеб в цветы на срок ее ночных переходов.

Так приходится иногда природе отступать от своих законов, когда убежденный изувер чересчур настаивает на исполненьи своих. Это ничего, что голос естественного права облечен тут в форму чуда. Таков критерий достоверности в религиозную эпоху.

У нас — свой, но нашей защитницей против казуистики природа быть не перестанет.

По мере приближенья к университету улица, летевшая под гору, все больше кривела и суживалась. В одном из фасадов, испекшихся в золе веков, подобно картошке, имелась стеклянная дверь. Она открывалась в коридор, выводивший на один из северных обрывов. Там была терраса, уставленная столиками и залитая электрическим светом. Терраса висела над низиной, доставлявшей когда-то столько беспокойства ландграфине. С тех пор город, расположившийся по пути ее ночных вылазок, застыл на возвышеньи в том виде, какой принял к середине шестнадцатого столетья. Низина же, растравлявшая ее душевный покой, низина, заставлявшая ее нарушать устав, низина, по-прежнему приводимая в движенье чудесами, шагала в полную ногу с временем.

С нее тянуло ночной сыростью. На ней бессонно громыхало железо, и, стекаясь и растекаясь, мызгали взад и вперед запасные пути. Что-то шумное поминутно падало и подымалось. Водяной грохот плотины до утра додерживал ровную ноту, оглушительно взятую с вечера. Режущий визг лесопильни в терцию подтягивал быкам на бойне. Что-то поминутно лопалось и озарялось, пускало пары и опрокидывалось. Что-то ерзало и заволакивалось крашеным дымом.

Кафе посещалось преимущественно философами. У других были свои. На террасе сидели Г-в и Л-ц и немцы, впоследствии получившие кафедры у себя и за границей. Среди датчан, англичан, японцев и всех тех, что съехались со всех концов света послушать Когена, уже

раздавался знакомый, разгоряченно певучий голос. Это адвокат из Барселоны, ученик Штаммлера, деятель недавней испанской революции, второй год пополнявший здесь свое образованье, декламировал своим знакомым Верлена.

Уже я тут многих знал и никого не дичился. Уже увязав язык в двух обещаньях, я с тревогой готовился к дням, когда буду отчитываться по Лейбницу у Гартмана и по одной из частей «Критики практического разума» у главы школы. Уже образ последнего, давно угаданный, но оказавшийся страшно недостаточным при первом знакомстве, стал моей собственностью, то есть повел во мне произвольное существованье, меняясь сообразно тому, погружался ли он на дно моего бескорыстного восхищенья, или же всплывал на поверхность, когда я с бредовым честолюбьем новичка гадал о том, буду ли я им когда-нибудь замечен и приглашен на один из его воскресных обедов. Последнее сразу подымало человека в здешнем мненьи, потому что знаменовало собою начало новой философской карьеры.

Уже я успел на нем проверить, как драматизируется большой внутренний мир в подаче большого человека. Уже я знал, как подымет голову и отступит назад хохлатый старик в очках, повествуя о греческом понятьи бессмертия, и поведет рукой по воздуху в сторону марбургской пожарной части, толкуя образ Елисейских полей. Уже я знал, как в другом каком-нибудь случае, вкрадчиво подъехав к докантовой метафизике, разворкуется он, феркулярничая с ней, да вдруг как гаркнет, закатив ей страшный нагоняй с цитатами из Юма. Как, раскашлявшись и выдержав долгую паузу, протянет он затем утомленно и миролюбиво: «Und nun, meine Herrn...»[1]. И это будет значить, что выговор веку сделан, представленье кончилось и можно перейти к предмету курса.

Между тем на террасе никого почти не оставалось. На ней гасили электричество. Обнаруживалось, что уже утро. Взглянув вниз, за перила, мы убеждались, что ночной низины как не бывало. Замещавшая ее панорама ничего не знала о своей ночной предшественнице.

2

В это время в Марбург приехали сестры В-е. Они были из богатого дома. Я в Москве еще в гимназические го-

---

[1] Итак, милостивые государи... *(нем.)*.

ды дружил со старшей и давал ей нерегулярные уроки неведомо чего. Вернее, в доме оплачивали мои беседы на самые непредвиденные темы.

Но весной 1908 года совпали сроки нашего окончания гимназии, и одновременно с собственной подготовкой я взялся готовить к экзаменам и старшую В-ю.

Большинство моих билетов содержало отделы, легкомысленно упущенные в свое время, когда их проходили в классе. Мне не хватало ночей на их прохожденье. Однако урывками, не разбирая часов и чаще всего на рассвете, я забегал к В-й для занятий предметами, всегда расходившимися с моими, потому что порядок наших испытаний в разных гимназиях, естественно, не совпадал. Эта путаница осложняла мое положенье. Я ее не замечал. О своем чувстве к В-й, уже не новом, я знал с четырнадцати лет.

Это была красивая, милая девушка, прекрасно воспитанная и с самого младенчества избалованная старухой француженкой, не чаявшей в ней души. Последняя лучше моего понимала, что геометрия, которую я ни свет ни заря проносил со двора ее любимице, скорее Абелярова, чем Эвклидова. И, весело подчеркивая свою догадливость, она не отлучалась с наших уроков. Втайне я благодарил ее за вмешательство. В ее присутствии чувство мое могло оставаться в неприкосновенности. Я не судил его и не был ему подсуден. Мне было восемнадцать лет. По своему складу и воспитанью я все равно не мог и не осмелился бы дать ему волю.

Это было в то время года, когда в горшочках с кипятком распускают краску, а на солнце, предоставленные себе самим, праздно греются сады, загроможденные сваленным отовсюду снегом. Они до краев налиты тихою, яркою водой. А за их бортами, по ту сторону заборов, стоят шеренгами вдоль горизонта садовники, грачи и колокольни и обмениваются на весь город громкими замечаньями слова по два, по три в сутки. О створку форточки трется мокрое, шерстисто-серое небо. Оно полно неушедшей ночи. Оно молчит часами, молчит, молчит, да вдруг возьмет и вкотит в комнату круглый грохоток тележного колеса. Он обрывается так внезапно, точно это палочка-ручалочка и у телеги другого дела не было, как с мостовой в форточку. Так что теперь ей больше не водить. И еще загадочнее праздная тишина, ключами вливающаяся в дыру, вырубленную звуком.

Не знаю, отчего все это запечатлелось у меня в обра-

зе классной доски, не дочиста оттертой от мела. О, если бы остановили нас тогда и, отмыв доску от влажного блеска, вместо теорем о равновеликих пирамидах, каллиграфически, с нажимами изложили то, что нам предстояло обоим. О, как бы мы обомлели!

Откуда же это соображенье и отчего оно мне тут явилось?

Оттого, что была весна, вчерне заканчивавшая выселенье холодного полугодья, и кругом на земле, как неразвешанные зеркала лицом вверх, лежали озера и лужи, говорившие о том, что безумно емкий мир очищен и помещенье готово к новому найму. Оттого, что первому, кто пожелал бы тогда, дано было вновь обнять и пережить всю, какая только есть на свете, жизнь. Оттого, что я люблю В-ю.

Оттого, что уже одна заметность настоящего есть будущее, будущее же человека есть любовь.

3

Но на свете есть так называемое возвышенное отношение к женщине. Я скажу о нем несколько слов. Есть необозримый круг явлений, вызывающий самоубийства в отрочестве. Есть круг ошибок младенческого воображенья, детских извращений, юношеских голодовок, круг Крейцеровых сонат и сонат, пишущихся против Крейцеровых сонат. Я побывал в этом кругу и в нем позорно долго пробыл. Что же это такое?

Он истерзывает, и, кроме вреда, от него ничего не бывает. И, однако, освобожденья от него никогда не будет. Все входящие людьми в историю всегда будут проходить через него, потому что эти сонаты, являющиеся преддверьем к единственной полной нравственной свободе, пишут не Толстые и Бедекинды, а их руками — сама природа. И только в их взаимопротиворечьи — полнота ее замысла.

Основав материю на сопротивленьи и отделив факт от мнимости плотиной, называемой любовью, она, как о целости мира, заботится о ее прочности. Здесь пункт ее помешательства, ее болезненных преувеличений. Тут, поистине можно сказать, она, что ни шаг, делает из мухи слона.

Но, виноват, слонов-то ведь она производит взаправду! Говорят, это главное ее занятье. Или это фраза? А история видов? А история человеческих имен? И ведь изго-

товляет-то она их именно тут, в зашлюзованных отрезках живой эволюции, у плотин, где так разыгрывается ее встревоженное воображенье!

Нельзя ли в таком случае сказать, что в детстве мы преувеличиваем и у нас расстраивается воображенье, потому что в это время, как из мух, природа делает из нас слонов?

Держась той философии, что только почти невозможное действительно, она до крайности затруднила чувство всему живому. Она по-одному затруднила его животному, по-другому — растенью. В том, как она затруднила его нам, сказалось ее захватывающее высокое мненье о человеке. Она затруднила его нам не какими-нибудь автоматическими хитростями, но тем, что на ее взгляд обладает для нас абсолютной силой. Она затруднила его нам ощущеньем нашей мушиной пошлости, которое охватывает каждого из нас тем сильнее, чем мы дальше от мухи. Это гениально изложено Андерсеном в «Гадком утенке».

Всякая литература о поле, как и самое слово «пол», отдают несносной пошлостью, и в этом их назначенье. Именно только в этой омерзительности пригодны они природе, потому что как раз на страхе пошлости построен ее контакт с нами, и ничто не пошлое ее контрольных средств бы не пополняло.

Какой бы матерьял ни поставляла наша мысль по этому поводу, судьба этого матерьяла в ее руках. И с помощью инстинкта, который она прикомандировала к нам ото всего своего целого, природа всегда распоряжается этим матерьялом так, что все усилья педагогов, направленные к облегченью естественности, ее неизменно отягощают, и так это и надо.

Это надо для того, чтобы самому чувству было что побеждать. Не эту оторопь, так другую. И безразлично, из какой мерзости или ерунды будет сложен барьер. Движенье, приводящее к зачатью, есть самое чистое из всего, что знает вселенная. И одной этой чистоты, столько раз побеждавшей в веках, было бы достаточно, чтобы по контрасту все то, что не есть оно, отдавало бездонной грязью.

И есть искусство. Оно интересуется не человеком, но образом человека. Образ же человека, как оказывается, — больше человека. Он может зародиться только на ходу, и притом не на всяком. Он может зародиться только на переходе от мухи к слону.

Что делает честный человек, когда говорит только правду? За говореньем правды проходит время, этим временем жизнь уходит вперед. Его правда отстает, она обманывает. Так ли надо, чтобы всегда и везде говорил человек.

И вот в искусстве ему зажат рот. В искусстве человек смолкает и заговаривает образ. И оказывается: только образ поспевает за успехами природы.

По-русски врать значит скорее нести лишнее, чем обманывать. В таком смысле и врет искусство. Его образ обнимает жизнь, а не ищет зрителя. Его истины не изобразительны, а способны к вечному развитью.

Только искусство, твердя на протяженьи веков о любви, не поступает в распоряженье инстинкта для пополненья средств, затрудняющих чувство. Взяв барьер нового душевного развития, поколенье сохраняет лирическую истину, а не отбрасывает, так что с очень большого расстоянья можно вообразить, будто именно в лице лирической истины постепенно складывается человечество из поколений.

Все это необыкновенно. Все это захватывающе трудно. Нравственности учит вкус, вкусу же учит сила.

4

Сестры проводили лето в Бельгии. Стороной они узнали, что я — в Марбурге. В это время их вызвали на семейный сбор в Берлин. Проездом туда они пожелали меня проведать.

Они остановились в лучшей гостинице городка, в древнейшей его части. Три дня, проведенные с ними неотлучно, были не похожи на мою обычную жизнь, как праздники на будни. Без конца им что-то рассказывая, я упивался их смехом и знаками пониманья случайных окружающих. Я их куда-то водил. Обеих видели вместе со мной на лекциях в университете. Так пришел день их отъезда.

Накануне, накрывая к ужину, кельнер сказал мне: «Das ist wohl ihr Henkersmahl, nicht wahr?», то есть: «Покушайте напоследок, ведь завтра вам на виселицу, не правда ли?»

Утром, войдя в гостиницу, я столкнулся с младшей из сестер в коридоре. Взглянув на меня и что-то сообразив, она не здороваясь отступила назад и заперлась у себя в номере. Я прошел к старшей и, страшно волнуясь,

сказал, что дальше так продолжаться не может и я прошу ее решить мою судьбу. Нового в этом, кроме одной настоятельности, ничего не было. Она поднялась со стула, пятясь назад перед явностью моего волнения, которое как бы наступало на нее. Вдруг у стены она вспомнила, что есть на свете способ прекратить все это разом, и — отказала мне. Вскоре в коридоре поднялся шум. Это поволокли сундук из соседнего номера. Затем постучались к нам. Я быстро привел себя в порядок. Пора было отправляться на вокзал. До него было пять минут ходу.

Там уменье прощаться совсем оставило меня. Лишь только я понял, что простился с одной младшей, со старшей же еще и не начинал, у перрона вырос плавно движущийся курьерский из Франкфурта. Почти в том же движеньи, быстро приняв пассажиров, он быстро взял с места. Я побежал вдоль поезда и у конца перрона, разбежавшись, вскочил на вагонную ступеньку. Тяжелая дверца не была захлопнута. Разъяренный кондуктор преградил мне дорогу, в то время держа меня за плечо, чтобы я, чего доброго, не вздумал жертвовать жизнью, устыдившись его резонов. Изнутри на площадку выбежали мои путешественницы. Кондуктору стали совать кредитки мне в избавленье и на покупку билета. Он смилостивился, я прошел за сестрами в вагон. Мы мчались в Берлин. Сказочный праздник, едва не прервавшийся, продолжался, удесятеренный бешенством движенья и блаженной головной болью от всего только что испытанного.

Я вспрыгнул на ходу только для того, чтобы проститься, и снова забыл обо всем, и опять вспомнил, когда было уже поздно. Не успел я опомниться, как прошел день, настал вечер и, прижав нас к земле, на нас надвинулся гулко дышащий навес берлинского дебаркадера. Сестер должны были встретить. Было нежелательно, чтобы при моих расстроенных чувствах их увидели вместе со мною. Меня убедили, что прощанье наше состоялось и только я его не заметил. Я потонул в толпе, сжатой газообразными гулами вокзала.

Была ночь, моросил скверный дождик. До Берлина мне не было никакого дела. Ближайший поезд в нужном мне направленьи отходил поутру. Я свободно мог бы дождаться его на вокзале. Но мне невозможно было оставаться на людях. Лицо мое подергивала судорога, к глазам поминутно подступали слезы. Моя жажда последнего, до конца опустошающего прощанья осталась неутоленной. Она была подобна потребности в большой каденции,

расшатывающей больную музыку до корня, с тем чтобы вдруг удалить ее всю одним рывком последнего аккорда. Но в этом облегченьи мне было отказано.

Была ночь, моросил скверный дождик. На привокзальном асфальте так же было дымно, как на дебаркадере, где мячом в веревочной сетке пучилось в железе стекло шатра. Перецокиванье улиц походило на углекислые взрывы. Все было затянуто тихим броженьем дождя. По непредвиденности оказии я был в чем вышел из дому, то есть без пальто, без вещей, без документов. Из номеров меня выпроваживали с одного взгляда, вежливо отговариваясь их переполненностью. Нашлось наконец место, где легкость моего хода не составила препятствий. Это были номера последнего разбора. Оставшись один в комнате, я сел боком на стул, стоявший у окна. Рядом был столик. Я уронил на него голову.

Зачем я так подробно обозначаю свою позу? Потому, что я пробыл в ней всю ночь. Изредка, точно от чьего-то прикосновенья, я подымал голову и что-то делал со стеной, широко уходившей вкось от меня под темный потолок. Я, как саженью, промерял ее снизу своей неглядящей пристальностью. Тогда рыданья возобновлялись. Я вновь падал лицом на руки.

Я обозначил положение моего тела с такой точностью, потому что это было его утреннее положенье на ступеньке летевшего поезда и оно ему запомнилось. Это была поза человека, отвалившегося от чего-то высокого, что долго держало его и несло, а потом упустило и, с шумом пронесясь над его головой, скрылось навеки за поворотом.

Наконец я стал на ноги. Я оглядел комнату и распахнул окно. Ночь прошла, дождь повис туманной пылью. Нельзя было сказать, идет ли он или уже перестал. За номер было уплачено вперед. В вестибюле не было ни души. Я ушел, никому не сказавшись.

5

Тут только бросилось мне в глаза то, что началось, вероятно, раньше, но все время заслонялось близостью случившегося и уродливостью того, как плачет взрослый человек.

Меня окружили изменившиеся вещи. В существо действительности закралось что-то неиспытанное. Утро знало

меня в лицо и явилось точно затем, чтобы быть при мне и меня никогда не оставить.

Туман рассеялся, обещая жаркий день. Мало-помалу город стал приходить в движенье. По всем направленьям заскользили тележки, велосипеды, фургоны и поезда. Над ними незримыми султанами змеились людские планы и вожделенья. Они дымились и двигались со сжатостью близких и без объяснения понятых притч. Птицы, дома и собаки, деревья и лошади, тюльпаны и люди стали короче и отрывистей, чем их знало детство. Свежий лаконизм жизни открылся мне, перешел через дорогу, взял за руку и повел по тротуару. Менее чем когда-либо я заслуживал братства с этим огромным летним небом. Но об этом пока не говорилось. Временно мне все прощалось. Я должен был где-то в будущем отработать утру его доверье. И все кругом было до головокружения надежно, как закон, согласно которому по таким ссудам никогда в долгу не остаются.

Достав без труда билет, я занял место в поезде. Ждать отхода пришлось недолго. И вот я вновь катил из Берлина в Марбург, но на этот раз, в отличье от первого, ехал днем, на готовое и — совершенно другим человеком. Я ехал с удобством на деньги, заимообразно взятые у В., и образ моей марбургской комнаты то и дело мысленно вставал передо мною.

Против меня, задом к цели движений, куря, качались в ряду: человек в пенсне, норовившем соскользнуть с носу в близко подставленную газету, чиновник лесного департамента с ягдташем через плечо и ружьем на дне вещевой сетки, и еще кто-то, и кто-то еще. Они стесняли меня не больше марбургской комнаты, мысленно видевшейся мне. Род моего молчанья их гипнотизировал. Изредка я намеренно его нарушал, чтобы проверить его власть над ними. Его понимали. Оно ехало со мной, я состоял в пути при его особе и носил его форму, каждому знакомую по собственному опыту, каждым любимую. А то, разумеется, соседи не платили бы мне безмолвным участием за то, что я скорее любезно третировал их, чем с ними общался, и скорее без позы позировал отделенью, чем в нем сидел. Ласки и собачьего чутья в купе было больше, чем сигарного и паровозного дыму, навстречу мчались старые города, и обстановка моей марбургской комнаты от времени до времени мысленно виделась мне. По какой же именно причине?

Недели за две до наезда сестер произошла безделица,

для меня тогда немаловажная. Я выступил докладчиком в обоих семинариях. Доклады удались мне. Они получили одобренье.

Меня уговорили подробнее развить свои положенья и представить их еще в исходе летнего семестра. Я ухватился за эту мысль и заработал с удвоенным жаром.

Но именно по этому пылу искушенный наблюдатель определил бы, что ученого из меня никогда не выйдет. Я переживал изученье науки сильнее, чем требуется это предметом. Какое-то растительное мышленье сидело во мне. Его особенностью было то, что любое второстепенное понятье, безмерно развертывалось в моем толкованьи, начинало требовать для себя пищи и ухода, и когда я под его влияньем обращался к книгам, я тянулся к ним не из бескорыстного интереса к знанью, а за литературными ссылками в его пользу. Несмотря на то, что работа моя осуществлялась с помощью логики, воображенья, бумаги и чернил, больше всего я любил ее за то, что по мере писанья она обрастала все сгущавшимся убором книжных цитат и сопоставлений. А так как при ограниченности срока мне в известную минуту пришлось отказаться от выписок, взамен которых я просто стал оставлять авторов на нужных мне разгибах, то наступил момент, когда тема моей работы матерьялизовалась и стала обозрима простым глазом с порога комнаты. Она вытянулась поперек помещенья подобьем древовидного папоротника, налегая своими лиственными разворотами на стол, диван и подоконник. Разрознить их значило разорвать ход моей аргументации, полная же их уборка была равносильна сожженью неперебеленной рукописи. Хозяйке было строго-настрого запрещено к ним прикасаться. В последнее время у меня не убирали. И когда дорогой я видел в воображеньи мою комнату, я, собственно говоря, видел во плоти свою философию и ее вероятную судьбу.

6

По приезде я не узнал Марбурга. Гора выросла и втянулась, город исхудал и почернел.

Мне отворила хозяйка. С головы до ног оглядев меня, она попросила, чтобы впредь в таких случаях я заблаговременно извещал ее или ее дочь. Я сказал, что не мог их предупредить заранее, потому что встретил надобность, не заходя к себе, срочно побывать в Берлине. Она посмотрела на меня еще насмешливей. Мое быстрое по-

явленье налегке, как с вечерней прогулки, с другого конца Германии не укладывалось в ее понятья. Это показалось ей неудачной выдумкой. Все время покачивая головой, она подала мне два письма. Одно было закрытое, другое — местною открыткой. Закрытое было от петербургской двоюродной сестры, неожиданно очутившейся во Франкфурте. Она сообщала, что направляется в Швейцарию и во Франкфурте пробудет три дня. Открытка, на треть исписанная безлично аккуратным почерком, была подписана другою, слишком знакомою по подписям под университетскими объявлениями, рукой Когена. Она содержала приглашение на обед в ближайшее воскресенье.

Между мной и хозяйкой произошел по-немецки такой примерно разговор. «Какой нынче день?» — «Суббота». — «Я чаю пить не буду. Да, чтоб не забыть. Мне завтра во Франкфурт. Разбудите меня, пожалуйста, к первому поезду». — «Но ведь, если не ошибаюсь, г-н тайный советник...» — «Пустяки, успею». — «Но это невозможно. У г-на тайного советника садятся за стол в двенадцать, а вы...» Но в этом попеченьи обо мне было что-то неприличное. Выразительно взглянув на старушку, я прошел к себе в комнату.

Я присел на кровать в состояньи рассеянности, вряд ли длившейся больше минуты, после чего, справясь с волной ненужного сожаленья, сходил на кухню за щеткой и совком. Скинув пиджак и засучив рукава, я приступил к разработке коленчатого растенья. Спустя полчаса комната была как в день отъезда, и даже книги из фундаментальной не нарушали ее порядка. Аккуратно увязав их в четыре тючка, чтобы были под рукою, как будет случай в библиотеку, я задвинул их ногою глубоко под кровать. В это время ко мне постучалась хозяйка. Она шла сообщить по указателю точный час отхода завтрашнего поезда. При виде происшедшей перемены она вся замерла и вдруг, тряхнув юбками, кофтой и наколкой, как шарообразно вспыренным опереньем, в состояньи трепещущего окоченения поплыла мне навстречу по воздуху. Она протянула мне руку и деревянно и торжественно поздравила с окончаньем трудной работы. Мне не хотелось разочаровывать ее в другой раз. Я оставил ее в ее благородном заблужденье.

Потом я умылся и, утираясь, вышел на балкон. Вечерело. Растирая шею полотенцем, я смотрел вдаль, на дорогу, соединявшую Окерсгаузен и Марбург. Уже нельзя было вспомнить, как смотрел я в ту сторону в вечер сво-

его приезда. Конец, конец! Конец философии, то есть какой бы то ни было мысли о ней.

Как и соседям в купе, ей придется считаться с тем, что всякая любовь есть переход в новую веру.

7

Удивительно, что я не тогда же уехал на родину. Ценность города была в его философской школе. Я в ней больше не нуждался. Но у него объявилась другая.

Существует психология творчества, проблемы поэтики. Между тем изо всего искусства именно его происхожденье переживается всего непосредственнее, и о нем не приходится строить догадок.

Мы перестаем узнавать действительность. Она предстает в какой-то новой категории. Категория эта кажется нам ее собственным, а не нашим, состояньем. Помимо этого состоянья все на свете названо. Не названо и ново только оно. Мы пробуем его назвать. Получается искусство.

Самое ясное, запоминающееся и важное в искусстве есть его возникновенье, и лучшие произведения мира, повествуя о наиразличнейшем, на самом деле рассказывают о своем рожденьи. Впервые во всем объеме я это понял в описываемое время.

Хотя за объясненьем с В-ой не произошло ничего такого, что изменяло бы мое положение, оно сопровождалось неожиданностями, похожими на счастье. Я приходил в отчаянье, она меня утешала. Но одно ее прикосновенье было таким благом, что смывало волной ликованья отчетливую горечь услышанного и не подлежащего отмене.

Обстоятельства дня походили на шибкую и шумную беготню. Все время мы точно влетали с разбега во мрак и, не переводя дыхания, стрелой выбегали наружу. Так, ни разу не присмотревшись, мы раз двадцать в теченье дня побывали в трюме, полном народу, откуда приводится в движенье гребная галера времени. Это был именно тот взрослый мир, к которому я с детских лет так яро ревновал В-ую, по-гимназически любив гимназистку.

Вернувшись в Марбург, я оказался в разлуке не с девочкой, которую знал в продолженье шести лет, а с женщиной, виденной несколько мгновений после ее отказа. Мои плечи и руки больше не принадлежали мне. Они, как чужие, просились от меня в цепи, которыми челове-

ка приковывают к общему делу. Потому что вне железа я не мог теперь думать уже и о ней и любил только в железе, только пленницею, только за холодный пот, в котором красота отбывает свою повинность. Всякая мысль о ней моментально смыкала меня с тем артельно-хоровым, что полнит мир лесом вдохновенно-затверженных движений и похоже на сраженье, на каторгу, на средневековый ад и мастерство. Я разумею то, чего не знают дети и что я назову чувством настоящего.

В начале «Охранной грамоты» я сказал, что временами любовь обгоняла солнце. Я имел в виду ту очевидность чувства, которая каждое утро опережала все окружающее достоверностью вести, только что в сотый раз наново подтвержденной. В сравненьи с ней даже восход солнца приобретал характер городской новости, еще требующей поверки. Другими словами, я имел в виду очевидность силы, перевешивающую очевидность света.

Если бы при знаньях, способностях и досуге я задумал теперь писать творческую эстетику, я построил бы ее на двух понятьях, на понятьи силы и символа. Я показал бы, что, в отличье от науки, берущей природу в разрезе светового столба, искусство интересуется жизнью при прохожденьи сквозь нее луча силового. Понятье силы я взял бы в том же широчайшем смысле, в каком берет его теоретическая физика, с той только разницей, что речь шла бы не о принципе силы, а о ее голосе, о ее присутствии. Я пояснил бы, что в рамках самосознанья сила называется чувством.

Когда мы воображаем, будто в Тристане, Ромео и Юлии и других памятниках изображается сильная страсть, мы недооцениваем содержанья. Их тема шире, чем эта сильная тема. Тема их — тема силы.

Из этой темы и рождается искусство. Оно более односторонне, чем думают. Его нельзя направить по произволу — куда захочется, как телескоп. Наставленное на действительность, смещаемую чувством, искусство есть запись этого смещенья. Оно его списывает с натуры. Как же смещается натура? Подробности выигрывают в яркости, проигрывая в самостоятельности значенья. Каждую можно заменить другою. Любая драгоценна. Любая на выбор вводится в свидетельства состоянья, которым охвачена вся переместившаяся действительность.

Когда признаки этого состоянья перенесены на бумагу, особенности жизни становятся особенностями творчества. Вторые бросаются в глаза резче первых. Они лучше

изучены. Для них имеются термины. Их называют приемами.

Искусство реалистично как деятельность и символично как факт. Оно реалистично тем, что не само выдумало метафору, а нашло ее в природе и свято воспроизвело. Переносный смысл так же точно не значит ничего в отдельности, а отсылает к общему духу всего искусства, как не значат ничего порознь части смещенной действительности.

Фигурой всей своей тяги и символично искусство. Его единственный символ в яркости и необязательности образов, свойственной ему всему. Взаимозаменяемость образов есть признак положенья, при котором части действительности взаимно безразличны. Взаимозаменимость образов, то есть искусство, есть символ силы.

Собственно, только сила и нуждается в языке вещественных доказательств. Остальные стороны сознанья долговечны без замет. У них прямая дорога к воззрительным аналогиям света: к числу, к точному понятью, к идее. Но ничем, кроме движущегося языка образов, то есть языка сопроводительных признаков, не выразить себя силе, факту силы, силе, длительной лишь в момент явленья.

Прямая речь чувства иносказательна, и ее нечем заменить[1].

8

Я ездил к сестре во Франкфурт и к своим, к тому времени приехавшим в Баварию. Ко мне наезжал брат, а потом отец. Но ничего этого я не замечал. Я основательно занялся стихописаньем. Днем и ночью и когда придется я писал о море, о рассвете, о южном дожде, о каменном угле Гарца.

Однажды я особенно увлекся. Была ночь из тех, что с трудом добираются до ближайшего забора и, выбившись из сил, в угаре усталости свешиваются над землей. Полнейшее безветрие. Единственный признак жиз-

[1] Опасаясь недоразумений, напомню. Я говорю не о материальном содержании искусства, не о сторонах его наполненья, а о смысле его явленья, о его месте в жизни. Отдельные образы сами по себе — воззрительны и зиждутся на световой аналогии. Отдельные слова искусства, как и все понятья, живут познаньем. Но не поддающееся цитированию слово всего искусства состоит в движеньи самого иносказанья, и это слово символически говорит о силе.

ни — это именно черный профиль неба, бессильно прислонившегося к плетню. И другой. Крепкий запах цветущего табака и левкоя, которым в ответ на это изнеможенье откликается земля. С чем только не сравнимо небо в такую ночь! Крупные звезды — как званый вечер. Млечный Путь — как большое общество. Но еще больше напоминает меловая мазня диагонально протянутых пространств ночную садовую грядку. Тут гелиотроп и маттиолы. Их вечером поливали и свалили набок. Цветы и звезды так сближены, что похоже, и небо попало под лейку, и теперь звезд и белокрапчатой травки не расцепить.

Я увлеченно писал, и другая, нежели раньше, пыль покрывала мой стол. Та, прежняя, философская, скоплялась из отщепенчества. Я дрожал за целость моего труда. Нынешней я не стирал солидарности ради, симпатизируя щебню Гиссенской дороги. И на дальнем конце столовой клеенки, как звезда на небе, блистал давно не мытый чайный стакан.

Вдруг я встал, пронятый пóтом этого дурацкого всерастворенья, и зашагал по комнате. «Что за свинство! — подумал я. — Разве он не останется для меня гением? Разве это с ним я разрываю? Его открытке и моим подлым пряткам от него уже третья неделя. Надо объясниться. Но как это сделать?»

И я вспомнил, что он педантичен и строг. «Was ist Apperzeption?» — спрашивает он у экзаменующегося неспециалиста, и на его перевод с латинского, что это означает... durchfassen (прощупать), — «Nein, das heist durchfallen, mein Herr». (Нет, это значит провалиться), — раздается в ответ.

У него в семинариях читали классиков. Он обрывал среди чтенья и спрашивал, к чему клонит автор. Назвать понятье требовалось наотруб, существительным, по-солдатски. Не только расплывчатости, но и близости к истине взамен ее самой он не терпел.

Он был туг на правое ухо. Именно с этой стороны подсел я к нему разбирать свой урок из Канта. Он дал мне разойтись и забыться и, когда я меньше всего этого ожидал, огорошил своим обычным: «Was meint der Alte?» (Что разумеет старик?)

Я не помню, что это было такое, но допустим, что по таблице умноженья идей на это полагалось ответить как на пятью пять, — «Двадцать пять», — ответил я. Он поморщился и махнул рукой в сторону. Последовало лег-

кое видоизмененье ответа, не удовлетворившее его своей несмелостью. Легко догадаться, что, пока он тыкал в пространство, вызывая знающих, мой ответ варьировался со все возрастающей сложностью. Все же пока говорилось о двух с половиной десятках или примерно о полусотне, разделенной надвое. Но именно увеличивающаяся нескладность ответов приводила его во все большее раздраженье. Повторить же то, что сказал я, после его брезгливой мины никто не решался. Тогда с движеньем, понятым как, дескать, выручай, Камчатка, он колыхнулся к другим. И: шестьдесят два, девяносто восемь, двести четырнадцать — радостно загремело кругом. Подняв руки, он еле унял бурю разликовавшегося вранья и, повернувшись в мою сторону, тихо и сухо повторил мне мой собственный ответ. Последовала новая буря, мне в защиту. Когда он взял все в толк, то оглядел меня, потрепал по плечу и спросил, откуда я и с какого у них семестра. Затем, сопя и хмурясь, попросил продолжать, все время приговаривая: «Sehr echr, sehr richtig; sie merken wohl? Ja, ja; ach, ach, der Alte!» (Правильно, правильно; вы догадываетесь? Ах, ах, старик!) И много чего еще вспомнил я.

Ну как подступиться к такому? Что я скажу ему? «Verse?» — протянет он. «Verse!» Мало изучил он человеческую бездарность и ее уловки? — «Verse».

9

Вероятно, все это было в июле, потому что цвели еще липы. Продираясь сквозь алмазины восковых соцветий, как сквозь зажигательные стекла, солнце черными кружочками прожигало пыльные листья.

Я уже и раньше часто проходил мимо учебной площадки. В полдень на ней трамбовочным хопром ходила пыль и слышалось глухое, содрогающееся бряцанье. Там учили солдат, и в час ученья перед плацем застаивались зеваки — мальчики из колбасных с лотками на плечах и городские школьники. И правда, было на что поглядеть. Врассыпную по всему полю попарно подскакивали и клевали друг друга шарообразные истуканы, похожие на петухов в мешках. На солдатах были стеганые ватники и наголовники из железной сетки. Их обучали фехтованью.

Зрелище не представляло для меня ничего нового. Я вдоволь нагляделся на него в течение лета.

Однако утром после описанной ночи, идучи в город и поравнявшись с полем, я вдруг вспомнил, что не дальше часу назад видел это поле во сне.

Так и не решив ничего ночью насчет Когена, я лег на рассвете, проспал утром, и вот перед самым пробужденьем оно мне приснилось. Это был сон о будущей войне, достаточный, как говорят математики, — и необходимый.

Давно замечено, что, как много ни твердит о военном времени устав, вдалбливаемый в ротах и эскадронах, перехода от посылок к выводу мирная мысль не в силах произвести. Ежедневно Марбург, строем не проходимый по причине его тесноты, обходили низом бледные и до лбов запыленные егеря в выгоревших мундирах. Но самое большее, что могло прийти в голову при их виде, так это писчебумажные лавки, где тех же егерей продавали листами, с гуммиарабиком в премию к каждой закупленной дюжине.

Другое дело во сне. Тут впечатления не ограничивались надобностями привычки. Тут двигались и умозаключали краски.

Мне снилось пустынное поле, и что-то подсказывало, что это — Марбург в осаде. Мимо проходили, гуськом подталкивая тачки, бледные долговязые Неттельбеки. Был какой-то темный час дня, какого не бывает на свете. Сон был во фридерицианском стиле, с шанцами и земляными укрепленьями. На батарейных высотах чуть отличимо рисовались люди с подзорными трубами. Их с физической осязательностью обнимала тишина, какой не бывает на свете. Она рыхлою земляною вьюгой пульсировала в воздухе и не стояла, а *совершалась*. Точно ее все время подкидывали с лопат. Это было самое грустное сновиденье из всех, какие мне когда-либо являлись. Вероятно, я плакал во сне.

Во мне глубоко сидела история с В-ой. У меня было здоровое сердце. Оно хорошо работало. Работая ночью, оно подцепляло случайнейшие и самые бросовые из впечатлений дня. И вот оно задело за экзерцирплац, и его толчка было достаточно, чтобы механизм учебного поля пришел в движенпе и само сновиденье, на своем круглом ходу, тихо пробило: «Я — сновиденье о войне».

Я не знаю, зачем я направлялся в город, но с такой тяжестью в душе, точно и голова у меня была набита землей для каких-то фортификационных целей.

Было обеденное время. В университете знакомых

в этот час не оказалось. Семинарская читальня пустовала. К ней снизу подступали частные здания городка. Жара была немилосердная. Там и сям у подоконника возникали утопленники с отжеванными набок воротниками. За ними дымился полумрак парадных комнат. Изнутри входили испитые мученицы в капотах, проварившихся на груди, как в прачечных котлах. Я повернул домой, решив идти верхом, где под замковой стеной было много тенистых вилл.

Их сады пластом лежали на кузничном зное, и только стебли роз, точно сейчас с наковальни, горделиво гнулись на синем медленном огне. Я мечтал о переулочке, круто спускавшемся вниз за одной из таких вилл. Там была тень. Я это знал. Я решил свернуть в него и немного отдышаться. Каково же было мое изумление, когда в том же обалденьи, в каком я собрался в нем расположиться, я в нем увидел профессора Германа Когена. Он меня заметил. Отступленье было отрезано.

Моему сыну седьмой год. Когда, не поняв французской фразы, он лишь догадывается о ее смысле по ситуации, среди которой ее произносят, он говорит: я это понял не из слов, а по причине. И точка. Не по причине того-то и того-то, а понял по причине.

Я воспользуюсь его терминологией, чтобы ум, которым доходят, в отличье от ума, который прогуливают ради манежной гигиены, назвать умом причинным.

Такой причинный ум был у Когена. Беседовать с ним было страшновато, прогуливаться — нешуточно. Опираясь на палку, рядом с вами с частыми остановками подвигался реальный дух математической физики, приблизительно путем такой же поступи, шаг за шагом подобравшей свои главные основоположенья. Этот университетский профессор в широком сюртуке и мягкой шляпе был в известном градусе налит драгоценною эссенцией, укупорившейся в старину по головам Галилеев, Ньютонов, Лейбницев и Паскалей.

Он не любил говорить на ходу, а только слушал болтовню спутников, всегда негладкую ввиду ступенчатости марбургских тротуаров. Он шагал, слушал, внезапно останавливался, изрекал что-нибудь едкое по поводу выслушанного и, оттолкнувшись палкой от тротуара, продолжал шествие до следующей афористической передышки.

В таких чертах и шел наш разговор. Упоминание о моей оплошности только ее усугубило, — он дал мне это понять убийственным образом без слов, ничего не приба-

вив к насмешливому молчанью упертой в камень палки. Его интересовали мои планы. Он их не одобрял. По его мнению, следовало остаться у них до докторского экзамена, сдать его и лишь после того возвращаться домой для сдачи государственного, с таким расчетом, чтобы, может быть, впоследствии вернуться на Запад и там обосноваться. Я благодарил его со всей пылкостью за это гостеприимство. Но моя признательность говорила ему гораздо меньше, чем моя тяга в Москву. В том, как я преподносил ее, он без ошибки улавливал какую-то фальшь и бестолочь, которые его оскорбляли, потому что при загадочной непродолжительности жизни он терпеть не мог искусственно укорачивающих ее загадок. И, сдерживая свое раздраженне, он медленно спускался с плиты на плиту, дожидаясь, не скажет ли, наконец, человек дело после столь явных и томительных пустяков.

Но как мог я сказать ему, что философию забрасываю бесповоротно, кончать же в Москве собираюсь, как большинство, лишь бы кончить, а о последующем возвращении в Марбург даже не помышляю? Ему, прощальные слова которого перед выходом на пенсию были о верности большой философии, сказанные университету так, что по скамьям, где было много молодых слушательниц, замелькали носовые платочки.

10

В начале августа наши перебрались из Баварии в Италию и звали меня в Пизу. Мои средства истощились, их едва хватало на возвращение в Москву. Как-то вечером, каких впереди предвиделось немало, сидел я с Г-вым на исконной нашей террасе и жаловался на печальное состояние моих финансов. Он его обсуждал. Ему в разные времена довелось беседовать всерьез, и как раз в эти периоды он много пошатался по свету. Он побывал в Англии и в Италии и знал способы прожить в путешествии почти задаром. Его план был таков, что на остаток денег мне следовало бы съездить в Венецию и Флоренцию, а потом к родителям на поправочный прикорм и за новой субсидией на обратную поездку, в чем, при скупом расходовании остатка, может быть, и не встретилось бы надобности. Он стал наносить на бумагу цифры, давшие и правда прескромный итог.

В кафе со всеми нами дружил старший кельнер. Он знал подноготную каждого из нас. Когда в разгар моих

испытаний в гости ко мне приехал брат и стал стеснять днем в работе, чудак открыл у него редкие данные для бильярда и так приохотил к игре, что тот с утра уходил к нему совершенствоваться, оставляя комнату на весь день в мое распоряженье.

Он принял живейшее участие в обсуждении итальянского плана. Поминутно отлучаясь, он возвращался и, стуча карандашом по Г-ской смете, находил даже и ее недостаточно экономной.

Прибежав с одной из таких отлучек с толстым справочником под мышкой, он поставил на стол поднос с тремя бокалами клубничного пунша и, раскорячив справочник, дважды прогнал его весь, с начала и до конца. Найдя в вихре страниц какую хотел, он объявил, что ехать мне надо этой же ночью курьерским в три с минутами, в ознаменованье чего предложил выпить вместе с ним за мою поездку.

Я недолго колебался. В самом деле, думал я, следя за ходом его рассуждений. Отписка из университета получена. Зачетные отметки в порядке. Сейчас половина одиннадцатого. Разбудить хозяйку — грех небольшой. Времени на укладку за глаза. Решено — еду.

Он пришел в такой восторг, точно ему самому на другой день предстоял Базель. «Послушайте, — сказал он, облизнувшись и собрав пустые бокалы. — Вглядимтесь друг в друга попристальней, такой у нас обычай. Это может пригодиться, ничего нельзя знать наперед». Я рассмеялся в ответ и уверил, что это излишне, потому что давно уже сделано и что я никогда его не забуду.

Мы простились, я вышел вслед за Г-вым, и смутный звон никелированных приборов смолк за нами, как мне тогда казалось, — навсегда.

Спустя несколько часов, изговорившись в лоск и до одури нашагавшись по городку, быстро истощившему небольшой запас своих улиц, мы с Г-вым спустились в прилегавшее к вокзалу предместье. Нас окружал туман. Мы неподвижно стояли в нем, как скот на водопое, и упорно курили с тем молчаливым тупоумием, от которого то и дело тухнут папиросы.

Мало-помалу стал брезжить день. Огороды гусиной кожей стянула роса. Из мглы вырвались грядки атласной рассады. Вдруг на этой стадии светанья город вырисовался весь разом на присущей ему высоте. Там спали. Там были церкви, замок и университет. Но они еще сливались

с серым небом, как клок паутины на сырой швабре. Мне даже показалось, что, едва выступив, город стал расплываться, как след дыханья, прерванного на полушаге от окна. «Ну, пора», — сказал Г-в.

Светало. Мы быстро расхаживали по каменному перрону. В лицо нам, как камни, летели из тумана куски близившегося грохота. Подлетел поезд, я обнялся с товарищем и, вскинув кверху чемодан, вскочил на площадку. Криком раскатились кремни бетона, щелкнула дверца, я прижался к окну. Поезд по дуге срезал все пережитое, и раньше, чем я ждал, пронеслись, налетая друг на друга, — Лан, переезд, шоссе и мой недавний дом. Я рвал книзу оконную раму. Она не поддавалась. Вдруг она со стуком опустилась сама. Я высунулся что было мочи наружу. Вагон шатало на стремительном повороте, ничего не было видно. Прощай, философия, прощай, молодость, прощай, Германия!

11

Прошло шесть лет. Когда все забылось. Когда протянулась и кончилась война и разразилась революция. Когда пространство, прежде бывшее родиной материи, заболело гангреной тыловых фикций и пошло линючими дырами отвлеченного несуществованья. Когда нас развезло жидкою тундрой и душу обложил затяжной дребезжащий, государственный дождик. Когда вода стала есть кость и времени не стало чем мерить. Когда после уже вкушенной самостоятельности пришлось от нее отказаться и по властному внушенью вещей впасть в новое детство, задолго до старости. Когда я впал в него, по просьбе своих поселясь первым вольным уплотнителем у них в доме, в низкие полутораэтажные сумерки приполз по снегу из тьмы и раздался в квартире временный звонок по телефону. «Кто у телефона?» — спросил я. «Г-в», — последовал ответ. Я даже не удивился, так это было удивительно. «Где вы?» — вневременно выдавил я из себя. Он ответил. Новая нелепость. Место оказалось у нас под боком, перейдя двор. Он звонил из бывшей гостиницы, занятой общежитьем Наркомпроса. Через минуту я сидел у него. Жена его ничуть не изменилась. Детей я раньше не знал.

Но вот что было неожиданно. Оказалось, что он все эти годы прожил на земле, как все, и хотя за границей,

но все под той же пасмурной войной за освобождение малых народностей. Я узнал, что он недавно из Лондона. И не то в партии, не то ярый ее сочувственник. Служит. С переездом правительства в Москву автоматически переведен при подлежащей части наркомпросовского аппарата. Оттого и сосед. Вот и все.

А я бежал к нему как к марбуржцу. Не для того, конечно, чтобы с его помощью начать жизнь сызнова, с того туманного далекого рассвета, когда мы стояли во мгле, точно скот на коровьем броде, — и на этот раз поосторожнее, без войны, по возможности. О, конечно, не для того. Но, зная наперед, что подобная реприза немыслима, я бежал удостовериться, чем она немыслима в моей жизни. Я бежал взглянуть на цвет моей безвыходности, на несправедливо частный ее оттенок, потому что безвыходность общая, и по справедливости принятая наравне со всеми, бесцветна и в выходы не годится.

Так вот, на такую живую безвыходность, сознанье которой было бы мне выходом, и бежал взглянуть я. Но глядеть было не на что. Этот человек не мог помочь мне. Он был поврежден сыростью еще больше, чем я.

Впоследствии мне посчастливилось еще раз наведаться в Марбург. Я провел в нем два дня в феврале 23-го года. Я ездил туда с женой, но не догадался его ей приблизить. Этим я провинился перед обоими. Однако и мне было трудно. Я видел Германию до войны и вот увидел после нее. То, что произошло на свете, явилось мне в самом страшном ракурсе. Это был период рурской оккупации. Германия голодала и холодала, ничем не обманываясь, никого не обманывая, с протянутой временем, как за подаяньем, рукой (жест для нее несвойственный) и вся поголовно на костылях. К моему удивленью, хозяйку я застал в живых. При виде меня она и дочь всплеснули руками. Обе сидели на тех же местах, что и одиннадцать лет назад, и шили, когда я явился. Комната сдавалась внаймы. Мне ее открыли. Я бы ее не узнал, если бы не дорога из Окерсгаузена в Марбург. Она, как прежде, вделась в окне. И была зима. Неопрятность пустой, захоложенной комнаты, голые ветлы на горизонте — все это было необычно. Ландшафт, когда-то слишком думавший о Тридцатилетней войне, кончил тем, что сам ее себе напророчил. Уезжая, я зашел в кондитерскую и послал обеим женщинам большой ореховый торт.

А теперь о Когене. Когена нельзя было видеть. Коген умер.

12

Итак — станции, станции, станции. Станции, каменными мотыльками пролетающие в хвост поезда.

В Базеле была воскресная тишина, так что слышно было, как ласточки, снуя, оцарапывали крыльями карнизы. Пылающие стены глазными яблоками закатывались под навесы черно-вишневых черепичных крыш. Весь город щурил и топырил их, как ресницы. И тем же гончарным пожаром, каким горел дикий виноград на особняках, горело горшечное золото примитивов в чистом и прохладном музее.

«Zwei francs vierzig centimes», — изумительно чисто произносит в лавке крестьянка в костюме кантона, но место слиянья обоих речевых бассейнов еще не тут, а направо, за низко нависшую крышу, на юг от нее, по жаркой, вольно раздавшейся федеральной лазури, и все время в гору. Где-то под St — Yothard'ом и глубокою ночью говорят.

И такое-то место я проспал, утомленный ночными бденьями двухсуточной дороги! Единственную ночь жизни, когда не подобало спать, — почти как какое-то «Симон, ты спишь?» — да простится мне. И все же мгновеньями пробуждался, стойком у окна, на позорно короткие минуты, «ибо глаза у них отяжелели». И тогда...

Кругом галдел мирской сход недвижно столпившихся вершин. Ага, значит, пока я дремал и, давая свисток за свистком, мы винтом в холодном дыму ввинчивались из туннеля в туннель, нас успело обступить дыханье, на три тысячи метров превосходящее наше природное?

Была непрогляднейшая тьма, но эхо наполняло ее выпуклою скульптурой звуков. Беззастенчиво громко разговаривали пропасти, по-кумовски перемывая косточки земле. Всюду, всюду, всюду судачили, сплетничали и сочились ручьи. Легко было угадать, как развешаны они по крутизнам и спущены сучеными нитками вниз, в долину. А сверху на поезд соскакивали висячие отвесы, рассаживаясь на крышах вагонов, и, перекрикиваясь и болтая ногами, предавались бесплатному катанью.

Но сон одолевал меня, и я впадал в недопустимую дремоту у порога снегов, под слепыми Эдиповыми белками Альпов, на вершине демонического совершенства планеты. На высоте поцелуя, который она, как Микеланджелова ночь, самовлюбленно кладет здесь на свое собственное плечо.

Когда я проснулся, чистое альпийское утро смотрело в окна. Какое-то препятствие, вроде обвала, остановило поезд. Нам предложили перейти в другой. Мы пошли по рельсам горной дороги. Лента полотна вилась разобщенными панорамами, точно дорогу все время совали за угол, как краденое. Мои вещи нес босой мальчик-итальянец, совершенно такой, каких изображают на шоколадных обертках. Где-то неподалеку музицировало его стадо. Звяканье колокольчиков падало ленивыми встрясками и отмашками. Музыку сосали слепни. Вероятно, на ней дергом ходила кожа. Благоухали ромашки, и ни на минуту не прекращалось переливание из пустого в порожнее незримо шлепавшихся отовсюду вод.

Следствия недосыпанья не замедлили сказаться. Я был в Милане полдня и не запомнил его. Только собор, все время менявшийся в лице, пока я шел к нему городом в зависимости от перекрестков, с которых он последовательно открывался, смутно запечатлелся мне. Он тающим глетчером неоднократно вырастал на синем отвесе августовской жары и словно питал льдом и водой многочисленные кофейни Милана. Когда наконец неширокая площадь поставила меня к его подошве и я задрал голову, он съехал в меня всем хором и шорохом своих пилястр и башенок, как снежная пробка по коленчатому голенищу водосточной трубы.

Однако я едва держался на ногах, и первое, что обещал себе по прибытии в Венецию, так это основательно отоспаться.

13

Когда я вышел из вокзального зданья с провинциальным навесом в каком-то акцизно-таможенном стиле, что-то плавное тихо скользнуло мне под ноги. Что-то злокачественно-темное, как помои, и тронутое двумя-тремя блестками звезд. Оно почти неразличимо опускалось и поднималось и было похоже на почерневшую от времени живопись в качающейся раме. Я не сразу понял, что это изображенье Венеции и есть Венеция. Что я — в ней, что это не снится мне.

Привокзальный канал слепой кишкой уходил за угол, к дальнейшим чудесам этой плавучей галереи на клоаке. Я поспешил к стоянке дешевых пароходиков, заменяющих тут трамвай.

Катер потел и задыхался, утирал нос и захлебывался,

и тою же невозмутимой гладью, по которой тащились его затонувшие усы, плыли по полукругу, постепенно от нас отставая, дворцы Большого канала. Их зовут дворцами и могли бы звать чертогами, но все равно никакие слова не могут дать понятья о коврах из цветного мрамора, отвесно спущенных в ночную лагуну, как на арену средневекового турнира.

Есть особый елочный восток, восток прерафаэлитов. Есть представленье о звездной ночи по легенде о поклоненьи волхвов. Есть извечный рождественский рельеф: забрызганная синим парафином поверхность золоченого грецкого ореха. Есть слова: халва и Халдея, маги и магний, Индия и индиго. К ним надо отнести и колорит ночной Венеции и ее водных отражений.

Как бы для того, чтобы тем прочней утвердить в русском ухе его ореховую гамму, на катере, пристающем то к одному берегу, то к другому, выкрикивают к сведенью едущих: «Fondaco dei Turchi! Fondaco dei Tedeschi». Но, разумеется, названья кварталов ничего общего с фундуками не имеют, а заключают воспоминанья о караван-сараях, когда-то основанных тут турецкими и немецкими купцами.

Я не помню, перед каким именно из этих бесчисленных Вендраминов, Гримани, Корнеров, Фоскари и Лореданов увидел я первую, или первую поразившую меня, гондолу. Но это было уже по ту сторону Риальто. Она бесшумно вышла на канал из бокового проулка и, легши наперерез, стала чалить к ближайшему дворцовому порталу. Ее как бы подали со двора на парадное на круглой брюшине медленно выкатившейся волны. За ней осталась темная расселина, полная дохлых крыс и пляшущих арбузных корок. Перед ней разбежалось лунное безлюдье широкой водной мостовой. Она была по-женски огромна, как огромно все, что совершенно по форме и несоизмеримо с местом, занимаемым телом в пространстве. Ее светлая гребенчатая алебарда легко летела по небу, высоко несомая круглым затылком волны. С той же легкостью бежал по звездам черный силуэт гондольера. А клобучок кабины пропадал, как бы вдавленный в воду в седловине между кормой и носом.

Уже и раньше, по рассказам Г-ва о Венеции, я рассудил, что всего лучше будет поселиться в районе близ Академии. Тут я и высадился. Не помню, перешел ли я по мосту на левый берег или остался на правом. Помню крошечную площадь. Ее обступили такие же дворцы, как

и на канале, только серее и строже. И они упирались в сушу.

На залитой луной площади стояли, прохаживались и полулежали люди. Их было немного, и они точно ее драпировали движущимися, малоподвижными и неподвижными телами. Был необыкновенно тихий вечер. Мне бросилась в глаза одна пара. Не поворачивая друг ко другу голов и наслаждаясь обоюдным отмалчиваньем, они напряженно всматривались в противобережную даль. Вероятно, это была отдыхавшая прислуга палаццо. Сперва меня привлекла спокойная осанка лакея, его стриженая проседь, серый цвет его куртки. В них было что-то неитальянское. От них веяло севером. Затем я увидал его лицо. Оно показалось мне когда-то уже виденным, и только я не мог вспомнить, где это было.

Подойдя к нему с чемоданом, я выложил ему свою заботу о пристанище на несуществующем наречьи, сложившемся у меня после былых попыток почитать Данте в оригинале. Он вежливо меня выслушал, задумался и о чем-то спросил стоявшую рядом горничную. Та отрицательно покачала головой. Он вынул часы с крышкой, поглядел время, защелкнул, сунул в жилет и, не выходя из задумчивости, наклоном головы пригласил следовать за собою. Мы загнули из-за залитого луною фасада за угол, где был полный мрак.

Мы шли по каменным переулочкам не шире квартирных коридоров. От времени до времени они подымали нас на короткие мосты из горбатого камня. Тогда по обе стороны вытягивались грязные рукава лагуны, где вода стояла в такой тесноте, что казалась персидским ковром в трубчатом свертке, едва втиснутым на дно кривого ящика.

По горбатым мостам проходили встречные, и задолго до ее появленья о приближении венецианки предупреждал частый стук ее туфель по каменным лещадкам квартала.

В высоте поперек черных, как деготь, щелей, по которым мы блуждали, светлело ночное небо, и все куда-то уходило. Точно по всему Млечному Пути тянул пух сменившегося одуванчика, и будто ради того лишь, чтобы пропустить колонну-другую этого движущегося света, расступались порою переулки, образуя площади и перекрестки. И, удивляясь странной знакомости своего спутника, я беседовал с ним на несуществующем наречьи и перева-

ливался из дегтя в пух, из пуха в деготь, ища с его помощью наидешевейшего ночлега.

Но на набережных, у выходов к широкой воде, царили другие краски, и тишину сменяла сутолока. На прибывавших и отходивших катерах толпилась публика, и маслянисто-черная вода вспыхивала снежной пылью, как битый мрамор, разламываясь в ступках жарко работавших или круто застопорившихся машин. А по соседству с ее клокотаньем ярко жужжали горелки в палатках фруктовщиков, работали языки и толклись и прыгали фрукты в бестолковых столбах каких-то недоварившихся компотов.

В одной из ресторанных судомоен у берега нам дали полезную справку. Указанный адрес возвращал к началу нашего странствия. Направляясь туда, мы проделали весь наш путь в обратном порядке. Так что когда провожатый водворил меня в одной из гостиниц близ Campo Morosini, у меня сложилось такое чувство, будто я только что пересек расстоянье, равное звездному небу Венеции, в направлении, встречном его движенью. Если бы у меня тогда спросили, что такое Венеция, — «Светлые ночи, — сказал бы я, — крошечные площади и спокойные люди, кажущиеся странно знакомыми».

14

«Ну-с, дружище, — громко, как глухому, прорычал мне хозяин, крепкий старик лет шестидесяти в расстегнутой грязной рубахе, — я вас устрою, как родного». Он налился кровью, смерил меня взглядом исподлобья и, заложив руки за пряжки подтяжек, забарабанил пальцами по волосатой груди. «Хотите холодной телятины?» — не смягчая взгляда, рявкнул он, не сделав никакого вывода из моего ответа.

Вероятно, это был добряк, корчивший из себя страшилище, с усами á La Radetzki. Он помнил австрийское владычество и, как вскоре обнаружилось, немного говорил по-немецки. Но так как язык этот представлялся ему языком унтеров-далматинцев по преимуществу, то мое беглое произношенье навело его на грустные мысли о паденьи немецкого языка со времени его солдатчины. Кроме того, у него, вероятно, была изжога.

Поднявшись, как на стременах, из-за стойки, он кровожадно куда-то что-то проорал и пружинисто спустился

во дворик, где протекало наше ознакомленье. Там стояло несколько столиков под грязными скатертями. «Я сразу почувствовал к вам расположенье, как только вы вошли», — злорадно процедил он, движеньем руки пригласив меня присесть, и опустился на стул стола через два или три от меня. Мне принесли пива и мяса.

Дворик служил обеденным залом. Стояльцы, если тут такие имелись, давно, верно, отужинали и разбрелись на покой, и только в самом углу обжорной арены отсиживался плюгавый старичок, во всем угодливо поддакивавший хозяину, когда тот к нему обращался.

Уплетая телятину, я уже раз или два обратил вниманье на странные исчезновенья и возвращенья на тарелку ее влажно розовых ломтей. Видимо, я впадал в дремоту. У меня слипались веки.

Вдруг, как в сказке, у стола выросла милая сухонькая старушка, и хозяин кратко поставил ее в известность о своей свирепой приязни ко мне, вслед за чаем, куда-то поднявшись вместе с нею по узкой лестнице, я остался один, нащупал постель и без дальних размышлений лег в нее, раздевшись в потемках.

Я проснулся ярким солнечным утром, после десяти часов стремительного, беспрерывного сна. Небылица подтверждалась. Я находился в Венеции. Зайчики, светлой мелюзгой роившиеся на потолке, как в каюте речного парохода, говорили об этом и о том, что я сейчас встану и побегу ее осматривать.

Я оглядел помещение, в котором лежал. На гвоздях, вбитых в крашеную перегородку, висели юбки и кофты, перяная метелка на колечке, колотушка, плетеньем зацепленная за гвоздь. Подоконник был загроможден мазями в жестянках. В коробке из-под конфет лежал неочищенный мел.

За занавеской, протянутой во всю ширину чердака, слышался стук и шелест сапожной щетки. Он слышался уже давно. Это, верно, чистили обувь на всю гостиницу. К шуму примешивались женское шушуканье и детский шепот. В шушукавшей женщине я узнал свою вчерашнюю старушку.

Она приходилась дальней родней хозяину и работала у него в экономках. Он уступил мне ее конуру, однако когда я пожелал это как-нибудь исправить, она сама встревоженно упросила меня не вмешиваться в их семейные дела.

Перед одеванием, потягиваясь, я еще раз оглядел все кругом, и вдруг мгновенный дар ясности осветил мне обстоятельства минувшего дня. Мой вчерашний провожатый напоминал оберкельнера в Марбурге, того самого, что надеялся мне еще пригодиться.

Вероятный налет вменения, заключавшийся в его просьбе, мог еще увеличить это сходство. Это-то и было причиной инстинктивного предпочтенья, которое я оказал одному из людей на площади перед всеми остальными.

Меня это открытье не удивило. Тут нет ничего чудесного. Наши невиннейшие «здравствуйте» и «прощайте» не имели бы никакого смысла, если бы время не было пронизано единством жизненных событий, то есть перекрестными действиями бытового гипноза.

15

Итак, и меня коснулось это счастье. И мне посчастливилось узнать, что можно день за днем ходить на свиданье с куском застроенного пространства, как с живою личностью.

С какой стороны ни идти на пьяццу, на всех подступах к ней стережет мгновенье, когда дыханье учащается и, ускоряя шаг, ноги сами начинают нести к ней навстречу. Со стороны ли мерчерии или телеграфа дорога в какой-то момент становится подобьем преддверья, и, раскинув свою собственную, широко расчерченную поднебесную площадь выводит, как на прием: кампанилу, собор, дворец дожей и трехстороннюю галерею.

Постепенно привязываясь к ним, склоняешься к ощущенью, что Венеция — город, обитаемый зданьями — четырьмя перечисленными и еще несколькими в их роде. В этом утверждении нет фигуральности. Слово, сказанное в камне архитекторами, так высоко, что до его высоты никакой риторике не дотянуться. Кроме того, оно, как ракушками, обросло вековыми восторгами путешественников. Растущее восхищение вытеснило из Венеции последний след декламации. Пустых мест в пустых дворцах не осталось. Все занято красотой.

Когда перед посадкой в гондолу, нанятую на вокзал, англичане в последний раз задерживаются на пьяцетте в позах, которые были бы естественны при прощанье с живым лицом, площадь ревнуешь к ним тем острее, что, как известно, ни одна из европейских культур не подходила к Италии так близко, как английская.

Однажды под этими же штандартными мачтами, переплетаясь поколеньями, как золотыми нитками, толпилось три великолепно вотканных друг в друга столетья, а невдалеке от площади недвижной корабельной чащей дремал флот этих веков. Он как бы продолжал планировку города. Снасти высовывались из-за чердака, галеры подглядывали, на суше и на кораблях двигались по-одинаковому. Лунной ночью иной трехпалубник, уставясь ребром в улицу, всю ее сковывал мертвой грозой своего недвижно развернутого напора. И в том же выносном величьи стояли фрегаты на якорях, облюбовывая с рейда наиболее тихие и глубокие залы. По тем временам это был флот очень сильный. Он поражал своей численностью. Уже в пятнадцатом веке в нем одних торговых судов, не считая военных, насчитывалось до трех с половиной тысяч, при семидесяти тысячах матросов и судорабочих.

Этот флот был невымышленной явью Венеции, прозаической подоплекой ее сказочности. В виде парадокса можно сказать, что его покачивавшийся тоннаж составлял твердую почву города, его земельный фонд и торговое и тюремное подземелье. В силках снастей скучал плененный воздух. Флот томил и угнетал. Но, как в паре сообщающихся сосудов, с берега вровень его давлению поднималось нечто ответно-искупительное. Понять это — значит понять, как обманывает искусство своего заказчика.

Любопытно происхождение слова «панталоны». Когда-то, до своего позднейшего значенья штанов, оно означало лицо итальянской комедии. Но еще раньше, в первоначальном значеньи, «pian ta leone» выражало идею венецианской победоносности и значило: водрузительница льва (на знамени), то есть, иными словами, — Венеция — завоевательница. Об этом есть даже у Байрона в «Чайльд Гарольде»:

Her very byword sprunq from victory,
The «Planter of the Lion», wich throug'h fire
And blood she bore oér subject earth and sea [1].

Замечательно перерождаются понятия. Когда к ужасам привыкают, они становятся основаниями хорошего тона.

[1] Даже ее прозвище произошло от победы — «распространительница льва», которого сквозь огонь и кровь она несла покоренной суше и морю.

Поймем ли мы когда-нибудь, каким образом гильотина могла стать на время формой дамской брошки?

Эмблема льва многоразлично фигурировала в Венеции. Так, и отпускная щель для тайных доносов на лестнице цензоров, в соседстве с росписями Веронезе и Тинторетто, была изваяна в виде львиной пасти. Известно, какой страх внушала эта «bocca di leoni» современникам и как мало-помалу стало признаком невоспитанности упоминание о лицах, загадочно провалившихся в прекрасно изваянную щель, в тех случаях, когда сама власть не выражала по этому поводу огорчения.

Когда искусство воздвигало дворцы для поработителей, ему верили. Думали, что оно делит общие воззрения и разделит в будущем общую участь. Но именно этого не случилось. Языком дворцов оказался язык забвения, а вовсе не тот панталонный язык, который им ошибочно приписывали. Панталонные цели истлели, дворцы остались.

И осталась живопись Венеции. Со вкусом ее горячих ключей я был знаком с детства по репродукциям и в вывозном музейном разливе. Но надо было попасть на их месторождение, чтобы, в отличие от отдельных картин, увидать самое живопись, как золотую топь, как один из первичных омутов творчества.

17

Я глядел на это зрелище глубже и более расплывчато, нежели это выразят теперь мои формулировки. Я не старался осознать увиденное в том направленьи, в каком его сейчас истолкую. Но впечатления сами отложились у меня сходным образом в течение лет, и в своем сжатом заключении я не удалюсь от правды.

Я увидел, какое наблюдение первым поражает живописный инстинкт. Как вдруг постигается, каково становится видимому, когда его начинают видеть. Будучи запримечена, природа расступается послушным простором повести, и в этом состоянии ее, как сонную, тихо вносят на полотно. Надо видеть Карпаччио и Беллини, чтобы понять, что такое изображение.

Я узнал далее, какой синкретизм сопутствует расцвету мастерства, когда при достигнутом тождестве художника и живописной стихии становится невозможным сказать, кто из троих и в чью пользу проявляет себя всего деятельнее на полотне — исполнитель, исполненное или предмет исполнения. Именно благодаря этой путанице мыслимы не-

доразуменья, при которых время, позируя художнику, может вообразить, будто подымает его до своего преходящего величья. Надо видеть Веронезе и Тициана, чтобы понять, что такое искусство.

Наконец, недостаточно оценив эти впечатления в то время, я узнал, как мало нужно гению для того, чтоб взорваться.

Кругом — львиные морды, всюду мерещащиеся, сующиеся во все интимности, все обнюхивающие, — львиные пасти, тайно сглатывающие у себя в берлоге за жизнью жизнь. Кругом львиный рык мнимого бессмертья, мыслимого без смеху только потому, что все бессмертное у него в руках и взято на крепкий львиный повод. Все это чувствуют, все это терпят. Для того чтобы ощутить только это, не требуется гениальности: это видят и терпят все. Но раз это терпят сообща, значит, в этом зверинце должно быть и нечто такое, чего не чувствует и не видит никто.

Это и есть та капля, которая переполняет чашу терпения гения. Кто поверит? Тождество изображенного, изобразителя и предмета изображения, или шире: равнодушие к непосредственной истине, вот что приводит его в ярость. Точно это пощечина, данная в его лице человечеству. И в его холсты входит буря, очищающая хаос мастерства определяющими ударами страсти. Надо видеть Микеланджело Венеции — Тинторетто, чтобы понять, что такое гений, то есть художник.

18

Однако в те дни я не входил в эти тонкости. Тогда, в Венеции, и еще сильнее во Флоренции, или, чтобы быть окончательно точным, в ближайшие после путешествия зимы в Москве мне приходили в голову другие, более специальные мысли.

Главное, что выносит всякий от встречи с итальянским искусством, — это ощущение осязательного единства нашей культуры, в чем бы он его ни видел и как бы ни называл.

Как много, например, говорилось о язычестве гуманистов и как по-разному, — как о течении законном и незаконном. И правда, столкновение веры в воскресенье с веком Возрождения — явление необычайное и для всей европейской образованности центральное. Кто также не замечал анахронизма, часто безнравственного, в трактовках канонических тем всех этих «Введений», «Вознесений»,

«Бракосочетаний в Кане» и «Тайных вечерь» с их разнузданно великосветской роскошью?

И вот именно в этом несоответствии сказалась мне тысячелетняя особенность нашей культуры.

Италия кристаллизовала для меня то, чем мы бессознательно дышим с колыбели. Ее живопись сама доделала для меня то, что я должен был по ее поводу додумать, и пока я днями переходил из собрания в собрание, она выбросила к моим ногам готовое, до конца выварившееся в краске наблюдение.

Я понял, что, к примеру, Библия есть не столько книга с твердым текстом, сколько записная тетрадь человечества, и что таково все вековечное. Что оно жизненно не тогда, когда оно обязательно, а когда оно восприимчиво ко всем уподоблениям, которыми на него озираются исходящие века. Я понял, что история культуры есть цепь уравнений в образах, попарно связывающих очередное неизвестное с известным, причем этим известным, постоянным для всего ряда, является легенда, заложенная в основание традиции, неизвестным же, каждый раз новым — актуальный момент текущей культуры.

Вот чем я тогда интересовался, вот что тогда понимал и любил.

Я любил живую суть исторической символики, иначе говоря, тот инстинкт, с помощью которого мы, как ласточки саланганы, построили мир, — огромное гнездо, слепленное из земли и неба, жизни и смерти и двух времен, наличного и отсутствующего. Я понимал, что ему мешает развалиться сила сцепления, заключающаяся в сквозной образности всех его частиц.

Но я был молод и не знал, что это не охватывает судьбы гения и его природы. Я не знал, что его существо покоится в опыте реальной биографии, а не в символике, образно преломленной. Я не знал, что, в отличие от примитивов, его корни лежат в грубой непосредственности нравственного чутья. Замечательна одна его особенность. Хотя все вспышки нравственного аффекта разыгрываются внутри культуры, бунтовщику всегда кажется, что его бунт прокатывается на улице, за ее оградой. Я не знал, что долговечнейшие образы оставляет иконоборец в тех редких случаях, когда он рождается не с пустыми руками.

Когда папа Юлий Второй выразил неудовольствие по поводу колористической бедности сикстинского плафона, то в применении к потолку, изображающему создание

мира с полагающимися фигурами, Микеланджело, оправдываясь, заметил: «В те времена в золото не рядились. Особы, здесь изображенные, были людьми небогатыми».

Вот громоподобный и младенческий язык этого типа.

Предела культуры достигает человек, таящий в себе укрощенного Савонаролу. Неукрощенный Савонарола разрушает ее.

19

Вечером накануне отъезда на пьяцце был концерт с иллюминацией, какие часто там устраивались. Ограничивающие ее фасады сверху донизу оделись остриями лампочек. Ее с трех сторон озарил черно-белый транспарант. Лица слушавших под открытым небом вспарило банной яркостью, как в закрытом великолепно освещенном помещении. Вдруг с потолка воображаемого бального зала стало слегка накрапывать. Но, едва начавшись, дождик внезапно перестал. Иллюминационный отсвет кипел над площадью цветною мглой. Колокольня св. Марка ракетой из красного мрамора врезалась в розовый туман, до половины заволакивавший ее верхушку. Несколько подальше клубились темно-оливковые пары, и в них сказочно прятался пятиголовый остов собора. Тот конец площади казался подводным царством. На соборном притворе золотом играла четверка коней, вскачь примчавшихся из древней Греции и тут остановившихся, как на краю обрыва.

Когда концерт кончился, стал слышен жернов равномерного шарканья, вращавшийся и раньше по галерейному кругу, но тогда заглушавшийся музыкой. Это было кольцо фланеров, шаги которых шумели и сливались, подобно шороху коньков в ледяной чашке катка.

Среди гулявших быстро и гневно проходили женщины, скорее угрожавшие, чем сеявшие обольщенье. Они оборачивались на ходу, точно с тем чтобы оттолкнуть и уничтожить. Вызывающе изгибая стан, они быстро скрывались под портиками. Когда они оглядывались, на вас уставлялось смертельно насурмленное лицо черного венецианского платка. Их быстрая походка в темпе allegro irato странно соответствовала черному дрожанью иллюминации в белых царапинах алмазных огоньков.

В стихах я дважды пробовал выразить ощущенье, навсегда связывавшееся у меня с Венецией. Ночью перед

отъездом я проснулся в гостинице от гитарного арпеджио, оборвавшегося в момент пробуждения. Я поспешил к окну, под которым плескалась вода, и стал вглядываться в даль ночного неба так внимательно, точно там мог быть след мгновенно смолкшего звука. Судя по моему взгляду, посторонний сказал бы, что я спросонья исследую, не взошло ли над Венецией какое-нибудь новое созвездье, со смутно готовым представленьем о нем как о Созвездьи Гитары.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Цепь бульваров прорезала зимами Москву за двойным пологом почернелых деревьев. В домах желтели огни, как звездчатые кружки перерезанных посредине лимонов. На деревья низко свешивалось небо, и все белое кругом было сине.

По бульварам, нагибаясь, как для боданья, пробегали бедно одетые молодые люди. С некоторыми я был знаком, большинства не знал, все же вместе были моими ровесниками, то есть неисчислимыми лицами моего детства.

Их только стали звать по отчеству, наделили правами и ввели в секрет слов: овладеть, извлечь пользу, присвоить. Они обнаружили поспешность, достойную более внимательного разбора.

На свете есть смерть и предвиденье. Нам мила неизвестность, наперед известное страшно, и всякая страсть есть слепой отскок в сторону от накатывающейся неотвратимости. Живым видам негде было бы существовать и повторяться, если бы страсти некуда было прыгать с той общей дороги, по которой катится общее время, каковое есть время постепенного разрушенья вселенной.

Но жизни есть где жить и страсти есть куда прыгать, потому что наряду с общим временем существует непрекращающаяся бесконечность придорожных порядков, бессмертных в воспроизведеньи, и одним из них является всякое новое поколенье.

Нагибаясь на бегу, спешили сквозь вьюгу молодые люди, и хотя у каждого были свои причины торопиться, однако больше всех личных побуждений подхлестывало их нечто общее, и это была их историческая цельность, то есть отдача той страсти, с какой только что вбежало

в них, спасаясь с общей дороги, в несчетный раз избежавшее конца человечество.

А чтобы заслонить от них двойственность бега сквозь неизбежность, чтобы они не сошли с ума, не бросили начатого и не перевешались всем земным шаром, за деревьями по всем бульварам караулила сила, страшно бывалая и искушенная, и провожала их своими умными глазами. За деревьями стояло искусство, столь прекрасно разбирающееся в нас, что всегда недоумеваешь, из каких неисторических миров принесло оно свою способность видеть историю в силуэте. Оно стояло за деревьями, страшно похожее на жизнь, и терпелось в ней за сходство, как терпятся портреты жен и матерей в лабораториях ученых, посвященных естественной науке, то есть постепенной разгадке смерти.

Какое же это было искусство? Это было молодое искусство Скрябина, Блока, Комиссаржевской, Белого, — передовое, захватывающее, оригинальное. И оно было так поразительно, что не только не вызывало мыслей о замене, но, напротив, его для вящей прочности хотелось повторить с самого основания, но только еще шибче, горячей и цельнее. Его хотелось пересказать залпом, что было без страсти немыслимо, страсть же отскакивала в сторону, и таким путем получалось новое. Однако новое возникало не в отмену старому, как обычно принято думать, но совершенно напротив, в восхищенном воспроизведеньи образца. Таково было искусство. Каково же было поколенье?

Мальчикам близкого мне возраста было по тринадцати лет в девятьсот пятом году и шел двадцать второй год перед войною. Обе их критические поры совпали с двумя красными числами родной истории. Их детская возмужалость и их призывное совершеннолетие сразу пошли на скрепы переходной эпохи. Наше время по всей толще прошито их нервами и любезно предоставлено ими в пользованье старикам и детям.

Однако для полноты их характеристики надо вспомнить государственный порядок, которым они дышали.

Никто не знал, что это правит Карл Стюарт или Людовик XVI. Почему монархами по преимуществу кажутся последние монархи? Есть, очевидно, что-то трагическое в самом существе наследственной власти.

Политический самодержец занимается политикой лишь в тех редких случаях, когда он Петр. Такие примеры исключительны и запоминаются на тысячелетья. Чаще при-

рода ограничивает властителя тем полнее, чем она не парламент и ее ограниченья абсолютны. В виде правила, освященного веками, наследственным монархом зовется лицо, обязанное церемониально изживать одну из глав династической биографии — и только. Здесь имеется пережиток жертвенности, подчеркнутой в этой роли оголеннее, чем в пчелином улье.

Что же делается с людьми этого страшного призванья, если они не Цезари, если опыт не перекипает у них политикой, если у них нет гениальности — единственного, что освобождает от судьбы пожизненной в пользу посмертной?

Тогда не скользят, а поскальзываются, не ныряют, а тонут, не живут, а вживаются в щекотливости, низводящие жизнь до орнаментального прозябанья. Сначала в часовые, потом в минутные, сначала в истинные, потом в вымышленные, сначала без посторонней помощи, потом с помощью столоверченья.

При виде котла пугаются его клокотанья. Министры уверяют, что это в порядке вещей и чем совершеннее котлы, тем страшнее. Излагается техника государственных преобразований, заключающаяся в переводе тепловой энергии в двигательную и гласящая, что государства только тогда и процветают, когда грозят взрывом и не взрываются. Тогда, зажмурясь от страха, берутся за ручку свистка и со всей прирожденной мягкостью устраивают Ходынку, кишиневский погром и Девятое января и сконфуженно отходят в сторону, к семье и временно прерванному дневнику.

Министры хватаются за голову. Окончательно выясняется, что территориальными далями правят недалекие люди. Объясненья пропадают даром, советы не достигают цели. Широта отвлеченной истины ни разу не пережита ими. Это рабы ближайших очевидностей, заключающие от подобного к подобному. Переучивать их поздно, развязка приближается. Подчиняясь увольнительному рескрипту, их оставляют на ее произвол.

Они видят ее приближенье. От ее угроз и требований бросаются к тому, что есть самого тревожного и требовательного в доме. Генриэтты, Марии-Антуанетты и Александры получают все больший голос в страшном хоре. Отдаляют от себя передовую аристократию, точно площадь интересуется жизнью дворца и требует ухудшенья его комфорта. Обращаются к версальским садовникам, к ефрейторам Царского Села и самоучкам из народа, и тогда всплывают и быстро подымаются Распутины, нико-

гда не опознаваемые капитуляции монархии перед фольклорно понятым народом, ее уступки веяньям времени, чудовищно противоположные всему тому, что требуется от истинных уступок, потому что это уступки только во вред себе, без малейшей пользы для другого, и обыкновенно как раз эта несуразность, оголяя обреченную природу страшного призванья, решает его судьбу и сама чертами своей слабости подает раздражающий знак к восстанию.

Когда я возвращался из-за границы, было столетье отечественной войны. Дорогу из Брестской переименовали в Александровскую. Станции побелили, сторожей при колоколах одели в чистые рубахи. Станционное здание в Кубинке было утыкано флагами, у дверей стоял усиленный караул. Поблизости происходил высочайший смотр, и по этому случаю платформа горела ярким развалом рыхлого и не везде еще притоптанного песку.

Воспоминаний о празднуемых событиях это в едущих не вызывало. Юбилейное убранство дышало главной особенностью царствованья — равнодушьем к родной истории. И если торжества на чем и отражались, то не на ходе мыслей, и на ходе поезда, потому что его дольше положенного задерживали на станциях и чаще обычного останавливали в поле семафором.

Я невольно вспоминал скончавшегося зимой перед тем Серова, его рассказы поры писанья царской семьи, карикатуры, делавшиеся художниками на рисовальных вечерах у Юсуповых, курьезы, сопровождавшие кутеповское изданье «Царской охоты», и множество подходящих к случаю мелочей, связанных с Училищем живописи, которое состояло в веденьи министерства императорского двора и в котором мы прожили около двадцати лет. Я также мог бы вспомнить девятьсот пятый год, драму в семье Касаткина и мою грошовую революционность, дальше бравированья перед казацкой нагайкой и удара ею по спине ватной шинели не пошедшую. Наконец, что касается сторожей станций и флагов, то и они, разумеется, предвещали серьезнейшую драму, а вовсе не было тем невинным водевилем, который видел в них мой легкомысленный аполитизм.

Поколенье было аполитичным, мог бы сказать я, если бы не сознавал, что ничтожной его части, с которой я соприкасался, недостаточно даже для сужденья обо всей интеллигенции. Такой стороной было оно повернуто ко мне, скажу я, но тою же стороной обращалось оно и ко

времени, выступая со своими первыми заявленьями о своей науке, своей философии и своем искусстве.

2

Однако культура в объятья первого желающего не падает. Все перечисленное надо было взять с бою. Пониманье любви как поединка подходит и к этому случаю. Переход искусства к подростку мог осуществиться лишь в результате воинствующего влеченья, пережитого со всем волненьем, как личное происшествие. Литература начинающих пестрила признаками этого состоянья. Новички объединялись в группы. Группы разделялись на эпигонские и новаторские. Это были немыслимые в отдельности части того порыва, который был загадан с такой настойчивостью, что уже насыщал все кругом атмосферой совершающегося, а не только еще ожидаемого романа. Эпигоны представляли влеченье, без огня и дара. Новаторы — ничем, кроме выхолощенной ненависти, не движимую воинственность. Это были слова и движенья крупного разговора, подслушанные обезьяной и разнесенные куда придется по частям, в разрозненной дословности, без догадки о смысле, одушевляющем эту бурю.

Между тем в воздухе уже висела судьба гадательного избранника. Почти можно было сказать, кем он будет, но нельзя было еще сказать, кто будет им. По внешности десятки молодых людей были одинаково беспокойны, одинаково думали, одинаково притязали на оригинальность. Как движенье новаторство отличалось видимым единодушьем. Но, как в движеньях всех времен, это было единодушье лотерейных билетов, роем взвихренных розыгрышной мешалкой. Судьбой движенья было остаться навеки движеньем, то есть любопытным случаем механического перемещения шансов, с того часа, как какая-нибудь из бумажек, выйдя из лотерейного колеса, вспыхнула бы у выхода пожаром выигрыша, победы, лица и именного значенья. Движение называлось футуризмом.

Победителем и оправданьем тиража был Маяковский.

3

Наше знакомство произошло в принужденной обстановке групповой предвзятости. Задолго перед тем

Ю. Анисимов показал мне его стихи в «Садке судей», как поэт показывает поэта. Но это было в эпигонском кружке «Лирики», эпигоны своих симпатий не стыдились, и в эпигонском кружке Маяковский был открыт как явленье многообещающей близости, как громада.

Зато в новаторской группе «Центрифуга», в состав которой я вскоре попал, я узнал (это было в 1914 году, весной), что Шершеневич, Большаков и Маяковский наши враги и с ними предстоит нешуточное объяснение. Перспектива ссоры с человеком, уже однажды поразившим меня и привлекавшим издали все более и более, нисколько меня не удивила. В этом и состояла вся оригинальность новаторства. Нарожденье «Центрифуги» сопровождалось всю зиму нескончаемыми скандалами. Всю зиму я только и знал, что играл в групповую дисциплину, только и делал, что жертвовал ей вкусом и совестью. Я приготовился снова предать что угодно, когда придется. Но на этот раз я переоценил свои силы.

Был жаркий день конца мая, и мы уже сидели в кондитерской на Арбате, когда с улицы шумно и молодо вошли трое названных, сдали шляпы швейцару и, не умеряя звучности, разговора, только что заглушавшегося трамваями и ломовиками, с непринужденным достоинством направились к нам. У них были красивые голоса. Позднейшая декламационная линия поэзии пошла отсюда. Они были одеты элегантно, мы — неряшливы. Позиция противника была во всех отношениях превосходной.

Пока Бобров препирался с Шершеневичем, — а суть дела заключалась в том, что они нас однажды задели, мы ответили еще грубее, и всему этому надо было положить конец, — я, не отрываясь, наблюдал Маяковского. Кажется, так близко я тогда его видел впервые.

Его «э» оборотное вместо «а», куском листового железа колыхавшее его дикцию, было чертой актерской. Его намеренную резкость легко было вообразить отличительным признаком других профессий и положений. В своей разительности он был не одинок. Рядом сидели его товарищи. Из них один, как он, разыгрывал денди, другой, подобно ему, был подлинным поэтом. Но все эти сходства не умаляли исключительности Маяковского, а ее подчеркивали. В отличье от игры в отдельное он разом играл

во все, в противность разыгрыванью ролей, — играл жизнью. Последнее, без какой бы то ни было мысли о его будущем конце, — улавливалось с первого взгляда. Это-то и приковывало к нему, и пугало.

Хотя всех людей на ходу и когда они стоят, видно во весь рост, но то же обстоятельство при появленьи Маяковского показалось чудесным, заставив всех повернуться в его сторону. Естественное казалось в его случае сверхъестественным. Причиной был не его рост, а другая, более общая и менее уловимая особенность. Он в большей степени, чем остальные люди, был весь в явленьи. Выраженного и окончательного в нем было так же много, как мало этого у большинства, редко когда и лишь в случаях особых потрясений выходящего из мглы невыбродивших намерений и несостоявшихся предположений. Он существовал точно на другой день после огромной душевной жизни, крупно прожитой впрок на все случаи, и все заставали его уже в сноне ее бесповоротных последствий. Он садился на стул, как на седло мотоцикла, подавался вперед, резал и быстро глотал венский шницель, играл в карты, скашивая глаза и не поворачивая головы, величественно прогуливался по Кузнецкому, глуховато потягивал в нос, как отрывки литургии, особо глубокомысленные клочки своего и чужого, хмурился, рос, ездил и выступал, и в глубине за всем этим, как за прямотою разбежавшегося конькобежца, вечно мерещился какой-то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разгон, распрямлявший его так крупно и непринужденно. За его манерою держаться чудилось нечто подобное решенью, когда оно приведено в исполненье и следствия его уже не подлежат отмене. Таким решеньем была его гениальность, встреча с которой когда-то так его потрясла, что стала ему на все времена тематическим предписаньем, воплощенью которого он отдал всего себя без жалости и колебанья.

Но он был еще молод, формы, предстоявшие этой теме, были впереди. Тема же была ненасытима и отлагательств не терпела. Поэтому первое время ей в угоду приходилось предвосхищать свое будущее, предвосхищенье же, осуществляемое в первом лице, есть поза.

Из этих поз, естественных в мире высшего самовыраженья, как правила приличья в быту, он выбрал позу внешней цельности, для художника труднейшую и в отношении друзей и близких благороднейшую. Эту позу он

выдерживал с таким совершенством, что теперь почти нет возможности дать характеристику ее подоплеки.

А между тем пружиной его беззастенчивости была дикая застенчивость, а под его притворной волей крылось феноменально мнительное и склонное к беспричинной угрюмости безволье. Таким же обманчивым был и механизм его желтой кофты. Он боролся с ее помощью вовсе не с мещанскими пиджаками, а с тем черным бархатом таланта в самом себе, приторно-чернобровые формы которого стали возмущать его раньше, чем это бывает с людьми менее одаренными. Потому что никто, как он, не знал всей пошлости самородного огня, не разъяряемого исподволь холодною водой, и того, что страсти, достаточной для продолженья рода, для творчества недостаточно и что оно нуждается в страсти, требующейся для продолженья о б р а з а рода, то есть в такой страсти, которая внутренне подобна страстям и новизна которой внутренне подобна новому обетованью.

Вдруг переговоры кончились. Враги, которых мы должны были уничтожить, ушли непопранными. Скорее условия выработанной мировой были унизительны для нас.

Между тем на улице потемнело. Стало накрапывать. В отсутствие врагов кондитерская томительно опустела. Обозначились мухи, недоеденные пирожные, ослепленные горячим молоком стаканы. Но гроза не состоялась. В панель, скрученную мелким лиловым горошком, сладко ударило солнце. Это был май четырнадцатого года. Превратности истории были так близко. Но кто о них думал? Аляповатый город горел финифтью и фольгой, как в «Золотом петушке». Блестела лаковая зелень тополей. Краски были в последний раз той ядовитой травянистости, с которой они вскоре навсегда расстались. Я был без ума от Маяковского и уже скучал по нем. Надо ли прибавлять, что я предал совсем не тех, кого хотел.

4

Случай столкнул нас на следующий день под тентом греческой кофейни. Большой желтый бульвар лежал пластом, растянувшись между Пушкиным и Никитской. Зевали, потягиваясь и укладывая морды поудобней на передние лапы, худые длинноязыкие собаки. Няни, кума с кумой, все о чем-то судачили и о чем-то сокрушались.

Бабочки мгновеньями складывались, растворяясь в жаре, и вдруг расправлялись, увлекаемые вбок неправильными волнами зноя. Девочка в белом, вероятно совершенно мокрая, держалась в воздухе, всю себя за пятки охлестывая свистящими кругами веревочной скакалки.

Я увидел Маяковского издали и показал его Локсу. Он играл с Ходасевичем в орел и решку. В это время Ходасевич встал и, заплатив проигрыш, ушел из-под навеса по направленью к Страстному. Маяковский остался один за столиком. Мы вошли, поздоровались с ним и разговорились. Немного спустя он предложил кое-что прочесть.

Зеленели тополя. Суховато серели липы. Выведенные блохами из терпенья, сонные собаки вскакивали на все лапы сразу и, призвав небо в свидетели своего морального бессилья против грубой силы, валились на песок в состояньи негодующей сонливости. Давали горловые свистки паровозы на Брестской дороге, переименованной в Александровскую, и кругом стригли, брили, пекли и жарили, торговали, передвигались — и ничего не ведали.

Это была трагедия «Владимир Маяковский», тогда только что вышедшая. Я слушал, не помня себя, всем перехваченным сердцем, затая дыханье. Ничего подобного я раньше никогда не слыхал.

Здесь было все. Бульвар, собаки, тополя и бабочки. Парикмахеры, булочники, портные и паровозы. Зачем цитировать? Все мы помним этот душный таинственный летний текст, теперь доступный каждому в десятом изданьи.

Вдали белугой ревели локомотивы. В горловом краю его творчества была та же безусловная даль, что на земле. Тут была та бездонная одухотворенность, без которой не бывает оригинальности, та бесконечность, открывающаяся с любой точки жизни, в любом направленьи, без которой поэзия — одно недоразуменье, временно не разъясненное.

И так просто было это все. Искусство называлось трагедией. Так и следует ему называться. Трагедия называлась «Владимир Маяковский». Заглавье скрывало гениально простое открытье, что поэт не автор, но — предмет лирики, от первого лица, обращающейся к миру. Заглавье было не именем сочинителя, а фамилией содержанья.

5

Собственно, тогда с бульвара я и унес его всего с собою в свою жизнь. Но он был огромен, удержать его в разлуке не представляло возможности. И я его утрачивал. Тогда он напоминал мне о себе. «Облаком в штанах», «Флейтой-позвоночником», «Войной и миром», «Человеком». То, что выветривалось в промежутках, было так громадно, что и напоминанья требовались экстраординарные. Такими они и бывали. Каждый из перечисленных этапов заставал меня неподготовленным. На каждом, выросши до неузнаваемости, он весь рождался вновь, как в первый раз. К нему нельзя было привыкнуть. Что же в нем было столь непривычного?

Он обладал сравнительно постоянными качествами. Относительно устойчива была и моя восторженность. Она всегда для него была готова. Казалось бы, при таких условиях и привыканье мое не должно было бы делать скачков. Между тем вот как обстояло дело.

Пока он существовал творчески, я четыре года привыкал к нему и не мог привыкнуть. Потом привык в два часа с четвертью, что длилось чтенье и разбор нетворческих «150 000 000-нов». Потом больше десяти лет промучился с этой привычкой. Потом вдруг разом ее в слезах утратил, когда он во весь голос о себе напомнил, как бывало, но уже из-за могилы.

Привыкнуть нельзя было не к нему, а к миру, который он держал в своих руках и то пускал в ход, то приводил в бездействие по своему капризу. Я никогда не пойму, какой ему был прок в размагничиваньи магнита, когда в сохраненьи всей внешности ни песчинки не двигала подкова, вздыбливавшая перед тем любое воображенье и притягивавшая какие угодно тяжести ножками строк. Едва ли найдется в истории другой пример того, чтобы человек, так далеко ушедший в новом опыте, в час, им самим предсказанный, когда этот опыт, пусть и ценой неудобств, стал бы так насущно нужен, так полно бы от него отказался. Его место в революции, внешне столь логичное, внутренне столь принужденное и пустое, навсегда останется для меня загадкой.

Привыкнуть нельзя было к Владимиру Маяковскому трагедии, к фамилии содержанья, к поэту, извечно содержащемуся в поэзии, к возможности, осуществляемой наиболее сильными, а не к так называемому «интересному человеку».

С разрядом этой непривычности я и пошел домой с бульвара. Я снимал комнату с окном на Кремль. Из-за реки мог во всякое время явиться Николай Асеев. Он пришел бы от сестер С., семьи глубоко и разнообразно одаренной. Я узнал бы в вошедшем: воображенье, яркое в беспорядочности, способность претворять неосновательность в музыку, чувствительность и лукавство подлинной артистической натуры. Я его любил. Он увлекался Хлебниковым. Не пойму, что он находил во мне. От искусства, как и от жизни, мы добивались разного.

6

Зеленели тополя и ящерицами бегали по речной воде отраженья золота и белого камня, когда я Кремлем к Покровке проехал на вокзал и оттуда с Балтрушайтисами на Оку, в Тульскую губернию. Там под боком жил Вячеслав Иванов. Остальные дачники были также из артистического мира *.

Еще цвела сирень. Выбежав далеко па дорогу, она только что без музыки и хлеба-соли устраивала живую встречу на широком въезде в именье. За ней долго еще спускался к домам пустой, избитый скотом и поросший неровною травою двор.

Лето обещало быть жарким, богатым. Для тогда возникавшего Камерного театра я переводил комедию Клейста «Разбитый кувшин». В парке было много змей. Речь о них заходила ежедневно. О змеях говорили за ухой и на купанье. Когда же мне предлагали рассказать что-нибудь о себе, я заговаривал о Маяковском. В этом не было ошибки. Я его боготворил. Я олицетворял в нем свой духовный горизонт. С гиперболизмом Гюго первым на моей памяти стал сравнивать его тогда Вячеслав Иванов.

7

Когда объявили войну, заненастилось, пошли дожди, полились первые бабьи слезы. Война была еще нова и в тряс страшна этой новостью. С ней не знали, как быть, и в нее вступали как в студеную воду.

Пассажирские поезда, в которых уезжали местные из волости на сбор, отходили по старому расписанию. Поезд

* Среди них — Е. В. Муратова.

трогался, и ему вдогонку, колотясь головой о рельсы, раскатывалась волна непохожего на плач, неестественно нежного и горького, как рябина, кукованья. Пожилую, не по-летнему укутанную женщину подхватывали на руки. Родня снаряженного с односложными уговорами отводила ее под станционные своды.

Это только в первые месяцы державшееся причитанье было шире горя молодух и матерей, в нем изливавшегося. Оно чрезвычайным порядком вводилось по линии. Начальники станций брали при его следованьи под козырек, телеграфные столбы уступали ему дорогу. Оно преображало край, видное отовсюду в оловянном окладе ненастья, потому что это была отвычная вещь жгучей яркости, которую не трогали с прошлых войн, извлекли из-под спуда истекшей ночью, утром привезли на лошади к поезду и, как выведут на руки из-под станционных сводов, повезут назад домой горькой грязью поселка. Так провожали своих, вольными одиночками или с землячками уезжавших в город в зеленых вагонах.

Солдат же, готовыми маршевыми частями проходивших прямо туда, в самый страх, встречали и провожали без голошенья. Во всем в обтяжку, они не по-мужицки прыгали из высоких теплушек в песок, звеня шпорами и волоча по воздуху криво накинутые шинели. Другие стояли в вагонах у перекладин, похлопывая лошадей, надменными ударами копыт ковырявших грязную древесину местами подгнившего пола. Платформа яблок даром не отдавала, за ответом в карман не лезла и, пунцово вспыхивая, усмехалась в углы плотно сколотых платков.

Кончался сентябрь. Грязью залитого пожара горел в лощинах мусорно-золотой орешник, погнутый и обломанный ветрами и лазальщиками по орехи, сумбурный образ разоренья, свернутого со всех суставов упрямым сопротивленьем беде.

Как-то в августе в полдень ножи и тарелки на террасе позеленели, на цветник пали сумерки, притихли птицы. Небо, как шапку-невидимку, стало сдирать с себя светлую сетчатую ночь, обманно на него наброшенную. Вымерший парк зловеще закосился ввысь, на унизительную загадку, превращавшую во что-то заштатное землю, громкую славу которой он так горделиво пил всеми корнями. На дорожку выкатился еж. На ней египетским иероглифом, как сложенная узлом веревка, валялась дохлая гадюка. Он шевельнул ее и вдруг бросил и за-

мер. И снова сломал и осыпал сухую охапку игл и высунул и спрятал свиную морду. Все время, что длилось затменье, то сапожком, то шишкой сбирался клубок колючей подозрительности, пока предвестье возрождающейся несомненности не погнало его назад в нору.

8

Зимой на Тверском бульваре поселилась одна из сестер С-х — З. М. М-ва. Ее посещали. К ней заходил замечательный музыкант (я дружил с ним). И. Добровейн. У ней бывал Маяковский. К той поре я уже привык видеть в нем первого поэта поколенья. Время показало, что я не ошибся.

Был, правда, Хлебников с его тонкой подлинностью. Но часть его заслуг и доныне для меня недоступна, потому что поэзия моего пониманья все же протекает в истории и в сотрудничестве с действительной жизнью. Был также Северянин, лирик, изливавшийся непосредственно строфически, готовыми, как у Лермонтова, формами и при всей неряшливой пошлости поражавший именно этим редким устройством своего открытого, разомкнутого дара.

Однако вершиной поэтической участи был Маяковский, и позднее это подтвердилось. Всякий раз, как потом поколенье выражало себя драматически, отдавая свой голос поэту, будь то Есенин, Сельвинский или Цветаева, именно в их генерационной связанности, то есть в их обращеньи от времени к миру, слышался отзвук кровной ноты Маяковского. Я умалчиваю о таких мастерах, как Тихонов и Асеев, потому что ограничиваюсь и в дальнейшем этой драматической линией, более близкой мне, а они выбрали для себя другую.

Маяковский редко являлся один. Обыкновенно его свиту составляли футуристы, люди движенья. В хозяйстве М-вой я увидел тогда первый в моей жизни примус. Изобретенье не издавало еще вони, и кому думалось, что оно так изгадит жизнь и найдет себе в ней такое широкое распространенье.

Чистый ревущий кузов разбрасывал высоконапорное пламя. На нем одну за другой поджаривали отбивные котлеты. Локти хозяйки и ее помощниц покрывались шоколадным кавказским загаром. Холодная кухонька превращалась в поселенье на огненной земле, когда, наведываясь из столовой к дамам, мы технически дикими па-

тагонцами склонялись над медным блином, воплощавшим в себе что-то светлое, архимедовское. И — бегали за пивом и водкой. В гостиной, в тайной стачке с деревьями бульвара, протягивала лапы к роялю высокая елка. Она была еще торжественно мрачна. Весь диван, как сластями, был завален блестящей канителью, частью еще в картонных коробках. К ее украшенью приглашали особо, с утра по возможности, то есть часа в три пополудни.

Маяковский читал, смешил все общество, торопливо ужинал, не терпя, когда сядут за карты. Он был язвительно любезен и с большим искусством прятал свое постоянное возбужденье. С ним что-то творилось, в нем совершался какой-то перелом. Ему уяснилось его назначенье. Он открыто позировал, но с такою скрытой тревогой и лихорадкой, что на его позе стояли капли холодного пота.

9

Но не всегда он приходил в сопутствии новаторов. Часто его сопровождал поэт, с честью выходивший из испытанья, каким обыкновенно являлось соседство Маяковского. Из множества людей, которых я видел рядом с ним, Большаков был единственным, кого я совмещал с ним без всякой натяжки. Обоих можно было слушать в любой последовательности, не насилуя слуха. Как впоследствии его еще более крепкое единенье с другом на всю жизнь, Л. Ю. Брик, эту дружбу легко было понять, она была естественна. В обществе Большакова за Маяковского не болело сердце, он был в соответствии с собой и не ронял себя.

Обычно же его симпатии вызывали недоуменье. Поэт с захватывающе крупным самосознаньем, дальше всех зашедших в обнаженье лирической стихии и со средневековой смелостью сблизивший ее с темою, в безмерной росписи которой поэзия заговорила языком почти сектантских отождествлений, он так же широко и крупно подхватил другую традицию, более местную.

Он видел под собою город, постепенно к нему поднявшийся со дна «Медного всадника», «Преступления и наказания» и «Петербурга», город в дымке, которую с ненужной расплывчатостью звали проблемою русской интеллигенции, по существу же город в дымке вечных гаданий о будущем, русский необеспеченный город девятнадцатого и двадцатого столетья.

Он обнимал такие виды и наряду с этими огромными созерцаньями почти как долгу верен был всем карликовым затеям своей случайной, наспех набранной и всегда до неприличья посредственной клики. Человек почти животной тяги к правде, он окружал себя мелкими привередниками, людьми фиктивных репутаций и ложных, неоправданных притязаний. Или, чтобы назвать главное. Он до конца все что-то находил в ветеранах движенья, им самим давно и навсегда упраздненного. Вероятно, это были следствия рокового одиночества, раз установленного и затем добровольно усугубленного с тем педантизмом, с которым воля идет иногда в направленьи осознанной неизбежности.

10

Однако все это сказалось позднее. Признаки будущих странностей тогда еще были слабы. Маяковский читал Ахматову, Северянина, свое и большаковское о войне и городе, и город, куда мы выходили ночью от знакомых, был городом глубокого военного тыла.

Уже мы проваливались по всегда трудным для огромной и одухотворенной России предметам транспорта и снабженья. Уже из новых слов — наряд, медикаменты, лицензия и холодильное дело — вылупливались личинки первой спекуляции. Тем временем, как она мыслила вагонами, в вагонах этих дни и ночи спешно с песнями вывозили крупные партии свежего коренного населенья в обмен на порченое, возвращавшееся санитарными поездами. И лучшие из девушек и женщин шли в сестры.

Местом истинных положений был фронт, и тыл все равно попадал бы в ложное, даже если бы в придачу к этому не изощрялся в добровольной лжи. Город прятался за фразы, как пойманный вор, хотя тогда еще никто его не ловил. Как все лицемеры, Москва жила повышенно внешней жизнью и была ярка неестественной яркостью зимней, цветочной витрины.

Ночами она казалась вылитым голосом Маяковского. То, что в ней творилось, и то, что громоздил и громил этот голос, было как две капли воды. Но это не было то сходство, о котором мечтает натурализм, а та связь, которая сочетает воедино анод и катод, художника и жизнь, поэта и время.

От М-вой напротив был дом московского полицеймейстера. Осенью в теченье нескольких дней меня там сталки-

вала с Маяковским и, кажется, с Большаковым одна из формальностей, требовавшихся при записи в добровольцы. Процедуру эту мы друг от друга скрывали. Я не довел ее до конца, несмотря на отцово сочувствие. Но, если не ошибаюсь, и у товарищей тогда из нее ничего не вышло.

Меня заклял отказаться от этой мысли сын Шестова, красавец прапорщик. Он с трезвой положительностью рассказал мне о фронте, предупредив, что я встречу там одно противоположное тому, что рассчитываю найти. Вскоре за тем он погиб в первом из боев по возвращеньи на позиции из этого отпуска. Большаков поступил в Тверское кавалерийское училище, Маяковский позднее был призван в свой срок, я же после летнего освобожденья перед самой войной освобождался при всех последующих переосвидетельствованьях.

Через год я уехал на Урал. Перед тем я на несколько дней ездил в Петербург. Война чувствовалась тут меньше, чем у нас. Тут давно обосновался Маяковский, тогда уже призванный.

Как всегда, оживленное движенье столицы складывалось щедростью ее мечтательных, нуждами жизни не исчерпываемых просторов. Проспекты сами были цвета зимы и сумерек, и в придачу к их серебристой порывистости не требовалось много фонарей и снегу, чтобы заставить их мчаться вдаль и играть.

Мы шли с Маяковским по Литейному, он мял взмахами шагов версты улиц, и я, как всегда, поражался его способности быть чем-то бортовым и обрамляющим к любому пейзажу. Искристо-серому Петрограду он в этом отношеньи шел еще больше, чем Москве.

Это было время «Флейты-позвоночника» и первых набросков «Войны и мира». Тогда книжкой в оранжевой обложке вышло «Облако в штанах».

Он рассказывал про новых друзей, к которым меня вел, про знакомство с Горьким, про то, как общественная тема все шире проникает в его замыслы и позволяет ему работать по-новому, в определенные часы, размеренными порциями. И тогда я в первый раз побывал у Бриков.

Еще естественнее, чем в столицах, разместились мои мысли о нем в зимнем полуазиатском ландшафте «Капитанской дочки», на Урале и в пугачевском Прикамьи.

Вскоре после Февральской революции я вернулся в Москву. Из Петрограда приехал и остановился в Столешниковом переулке Маяковский. Утром я зашел к нему в

гостиницу. Он вставал и, одеваясь, читал мне новые «Войну и мир». Я не стал распространяться о впечатленьи. Он прочел его в моих глазах. Кроме того, мера его действия на меня была ему известна. Я заговорил о футуризме и сказал, как чудно было бы, если бы он теперь все это гласно послал к чертям. Смеясь, он почти со мной соглашался.

11

В предшествующем я показал, как я воспринимал Маяковского. Но любви без рубцов и жертв не бывает. Я рассказал, каким вошел Маяковский в мою жизнь. Остается сказать, что с ней при этом сделалось. Теперь я восполню этот пробел.

Вернувшись в совершенном потрясении тогда с бульвара, я не знал, что предпринять. Я сознавал себя полной бездарностью. Это было бы еще с полбеды. Но я чувствовал какую-то вину перед ним и не мог ее осмыслить. Если бы я был моложе, я бросил бы литературу. Но этому мешал мой возраст. После всех метаморфоз я не решился переопределяться в четвертый раз.

Случилось другое. Время и общность влияний роднили меня с Маяковским. У нас имелись совпаденья. Я их заметил. Я понимал, что если не сделать чего-то с собою, они в будущем участятся. От их пошлости его надо было уберечь. Не умея назвать этого, я решил отказаться от того, что к ним приводило. Я отказался от романтической манеры. Так получилась неромантическая поэтика «Поверх барьеров».

Но под романтической манерой, которую я отныне возбранял себе, крылось целое мировосприятье. Это было пониманье жизни как жизни поэта. Оно перешло к нам от символистов, символистами же было усвоено от романтиков, главным образом немецких.

Это представленье владело Блоком лишь в теченье некоторого периода. В той форме, в которой оно ему было свойственно, оно его удовлетворить не могло. Он должен был либо усилить его, либо оставить. Он с этим представленьем расстался. Усилили его Маяковский и Есенин.

В своей символике, то есть во всем, что есть образно соприкасающегося с орфизмом и христианством, в этом полагающем себя в мерила жизни и жизнью за это расплачивающемся поэте, романтическое жизнепониманье

покоряюще ярко и неоспоримо. В этом смысле нечто непреходящее воплощено жизнью Маяковского и никакими эпитетами не охватываемой судьбой Есенина, самоистребительно просящейся и уходящей в сказки.

Но вне легенды романтический этот план фальшив. Поэт, положенный в его основанье, немыслим без непоэтов, которые бы его оттеняли, потому что поэт этот не живое, поглощенное нравственным познаньем лицо, а зрительно-биографическая эмблема, требующая фона для наглядных очертаний. В отличие от пассионалий, нуждавшихся в небе, чтобы быть услышанными, эта драма нуждается во зле посредственности, чтобы быть увиденной, как всегда нуждается в филистерстве романтизм, с утратой мещанства лишающийся половины своего содержанья.

Зрелищное понимание биографии было свойственно моему времени. Я эту концепцию разделял со всеми. Я расставался с ней в той еще стадии ее, когда она была необязательно мягка у символистов, героизма не предполагала и кровью еще не пахла. И, во-первых, я освобождался от нее бессознательно, отказываясь от романтических приемов, которым она служила основаньем. Во-вторых, я и сознательно избегал ее, как блеска, мне неподходящего, потому что, ограничив себя ремеслом, я боялся всякой поэтизации, которая поставила бы меня в ложное и несоответственное положенье.

Когда же явилась «Сестра моя, жизнь», в которой нашли выраженье совсем не современные стороны поэзии, открывшиеся мне революционным летом, мне стало совершенно безразлично, как называется сила, давшая книгу, потому что она была безмерно больше меня и поэтических концепций, которые меня окружали.

12

В не убиравшуюся месяцами столовую смотрели с Сивцева Вражка зимние сумерки, террор, крыши и деревья Приарбатья. Хозяин квартиры, бородатый газетный работник чрезвычайной рассеянности и добродушья, производил впечатление холостяка, хотя имел семью в Оренбургской губернии. Когда выдавался досуг, он охапками сгребал со стола и сносил на кухню газеты всех направлений за целый месяц вместе с окаменелыми остатками завтраков, которые правильными отложеньями из свиной кромки и хлебных горбушек скапливались между его

утренними чтеньями. Пока я не утратил совести, пламя под плитой по тридцатым числам получалось светлое, громкое и пахучее, как в святочных рассказах Диккенса о жареных гусях и конторщиках. При наступлении темноты постовые открывали вдохновенную стрельбу из наганов. Они стреляли то пачками, то отдельными редкими вопрошеньями в ночь, полными жалкой безотзывной смертоносности, и так как им нельзя было попасть в такт и много гибло от шальных пуль, то в целях безопасности по переулкам вместо милиции хотелось расставить фортепьянные метрономы.

Иногда их трескотня переходила в одичалый вопль. И как часто тогда сразу не разобрать бывало, на улице ли это или в доме. А это минутами просветленья среди сплошного беспамятства звал к себе из кабинета его единственный, переносный со штепселем жилец.

Отсюда телефонным звонком приглашали меня в особняк в Трубниковском, на сбор всех, какие могли только оказаться тогда в Москве, поэтических сил. По этому же телефону, но гораздо раньше, до корниловского мятежа, спорил я с Маяковским.

Маяковский извещал, что поставил меня на свою афишу вместе с Большаковым и Липскеровым, но также и с вернейшими из верных, в том числе и с тем, кажется, что разбивал лбом вершковые доски. Я почти радовался случаю, когда впервые как с чужим говорил со своим любимцем и, приходя во все большее раздраженье, один за другим парировал его доводы в свое оправданье. Я удивлялся не столько его бесцеремонности, сколько проявленной при этом бедности воображенья, потому что инцидент, как говорил я, заключался не в его непрошеном распоряженьи моим именем, а в его досадном убежденьи, что мое двухлетнее отсутствие не изменило моей судьбы и занятий. Следовало вперед поинтересоваться, жив ли я еще и не бросил ли литературы для чего-нибудь лучшего. На это он резонно возражал, что после Урала я уже с ним виделся раз весною. Но удивительнейшим образом резон этот до меня не доходил. И я с ненужной настойчивостью требовал от него газетной поправки в афише, вещи по близости вечера неисполнимой и по моей тогдашней безвестности — аффектированно бессмысленной.

Но хотя я тогда еще прятал «Сестру мою, жизнь» и скрывал, что со мной делалось, я не выносил, когда кругом принимали, будто у меня все идет по-прежнему. Кро-

ме того, совсем глухо во мне, вероятно, жил именно тот весенний разговор, на который Маяковский так безуспешно ссылался, и меня раздражала непоследовательность этого приглашенья после всего тогда говорившегося.

13

Телефонную эту перепалку напомнил он мне спустя несколько месяцев в доме стихотворца-любителя А. Там были Бальмонт, Ходасевич, Балтрушайтис, Эренбург, Вера Инбер, Антокольский, Каменский, Бурлюк, Маяковский, Андрей Белый и Цветаева. Я не мог, разумеется, знать, в какого несравненного поэта разовьется она в будущем. Но не зная и тогдашних замечательных ее «Верст», я инстинктивно выделил ее из присутствовавших за ее бросавшуюся в глаза простоту. В ней угадывалась родная мне готовность в любую минуту расстаться со всеми привычками и привилегиями, если бы что-нибудь высокое зажгло ее и привело в восхищенье. Мы обратили тогда друг к другу несколько открытых товарищеских слов. На вечере она была мне живым палладиумом против толпившихся в комнате людей двух движений, символистов и футуристов.

Началось чтенье. Читали по старшинству, без сколько-нибудь чувствительного успеха. Когда очередь дошла до Маяковского, он поднялся и, обняв рукою край пустой полки, которою кончалась диванная спинка, принялся читать «Человека». Он барельефом, каким я всегда видел его на времени, высился среди сидевших и стоявших и, то подпирая рукой красивую голову, то упирая колено в диванный валик, читал вещь необыкновенной глубины и приподнятой вдохновенности.

Против него сидел с Маргаритою Сабашниковой Андрей Белый. Войну он провел в Швейцарии. На родину его вернула революция. Возможно, что Маяковского он видел и слышал впервые. Он слушал как завороженный, ничем не выдавая своего восторга, но тем громче говорило его лицо. Оно неслось навстречу читавшему, удивляясь и благодаря. Части слушателей я не видел, в их числе Цветаевой и Эренбурга. Я наблюдал остальных. Большинство из рамок завидного самоуваженья не выходило. Все чувствовали себя именами, все — поэтами. Один Белый слушал, совершенно потеряв себя, далеко-далеко унесенный той радостью, которой ничего не жаль, потому что на высотах, где она чувствует себя как дома,

ничего, кроме жертв и вечной готовности к ним, не водится.

Случай сталкивал на моих глазах два гениальных оправданья двух последовательно исчерпывающих себя литературных течений. В близости Белого, которую я переживал с горделивой радостью, я присутствие Маяковского ощущал с двойной силой. Его существо открывалось мне во всей свежести первой встречи. В тот вечер я это пережил в последний раз.

После этого прошло много лет. Прошел год, и, прочитав ему первому стихи из «Сестры», я услышал от него вдесятеро больше, чем рассчитывал когда-либо от когонибудь услышать. Прошел еще год. Он в тесном кругу прочитал «150 000 000». И впервые мне нечего было сказать ему. Прошло много лет, в теченье которых мы встречались дома и за границей, пробовали дружить, пробовали совместно работать, и я все меньше и меньше его понимал. Об этом периоде расскажут другие, потому что в эти годы я столкнулся с границами моего пониманья, по-видимому — непреодолимыми. Воспоминанья об этом времени вышли бы бледными и ничего бы к сказанному не прибавили. И потому я прямо перейду к тому, что мне еще осталось досказать.

14

Я расскажу о той из века в век повторяющейся странности, которую можно назвать последним годом поэта.

Вдруг кончают не поддававшиеся завершенью замыслы. Часто к их недовершенности ничего не прибавляют, кроме новой и только теперь допущенной уверенности, что они завершены. И она передается потомству.

Меняют привычки, носятся с новыми планами, не нахвалятся подъемом духа. И вдруг — конец, иногда насильственный, чаще естественный, но и тогда, по нежеланью защищаться, очень похожий на самоубийство. И тогда спохватываются и сопоставляют. Носились с планами, издавали «Современник», собирались ставить крестьянский журнал. Открывали выставку двадцатилетней работы, исхлопатывали заграничный паспорт.

Но другие, как оказывается, в те же самые дни видели их угнетенными, жалующимися, плачущими. Люди целых десятилетий добровольного одиночества вдруг подетски пугались его, как темной комнаты, и ловили ру-

ками случайных посетителей, хватаясь за их присутствие, только бы не оставаться одним. Свидетели этих состояний отказывались верить своим ушам. Люди, получившие столько подтверждений от жизни, сколько она дает не всякому, рассуждали так, точно они никогда не начинали еще жить и не имели опыта и опоры в прошлом.

Но кто поймет и поверит, что Пушкину восемьсот тридцать шестого года внезапно дано узнать себя Пушкиным любого — Пушкиным девятьсот тридцать шестого года. Что настает время, когда вдруг в одно перерожденное, расширившееся сердце сливаются отклики, давно уже шедшие от других сердец в ответ на удары главного, которое еще живо, и бьется, и думает, и хочет жить. Что множившиеся все время перебои наконец так учащаются, что вдруг выравниваются и, совпав с содроганьями главного, пускаются жить одною, отныне равноударной с ним жизнью. Что это не иносказанье. Что это переживается. Что это какой-то возраст, порывисто кровный и реальный, хотя пока еще не названный. Что это какая-то нечеловеческая молодость, но с такой резкой радостью надрывающая непрерывность предыдущей жизни, что за неназванностью возраста и необходимости сравнений она своей резкостью больше всего похожа на смерть, но совсем не смерть, отнюдь не смерть, и только бы, только бы люди не пожелали полного сходства.

И вместе с сердцем смещаются воспоминания и произведенья, произведенья и надежды, мир созданного и мир еще подлежащего созданью. Какова была его личная жизнь, спрашивают иногда. Сейчас вы просветитесь насчет его личной жизни. Огромная, предельного разноречья область стягивается, сосредоточивается, выравнивается и вдруг, вздрогнув одновременностью по всем частям своего сложенья, начинает существовать телесно. Она открывает глаза, глубоко вздыхает и сбрасывает с себя последние остатки позы, временно данной ей в подмогу.

И если вспомнить, что все это спит ночью и бодрствует днем, ходит на двух ногах и зовется человеком, естественно ждать соответствующих явлений и в его поведеньи.

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима. В нем рано темнеет, деловой день проходит в нем при вечернем свете.

Давно, давно когда-то он был страшен. Его надлежало победить, надо было сломить его непризнанье.

С тех пор утекло много воды. Его признанье вырвано, его покорность вошла в привычку. Требуется большое усилье памяти, чтобы вообразить, чем он мог вселять когда-то такое волненье. В нем мигают огоньки и, кашляя в платки, щелкают па счетах, его засыпает снегом.

Его тревожная громадность неслась бы мимо незамеченной, когда бы не эта новая, дикая впечатлительность. Что значит робость отрочества перед уязвимостью этого нового рожденья. И вновь, как в детстве, замечается все. Лампы, машинистки, дверные блоки и калоши, тучи, месяц и снег. Страшный мир.

Он топорщится спинками шуб и санок, он, как гривенник на полу, катится на ребре по рельсам и, закатясь вдаль, ласково валится с ребра в туман, где за ним нагибается стрелочница в тулупе. Он перекатывается, и мельчает, и кишит случайностями, в нем так легко напороться на легкий недостаток вниманья. Это неприятности намеренно воображаемые. Они сознательно раздуваются из ничего. Но и раздутые, они совершенно ничтожны в сравненьи с обидами, по которым так торжественно шагалось еще так недавно. Но в том-то и дело, что этого нельзя сравнивать, потому что это было в той, прежней жизни, разорвать которую было так радостно. О, если бы только эта радость была ровной и правдоподобной.

Но она невероятна и бесплодна, и, однако, так, как швыряет эта радость из крайности в крайность, ничто ни во что никогда еще в жизни не швыряло.

Как тут падают духом. Как опять повторяется весь Андерсен с его несчастным утенком. Каких только слонов не делают тут из мух.

Но, может быть, врет внутренний голос? Может быть, прав страшный мир?

«Просят не курить», «Просят дела излагать кратко». Разве это не истины?

«Этот! Повесится? Будьте покойны». — «Любить? Этот? Ха-ха-ха! Он любит только себя».

Большой, реальный, реально существующий город. В нем зима, в нем мороз. Визгливый, ивового плетенья двадцатиградусный воздух как на вбитых сваях стоит поперек дороги. Все туманится, все закатывается и запропащается в нем. Но разве бывает так грустно, когда так радостно? Так это не второе рожденье? Так это смерть?

15

В отделах записей актов гражданского состоянья приборов для измеренья правдивости не ставят, искренности рентгеном не просвечивают. Для того чтобы запись имела силу, ничего, кроме крепости чужой регистрирующей руки, не требуется. И тогда ни в чем не сомневаются, ничего не обсуждают.

Он напишет предсмертную записку собственной рукой, завещательно представив свою драгоценность миру как очевидность, он свою искренность измерит и просветит быстрым, не поддающимся никакой переделке исполненьем, и кругом пойдут обсуждать, сомневаться и сопоставлять.

Они сравнивают ее с предшественницами, а она сравнима только с ним одним и со всем его предшествующим. Они строят предположенья о его чувстве и не знают, что можно любить не только в днях, хотя бы и навеки, а хотя бы и не навеки, всем полным собраньем прошедших дней.

Но одинаковой пошлостью стали давно слова: гений и красавица. А сколько в них общего.

Она с детства стеснена в движеньях. Она хороша собой и рано это узнает. Единственный, с кем можно быть вполне собой, — это так называемый божий мир, потому что с другими нельзя сделать шагу, чтобы не огорчить или не огорчиться.

Она подростком выходит за ворота. Какие у ней умыслы? Она уже получает письма до востребования. Она держит в курсе своих тайн двух-трех подруг. Все это у нее уже есть, и допустим: она выходит на свиданье.

Она выходит за ворота. Ей хочется, чтобы ее заметил вечер, чтобы у воздуха сжалось сердце за нее, чтобы звездам было что про нее подхватить. Ей хочется известности, которой пользуются деревья и заборы и все вещи на земле, когда они не в голове, а на воздухе. Но она расхохоталась бы в ответ, если бы ей приписали такие желанья. Ни о чем таком она не думает. На то есть в мире у нее далекий брат, человек огромного обыкновенья, чтобы знать ее лучше ее самой и быть за нее в последнем ответе. Она здраво любит здоровую природу и не сознает, что расчет на взаимность вселенной никогда ее не покидает.

Весна, весенний вечер, старушки на лавочках, низкие заборы, волосатые ветлы. Винно-зеленое, слабого настоя, некрепкое, бледное небо, пыль, родина, сухие, щепящиеся голоса. Сухие, как щепки, звуки и, вся в их занозах, — гладкая, горячая тишина.

Навстречу — человек по дороге, тот самый, которого естественно было встретить. На радостях она твердит, что вышла к нему одному. Отчасти она права. Кто несколько не пыль, не родина, не тихий весенний вечер? Она забывает, зачем вышла, но про то помнят ее ноги. Он и она идут дальше. Идут они вдвоем, и чем дальше, тем больше народу попадается им навстречу. И так как она всей душой любит спутника, то ноги немало огорчают ее. Но они несут ее дальше, он и она едва поспевают друг за другом, но неожиданно дорога выводит на некоторую широту, где будто бы малолюднее и можно бы передохнуть и оглянуться, но часто в это же самое время сюда выходит своей дорогой ее далекий брат, и они встречаются, и что бы тут ни произошло, все равно, все равно какое-то совершеннейшее «я — это ты» связывает их всеми мыслимыми на свете связями и гордо, молодо и утомленно набивает медалью профиль на профиль.

16

Начало апреля застало Москву в белом остолбененьи вернувшейся зимы. Седьмого стало вторично таять, и четырнадцатого, когда застрелился Маяковский, к новизне весеннего положенья еще не все привыкли.

Узнав о несчастьи, я вызвал на место происшествия Ольгу Силлову. Что-то подсказало мне, что это потрясенье даст выход ее собственному горю.

Между одиннадцатью и двенадцатью все еще разбегались волнистые круги, порожденные выстрелом. Весть качала телефоны, покрывая лица бледностью и устремляя к Лубянскому проезду, двором в дом, где уже по всей лестнице мостились, плакали и жались люди из города и жильцы дома, ринутые и разбрызганные по стенам плющильною силой событья. Ко мне подошли Я. Черняк и Ромадин, первыми известившие меня о несчастьи. С ними была Женя. При виде ее у меня конвульсивно заходили щеки. Она, плача, сказала мне, чтобы я бежал наверх, но в это время сверху на носилках протащили тело, чем-то накрытое с головой. Все броси-

лись вниз и спрудились у выхода, так что когда мы выбрались вон, карета скорой помощи уже выезжала за ворота. Мы потянулись за ней в Гендриков переулок.

За воротами своим чередом шла жизнь, безучастная, как ее напрасно называют. Участье асфальтового двора, вечного участника таких драм, осталось позади.

По резиновой грязи бродил вешний слабоногий воздух и точно учился ходить. Петухи и дети заявляли о себе во всеуслышанье. Ранней весной их голоса странно доходят, несмотря на городскую деловую трескотню.

Трамвай медленно взбирался на Швивую горку. Там есть место, где сперва правый, а потом левый тротуар так близко подбираются под окна вагонов, что, хватаясь за ремень, невольным движеньем нагибаешься над Москвой, как к поскользнувшейся старухе, потому что она вдруг опускается на четвереньки, скучно собирает с себя часовщиков и сапожников, подымает и переставляет какие-то крыши и колокольни и вдруг, встав и отряхнув подол, гонит трамвай по ровной и ничем не замечательной улице.

На этот раз ее движенья были столь явным отрывком из застрелившегося, то есть так сильно напоминали что-то важное из его существа, что я весь задрожал и знаменитый телефонный вызов из «Облака» сам собой прогрохотал во мне, словно громко произнесенный кем-то рядом. Я стоял в проходе возле Силловой и наклонился к ней, чтобы напомнить восьмистишье, но

И чувствую, «я» для меня мало́... —

складывали губы, как пальцы в варежках, проговорить же вслух я от волненья не мог ни слова.

В конце Гендрикова у ворот стояли две пустые машины. Их окружала кучка любопытных.

В передней и столовой стояли и сидели в шапках и без шапок. Он лежал дальше, в своем кабинете. Дверь из передней в Лилину комнату была открыта, и у порога, прижав голову к притолоке, плакал Асеев. В глубине у окна, втянув голову в плечи, трясся мелкой дрожью беззвучно рыдавший Кирсанов.

Сырой туман оплакиванья прерывался и тут озабоченными разговорами вполголоса, как по окончании панихид, когда после густой, как варенье, службы первые слова, сказанные шепотом, так сухи, что кажутся произнесенными из-под полу и пахнут мышами. В один из та-

ких перерывов в комнату осторожно прошел дворник со стамеской за сапожным голенищем и, вынув зимнюю раму, медленно и бесшумно открыл окно. На дворе раздевшись было еще вдрызг дрожко, и воробьи и ребятишки взбадривали себя беспричинным криком.

Выйдя на цыпочках от покойника, кто-то тихо спросил, послана ли телеграмма Лиле. Л. А. Г. ответил, что послали. Женя отвела меня в сторону, обратив вниманье на мужество, с каким Л. А. нес страшную тяжесть стрясшегося. Она заплакала. Я крепко сжал ее руку.

В окно лилось кажущееся безучастье безмерного мира. Вдоль по небу, точно между землей и морем, стояли серые деревья и стерегли границу. Глядя на сучья в горячащихся почках, я постарался представить себе далеко-далеко за ними тот маловероятный Лондон, куда отошла телеграмма. Там вскоре должны были вскрикнуть, простереть сюда руки и упасть без памяти. Мне перехватило горло. Я решил опять перейти в его комнату, чтобы на этот раз выреветься в полную досталь.

Он лежал на боку, лицом к стене, хмурый, рослый, под простыней до подбородка, с полуоткрытым, как у спящего, ртом. Горделиво ото всех отвернувшись, он даже лежа, даже и в этом сне упорно куда-то порывался и куда-то уходил. Лицо возвращало к времени, когда он сам назвал себя красивым, двадцатидвухлетним, потому что смерть закостенила мимику, почти никогда не попадающуюся ей в лапы. Это было выраженье, с которым начинают жизнь, а не которым ее кончают. Он дулся и негодовал.

Но вот в сенях произошло движенье. Особняком от матери и старшей сестры, уже неслышно горевавших среди собравшихся, на квартиру явилась младшая сестра покойного Ольга Владимировна. Она явилась требовательно и шумно. Перед ней в помещенье вплыл ее голос. Подымаясь одна по лестнице, она с кем-то громко разговаривала, явно адресуясь к брату. Затем показалась она сама и, пройдя, как по мусору, мимо всех до братниной двери, всплеснула руками и остановилась. «Володя!» — крикнула она на весь дом. Прошло мгновенье. «Молчит! — закричала она того пуще. — Молчит. Не отвечает. Володя. Володя!! Какой ужас!»

Она стала падать. Ее подхватили и бросились приводить в чувство. Едва придя в себя, она жадно двинулась к телу и, сев в ногах, торопливо возобновила свой неутоленный диалог. Я разревелся, как мне давно хотелось.

Так не могло плакаться на месте происшествия, где огнестрельную свежесть факта быстро вытеснил стадный дух драмы. Там асфальтовый двор, как селитрой, вонял обожествленьем неизбежности, то есть тем фальшивым городским фатализмом, который зиждется на обезьяней подражательности и представляет жизнь цепью послушно отпечатляемых сенсаций. Там тоже рыдали, но оттого, что потрясенная глотка с животным медиумизмом воспроизводила судорогу жилых корпусов, пожарных лестниц, револьверной коробки и всего того, от чего тошнит отчаяньем и рвет убийством.

Сестра первою плакала по нем своей волей и выбором, как плачут по великому, и под ее слова плакалось ненасытимо широко, как под рев органа.

Она же не унималась. «Баню им! — негодовал собственный голос Маяковского, странно приспособленный для сестрина контральто. — Чтобы посмешнее. Хохотали. Вызывали. — А с ним вот что делалось. — Что же ты к н а м не пришел, Володя?» — навзрыд протянула она, но, тотчас овладев собой, порывисто пересела к нему ближе. «Помнишь, помнишь, Володичка?» — почти как живому вдруг напомнила она и стала декламировать:

И чувствую, «я» для меня мало́,
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Алло!
Кто говорит?! Мама?
Мама! Ваш сын прекрасно болен.
Мама! У него пожар сердца,
Скажите сестрам, Люде и Оле,
Ему уж некуда деться.

17

Когда я пришел туда вечером, он лежал уже в гробу. Лица, наполнявшие комнату днем, успели смениться другими. Было довольно тихо. Уже почти не плакали.

Вдруг внизу, под окном, мне вообразилась его жизнь, теперь уже начисто прошлая. Она пошла вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы, вроде Поварской. И первым на ней у самой стены стало наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть и взять за руку. В своей осязательной необычайности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами.

И тогда я с той же необязательностью подумал, что этот человек был, собственно, этому гражданству единственным гражданином. Остальные боролись, жертвовали жизнью и созидали или же терпели и недоумевали, но все равно были туземцами истекшей эпохи и, несмотря на разницу, родными по ней земляками. И только у этого новизна времен была климатически в крови. Весь он был странен странностями эпохи, наполовину еще неосуществленными. Я стал вспоминать черты его характера, его независимость, во многом совершенно особенную. Все они объяснялись навыком к состояньям, хотя и подразумевающимся нашим временем, но еще не вошедшим в свою злободневную силу. Он с детства был избалован будущим, которое далось ему довольно рано и, видимо, без большого труда.

1930

Л. Добычин

Город Эн


ТОР

Александру Павловичу Дроздову

1

Дождь моросил. Подолы у маман и Александры Львовны Лей были приподняты и в нескольких местах прикреплены к резинкам с пряжками, пришитым к резиновому поясу. Эти резинки назывались «паж». Блестели мокрые булыжники па мостовой и кирпичи на тротуарах. Капли падали с зонтов. На вывесках коричневые голые индейцы с перьями на голове курили. — Не оглядывайся, — говорила мне маман.

Тюремный за́мок, четырехэтажный, с башнями, был виден впереди. Там был престольный праздник богородицы скорбящих, и мы шли туда к обедне. Александра Львовна Лей морализировала, и маман, растроганная, соглашалась с ней.

— Нет, в самом деле, — говорили они, — трудно найти место, где бы этот праздник был так кстати, как в тюрьме.

Сморкаясь, нас обогнала́ внушительная дама в меховом воротнике и, поднеся к глазам пенсне, благожелательно взглянула на нас. Ее смуглое лицо было похоже на картинку «Чичиков». В воротах все остановились, чтобы расстегнуть «пажи», и дама-Чичиков еще раз посмотрела на нас. У нее в ушах висели серьги из коричневого камня с искорками. — Симпатичная, — сказала про нее маман.

Мы вошли в церковь и столпились у свечного ящика.

— На проскомидию, — отсчитывая мелочь, бормотали дамы. Отец Федор в золотом костюме с синими букетиками, кланяясь, кадил навстречу нам. Я был польщен, что он так мило встретил нас. За за́мком шла железная дорога, и гудки слышны были. В иконостасе я приметил богородицу. Она была не тощая и черная, а

кругленькая, и ее платок красиво раздувался позади нее. Она понравилась мне. С тех пор на нас смотрели арестанты. — Стой как следует, — велела мне маман.

Раздался топот, и, крестясь, явились ученицы. Учительница выстроила их. Она перекрестилась и, оправив сзади юбку, оглянулась на нее. Потом прищурилась, взглянула в нашу сторону и поклонилась. — Мадемуазель Горшкова, — пояснила Александра Львовна, покивав ей. Дама-Чичиков от времени до времени бросала на нас взгляды.

Вдруг тюремный сторож вынес аналой и кашлянул. Все стали ближе. Отец Федор вышел, чистя нос платком. Он приосанился и сказал проповедь на тему о скорбях.

— Не надо избегать их, — говорил он. — Бог нас посещает в них. Один святой не имел скорбей и горько плакал: «Бог забыл меня», — печалился он.

— Ах, как это верно, — удивлялись дамы, выйдя за ворота и опять принявшись за «пажи». Дождь капал понемногу. Мадемуазель Горшкова поравнялась с нами. Александра Львовна Лей представила ее нам. Ученицы окружили нас и, отгоняемые мадемуазель Горшковой, отбегали и опять подскакивали. Я негодовал на них.

Так мы стояли несколько минут. Посвистывали паровозы. Отец Федор взобрался на дрожки и, толкнув возницу в спину, укатил. Мы разговаривали. Александра Львовна Лей жестикулировала и бубнила басом. — Верно, верно, — соглашалась с ней маман и поколыхивала шляпой. Мадемуазель Горшкова куталась в боа из перьев, подымала брови и прищуривалась. Ее взгляд остановился на мне, и какое-то соображение мелькнуло на ее лице. Я был обеспокоен. Дама-Чичиков тем временем дошла до поворота, оглянулась и исчезла за углом.

Простившись с мадемуазель Горшковой, мы поговорили про нее. — Воспитанная, — похвалили ее мы и замолчали, выйдя на большую улицу. Колеса грохотали. Лавочники, стоя на порогах, зазывали внутрь. — Завернем сюда, — сказала вдруг маман, и мы вошли с ней в книжный магазин Л. Кусман. Там был полумрак, приятно пахло переплетами и глобусами. Томная Л. Кусман блеклыми глазами грустно оглядела нас. — Я редко вижу вас, — сказала она нежно. — Дайте мне «Священную историю», — попросила у нее маман. Все повернулись и взглянули на меня.

Л. Кусман показала на меня глазами, сунула в «Священную историю» картинку и, проворно завернув покупку, подала ее. — Рубль десять, — объявила она цену и потом сказала: — Для вас — рубль.

Картинка оказалась — «ангел». Весь покрытый лаком, он вдобавок был местами выпуклый. Маман наклеила его в столовой на обои. — Пусть следит, чтобы ты ел как следует, — сказала она. Сидя за едой, я всегда видел его. «Миленький», — с любовью думал я.

2

Отец ушел в присутствие, где принимают новобранцев. Неодетая маман присматривала за уборкой. Я взял книгу и читал, как Чичиков приехал в город Эн и всем понравился. Как заложили бричку и отправились к помещикам, и что там ели. Как Манилов полюбил его, и, стоя на крыльце, мечтал, что государь узнает об их дружбе и пожалует их генералами.

— Чем увлекаетесь? — спросила у меня маман. Она всегда так говорила вместо «что читаете?». — Зови Цецилию, — сказала она, — и иди гулять. — Цецилия, — закричал я, и она примчалась, низенькая. Доставая фартук, она слазила в свой сундучок, который назывался «скрынка». Проиграла музыка в замке, и показался Лев XIII. Он был наклеен изнутри на крышку.

День был солнечный, и улица сияла. Шоколадная овца, которая стояла на окне у булочника, лоснилась. Телеги грохотали. Разговаривая, мы должны были кричать, чтобы понять друг друга. Мы полюбовались дамой на окне салона для бритья и осмотрели религиозные предметы на окне Петра к-ца Митрофанова. Марш грянул. Приближалась рота, и оркестр играл, блистая. Капельмейстер Шмидт величественно взмахивал рукой в перчатке. Мадам Штраус в красном платье выбежала из колбасной и, блаженно улыбаясь, без конца кивала ему. Кутаясь в платок, Л. Кусман приоткрыла свою дверь.

Послышалось пронзительное пение, и показались похороны. Человек в рубахе с кружевом нес крест, ксендз выступал, надувшись. — Там, — произнесла Цецилия набожно и посмотрела кверху, — няньки и кухарки будут царствовать, а господа будут служить им. — Я не верил этому.

— Вот, кажется, хороший переулочек, — сказала мне Цецилия. Мы свернули, и костел стал виден. С красной крышей, он белел за ветвями. У его забора, полукругом отступавшего от улицы, сидели нищие. Цецилия воспользовалась случаем, и мы зашли туда. Там было уже пусто, но еще воняло богомольцами. Две каменные женщины стояли возле входа, и одна из них была похожа на Л. Кусман и драпировалась, как она. Мы помолились им и побродили, присмирев. Шаги звучали гулко. — Наша вера правильная, — хвасталась Цецилия, когда мы вышли. Я не соглашался с ней.

Через дорогу я увидел черненького мальчика в окне и подтолкнул Цецилию. Мы остановились и глядели на него. Вдруг он скосил глаза, засунул пальцы в углы рта и, оттянув их книзу, высунул язык. Я вскрикнул в ужасе. Цецилия закрыла мне лицо ладонью. — Плюнь, — велела она мне и закрестилась: — Езус, Марья. — Мы бежали.

— «Страшный мальчик», — озаглавил это происшествие отец. Маман с досадой посмотрела на него. Она любила, чтобы относились ко всему серьезно.

Александра Львовна Лей уже три дня не приходила к нам, и за обедом мы поговорили о ней. Мы решили, что она «на практике». Мне прибавляли киселя два раза, чтобы мои силы, пошатнувшиеся от испуга, поскорей восстановились. На стене передо мной был ангел от Л. Кусман. С пальмовою веткой он стоял на облаке. Звезда горела у него над головой.

Явился Пшиборовский, фельдшер. С волосами дыбом и широкими усами, он напоминал картинку «Ницше». Поднявшись, отец велел ему почистить инструменты и пошел из комнаты. — В объятия Морфея, — пояснил с почтительностью Пшиборовский, поклонившись ему вслед. — Располагайтесь здесь, — распорядилась, оставаясь за столом, маман. — Не сто́ит зажигать вторую лампу.

— Истинно, — ответил Пшиборовский.

Заблестели разные щипцы и ножницы. — Сегодня, — говорил он, чистя, — мне случилось быть в костеле. Проповедь была прекрасная. — И он рассказывал ее: как мы должны повиноваться, выполнять свои обязанности. — Это верно, — согласилась снисходительно маман и призадумалась. — Ведь бог один, — сказала она, — только веры разные. — Вот именно, — расчувствовался Пшиборовский. Он сиял.

Так, рассуждающими, нас застала Александра Львовна Лей. Мы были рады, разогрели для нее обед, расспрашивали, кто родился. В семь часов я был уложен и закрыл глаза. Тот страшный мальчик вдруг представился мне. Я вскочил. Вбежали дамы, взволновались и, пока я не уснул, сидели около меня и разговаривали тихо. — Нет, а Лейкин, — засыпая, слышал я. — Читали, как они в Париже заблудились, наняли извозчика и говорили ему адрес? — И они смеялись шепотом.

3

Снег лег на булыжники. Сделалось тихо. Цецилию мы выгнали. Она поносила нашу религию, и это стало известно маман.

Замо́к скрынки сыграл свою музыку, папа Лев показался еще раз — в ермолке и пелерине. Растрогавшись, я решил распроститься с Цецилией дружески и поднести ей хлеб-соль. Я посолил кусок хлеба и протянул его ей, но она оттолкнула его.

Фа́кторка Ка̀ган прислал нам новую няньку. Она была из униаток, и это всем нравилось. — Есть даже медаль, — говорили нам гости, — в честь уничтожения унии. — Рождество наступило. Маман улыбалась и ходила довольная. — Вспоминается детство, — твердила она.

Встречать Новый год ее звали к Белугиным. Завита́я и необыкновенно причесанная, она прямо стояла у зеркала. Две свечи освещали ее. Встав на стул, я застегивал у нее на спине крючки платья. Отец был уже в сюртуке. Он обрызгивал нас духами из пульвѐризатора. — Как светло на душе, — подошла к нему и, беря его за руку, сказала маман. — Отчего это? Уж не двести ли тысяч мы выиграли?

Раздеваемый нянькой, я думал о том, что нам делать с этим выигрышем. Мы могли бы купить се́бе бричку и покатить в город Эн. Там нас полюбили бы. Я подружился бы там с Фемисто́клюсом и Алкидом Маниловыми.

Утро было приятное. Приходили сторожа из присутствия, трубочисты и банщики и поздравляли нас. — Хорошо, хорошо, — говорили мы им и давали целковые. Почтальон принес ворох открыток и конвертов с визит-

ными карточками: оркестры из ангелов играли на скрипках, мужчины во фраках и дамы со шлейфами чокались, над именами и отчествами наших знакомых отпечатаны были короны.

Маман, улыбаясь, подсела ко мне. — Нынче ночью, — сказала она, — я познакомилась с дамой, у которой есть мальчик по имени Серж. Вы подружитесь. Завтра он будет у нас. — Она встала, посмотрела на градусник и послала нас с нянькой гулять.

Пахло снегом. Вороны кричали. Лошаденки извозчиков бежали не торопясь. С крыш покапывало.

— Вдруг это Серж? — говорили мы с нянькой о тех мальчиках, которые нравились нам. Толстый Штраус прокатил, в серой куртке и маленькой шляпе с зелененьким перышком. Он одной рукой правил, а другую держал у мадам Штраус на пояснице. В соборе звонили, и все направлялись в ту сторону — посмотреть на парад.

Потолкавшись в толпе, мы нашли себе место. Солдаты притоптывали. Полицейские на больших лошадях, наезжая, отодвигали народ. Колокола затрезвонили. Все встрепенулись. Нагнувшись, в дверях показались хоругви и выпрямились. Отслужили молебен. Парад начался. Кто-то щелкнул меня по затылку. В пальто с золочеными пуговицами, это был ученик. Он уже не смотрел на меня. Подняв голову, он следил за движением туч. Он напомнил мне нашего ангела (на обоях в столовой), и я умилился. «Голубчик», — подумал я.

Мы возвращались военной походкой под звуки удалявшейся музыки. Отец, разъезжавший по разным местам с поздравлениями, встретился нам. Он посадил меня в сани и подвез меня. Нянька бежала за нами.

Когда мы пришли, на диване в гостиной сидел визитер. Держась прямо, маман принимала его. Он вертел в руках пепельницу «Дрейфус читает журнал» и рассказывал, что в Петербурге появились каучуковые шины. — Идете, — сказал он, — и видите, как извозчичьи дрожки несутся бесшумно.

Обедая, мы пожалели, что Александра Львовна не с нами. Мы послали за ней Пшиборовского, но она оказалась, бедняжка, на практике.

Вечером прибыли гости, и мы рассказали им о рези-

новых шинах. — Успехи науки, — подивились они. Бородатые, как в «Священной истории», они сели за карты. Отец между ними казался молоденьким. — Пас, — объявляли мне. Один из них был «выходящей», и маман занимала его. — Я вчера познакомилась, — говорила она, — с инженершей Кармановой. Это очень приятная женщина. Недаром, собираясь к Белугиным, я полна была светлых предчувствий. Она завтра будет у нас. — И Серж тоже, — сказал я.

Час их прихода настал наконец. Зазвенел колокольчик. Я выбежал. Лампа горела в передней. Маман восклицала уже. Перед ней улыбались, сморкаясь и освобождаясь от шуб, дама-Чичиков и «Страшный мальчик».

4

Ангел в столовой понравился им. Инженерша деловито осмотрела его сквозь пенсне и сказала, что он заграничный. Я рад был. Она благодушно поглядывала. На ней была кофта из синего бархата с блестками, брошь «собрание любви» и кушак с пряжкой «лира». — Вы ездите в крепость? — спросила она. — По субботам там бывают акафисты.

Серж был в зеленом костюме. Он взял меня за руку и, отведя, показал, что застежка штанов у него помещается спе́реди.

— Как у больших, — удивился я. Мы поболтали с ним. — Серж, — оглянувшись, спросил я его. — Это ты один раз состроил мне страшную рожу? — Он побожился, что нет. Я был тронут.

Отец вышел к чаю, когда гости о́тбыли. Страшно довольная, маман напевала и с хитреньким видом посмеивалась. — Знаешь, — сказала она, — мы условились с ней перечесть вместе Лейкина.

Я тоже был счастлив. Оставив их, я потихоньку убрался в гостиную. Там я притих возле печки и слышал, как сыплется хвоя. Фонарь освещал сквозь окно ветку елки. Серебряный дождик блестел на ней. — Серж, Серж, ах, Серж, — повторял я.

Потом мы с маман побывали у них. Целовались в передней. Инженерша представила нам свою дочь, гимна-

зистку Софи Самоквасову. — Очень приятно, — сказала Софи. Взяв друг друга за талию, дамы прошли в инженершину комнату, называвшуюся «будуар». Я пожал Сержу руку: — Мы с тобой — как Манилов и Чичиков. — Он не читал про них. Я рассказал ему, как они подружились и как им хотелось жить вместе и вдвоем заниматься науками. Серж открыл шкаф и достал свои книги. Мы стали рассматривать их. — Вот Дон-Кихот, — показал мне Серж, — он был дурак. — Перед чаем Софи Самоквасова потанцевала нам с шарфом. — Прекрасно, — рукоплеща, говорила маман. — Серж хороший? — спросила она, когда мы возвращались. — Да, он воспитанный мальчик, — ответил я ей.

К Александре же Львовне, когда она к нам забежала, мы отнеслись теперь без интереса. Она обещала достать нам альбом с образцами сарпинок саратовской фабрики. Мы рассказали ей о нашей дружбе с Кармановыми.

Через несколько дней мы встретились с ними на водосвятии. Солнце уже пригревало немного. Мы жмурились, стоя на дамбе. Внизу шевелились хоругви. Пестрелись туалеты священников. Елки темнелись. Когда застреляли из пушек, Софи Самоквасова прибежала откудато и притащила с собой инженера Карманова. Ростом он был ниже дам. — Очень рад, — воскликнул он, раскланиваясь. Он был в форменной шапке. На пуговицах у него были якори и топоры. Борода у него была всклочена и казалась нечесаной. — Водосвятие прошло очень мило, — сказал он и из-за пенсне подмигнул мне. Прощаясь, он пригласил меня на железнодорожную елку.

Расставшись с ним, мы впятером прогулялись по дамбе по направлению к крепости. Виден был ее белый собор с двумя башнями. Узенькие, они издали походили на свечку. — Говорят, это бывший костел, — рассказала Софи Самоквасова. Дамы, увлекшись беседой на религиозные темы, отстали. Я разговаривал с Сержем, хихикая. Мимо, с солдатами на козлах, промчалась какая-то барыня. Мы посмеялись, взглянув друг на друга, и Серж научил меня песенке:

Мадам Фу-Фу —
Голова в пуху,
Одета по моде,
А голова-то в комоде.

Отец в этот день был в уезде. Маман за обедом молчала. Приятно задумавшись, она иногда улыбалась.

— Дни стали заметно длиннее, — сказала она.

Прикатил человек от Кармановых. Мы расспросили его. Оказалось, что его зовут Людвиг Чаплинский и что он служит в депо. Он отвез меня. Серж с инженером меня дожидались.

На том же извозчике отправились мы в театр. Военный оркестр играл там под управлением капельмейстера Шмидта. На елке горели разноцветные лампочки. Инженер сообщил нам, что они — электрические. Нам поднесли по игрушечной лошади, и мы послали Чаплинского отнести их домой.

Серж бывал уже здесь. Он все знал. Он подвел меня к сцене и разъяснил, что картина на занавесе называется «Шильонский за́мок». — Послушай, — сказал он мне вдруг, — это я тогда состроил тебе страшную рожу.

Потом он поклялся, что это не он был.

5

Кармановы перебрались в дом Янека и заняли квартиру в десять комнат. Самая больша́я называлась «зал». На масленице в нем предполагалось дать спектакль с настоящим занавесом из театра. По субботам приходили ученицы и ученики и репетировали. Я и Серж однажды подсмотрели чуточку. Софи стояла на коленях перед Колей Либерманом и про́тягивала к нему руки. — Александр, — говорила она трогательно, — о, прости меня.

Белугиных перевели в Митаву. Уезжая, они пе́редали нам свою квартиру в доме Янека. Теперь мы могли видеться с Кармановыми каждый день. Они прислали нам Чаплинского — помочь при переезде. К огорчению маман, отец не принял его. Пшиборовский, упаковывающий вещи, посочувствовал ей.

Ангел, поднесенный мне Л. Кусман, не отклеивался, и пришлось его оставить. Очень жалко было. Я поцеловал его. К нам стали ходить гости, поздравлять нас с новосельем и дарить нам пироги и крендели. Маман явил-

ся ночью господин, который умер в этом доме. — Можете себе представить, — говорила она. По совету Александры Львовны Лей мы пригласили отца Федора. Он отслужил молебен. Александра Львовна Лей и инженерша с Сержем присутствовали. Желтый столик был накрыт салфеткой. На него была поставлена икона и вода в салатнике. Попев, как в церкви, отец Федор обошел все комнаты и окропил их. Мы сопровождали его. Был предложен кофе.

Ка́ган, факторка, опять искала для нас няньку. Униатка нагрубила, и мамая отправила ее. Взволнованная, она в тот вечер не читала с инженершей Лейкина, а разговаривала с ней о слугах. Забежала Александра Львовна Лей. — Находка, — закричала она, что-то разворачивая. Мы увидели картинку: Иисус Христос в венке с шипами. — Замечательно, — одобрили мы. Дело в том, сказала Александра Львовна, что при выходе из дома она встретила портниху, панну Пле́пис. Каждый раз, когда она ее увидит, происходит что-нибудь хорошее. Тут мы поговорили о счастливых встречах.

Масленица приближалась. Пробные блины пеклись уже. Мы с Сержем сочинили пьесу и пошли просить Софи быть зрительницей. У нее была ее приятельница Эльза Будрих. Они строили друг другу глазки и выделывали па.

Пойдем, пойдем, ангел милый. —

напевали они тоненько, —

Польку танцовать со мной.
Слышишь, слышишь звуки польки,
Звуки польки неземной?

Мы пригласили их. На сцене была бричка. Лошади бежали. Селифан хлестал их. Мы молчали. Нас ждала Маниловка и в ней — Алкид и Фемистоклюс, стоя на крыльце и взяв друг друга за руки.

Внезапно инженерша появилась в комнате для зрителей. — Софи, — сказала она, подходя к девицам, — там Иван Фомич. Он сделал предложение. — Мне было жаль, что наше представление расстроилось. За окнами снег сыпался. Видна была труба торговой бани Сенченкова. Из нее шел дым.

Иван Фомич служил инспектором реального училища. Мы стали посещать училищную церковь. Впереди

ученики стояли скромно. На средипе бородатые учителя в мундирах с университетскими значками и прическах ежиком крестились. Возвращаясь, дамы лестно отзывались о них и хвалили их за набожность. Серж полюбил играть в «училище», а инженерша стала сообщать училищные новости. Так мы узнали об ученике шестого класса Васе Стрижкине. Во время физики он закурил сигарку и с согласия родителей был высечен.

Зима кончалась. Полицмейстер Ломов уже сделал свой последний выезд на санях и отдал приказание убрать снег. Опять загрохотали дрожки. Наши матери говели и водили нас с собой. На потолке в соборе было небо с облачками и со звездами. Мне нравилось рассматривать его.

Раз как-то инженерша с Сержем завернули к нам. Она услышала об очень выгодных конфетах — «карамель Мерси», имеющихся в лавке Крюкова за дамбой. Мы отправились туда. Светило солнце. Из торговой бани выходили люди с красными физиономиями. Бабы с квасом останавливали их. Аптекарская лавка была тут же. Мыло и мочалки красовались в ней. Мы встретили ученика, который щелкнул меня по затылку на параде в Новый год. Он шел, посвистывая.

Карамель «Мерси» понравилась нам. На ее бумажках были две руки, которые здоровались. Она была невелика, и в фунте ее было много. Пока Серж и дамы наблюдали за развешиванием, крюковская дочь отозвала́ меня в сторонку и дала́ мне пряничную женщину.

6

Уже просохло. Уже дворник сгреб из-под деревьев прошлогодний лист и сжег. Уже Л. Кусман выставила у себя в окне пасхальные открытки.

Раз после обеда я прогуливался по двору. Серж вышел. — Завтра мы поедем в крепость, — объявил он,— и вы с нами. — Оказалось, инженерша собрала́сь туда молиться о покойном Самоквасове.

— Бом, — начали звонить в соборе. Мы перекрестились. Пфердхен подошел со свистком к окну и свистнул. Его дети побежали к дому. — Киндер, — покричали мы им вслед, — тэй тринкен, — и потом задумались, при-

слушиваясь к звону. Мы поговорили о тех глупостях, которые рассказывают про больших. Мы сомневались, чтобы господа и барыни проделывали это. Завернул шарманщик, и веселенькая музыка закувыркалась в воздухе. Она расшевелила нас. — Пойдем к подвальным, — предложил мне Серж.

Мы ощупью спустились и, ведя рукой по стенке, отыскали двери. У подвальных воняло нищими. У них на окнах в жестяных коробочках цвела герань. В углу с картинками, как в скрынке у Цецилии, улыбался с узенькими плечиками папа Лев. Подвальные проснулись и смотрели на нас с лавки. — Ваши дети не дают проходу, — как всегда, пожаловались мы. — Мы им покажем, — как всегда, сказали нам подвальные.

Серж, инженерша и Софи зашли за нами утром. Мы послали Пшиборовского за дрожками. Он усадил нас и, любуясь нами, кланялся нам вслед.

Денек был серенький. Колокола звонили. Приодевшиеся немки под руку с мужьями торопились в кирку, и у них под мышкой золоченые обрезы псалтырей поблескивали.

Загремев, мы поскакали по булыжникам. Потом пролетка поднялась на дамбу и загрохотала тише. С высоты нам было видно, как из вытащенных во дворы матрацев выколачивали пыль. Река текла широ́ко. — Пробуждается при́рода, — говорила поэтически Софи, и дамы соглашались.

Показалась крепость. Над ее деревьями кричали галки. По валам бродили лошади. Во рвах вода блестела. Над водой видны были окошечки с решетками. Мы всматривались в них — не выглянет ли кто-нибудь оттуда. На мостах колеса переставали громыхать. Внезапно становилось тихо, и копыта щелкали. Рассказы про резиновые шины вспоминались нам.

Сойдя с извозчика, мы постояли среди площади и подивились красоте собора. Перед ним был скверик, огороженный цепями. Эти цепи прикреплялись к небольшим поставленным вверх дулом пушечкам и свешивались между ними.

На скамейке я увидел новогоднего ученика (того, что меня щелкнул). Он сидел, поглаживая вербовую веточку с барашками. Софи хихикнула. — Вот, Вася Стрижкин, — показала она. — Вася, — шепотом сказал я. Он взглянул

на нас. Я зазевался и, отстав от дам, споткнулся и нашел пятак.

На следующий день, играя на гитаре, к нам во двор явился Янкель, панорамщик. Тут я о́тдал свой пятак, и вместе с панорамой меня накрыли чем-то черным, словно я фотограф. — Ай, цвай, драй, — сказал снаружи Янкель. Я увидел все, о чем был так наслышан, — и «Изгнание из рая», и «Семейство Александра III». Вокруг стояли люди и завидовали мне.

В субботу перед пасхой, когда куличи были уже в духовке и пеклись, маман закрылась со мной в спальне и, усевшись на кровать, читала мне Евангелие. «Любимый ученик» в особенности интересовал меня. Я представлял его себе в пальтишке с золотыми пуговицами, посвистывающим и с вербочкой в руке.

Вечерний почтальон уже принес нам несколько открыток и визитных карточек. — «Пан христус з мартвэх вста, — писал нам Пшиборовский, — алелюя, алелюя, алелюя».

Я проснулся среди ночи, когда наши возвратились от заутрени. Мне разрешили встать. Торжественные, мы поели. Александра Львовна Лей участвовала.

Утро было солнечное, с маленькими облачками, как на той открытке с зайчиком, которую нам неожиданно прислала мадемуазель Горшкова. В окна прилетал трезвон. Гремя пролетками, подкатывали гости и, коля нас бородами, поздравляли нас. Маман сияла. — Закусите,— говорила она им. С руками за спиной, отец похаживал.— Пан христус з мартвэх вста, — довольный, напевал он. Отец Федор прикатил и, затянув молитву, окропил еду.

После обеда к нам пришли Кондратьевы с детьми. Андрей был мне ровесник. У него был белый бант с зелеными горошинами и прическа дыбом, как у Ницше и у Пшиборовского. Мне захотелось подружиться с ним, но верность Сержу удержала меня.

7

Я видел Янека. Цвели каштаны. Солнце было низко. В розовое и лиловое были окрашены барашковые облачка. В цилиндре, низенький, с седой бородкой треугольником, он шел, распоряжаясь. Управляющий Канто́рек

провожал его. Я рассказал маман об этой встрече, и она задумалась. — Я никогда не видела его, — сказала она, а отец пожал плечами. Он не любил людей, которые были богаче нас. Он и с Кармановым, хотя маман и приставала постоянно, не знакомился.

Кондратьевы зашли проститься с нами и переселились в ла́гери. Они нас звали, и однажды утром мы, принарядясь, послали за извозчиком, уселись и отправились туда. Мы миновали баню, крюковскую лавку и галантерейную торговлю Тэкли Андрушкевич. У нее в окошечке висели свечи, привязанные за фитиль, и елочная ватная старушка с клюквой. Мостовая кончилась. Приятно стало. За плетнями огородники работали среди навоза. Жаворонки пели. Впереди был виден лес, воинственная музыка неслась оттуда. — Это ла́гери, — сказала нам маман.

Барак Кондратьевых стоял у въезда. Золотой зеркальный шар блестел на столбике. Денщик Рахматулла́ стирал.

Кондратьева, вскочив с качалки, подбежала к нам. Мы похвалили садик и взошли с ней на верандочку. Там я увидел книгу с надписями на полях. «Как для кого!» — было написано химическим карандашом и смочено. «Ого!» — «Так говорил, — прочла маман заглавие, — Заратустра». — Это муж читает и свои заметки делает, — сказала нам Кондратьева. Пришел Андрей и показал мне змея, на котором был наклеен Эдуард VII в шотландской юбочке.

Мы отправились побродить и осмотрели ла́гери. Нам встретился отец Андрея. Длинный, с маленьким лицом и узким туловищем, он сидел на дрожках и драпировался в брошенную на одно плечо шинель. — К больному в город, — крикнул он нам. Мы остановились, чтобы помахать ему. — Когда дерут солдат, то он присутствует, — сказал Андрей. Оркестр, приближаясь, играл марш. Не держась за руль, кадеты проносились на велосипедах. Разъездные кухни дребезжали и распространяли запах щей.

Вдруг набежала тучка, брызнул дождь и застучал по лопухам. Мы пережидали под грибом для часового. Я прочел афишу на столбе гриба: разнохарактерный дивертисмент, оркестр, водевиль «Денщик подвел». Я рассказал Андрею, как один раз был в театре, как на елке, разноцветное, горело электричество и как на занавесе

был изображен шильонский за́мок. Рассказал про дружбу с Сержем, про Манилова и Чичикова и про то, как до сих пор не знаю, кто был «Страшный мальчик» — Серж или не Серж.

— И не узнаешь никогда, — сказал Андрей. — Да,— согласился я с ним, — да! — Так, разговаривая, мы спустились на́ берег. Река была коричневая. Плот, скрипя веслом, плыл. За рекой распаханные невысокие холмы тянулись. Коля Либерман купался. Он стоял, суровый, подставляя себя солнцу, и я вспомнил, как Софи, коленопреклоненная, взирала на него. — О, Александр, — восклицала она, каясь и ломая руки, — о, прости меня.— Какой он толстомясый и какой косматый с головы до ног, она не видела. — Да, да, — ответил мне Андрей на это, — да! — Глубокомысленные, мы молчали. Марши раздавались сзади. Рыбы всплескивались иногда. С вальком и ворохом белья, как прачка, на мостки пришел Рахматулла́.

Мне предстояло разлучиться с Сержем. С инженершей и с Софи он уезжал на лето в Самоквасово.

День их отъезда наступил. Я и маман явились на вокзал с конфетами. Иван Фомич, Чаплинский, инженер и Эльза Будрих провожали. Окруженную узлами, в стороне от путешественников мы увидели портниху панну Пле́пис. Она ехала с Кармановыми, чтобы шить прида́ное. Она стояла в красной шляпе, низенькая, и поглядывала. Инженер распорядился, чтобы нам открыли «императорские комнаты». — Здесь очень мило, — похвалил он, сев на золоченый стул. Нам принесли шампанское, и инженерша омрачилась. — Это уже лишнее, — сказала она. Все-таки мы выпили и крикнули «ура». Софи была довольна. — Как в романе, — облизнувшись и посоловев, сравнила она. Она окончила гимназию и уже оделась дамой. В юбке до земли, в корсете, в шляпе с перьями и в рукавах шарами, она стала неуклюжей и внушительною.

Возвращались мы расслабленные. — Все-таки, — откинувшись на спинку дрог и нежно улыбаясь, говорила мне маман, — она подскуповата. — Я дремал. Я думал о портнихе, панне Пле́пис, и о счастье, которое приносят Александре Львовне встречи с ней. Я вспомнил свои встречи с Васей, пятак, который нашел в крепости, и пряник, который мне подарила крюковская дочь.

Лето мы провели в деревне на курляндском берегу. Из окон нам была видна река с паромом и местечко за рекой. Костел стоял на горке. В стороне высовывался из-за зелени флагшток без флага. Это был «палац».

К нам приезжала иногда, оставив у себя на двери адрес заместительницы, Александра Львовна Лей. Парадная, в костюме из саратовской сарпинки, в шляпе «амазонка» и в браслете «цепь», с брелоками, она дышала шумно. — Чтобы легкие проветривались лучше, — поясняла она нам. Маман рассказывала ей, как граф застал в своем лесу двух баб, зашедших за грибами, и избил их, и она негодовала.

Я один раз видел его. С нянькой я отправился в местечко за баранками. К парому подплывали и хватались за канат купальщики. Поблескивая лаком, экипаж четвериком спустился к берегу. На кучере была двухъярусная пелерина и серебряные пуговицы. Граф курил. — Они католики, — сказала нянька и, взволнованная, поспешила завернуть в костел. Я тоже был растроган.

Сенокос уже прошел. Аптекаршу фон Бонин посетила мадам Штраус, и, пока она гостила, капельмейстер Шмидт частенько наезжал. Летело время. Ужинать садились уже с лампой. Наконец явился Пшиборовский, и мы стали упаковываться.

Подкатил извозчик и сказал «бонжур». Он сообщил, что седоки — военные учили его этому. Мы тронулись. Хозяева стояли и смотрели вслед. Приятно и печально было. Колокольчик звякал. — До свидания, крест на повороте, — говорили мы, — прощайте, аист.

Вечером у нас уже сидела инженерша, и маман рассказывала ей, как перед сном сбега́ла через огород в одной ротонде на́ реку. Она купалась, а кухарка с простыней, готовая к услугам и впотьмах чуть видная, стояла у воды.

Опять к нам стали ходить гости. Дамы интересовались графом и расспрашивали про его наружность. Господа играли в винт. Седобородые, они беседовали про изобретенную в Соединенных Штатах говорящую машину и про то, что электрическое освещение должно вредить глазам.

Маман посовещалась кое с кем из них. Она решила,

что мне надо начинать писать. Она любила посоветоваться. Мы зашли к Л. Кусман и купили у нее тетрадей. Как всегда, Л. Кусман куталась и ежилась, унылая и томная. — Проходит лето, — говорила она нам, — а ты стоишь и смотришь на него из-за прилавка. — Это верно, — отвечала ей маман. Мне было грустно, и, придя домой, я отпросился в сад, чтобы, уединясь, подумать о писании, предстоявшем мне. Желтели уже листья. Небо было блекло. Няньки с деревенскими прическами и в темным кофтах, толстые, сидели под каштанами и тоненькими голосками пели хором:

Несчастное творенье
Орловский кондуктóр.
Чернила его именье,
А тормоз его дом.

Серж выбежал, увидев меня из окна. Он рассказал мне, что из Витебска приедет архиерей и после службы будет раздавать кресты с брильянтиками. — Если мы получим их, — сказал я, — то мы сможем, Серж, в знак нашей дружбы поменяться ими.

Скоро он приехал и служил в соборе. Мы присутствовали. Одеваясь, он, прежде чем надеть какую-нибудь вещь, прикладывался к ней. Кресты он рóздал жестяные, и мы óтдали их нищим.

У Кондратьевых был кто-то именинник. Толчея была и бестолочь. Я улизнул в «приемную». Там пахло йодоформом. «Панорама Ревеля» и «Заратустра» с надписями на полях лежали на столе. Андрей нашел меня там. Мы поговорили. Мне приятно было с ним, и, так как у меня уже был друг, я сомневался, позволительно ли это.

Александра Львовна Лей, когда она теперь бывала у нас, то всегда расспрашивала нас о состоявшемся недавно бракосочетании Софи. — Сентябрь, — озабоченная, звякая брелоками браслета, начинала она счет по пальцам, улыбалась и задумывалась. — Интересно, интересно, — говорила она нам.

Раз я писал после обеда. Солнце освещало сад. Окно было открыто. Пфердхенские голоса слышны были. «Кафтаны, — списывал я с прописи, — зелёны». — Брось, — сказал отец. Он собрался к больному и позвал меня с собой. Был теплый вечер. На мосту уже горело электричество. Попыхивая, маневрировал внизу

товарный поезд, мастерские, где начальствовал Карманов, темные от копоти, толпились. На горе́ стояла кирка с петухом на колокольне. Здесь кончалась дамба и переходила в улицу.

Мы возвращались в сумерки. Уже показывались звезды, и извозчики уже позажигали фонари у ко́зел. Вдруг заслышался какой-то незнакомый звук. Остановясь, мы обернулись. Мимо нас бесшумно покатились дрожки. Их колеса не гремели, и одни копыта щелкали. Мы посмотрели друг на друга и послушали еще. — Резиновые шины, — наконец заговорили мы.

9

Этой осенью заразился на вскрытии и умер отец. До его выноса в церковь наша парадная дверь была о́тперта, и всем было можно входить к нам. Подвальные перебывали по множеству раз. Вместо того чтобы гнать их, кухарка и нянька выбегали к ним и, окружив себя ими, стояли и сообщали им о нас всякие сведения.

На отпевании была теснота, и любезная дама из Витебска, специально прибывшая на погребение, взяла в руку свой шлейф, отвела меня в сторону и поместилась со мной у распятия. Иоанн у креста, миловидный, напомнил мне Васю. Растроганный, я засмотрелся на раны Иисуса Христа и подумал, что и Вася страдал. Отец Федор сказал в этот день интересную проповедь: он обращался к маман, называл ее, точно в гостях, по имени отчеству и говорил маман «ты». — Бог послал тебе скорбь, — говорил он, — и в ней посетил тебя. Был святой, не имевший скорбей, и он плакал об этом.

Вечером, когда о́тбыли последние гости и с нами осталась только дама из Витебска и стала снимать с себя платье со шлейфом и волосы, мы увидели, как велика теперь для нас эта квартира.

Маман подыскала другую, неподалеку от кирки, и мы перешли туда. Наш новый дом был деревянный, с мезонином и наружными ставнями. Через дорогу над дверью висел медный крендель, и в окошке был выставлен белый костел со столбами и статуями, из которого, очень нарядная, выходила чета новобрачных. Я вызвался сбегать за булками, и приказчица мне рассказала, что все это — сахарное.

Распаковываясь, мы пожалели, что у нас больше нет Пшиборовского, и маман, отвернувшись, всплакнула. Когда уже было темно, в мастерских загудели гудки, и мы услышали, как мимо окон по улице стали бежать мастеровые. Маман поднялась и захлопнула форточку, потому что от них несло в дом машинным маслом и копотью.

Няньку с кухаркой мы скоро выгнали, и вместо них поступила к нам рекомендованная фа́кторкой Ка́ган Розалия. Она часто пела и при этом всегда раскрывала молитвенник, хотя и не умела читать.

Отправляясь на кладбище, мы посылали ее за извозчиком, и она доезжала на нем от стоянки до дома. На кладбище мы приезжали обыкновенно под ве́чер, и там было тихо, и мы говорили, что чувствуется, что скоро будет зима.

В «монументальной И. Ступель» маман заказала решетку и памятник. Там на стене я заметил картинку, похожую на краснощекенькую богородицу тюремной церкви. «Мадонна, — напечатано было под ней, — святого Сикста».

Карманов устроил маман на телеграф ученицей. Она уходила, надев свою черную шляпу с хвостом, я писал, и Розалия, как взрослому, подавала мне чай.

После праздников мне предстояло начать готовиться в приготовительный класс. Маман побывала со мной у Горшковой и договорилась. Горшкова жила́ при училище. В красном капоте, она отворила нам. Стены передней были уставлены вешалками. На обоях отпечатаны были па́годы с многоэтажными крышами. — Мы к вам по делу, — сказала маман, и она приняла нас в гостиной. Я прямо сидел на диванчике. В окна был виден закат, и я думал, что, должно быть, это и есть цвет наваринского пламени с дымом.

Прошло рождество. У Кондратьевых я получил картонаж, изображающий Адмиралтейство. Он нравился мне. Оставаясь один, я смотрел на него, и прекрасные здания города Эн представлялись мне.

Дама из Витебска в длинном письме сообщила нам, что́ она делала после того, как была у нас. — «Все вспоминаю, — писала она между прочим, — веночек, который тогда возложила на гроб инженерша Карманова». — А, — улыбнувшись, сказала маман.

В Новый год падал снег. Визитеры раскатывали. Я по-

бродил возле кирки, и сквозь стены ее мне было слышно, как внутри играет орган.

Почтальон перестал приносить нам «Русские ведомости» и начал носить «Биржевые». Маман просмотрела тираж, но пока мы еще ничего не выиграли. Ей приходилось продолжать посещать телеграф. Через несколько дней она показала мне, как надо связывать тетради и книжки, и повела меня. — Все-таки, — говорила она по дороге, — день стал заметно длинней. — У крыльца мы расстались. Я дернул звонок. Сторожиха впустила меня. У Горшковой я увидел девчонку Синицыну в бусах и сторожихина сына. Горшкова учила их. — «Всуе», — говорила она им, — это значит «напрасно». — Она усадила меня, и мы стали писать.

10

Ковер с испанкой и испанцами, играющими на гитарах, и голубенькая туфля для часов, оклеенная раковинками, висели над кроватью. Мадемуазель Горшкова иногда ложилась и закуривала, томная. — «Тюленьи кожи, — диктовала она и пускала дым колечками, — идут на ранцы». — Сторожихин Осип скрипел грифелем. Чтобы не изводить тетрадей, он писал на грифельной доске. Синицына роняла на свою бумагу кляксы и, нагнувшись, слизывала их. Входила сторожиха, зажигала лампу, и ее картонный абажур бросал на наши лица тень. Тогда, придвинувшись ко мне со стулом, мадемуазель Горшкова под прикрытием стола хватала мою руку и не отпускала ее.

Иногда, идя учиться, я встречался с Пфердхенами. В шубах с пелеринами, они шагали в ногу. Один раз я видел Пшиборовского. Он издали заметил меня и свернул в какую-то калитку. Когда я прошел ее, он вышел.

Вася Стрижкин тоже однажды встретился мне. Я подумал, что теперь случится что-нибудь хорошее. И правда, в этот вечер мне удалось чистописание, и мадемуазель Горшкова на следующий день поставила мне за него пятерку.

Александра Львовна Лей остановила меня раз на улице. — Великопостные, — взглянув на небеса, сказала она басом, — звезды, — и потом спросила у меня, когда у нас бывает инженерша.

Уже таял снег. Петух и куры на дворе ходили с красными гребнями и рычали по-весеннему. В день именин я получил письмо из Витебска. Пришли Кармановы, и Александра Львовна принялась расспрашивать о самочувствии Софи. — Да вы зайдите к ней, — сказала инженерша. Прибыли Кондратьевы. Андрей вместо «с днем ангела» поздравил меня «с днем святого». — Ангелы совсем другое, — пояснил он. Дамы недовольны были. — Не тебе судить об этом, — стали говорить они. Карманова негодовала. — За такие штуки надо драть и солью посыпать, — сказала она после.

Первого апреля мы были свободны и отправились к ней. Было весело идти по улицам. — У вас на голове червяк, — обманывали друг друга люди. Перешептываясь о Софи и Александре Львовне Лей, таинственные, дамы уединились в «будуаре» и отпустили меня и Сержа в сад. Там, как и прежде, под каштанами сидели няньки. Со двора подсматривали сквозь забор подвальные. — Какие дураки, — поговорили мы о них. Вдруг пфердхенская Эдит прибежала запыхавшаяся. — Господа, — кричала она и жестикулировала. — Карла будут бить. Кто хочет слушать? Я открыла форточку. — Мы устремились вслед за ней. Навстречу нам шла от калитки стройненькая девочка и с удивлением посматривала. Чем-то она напоминала мне богородицу тюремной церкви и монументальной мастерской И. Ступель. Приходящая француженка мадам Сурир сопровождала ее. — Кто это? — спросил я на бегу у Сержа. — Тусенька Спу, — ответил он.

Когда я шел с мамап домой, уже темно было. На небе, как на потолке в соборе, были облачка и звезды. Коля Либерман попался нам на виадуке. Он стоял, суровый, глядя на огни внизу, и Тусенька Спу представилась мне — на коленях, горестно взирающая на меня и восклицающая: — Александр, о, прости меня.

Я скоро был представлен ей. Чаплинский раз после обеда постучался к нам. Он сообщил нам, что у Софи родился мальчик. Воодушевленные, мы наскоро оделись и послали за извозчиком.

Опять маман сидела с инженершей в будуаре, а меня и Сержа отослали в сад. Как и тогда, в сопровождении мадам явилась Тусенька. Серж поклонился ей. Она кивнула, покраснев. Тень ветки с лопнувшими почками упала на нее. Я посмотрел на Сержа. — Это сын одной телеграфистки, — рекомендовал он меня.

В день перед экзаменами мадемуазель Горшкова рассказала, как уже при первой встрече с нами она вдруг почувствовала, что я буду приходить к ней. Поэтическое выражение появилось на ее лице. Она сказала, что ей будет скучно без меня. — Пойдемте в сад, — звала́ она меня, спровадив Синицыну и Осипа. — Смотрите, яблони цветут. — Нет, мне пора, спасибо, — отвечал я. Она вышла проводить меня. С угла я оглянулся, и она еще стояла на крылечке и пускала дым колечками, внушительная и печальная.

Маман была дежурная. Розалия подала́ мне чай. Трепещущий, я вышел и отправился держать экзамен. Солнце уже жгло. Шурша, носилась пыль. Мороженщики в фартуках стояли на углах. В дверях колбасной я увидел мадам Штраус. Капельмейстер Шмидт тихонько разговаривал с ней. Золоченый окорок, сияя, осенял их. Вася Стрижкин, с веточкой сирени за ухом, остановясь, смотрел на них. Я помолился ему. — Васенька, — сказал я и перекрестился незаметно, — помоги мне.

11

Штабс-капитанша Чигильдеева жила над нами в мезонине, и в конце зимы мы познакомились с ней, чтобы ездить на одном извозчике на кладбище. Когда настало лето, мы сошлись с ней ближе. По утрам она спускалась в садик. Постояв над клумбочкой, она усаживалась на складную палку-стул и подвигалась с нею, когда перемещалась тень. Костлявая, в коричневом капоте с желтыми цветочками и желтым рюшем у воротника, она была похожа на одну картинку с надписью «Все в прошлом». — Что ты там читаешь? — спрашивала иногда она, и я показывал ей.

— Это книги для больших, — сказала она мне однажды, поднялась к себе наверх и принесла мне книгу детскую. — «Любезность за любезность» — называлась эта книга в переплете с золотом. На ней было написано, что она выдана в награду за успехи ученице, перешедшей в третий класс. Родители Сусанны были знатны, говорилось в ней. Стояла хорошая погода, и они устроили пикник. Дочь городского головы Елизавета тоже, хотя и не была дворянкою, была приглашена. Она повеселилась там. Когда же в этот город собралась императрица, голова похлопотал, чтобы Сусанну уполномочили произнести приветствие и поднести цветы.

Дни проходили друг за другом, однообразные. Розалия от нас ушла. — Муштруете уж очень, — заявила она нам. Мы рассердились на нее за это и при расчете удержали с нее за подаренные ей на пасху башмаки. После нее к нам нанялась Евгения, православная. Она была подлиза.

Лес, который начинался за Вилейской улицей, огородили. Это было близко от нас, и нам было слышно, как с утра до вечера стучат в нем топоры. Маман узнала от кого-то, что там будет выставка. Мы очень интересовались ею, и когда она открылась, мы отправились туда.

Послеобеденное солнце пригревало нас. На краю неба облачко в виде селедки неподвижно было. Чигильдеева обмахивалась веером. Маман была без шляпы. Приодевшиеся люди обгоняли нас. Помещик прокатил на дрожках, соскочил у выставки, оборотился, сказал «прошем» и ссадил помещицу в митенках и с лорнеткой. На щите над входом всадник мчался. Он был в шлеме и кольчуге. Музыка играла марш.

Мы осмотрели скот, мешки с мукой и птицу, экспонаты графа Плятер-Зиберга и экспонаты графини Анны Броэль-Плятер, завернули в павильон с религиозными предметами и выбрали себе на память по иконке. Выйдя из него, мы постояли у пруда с фонтанчиком и ивой. Ее листья поредели уже. — Осень, осень близко, — покачивали головами мы. Вдруг колокольчик зазвенел, и на сарае, из дверей которого кричали «поспешите видеть», загорелась надпись из цветных огней: «Живая фотография». — Туда были отдельные билеты, мы посовещались и купили их.

Внутри стояли стулья, полотно висело перед нами, и, когда все сели, свет погас, рояль и скрипка заиграли, и мы увидели «Юдифь и Олоферн», историческую драму в красках. Пораженные, мы посмотрели друг на друга. Люди, нарисованные на картине, двигались, и ветки нарисованных деревьев шевелились.

Утром, когда я расположился писать Сержу про Юдифь, вошла Евгения и подала́ мне записку, свернутую в трубочку. «Как вам понравилась живая фотография? — было написано на ней. — Я сидела сзади вас. Позвольте мне с вами познакомиться. С.».

Составительница этого письма ждала́ ответа, сидя на скамейке перед домом, и, когда я вышел за воро́та,

встала. — Я Стефания Грикюпель, — назвала́ она себя, и мы прошлись немного. Мы полюбовались медным кренделем над дверью булочной и сахарным костелом. — Мой друг Серж уехал в Ялту, — рассказал я, — а Андрей Кондратьев в лагерях. Я мог бы побывать там, но Андрей не очень для меня подходит, потому что обо всем берется рассуждать. — Стефания Грикюпель, оказалось, тоже поступила в школу и ужасно трусила, что ей там трудно будет: цифры по-арабски, сочинения сочинять.

Довольные друг другом, мы расстались. Подходя к своей калитке, я увидел похороны — факельщиков в белых балахонах, дроги с куполом, украшенным короной, и вдову за дрогами. Ее вел Вася Стрижкин.

Мне влетело от маман, когда она вернулась. Встречи со Стефанией она мне запретила и обозвала́ Стефанию развратницею. Чигильдеева, которая пришла послушать, заступилась за меня. — Но это так естественно, — сказала она и задумалась о чем-то. Улыбаясь, она слазила наверх и принесла «Любезность за любезность». — Я дарю ее тебе, — сказала она мне.

12

Училище было коричневое, и фасад его, разделенный желобками на дольки, напоминал шоколад. К треугольному полю фронтончика был приделан чугунный орел. Он сжимал одной лапой змею, а в другой держал скипетр. В конце, где была расположена церковь, на крыше был крест.

Мне не очень везло в арифметике, и я часто искал встреч с Васей Стрижкиным. Часто я ждал его около вешалок или взбирался наверх, в коридор старшеклассников. Там против лестницы были часы. По бокам их висели картины: «Крещение Киева» и «Чудо при крушении в Бо́рках». Под часами был бак красной меди и кружка на железной цепи. Надзиратель Иван Моисеич бросался ко мне, чтобы я убирался. Во время большой перемены мадам Головнёва продавала в гимнастическом зале булки и чай. Она была пышная женщина, полька, и Иван Моисеич любезничал с ней. Ее муж Головнёв, вахтер, низенький, стоя у печки, смотрел на них. Я становился с ним рядом, и все покупатели были видны мне. Но Вася и там не встречался мне.

Будрих, Карл, был брат Эльзы Будрих. Он жил возле кирки, и мы вместе ходили домой. Он рассказывал мне, будто видел однажды, как один господин и одна госпожа завернули на старое кладбище и, наверное, делали глупости. Я побывал там. Репейник цвел между могилами. Каменный ангел держал в руке лиру. Телеги гремели вдали. Господ и госпож еще не было, и я сел на плиту подождать их.

«Статские, — выбиты были на ней старомодные буквы, — советники Петр Петрович и Софья Григорьевна Щукины». Я их представил себе.

Никого не дождавшись, я встал и, почистясь, отправился. Трубы домов и верхушки деревьев с попестревшими листьями освещены были солнцем. В трактире, над дверью которого была нарисована рыба, играла шкатулочка с музыкой. Кисти рябины краснелись над зеленоватым забором, заманчивые. «Монументы, — заметил я вывеску с золотом, — всех исповеданий. Прауда». Я вспомнил И. Ступель, мадонну у нее в заведении и Тусеньку.

Вскоре у нас побывала Кондратьева и пригласила нас на именины. — У нас теперь есть граммофон, — говорила она нам. А мы рассказали ей о живой фотографии. На именинах у нее было много гостей. Граммофон пел куплеты. Анекдот про еврейского мальчика очень понравился всем, и его повторили. — Но жалко, — сказал один гость, — что наука изобрела это поздно; а то мы могли бы сейчас слышать голос Иисуса Христа, произносящего проповеди. — Я был тронут. Андрей подмигнул мне, и мы вышли в «приемную». Снова я увидел на столике «Заратустру» и «Ревель». Андрей, разговаривая, нарисовал на полях «Заратустры» картинку. «Черты, — подписал он под нею название, — лица».

Раз в субботу, когда я отобедал и читал у окна «Биржевые», внезапно за окном появился Чаплинский. Он подал две маленькие дыни и объявил, что Кармановы прибыли. Я поспешил с ним. Дорогой я с ним побеседовал. Я спросил у него, рад ли он возвращению господ, и узнал, что без них он работал в депо, где он числится, хотя и состоит при Карманове.

Серж был любезен. — Приятно, — сказал он мне, — быть знакомым с учащимся. — Наскоро инженерша напоила нас чаем и побежала к Софи. Мы остались вдвоем, похихикали и потом помолчали и послушали колокол. Серж рассказал мне, что Тусенька тоже приехала с да-

чп. — Она, — посмеялся он, — думала, будто ваша фамилия — Ять. — Оказалось, что есть книга «Чехов», в которой прохвачены телеграфисты, и там есть такая фамилия.

Пришел инженер. Он зажег электричество, которое проведено было к ним с железной дороги, и я отвернулся, чтобы не испортить глаза. Он присел к нам, и мы поболтали с ним. — Вообразите, — сказал я, — учащиеся пишут на партах плохие слова. — Части тела? — оживясь, спросил Серж. Я подумал об Андрее с «черта́ми лица» и о том, что предосудительно в присутствии других вспоминать о других.

В воскресенье мы были в пожарном саду. Молодецкие вальсы гремели там, и пожарные прыгали наперегонки в мешках. Детям дали бумажные флаги и выстроили. По-военному я и Серж зашагали в рядах. Как из поезда, нам видны были в стороне от площадки деревья и листья, которые падали с них. Инженер похвалил нас. — Маршировка прошла очень мило, — сказал он. При выходе мы задержались и посмотрели на городовых, отгонявших зевак. — Да, — толкнул меня Серж и шепнул мне, что узнал для меня у Софи о Васе Стрижкине. Летом у него умер отец, и он служит в полиции.

13

— «Православный», — сказал нам на уроке «закона» отец Николай, — значит «правильно верующий». — По дороге из школы я сообщил это Будриху. Я принялся убеждать его, чтобы он перешел в православие, и он на́чал меня избегать. Так что Сержу, когда он однажды спросил у меня, не завел ли я себе в школе приятеля, я мог ответить, что — нет. Уверяя его, я представил ему учеников в непривлекательном свете. — У них всегда грязные ногти, — сказал я, — и они не чистят зубов. Они говорят «полдесятого», «ква́ртал», «галоши» и «одену пальто». Дураки, — посмеялись мы и приятно настроились. Надпись на коробке с печеньем напоминала нам за чаепитием о Тусеньке. Мы подмигнули друг другу и, точно стишок, повторяли весь вечер:

Сиу и компания, Москва,
Сиу и компания, Москва.

Через несколько дней я ее встретил в училищной церкви. От окон тянулись лучи, пыль вертелась на них.

Время ползло еле-еле. Наконец Головнёв вышел с чайником из алтаря и отправился за кипятком для причастия. Я оглянулся, чтобы посмотреть ему вслед, и увидел ее. После церкви я не мог побежать за ней и последить за ней издали, потому что Иван Моисеич повел нас к инспектору на перекличку.

Инспектора, мужа Софи, переводили в Либаву, и Софи уезжала с ним. В пасмурный день, перед вечером, когда я в ожидании лампы перестал на минуту разучивать, что такое сложение, она постучалась к нам, чтобы проститься. Громоздкая, в шляпе с пером и в вуали с кружочками, она была меланхолична. Маман рассказала ей, что Евгения уж очень льстива. Поэтому она не внушает доверия и мы думаем выгнать ее. Расставаясь, Софи подарила мне книгу про Ма́угли, которая очень понравилась мне. Я перечел ее несколько раз. Чигильдеева, заходя к нам, подкрадывалась и старалась увидеть, не «Любезность» ли я «за любезность» читаю.

— Сегодня, — объявила Карманова как-то раз, когда я глазел с Сержем в окно, — будет «страшная ночь»,— и она посоветовала нам пойти на́ реку и посмотреть, как евреи толпятся там и отрясают грехи. Под охраной Чаплинского мы побежали туда. Мы ужасно смеялись. Чаплинский рассказывал нам, как каждой весной пропадают христианские мальчики, и научил нас показывать «свиное ухо».

Уже подмерзало. Маман, отправляясь на улицу, уже надевала шерстяные штаны, Чигильдеева запечатала свой мезонин и отбыла в Ярославль крестить у племянницы. Она умерла там. Она мне оставила триста рублей, и маман не велела мне распространяться об этом.

Зима наступила. Был вечер субботы. Светила луна, и на кирке блестели золоченые стрелки часов. С виадука я видел огни на путях и сноп искр над баней. Промчались извозчичьи санки. В шинели офицерского цвета Вася Стрижкин сидел в них. Бубенчики брякали. Несколько дней я ждал счастья, которое мне должна была принести эта встреча. И вот, в одно утро, когда мы явились в училище, вахтер сказал нам, что отец Николай заболел, и у нас в этот день было четыре урока.

«Спектакль для детей», — возвестили однажды афиши. Прекрасная дева представилась мне, распростершаяся перед внушительным юношей и восклицающая: «О,

Александр!» Чаплинский принес нам билеты. Театр был полон. Военный оркестр под управлением капельмейстера Шмидта гремел. Перед нами был занавес с замком. Мы ждали, пока он подымется, и жевали конфеты. Стефания Грикюпель откуда-то выскочила и, прежде чем я отвернулся, успела кивнуть мне. Я рад был, что маман и Кармановы в эту минуту смотрели на мадам Штраус, входившую в зал.

Рождество пролетело, и в экстренном выпуске газета «Двина» сообщила однажды, что Япония напала на нас. Еще дольше стали тянуться церковные службы. Кончались обедни — и начинались молебны «о даровании победы». В окне у Л. Кусман появились «патриотические открытые письма». Серж стал вырезать из «Нового времени» фотографии броненосцев и крейсеров и наклеивать их в «Черновую тетрадь». Мы с маман были раз у Кармановых. Дамы поговорили о том, что теперь на войне уже не употребляется корпия и именитые женщины не собираются вместе и не щиплют ее.

В этот вечер к Кармановым пришла с своей матерью Тусенька. Серж поболтал с ней немного и побежал в свою комнату, чтобы принести «Черновую тетрадь». Я и Тусенька были вдвоем в конце «зала». Когда-то здесь Софи со своими друзьями разыгрывала интересную драму, одну сцену которой я подсмотрел. Я хотел рассказать ее Тусеньке. — «Натали́, ах», — хотел я сказать ей. Мы оба молчали, и я уже слышал, как возвращается Серж.— Ты читал книгу «Чехов»? — краснея, наконец спросила она.

14

На первой неделе поста наша школа говела. Маман разъясняла мне, как грешно утаить что-нибудь во время исповеди. Я не знал, как мне быть, потому что признаваться отцу Николаю в грехах мне казалось не очень удобным. Поэтому я очень рад был, когда он сказал нам, что не будет терять много времени с приготовишками, и, собрав нас под черным передником, который он поднял над нами, велел нам всем зараз исповедаться мысленно.

Быстро наступила весна. В воскресенье перед страстною неделей в училище состоялось душеполезное чтение. Я был там с маман. Был волшебный фонарь, и отец

Николай, огороженный ширмой, читал о последних днях жизни Иисуса Христа. Освещенный свечой, он был виден сквозь ситец. Когда мы шли к выходу, кто-то окликнул нас. Мы обернулись. Горшкова кивала нам и делала знаки. В боа и с лорнетом, она была очень внушительна. Она расспросила меня об успехах и сказала, что теперь будет жить ближе к нам, потому что переменила приход. Разговаривая, она меня тронула за подбородок.

Нас вспомнила в Витебске дама, приезжавшая к нам, когда умер отец. На открытке с картинкой, называвшейся «Но́ли ме та́нгере», она нас поздравила с пасхой и сообщила нам, что ее дочь вышла замуж за господина из немцев, помещика, и что они уезжают в имение и сама она тоже собирается двинуться с ними.

Уже начинались экзамены. Был светлый вечер. Деревья цвели. Сидя в садике, я повторял про сложение. Открылось окно, и маман позвала́ меня в дом и велела проститься с Александрою Львовной, которая отправлялась на Дальний Восток. Она была в форме «сестры», торопилась и пила, наливая в два блюдечка: — Пусть остывает скорей. — Завоюете их, — говорила маман, — и тогда у нас чай будет дёшев.

На ле́то Кармановы переехали в Шавские Дрожки, и после экзаменов я и маман побывали у них. С парохода «Прогресс» нам видны были дамба и крепость. Оркестр, погрузившийся на пароход вместе с нами, играл. Когда он умолкал, господа возле нас толковали об Англии и осуждали ее. — Христианский народ, — говорили они,— а помогает японцам. — Действительно, — пожимая плечами, обернулась ко мне и поудивлялась маман. Я смутился. На книге про Мау́гли было напечатано, что она переводная с а̀нглийского, и я думал поэтому, что Англию надо любить.

Инженерша и Серж вышли встретить нас. Праздничные, мы прошли через парк. Разместясь на эстраде, наш оркестр уже загремел. Встали с лавочек дамы в корсетах, в кушках со стеклярусом и твердых прическах с подложенным под волосы валиком и пошли по дорожкам. Мужчины в бородах и усах, в белых форменных кителях сопровождали их. Серж поклонился одной из них и сообщил мне, что это — нотариусиха Конра́диха фон Сасапаре́ль. За заборчиками красовались шары на зеленых подставках и веранды с фестончиками из парусины.

На кухнях стучали ножи. В гамаках под деревьями нежились дачницы. Бегая и пререкаясь друг с другом, девицы и мальчики играли в крокет.

Расставаясь, Кармановы попросили маман заходить иногда на их городскую квартиру, чтобы быть уверенными, что Чаплинский сторожит ее тщательно. В этот же вечер мы завернули туда. Мы застали Чаплинского спящим. Набросив пальто, он впустил нас, и мы обошли с ним все комнаты. Он пригласил нас к окну и, значительный, указал нам на сад. Под каштанами, где всегда пели няньки, сидели подвальные. — Пользуются, — пояснил он нам мрачно, — что господа разъехались. — Мы рассказали об этом Кармановым, и они написали Кантóреку, чтобы он принял меры.

Недолго я оставался без дела. Маман сговорилась с Горшковой, и я стал ходить к ней учиться немецкому, чтобы к началу занятий в училище что-нибудь уже знать. — «Вас ист дас?» — диктовала Горшкова и, пока я писал, подходила ко мне. Я запрятывал руки, и она не могла захватить их. Задумавшись, она иногда принималась смотреть на меня. Раз в передней она мне сказала, что Плéве убит, и, расстроенная, быстро набросясь, схватила меня и потискала.

Изредка я встречался со Стефанией. Кланяясь ей, я принимал строгий вид, и она не осмеливалась заговорить со мной.

15

— В училище завтра молебен, — объявила однажды маман и подалá мне «Двину». Я прочел извещение. — Итак, — думал я, — уже кончилось лето. — Я съездил в последний раз в Шавские Дрожки. На лóзах там ужé поредела листва. Паутина летала ужé. У Кармановых я увидел Софи. Мимоездом она там гостила с ребеночком. Неповоротливая, встав с качалки, она осмотрела меня. — Всё такой же, — эффектно сказала она, — но в глазах уже что-то другое. — Конрáдиха фон Сасапарéль завернула при мне. Представительная, она опиралась на посох. На нем были рóжки и надпись «Кримé». Инженерша подсела к ней, и они говорили, что следует поскорее сбыть с рук Самоквасово и что вообще хорошо бы распродать всё и выехать. Я был встревожен. «Уедет и Серж, — думал я, — и конец будет дружбе». Печаль-

ный, я возвращался домой на «Прогрессе». Шумели его два колеса. Пассажиры молчали. Был виден на холмике садик, и сквозь садик виднелся закат.

В приложение к книгам Л. Кусман дала мне в этом году «Мысли мудрых людей». На обложке было написано, что они стоят двенадцать копеек. Маман просмотрела их и одобрила кое-какие из них, и я рад был. Но в школе я узнал, что Ямпо́льский и Лившиц давали «Товарищ, календарь для учащихся». Разочарованный, я решил не иметь больше дела с Л. Кусман. Я думал об этом, когда вечером вышел пройтись. Озабоченный, я не заметил на улице учителя чистописания, и меня за это посадили в карцер на час. Я рыдал весь тот день, и маман подносила мне капли.

К нам в церковь водили теперь гимназисток. Они были в белых передничках, бантиках и, не вертя головой, углом гла́за, смотрели на нас. Их начальница, в «ленте», торжественная, иногда доставала из мешочка платок, и тогда запах фиалки долетал до нас. Тусенька чинно стояла в рядах, притворяясь, что ничего не замечает вокруг, и краснела, когда кто-нибудь поглядит на нее. — Натали, Натали, — думал я, и обедни уже́ не казались мне больше такими длинными.

В классе я сидел рядом с Фридрихом Оловым. Он был плохой ученик и во время уроков, вырвав лист из тетради, любил рисовать на нем глупости. Он уверял меня, будто всё, что рассказывают про Подольскую улицу, правда, и я, возвращаясь из школы, несколько раз делал крюк и ходил по Подольской, но я не увидел на ней ничего замечательного. Один раз мне попался там Осип, который когда-то учился со мной у Горшковой, и он посмеялся, что встретил меня там. Он был оборванец, и мне пришло в голову позже, что у него мог быть нож и он мог бы помочь мне отомстить учителю чистописания. Обдумав, как говорить с ним, я пошел к нему в школу, в которой он жил, но его уже не было в ней.

Этой осенью мы переехали на другую квартиру. Она была в том же кварта́ле, в каменном доме Канатчикова. Приходя за деньгами, Канатчиков заводил разговор о религии. Он нам показывал, как надо креститься двуперстно. Из дома теперь нам видна́ была площадь, на которой учили солдат. В уголке ее, окруженная желтой акацией, была располо́жена небольшая военная церковь. Молебен, который служили на площади, когда отправляли полки на войну, мы слышали, стоя у окон.

Кармановы были у нас на новоселье. Они не уехали. Им подвернулось недорого место вблизи Евпатории, и они собирались построить там доходную дачу. С двоими из Пфердхенов Серж уже начал учиться у Гаусманши, чтобы весной поступить в первый класс. Серж сказал мне, что Гаусманша говорит «пять раз пять». Посмеявшись над этим, мы приятно болтали вдвоем в моей комнате и не зажигали огня. Прогудели гудки в мастерских. Позвонили негромко на колокольне на площади. С линии иногда доносились свистки. Мы серьезно настроились. Я рассказал кое-что из «Истории», и мы подивились славянам, которые брали в рот для дыхания тростинку и сидели весь день под водой. Распростившись с гостями, я слушал с крыльца, как шуршали по песку их шаги. Я стоял, как Манилов. Упала звезда, и мне жаль было, что в эту минуту я не думал о мести учителю, а то бы она удалась мне.

16

— Надо больше есть риса, — говорила теперь за обедом маман, — и тогда будешь сильным. Японцы едят один рис — и смотри, как они побеждают нас.

Как каждый год, мы опять были у Кондратьевых на именинах. Кондратьева прочитала нам несколько писем от мужа. Мне очень понравились в них слова «гаолян» и «фанза́». Андрей тоже, как и Серж, собирался поступить в первый класс. Он готовился у учителя Тевеля Львовича.

Все мальчуганы теперь были за́няты, и я с ними виделся редко. Почти не встречался я с Сержем. Карманова же очень часто бывала у нас. Ей понравилась церковь напротив нашего дома. Священником там теперь был монах. Он носил черный кло́бук, с которого сзади что-то свисало, и мантию. Это заинтересовывало.

Учителя чистописания не было несколько дней. Он болел. Я желал ему смерти и молился, чтобы бог посадил его в ад. Но он скоро явился. «Иуда, — вывел он на доске, — целованием предал Иисуса Христа», — и мы начали списывать.

На рождестве я нигде почти не был. Кармановы укатили в Либаву к Софи и прислали оттуда открыточку с киркой и надписью «фрёлихе ве́йнахтен».

В этом году инженерша полюбила политику. Часто

она принималась судить о ней, и тогда у меня и маман начинали слипаться глаза.

Стало капать при солнышке с крыш, и училище стало надоедать мне всё больше. Я очень обрадовался, когда одним солнечным утром, значительный, Головнёв сообщил нам у вешалок, что какого-то князя убили и в двенадцать часов мы отправимся на панихиду, а оттуда — домой. Он любил сообщить неожиданное.

С панихиды я вышел торжественный. Олов предложил мне пойти на базар. Я еще никогда не бывал там, и мы побежали туда. Мы хихикали и, держась друг за друга, толкались. Кухарки едва не сшибали нас с ног, задевая корзинами. Дамы, остановясь у возов со съестным, пробовали. Мужики говорили вслух гадости. Я в первый раз еще видел их близко. — Они как скоты, — сказал Олов, и мы поболтали о них.

Приближалось говенье, но я мало думал о нем. Я решил уже, что не признáюсь отцу Николаю ни в чем, потому что он может наябедничать или сам сделать пакость.

Та дама, которая к нам приезжала когда-то из Витебска, снова прислала открытку. Она нас звалá погостить у нее. Мы решились, и маман написала прошение об отпуске.

Лето пришло наконец. Мы расстались с Кармановыми, уехавшими строить дачу, и тоже отправились в путь. Приглядеть за Евгенией мы попросили Канатчикова.

Экипаж встретил нас у железной дороги. С большим интересом привстали мы с мест и смотрели, когда впереди уже показалось имение. Труба винокурни стояла над ним. Мужики боронили. Ворóны вертелись около них. Я представил себе путешествия Чичикова.

Мы явились, и нас стали расспрашивать. Мы припомнили тут кое-что из своих разговоров с Кармановой. — Простонародье бунтует, — сказали мы. — Мер принимается мало.

Под вечер мы ходили смотреть, как рабочие пляшут за парком на окруженном скамьями полу. Этот пол специально был нáстлан для них, чтобы они не болтались в свободное время и были всегда на виду.

Возвратясь, мы, как «Гоголь в Васильевке», посидели на ступенях крыльца. Птица щёлкнула вдруг и присвистнула. — Тише, — сказала маман. Она поднесла к губам

палец и с блаженным лицом посмотрела на нас. — Соловей, — прошептала она.

Мне не велено было ходить заворо́та, и я не стремился туда. Страшно было бы встретиться вдруг одному с мужиками. Из комнаты, называвшейся «библиотекой», вытащил «Арабские сказки для взрослых» и, пока мы гостили, читал их в саду. В них написано было про «глупости». Я убедился теперь, что мальчишки не врали.

Накануне Иванова дня латыши пришли к дому с огнями и ветками и надели на всех свои венки. Они долго скакали и пели и жгли бочки со смолой. Мы поили их пивом и легли, когда все разошлись, и огни были за́литы, и ворота закрыты, и сторож заколотил, как всегда, по доске.

Уже выписаны для охраны имения были солдатики. Скоро мы увидели, сто́я у окон, как они входят во двор. Они были невзрачные, но коренастенькие, несли ружья и пели про Стесселя:

Стессель-генерал доносит,
Что нет снарядов никаких.

17

Я еще раз попал в обучение к Горшковой. Когда мы приехали в город, маман отдала́ меня подучиться французскому. — Это трудный язык, — говорила Горшкова. — Все буковки в нем пишутся так, а читаются этак. — Желая меня подбодрить, она целилась, чтобы, схватив мои руки, пожать их, но я успевал их отдернуть и сесть на них быстро. Горшкова не очень мне нравилась. Кожа ее напоминала мне нижнюю корку, мучнистую и шероховатую.

Был жаркий день. Солнца не было видно. Из садов пахло яблоками. По дороге к Горшковой я встретил мальчишку с «Двиной». — Заключение мира! — выкрикивал он. Я спросил его, правда ли это, и он показал мне заглавие.

Горшкова о мире не знала еще, и я не сказал ей, чтобы она не расчувствовалась и не набросилась мять меня.

Миру мы очень обрадовались, но Карманова, возвратившаяся из Евпатории, расхолодила нас. — Если бы мы

воевали подольше, — говорила она нам, — то мы победили бы. Витте нарочно подстроил всё это, потому что он женат на еврейке, и она подстрекала его.

Серж давал мне смотреть «модель дачи» — деревянную, с настоящими стеклами в окнах. Училище красили, и начало занятий было отложено на две недели, но он щеголял уже в форме.

Учебники в этом году я купил у Ямпольского. Я получил наконец «Календарь». Я не ходил теперь мимо Л. Кусман. Внезапно она могла открыть дверь и, придерживая на груди свой платок, посмотреть на меня и спросить, почему это я до сих пор не иду к ней за книгами.

Серж и Андрей были оба теперь в первом классе. Серж был в «основном», а Андрей — в «параллельном». Уроки «закона» у них были общие, и тогда они вместе сидели. Андрей нарисовал раз во время закона картинку. — «Пожалуйте к столику, — называлась она, — мои милые гости». — Карманова очень была недовольна, увидев ее. — Всё какие-то пасквили, — стала она говорить с отвращением. — Чтобы критиковать, надо быть самому совершенством. — Она приказала, чтобы Серж пересел.

Мы отпраздновали уже именины наследника и отстояли молебен в годовщину «спасения в Борках». Назавтра, когда прозвенели звонки и учитель вошел, гладя бороду, и, крестясь, стал у образа, а дежурный начал читать «Преблагий», со страшным треском разорвалась вдруг где-то под боком бомба. Училище в этот день на неопределенное время закрыли.

Когда мы обедали, вдруг в мастерских по-особенному загудели гудки. Погодя мы услышали выстрелы. К ночи Евгения узнала для нас, что застрелено четверо. Бунтовщики подобрали их и при факелах носят по улицам, чтобы будоражить народ.

Мы смотрели, когда хоронили их. С важными лицами впереди выступали ксендзы. — Вот мерзавцы, — сказала Карманова и разъяснила нам, что, по религии, им полагается быть за правительство , но они ненавидят Россию и готовы на все, чтобы только напакостить нам. За гробами играли оркестры из мастеровых и пожарных. Почти целый час, перестав уже нас занимать, мимо окон, пошатываясь, двигались флаги и полотнища с надписями. Мы узнали потом, что у кладбища была перестрелка

и в ней Вася Стрижкин ранен был дробью. Бедняжка, до выздоровления он не мог-ни лежать на спине, ни сидеть.

Чтобы я не болтался, маман мне велела читать «Сочинения Тургенева». Я их усердно читал, но они не особенно интересовали меня.

Мы не раз начинали и снова бросали учиться. Мы стали употреблять слова «митинг», «черносотенец», «апельсин», «шпик». Однажды, когда мы опять бастовали, ко мне зашли Серж и Андрей и сказали мне, что они разогнали сейчас немецкую школу. Они захватили в ней классный журнал. «Алфавит» начинался: «Ано́хина, Бо́лдырева». Я посмеялся, а к вечеру мне стало грустно. Я думал о том, что все делают что-нибудь интересное, мне же на ум никогда ничего не взбредет.

У маман тоже бывали иногда забастовки. Она была «правая», но бастовала охотно. Она рассказывала мне раз, что начальник ее был на митинге и решил не ходить туда больше, потому что, пока он там был, он там чувствовал, что соглашается с непозволительными рассуждениями. Мы похвалили его.

И Ямпольский и Лившиц при каждой покупке давали талончики с обозначением суммы, и кто предъявлял их на десять рублей — получал что-нибудь. Ученик Мартинкевич, через которого отец закупил принадлежности для канцелярии, получил у Ямпольского альбом для стихов. Когда в школе учились, он требовал, чтобы ему написали. Я долго держал у себя этот альбомчик и мучился, потому что не знал, что писать. Я нашел в нем стихи, называвшиеся «Декокт спасения».

Возьмите унцию смирения,
Прибавьте две — долготерпения, —

начинались они и подписаны были: «С благословением иеромонах Гавриил». Оказалось, что монах из церкви напротив нашего дома был Мартинкевичу родственник.

18

Мне хотелось узнать у монаха, согласится ли бог посадить кого-нибудь в ад, если будут хорошенько молиться об этом, и, чтобы встретить монаха, я думал сойтись с Мартинкевичем. Я не успел, потому что вернулись на-

ши полки, а те, которые их замещали, ушли, и монах ушел с ними.

Из Азии офицеры навезли много разных вещичек. Кондратьев поднес нам интересные штучки для развешивания на сте́нах. На столе у него, где когда-то лежал «Заратустра», красовался теперь «Красный смех». Он давал нам читать его.

Вскоре мы увиделись и с Александрою Львовной. Она постарела. Она сообщила нам, что посвятила себя уходу за контуженным в голову доктором Ва́гелем, и намекнула, что, может быть, даже вообще не расстанется с ним. Мы приятно задумались.

Церковь, в которую так охотно ходила Карманова, когда здесь был монах, оказалось, могла разбираться. Ее развинтили и отослали под Крейцбург, где часть латышей была православная. Вместо нее теперь должен был строиться «гарнизонный собор». С интересом мы ждали, каков-то он будет.

В один светлый вечер, когда я и маман пили чай, к нам явился Чаплинский. С большим оживлением он объявил нам, что в Карманова по дороге из конторы домой кто-то выстрелил и он умер через четверть часа.

Любопытные женщины стали ходить к нам и расспрашивать нас о Кармановых. Мы отвечали им. Об инженерше маман рассказала им, что она уже несколько лет не жила́ с инженером. Я был удивлен и поправил ее, но она мне велела не вмешиваться в разговоры больших.

Неожиданно я простудил себе горло, и мне не пришлось быть на похоронах. Из окна я смотрел на них. В шляпе «подводная лодка», которая после окончания войны уже вышла из моды, маман шла с Кармановой. Сержа они от меня заслонили. Зато я нашел в толпе Тусеньку. Мне показалось, что она незаметно бросила взгляд на меня.

Серж сказал мне потом, что он дал се́бе клятву отомстить за отца. Я пожал ему руку и стал говорить ему, что отомстить очень трудно.

Я должен был скоро расстаться с ним. Он уезжал навсегда. Инженерша уже побывала в Москве и сыскала квартиру. Отъезд был отложен до начала каникул. Одиночество ждало меня.

Стали строить собор. Рыли землю. Возили булыжник.

В квартале за киркой начали строить костел. Староверы приделали колокольню к «моленной». Отец Николай разъяснил нам, что всем исповеданиям дали свободу, но это не имеет большого значения и главным по-прежнему останется наше.

Кармановы сели в вагон. Поезд тронулся. Мы помахивали ему. — Серж, Серж, ах, Серж, — не успел я сказать, — Серж ты будешь ли помнить меня так, как я буду помнить тебя?

Из Митавы на лето приехали в Шавские Дрожки Белугины. Мы побывали у них. Странно было мне видеть курзал, парк и знать, что я уж не встречу здесь Сержа. Маман была тоже грустна.

У Белугиных мы застали Сну, отца Тусеньки. Он был с бородкой, в очках. Он похож был на портрет Петрункевича. — Вы не читали речь Муромцева? — благосклонно спросил он маман.

Дочь и сын у Белугиных были немного моложе меня. Я стал ездить к ним в Шавские Дрожки. Белугина была сухопарая дама с лорнетом и в оспинах. Время она проводила под соснами, покачиваясь в гамаке и читая газету. Белугин, ее муж, ловил рыбу. Сестра ее, Ольга Кускова, водила нас в лес. Один раз мы дошли до железной дороги и увидели поезд с солдатами. Он катил к Крейцбургу. Из пассажирских вагонов смотрели на нас офицеры. — «Карательная», — пояснила нам Ольга Кускова.

При мне иногда заходила к Белугиным Тусенька, но она со мной важничала и говорила мне «вы».

Когда я не был там, я читал Достоевского. Он потрясал меня, и за обедом маман говорила, что я — как ошпаренный.

Дни проходили. Уже на реке появились песчаные мели, и «Прогресс» маневрировал, чтобы не сесть на них. В черненькой рамке газета «Двина» напечатала о безвременной смерти учителя чистописания.

Однажды я встретился с Осипом. Он был любезен. Он вызвался показать, где закопаны висельники. Я рассказал ему случай с учителем. — Осип, — сказал я, — ты был бы согласен убить его, если бы он сам не умер? — Я взял его руку и в волнении смотрел на него. Он ответил мне, что для знакомого все можно было бы. Мне было жаль, что так поздно я встретил его.

19

Снова осень была на носу. В палисаднике уже щелкали, лопаясь, стручья акаций. Во время дождя, когда пыль прибивало, подвальные открывали окошки. Тогда мы спешили закрыть свои окна, чтобы вонь не врывалась к нам. — Прежде, — говорила маман, — можно было бы просто послать к ним Евгению и запретить им.

В училище я не нашел уже Фридриха Олова. Летом его свезли в Ригу и определили в торговый дом «Кня, Фальк и Федоров». Вместо него поступил новичок по фамилии Софро́нычев. Звали его «Грегуар». Он был сын полицмейстера, переведенного к нам взамен Ломова. Тусенька свела дружбу с сестрой Грегуара Агатой и бесплатно ходила с ней в театр и цирк. Я бы мог часто видеть ее, если бы я записался в друзья к Грегуару. Но он был неряха, и, кроме того, я в течение прошлого года привык не любить полицейских.

Андрей в один праздничный день завернул ко мне. Он посмотрел мой учебник «закона» и, посмеявшись над картинкой «фелонь», предложил мне пройтись с ним.

Маман была на телеграфе, и я вышел с Андреем без спроса. Я не был уверен, хорошо ли я сделал, отправясь с ним. Мы осмотрели постройки. Еврейка в платке с бахромой подошла к нам. — Не бейте, — сказала она, — того мальчика в серых чулках. — Мы смеялись. Потом мы послушали, как мужчина в подтяжках, который сидел у калитки, играл на трубе.

Мел, гвоздей, —

перечислено было на прибитой к калитке дощечке, —

кистей, лак и клей, —

и задумавшись, мы напевали это под звуки трубы.

Разговаривая, мы оказались у кладбища. В буквах над входом уже отражался закат. На могилах доцветали цветы. Осыпались деревья. Нескла́дные ангелы, стоя одною ногой на подставке, смотрели на небо, как будто собирались лететь. Благодушно настроенный, я уже начинал говорить себе, что Андрей все же тоже хороший.

И вдруг возле столбика с урной над прахом Карманова он принялся городить всякий вздор. — Без причины, — между прочим, сказал он, — его не убили бы. — Я, возмущенный, старался не слушать его и раскаивался, что согласился идти.

Я решил, что мне лучше всего совершенно не видеться с ним. Но опять нас позвали на кондратьевские именины, и маман повела меня. Гости сидели у стен. На картинках нарисованы были гора и японка внизу, наклонившаяся над скамейкой с харча́ми. Я сел за маман. Говорили, что, когда пустят ток, у нас будет работать электрический театр. Андрей, как всегда, подмигнул мне на двери «приемной», и я сделал вид, что не понял. Но скоро маман мне велела не сидеть возле взрослых. Я вынужден был согласиться отправиться в сад.

Мы заметили несколько яблок и сбили их. Мы заня́лись ими, сев на ступеньки. Жуя, мы старались представить себе электрический театр. Он должен был быть, вероятно, необыкновенно прекрасен. — Андрей, — сказал я, пододвинувшись ближе, — есть одна ученица по имени Тусенька. — Сусенька? — переспросил он. Я встал и ушел от него. Ложась вечером спать, я подумал, что «Тусенька» — правда, какое-то глупое имя, и что лучше всего называть ее так: Натали.

В воскресенье я после обедни спустился за дамбу. Там я посмотрел на леса́ электрической станции и побродил. Огороды, пустые уже, начинались за крайней лавчонкой, и в окнах ее, как давно-предавно, я увидел висящие свечи. Старушка из ваты, насквозь прокоптившаяся, как трубочист, была тоже тут. Дохлые мухи прилипли к ней. Клюква в кузовке́ у нее за спиной побелела. Приятная грусть охватила меня, и я рад был, что мне, словно взрослому, уже «вспоминается детство».

Маман как-то встретилась в бане с Александрою Львовной. Она вышла замуж за доктора Вагеля. — Он, — рассказала она, — не совсем еще вылечил голову и иногда проявляет различные странности. — Свадьбу они не справляли. Они обвенчались тихонечко в Гриве Земгальской.

Довольные, мы посмеялись.

Софронычев несколько дней «фугова́л»: выходил утром и́з дому и не являлся в училище. Стало известно

потом, что учитель словесности посетил полицмейстера. Вместе они отодрали Грегуара веревкой. Я думал, что, может быть, Натали после этого будет стесняться сидеть с ним в полицмейстерской ложе.

20

«Серж, — писал я во время уроков на вырванных из тетради листках, — я заметил, что уже становлюсь как большой. Иногда мне уже вспоминается детство.

Мне кажется, что и другие это тоже находят. Евгения, наша кухарка, например, когда нету маман, все охотней является в комнату и толкует со мной». — Я писал, как она мне рассказывала про Канатчикова, что под домом у него сидит сын на цепи, и что сын этот глупый, или про подвальную Аннушку — как она сопровождает во время маневров войска и продает им съестное, когда же маневры кончаются, то зарабатывает как-то там тоже у войск, но Канатчиков к ней придирается и ругает ее, если люди приходят к ней в дом.

«Серж, — писал я, — ты знаешь, я строчу тебе это на арифметике. Мне все равно не везет в ней. Я думаю, не оттого ли, что я почему-то не могу рассмотреть на доске мелкие цифры. Поэтому мне не удается следить за уроком».

«Я много читаю. Два раза уже я прочел Достоевского. Чем он мне нравится, Серж, это тем, что в нем много смешного».

«Слыхал ли ты, Серж, будто Чичиков и все жители города Эн и Манилов — мерзавцы? Нас этому учат в училище. Я посмеялся над этим».

«Серж, что ты сказал бы о таком человеке, который: а) важничает, б) по протекции, не платя, ходит в театр?»

Я рвал свои письма, когда они были готовы, и забрасывал клочья за шкаф, потому что у меня не было денег на марки, маман же перед отправкой читала бы их.

«Серж, — писал я еще, — ты не видел борцов? Я не прочь бы взглянуть на них, Серж, но, ты знаешь, маман где-то слышала, что это — грубо».

На святках в помещении училища состоялся «студенческий бал». В гимнастическом зале, уставленном елка-

ми, зажжено было множество ламп. Между печками расположился военный оркестр и под управлением капельмейстера Шмидта играл. Мадам Штраус хотелось послушать поближе, и она подходила к печам и стояла внимательная, держа в руках сахарницу, которую выиграла в «лотерее аллегри».

На сцену выходили актеры из театра и произносили стихи. Мадемуазель Евстигнеева пела. Играла, качая пером, украшавшим ее голову, Щукина, содержательница «Музыкального образования для всех». — Может быть, — думал я, — она дочь этих «статских советников Щукиных», на могиле которых когда-то я сидел, дожидаясь «господ и госпож».

Объявили антракт для открытия форточек и удаления стульев. Среди суетившихся был Либерман. Он был очень параден в мундире со шпагой и «распорядительском банте». Я вспомнил Софи, его сверстницу, вместе с ним так удачно когда-то игравшую в драме, и мне стало грустно: бедняжка, она почему-то казалась уже лет на двадцать старее его.

На расчищенном месте уже завертелись вальсёры. Карл Пфердхен кружился со своей сестрой Эдит. Конрадиха фон-Сасапарѐль выступила с Бодревичем, издателем газеты «Двина». Натали, покраснев, приняла́ приглашение подскочившего к ней Грегуара. Учитель словесности, мимо которого я проходил, подмигнул ему. Он улыбнулся, польщенный. Мне подали с «почты амура» письмо. «Отчего это, — кто-то спрашивал в нем, — вы задумчивы?» Заинтересованный, я стал смотреть на все лица и, как Чичиков, силился угадать, кто писал. Я увидел при этом Л. Кусман и поспешил убежать.

Я не сразу вернулся домой, а прошелся по дамбе. Мечтательный, я вынимал из кармана записку, полученную на балу, и опять ее прятал. Погода менялась от оттепели к небольшому морозику, и на глазах у меня расползлись облака и открылось темное небо со звездами. Двое саней не спеша обогнали меня. — У тебя ли табак? — спросил задний мужик у переднего. Я удивился немного, услышав, что мужики, как и мы, разговаривают.

Письмецо я хранил, и минуты, которые я иногда проводил над ним, я считал поэтическими.

Подходила весна. От Кармановых я получил пред-

ложение провести с ними лето. Они обещали заехать за мною. Маман изготовила мне полосатые трусики.

Этой зимою мы видели члена Государственной думы. Канатчиков делал осмотр, какой будет нужен ремонт. Он стоял у окна и ощупывал рамы. Член Думы проехал вдруг — в маленьких санках, запряженных большой серой лошадью под оливковой сеткой. Канатчиков крикнул нам. Мы подбежали и успели увидеть молодцеватую щеку и черную бороду. — Наш, крайний правый, — сказал нам Канатчиков. Мы улыбнулись приятно.

21

У Кармановой были еще в нашем городе кое-какие делишки. Она продавала участок, который достался ей по закладной. Из-за этого она прожила у нас несколько дней.

Я и Серж побывали вдвоем в Шавских Дрожках. Оркестр играл, как всегда. Из купален слышны были всплески. Лоза́ над рекою цвела. — Серж, ты помнишь,— сказал я, — когда-то мы были здесь счастливы.

Долго мы ехали в поезде. Утром мы вскакивали, чтобы видеть восход. К концу дня облака́ принимали вид гор, обступающих воду.

Прибыв в Севастополь, мы наскоро осмотрели собор, панораму и перед вечером о́тплыли. Мы заболели в пути морскою болезнью. Мы приплыли поздно, и я не увидел впотьмах ни мечети, ни церкви. Я знал их давно по открытке «Приветствие из Евпатории».

Нас посадили в шлюпки. Мне сделалось дурно, когда я слезал туда по веревочной лестнице. — Васенька, — мысленно вскрикнул я. Кто-то подхватил меня снизу.

У мола нас ждал Караат, запряженный в линейку. Он взят был на лето на прокат у татар. Держа вожжи, возница — на «даче» он был управляющий, кучер, садовник и сторож — обернулся к Кармановой и начал ей делать доклад.

Одинаковые, друг за другом шли дни. Мы вставали. Карманова в «красном, с турецким рисунком, матинэ из платков» принималась сновать между «флигелем», в котором мы жили, и «дачей». Являлись с корзинами бу-

лочники. Караат начинал возить дачников к грязям и в город. Карманова, стоя в пенсне у ворот, отмечала в блокнотике, кто куда едет. Во двор, томно глядя, выходил Александр Халкиопов, студент. Мы здоровались с ним и отправлялись с ним к морю.

У моря мы проводили все утро, валяясь, беря в горсть песок и по зернышку медленно сыпля его. Александр рассказывал нам интересные штуки. Я часто чего-нибудь не понимал. — Ты дитя, — говорил тогда Серж, — шаркни ножкой. — В Москве он узнал много нового, много такого, чего я никогда бы себе и представить не мог.

Отобедав, я уходил с Сержем в тень. Он читал там «Графа Монте-Кристо» или «Трех мушкетеров». Он брал их из библиотеки. Когда он кончал читать первую книгу и принимался за следующую, я начинал читать первую. Мне не удавалось прочесть только последнюю книгу — окончив ее, Серж отдавал ее. Я вспоминал тогда о деньгах Чигильдеевой. Если бы я ими мог уже распоряжаться, я сам записался бы в библиотеку и ни от кого не зависел бы.

Вечером дачницы, перекликаясь, собирались на главной террасе. Гурьбой, драпируясь в «чадры» из расшитого блестками «газа», они уводили Александра гулять. Их мужья отправлялись в бильярдную. Дети садились на доску качелей и тихо покачивались. Я и Серж подходили и прислонялись к столбам. Становилось темно. Инженерша при лампе читала у себя на веранде «Кво вадис?». Кухарка с помощницей, сидя на заднем крыльце, тоже с лампочкой, чистили к завтраку овощи. В море гудел пароход. Иногда недалеко начинали играть на трубе.

Мел, гвоздей, —

подпевал я тогда ей беззвучно, —

Кистей, лак и клей.

Тарахтела, приближаясь к воротам, линейка, бегал Караат, и его распрягали.

В шкафу я нашел одну книгу, называвшуюся «Жизнь Иисуса». Она удивила меня. Я не думал, что можно сомневаться в божественности Иисуса Христа. Я прочел

ее прячась и никому не сказал, что читал ее. — В чем же тогда, — говорил я себе, — можно было совершенно уверенным?

Новые дачники сразу подолгу сидели на солнце, и оно обжигало их. Мы им советовали употреблять «Идеал», крем Петровой. Потом мы ходили к ней и получали «комиссию». Я дочитал на нее «Мушкетеров» и «Графа» и скопил два двугривенных.

Скоро появились арбузы и дыни. Теперь Карaата кормили их корками. — Значит, он сыт, — говорила Карманова, — если не ест их.

В одно воскресенье Александр решил съездить в город. Он взял нас с собой. На бульваре мы сели. Рассеянные, мимо нас пробегали девицы. Тогда он вытягивал ногу, и они спотыкались. Уткнувшись в платок, Серж ужасно смеялся. Я думал о том, что он слишком уж увлечен Александром, и мне начинало казаться, что он равнодушен ко мне.

Караимская дама Туршу, наша новая дачница, попросила однажды, чтобы я показал ей, где живет хиромант. Я пошел с ней вдоль каменных стен, за которыми, низенькие, росли абрикосы. Она была черная, с темными веками, в розовом платье и зеленой «чадре». — Побеседуемте, — предложила она мне, и я рассказал ей, как был убит инженер. — Без причины, — сказал я, — конечно, его не убили бы.

Из Евпатории я возвращался один. Инженерша дала мне для маман «перекопскую дыню». Туршу помахала мне вслед из окна своей комнаты, и Александр, который стоял у окна вместе с ней, покивал мне. Серж сел на линейку со мной и проехался до парохода.

22

Когда я приехал и вышел из вокзала на площадь, то город показался мне странным. На улицах не было видно деревьев. Извозчики были одеты по-зимнему. Дрожки у них были однолошадные. Не было слышно, как море шумит. Я представил себе «Графскую пристань» — колонны, и статуи, и ступени к воде. — Серж, Серж, ах, Серж, — по привычке вздохнул я.

Собор против нашего дома почти был достроен.

Его купола́ были скрыты холщовыми навесами в виде палаток. Извозчик сказал мне, что там — золотильщики.

Аннушка с бабкой и дочерью Федькой стояла у дома на солнышке. — Может быть, — думал я, глядя на эти шатры, она вспоминает маневры. — Она поклонилась и крикнула что-то.

Маман была дома. Увидя меня из окна, она выбежала, и Евгения выбежала вслед за нею. Они расспросили меня, пока я умывался.

— Вот видишь, — сказала маман, — как приятно иметь знакомых со средствами.

Всё разузнав от меня, она стала сама сообщать мне, что случилось в течение лета. То место, где была расположена выставка, оказалось, теперь называется «Николаевский парк». Там устроено было гулянье в пользу «Русского человеколюбивого общества». Щукина, сидя в киоске, продавала цветы, и маман помогала ей: господин Сиу встретил ее и усадил.

Просиявшая, она стала смотреть на окно. Я взволнован был. В первый же день по приезде я услышал о Щукиной, «Образование» которой посещала в «нечетные дни» Натали, и о господине Сиу. Я подумал, что, может быть, это — предзнаменование.

Я пробежался. Вдоль дамбы местами сидели рабочие и разбивали булыжники в щебень для чинки шоссе. С электрической станции уже убирали мостки и подпорки. Магистр Ян Ютт перебра́лся со своею аптекой в новый собственный дом — он украшен был около входа барельефом «сова́».

Я побродил между Щукиной и домом Янека. Если бы вдруг Натали появилась здесь — благовоспитанная, со скромным видом и с папкой «мюзик», я сказал бы ей: — Здравствуйте.

В классе среди второгодников оказались Сергей Митрофанов из «Религиозных предметов» — и Шустер. Он жил в нашем доме, и мы вместе пошли из училища. Он рассказал мне, что его младший брат исключен, потому что уже просидел в первом классе два года и остался на третий. Отец отлупил его и о́тдал в пекарню «Восток».

Из газеты «Двина» мы узнали однажды о несчастье, случившемся с Александрою Львовной. Скончался ее муж, доктор Вагель. Мы очень жалели ее. — Мало, ма-

ло, — сказала маман, — довелось ей наслаждаться семейною жизнью.

Мы были па похоронах. Там мы встретили нескольких прежних знакомых. Они уже сгорбились, стали седыми. Маман упрекала их, что они совершенно забыли ее. Была музыка. Я шел с Андреем, и мы узнавали места, которые в прошлом году вместе видели. — Вот «мел, гвоздей», — говорили мы. — Будьте здоровы. «Й. Ступель».

На кладбище, возле могилы Карманова, вспомнив, я рассказал, как в то время, когда я гостил в Евпатории, Сержу покупали одной булкой больше. чем мне, и объясняли при этом, что платят за лишнюю из его собственных средств. Отстав от процессии, мы посмеялись.

Обратно Кондратьевы нас подвезли. — Электрический театр, — сказали они нам, — открывается на этих днях. — И они предложили нам посмотреть его вместе.

Уже по ночам подмораживало. Уже днем в теплом воздухе стали встречаться места, где вдруг делалось холодно, как над ключами, которые бьют иногда в теплой речке.

Однажды Евгения вошла ко мне в комнату очень таинственная. Затворив за собой створки двери, она повернулась к ним и приложила к ним руки. Потом осторожно приблизилась и сообщила про младшего Шустера, что его «посадили». Он продал дерюгу, которою в пекарне «Восток» накрывались дежи.

К октябрю уже кончили строить собор. В именины наследника происходило его «освящение». В иконостасе мне понравилось изображение Иисуса Христа за вином и с «любимым учеником» у груди. Вася вспомнился мне. Умиленный, я подумал о том, как, встречаясь со мной, он приносит мне счастье и как он помог мне во время падения при спуске веревочной лестницы в шлюпку.

Открылся наконец электрический театр. Сначала мы посидели немного в «фойе». Посредине его был бассейн, и в нем, огибая водяные растения, плавали рыбки. Со дна возвышалась скалá, на которой стояли под зонтиком золоченые мальчик и девочка. Из конца зонтика била вода и стекала, как будто шел дождь. Не успели мы налюбоваться, как уже зазвенели звонки и отдернулись

занавесы, закрывавшие входы в зрительный зал. — Господа, — закричал я, увидя ряды нумерованных стульев и холст на стене, — это, кажется, то, что на выставке называлось живой фотографией. — Да, — подтвердила маман.

23

Электрический театр понравился нам. Он был дешев и отнимал мало времени. Я несколько раз побывал в нем с маман, был с Кондратьевыми. Мы любили его «видовые» с озерами, «драмы», в которых несчастная клала ребенка на порог богачей, и «комические». — До чего это глупо, — довольные, произносили мы по временам. Когда вспыхивал свет, я смотрел, кто сидит в полицмейстерской ложе.

Девица, которая разводила людей по местам, посадила один раз рядом со мной Карла Будриха. Мы не здоровались с ним с того времени, когда я ругал перед ним лютеранскую веру. Он сел, не взглянув на меня. Краем глаза я видел, что лицо его красно от ветра и ухо горит. Его палец был почти рядом с моим, и я чувствовал жар его. «Карл», — хотел я сказать.

Младший Шустер пришел из тюремного за́мка, и отец не впустил его в дом. — Ты фамилию нашу, — сказал он, — снес в острог. — Он был видный мужчина, с усами, машинист на железной дороге, вдовец, и хозяйство его вела́ мадам Гѐниг, которую он пригласил, когда в Полоцке умер полковник Бобров и она оказалась свободной.

Снег выпал. Кондратьева прикатила с Андреем по новой дороге и полюбовалась из окон на гарнизонный собор. — Как прекрасно, однако, — оглядываясь, говорила она нам. Сергей Митрофанов проехал по улице в маленьких санках. Он правил. Я вспомнил, как правил иногда Караа́том. Кондратьева проводила Митрофанова взглядом. — Крупитчатый малый, — сказала она, и маман разъяснила ей, что это зависит от корма. Потом они сели, и мы их послушали с четверть часа́. — Разговор идиоток, — сказал мне Андрей, когда мы от них вышли. Опять я себе обещал, что теперь никогда уже больше не соглашусь ни за что говорить с ним.

Софронычев стал приносить с собой в класс интерес-

ные книжки в обложках с картинками, называвшиеся «Пинкертон». За копейку он давал их читать, и я тоже их брал, потому что у меня были деньги из комиссионных за «крем».

Год назад я бы мог написать в «письмах к Сержу», что мне нравится, как в этих книжках льет дождь, Пинкертон, приняв ванну, сидит у камина, на ногах у него лежит плед, и он пьет горячительное. — Наконец-то я, — думает он, — отдохну. — Но внезапно раздается звонок, и экономка бежит открывать, и дорóгою она изрыгает проклятия.

Теперь же я уже не писал этих писем. Как демон из книги «М. Лермонтов», я был — один. Горько было мне это. — Вдруг, — ждал я иногда в темноте, когда вечером, кончив уроки, бродил, — мне сейчас кто-нибудь встретится: Мышкин или Алексей Карамазов, и мы познакомимся.

Снова у нас в гимнастическом зале был студенческий бал. Мадемуазель Евстигнеева пела, а Щукина исполняла «сонату аппассионату». Опять мне прислали записку. Опять я сбежал, потому что Стефания Грикюпель вдруг стала кивать мне и пошла ко мне через расчищенный для вальсирующих круг, оживленно подмигивая мне и делая какие-то знаки. У двери стояла «Агата», сестра Грегуара, — бесцветная, беловолосая, с носом индейца и четырехугольным лицом. Выразительно глядя, она шевельнула губами и двинула боком, как будто хотела не пропустить меня. Я удивлен был — я не был знаком с ней.

Газета «Двина» занималась опять Александрою Львовной, которая выиграла в новогодний тираж двести тысяч. Взволнованные, мы поспешили поздравить. — Билет ведь его, — рассказала она нам. — Недаром у меня всегда было предчувствие, что из этого брака что-то выйдет хорошее. — Да, — говорила маман, — вспоминаю, как я была тогда рада за вас.

Мы узнали еще, что она собирается переселиться в местечко, напротив которого мы провели одно лето на даче, когда я был маленький и куда она к нам приезжала. Она не забыла еще, как ей нравился тамошний воздух. — К тому же, — сказала она, — там приличное общество. — Так, — вспомнил я, когда мы возвращались, — и думал когда-то, что мы, если выиграем, то уедем жить в Эн, где нас будут любить.

Младший Шустер попался опять, и с тех пор его то выпускали — и тогда он прохаживался перед домом и иногда залезал в подвал к Аннушке, — то забирали. Сначала мадам Гениг высовывалась и давала ему из окошка еду, но отец не позволил.

Уже потемнели доро́ги. Днем таяло. Вечером небо было черно́, звезд на нем было особенно много. Все чаще вынимал я два «женских письма» («отчего вы задумчивы?» и «вы не такой, как другие») и снова читал их.

В церквах уже зазвонили по-постному. Мы исповедовались. Митрофанов был передо мной, и я слышал, как отец Николай, освещенный лампадками, бормотал ему что-то про «воображение и память».

24

Даме из Витебска мы написали поздравление с пасхой. В ответ мы получили открытку с картинкою. «Но́ли ме та́нгере». Эту картинку она уже нам присылала однажды. На ней перед голым и набросившим на себя простыню Иисусом Христом, протянув к нему руки, на коленях стояла интересная женщина. Мы посмеялись немного. Прочтя же, маман стала плакать. — Всё меньше, — сказала она мне, — у нас остается друзей. — Оказалось, дочь дамы писала нам, что дама уже умерла.

Перед пасхой был достроен костел. Он был белый, с двумя четырехугольными башнями и с богородицей в нише. Мне нравилось вечером сесть где-нибудь и смотреть, как луна исчезает за башнями и появляется снова. В день «божьего тяла» мы видели, стоя у окон, «процессию». Позже «Двина» описала ее, и маман говорила, что это «естественно, потому что Бодревич поляк».

Наконец школьный год был закончен. В один жаркий вечер маман разрешила мне пойти с Шустером на́ реку. Он был любезен со мной и хотел угостить меня семечками, но я не был приучен к ним. Возле костела он мне рассказал, как один господин «лежал кшижом» и выронил в это время бумажник, в котором хранил сто рублей.

В Николаевском парке мы увидели младшего Шусте-

ра. Мы побежали, но за огородами он нас догнал. Он ругал нас, не подходя, и швырял в нас камнями. Когда он отстал от нас, мы отдохнули, присев над канавой. — Мерзавец, — сказал я. Вдали нам видны были ла́гери. Марши по временам долетали оттуда. Я вспомнил, как когда-то с Андреем стоял у реки, Либерман загорал, а денщик, словно прачка, шел с вальком на мостки портомойни.

Вдоль берегов на реке нагорожены были плоты. Перескакивая, мы добрали́сь до воды и купались. Мы прыгали и протыкали ногами отражение неба. Потом Шустер свел меня к бабьему месту, но я видел хуже, чем он, и купальщицы мне представлялись расплывчатыми белесоватыми пятнышками.

Я скоро начал ходить без него, потому что мне было неловко с ним. Он ничего не читал, и мне трудно было придумать, о чем говорить с ним. Один, я валялся на бревнах и слушал, как вода о них шлёпается. Я читал «Ожидания» Диккенса, и мне казалось, что и меня что-то ждет впереди необычайное.

Из Евпатории пришло один раз доплатное письмо. — Что такое? — дивилась маман, вынимая из конверта газетные вырезки. Заинтригованная, она села читать и потом ничего не сказала. Письмо она бросила в печку, а вырезки спрятала. Я разыскал их, когда ее не было дома. «Опасный, — называлась статья про пятнадцатилетних, которая там была напечатана, — возраст».

— Так вот как, — сказал я, прочтя. Я заметил теперь, что маман за мной стала подсматривать. С этого дня я старался вести себя так, чтобы ей про меня ничего нельзя было узнать.

С Александрою Львовною мы побывали в местечке, в которое она думала переезжать. Называлось оно «Свента-Гура». Со станции нас вёз извозчик, говоривший «бонжур». Мы задумались, воспоминания нас обступили.

«Вдова А. Л. Вагель», — уже красовалась доска на воро́тах одноэтажного дома из дикого камня. На нем была черепичная крыша и флюгер «стрела́». Здесь жил раньше «граф Михась». Мы слышали, что он «умер во время молитвы».

Подрядчик пошел перед нами, отворяя нам двери. Ремонт был почти уже кончен. В особенности нам понра-

вилась ванная комната с окнами в куполе. В ванну надо было сходить по ступеням.

Маман повела А. Л. Вагель к фрау Анне, вдове доктора Эрнста Рабе, а я осмотрел Свенту-Гуру. Базарная площадь окружена была лавками. Вывески были с картинками, под которыми была сделана подпись художника М. Цыперо́вича. Дом к-ца Мамо́нова, белый, украшен был около входа столбами. Над дверью аптеки фон-Бонин сидела на деревянном балконе аптекарша с сыном. Они пили кофе. На горке за садом аптеки был виден костел. Вдоль карниза его были расставлены статуи расхлопотавшихся старцев и скромных девиц.

Я зашел за маман. Фрау Анна сказала приветливо: — Это ваш сын? Это очень приятно. — Она угостила меня пфеферкухеном.

Вскоре «Человеколюбивое общество» было превращено в «Православное братство». Его председателем стал наш директор, а вице-председателем — Щукина. Братство устроило в нашем гимнастическом зале концерт с Евстигнеевой, Щукиной, хо́ром собора и феноменальным ребенком. Из выручки был поднесён отцу Федору крест.

А. Л. Вагель уехала в свой новый дом. Почти месяц мы ничего не слыхали о ней. Наконец фрау Анна, явясь со своим «вдовьим листом» в казначейство, зашла к нам. Она рассказала нам, что А. Л. посетила «палац», но графиня не согласилась к ней выйти. А. Л. собирается основать в Свенте-Гуре, подобно тому, как оно есть у нас, православное братство и бороться с католиками. Она строит при въезде в местечко часовенку в память «усекновения главы», и часовенка эта будет внутри и снаружи расписана. — Я представляю себе, как это будет красиво, — сказала маман, и мне тоже казалось, что это должно быть прекрасно.

25

Когда все было готово, А. Л. показала нам это. Она посадила нас в автомобиль, и он живо доставил нас. Низенькая, эта часовня украшена была золоченой «главой» в форме миски для супа. А. Л. научила нас, как рассматривать живопись через кулак. Мы увидели Ирода, перед которым, уперев в бока руки, плясала его толстощекая падчерица. Я подумал, что так, может быть, перед отчи-

мом танцевала когда-то Софи. Голова Иоанна Крестителя лежала на скатерти среди булок и чашек, а тело валялось в углу. Его шея в разрезе была темно-красная с беленькой точкой в средине. Кровь била дугой.

Мы остались у А. Л. до последнего поезда. После обеда из города к ней прикатила «мадам», и А. Л. занималась с ней. — «Ки се рессамбль», — бубнила она по складáм в «кабинете», — «с'ассамбль». — Потóм пришло много гостей — свентогурских чиновников, пенсионерок и дачников. А. Л. кормила их и толковала про «объединение» и про «отпор».

— Интересно, — заметил почтмейстер Репнин, — что у них на палáце есть палка для флага, а флага они не вывешивают. — После этого поговорили о том, как печально бывает, когда вдруг узнáешь, что кто-нибудь против правительства, и фрау Анна, которая, улыбаясь приятно, молчала, вдруг вздрогнула. — Я вспоминаю, — сказала она, — девятьсот пятый год. Это было ужасно. Тогда люди были нахальны, как звери.

Затем мы отправились в «парк». На А. Л. была автомобильная шляпа, в руке же она несла хлыст. Быстрым шагом мы прошлись вслед за ней по дорожкам. — Гимн, — крикнул почтмейстер Репнин, когда мы оказались на главной площадке, где были подмостки. Тут все сняли шапки. Сидевшие встали. Потрескивали под протянутой между деревьями проволокой фонари из зеленой и синей бумаги. Оркестр из трех музыкантов, которыми дирижировал М. Цыперович (художник), сыграл. Мы кричали «ура», ликовали и требовали опять и опять повторения.

— Не понимаю, зачем, — говорила маман, когда мы возвращались и, сидя в вагоне, смотрели на искры за окнами, — вéртятся возле нее эти малые — сурирщин и бóниншин. — Я ничего не сказал ей. — Опасный, — подумал я, — возраст, когда я пойму ужé это, — пятнадцать, а мне еще только четырнадцать лет.

Через несколько дней после этого я получил письмецо. Маман не было дома, и оно не попало к ней в руки. «Я очень прошу вас, — писали мне, — быть на бульваре».

Когда пришло время, я вышел взволнованный. Я задержался в дверях, потому что увидел Горшкову. Она растолстела. Живот у нее стал огромным. Чуть двигаясь, в шляпе с цветами и в пелерине из кружев, она направлялась в собор.

Переждав ее, я побежал. Мадам Гениг стояла у дерева и подстерегала меня. — Я смотрела, — загородив мне дорогу, сказала она, — во дворе, как развешивают там ваше белье. Все такое хорошее, и всего очень много. — Она попыталась схватить меня за руку. — Если бы, — томно вздохнув, заглянула она мне в глаза, — дети Шустера были как вы.

Из-за задержек я прибежал с опозданием. На месте свиданья я увидел Агату. — Прекрасно, — подумал я. — Пусть она смотрит и после расскажет обо всем Натали.

Она ёрзала, сидя на лавочке, и вытаращивалась. Проходил Митрофанов. Я с ним поболтал. Он сказал мне, что уже не вернется к нам в школу и будет учиться в коммерческом. Я понимал, что ему не должно было быть удобно у нас после тех разговоров, которые у него состоялись с отцом Николаем на исповеди. Я подумал, довольный, что я никогда не поймался бы так. Я огляделся еще раз. Агата вскочила и села опять. Я пошел с Митрофановым. Дама, по приглашению которой я прибыл сюда, очевидно, не дождалась меня. Было досадно.

Простясь с Митрофановым, я возвращался по дамбе. Звонили в церквах. Громыхая, катили навстречу мне ассенизаторы. Я удивился, узнав среди них того Осипа, что когда-то учился со мной у Горшковой. Он тоже заметил меня, но не стал со мной кланяться. Первым же я в этот вечер не захотел поклониться ему.

В конце лета случилась беда с мадам Штраус. Ей на голову, оборвавшись, упал медный окорок, и она умерла на глазах капельмейстера Шмидта, который стоял с ней у входа в колбасную.

Похороны были очень торжественны. Шел полицейский и заставлял снимать шапки. Потом ехал пастор. За дрогами первым был Штраус. Его вели под руки Йозес (рояли) и Ютт. Дальше шли мадам Ютт, мадам Йозес и Бонинша, явившаяся из местечка. Затем начиналась толпа. В ней был Пфердхен, Закс (спички), Бодревич, Шмидт, Грилихес (кожа), отец Митрофанова. В кирке звонили. Печальный, я смотрел из окна. Я представил себе, что, быть может, когда-нибудь так повезут Натали, и, как Шмидту сегодня, мне место окажется сзади, среди посторонних.

На молебне Андрей встал со мной. Я доволен был, что не чувствую никакого интереса к нему. Приосаниваясь, я стоял независимо. — Двое и птица, — сказал он мне и показал головой на алтарь, где висело изображение «троицы». Я не ответил ему.

Когда мы расходились, меня задержал в коридоре директор. Он мне предложил поступить в наблюдатели метеорологической станции. Он пояснил мне, что таких «наблюдателей» освобождают от платы. Смотря ему на бороду, я представил себе, как войду и не с первого слова объявлю эту новость маман. Он сказал мне, что Гвоздёв, шестиклассник, покажет мне, что и как надо делать.

Взволнованный, как всегда перед новым знакомством, я ждал своей встречи с Гвоздёвым. — Не он ли, — говорил я себе, — этот Мышкин, которого я все время ищу?

На другой день он утром забежал ко мне в класс. Он был юркий и щупленький, черноволосый, с зеленоватыми глазками. Мы сговорились, что вечером я с ним пойду.

Этот вечер был похож на весенний. Деревья раскачивались. Теплый ветер дул. Быстро летели клоки рыхлых тучек, и звезды блестели сквозь них. Запах леса иногда проносился. Гвоздёв меня ждал на углу. Я сказал ему: — Здравствуйте, — и мне понравился голос, которым я это сказал: он был низкий, солидный, не такой, как всегда.

По дороге Гвоздёв рассказал мне кое-что из учительской жизни и из жизни Иван Моисеича и мадам Головнёвой. Про каждого ему что-нибудь было известно. Я, радостный, слушал его.

Незаметно мы дошли до училища. Было темно внутри. Дверь завизжала и громко захлопнулась. Гулко звучали шаги. Слабый свет проникал в окна с улицы. Молча сидели на ларе сторожа, и концы их сигарок светились. Гвоздёв чиркал спичками «Закс». Из «физического кабинета» мы достали фонарик и книжку для записей. К флюгеру мы полезли на крышу. Люк был огорожен перилами. Мы постояли у них и послушали, как галдят на бульваре внизу.

Возвращаясь, мы шли мимо Ютта. Фонарь освещал барельеф возле входа, изображавший сову, и Гвоздёв со-

общил мне, что все украшения этого дома придуманы нашим учителем чистописания и рисования Сéппом. Он мне рассказал, что Сепп, Ютт и учитель немецкого Матц происходят из Дерпта. По праздникам они пьют втроем пиво, поют по-эстонски и пляшут.

Прощаясь, он меня попросил, чтобы я познакомил его с Грегуаром. — Гвоздёв, — на мотив «мел, гвоздей» напевал я, оставшись один, — дорогой мой Гвоздёв.

Я обдумал, о чем говорить с ним при будущих встречах, прочел для примера разговоры Подростка с Версиловым и просмотрел «Катехизис», чтобы вспомнить смешные места.

Но беседа, к которой я так подготовился, не состоялась. Назавтра Гвоздёв подошел ко мне на «перемене». На куртке у него сидел клоп. Это расхолодило меня.

Я представил Гвоздёва Софронычеву, и они подружились, и даже Грегуар записал это в свой «Календарь». Он оставил его один раз на окне в коридоре, и там он попался мне. Я приоткрыл его. — Самое, — увидел я надпись, — любимое:

КНИГА — «БАЛАКИРЕВ»,
ПЕСНЯ — «ПО ВОЛГЕ»,
ГЕРОИ — СУВОРОВ И СКОБЕЛЕВ,
ДРУГ — Н. ГВОЗДЕВ».

Этой осенью я не ходил на кондратьевские именины.
— Мне задано много уроков, — сказал я, — и, кроме того, мне придется бежать еще на «наблюдение».

Стали морозы. Маман мне купила коньки и велела, чтобы я взял себе абонемент на каток. — Хорошо для здоровья, — сказала она мне. Я знал, что она это вычитала из статьи про пятнадцатилетних, которую летом ей прислала Карманова.

Я брал коньки и, позвякивая, выходил с ними, но не катался на них, а ходил по реке к повороту, откуда видны были Шавские Дрожки вдали, или в Гриву Земгальскую, где была церковь, в которой когда-то венчалась А. Л.

Возвращаясь оттуда, я иногда заходил на каток. Там играл на эстраде управляемый капельмейстером Шмидтом оркестр. Гудели и горели лиловым огнем фонари. Конькобежцы неслись вдоль ограды из елок. Усевшись на спинки скамеек, покачивались и вели разговоры под му-

зыку зрители. Я находил Натали и смотрел на нее. Раскрасневшаяся, она мчалась по льду с Грегуаром. Схватясь за Гвоздёва, Агата, коротенькая, приналегала и не отставала от них. Карл Пфердхен, красуясь, скользил внутрь круга, проделывал разные штуки и вдруг замирал, приподняв одну ногу и распростирая объятия. Бледная, с огненным носом, Агата упускала друзей и все чаще начинала мелькать одиноко и устремлять на меня выразительный взгляд.

Я заметил там одну девочку в синем пальто. Когда я появлялся, она принималась вертеться поблизости. Раз она стала бросать в меня снегом. Не зная, как быть, я в смятении встал и удалился величественно.

Как всегда, на рождественских праздниках состоялся студенческий бал. Я пошел туда — с «почты амура» я надеялся получить, как всегда, письмецо.

В гимнастическом зале, как в лесу, пахло елками. Между печами, блистающий, был расположен оркестр. Евстигнеева пела, тщедушная, встав на подмостках во фронт. Было все, как всегда. Не хватало одной мадам Штраус.

Стефания незаметно подкралась ко мне.

— Сколько времени мы не встречались, — сказала она и, схватив меня за руку, стала трясти ее. Тут подоспела девица, которая, мечá в меня снегом, напала на меня один раз на катке, и Стефания ее мне представила. — Жаждет, — пояснила она, — познакомиться с вами. Просила меня еще в прошлом году, но вы тогда вдруг испарились. — Девица кивала, чтобы подтвердить это. Крепенькая, она была рыжая, с «греческим» носом и узкими глазками. Звали ее, оказалось, Луиза Кугенау-Петрошка.

27

— Ну, я исчезаю, — сказала Стефания. С ужимками она показала ладонь, по-куриному, боком, взглянула на нас и шмыгнула куда-то. Луиза осталась, сияющая. Мы прошлись с ней вдоль вешалок и сообщили друг другу, какие у нас по какому предмету отметки.

От вешалок она повлекла меня в зал. Там, со скрещенными около груди руками, кавалеры и дамы ногами выделывали кренделя и скакали по кругу, отплясывая «хиавату». Припрыгивая, они боком отходили один от

другого в противоположные стороны и, возвращаясь, сходились опять.

Натали в двух шагах от меня пронеслась с Либерманом. Она была счастлива. Глазки ее — они были коричневые — были подняты на́искось влево. Ее волоса, как у взрослой наплоенные, были взбиты, и в них была сунута фиалка.

Мне подали с «почты амура» письмо. В нем было написано: «Ого!» — и я вспомнил заметки Кондратьева на «Заратустре».

Луиза училась в «гимназии Брун» и свела меня с разными ученицами этой гимназии. Большею частью они были не в первый уже раз второгодницы и девицы в летах. Бродя толпами, все свое время они проводили обычно на воздухе. Я каждый вечер, примкнув к ним, старался увлечь их в места, на которых могла бы встретиться нам Натали. Я узнал, что она ходит к «залу для свадеб и балов» Абрага́ма, где дамба сворачивает и с нее можно видеть три четверти неба, и оттуда любуется вместе с Софронычевым кометой. Я стал заводить своих спутниц туда и, притоптывая, чтобы ноги не мерзли, стоять с ними там и рассуждать о комете. Они ее видели, мне же ее почему-то ни разу не удалось разглядеть.

От Кармановых мы получили открытку. Они предлагали мне съездить на масленице посмотреть, что за город Москва. Мы решили, что я могу съездить. Маман подала заявление, и мне прислали бесплатный билет.

Я приехал в Москву в полуоттепель. В воздухе было туманно, как в прачечной. Тучи висе̇ли. — Арбат, дом Чулкова, — сказал я, садясь один в сани. Большие дома попадались кое-где рядом с хибарками, и боковые их стены расписаны были адресами гостиниц. Поблизости где-то раздавались звонки электрической конки. Блестя куполами, стояли разноцветные церкви. Крестясь возле них, мужики среди улицы кланялись в землю.

Извозчик свернул, и мы стали тащиться за занимавшими всю ширину переулка возами с пенькой. Там мне встретилась Ольга Кускова. Мы ахнули. Я соскочил, и она, объявив мне, что я возмужал, обещала явиться к Кармановым.

Серж растолстел. Его рот стал мясистым, и около губ уже что-то темнелось. Карманова, протерев краем

кофты пенсне, с интересом на меня посмотрела, и я постарался, чтобы у меня в это время был «непроницаемый вид».

На столе я увидел фотографию, прикрытую толстым стеклом: рядом с мужем, обставленная симметрично тремя детьми, Софи, грузная, со скучным лицом, опирается на балюстраду, обитую плюшем с помпончиками.— Кто сказал бы, — подумал я с грустью, — что это она так недавно, прекрасная, распростиралась у ног Либермана, играя с ним в драме, и так потрясала присутствующих, ломая перед ним свои руки, в то время, как он, отшатнувшись, стоял неприступный, как будто Христос на картинке, называемой «Но́ли ме та́нгере»?

Серж показал мне журнальчики «Сатирикон». Я еще никогда их не видел. Они чрезвычайно понравились мне, и мне жаль было оторваться от них, когда Серж стал тащить меня осматривать город.

Мы вышли. — Известно вам, Серж, — спросил я, когда мы отдалились от дома Чулкова, — что ваша мамахен прислала моей сочинение об опасностях нашего возраста? — Серж посмеялся.— Она вообще,— сказал он,— аматёрша клубнички. — Он мне рассказал, что она (пофранцузски, чтобы он не прочел) услаждает себя, например, Мопассанчиком. — Это, — спросил я его, — неприличная книга? — И он подмигнул мне.

Когда мы вернулись, он мне показал эту книгу. Она называлась «Юн ви». Переплет ее был обернут газетой, в которой напечатано было, что вот наконец-то и в Турции нет уже абсолютизма и можно сказать, что теперь все державы Европы — конституционные.

Вечером Ольга Кускова была, рассказала нам случай из жизни одного лихача и сказала, что, кажется, скоро Белугиных переведут в Петербург. Я и Серж проводили ее, и она сообщила нам, как всего легче найти ее дом: после вывески «Чайная лавка и двор для извозчиков» надо свернуть и идти до «двора для извозчиков с дачею чая». Она мне шепнула украдкой, что завтра будет ждать меня в сумерки.

Мы распростились. Навстречу мне с Сержем по переулку проехала барыня на вороных лошадях и с солдатом на козлах. — Серж, помнишь, — сказал я, — когда-то ты научил меня песенке о мадаме Фу-фу. — Мы приятно настроились, вспомнили кое о чем. О той дружбе, которая прежде была между нами, мы не вспоминали.

Назавтра у Кармановых были блины, и мне лень было после них идти к Ольге Кусковой. На следующий после этого день я уехал. С извозчика я увидел Большую Медведицу. — Миленькая, — прошептал я ей: чем-то она мне показалась похожей на фиалку, которую я однажды заметил в волосах Натали.

28

— Моя мама, — сказала Луиза, — хотела бы, чтобы вы мне давали уроки, — и мы сговорились, что завтра из школы я заверну в «кабинет», а мадам Кугенау-Петрошка меня примет без очереди. Я обдумал, что делать с деньгами, которые я буду с нее получать.

По дороге попрыгивали и попивали из луж воробьи. На бульваре вокруг каждого дерева вытаяло и был виден коричневый с прошлогодними листьями дерн. Золоченые буквы блестели на вывесках. Около входа в подвал стоял шест с клоком ваты, и ваточница в черной бархатной шляпе с пером, освещенная солнцем, сидела на стуле, покачивалась и руками в перчатках вязала чулок. На углу, за которым жила Кугенау-Петрошка, меня догнала возвращавшаяся из гимназии Агата. Она потихоньку вошла за мной в сени и посмотрела, к кому я иду.

Кугенау-Петрошка впустила меня и, усадив, сама села, кокетливая, в зубоврачебное кресло. Лицо у нее было пудреное, с одутловатостями, а волоса — подпаленные. Щурясь, как когда-то Горшкова, она принялась торговаться со мной. — Это принято уж, — говорила она, — что знакомым бывает уступочка.— Разочарованный, выйдя, я похвалил себя, что не похвастался раньше, чем следует, перед маман.

Лед раскис на катке. Стало модным иметь в руке вербочку. С гвалтом, подгоняемые подметальщиками, побежали по краям тротуаров ручьи. — Щепка лезет на щепку, — хихикая, стали говорить кавалеры.

Прошло, оказалось, сто лет от рождения Гоголя. В школе устроен был акт. За обедней отец Николай прочел проповедь. В ней он советовал нам подражать «Гоголю как сыну церкви». Потом он служил панихиду. Затем мы спустились в гимнастический зал. Там директор, цитируя «Тройку», сказал кое-что. Семиклассники произносили отрывки. Учитель словесности продекла-

мировал оду, которую сам сочинил. Потом певчие спели ее.

Я был тронут. Я думал о городе Эн, о Манилове с Чичиковым, вспоминал свое детство.

Во время экзаменов к нам прикатил «попечитель учебного округа», и я видел его в коридоре. Он был сухопарый и черный, со злодейской бородкой, как жулик на обложке одного «Пинкертона», называвшегося «Злой рок шахт Виктория». Он провалил третью часть шестиклассников. Осенью я должен был встретиться с ними. Могло приключиться, что я подружусь с кем-нибудь из них.

Снова я ходил каждый день на плоты. Я читал там «Мольера», которого мне посоветовал библиотекарь. А вечером я по привычке слонялся с ученицами Брун. Нам встречалась Луиза со своим новым другом. Ко мне она относилась теперь сатирически и звала меня выжигою, влюблена же была теперь в ученика городского училища. Это было не принято у гимназисток, и все порицали ее.

Иногда, записав «наблюдение», я задерживался на училищной крыше. Я слушал, как шумят на бульваре гуляющие. Я смотрел на оставшуюся от заката зарю, на которой чернелись замысловатые трубы аптеки, и думал, что, может быть, в эту минуту магистр пьет пиво и радуется, наслаждаясь приязнью друзей.

Фрау Анна, приехав однажды, сказала нам, что А. Л. теперь, после обеда, одна, каждый день удаляется на гору и остается там до появления звезд, размышляя о том, как составить свое завещание.

Маман меня стала возить в Свенту-Гуру. В столовой у А. Л. я заметил картинку, которая показалась мне очень приятной. На ней была нарисована «Тайная вéчеря». Я посмотрел, как фамилия художника, и она оказалась «да Винчи». Я вспомнил картины, которые видел в Москве в галерее, и Сержа, восхищавшегося Иоанном IУ, который над трупом убитого сына выкатывает невероятно глаза.

Оба мальца, Сурир и фон-Бонин, вертелись по-прежнему возле А. Л. Они первые занимали гамак у крыльца и места на диванах в гостиной. Маман говорила о них, что они плохо очень воспитаны.

Раз я, бродя в конце дня, взошел на гору и наскочил на А. Л. Она, скрючась, сидела на кочечке, в шляпе

с шарфом, и, старенькая, подпершись кулаком, что-то думала, глядя вниз, где был виден плац. Незамеченный, я ее пробовал издали гипнотизировать, чтобы она свои деньги оставила мне.

От Кармановой мы получили письмо. Оно было какое-то толстое, и можно было подумать, что в нем есть что-нибудь нежелательное. Я расклеил его. В нем написано было, что Ольга Кускова сейчас в Евпатории и Серж начал «жить» с ней, что «раз у него уж такой темперамент, то пусть лучше с ней, чем бог знает с кем», и что Карманова даже делает ей иногда небольшие подарки.

— Серж любил публичность, — сказал я себе и приподнял перед зеркалом брови.

Маман, распечатав письмо, перечла его несколько раз. Она снова принялась за обедом и ужином искоса уставлять на меня «проницательный взгляд». Я боялся, что она вдруг решится и начнет говорить что-нибудь из «Опасного возраста». Я избегал оставаться с ней, а оставаясь, старался все время трещать языком, чтобы ей было некогда вставить словечко.

Я был с ней на Уточкине. Мы впервые увидели аэроплан. Отделясь от земли, он, жужжа, поднялся и раз десять описал большой круг. Пораженные, мы были страшно довольны.

Домой я вернулся один, потому что маман то и дело замечала знакомых и с ними задерживалась. Оживленная, придя после меня, она стала ругать мне какого-то «кандидата на судебные должности», у которого умер отец, а он запер его и всю ночь, как ни в чем не бывало, прогулял в Шавских Дрожках. Тогда я сказал ей, что «это естественно, так как противно сидеть в одном помещении с трупом». Внезапно она стала рыдать и выкрикивать, что теперь поняла, чего ждать от меня.

Целый месяц потом, посмотрев на меня, она вытирала глаза и вздыхала. Это было бессмысленно и возмущало меня.

29

Я думал об Ольге Кусковой, и мне было жаль ее. Неповоротливая, она мне, когда я их обеих не видел, напоминала Софи. Так, недавно еще в Шавских Дрожках, одетая в полукороткое платье, она рисовала нам «девушку боком, в малороссийском костюме». В лесу возле «ли-

нии», пылкая, когда проезжали «каратели», она грозила им вслед кулаком.

Приближался «молебен». С своими приятельницами я грустил, что кончается лето. Однажды стоял серый день, рано стало темно, дождь закапал, и мы разошлись, едва встретясь. Прощаясь со мной, Катя Голубева положила мне в руку каштан. Он был гладенький, было приятно держать его. Тихо покапывало. В темноте пахло тополем. Я не вошел сразу в дом, завернул в палисадник и сел на скамью. Наши окна, освещенные, были открыты. Маман принимала Кондратьеву, и неожиданно я услыхал интересные вещи.

На Уточкине, где маман была в шляпе, украшенной виноградною кистью и перьями, был полковник в отставке Писцов, и маман на него произвела впечатление. Он подослал к ней Ивановну, отставную монахиню, — ту, которой Кондратьева в прошлом году отдавала стегать одеяла, — и спрашивал, как бы маман отнеслась к нему, если бы он прибыл к ней с предложением. — Благодарите, — сказала маман, — господина Писцова, но я посвятила себя воспитанию сына и уже не живу для себя.

Я услышал, как она стала всхлипывать и говорить, что родители жертвуют всем и не видят от детей благодарности. — Трудно представить себе, — зарыдала она,— до чего оскорбительна бывает их черствость.

С тех пор я старался не попадаться знакомым маман на глаза. Мне казалось, что, взглянув на меня, они думают: «Черствый! Это он оскорбляет свою бедную мать».

Второгодников в классе оказалось двенадцать, и все они были дюжие малые. Как говорили, у попечителя была слабость проваливать учеников с представительной внешностью. С нами они страшно важничали, и самым важным из всех был Ершов. Он был смуглый, с глазами коричневыми, как глаза Натали. Он надменно смотрел и казался таинственным. Он поразил меня. Я попытался покороче сойтись с ним. В училищной церкви я встал рядом с ним и, показав ему головой на икону, сказал ему: — Двое и птица. — Он двинул губами и не посмотрел на меня. Я достал свой каштан (Кати Голубевой) и хотел подарить ему, но он не принял его.

С переклички я вышел с Андреем. Я страшно смеялся и говорил очень громко, посматривая, не Ершов ли это сейчас обогнал нас.

Андрей проводил меня до дому и завернул со мной внутрь. Как всегда, он раскрыл мой учебник «закона». — «Пустыня, — прочел он из главы о «монашестве пустынножительном», — бывшая дотоле безлюдною, вдруг оживилась. Великое множество старцев наполнило оную и читало в ней, пело, постилось, молилось». — Он взял карандаш и бумагу и нарисовал этих старцев.

Карманова, у которой еще оставались здесь кое-какие дела, прикатила и прожила у нас несколько дней. Благодушная, улыбаясь приятно, она поднесла маман «Библию». — Тут есть такое! — сказала она.

Я подслушал кое-что, когда дамы, сияющие, обнявшись удалились к маман. Оказалось, что Ольги Кусковой уже нет в живых. Она плохо понимала свое положение, и инженерша принуждена была с ней обстоятельно поговорить. А она показала себя недотрогой. Отправилась на железнодорожную насыпь, накинула полотняный мешок себе на голову и, устроясь на рельсах, дала переехать себя пассажирскому поезду.

Время, которое инженерша у нас провела, хорошо было тем, что маман отвлеклась от меня, не бросала на меня драматических взглядов и не сопровождала их вздохами.

Я этой осенью стал репетитором у одного пятиклассника. Бравый, он был больше и толще меня и басил. Иногда, когда я с ним сидел, к нам являлся отец его. — Вы, если что, — говорил он мне, — ставьте в известность меня. Я буду драть. — И рассказывал, что дерет при полиции: дома мерзавец орет, и соседи сбегаются. Я вспоминал тогда Васю. Поэзия детства оживала во мне.

Я был занят теперь, и с девицами мне разгуливать некогда было. В свободное время я читал «Мизантропа» или «Дон Жуана». Они мне понравились летом, и я, когда ученик заплатил мне, купил их себе.

В эту зиму со мной не случилось ничего интересного. Разочарованный, ожесточенный, оттолкнутый, я уже не соблазнялся примером Манилова с Чичиковым. Я теперь издевался над дружбой, смеялся над Гвоздёвым с Софронычевым, над магистром фармации Юттом.

По праздникам, когда я стоял в церкви, я знал, что шагах в десяти от меня, за проходом, стоит Натали. Мое зрение, по-видимому, стало хуже. Лица ее я не видел. Я чувствовал только, которое пятнышко было ее голо́вой.

Незаметно дожили мы до экзаменов. Утром перед «письменным по математике» в нашей квартире неожиданно звякнул звонок, и Евгения подала мне конверт. В нем, написанные той рукой, что писала мне несколько раз через «почту амура», заклеены были задачи, которые будут даны на экзамене, и их решения. Пакет этот подал Евгении городовой.

30

Помещик Хайновский, с усищами и одетый в какую-то серую куртку со шнурами, какую я видел однажды на Штраусе, вскоре после экзаменов был у нас, чтобы нанять меня на лето к детям. Я связан был метеорологической станцией, и мне нельзя было ехать к нему.

Было жаль. Мне казалось, что там, может быть, я увидел бы что-нибудь необычайное. Я вспомнил, как один ученик прошлой осенью мне рассказывал, что он жил у баронов. Из Англии к баронессе приехал двоюродный брат. В красных трусиках он скакал с перил мостика в пруд, а бароны-соседи, которых созвали и, рассадив на лугу, подавали им кофе, — смотрели.

Один, как другой, одинаковые, как летом прошлого года и как позапрошлого, без происшествий, шли дни. Перед праздниками иногда мимо нашего дома, раздувшаяся, в шляпе с перьями, пудреная, волоча по земле подол юбки, в митенках, Горшкова, чуть тащась, проходила в собор. Младший Шустер, свистя и поглядывая на окошки, прогуливался иногда перед домом. Подвальная Аннушка по вечерам, возвращаясь откуда-нибудь, иногда приводила знакомого. Бабка и Федька выскакивали, чтобы им не мешать, и, пока они там рассуждали, стояли на улице.

Раз я, бродя, очутился у лагерей, встретил Андрея, и мы с ним прошлись. Как когда я был маленький, нам попадались походные кухни. Расклеены были афиши, и на них запечатлено было «Денщик-лиходей». Затрубили «вечернюю зорю». Звезда появилась на небе. — Андрей, — сказал я, — я читаю «Сера́пеум». — Я рассказал ему то, что прочел там про древних христиан. Мы посетовали, что в училище нас надувают и правду нам удается узнать лишь случайно.

Настроясь критически, мы поболтали о боге. Мы вспомнили, как нам хотелось узнать, Серж ли был «Страшный мальчик».

— С Андреем, — говорил я себе, возвращаясь, — приятно, но в нем как-то нет ничего поэтического. — И я вспомнил Ершова.

А. Л., как и в прошлом году, взойдя на гору после обеда, обдумывала каждый день завещание. Маман, чтобы чаще бывать у нее, стала брать у нее «Дамский мир». Иногда, прочтя номер, она посылала меня отвезти его.

Часто, раскрыв его в поезде, я находил в нем что-нибудь занимательное. Например, что влиять на эмоции гостя мы можем через цвет абажура. Когда же мы хотим пробудить в госте страсть, мы должны погасить свет совсем. Мне хотелось тогда, чтобы было с кем вместе посмеяться над этим, но мне было не с кем.

Старухи, которые были в гостях у А. Л., с удовольствием заводили со мной разговоры. Они меня спрашивали, кем я буду.

— Врачом, — говорила А. Л. за меня, так как я сам не знал, и я начал и сам отвечать так. Со стула я видел картинку да Винчи, но с места не мог ее рассмотреть, подойти же к ней ближе при всех я стеснялся.

Я думал о ней каждый раз, проходя мимо вывесок с прачкой, которая гладит, а в окно у нее за спиной видно небо. Я помнил окно позади стола с «вечерей», изображенное на этой картинке.

В день «перенесения мощей Ефросинии Полоцкой» был «крестный ход», и маман, надев шляпу, в которой понравилась в прошлом году господину Писцову, ходила в собор.

Возвратилась она из собора сияющая и, призвав к себе в спальню меня и Евгению, стала рассказывать нам.— Как прекрасно там было, — снимая с себя свое новое платье и моясь, красивым, как будто в гостях, с интонациями, голосом говорила она. — Было много цветов. Много дам специально приехало с дачи. — И тут она, будто бы вскользь, объявила нам, что в «ходу» была рядом с госпожою Сиу и она была очень любезна и даже, прощаясь, пригласила маман побывать у нее в Шавских Дрожках.

Она наконец покатила туда. В этот вечер мне казалось, что время не движется. Я очень долго купался. Обратно шел медленно. Парило. Тучи висели. Темнело. Бесшумные молнии вспыхивали. В Николаевском парке в кустах егозили. На улицах люди впотьмах похохаты-

вали. Бабка с Федькой стояли у дома. Ходила от угла до угла мадам Гениг. Она задержала меня и сказала мне, что в такую погоду ей чувствуется, что она одинока.

Я долго сидел перед лампой над книгой. Евгения иногда появлялась в дверях. Не дождавшись, чтобы я на нее посмотрел, она громко вздыхала и исчезала на время.

Маман прибыла в половине двенадцатого. Чрезвычайно довольная, она показала мне книжку, которую получила для чтения от господина Сиу. Эта книжка называлась «Так что же нам делать?». Прижав ее к сердцу, я гладил ее, а маман мне рассказывала, что прислуга Сиу замечательно выдрессирована.

— Видела дочь? — спросил я наконец. Оказалось, ее не было дома.

Маман занялась с того дня дрессировкой Евгении, сшила наколку ей на голову и велела ей, если случится свободное время, вязать для меня шерстяные чулки. Я сказал, что не буду носить их. Маман порыдала.

31

Когда мы явились в училище, там был уже новый директор. Он был краснощекий, с багровыми жилками, низенький, с пузом, без шеи. Лицо его было пристроено так, что всегда было несколько поднято вверх и казалось положенным на небольшой аналой.

Он завел у нас трубный оркестр и велел нам носить вместо курток рубахи. Он сделал в училищной церкви ступеньки к иконам. Он выписал «кафедру» и в гимнастическом зале сказал с нее речь. Мы узнали из нее между прочим о пользе экскурсий. Они, оказалось, прекрасно дополняют собой обучение в школе.

Прошло два-три дня, и в субботу Иван Моисеич явился к нам перед уроками и объявил нам, что вечером мы отправляемся в Ригу.

Невыспавшиеся, мы туда прибыли утром и, выгрузясь, побежали в какую-то школу пить чай. У вокзала мы остановились и подивились на фурманов в шляпах и в узких ливреях с пелеринами и галунами. Их лошади были запряжены без дуги. Пробегали трамваи. Деревья и улицы были только что по́литы. Город был очень красив и как будто знако́м мне. Возможно, он похож был на тот город Эн, куда мне так хотелось поехать, когда я был маленький.

Прежде всего мы побывали в соборе, потом в главной кирке. — Зо загт дер апо́стель, — с балкончика проповедовал пастор и жестикулировал. — Паулюс! — Здесь к нам подошел Фридрих Олов. Он был одет в «штатское». В левой руке он держал «котелок» и перчатки.

Все были растроганы. Он пожимал наши руки, сиял и ходил с нами всюду, куда нас водили. Он с нами осматривал туфельку Анны Иоанновны в клубе, канал с лебедями, поехал на взморье, купался. — Неужели, — восхищался он нами, — действительно вы изучили уже почти весь курс наук? — Обнявшись, я с ним вспомнил, как мы разговаривали про Подольскую улицу, про мужиков. Эта встреча похожа была на какое-то приключение из книги. Я рад был.

На взморье, очутясь без штанов и без курток, в воде, все вдруг стали другими, чем были в училище. С этого дня я иначе стал думать о них.

После Риги мы ездили в Полоцк. Опять мы не спали всю ночь, так как поезд туда отходил на рассвете. Из окон вагона я в первый раз в жизни увидел осенний коричневый лиственный лес. Я припомнил две строчки из Пушкина.

Сонных, нас повели в монастырь и кормили там постным. Потом нам пришлось «поклониться мощам», и затем нам сказали, что каждый из нас может делать, что хочет, до поезда.

С учеником Тарашкевичем я отыскал возле станции кран, и мы долго под ним, оттирая песком, мыли губы. Они от мощей, нам казалось, распухли, и с них не смывался какой-то отвратительный вкус.

После этого мы походили и набрели на «тупик». Изнемогшие, мы улеглись между рельсами. Сразу заснув, мы проснулись, когда начало темнеть. Мы вскочили и поколотили друг друга, чтобы подогреться и не заболеть ревматизмом.

В вагоне я сел с Тарашкевичем рядом, и он рассказал мне, как жил у Хайновского. Он нанялся к нему летом, когда мне пришлось отказаться от этого. Он мне сказал, что Хайновский любил присмотреть за ученьем, советовал, заставлял детей «лежать кшижом». При этом он время от времени к ним подходил и давал им целовать свою ногу. Я рад был, что я не попал туда.

По понедельникам первым уроком у нас было «законоведенье», и ему обучал нас отец Натали. Он был се-

денький, в «штатском», в очках, с бородавкой на лбу и с бородкой как у Петрункевича. Я не отрываясь смотрел на него. Мне казалось, что в чертах его я открываю черты Натали и мадонны И. Ступель.

Наш директор любил все обставить торжественно. К «акту» в гимнастическом зале устроены были подмостки. Над ними висела картина учителя чистописания и рисования Сеппа. На ней нарисовано было, как дочь Иаира воскресла. Наш новый оркестр играл. Хор пел. Подымались один за другим на ступеньки ученики попригожее, натренированные учителями словесности, и декламировали, и в числе их на подмостки был выпущен я.

Мне похлопали. Мне пожал руку Карл Пфердхен и сказал: — Поздравляю. — Меня поманила к себе заместительница председателя «братства». Она сообщила мне, что сейчас же попросит директора, чтобы он ей ссудил меня для выступления в концерте, который будет дан в пользу братства в посту. Пейсах Лейзерах обнял меня.— Ты поэт, — объявил он. Я начал с тех пор хорошо относиться к нему.

Когда вечером я пошел походить, у меня, оказалось, была уже слава. Девицы многозначительно жали мне руки. — Мы знаем уже, — говорили они. Среди них я увидел Луизу, примкнувшую к нам под шумок.

— Я хотела бы с вами, — сказала она мне, — немного поговорить фамильярно. — Она похвалила мою неуступчивость в торге, который у меня состоялся полгода назад с ее матерью. — Сразу заметно, — польстила она, — что у вас есть свой форс.

Обо мне услыхала в конце концов старая Рихтериха, «приходящая немка». Она наняла́ меня к сыну. Он был моих лет, остолоп, и я скоро от него отказался. Он несколько раз говорил мне, что жалко, что Пушкин убит, и однажды подсунул мне пачку листков со стишками. Он сам сочинил их.

Я снес их в училище и показал кой-кому. Мы смеялись. Ершов подошел неожиданно и попросил их до вечера. Он обещал мне вернуть их за «всенощной».

32

Я вышел из дому раньше, чем следовало, и, дойдя до училища, поворотил. Я сказал себе, что пойду-ка и встречу кого-нибудь.

Я встретил много народа, но я не вернулся ни с кем, а шел дальше, пока не увидел Ершова. Смеясь и вытаскивая из кармана стишки, он кивал мне. Мы быстро пошли. Стоя в церкви, мы взглядывали друг на друга и, прячась за спины соседей от взоров Иван Моисеича, не разжимая зубов, хохотали неслышно.

Потом мы ходили по улицам и говорили о книгах. Ершов хвалил Чехова. — Это, — пожимая плечами, сказал я, — который телеграфистов продергивает?

Он принес мне в училище «Степь», и я тут же раскрыл ее. Я удивлен был. Когда я читал ее, то мне казалось, что это я сам написал.

Я заботился, чтобы у него не пропал интерес ко мне. Вспомнив, что что-то встречалось в «Подростке» про какое-то неприличное место из «Исповеди», я достал ее. — Слушай, — сказал я Ершову, — прочти.

И опять я отправился рано ко всенощной и от училищной двери вернулся и шел до тех пор, пока не увидел его.

— Ну, и гусь, — закричал он в восторге, и я догадался, что он говорит о Руссо. Увлеченный, он схватил мою руку, приподнял ее и прижал к себе. Я тихо отнял ее. Он ходил в пальто старшего брата, который окончил училище в прошлом году, и оно ему было немножко мало. Мне казалось, что есть что-то особенно милое в этом.

Я дал ему «Пиквикский клуб», рисовал ему даму, зовущую любезных гостей закусить, и тех старцев, которые так оживили когда-то своим появлением пустыню.

В записки, которые я во время уроков ему посылал, я вставлял что-нибудь из «закона» или из «словесности». «Лучший, — писал я ему, например, — проводник христианского воспитания — взор. Посему падлежит матерям-воспитательницам устремлять оный на воспитуемых и выражать в нем при этом три основные христианские чувства». Или: «Эта девушка с чуткой душой тяготилась действительностью и рвалась к идеалу». Затем я ему предлагал побродить со мной вечером.

От виадука мы медленно доходили до «зала для свадеб». Безлюдно, темно и таинственно было на дамбе. С деревьев иногда на нас падали капли. Дорога устлана была мокрыми листьями. На повороте мы долго стояли. На тучах мы видели зарево от городских фонарей. Лай собак доносился из Гривы Земгальской.

Ершов рассказал мне, что отец его прошлой весной бросил службу в акцизе и купил себе землю за Полоц-

ком. Вся семья жила там. Поэтически говорил мне Ершов о приезде к ним в усадьбу одной польской дамы, которую вечером он и отец, с фонарями в руках, провожали до пристани. Мне было грустно, что я в этом роде ничего не могу рассказать ему.

В городе он жил один у канцелярского служащего Олехновича, и Олехнович хвалил его в письмах, в которых подтверждал получение денег за комнату. Кроме Ершова, жила у него еще классная дама Эде́мска. Она каждый вечер вздыхала за чаем, что снова ничего не успела и прямо не знает, когда доберется наконец до ксенджарии «Освята» и выпишет там на полгода «Газету — два гро́ша».

Ершов говорил мне, гордясь и оглядываясь, что отец его вегетарьянец и даже состоит в переписке с Толстым; что, когда еще он был акцизным, ему при поездке на одну винокурню подсунули овощи, которые сварены были в мясном котелке, и он их по неведению съел, но душа его скоро почувствовала, что тут что-то не так, и тогда его вырвало; и что однажды он видел на улице, как офицер бьет по морде солдатика за неотдание чести, и трясся, когда возвратился домой и рассказывал это.

Меня удивляло немного в Ершове его восхищение отцом, и мне было приятно, что вот и Ершов не без слабостей. Этим он еще больше пленял меня. Я вспоминал «письма к Сержу» и думал, что если бы я продолжал их еще сочинять, то теперь я, должно быть, писал бы: — «Ах, Серж, очень счастлив может быть иногда человек».

Но приманки, которые были у меня для Ершова, все кончились. Скоро он стал уклоняться от встреч со мной по вечерам и не стал отвечать на записки. — Ты хочешь отшить меня? — встав, как всегда, рядом с ним за обедней, спросил я. Презрительный, он ничего не сказал мне.

Я долго ходил в этот день мимо дома, в котором он жил. Снег пошел. Олехнович в плаще с капюшоном и в чиновничьей шапке, сутулясь, появился на улице. Он успел сбегать куда-то и возвратиться при мне. Борода у него была жидкая, узенькая, и лицо его напоминало лицо Достоевского.

С булками в желтой бумаге, с мешочком, обшитым внизу бахромой, и в пенсне с черной лентой прошла от угла до ворот классная дама Эдемска. Она здесь была уже дома. Отбросив свою молодецкую выправку, она семенила понуро.

У глаз я почувствовал слезы и сделал усилие, чтобы не дать им упасть. Я подумал, что я никогда не узнаю уже, подписалась ли она наконец на газету.

Сначала я надеялся долго, что дело еще как-нибудь может уладиться. Ревностно я сидел над Толстым и над Чеховым, запоминая места из них и подбирая, что можно было бы сказать о них, если бы вдруг между мной и Ершовым все стало по-прежнему.

Утром мутного, с низкими тучами и мелкими брызгами в воздухе дня мы узнали, что умер Толстой. В этот день я решился попробовать: — Умер, — сказал я Ершову, подсев к нему. Он посмотрел на меня, и мне вспомнился Рихтер, который говорил мне, что жалко, что Пушкин убит.

В этот день маман вечером заходила к Сиу. С уважением рассказала она, что сначала господина Сиу долго не было дома, а потом он пришел и принес две открытки: «Толстой убегает из дома, с котомкой и палкою» и «Толстой прилетает на небо, а Христос обнимает его и целует».

Она сообщила, что был разговор обо мне. Сиу были любезны спросить у нее, любитель ли я танцевать, и она им сказала, что нет и что это прискорбно: кто пляшет, тот не набивает себе голову разными, как говорится, идеями.

Я покраснел.

33

Так как я говорил, что хочу быть врачом, приходилось мне сесть наконец за латинский язык. Наш учитель немецкого Матц обучал ему и помещал раз в неделю в «Двине» объявление об этом. Я с ним сговорился.

Кухарка отворяла мне дверь и вводила меня. — Подождите немножечко, — распоряжалась она. Я рассматривал, встав на носки, портрет Матца, висевший на стене над диваном, среди вееров и табличек с пословицами. Синеглазый, с румянцем и с желтенькими эспаньолкой и ёжиком, он нарисован был нашим учителем чистописания и рисования Сеппом.

Являлся сам Матц, неся лампу. Поставив ее, он ее поворачивал так, чтобы переведенная на абажур перево́дная птичка была мне хорошенько видна.

— «Сильва, сильвэ», — смотря на нее, начинал я склонять. Потом Матц объяснял что-нибудь. Я старался

показать, что не сплю, и для этого повторял за ним время от времени несколько слов: «эт синт ка́ндида фа́та туа́» или «пульхра эст».

Раз мы читали с ним «дэ амитицие верэ». Мечтательный, он пошевеливал веками и улыбался приятно: он счастлив был в дружбе.

Однажды, когда я от него возвращался, я встретился с Пе́йсахом. Мы походили. У «зала для свадеб» мы остановились и, глядя на его освещенные окна, послушали вальс. Я старался не думать о том, что недавно я здесь бывал с другим спутником.

Пе́йсах разнежничался. Как девицу, он взял меня под руку и обещал дать мне список той оды, которую в прошлом году сочинил наш учитель словесности. Я помнил только конец ее:

Русичи, братья поэта-печальника,
Урну незримую слез умиления
В высь необъятную, к горних начальнику,
Дружно направим с словами прошения:
Вечная Гоголю слава.

— Зайдем, — предложил он, когда, повторяя эти несколько строк, мы вошли в переулок, в котором он жил. Я пошел с ним, и он дал мне оду. Мы долго смеялись над ней. Я бы мог получить ее раньше, и тогда бы со мной мог смеяться Ершов.

Рождество подходило. Съезжались студенты. Выскакивая на «большой перемене», мы видели их. Через год, предвкушали мы, мы будем тоже ходить в этой форме, являться к училищу и против окон директора, стоя толпой, с независимым видом курить папироски.

Приехал Гвоздёв. Он учился теперь во Владимирском юнкерском. Он неожиданно вырос, стал шире, чем был, его трудно узнать было. Бравый, печатая по тротуарам подошвами, он подносил к козырьку концы пальцев в перчатке и вздергивал нос, восхищая девиц. К Грегуару он не заходил и при встрече с ним обошелся с ним пренебрежительно.

В день, когда нас распустили, я видел, как ехала к поезду классная дама Эдемска. Торжественная, она прямо сидела. Корзина с вещами стояла на сиденье саней рядом с нею. Могло быть, что только что эту корзину ей помог донести до калитки Ершов.

В первый день рождества почтальон принес письма. Евгения в белой наколке, нелепая, точно корова в седле,

подала их: Карманова, Вагель А. Л., фрау Анна и еще кое-кто — поздравляли маман. Мне никто не писал. Ниоткуда я и не мог ждать письма. За окном валил снег. Так же, может быть, сыпался он в это утро и над «землею» за Полоцком.

Блюма Кац-Каган была коренастая, низенькая, и лицо ее было похоже на лицо краснощекого кучера тройки, которая была выставлена на окне лавки «Рай для детей». Она кончила прошлой весною «гимназию Брун» и уехала в Киев на зубоврачебные курсы. В один теплый вечер, когда из труб капало, выйдя, я увидел ее возле дома. Она прибыла на каникулы.

— Вы не читали, — сказала она мне, — Чуковского: «Нат Пинкертон и современная литература»? — Заглавие это заинтересовало меня. Я читал Пинкертона, а про «современнную литературу» я думал, что она — вроде «Красного смеха». Я живо представил себе, как, должно быть, смеются над ней в этой книжке. Мне очень захотелось прочесть ее.

С дамбы я посмотрел на дом Янека. В окнах Сиу кто-то двигался. Может быть, это была Натали. Вальс был слышен с катка. Я сказал, что сегодня лед мягкий, и Блюма со мной согласилась.

— Но дело не в том, — заявила она. — Я читала недавно интересный роман. — И она рассказала его.

Господин путешествовал с дамой. Италия им понравилась больше всего. Они не были муж и жена, но вели себя так, словно были женаты.

— Ну, как вы относитесь к ним? — захотела узнать она. Я удивился. — Никак, — сказал я.

Против «зала для свадеб», когда мы стояли впотьмах и нам слышен был шум электрической станции, оркестр вдали и собачий лай, ближний и дальний, Кац-Каган раскисла. Она, обхватив мою руку, молчала и валилась мне на бок. Я вынужден был от нее отодвинуться. Я ее спрашивал, помнит ли она, как когда-то сюда приходили смотреть на комету. Она мне сказала, что нам еще следует встретиться, и сообщила мне, как ей писать до востребования: «К-К-Б, 200 000».

В течение этой зимы Тарашкевич приглашал меня несколько раз, и я ходил к нему. Кроме меня, там бывали Грегуар и один из пятерочников. Он показывал нам, как решаются разного рода задачки. Потом нам давали поесть и поили наливкой. Приязнь возникла тогда между нами. Прощаясь, мы долго стояли в передней, смеялись, смотря

друг на друга, опять и опять начинали жать руки и никак не могли разойтись.

Я с особенной нежностью в эти минуты относился к Софронычеву. — Ты встречаешься,— ласково глядя на него, думал я, — каждый день с Натали. Как и я, ты по опыту знаешь, что такое коварство друзей.

Тарашкевич сидел на одной скамье с Шустером. Он разболтал нам, что Шустер посещает Подольскую улицу. — Шустер, — говорил я себе, пораженный. Я вспоминал, как я не нашел в нем когда-то ничего интересного. — Как все же мало мы знаем о людях, — подумал я, — и как неправильно судим о них.

Рано выйдя, я утром стал ждать его. — Шустер, — сказал я и взял его за руку. Сразу же я спросил его, правда ли это. Польщенный, он все рассказал мне. Он ходит по пятницам, так как в этот день там бывает осмотр. Он требует книги и узнает, кто здоров. Номера разгорожены там не до самого верха. Однажды там рядом оказался его младший брат, перелез через стенку и стал драться стулом. Теперь его не принимают в домах: — Если хочет ходить туда, то пусть ведет себя как подобает.

34

Отец Николай, накрыв голову мне черным фартуком, полюбопытствовал в этом году, «прелюбы сотворял» ли я. Я попросил, чтобы он разъяснил мне, как делают это, и он, не настаивая, отпустил меня. Я побежал, поздравляя себя, что последнее в моей жизни говенье прошло.

Мне еще раз пришлось выступать на подмостках — в тот день, когда праздновалось «освобождение крестьян». Я прочел стишки скверно, чтобы заместительница председателя братства разочаровалась и чтобы Ершов не подумал, что я уж совсем идиот.

Пейсах очень хвалил меня.

— Ты показал им один раз, — говорил он, — что ты это можешь, и хватит с них. — Он одобрял теперь все, что я делал. Но я не его одобрения хотел.

Уже чувствовалось, что весна будет скоро. В «Раю для детей» вместо санок на окнах уже красовались мячи. Уже лица у людей становились коричневыми. Я оставил латинский язык.

— Все равно всего курса я не успею пройти, — го-

ворил я, и, кроме того, мне теперь стало ясно, что я не хочу быть врачом.

Я успел из уроков латыни узнать, между прочим, что «Нóли ме тáнгере», подпись под картинкой с Христом в простыне и девицей у ног его, значит «Не тронь меня».

Снова на нас надвигались экзамены. Снова мы трусили, что «попечитель учебного округа» может явиться к нам. Мы были рады, когда вдруг узнали, что кто-то убил его камнем.

Была панихида. Отец Николай сказал проповедь. Вскоре в газете была напечатана корреспонденция врача, у которого попечитель обычно лечился. Оказывалось, что покойник был дегенерат и маньяк. Он проваливал учеников с привлекательной внешностью ради каких-то особенных переживаний. Пока он был жив, полагалось скрывать это, так как нельзя нарушать «медицинскую тайну».

У Грилихеса бастовали. Маман кипятилась, и я удивлялся ей. — Если бы только уметь, — говорила она мне, — то я бы пошла и сама поработала у него эти несколько дней.

Тарашкевич во время экзаменов раз забежал за мной. В доме у него уже ждали нас полный таинственности Грегуар и любезный пятерочник. Вынув конверт, Грегуар положил перед нами бумагу с задачками. — Ну-ка, — сказал он. Пятерочник эти задачки решил нам. Они на другой день даны были нам на экзамене.

Мы издолбились. В день спали мы по три или по четыре часа, и маман изводилась. — Когда, — говорила она, — это кончится? — На̀ ночь, собираясь ложиться, она приносила мне горсть леденцов.

Наконец настал день, когда все было кончено. Мы получили «свидетельства». С «кафедры», на которой стоял стакан с ландышами, говорились напутствия. То засыпая, то вздрагивая и открывая глаза на минутку, я видел, как после директора там очутился учитель словесности. Он оттопырил губу, посмотрел на усы и подергал их. — Истина, благо, — по обыкновению, красноречиво воскликнул он, — и красота!

Пришел вечер, и в книжечке для «наблюдений» я сделал последнюю запись. На крыше под флюгером я, как всегда, задержался. Я думал о том, что я часто стоял здесь.

Канатчиков, получая квартирные деньги, поздравил меня. Он не сразу ушел, рассказал нам, что его сын по-

мешался оттого, что не выдержал в технологический. — Он все науки, — сказал нам Канатчиков, — выдержал и только плинтус, чем комнаты клеят, не выдержал.

Все поступали куда-нибудь. Я для себя еще ничего не придумал. Я спрашивал, есть ли такое местечко, куда принимали бы не по экзаменам и не гонясь за отметками по математике, и оказалось, что есть. Я купил полотняный конверт и послал в нем свои документы. Мне скоро прислали письмо, что я принят.

В «участке», когда я ходил за «свидетельством о политической благонадежности», я видел Васю. Он быстро прошел. — Нет, мадам, — на ходу говорил он бежавшей за ним неотступно просительнице. По привычке я, приятно смутясь, посмотрел ему вслед, и, когда он исчез, я подумал, что, может быть, он принимается в эту минуту кого-нибудь драть, кого водят за этим в полицию.

Шустер гостил у отцовской сестры за Двиной в «пасторате», и я не встречался с ним. Пе́йсах ко мне иногда заходил. Я составил ему список дней, по которым мамап отправлялась дежурить. Он раз показал мне ту оду, которую в этом году сочинил наш бывший учитель словесности к празднику «освобождения крестьян». Я прочел ее без интереса. Училище уже не занимало меня.

Пе́йсах должен был вместе с своею семьей в конце лета уехать в Америку. Он приучался уже к «котелку» и носил вместо прежних очков пенсне с ленточкой. Раз, идя с ним и отстав от него на полша́га, я случайно попал взглядом в стекло.

— Погоди, — сказал я, изумленный. Я снял с его носа пенсне и поднес к своему. В тот же день побывал я у глазного врача и надел на нос стекла.

Отчетливо я теперь видел на улице лица, читал номера на извозчичьих дрожках и вывески через дорогу. На дереве я теперь видел все листья. Я посмотрел в окно лавки «Фаянс» и увидел, что было на полках внутри. Я увидел двенадцать тарелок, поставленных в ряд, на которых нарисованы были евреи в лохмотьях и написано было «Давали в кредит».

За рекой, удивляясь, я видел людей, стадо, мельницу Гри́вы Земгальской. Свистя, пришел на́ берег Осип, с которым я вместе учился, готовясь к экзамену в приготовительный класс.

Быстро сбросив с себя все, коричневый, он остался в одной круглой шапочке и побежал в ней к воде. Про-

бегая, он краешком глаза взглянул на меня. Мне хотелось сказать ему: «Здравствуй», но я не осмелился.

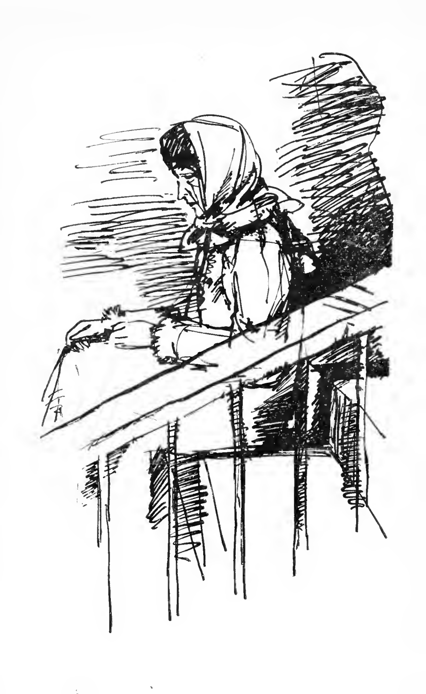
Я подошел к тому дому, где прошлой зимой жил Ершов. Я увидел узор из гвоздей на калитке, которую он столько раз отворял. Она взвизгнула. Через порог ее, горбясь, шагнул Олехнович. На нем был тот плащ с капюшоном, в котором я его видел зимой. Я увидел теперь, что застежка плаща состояла из двух львиных голов и цепочки, которая соединяла их.

Вечером, когда стало темно, я увидел, что звезд очень много и что у них есть лучи. Я стал думать о том, что до этого все, что я видел, я видел неправильно. Мне интересно бы было увидеть теперь Натали и узнать, какова она. Но Натали далеко была. Лето она в этом году проводила в Одессе.

Л. Чуковская

Софья Петровна

Повесть



1

После смерти мужа Софья Петровна поступила на курсы машинописи. Надо было непременно приобрести профессию: ведь Коля еще не скоро начнет зарабатывать. Окончив школу, он должен во что бы то ни стало держать в институт. Федор Иванович не допустил бы, чтобы сын остался без высшего образования... Машинка давалась Софье Петровне легко; к тому же она была гораздо грамотнее, чем эти современные барышни. Получив высшую квалификацию, она быстро нашла себе службу в одном из крупных ленинградских издательств.

Служебная жизнь всецело захватила Софью Петровну. Через месяц она уже и понять не могла, как это она раньше жила без службы. Правда, по утрам неприятно было вставать в холоде, при электрическом свете, зябко было ожидать трамвая в толпе невыспавшихся, мрачных людей; правда, от стука машинок к концу служебного дня у нее начинала болеть голова — но зато как увлекательно, как интересно оказалось служить! Девочкой она очень любила ходить в гимназию и плакала, когда ее из-за насморка оставляли дома, а теперь она полюбила ходить на службу. Заметив ее аккуратность, ее быстро назначили старшей машинисткой — как заведующей машинописным бюро. Распределять работы, подсчитывать страницы и строчки, скалывать листы — все это нравилось Софье Петровне гораздо больше, чем самой писать на машинке. На стук в деревянное окошечко она отворяла его и с достоинством, немногословно, принимала бумаги. По большей части это были счета, планы, отчеты, официальные письма и приказы, но иногда рукопись какого-нибудь современного писателя.

— Будет готово через двадцать пять минут, — говори-

ла Софья Петровна, взглянув на большие часы. — Ровно. Нет, ровно через двадцать пять, не раньше, — и захлопывала окошечко, не пускаясь в разговоры. Подумав, она давала бумагу той машинистке, которую считала наиболее подходящей для данной работы, — если бумагу приносила секретарша директора, то самой быстрой, самой грамотной и аккуратной.

В молодости, скучая, бывало, в те дни, когда Федор Иванович надолго уходил с визитами, она мечтала о собственной швейной мастерской. В большой светлой комнате сидят миловидные девушки, наклонясь над ниспадающими волнами шелка, а она показывает им фасоны и во время примерки занимает светской беседой элегантных дам. Машинописное бюро было, пожалуй, еще лучше, как-то значительнее. Софье Петровне зачастую теперь доводилось первой, еще в рукописи, прочесть какое-нибудь новое произведение советской литературы — повесть или роман, — и, хотя советские романы и повести казались ей скучными, потому что в них много говорилось о боях, о тракторах, о заводских цехах и очень мало о любви, она все-таки бывала польщена. Она стала завивать свои рано поседевшие волосы и во время мытья добавляла в воду немного синьки, чтобы они не желтели. В черном простом халатике — но зато в воротничке из старых настоящих кружев, — с остро очиненным карандашом в верхнем кармане, она чувствовала себя деловитой, солидной и в то же время изящной. Машинистки побаивались ее и за глаза называли классной дамой. Но слушались. И она хотела быть строгой, но справедливой. Она приветливо беседовала о трудностях директорского почерка и о том, что красить губы вовсе не всем идет, а с теми, кто писал «репитиция» и «коликтив», держала себя надменно. Одна из барышень, Эрна Семеновна, сильно действовала Софье Петровне на нервы: ошибка чуть ли не в каждом слове, нахально курит и болтает во время работы. Эрна Семеновна смутно напоминала Софье Петровне одну наглую горничную, служившую у них когда-то в старое время. Горничную звали Фани, она грубила Софье Петровне и флиртовала с Федором Ивановичем... И за что только такую держат?

Больше всех машинисток в бюро нравилась Софье Петровне Наташа Фроленко, скромная, некрасивая девушка с зеленовато-серым лицом. Она всегда писала без единой ошибки, поля и красные строки получались у нее удивительно элегантно. Глядя на ее работу, казалось,

будто и на бумаге написана она какой-то особенной, и машинка, наверное, лучше, чем другие машинки. Но в действительности и бумага и машинка были у Наташи самые обыкновенные, а весь секрет, подумать только, заключался в одной аккуратности.

Машинописное бюро было отделено от всего учреждения деревянной форточкой, покрытой коричневым лаком. Дверь была постоянно заперта на ключ, и разговоры велись через форточку. В первое время Софья Петровна никого в издательстве не знала, кроме своих машинисток да еще курьерши, разносившей бумаги. Но постепенно перезнакомилась со всеми. Миновали какие-нибудь две недели, и в коридоре к ней уже подходил поболтать солидный, лысый, но моложавый бухгалтер; оказывается, он узнал Софью Петровну — когда-то, лет двадцать тому назад, Федор Иванович очень успешно лечил его. Бухгалтер увлекался лодочным спортом и западноевропейскими танцами, и Софье Петровне было приятно, что он и ей посоветовал записаться в их танцевальный кружок. С ней начала здороваться пожилая и вежливая секретарша директора, ей кланялся и заведующий отделом кадров, а также один известный писатель, красивый, седой, в бобровой шапке и с монограммой на портфеле, всегда приезжавший в издательство в собственной машине. Писатель даже спросил у нее однажды, как ей понравилась последняя глава его романа. «Мы, литераторы, давно заметили, что машинистки — самые справедливые судьи. Право, — сказал он, показывая в улыбке ровные вставные зубы, — они судят непосредственно, они не одержимы предвзятыми идеями, как товарищи критики или редакторы». Познакомилась Софья Петровна и с парторгом Тимофеевым, хромым небритым человеком. Он был хмур, говорил, глядя в пол, и Софья Петровна слегка побаивалась его. Изредка он подзывал к деревянному окошечку Эрну Семеновну — с ним приходил завхоз, — Софья Петровна отпирала дверь, и завхоз перетаскивал машинку Эрны Семеновны из машинописного бюро в спецчасть. Эрна Семеновна следовала за своей машинкой с победоносным видом; как объяснили Софье Петровне, она была «засекречена», и парторг вызывал ее в спецчасть переписывать секретные партийные бумаги.

Скоро Софья Петровна знала уже всех в издательстве — и по фамилиям, и по должностям, и в лицо: счетоводов, редакторов, техредов, курьерш. В конце первого

месяца своей службы она впервые увидела директора. В директорском кабинете был пушистый ковер, вокруг стола — глубокие мягкие кресла, а на столе — целых три телефона. Директор оказался молодым человеком, лет тридцати пяти, не более, хорошего роста, хорошо выбритым, в хорошем сером костюме, с тремя значками на груди и с вечным пером в руке. Он беседовал с Софьей Петровной какие-нибудь две минуты, но за эти две минуты трижды звонил телефон, и он говорил в один, сняв трубку с другого. Директор сам пододвинул ей кресло и вежливо спросил, не будет ли она так добра остаться сегодня вечером для сверхурочной работы? Она должна пригласить машинистку по своему выбору и продиктовать ей доклад. «Я слышал, вы прекрасно разбираете мой варварский почерк», — сказал он ей и улыбнулся. Софья Петровна вышла из кабинета гордая его властью, польщенная его доверием. Воспитанный молодой человек. Про него рассказывают, будто он рабочий, выдвиженец — и действительно руки у него, кажется, грубые, — но в остальном...

Первое общее собрание служащих издательства, на котором довелось присутствовать Софье Петровне, показалось ей скучным. Директор произнес коротенькую речь о приходе к власти фашистов, о поджоге рейхстага в Германии и уехал на своем «форде». После него выступил парторг, товарищ Тимофеев. Говорить он не умел. Между двумя фразами он замолкал так прочно, что, казалось, никогда не заговорит опять. «Мы должны констан-тировать...» — скучно говорил он и умолкал. «Наш производственный пóртфель...»

Потом выступила председательница месткома, полная дама с камеей на груди. Потирая и поламывая свои длинные пальцы, она произнесла, что ввиду всего происшедшего в первую очередь необходимо уплотнить рабочий день и объявить беспощадную войну опозданиям. Напоследок истерическим голосом она сделала краткое сообщение о Тельмане и предложила всем служащим записаться в МОПР. Софья Петровна плохо понимала, о чем речь, ей было скучно и хотелось уйти, но она боялась, что это не полагается, и строго взглянула на одну машинистку, пробиравшуюся к дверям.

Однако скоро и собрания перестали быть скучными для Софьи Петровны. На одном из них директор, докладывая о выполнении плана, говорил, что высокие производственные показатели, которых надо добиваться,

зависят от сознательной трудовой дисциплины каждого из членов коллектива — не только от сознательности редакторов и авторов, но и уборщицы, и курьерши, и каждой машинистки.

— Впрочем, — сказал он, — надо признать, что машинописное бюро под руководством товарища Липатовой работает уже и в настоящий момент с исключительной четкостью.

Софья Петровна покраснела и долго не решалась поднять глаз. Когда она решилась наконец посмотреть кругом, все люди показались ей удивительно добрыми, красивыми, и с неожиданным интересом она прослушала цифры.

2

Все свободное время Софья Петровна проводила теперь с Наташей Фроленко. А свободного времени оставалось у нее все меньше и меньше. Сверхурочная работа, а чаще того — заседания месткома, куда вскоре кооптировали Софью Петровну, отнимали у нее чуть ли не все вечера. Коля все чаще должен был сам разогревать себе обед и в шутку называл Софью Петровну «мама-общественница». Местком поручил ей собирать профсоюзные взносы. Софья Петровна мало задумывалась над тем, для чего, собственно, существует профсоюз, но ей нравилось разлиновывать листы бумаги и отмечать в отдельных графах, кто заплатил уже за нынешний месяц, а кто нет, нравилось наклеивать марки, сдавать безупречные отчеты ревизионной комиссии. Ей нравилось, что можно в любую минуту войти в торжественный кабинет директора и шутливо напомнить ему о его четырехмесячном долге, и он так же шутливо извинится перед терпеливыми товарищами из месткома, вынет бумажник и заплатит. Даже хмурому парторгу можно было безо всякого риска напоминать о долгах.

В конце первого года службы в жизни Софьи Петровны произошло торжественное событие. Она выступила на общем собрании служащих от имени всех беспартийных работников издательства. Произошло это так. В издательстве ждали приезда каких-то ответственных московских товарищей. Завхоз, лихой паренек с пронзительным пробором, похожий на офицерского денщика, целыми днями носился по издательству, на собственной

спине таская какие-то рамы, и в самое неподходящее время напустил на машинописное бюро полотеров. Однажды, в коридоре, к Софье Петровне подошел хмурый парторг.

— Партийная организация совместно с месткомом, — сказал он, глядя по обыкновению в пол, — наметила тебя... — он поправился: — Вас... давать обещание от имени беспартийных активистов.

Работы накануне приезда москвичей стало множество. Бюро писало все какие-то отчеты и планы. Чуть ли не каждый вечер Софья Петровна с Наташей оставались на сверхурочную работу. Машинки глухо стучали в пустой комнате. Кругом, в коридорах и кабинетах, было темно. Софья Петровна любила эти вечера. Окончив работу, перед тем, как из светлой комнаты выйти во тьму коридора, они с Наташей подолгу беседовали возле своих машинок. Наташа говорила мало, но прекрасно умела слушать.

— Вы заметили, что у Анны Григорьевны (это была предместкома) всегда грязные ногти? — спрашивала Софья Петровна. — А еще носит камею, завивается. Лучше бы руки почаще мыла... Эрна Семеновна ужасно действует мне на нервы. Она такая наглая... И вы заметили, Наташа, что Анна Григорьевна всегда как-то иронически отзывается о парторге? Не любит она его...

Поговорив о предместкома и парторге, Софья Петровна рассказывала Наташе о своем романе с Федором Ивановичем и о том, как Коля упал под корыто, когда ему было полгодика. И какой это был хорошенький мальчик, на улице все оборачивались. Его одевали во все белое: белая пелеринка и белый капор. Наташе както не о чем было рассказывать — ни одного романа. «Впрочем, с таким цветом лица...» — думала Софья Петровна. В жизни Наташи были одни неприятности. Отец ее, полковник, умер в семнадцатом году от разрыва сердца. Наташе тогда едва исполнилось пять лет. Дом у них отняли, и они вынуждены были переехать к какой-то парализованной родственнице. Мать ее была избалованная, беспомощная женщина, они жестоко голодали, и Наташа чуть ли не с пятнадцати лет поступила на службу. Теперь Наташа осталась совсем одна: мать в позапрошлом году умерла от туберкулеза, родственница скончалась от старости. Наташа сочувствовала советской власти, но, когда она подала заявление в комсомол, ее не приняли.

— Мой отец был полковник и домовладелец, и, понимаете, мне не верят, что я могу сочувствовать искренно, — говорила Наташа, щурясь. — С марксистской точки зрения, может быть, это и правильно...

У нее краснели веки каждый раз, как она рассказывала об этом отказе, и Софья Петровна поспешно переводила разговор на другое.

Наступил торжественный день. Портреты Ленина и Сталина вставили в новые рамы, собственноручно принесенные завхозом, письменный стол директора покрыли красным сукном. Московские гости — двое полных мужчин в заграничных костюмах, в заграничных галстуках и с заграничными вечными перьями в верхних карманах — сидели рядом с директором за столом под портретами и вынимали бумаги из туго набитых заграничных портфелей. Парторг в косоворотке и в пиджачке казался рядом с ними совсем невзрачным. Лихой завхоз и лифтерша Марья Ивановна то и дело вносили на подносах чай, бутерброды и фрукты, предлагали их гостям и директору, а затем уже и всем присутствующим.

От волнения Софья Петровна не в силах была слушать речи. Как завороженная, смотрела она не отрывая глаз на колеблющуюся воду графина. По слову председателя она подошла к столу, повернулась сначала лицом к директору и гостям, потом спиной к ним, потом стала боком и сложила руки у пояса, как учили ее в детстве, когда она декламировала французские поздравительные стихи.

— От имени беспартийных работников, — сказала она дрожащим голосом, и потом дальше все свое обещание о повышении производительности труда, все что они составили вместе с Наташей и она выучила наизусть.

Вернувшись домой, она долго не ложилась спать, поджидая Колю, чтобы рассказать ему о собрании. Коля сдавал последние школьные зачеты и все вечера проводил у своего любимого товарища Алика Финкельштейна: они занимались вместе. Софья Петровна прибрала кое-что в комнате и вышла в кухню разжигать примус.

— Какая жалость, что вы не служите, — сказала она добродушной жене милиционера, которая мыла посуду. — Сколько впечатлений, это так много дает в жизни. Особенно если ваша служба имеет касательство к литературе.

Наконец Коля явился голодный и промокший под первым весенним дождем, и Софья Петровна поставила перед ним тарелку щей. Облокотясь на стол против Коли и глядя, как он ест, она только что собралась рассказать ему про свое выступление, как...

— Знаешь, мама, — сказал он, — я теперь комсомолец, меня сегодня утвердили на бюро. — Сообщив эту новость, он без передышки перешел к другой, набивая полный рот хлебом: в школе у них случился скандал. — Сашка Ярцев — этакий старорежимный балбес... («Коля, я не люблю, когда ты ругаешься», — перебила Софья Петровна). Да не в этом дело: Сашка Ярцев обозвал Алика Финкельштейна жидом. Мы сегодня на ячейке постановили устроить показательный товарищеский суд. Знаешь, кого назначили общественным обвинителем? Меня!

Поужинав, Коля сразу лег спать, и Софья Петровна тоже легла за своей ширмой, и в темноте Коля читал ей наизусть Маяковского. — «Правда, мама, гениально?» — и, когда он дочитал, Софья Петровна рассказала ему о собрании. «Ты, мама, молодец», — сказал Коля и сейчас же заснул.

3

Коля окончил школу, наступило душное лето, а Софье Петровне все не давали отпуска. Дали только в конце июля. Ехать она никуда не собиралась, но весь июль жадно мечтала о том, как будет по утрам отсыпаться и как переделает наконец всю домашнюю работу, которую из-за службы никогда не успевала сделать. Она мечтала отдохнуть от барабанной дроби машинок, и подыскать Коле демисезонное пальто, и съездить наконец на кладбище, и позвать маляра, чтобы выкрасить заново дверь. Но вот отпуск наконец наступил, и оказалось, что отдыхать приятно только в первый день. Софья Петровна, по служебной привычке, все равно просыпалась не позже восьми; маляр за полчаса выкрасил дверь; могила Федора Ивановича была в полном порядке; пальто куплено сразу; носки зачинены в два вечера. И потянулись длинные, пустые дни, с тиканьем часов, разговорами в кухне и ожиданием Коли к обеду. Коля теперь целыми днями пропадал в библиотеке: готовился вместе с Аликом в вуз, в машиностроительный институт, и Софья Петровна почти не видала

его. Изредка наведывалась усталая Наташа Фроленко (она замещала Софью Петровну в бюро), Софья Петровна с жадностью расспрашивала ее про секретаршу директора, про ссору предместкома с парторгом, про орфографические ошибки Эрны Семеновны. И про обсуждение в кабинете у директора повести того симпатичного писателя. Ведь редакционный сектор собрался... «Неужели кому-нибудь может не понравиться? — всплескивала руками Софья Петровна. — Там ведь так красиво описана первая чистая любовь. Совсем как у нас с Федором Ивановичем».

Теперь уже Софья Петровна вполне соглашалась с Колей, когда он толковал ей о необходимости для женщин общественно-полезного труда. Да и все, что говорил Коля, все, что писали в газетах, казалось ей вполне теперь естественным, будто так и писали и говорили всегда. Вот только о бывшей квартире своей теперь, когда Коля вырос, Софья Петровна сильно сожалела. Их уплотнили еще во время голода, в самом начале революции. В бывшем кабинете Федора Ивановича поселили семью милиционера Дегтяренко, в столовой — семью бухгалтера, а Софье Петровне с Колей оставили Колину бывшую детскую. Теперь Коля вырос, теперь ему необходима отдельная комната, ведь он уже не ребенок.

— Но, мама, разве это справедливо, чтобы Дегтяренко со своими детьми жил в подвале, а мы в хорошей квартире? Разве это справедливо? Скажи! — строго спрашивал Коля, объясняя Софье Петровне революционный смысл уплотнения буржуазных квартир.

И Софья Петровна вынуждена была согласиться с ним: это и в самом деле не вполне справедливо. Жаль только, что жена Дегтяренко такая грязнуха, даже в коридоре слышен кислый запах из ее комнаты. Форточку открыть боится, как огня. И близнецам ее уже шестнадцатый год пошел, а они все еще пишут с ошибками. В потере квартиры Софью Петровну утешало новое звание: жильцы единогласно выбрали ее квартуполномоченной. Она стала как бы хозяйкой, как бы заведующей своей собственной квартирой. Она мягко, но настойчиво делала замечания жене бухгалтера насчет сундуков, стоящих в коридоре. Она высчитывала, сколько с кого причитается платы за электроэнергию с той же аккуратностью, с какой на службе собирала членские профсоюзные взносы. Она регулярно ходила на собрания

квартуполномоченных в жакте и потом подробно докладывала жильцам, что говорил управдом. Отношения с жильцами были у нее, в общем, хорошие. Если жена Дегтяренко варила варенье, то всегда вызывала Софью Петровну на кухню попробовать, довольно ли сахара. Жена Дегтяренко часто заходила и в комнату к Софье Петровне — посоветоваться с Колей, что бы такое придумать, чтобы близнецы, не дай бог, снова не остались на второй год, и посудачить с Софьей Петровной о жене бухгалтера, медицинской сестре.

— Этакой милосердной сестрице попадись только, она тебя разом на тот свет отправит! — говорила жена Дегтяренко.

Сам бухгалтер был уже пожилой человек, с обвислыми щеками, с синими жилками на руках и на носу. Он был запуган женою и дочерью, и его совсем не было слышно в квартире. Зато дочка бухгалтера, рыжая Валя, сильно смущала Софью Петровну фразочками «а я ей как дам!», «а мне наплевать!» — и у жены бухгалтера, Валиной матери, был и в самом деле ужасный характер. Стоя с неподвижным лицом возле своего примуса, она методически пилила жену милиционера за коптящую керосинку или кротких близнецов за то, что они не заперли дверь на крючок. Она была из дворянок, брызгала в коридоре одеколоном с помощью пульверизатора, носила на цепочке брелоки и разговаривала тихим голосом, еле-еле шевеля губами, но слова употребляла удивительно грубые. В дни получки Валя начинала клянчить у матери денег на новые туфли.

— Ты не воображай, кобыла, — ровным голосом говорила мать, и Софья Петровна поспешно скрывалась в ванную комнату, чтобы не слушать продолжения, — в ванную, куда скоро вбегала Валя отмывать свою запухшую, зареванную физиономию, произнося в раковину все те ругательства, которые она не посмела произнести в лицо матери.

Но, в общем, квартира 46 была благополучной, тихой квартирой, не то что 52, над нею, где чуть ли не каждую шестидневку, накануне выходного, настоящие случались побоища. Сонного после дежурства Дегтяренко регулярно вызывали туда составлять протокол вместе с дворником и управдомом.

Отпуск тянулся, тянулся — между кухней и комнатой — и кончился, к большой радости Софьи Петровны. Зачастили дожди, желтые листья валялись возле Лет-

него сада, вдавленные в грязь каблуками, и Софья Петровна, в калошах и с зонтиком, уже снова ежедневно ходила на службу, ждала по утрам трамвая и ровно в десять часов, облегченно вздохнув, вешала на доску свой номерок. Снова вокруг нее стучали и звенели машинки, шелестела бумага, щелкала, закрываясь и открываясь, дверца; Софья Петровна с достоинством вручала пожилой секретарше директора аккуратно сложенные, сколотые, пахнущие копиркой листы. Она вклеивала марки в членские профсоюзные книжки, заседала в месткоме по вопросам укрепления трудовой дисциплины и некорректного поступка одной машинистки с одной курьершей. Она по-прежнему побаивалась хмурого парторга, товарища Тимофеева, по-прежнему не любила председательницу месткома с грязными ногтями, втайне обожала директора и завидовала его секретарше, но все они уже были для нее своими, привычными людьми, она чувствовала себя на месте, уверенно, и уже не стесняясь громко делала замечания наглой Эрне Семеновне. И за что только ее держат? Нужно будет поставить вопрос на месткоме.

Коля и Алик выдержали экзамены в машиностроительный институт. Прочтя свои фамилии в списке принятых, они, на радостях, решили поставить в комнате радиоприемник. Софья Петровна не любила, когда Коля и Алик сооружали что-нибудь техническое у нее в комнате, но она сильно надеялась, что радио обойдется ей все же дешевле, чем буер. Окончив школу, Коля затеял построить буер, чтобы зимою кататься на собственном буере по Финскому заливу. Он приобрел какую-то книжку о буере, раздобыл бревна, внес их вместе с Аликом в комнату — и не то, что подметать пол, но и просто передвигаться по комнате сразу сделалось невозможно. Бревна оттеснили обеденный стол к стене, диван — к окну; они лежали на полу огромным треугольником, и Софья Петрова по сто раз в день спотыкалась о них. Однако все мольбы ее были напрасны. Напрасно объясняла она Коле и Алику, что жить ей стало так же неудобно, как если бы они привели в дом слона. Они строгали, измеряли, чертили, пилили до тех пор, пока не убедились с абсолютной ясностью, что автор брошюры о буере невежда и буера по его чертежам не построишь.

Тогда они распилили бревна и покорно сожгли их в печке вместе с брошюрой. А Софья Петровна расстави-

ла вещи по местам и целую неделю нарадоваться не могла простору и чистоте своей комнаты.

Поначалу радио тоже приносило Софье Петровне одни огорчения. Коля и Алик завалили всю комнату проволокой, винтиками, болтиками, дощечками; до двух часов ночи ежевечерне спорили о преимуществах того или другого типа приемника; потом соорудили приемник, но не давали Софье Петровне ничего дослушать до конца, так как им хотелось поймать то Норвегию, то Англию; потом ими овладела страсть к усовершенствованию, и каждый вечер они пускались перестраивать приемник заново. Наконец Софья Петровна взяла дело в свои руки, и тогда оказалось, что радио действительно очень приятное изобретение. Она научилась сама включать и выключать его, запретила Коле и Алику к нему притрагиваться и по вечерам слушала «Фауста» или концерт из филармонии.

Наташа Фроленко тоже приходила послушать. Она брала с собой свое вышивание и садилась возле стола. У нее были умелые руки, она прекрасно вязала, шила, вышивала салфеточки и воротнички. Вся ее комната была уже сплошь увешана вышивками, и она принялась вышивать скатерть для Софьи Петровны.

По выходным дням Софья Петровна включала радио с самого утра: ей нравился важный, уверенный голос, повествующий о том, что в парфюмерный магазин № 4 привезли большую партию духов и одеколона, или о том, что на днях предстоит премьера новой оперетты. Она не могла удержаться и на всякий случай записывала все телефоны. Единственное, чем она не интересовалась совсем, это были последние известия о международном положении. Коля усердно рассказывал ей про немецких фашистов, про Муссолини, про Чан Кайши; она слушала, но только из деликатности. Садясь на диван, чтобы прочесть газету, она прочитывала только происшествия и маленький фельетон или «В суде», а на передовой или телеграммах неизменно засыпала, и газета падала ей на лицо. Гораздо больше газет нравились ей переводные романы, которые Наташа брала в библиотеке, — «Зеленая шляпа» или «Сердца трех».

Восьмое марта тысяча девятьсот тридцать четвертого года было счастливым днем в жизни Софьи Петровны. Утром курьерша из издательства принесла ей корзину цветов. В цветах лежала карточка: «Беспартийной труженице Софье Петровне Липатовой поздравление в день

8 Марта. Партийная организация и местком». Она поставила цветы на Колин письменный стол, под полку с Собранием сочинений Ленина, рядом с маленьким бюстом Сталина. Весь день у нее было тепло на душе. Она решила не выбрасывать эти цветы, когда они завянут, а непременно засушить их и спрятать в книгу на память.

4

Шел третий год служебной жизни Софьи Петровны. Ей повысили ставку: теперь она получала уже не двести пятьдесят, а триста семьдесят пять. Коля и Алик еще учились, но уже недурно зарабатывали в каком-то конструкторском бюро — чертили. Ко дню рождения Софьи Петровны Коля купил ей на собственные деньги маленький сервиз: молочник, чайник, сахарницу и три чашки. Узор на сервизе не очень-то понравился Софье Петровне — какие-то квадраты красные на желтом. Она предпочла бы цветы. Но фарфор был тонкий, хороший, да и не все ли равно? Это подарок от сына.

А сын стал красивый: сероглазый, чернобровый, высокий и такой уверенный, спокойный, веселый, каким даже в самые лучшие годы не бывал Федор Иванович. Всегда он как-то по-военному подтянут, чистоплотен и бодр. Софья Петровна смотрела на него с нежностью и неустанной тревогой, радуясь и боясь радоваться. Красавец собою, здоровяк, не пьет и не курит, почтительный сын и честный комсомолец. Алик, конечно, тоже юноша вежливый, работящий, но где уж ему до Коли? Отец его — переплетчик в Виннице, куча ребят, бедность. Алик с малых лет живет в Ленинграде, у тетки, а та, видно, не очень-то заботится о нем: локти заплатанные, сапоги худые. Сам он щупленький, невысокий. Да и ума в нем такого большого нет, как в Коле.

Одна мысль неустанно тревожила Софью Петровну: Коле пошел уже двадцать первый год, а у него все еще нету отдельной комнаты. Уж не мешает ли она своим постоянным присутствием Колиной личной жизни?

— Коля, кажется, там, в институте, влюбился в кого-то? — она искусно допрашивала Алика. — В кого? Как ее зовут? Сколько ей лет? Хорошо ли она учится? Кто ее родители?

Но Алик отвечал уклончиво, и по глазам его видно было, что на предательство он не способен. Софья Пет-

ровна выпытала у него только имя: Ната. Но все равно, как бы ее там ни звали, а серьезная ли это любовь или только увлечение — все равно молодому человеку в его годы необходима отдельная комната. Софья Петровна поделилась своими тревожными мыслями с Наташей. Наташа молча выслушала ее, потом покраснела и сказала, что да... безусловно... конечно... Николаю Федоровичу лучше бы было в отдельной комнате... но, впрочем... вот живет же она одна... без матери... и что же? Ничего!.. Наташа сбилась и замолчала, и Софья Петровна так и не поняла, что, собственно, она хотела сказать.

Софья Петровна обдумывала со всех сторон, как бы ей обменять одну комнату на две, и начала даже откладывать деньги на книжку, чтобы приплатить, если понадобится. Но вопрос об отдельной комнате для Коли неожиданно потерял свою остроту: отличников учебы, Николая Липатова и Александра Финкельштейна, по какой-то там разверстке направляли в Свердловск, на «Уралмаш», мастерами. Там не хватало итээровцев. Институт же им предоставляли возможность кончить заочно.

— Ты не беспокойся, мама, — сказал Коля, положив свою большую руку на маленькую руку Софьи Петровны, — ты не беспокойся, мы там с Аликом прекрасно заживем... Нам обещают комнату в общежитии... да Свердловск ведь и недалеко. Ты приедешь к нам как-нибудь... и... знаешь, что? Ты будешь нам посылки посылать.

С этого дня, возвращаясь со службы, Софья Петровна сразу же принималась пересчитывать Колино белье в комоде, шить, штопать, отглаживать. Она отдала починить старый чемодан Федора Ивановича. Теперь уже то весеннее утро, когда они вместе с Федором Ивановичем купили этот чемодан в магазине Гвардейского общества, казалось бесконечно далеким и каким-то ненастоящим утром из какой-то ненастоящей жизни. Она с недоумением взглянула на лист «Нивы», которым была оклеена поврежденная стенка: декольтированная дама с длинным шлейфом, с высокой прической поразила ее. Это тогда были такие моды.

Колин отъезд беспокоил и огорчал Софью Петровну, но она не могла налюбоваться на ловкость и аккуратность, с какой он упаковывал книги и большие блокноты, исписанные его отчетливым почерком, и сам зашил

в пояс свой комсомольский билет. День отъезда все был через неделю и вдруг оказался завтра.

— Коля, ты уже готов, Коля? — спросил Алик Финкельштейн, входя утром к ним в комнату, маленький, большеголовый, с торчащими ушами. — Что?

Новая куртка топорщилась у него на спине, кончики воротничка загибались. Коля большими шагами подошел к своему чемодану и поднял его так легко, будто он был пустой. Всю дорогу на вокзал он чуть ли не размахивал чемоданом, а бедный Алик еле волочил свой сундучок, отдуваясь и рукавом куртки отирая со лба пот. Коротконогий, большеголовый, он казался Софье Петровне похожим на комический персонаж мультипликационного фильма. Тетка Алика не потрудилась, разумеется, приехать на вокзал проводить его, и они втроем — Коля, Софья Петровна и Алик — чинно прохаживались по платформе, в сырой мгле вокзала. Коля и Алик с азартом обсуждали вопрос, какая машина выносливее и легче — «фиат» или «паккард». И только за пять минут до отхода поезда Софья Петровна вспомнила, что она ничего, ничего не сказала мальчикам ни о ворах в дороге, ни о прачке. Сдавая белье прачке, надо непременно считать его и записывать... И ни под каким видом не есть в столовой винегрет: он часто бывает вчерашний, несвежий, и легко можно заболеть брюшным тифом. Она отвела Алика в сторону и вцепилась ему в плечо.

— Алик, голубчик, — говорила она, — уж вы позаботьтесь, голубчик, о Коле...

Алик смотрел на нее сквозь очки большими добрыми глазами.

— Разве мне трудно? Я, конечно, буду приглядывать за Николаем. А что же?

Пора было в вагон. Коля и Алик через минуту появились у окна. Коля — высокий, Алик ему по плечо. Коля сказал что-то Софье Петровне, но сквозь стекло было не слышно. Он рассмеялся, снял кепку и обвел купе возбужденным, веселым взглядом. Алик показывал Софье Петровне буквы пальцами. «Не...» — разобрала она и замахала на него рукой, догадавшись: «Не беспокойтесь...» Боже мой, ведь совсем дети едут!

Через минуту она шла по перрону назад, одна в толпе людей, все быстрее и быстрее, не замечая дороги и пальцами вытирая глаза.

5

После Колиного отъезда Софья Петровна еще меньше времени проводила дома. Сверхурочной работы в бюро всегда было вдоволь, и она чуть ли не каждый вечер оставалась работать, прикапливая деньги Коле на костюм: молодой инженер должен одеваться прилично.

В свободные вечера она приводила к себе Наташу пить чай. Они вместе заходили в гастроном на углу и выбирали себе два пирожных. Софья Петровна заваривала чай в чайнике с квадратами и включала радио. Наташа брала свое вышивание. В последнее время, по совету Софьи Петровны, она усердно пила пивные дрожжи, но цвет лица у нее не становился лучше.

В один из таких вечеров, уходя домой от Софьи Петровны, Наташа вдруг попросила подарить ей Колину последнюю карточку.

— А то у меня в комнате только мамина карточка и больше ничья, — объяснила она.

Софья Петровна подарила ей Колю, красивого, глазастого, в галстуке и воротничке. Фотограф удивительно схватил его улыбку.

Однажды, возвращаясь с работы, они зашли в кино — и с тех пор кино сделалось их любимым развлечением. Им обеим сильно нравились фильмы о летчиках и пограничниках. Белозубые летчики, совершавшие подвиги, казались Софье Петровне похожими на Колю. Ей нравились новые песни, зазвучавшие с экранов, особенно «Спасибо, сердце!» и «Если скажет страна — будь героем», нравилось слово «Родина». От этого слова, написанного с большой буквы, у нее становилось сладко и торжественно на душе. А когда самый лучший летчик или самый мужественный пограничник падал навзничь, сраженный пулей врага, Софья Петровна хватала Наташину руку, как в дни молодости хватала руку Федора Ивановича, когда Вера Холодная внезапно вытаскивала маленький дамский револьвер из широкой муфты и, медленно его поднимая, целила в лоб подлецу.

Наташа снова подала заявление в комсомол, и ее снова не приняли. Софья Петровна очень сочувствовала Наташиному горю: бедная девушка так нуждалась в обществе! Да и почему, собственно, ее не принимают? Девушка трудящаяся и вполне предана советской власти. Работает прекрасно, прямо-таки лучше всех — это раз. По-

литически грамотна — это два. Она не то что Софья Петровна, она дня не пропустит, чтобы не прочитать «Правду» от слова до слова. Наташа во всем разбирается не хуже Коли и Алика: и в международном положении, и в стройках пятилетки. А как она волновалась, когда льды раздавили «Челюскина», от радио не отходила. Из всех газет вырезывала фотографии капитана Воронина, лагерь Шмидта, потом летчиков. Когда сообщили о первых спасенных, она заплакала у себя за машинкой, слезы капали на бумагу, от счастья она испортила два листа. «Не дадут, не дадут погибнуть людям», — повторяла она, вытирая слезы. Такая искренняя, сердечная девушка! И вот теперь ее опять не приняли в комсомол. Это несправедливо. Софья Петровна даже Коле написала о несправедливости, постигшей Наташу. Но Коля ответил, что несправедливость — понятие классовое и бдительность необходима. Все-таки Наташа из буржуазно-помещичьей семьи. Подлые фашистские наймиты, убившие товарища Кирова, не выкорчеваны еще по всей стране. Классовые бои продолжаются, и потому при приеме в партию и в комсомол необходим строжайший отбор. Тут же он писал, что через несколько лет Наташу, наверное, примут, и сильно советовал ей конспектировать произведения Ленина, Сталина, Маркса, Энгельса.

— Через несколько лет! — горько улыбнулась Наташа. — Николай Федорович забывает, что мне уже скоро двадцать четыре.

— Тогда вас примут прямо в партию, — сказала ей Софья Петровна в утешение. — И что такое двадцать четыре года? Первая молодость.

Наташа ничего не ответила, но, уходя домой в этот вечер, взяла у Софьи Петровны том Колиного Ленина.

Письма от Коли получались регулярно, раз в шестидневку, накануне выходного дня. Какой он прекрасный сын — не забывает, что мама беспокоится, а мало ли у него там дела! Возвращаясь со службы домой, Софья Петровна еще на лестнице, в самом низу, доставала из сумочки ключик, шла по лестнице быстро и, добежав наконец до четвертого этажа, задыхаясь, отворяла голубой почтовый ящик. Письмо в желтом конверте уже ждало ее. Не снимая пальто, она садилась у окна и расправляла аккуратно сложенные листки блокнота. «Здравствуй, мама! — начиналось каждое письмо. — Надеюсь, что ты здорова. Я тоже здоров. Выработка на нашем заводе за последнюю шестидневку достигла...» Письма были длин-

ные, но все больше о заводе, о росте стахановского движения, а о себе, о своей жизни — ни слова. «Ты подумай только, — писал Коля в первом письме, — и червячные, и фрезы, и даже броши — все у нас еще заграничное, за все золотом расплачиваемся с капиталистами, а сами никак не можем освоить». Но Софью Петровну не фрезы интересовали. Ей бы узнать: как они там питаются с Аликом, добросовестная ли у них прачка? Хватает ли у них денег? И когда же они занимаются? По ночам, что ли? На все эти вопросы Коля отвечал крайне бегло и невразумительно. Софье Петровне так хотелось представить себе их комнату, их быт, их обед, что она, по совету Наташи, написала письмо Алику.

Ответ пришел через несколько дней.

«Уважаемая Софья Петровна! — писал Алик. — Извините мою смелость, но вы напрасно беспокоитесь о здоровье Николая. Мы кушаем совсем неплохо. Я с вечера закупаю колбасу и утром сам зажариваю ее на сливочном масле. Обедаем мы в столовке, из трех блюд, очень неплохо. Варенье, вами нам присланное, мы решили пить только с вечерним чаем, и таким путем его нам хватит надолго. Белье я тоже сдаю прачке по счету. Для занятий мы выделили специальные часы каждый день. Вы можете мне вполне поверить, что я все делаю для Николая как его друг и товарищ, и стараюсь все для него».

Письмо кончалось так:

«Николай успешно разрабатывает метод изготовления долбяков Феллоу в нашем инструментальном цехе. Про него в парткоме на заводе говорят, что это будущий восходящий орел».

Конечно, восходит светило, а не орел, и Софья Петровна решительно не понимала, что такое долбяки Феллоу, — и все же эти строки наполнили ее сердце гордостью и восхищением.

Колины письма Софья Петровна аккуратно складывала в коробку из-под писчей бумаги. Там у нее хранились жениховские письма Федора Ивановича, фотографии маленького Коли и фотография малютки Карины, родившейся на «Челюскине». Туда же Софья Петровна положила и письмо Алика. Она испытывала нежность к Алику: он несомненно был предан Коле и так умел понять его!

Однажды, уже месяцев через десять после Колиного

отъезда, Софья Петровна получила по почте внушительный фанерный ящик. Из Свердловска. От Коли. Ящик был такой тяжелый, что почтальон с трудом внес его в комнату и потребовал рубль на чай. «Швейная машина? — размышляла Софья Петровна. — Вот бы хорошо!» Свою она продала в трудные годы. Почтальон ушел. Софья Петровна взяла молоток и нож и вскрыла ящик. В ящике оказался черный стальной непонятный предмет. Он был заботливо засыпан стружками. Колесо не колесо, дуло не дуло, бог знает, что такое. Наконец на черной спине непонятного предмета Софья Петровна обнаружила ярлык, написанный Колиной рукой: «Мамочка, посылаю тебе первую шестеренку, нарезанную долбяком Феллоу, изготовленным на нашем заводе по моему методу». Софья Петровна засмеялась, похлопала шестеренку по спине и, пыхтя, отнесла ее на подоконник. Каждый раз, как она взглядывала на нее, ей становилось весело.

Через несколько дней, утром, когда Софья Петровна допивала чай, торопясь на службу, в ее комнату внезапно влетела Наташа. Волосы ее, мокрые от снега, были растрепаны, один ботик расстегнут. Она протянула Софье Петровне мокрую газету.

— Смотрите... Я сейчас на углу купила... читаю просто так... и вдруг вижу: Николай Федорович. Коля.

На первой странице «Правды» Софья Петровна увидела Колино улыбающееся белозубое лицо. Фотография изменила и немного состарила его, но, безо всякого сомнения, это он, ее сын, Коля. Под портретом было написано: «Энтузиаст производства, комсомолец Николай Липатов, разработавший метод изготовления долбяков Феллоу на Уральском машиностроительном заводе».

Наташа обняла Софью Петровну и поцеловала ее в щеку.

— Софья Петровна, милая, — умоляюще сказала она, — пожалуйся, пошлемте ему телеграмму!

Софья Петровна никогда еще не видела Наташу такой возбужденной. Да у нее и у самой тряслись руки, и она никак не могла найти свой портфель. Телеграмму они сочинили на службе, во время обеденного перерыва, и отправили после работы. Все поздравляли Софью Петровну; на службе ее поздравила с таким сыном даже Эрна Семеновна, а дома — даже медицинская сестра. Вечером, ложась в постель, счастливая и усталая, Софья

Петровна впервые подумала, что Наташа, наверное, влюблена в Колю. Как это она раньше не догадалась! Хорошая девушка, воспитанная, работящая, только очень уж некрасивая и старше его. Засыпая, Софья Петровна старалась представить себе ту девушку, которую полюбит Коля и которая станет его женой: высокую, свежую, розовую, с ясными глазами и светлыми волосами — очень похожую на английскую открытку, только со значком КИМа на груди. Ната? Нет, лучше Светлана. Или Людмила: Милочка.

6

Приближался новый, тысяча девятьсот тридцать седьмой год. Местком принял решение устроить елку для детей служащих издательства. Организация праздника была поручена Софье Петровне. Она кооптировала себе в помощницы Наташу, и работа у них закипела. Они звонили по телефонам на квартиры служащих, узнавая имена и возраст ребят; отстукивали на машинке приглашения; бегали по магазинам, закупая пастилу, пряники, стеклянные шары и хлопушки; сбились с ног, отыскивая снег. Самое важное и самое трудное было решить, какой подарок сделать кому из ребят, так, чтобы не выйти из лимита и в то же время все были довольны. Из-за подарка девочке директора Софья Петровна и Наташа немного поссорились. Софья Петровна хотела купить ей большую куклу — побольше, чем другим девочкам, а Наташа находила, что это будет бестактно. Помирились на хорошенькой дудочке с пушистой кисточкой. Наконец осталось купить только елку. Они купили высокую, до потолка, с широкими, густыми лапами. Наташа, Софья Петровна и лифтерша Марья Ивановна украшали елку с раннего утра и до двух часов дня накануне праздника. Марья Ивановна развлекала их рассказами о жене директора; про самого директора она говорила, как в старое время: «они». Лифтерша подавала Наташе и Софье Петровне шары, хлопушки, почтовые ящики, серебряные кораблики, а Наташа и Софья Петровна вешали их на елку. Скоро у Софьи Петровны заболели ноги, и она уселась в кресло и, сидя, вкладывала в пакетики с конфетами записочки: «Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство». Украшать продолжала одна Наташа. У нее были умелые руки и бездна вкуса: Деда Мороза укрепила она удивительно эффектно. Потом Софья Пет-

ровна вклеила кудрявую головку маленького Ленина в середину большой красной пятиконечной звезды, Наташа водрузила звезду на верхушку елки — и все было закончено. Они сняли со стены портрет Сталина во весь рост и заменили его другим — Сталин сидит с девочкой на коленях. Это был любимый портрет Софьи Петровны.

Три часа. Пора домой — полежать немного, пообедать и переодеться перед праздником.

Праздник удался на славу. Явились все ребята и почти все папы и мамы. Жена директора не приехала, но директор приехал и сам привез свою маленькую девочку, очаровательную крошку с белокурыми волосиками. Дети радовались подаркам, родители громко восхищались елкой. Только Анна Григорьевна, председательница месткома, обиделась, что сыну ее подарили барабан, а не оловянных солдатиков, как сыну парторга; солдатики стоили дороже. Она была в зеленом шелковом платье и даже декольте. Сын ее, долговязый, неприятный мальчик присвистнул, демонстративно ткнул барабан кулаком и порвал его. Но все остальные были довольны. Дочка директора без устали трубила в свою трубу, подпрыгивая между колен отца, упираясь маленькой пухлой рукой в его колено, и запрокидывала голову назад, чтобы видеть елку.

Софья Петровна чувствовала себя настоящей хозяйкой бала. Она заводила патефон, включала радио, показывала лифтерше глазами, кому поднести блюдо с пастилой. Ей было жаль Наташу, которая робко жалась к стене, бледно-серая, в своей нарядной, новой, собственноручно вышитой блузке. Директор, согнувшись, водил девочку вокруг елки и пугал ее Дедом Морозом. Софья Петровна с умилением смотрела на эту сцену; ей хотелось, чтобы Коля во всем походил на директора. Кто знает, может быть, годика через два и у нее будет такая же милая внучка. Или внук. Она уговорит Колю внука назвать Владлен — очень красивое имя! — а внучку — Нинель — имя изящное, французское, и в то же время, если читать с конца, получается Ленин.

Софья Петровна, усталая, опустилась в кресло. Пора бы уж и домой, у нее начиналась мигрень. К ней подошел представительный бухгалтер и, любезно нагнувшись, поведал странную новость: в городе арестовано множество врачей. Бухгалтер был лично знаком со всеми медицинскими светилами города: экзема его не поддавалась ничьему лечению, один только покойный Федор Ивано-

вич умел согнать ее. («Да, вот это был врач! Другие все присыпают, мажут, а толку никакого...») Среди арестованных бухгалтер назвал доктора Кипарисова, сослуживца Федора Ивановича, Колиного крестного.

— Как? Доктор Кипарисов?.. Не может быть! И что случилось? Разве опять какое-нибудь... несчастье?.. — спросила Софья Петровна, не решаясь произнести «убийство».

Бухгалтер возвел очи горé и отошел, ступая почему-то на цыпочках. Два года назад, после убийства Кирова (о! какие это были мрачные дни! По улицам ходили патрули... а когда ждали товарища Сталина — вокзальная площадь оцеплена войсками... улицы, переулки перекрыты... ни пройти, ни проехать), после убийства Кирова тоже было много арестов, но тогда сначала брали каких-то оппозиционеров, а потом «бывших», всяких там «фон-баронов». А теперь вот врачей. После убийства Кирова выслали как дворянку m-me Неженцеву, старинную приятельницу Софьи Петровны, — они в гимназии вместе учились. Софья Петровна была поражена, какое отношение m-me Неженцева могла иметь к убийству. Преподает в школе французский язык и живет, как все. Но Коля объяснил, что Ленинград необходимо очистить от ненадежного элемента. А кто такая, собственно говоря, эта твоя m-me Неженцева? Ведь ты сама помнишь, мама, что она не признавала Маяковского и говорила всегда, что в старое время все было дешевле. Она — не советский человек... Ну хорошо, а врачи? Они чем провинились? Подумать только — Иван Игнатьевич Кипарисов! Такой почтенный врач!

Ребята шумели в раздевалке, Софья Петровна, в качестве хозяйки, помогала родителям разыскивать рейтузы и ботики. Директор с девочкой на руках подошел к ней проститься. Он поблагодарил местком за прекрасный праздник.

— Я видел в «Правде» портрет вашего сына, — сказал он ей, улыбаясь. — Хорошая у нас смена подросла...

Софья Петровна смотрела на него с обожанием. Ей хотелось сказать ему, что он еще никакого права не имеет говорить о смене. Что такое тридцать пять лет? Первая молодость! Но она не решилась. Он сам одел девочку и поверх шубки закутал ее в белый пушистый платок. Как он все умеет. Мать может спокойно отпускать с ним ребенка. Сразу видно — прекрасный семьянин.

7

В газетах ничего не писали про врачей и про доктора Кипарисова. Софья Петровна собиралась зайти к m-me Кипарисовой и все не могла собраться. Времени не было, да и неловко как-то. Она не видела Кипарисову года три уже. Как это она ни с сего вдруг зайдет?

В январе начали появляться в газетах статьи о новом предстоящем процессе. Процесс Каменева и Зиновьева сильно поразил воображение Софьи Петровны, но она с непривычки к газетам не следила за ним изо дня в день. А на этот раз Наташа втянула ее в чтение газет, и они ежедневно прочитывали вместе все статьи о новом процессе. Очень уж упорно заговорили вокруг о фашистских шпионах, о террористах, об арестах... Подумать только, эти негодяи хотели убить родного Сталина. Это они, оказывается, убили Кирова. Они устраивали взрывы в шахтах. Пускали поезда под откос. И чуть ли не в каждом учреждении были у них свои ставленники.

Одна машинистка в бюро, только что вернувшаяся из дома отдыха, рассказала, что в соседней с нею комнате жил молодой инженер, она даже иногда с ним по парку гуляла. Один раз ночью вдруг приехала машина и его арестовали: он оказался вредителем. А на вид такой приличный — и не узнаешь.

В доме Софьи Петровны, в квартире 45, напротив, тоже кого-то арестовали — коммуниста какого-то. Комнату его запечатали красными печатями. Софье Петровне рассказал управдом.

Софья Петровна по вечерам надевала очки — у нее в последнее время развивалась дальнозоркость — и читала вслух газету Наташе. Скатерть была уже кончена; Наташа теперь вышивала накидку Софье Петровне на постель. Они говорили о том, как, наверное, возмущен сейчас Коля. Да и не только Коля — возмущены все честные люди. Ведь в поездах, пущенных под откос вредителями, могли быть маленькие дети! Какое бессердечие! Изверги! Недаром троцкисты тесно связаны с гестапо; они и в самом деле не лучше фашистов, которые в Испании убивают детей. И неужели, неужели доктор Кипарисов участвовал в их бандитской шайке? Его не раз приглашали на консилиумы вместе с Федором Ивановичем. После консилиума Федор Иванович привозил его домой попить чайку, посидеть. Софья Петровна видела его совсем близко — вот как сейчас Наташу видит. И теперь он

вступил в бандитскую шайку! Кто бы мог ожидать? Такой почтенный старик.

Однажды вечером, прочитав в газете перечень преступлений, совершенных подсудимыми, прослушав тот же перечень по радио, они с Наташей так ясно представили себе оторванные руки и ноги, горы изуродованных трупов, что Софье Петровне сделалось страшно остаться одной у себя в комнате, а Наташе страшно одной идти по улице. В эту ночь Наташа ночевала у нее на диване.

Всюду, на всех предприятиях, во всех учреждениях собирались митинги, и в их издательстве тоже состоялся митинг, посвященный процессу. Предместкома заранее обошла все комнаты и предупредила, что если есть такие несознательные, которые хотят уйти до собрания, то пусть имеют в виду: выходная дверь заперта. На собрание явились поголовно все, даже работники редакционного сектора, которые обыкновенно манкировали. Выступил директор и кратко, сухо и точно изложил газетные сообщения. После него говорил парторг, товарищ Тимофеев. Останавливаясь после каждых двух слов, он сказал, что враги народа орудуют повсюду, что они могут проникнуть и в наше учреждение и потому всем честным работникам необходимо неустанно повышать свою политическую бдительность. Затем слово было предоставлено председательнице месткома, Анне Григорьевне.

— Товарищи! — произнесла она, опустила веки и смолкла. — Товарищи! — Она сжала тонкие пальцы с длинными ногтями. — Подлый враг протянул свою грязную лапу и к нашему учреждению.— Все замерли. Камея опускалась и поднималась на полной груди Анны Григорьевны. — Предыдущей ночью арестован бывший заведующий нашей типографией, ныне разоблаченный враг народа Герасимов. Он оказался родным племянником московского Герасимова, разоблаченного месяц назад. При попустительстве нашей партийной организации, страдающей, по меткому выражению товарища Сталина, идиотской болезнью беспечности, Герасимов продолжал, с позволения сказать, «работать» в нашей типографии уже после разоблачения его родного дяди, московского Герасимова.

Она села. Грудь ее поднималась и опускалась.

— Вопросов нет? — осведомился директор, председательствовавший на этом собрании.

— А что они... сделали... в типографии? — робко спросила Наташа.

Директор кивнул предместкома.

— Что сделали? — высоким голосом отозвалась она, поднявшись со стула. — Я, кажется, товарищ Фроленко, ясно, русским языком объяснила здесь, что наш бывший заведующий типографией Герасимов оказался родным племянником того, московского, Герасимова. Он осуществлял повседневную родственную связь со своим дядей... разваливал в типографии стахановское движение... срывал план... по указаниям родственника. При преступном попустительстве нашей партийной организации.

Наташа больше не спрашивала.

Вернувшись после собрания домой, Софья Петровна села писать письмо Коле. Она написала ему, что у них в типографии открылись враги. А на «Уралмаше»? Все ли там благополучно? Как честный комсомолец, Коля обязан быть бдительным. В издательстве явственно ощущалось какое-то странное беспокойство. Директора ежедневно вызывали в Смольный. Хмурый парторг то и дело входил в бюро, отпирая дверь собственным французским ключом, и вызывал Эрну Семеновну в спецчасть. Вежливый бухгалтер, которому откуда-то всегда все было известно, рассказал Софье Петровне, что партийная организация заседает теперь каждый вечер.

— Милые бранятся, — сказал он, многозначительно усмехаясь. — Анна Григорьевна во всем обвиняет парторга, а парторг — директора. Насколько я понимаю, предстоит смена кабинета.

— В чем обвиняет? — спросила Софья Петровна.

— Да вот... никак договориться не могут, кто из них Герасимова проглядел.

Софья Петровна ничего толком не поняла и в этот день ушла из издательства в какой-то смутной тревоге. На улице она обратила внимание на высокую старуху, в платке поверх шапки, в валенках, в калошах и с палкой в руке. Старуха шла, выискивая палкой, где не скользко. Лицо ее показалось Софье Петровне знакомым. Да это Кипарисова! Неужели она? Боже, как она изменилась!

— Мария Эрастовна! — окликнула ее Софья Петровна.

Кипарисова остановилась, подняла большие черные глаза и с видимым усилием изобразила на лице приветливую улыбку.

— Здравствуйте, Софья Петровна! Сколько лет, сколько зим! Сынок-то ваш, верно, взрослый уже? — Она стояла, держа Софью Петровну за руку, но не глядя ей в лицо. Огромные глаза ее в смятении бегали по сторонам.

— Мария Эрастовна, — сердечно сказала Софья Петровна. — Я так рада, что встретила вас. Я слышала, у вас неприятности... с Иваном Игнатьевичем... Послушайте, мы ведь с вами друзья... Иван Игнатьевич Колю крестил... конечно, это теперь не считается, но мы-то ведь с вами старые люди. Скажите, Ивана Игнатьевича обвиняют в чем-нибудь серьезном? Неужели эти обвинения имеют под собой какую-нибудь почву? Я просто не могу, не могу поверить. Такой прекрасный, такой почтенный врач! Муж всегда уважал его и как клинициста ставил выше себя.

— Иван Игнатьевич ничего не сделал против советской власти, — угрюмо сказала Кипарисова.

— Я так и думала! — воскликнула Софья Петровна. — Я ни минуты в этом не сомневалась, я так всем и говорила...

Кипарисова мрачно смотрела на нее черными огромными глазами.

— До свидания, Софья Петровна, — сказала она без улыбки.

— Когда Иван Игнатьевич вернется, зовите меня на пирог, — проговорила Софья Петровна. — Да что вы, право, такая расстроенная? Раз Иван Игнатьевич не виноват, значит, все будет хорошо. В нашей стране с честным человеком ничего не может случиться. Просто недоразумение. Смотрите же, будьте молодцом... Пришли бы когда-нибудь чайку выпить!

Кипарисова зашагала по панели, постукивая палкой о лед.

«Неужели и я так же постарела? — думала Софья Петровна. — Лицо черное, все в морщинах. Да нет, не может быть, я еще не такая. Она просто распустилась уж очень: валенки, палка, платок... Для женщины много значит не распускаться, следить за собой. Ну кто теперь носит валенки? Не восемнадцатый год. Вот и выглядит на шестьдесят пять, а ведь ей не больше пятидесяти... Хорошо, что Кипарисов не виноват. Уж кто-кто, а жена знает. Я так и думала, что это просто недоразумение и ничего больше».

8

На следующий день машинописное бюро спешно кончало полугодовой отчет. Все знали, что ночью, со «Стрелой», директор выедет в Москву, чтобы завтра доложить о полугодовой работе издательства в Отделе печати ЦК партии. Софья Петровна торопила машинисток. Наташа писала не отрываясь весь обеденный перерыв.

В три часа отчет в четырех экземплярах лежал уже перед Софьей Петровной, и она аккуратно раскладывала его по четырем копиям. Не жалея зажимок, она ровненько скалывала листы.

А секретарша директора все не шла за отчетом. Софья Петровна решила сама отнести его в кабинет.

У полуоткрытых дверей директорского кабинета она столкнулась с парторгом.

— Туда нельзя! — сказал он ей не поклонившись и, хромая, прошел в другую комнату. Вид у него был встрепанный.

Софья Петровна заглянула в полуоткрытую дверь. Перед письменным столом на коленях стоял незнакомый мужчина и вынимал из тумбочки бумаги. Весь ковер в кабинете был усыпан бумагами.

— В котором часу будет сегодня товарищ Захаров? — спросила Софья Петровна у пожилой секретарши.

— Он арестован, — одними губами, без голоса, ответила ей секретарша. — Сегодня ночью.

Губы у нее были голубые.

Софья Петровна понесла отчет обратно в бюро. Когда она дошла до дверей бюро, она почувствовала, что у нее слабеют колени. Грохот машинок оглушил ее. Знают они уже или не знают? Они стучали, как будто ничего не случилось. Если бы ей сообщили, что директор умер, она была бы менее поражена. Она села на свое место и начала машинально снимать зажимки с листов. Вошел Тимофеев, открыв дверь собственным ключом. Софья Петровна впервые заметила, что, несмотря на хромоту, парторг держится очень прямо и походка у него мерная. «Простите!» — сказала она испуганно, когда он, проходя мимо, нечаянно задел ее плечом.

В половине пятого раздался наконец звонок. Софья Петровна молча сошла с лестницы, молча оделась и вышла на улицу. Таяло. Софья Петровна остановилась перед лужей, сосредоточенно обдумывая, как бы ее обойти.

К ней подошла Наташа. Наташа уже знала: ей сказала Эрна Семеновна.

— Наташа, — начала Софья Петровна, когда они дошли до угла, где обыкновенно прощались. — Наташа, вы верите, что Захаров виноват в чем-нибудь? Да нет, какая чепуха... Наташа, ведь мы-то знаем...

Она не могла подобрать слов, чтобы выразить свою уверенность. Захаров — большевик, их директор, которого они видели каждый день, Захаров — вредитель! Это была невозможность, чепуха, реникса, как говорил когда-то Федор Иванович. Недоразумение? Но ведь он такой видный партиец, его знали и в Смольном, и в Москве, его не могли арестовать по ошибке. Он не Кипарисов какой-нибудь!

Наташа молчала.

— Зайдемте к вам, я вам сейчас все объясню, — сказала вдруг Наташа с необычайной торжественностью.

Они пошли. Молча разделись. Наташа вынула из своего старенького портфельчика аккуратно сложенную газету. Она развернула газету перед Софьей Петровной и указала ей подвал на вкладной странице.

Софья Петровна надела очки.

— Понимаете, дорогая, его могли завлечь, — шепотом сказала Наташа. — Женщина...

Софья Петровна принялась читать.

В статье рассказывалось о некоем советском гражданине А., честном партийце, который был командирован советским правительством в Германию с целью освоить применение недавно изобретенного химического препарата. В Германии он честно исполнял свой долг, но вскоре увлекся некоей С., элегантной молодой женщиной, сочувствовавшей якобы Советскому Союзу. С. нередко навещала гражданина А. у него на квартире. И вот однажды гражданин А. обнаружил пропажу из бюро серьезных политических документов. Квартирная хозяйка сообщила ему, что в его отсутствие в комнате побывала С. Гр-н А. имел мужество немедленно порвать связь с С., но сообщить о пропаже документов товарищам мужества у него не хватило. Он уехал обратно в СССР, надеясь честной работой советского инженера загладить свое преступление перед Родиной. Целый год он работал спокойно и начал уже забывать о своем преступлении. Однако замаскированные агенты гестапо, проникшие в нашу страну, начали его шантажировать. Запуганный ими, А. вы-

дал им секретные планы того завода, на котором работал. Доблестные чекисты разоблачили окопавшихся агентов фашизма, нити следствия привели к несчастному А.

— Вы понимаете? — шепотом спросила Наташа. — Нити следствия... Наш директор, конечно, хороший человек, честный партиец. Но ведь и гражданин А., тут пишут, тоже был сначала честным партийцем... Всякого честного партийца может опутать смазливая женщина.

Наташа терпеть не могла смазливых женщин. Она признавала только строгую красоту и не находила ее ни в ком.

— Говорят, наш директор бывал за границей, — вспомнила Наташа. — Тоже в командировке. Помните, лифтерша Марья Ивановна рассказывала, что он привез своей жене из Берлина голубой вязаный костюм?

Статья сильно смутила Софью Петровну, и все-таки ей еще не верилось. То какой-то А., а то их Захаров. Выдержанный партиец, сам докладывал о процессе. И при нем издательство всегда выполняло план с превышением.

— Наташа, ведь мы же знаем, — устало сказала Софья Петровна.

— Что мы знаем? — с азартом заговорила Наташа. — Мы знаем, что он был директором нашего издательства, а больше ничего мы, собственно, не знаем. Разве нам известна вся его жизнь? Разве вы можете за него поручиться?

И в самом деле Софья Петровна не имела ни малейшего представления о том, чем был занят товарищ Захаров, когда не председательствовал на издательских собраниях и не водил девочку под елкой. Мужчины — все, все до единого, страшно любят смазливых женщин. Какая-нибудь наглая горничная и та может прибрать к рукам любого мужчину, даже порядочного. Если бы Софья Петровна не выгнала Фани вовремя, еще неизвестно, чем кончилось бы ее заигрывание с Федором Ивановичем.

— Давайте чай пить, — сказала Софья Петровна.

За чаем они припомнили, что фигура Захарова отличалась военной выправкой. Прямая спина, широкие плечи. Уж не был ли он в свое время белым офицером? По возрасту он вполне мог успеть.

Они пили пустой чай. Обе были так утомлены, что поленились спуститься в магазин за булкой или пирожными. «Завтра будет тяжело в издательстве, — думала Софья Петровна. — Словно покойник в доме. Что ни говори, а жаль директора». Она вспомнила полуоткрытую дверь кабинета и мужчину на коленях перед столом. Она только теперь поняла, что это был обыск.

Наташа собралась уходить. Она аккуратно сложила газету и спрятала ее в портфель. Потом налила себе в стакан кипятку и на прощание стала греть о стакан свои большие красные руки. Они у нее были отморожены в детстве и всегда мерзли.

Вдруг раздался звонок. И второй. Софья Петровна пошла отворять. Два звонка — это к ней. Кто бы это так поздно?

За дверьми стоял Алик Финкельштейн.

Видеть Алика одного, без Коли, было противоестественно.

— Коля? — вскрикнула Софья Петровна, схватив Алика за висящий конец его шарфа. — Брюшной тиф?

Алик, не глядя на нее, медленно снимал калоши.

— Тс-с-с! — выговорил он наконец. — Пройдемте к вам.

И он пошел по коридору, ступая на цыпочках, смешно раскорячивая свои короткие ноги.

Софья Петровна, не помня себя, шла за ним.

— Вы только не пугайтесь, ради бога, Софья Петровна, — сказал он, когда она притворяла дверь, — спокойненько, пожалуйста, Софья Петровна, пугаться, право, не стоит. Ничего страшного нет. Поза-поза-позавчера... Или когда это? Ну, перед тем выходным... Колю арестовали...

Он сел на диван, двумя рывками развязал шарф, бросил его на пол и заплакал.

9

Нужно было сейчас же бежать куда-то и разъяснить это чудовищное недоразумение. Нужно было сию же минуту ехать в Свердловск и поднять на ноги адвокатов, прокуроров, судей, следователей. Софья Петровна надела пальто, шляпу, боты и вынула из шкатулки деньги. Не позабыть паспорт. Сейчас же на вокзал за билетом.

Но Алик, утерев лицо шарфом, сказал, что, по его мнению, ехать сейчас в Свердловск решительно не имеет никакого смысла. Колю как коренного ленинградца, лишь недавно проживающего в Свердловске, скорее всего отвезут в Ленинград. Уж не лучше ли ей повременить с поездкой в Свердловск? Как бы она с ним не разминулась? Софья Петровна сняла пальто, бросила на стол паспорт и деньги.

— Ключи? Вы оставили там ключи? — закричала она, подступая к Алику. — Вы оставили кому-нибудь ключи?

— Ключи? Какие ключи? — оторопел Алик.

— Боже, какой же вы глупый! — выговорила Софья Петровна и вдруг заплакала громко, в голос. Наташа подбежала и обняла ее за плечи. — Да ключ... от комнаты... в вашем, как его... общежитии...

Они не понимали и смотрели на нее бессмысленными глазами. Какие дураки! А горло у Софьи Петровны теснило, и она не могла говорить. Наташа налила в стакан воды и протянула ей.

— Ведь он... ведь его... — говорила Софья Петровна, отстраняя стакан, — ведь его... уже, наверное... выпустили... увидели, что не тот... и выпустили... он вернулся домой, а вас нет... и ключа нет... Сейчас, наверное, будет от него телеграмма.

В ботах Софья Петровна повалилась на свою кровать. Она плакала, уткнувшись головой в подушку, плакала долго, до тех пор, пока и щеки и подушка стали мокрыми. Когда она поднялась, у нее белело лицо и кулаком стучало в груди сердце.

Наташа и Алик шептались возле окна.

— Вот что, — сказал Алик, жалостливо глядя на нее из-под очков своими добрыми глазами, — мы договорились с Натальей Сергеевной. Вы себе ложитесь сейчас спать, а утром идите потихонечку в прокуратуру. Наталья Сергеевна скажет завтра в издательстве, что вы прихворнули... или что-нибудь еще... что у вас ночью угар был... я знаю!

Алик ушел. Наташа хотела остаться ночевать, но Софья Петровна сказала, что ей ничего, ничего не надо. Наташа поцеловала ее и ушла. Кажется, она тоже плакала.

Софья Петровна вымыла лицо холодной водой, разделась и легла. В темноте трамвайные вспышки молниями

озаряли комнату. Белый квадрат света, как согнутый пополам лист бумаги, лежал на стене и на потолке. В комнате медицинской сестры еще взвизгивала и смеялась Валя. Софья Петровна представляла себе, как Колю под конвоем приводят к следователю. Следователь — красивый военный, весь в ремнях и карманах. «Вы Николай Фомич Липатов?» — спрашивает Колю военный. «Я — Николай Федорович Липатов», — с достоинством отвечает Коля. Следователь делает строгий выговор конвойным и приносит Коле свои извинения. «Ба! — говорит он. — Как я сразу не узнал вас? Да ведь вы — тот молодой инженер, портрет которого я недавно видел в «Правде»! Простите, пожалуйста. Дело в том, что ваш однофамилец, Николай Фомич Липатов, — троцкист, фашистский наймит, вредитель...»

Всю ночь Софья Петровна ждала телеграммы. Вернувшись домой, в общежитие и, узнав, что Алик выехал в Ленинград, Коля немедленно даст телеграмму, чтобы успокоить мать. Часов в шесть утра, когда уже снова задребезжали трамваи, Софья Петровна уснула. И проснулась от резкого звонка, который, казалось, был проведен прямо ей в сердце. Телеграмма? Но звонок не повторился.

Софья Петровна оделась, умылась, заставила себя выпить чашку чаю и прибрать комнату. И вышла на улицу — в полумглу. По-прежнему оттепель, но за ночь лужи подернулись легким ледком.

Сделав несколько шагов, Софья Петровна остановилась. Куда, собственно, следует идти?

Алик говорил: в прокуратуру. Но Софья Петровна не знала толком, что такое прокуратура, и не знала, где она. А расспрашивать прохожих про это место ей казалось стыдным. И она пошла не в прокуратуру, а в тюрьму, потому что случайно ей было известно, что тюрьма на Шпалерной.

У железных ворот стоял часовой с винтовкой. Маленькая парадная возле ворот была заперта. Софья Петровна тщетно толкала дверь рукой и коленом. И нигде не видно было ни одного объявления.

К ней подошел часовой.

— В девять часов пускать будут, — сказал он.

Было без двадцати восемь. Софья Петровна решила не уходить домой. Она прохаживалась взад и вперед мимо тюрьмы, задирая голову вверх и поглядывая на железные решетки.

Неужели это может быть, что Коля здесь, в этом доме, за этими решетками?

— Тут ходить нельзя, гражданка, — сказал часовой.

Софья Петровна перешла на другую сторону улицы и машинально побрела вперед. Налево она увидела широкую снежную пустыню Невы.

Она свернула по улице налево и вышла на набережную.

Было уже совсем светло. Беззвучно, с поразительной дружностью, на Литейном мосту погасли фонари. Нева была завалена кучами грязного, желтого снега. «Наверное, сюда снег свозят со всего города», — подумала Софья Петровна. Она обратила внимание на большую толпу женщин посреди улицы. Одни стояли, облокотившись на парапет набережной, другие медленно прохаживались по панели и по мостовой. Софью Петровну удивило, что все они были очень тепло одеты: поверх пальто закутаны в платки, и почти все в валенках и в калошах. Они притоптывали ногами и дули на руки. «Видимо, они уже давно тут стоят, если так замерзли, — размышляла от нечего делать Софья Петровна, —а мороза-то нет, снова тает». У всех этих женщин был такой вид, будто на полустанке, много часов подряд, они ожидали поезда. Софья Петровна внимательно оглядела дом, против которого топтались женщины, — дом обыкновенный, на нем никаких вывесок. Чего же они тут ожидают? В толпе были дамы в нарядных пальто, были и простые женщины. От нечего делать Софья Петровна прошлась раза два сквозь толпу. Одна женщина стояла с грудным ребенком на руках и за руку держала другого, повязанного шарфом крест-накрест. У стены дома одиноко стоял мужчина. Лица у всех были зеленоватые. Может быть, это в утренней мгле они казались такими?

К Софье Петровне вдруг подошла маленькая опрятная старушка с палочкой. Из-под котиковой, низко надвинутой шапки сверкали серебряные волосы и черные еврейские глаза.

— Вам список? — спросила старушка дружелюбно.— В парадной 28.

— Какой список?

— На «эл» и «эм»... Ах, извиняюсь, гражданка! Вы ходите здесь, так я подумала, вы тоже об арестованном.

— Да, о сыне... — с недоумением ответила Софья Петровна.

Отвернувшись от старушки, неприятно поразившей ее своей проницательностью, Софья Петровна отправилась разыскивать парадную дома 28. Мысль, что все эти женщины пришли сюда за тем же, за чем пришла она, смутно зашевелилась в душе ее. Но почему они здесь, на набережной, а не возле тюрьмы? Ах, да, возле тюрьмы не позволяет стоять часовой.

Дом № 28 оказался облупленным особняком почти у самого моста. Софья Петровна вошла в парадную — роскошную, но грязную, с камином, с огромным разбитым трюмо и мраморным купидоном; подложив под спину газету, а под голову — заиндевевший портфель, свернувшись, лежала женщина.

— Записываться? — спросила она, подняв голову. Потом села и вынула из портфеля измятую бумажку и карандаш.

— Да я, собственно, не знаю, — растерянно произнесла Софья Петровна. — Я пришла поговорить о сыне, которого по ошибке арестовали в Свердловске... Понимаете ли, просто как однофамильца...

— Говорите, пожалуйста, тише, — с раздражением оборвала ее женщина. У нее было интеллигентное усталое лицо. — Списки отбирают, и вообще... Как фамилия?

— Липатов, — робко ответила Софья Петровна.

— 344, — сказала женщина, записывая. — Ваш номер 344. Уходите отсюда, пожалуйста.

— 344, — повторила Софья Петровна и снова вышла на набережную.

Толпа все росла. «Ваш какой номер?» — то и дело спрашивали Софью Петровну:

— Ну, вам сегодня не попасть, — сказала ей одна женщина, повязанная платком по-крестьянски.— Мы-то еще с вечера записавшись...

— Список где? — шепотом спрашивали другие... Было уже светло: наступил день.

И вдруг вся толпа кинулась бежать. Софья Петровна побежала со всеми. Громко заплакал ребенок, повязанный шарфом. У него были кривые ножки, и он еле поспевал за матерью. Толпа свернула на Шпалерную. Софья Петровна издали увидела, что маленькая дверь возле железных ворот уже открыта. Люди протискивались в нее, как в дверь трамвая. Втиснулась и Софья Петровна. И сразу стала: идти дальше было некуда. В полутемной прихожей и на маленькой деревянной лесенке тол-

пились люди. Толпа колыхалась. Все разматывали платки, расстегивали вороты, и все пробирались куда-то: каждый искал предыдущий и последующий номера. А сзади все напирали и напирали люди. Софью Петровну крутило, как щепку. Она расстегнула пальто и вытерла платком лоб. Переведя дыхание и привыкнув к полутьме, Софья Петровна тоже принялась отыскивать нужные номера: 343 и 345. 345 был мужчина, а 343 — сгорбленная, древняя старуха.

— Ваш муж тоже латыш? — спросила старуха, подняв на Софью Петровну мутные глаза.

— Нет, почему же? — ответила Софья Петровна. — Почему именно латыш? Мой муж давно умер, но он был русский.

— Скажите, пожалуйста, а у вас уже есть путевка? — спросила у Софьи Петровны старушка еврейка с серебряными волосами, та, которая заговорила с ней на набережной.

Софья Петровна не ответила. Она ничего не понимала здесь. Женщина, лежащая на лестнице, теперь какие-то глупые вопросы о латыше, о путевке. Ну при чем тут путевка? Ей казалось, что она не в Ленинграде, а в каком-то незнакомом чужом городе. Странно было думать, что в тридцати минутах ходьбы — ее служба, издательство, Наташа стучит на машинке...

Отыскав своих соседей, люди стояли спокойно. Софья Петровна разглядела: лесенка вела в комнату, и в комнате тоже толпой стояли люди, и, кажется, за этой комнатой была еще вторая. Софья Петровна исподлобья поглядывала вокруг. Вот женщина с портфелем, в шерстяных носках поверх чулок, в плохоньких туфельках — это та самая, которая лежала на лестнице. К ней и тут то и дело подходят люди, но она уже не записывает их: поздно. Подумать только, все эти женщины — матери, жены, сестры вредителей, террористов, шпионов! А мужчина — муж или брат... На вид все они самые обыкновенные люди, как в трамвае или в магазине. Только все усталые, с помятыми лицами. «Воображаю, какое это несчастье для матери — узнать, что сын ее предатель», — думала Софья Петровна.

Изредка по скрипучей узкой лесенке, с трудом протискиваясь сквозь толпу, спускалась женщина.

— Передала? — спрашивали ее внизу.

— Передала, — она показывала розовую бумажку.

А одна, по виду молочница, с большим бидоном в руке, ответила — выслан! — и громко заплакала, поставив бидон, прислонившись головой к косяку двери! Платок пополз вниз, показались рыжеватые волосы и маленькие серьги в ушах.

— Тише! — зашикали на нее со всех сторон. — Он шуму не любит, закроет окно и все. Тише!

Молочница поправила платок и ушла со слезами на щеках.

Из разговоров Софья Петровна поняла, что большинство этих женщин пришли передать деньги арестованным мужьям и сыновьям, а некоторые — узнать, здесь ли муж или сын. У Софьи Петровны кружилась голова от духоты и усталости. Она очень боялась, что таинственное окошечко, к которому все стремились, закроется раньше, чем она успеет подойти к нему.

— Если сегодня будет только до двух, нам с вами не попасть, — сказал ей мужчина. «До двух? Неужели до двух здесь стоять? — с тоской подумала Софья Петровна. — Ведь сейчас не больше десяти».

Она закрыла глаза, стараясь осилить головокружение. Мерно гудели тихие, немногословные разговоры. «Вашего-то когда взяли?» — «Да уж третий месяц пошел». — «А моего — две недели». — «Скажите, вы не знаете, где еще можно навести справки?» — «В прокуратуре. Да нигде не говорят ничего». — «А вы на Чайковского были? А на Герцена?» — «На Герцена военная». — «Вашего-то когда взяли?» — «У меня дочка». — «А на Арсенальной, говорят, белье принимают». — «Вы кто, латый будете?» — «Нет, мы поляки». — «Вашего-то когда взяли?» — «Да уж полгода». — «А какие номера там идут? Двадцатые только? Господи, боже мой, как бы он в два не закрыл! Прошедший раз аккурат в два захлопнул!»

Софья Петровна повторяла про себя, что она спросит: привезли ли Колю в Ленинград? Когда можно видеть судью — или кого там, следователя? И нельзя ли сегодня? И нельзя ли немедленно получить свидание с Колей?

Через два часа Софья Петровна, следом за древней старухой, вступила на первую ступеньку деревянной лестницы. Через три — в первую комнату. Через четыре — во вторую и через пять — следом за извивающейся очередью — снова в первую. Из-за спин она разглядела деревянное квадратное окошечко и в окошечке широкие

плечи и большие руки тучного мужчины. Было три часа. Софья Петровна сосчитала — перед ней еще пятьдесят девять человек.

Женщины, называя фамилию, робко протягивали в окошечко деньги. Кривоногий мальчик всхлипывал, облизывая языком слезы. «Ну, уж я-то с ним поговорю, — нетерпеливо думала Софья Петровна. — Пусть сейчас же проведет меня к следователю, к прокурору или к кому там... Как много еще у нас в быту некультурности! Духота, вентиляцию не могут устроить. Надо бы написать письмо в «Ленинградскую правду».

И вот наконец перед Софьей Петровной осталось только трое. На всякий случай она тоже приготовила деньги: пусть Коля пока что не стесняет себя. Сгорбленная старуха дрожащей рукой передала в окошечко тридцать рублей и получила розовую квитанцию. Она вглядывалась в нее слепыми глазами. Софья Петровна торопливо стала на место старухи. Она увидела молодого тучного человека, с белым опухшим лицом и маленькими сонными глазками.

— Я хотела бы узнать, — начала Софья Петровна, согнувшись, чтобы получше видеть лицо человека за окошечком, — здесь ли мой сын? Дело в том, что он арестован по ошибке...

— Фамилия? — перебил ее человек.

— Липатов. Его арестовали по ошибке, и вот уже несколько дней я не знаю...

— Помолчите, гражданка, — сказал ей человек, наклоняясь над ящиком с карточками. — Липатов или Лепатов?

— Липатов. Я хотела бы сегодня же повидаться с прокурором или к кому вам будет угодно меня направить...

— Буквы?

Софья Петровна не поняла.

— Звать-то его как?

— Ах, инициалы? Эн, эф.

— Нэ или мэ?

— Эн, Николай.

— Липатов, Николай Федорович, — сказал человек, вынимая из ящика карточку. — Здесь.

— Я хотела бы узнать...

— Справок мы не даем. Прекратите разговоры, гражданка. Следующий!

Софья Петровна поспешно протянула в окошечко тридцать рублей.

— Ему не разрешо́но, — сказал человек, отстраняя бумажку. — Следующий! Проходите, гражданка, не мешайте работать.

— Уходите! — шептали Софье Петровне сзади. — А то он окошко захлопнет.

Софья Петровна добралась до дома в шестом часу. У себя она застала Алика и Наташу. Она опустилась на стул и несколько минут не в силах была снять с себя боты и пальто. Алик и Наташа смотрели на нее вопросительно. Она сообщила, что Коля здесь, в тюрьме, на Шпалерной, и никак не могла объяснить им, почему она не узнала, по какому делу он арестован и когда можно будет получить с ним свидание.

10

Софья Петровна взяла в издательстве двухнедельный отпуск за свой счет. Пока Коля сидит в тюрьме, разве может она думать о каких-то бумагах, об Эрне Семеновне! Да и не поспеешь служить: с утра до ночи и с ночи до утра надо стоять в очередях. Она подала заявление хромому парторгу: после ареста Захарова он был назначен временно исполняющим обязанности директора. Он сидел в том же кабинете, где раньше сидел Захаров, за тем же большим столом с телефонами: носил он уже не косоворотку, а серенький костюмчик из Ленинградодежды, галстучек, воротничок — и все-таки казался невзрачным. Софья Петровна сказала, что отпуск ей нужен по домашним обстоятельствам. Не глядя на нее, Тимофеев долго писал резолюцию красными чернилами. Он сказал Софье Петровне, что замещать ее на этот раз будет Эрна Семеновна, и приказал сдать ей дела. «А почему не Фроленко? — удивилась Софья Петровна. — Ведь Эрна Семеновна малограмотна и пишет с ошибками...» Товарищ Тимофеев ничего не ответил и встал. Ах, не все ли равно? Софья Петровна вышла из кабинета. Она торопилась в очередь.

Дни и ночи ее проходили теперь не дома и не на службе, а в каком-то новом мире — в очереди. Она стояла на набережной Невы, или на Чайковской — там скамейки, можно присесть, — или в огромном зале Большого дома, или на лестнице в прокуратуре. Уходила домой

поесть или поспать она только тогда, когда Наташа или Алик сменяли ее. (Алика директор отпустил в Ленинград всего только на одну шестидневку, но он со дня на день откладывал свой отъезд в Свердловск, надеясь вернуться вместе с Колей.) Многое узнала Софья Петровна за эти две недели — она узнала, что записываться в очередь следует с вечера, с одиннадцати или двенадцати, и каждые два часа являться на перекличку, но лучше не уходить совсем, а то тебя могут вычеркнуть; что непременно надо брать с собой теплый платок, надевать валенки, потому что даже в оттепель с трех часов ночи и до шести утра будут мерзнуть ноги и все тело охватит мелкая дрожь; она узнала, что списки отнимают сотрудники НКВД и того, кто записывает, уводят в милицию; что в прокуратуру надо ходить в первый день шестидневки, и там принимают не по буквам, а всех, а на Шпалерной ее буква седьмого и двадцатого (в первый раз она попала в свой день каким-то чудом), что семьи осужденных высылают из Ленинграда и путевка — это направление не в санаторий, а в ссылку; что на Чайковской справки выдает краснолицый старик с пушистыми, как у кота, усами, а в прокуратуре — мелкозавитая, остроносая барышня; что на Чайковской надо предъявлять паспорт, а на Шпалерной нет; узнала, что среди разоблаченных врагов много латышей и поляков — и вот почему в очереди так много латышек и полек. Она научилась с первого взгляда догадываться, кто на Чайковской не прохожий вовсе, а стоит в очереди, она даже в трамвае по глазам узнавала, кто из женщин едет к железным воротам тюрьмы. Она научилась ориентироваться во всех парадных и черных лестницах набережной и с легкостью находила женщину со списком, где бы та ни пряталась. Она знала уже, выходя из дому после краткого сна, что на улице, на лестнице, в коридоре, в зале — на Чайковской, на набережной, в прокуратуре будут женщины, женщины, женщины; старые и молодые, в платках и в шляпах, с грудными детьми, и с трехлетними, и без детей — плачущие от усталости дети и тихие, испуганные, немногословные женщины; и, как когда-то в детстве, после путешествия в лес, закрыв глаза, она видела ягоды, ягоды, ягоды, так теперь, когда она закрывала глаза, она видела лица, лица, лица...

Одного только она не узнала за эти две недели: из-за чего Коля арестован? И кто и когда будет его судить? И в чем его обвиняют? И когда же наконец кончится это

глупое недоразумение и он вернется домой? В справочном бюро на Чайковской краснолицый старик с пушистыми усами смотрел в ее паспорт, спрашивал: «Как имя вашего сына? Вы мать? А почему жена не пришла? Не женат? Липатов, Николай? Следствие ведется», — и выкидывал из окошечка паспорт, и, прежде чем Софья Петровна успевала открыть рот, механическая дверца окошечка с треском падала сверху вниз и раздавался звонок, означающий: «Следующий!» С дверцей Софье Петровне разговаривать было не о чем, и, постояв секунду, она уходила. В прокуратуре мелкозавитая остроносая барышня, высовываясь из окошечка, говорила скороговоркой: «Липатов? Николай Федорович? Дело в прокуратуру еще не поступало. Справьтесь через две недели». На Шпалерной тучный, сонный мужчина неизменно отстранял ее деньги и произносил: «Ему не разрешóно». Это было все, что она знала о Коле: другим деньги разрешóны, а ему почему-то не разрешóны. Почему? Но она уже понимала, что расспрашивать человека в окошечке — тщетно.

Зато она с жадностью расспрашивала Алика про то, как это было, как уводили Колю. И Алик покорно рассказывал опять и опять, что они уже спали, что вдруг раздался стук в дверь и вошел заведующий общежитием, а за ним комендант, а за ним кто-то в штатском и один военный.

— Который был час? — спрашивала Софья Петровна.

— Так, примерно, полвторого, — отвечал Алик и рассказывал дальше: — Комендант зажег свет, а штатской спросил: «Кто тут Липатов, Николай?»

— Коля испугался? — тревожно перебивала Софья Петровна.

— Ни капельки, — отвечал Алик. — Он надел белье, костюм и просил меня завтра передать на заводе, что его по недоразумению задержали и он, может быть, несколько дней прогуляет... Так пусть на участке заменит его Яша Ройтман, это у нас комсомолец такой...

— И неужели он ничего-ничего не взял с собою! — всплескивала руками Софья Петровна. Алик объяснял ей, что Коля ни за что не хотел взять с собой ни смены белья, ни полотенца, хотя прачка только-только принесла.

— Зачем мне? Ведь я завтра-послезавтра вернусь.

— Сильно советую взять, — сказал военный. Но Коля и ему повторил, что незачем: он завтра вернется.

— Вот что значит чистая совесть! — с умилением говорила Софья Петровна. — Но дадут ли ему там полотенце?

Алик послушно ждал Колю и день, и два, и три и только на четвертый решился ехать в Ленинград — выяснять обстоятельства. Он соврал директору, будто у него мамаша при смерти. И директор — парень свой, хороший — отпустил.

Софья Петровна осторожно выспрашивала Алика, не поссорился ли там Коля с начальниками; не нагрубил ли кому; не водился ли с кем-нибудь, кто потом оказался вредителем; или женщина, быть может, во что-нибудь его впутала.

— Ну, какая там женщина! — с легким раздражением отвечал Алик. — Да и впутаешь разве Николая? Не знаете вы его, что ли? Про него директор так прямо и говорил, что это будущий мировой инженер...

Ах, конечно, конечно, Коля ни на что дурное не способен. Уж Софье ли Петровне не знать, что это за сердце, какая голова, как он предан советской власти и партии. Но ведь и без причины ничего не бывает. Коля еще молод, не жил один на свете. Восстановил там кого-нибудь против себя. Надо уметь обходиться с людьми. И Софья Петровна с неприязнью взглядывала на Алика: недосмотрел. Вот если бы Коля остался в Ленинграде, у матери на глазах, ничего бы с ним не случилось. Не надо было отпускать его в Свердловск.

Но и так, и так ничего не может худого случиться, уговаривала себя Софья Петровна. Каждый час, каждую минуту ждала она Колю домой. Уходя в очередь, она всегда оставляла ключ от своей комнаты в коридоре, на полочке, в старом, установленном месте. Она даже суп горячий оставляла для него в духовке. И, возвращаясь, поднималась по лестнице торопливо, без передышек, как когда-то навстречу письму; вот она сейчас войдет в свою комнату, а Коля, оказывается, дома, и никак не может понять, куда же запропастилась мама?

Одна женщина — в очереди — говорила прошлой ночью другой (Софья Петровна слышала): «Жди его, вернется. Кто сюда попал — не вернется». Софья Петровна хотела было ее оборвать, но не стала связываться. У нас

невиновных не держат. Да еще таких патриотов советских, как Коля. Разберутся и выпустят.

Однажды вечером Алик, уговорив Софью Петровну полежать хоть часок, надел уже свою куртку, обмотал шею шарфом и простился: было 19-е, он шел занимать очередь на Шпалерной. «Я приду не позже двух», — сказала ему Софья Петровна с кровати слабым голосом. «Софья Петровна, хоть в пять», — ответил он бодро и вышел за дверь. Но почему-то вернулся. Он подошел к Наташе, сидевшей у окна с вязаньем в руках.

— Как вы себе мыслите, Наталья Сергеевна, — спросил он, прямо глядя на нее из-под очков блестящими глазами, — там, в тюрьме, все такие же виноватые, как Коля? Что-то в очереди все мамаши сильно смахивают на Софью Петровну.

— Не знаю, — ответила, по своему новому обыкновению, Наташа.

Наташа и прежде была молчалива, но с тех пор, как арестовали Колю, она почти что совсем лишилась дара речи. На вопросы она отвечала «да», «нет» или «не знаю». Казалось, спроси ее, как ее зовут, и она тоже ответит «не знаю». Свободное от службы время она проводила у Софьи Петровны — стряпала обед, мыла посуду, подавала воду с валерьянкой — или в очереди. И все это не открывая рта.

— Что вы, Алик, — тихо сказала Софья Петровна. — Как вы можете сравнивать? Ведь Колю-то арестовали по недоразумению, а других... Вы что, газет не читаете?

— Э, что газеты, — ответил Алик и вышел.

В газетах как раз появились признания подсудимых на суде. Вчера в очереди Софья Петровна прочла целый лист из-за плеча стоящего перед ней мужчины. У нее болели ноги, ныло сердце, но газета была такая интересная, что, вытянув шею, она прочла ее всю. Подсудимые подробно рассказывали про убийства, про отравления, про взрывы — и Софья Петровна была возмущена вместе с прокурором. «Это как называется?» — со сдержанным негодованием спрашивал у подсудимого прокурор. «Подлость!» — сокрушенно отвечал подсудимый.

Нет, Софья Петровна недаром сторонилась своих соседок в очередях. Жалко их, конечно, по-человечески, особенно жалко ребят, а все-таки честному человеку следует помнить, что все эти женщины — жены и матери отравителей, шпионов и убийц.

11

Прошло две недели. Алик уехал обратно в Свердловск на завод. Софья Петровна приступила к работе в издательстве, так ничего и не разузнав о Коле.

Женщины в очереди объяснили ей, что дело, по всей вероятности, в конце концов поступит в прокуратуру, а когда дело поступит в прокуратуру, можно будет пройти и к прокурору. Он принимает не через окошечко, а за столом, и ему можно рассказать все.

А пока что оставалось одно — ходить на службу, подсчитывать строчки, улыбаться, распределять работу и под стук и звон машинок неустанно думать о Коле. Коля сидит в тюрьме, Коля в тюрьме. Среди бандитов, шпионов и убийц. В камере. На запоре.

Стараясь представить себе тюрьму и Колю в тюрьме, она неизменно представляла себе картину, изображающую княжну Тараканову: темная стена, девушка с растрепанными волосами прижимается к стене, вода на полу, крысы... Но в советской тюрьме все, конечно, совсем не так.

Алик на прощание посоветовал ей никому не говорить о Колином аресте. «Мне нечего стыдиться Коли!» — начала было гневно Софья Петровна, но потом согласилась с Аликом: другие-то ведь не знают Колю и могут невесть что вообразить. И ни на службе, ни в квартире она никому ничего не рассказала, только жене Дегтяренко, которая однажды застала ее плачущей в ванной. — Жена Дегтяренко сочувственно вздохнула. «Что же плакать-то, может, еще и вернется, — сказала она. — То-то я смотрю, вы и днем и ночью бегаете, лица на вас нет».

Прошло пять месяцев со дня ареста Коли: зима уже сменилась весною и весна беспощадно жарким июнем — а Коли все не было. Софья Петровна изнемогала от жары, от ожидания, от ночных очередей. Пять месяцев, три недели, и четыре дня, и пять дней, и шесть дней... пять месяцев и четыре недели. А Коля все не возвращался, деньги ему все были «не разрешóны», и на службе у Софьи Петровны вдруг начались неприятности. Неприятности — одна за другой.

Виновницей неприятностей была Эрна Семеновна.

Когда Софья Петровна вернулась на службу после двухнедельного отпуска, Эрну Семеновну оставили при ней помощницей — вычитывать переписанные рукопи-

си. Софья Петровна полагала, что помощи от нее никакой: сама неграмотна! Как она чужие ошибки исправит? Но против распоряжения Тимофеева не пойдешь. И Эрна Семеновна вычитывала, а Софья Петровна молчала.

И вот однажды хмурый товарищ Тимофеев, позванивая ключами — он теперь всегда носил при себе все ключи от всех столов и от всех комнат, — остановил Софью Петровну в коридоре и попросил ее прислать к нему после работы Фроленко. Софья Петровна послала Наташу к нему в кабинет, и сама осталась ждать ее в раздевалке, недоумевая, что бы могло товарищу Тимофееву понадобиться от Наташи.

Наташа вернулась довольно скоро. Серое лицо ее было бесстрастно, только губы будто немного дрожали. «Меня уволили», — сказала она, когда они вышли на улицу.

Софья Петровна остановилась.

— Эрна Семеновна показала парторгу мою вчерашнюю работу. Помните, большая статья о Красной Армии. У меня в одном месте написано «Крысная» Армия вместо Красная.

— Но позвольте, — сказала Софья Петровна, — ведь это простая описка. С чего вы взяли, что вас завтра уволят? Всем известно, что вы лучшая машинистка в бюро.

— Он сказал: уволят за отсутствие бдительности. — Наташа пошла вперед. Солнце било ей прямо в глаза, но она не опускала глаз.

Софья Петровна привела ее к себе, напоила чаем. Коли не было. Раньше, когда Коля жил благополучно в Свердловске, Софья Петровна не мучилась от того, что его с ней не было. Так, скучала немножко. А теперь каждая вещь в комнате вопила Софье Петровне в лицо, что Коли нету. На подоконнике одиноко чернела его шестеренка.

— Завтра я еще приду в издательство, но в последний раз, — сказала Наташа, прощаясь.

— Не говорите глупостей! — прикрикнула на нее Софья Петровна. — Не может этого быть.

Но оказалось, что может. На следующий день на стене, в коридоре, висел приказ об увольнении Н. Фроленко и Е. Григорьевой — бывшей секретарши директора. Мотивировкой увольнения Фроленко служило отсутствие политической бдительности, увольнения секретарши —

связь с разоблаченным врагом народа, бывшим директором Захаровым.

Рядом с приказом висел большой плакат, извещающий, что сегодня, в пять часов дня, состоится общее собрание всех работников издательства. Повестка дня: 1) Доклад товарища Тимофеева о вредительстве на издательском фронте; 2) Разное. Явка обязательна.

Наташа, собрав свой портфельчик, сразу после звонка ушла, сказав всем вместе «до свидания». «Всего хорошего», — хором ответили ей машинистки, одна только Эрна Семеновна не ответила: она поправляла прическу, ловя свое отражение в стекле окна. У Софьи Петровны было тяжело на душе. Она проводила Наташу до самой раздевалки.

— Приходите вечером, — сказала она ей на прощание.

Предместкома уже созывала всех в кабинет директора. Лифтерша Марья Ивановна вносила стулья. Софья Петровна вошла и села в первом ряду. Она чувствовала себя испуганной и одинокой. Зажгли верхний свет, задернули тяжелые шторы. Входили и рассаживались служащие. На всех лицах приметно было какое-то жадное и тревожное любопытство.

— Что же вам, товарищи, особое приглашение посылать надо, что ли, — кричала в редакционном секторе предместкома.

Тимофеев стоял у стола, сосредоточенно перебирая бумаги.

Предместкома объявила собрание открытым. Лениво поднимая руки, ее единогласно выбрали председательницей. Товарищ Тимофеев откашлялся.

— Мы, товарищи, собрались сегодня для важного дела, — начал он, — для того, чтобы кон-стан-тировать в нашем издательстве преступное притупление бдительности и сообща обдумать, как нам ликвидировать его последствия. — Он говорил на этот раз уверенно, гладко, он даже почти не запинался. — В течение целых пяти лет у нас, перед самым носом, если можно так выразиться, у нашей общественности подвизался ныне разоблаченный враг народа, злостный бандит, террорист и вредитель, бывший директор Захаров. Захаров уже лишен возможности вредить. Но в свое время он привел с собою целый хвост своих людишек, свою, с позволения сказать, свиту, которая вместе с ним образовала тут плотное

гнездо и всячески способствовала ему в его грязных троцкистских махинациях. К стыду нашей общественности, захаровская свита не ликвидирована до сих пор. Вот тут передо мной, — он развернул бумаги, — вот передо мной находятся документальные данные, которые документально подтвердят вам об их грязном контрреволюционном деле.

Тимофеев замолчал и налил себе воды.

— Что показывают эти доку́менты? — начал он снова, утерев рот ладонью. — Вот этот доку́мент неопровержимо показывает, что в тридцать втором году по личному распоряжению директора, без увязки с месткомом и отделом кадров, по личному, я повторяю, распоряжению директора, была принята на работу некто Н. Фроленко.

Софья Петровна вся съежилась на стуле, будто заговорили о ней.

— А кто такая Фроленко? Она — дочь полковника, владевшего в старое время так называемым поместьем. Что же, спрашивается, делала в нашем советском издательстве гражданка Фроленко, дочь чуждого элемента, принятая на работу бандитом Захаровым? Об этом нам расскажет другой доку́мент. Под крылышком у Захарова гражданка Фроленко научилась чернить нашу любимую Рабоче-Крестьянскую Красную Армию, устраивать контрреволюционные вылазки: она называет Красную Армию — Крысиной Армией...

У Софьи Петровны пересохло во рту.

— А бывшая секретарша Григорьева? Это — верная подручная директора, которой он вполне мог доверять во всей своей, с позволения сказать, деятельности... Как же могло случиться, чтобы вредитель и его прихвостни целых пять лет нагло морочили советскую общественность? Это, товарищи, могло объясняться только одним: преступным притуплением политической бдительности.

Товарищ Тимофеев сел и принялся пить воду. Софья Петровна с жадностью смотрела на воду: такая сушь была у нее во рту и в горле. Предместкома резко зазвонила в звонок, хотя все молчали и никто не шевелился.

— Кто хочет высказаться? — спросила она.

Молчание.

— Товарищи, кто просит слова? — еще раз спросила предместкома.

Молчание.

— Неужели никто не хочет сказать пару слов по такому жгучему вопросу?

Молчание. И вдруг — громкий голос от дверей, на который все повернули головы.

Это была лифтерша Марья Ивановна. До сих пор она ни разу не выступала ни на одном собрании. И вообще мало кто в издательстве слыхал ее голос.

— Пожалуйста, просим, просим, товарищ Ивановна!

Лифтерша, грузно шагая, подошла к столу.

— Вот я тоже хочу сказать свое пролетарское слово. Тут насчет секретарши, это, граждане, правильно. Как, бывало, войдет в лифт в калошах, наследит-наследит, а ты вытирай за ей. Она наследит, а ты вытирай. И вверх ее вози, да еще вниз норовит на лифте съехать. Вверх по сту разов ездит, да еще и вниз ее спускай. А как ее не спустишь, когда она все норовит к директору присуседиться? Куды он, туды и она. Он в лифт — и она за им в лифт, он в машину — и она рядышком в машину. Это верно, что они в одну руку работали... Только я хочу и товарищу Тимофееву сказать — по-нашему, по-простому, по-пролетарскому, — сколько разов ему, бывало, докладываешь: уйми ты ее, барыню! А ему хоть бы хны! Никакого внимания не оказывал — махнет рукой и пойдет. Думаете, товарищ Тимофеев, лифтерша маленький человек, не понимает? Ошибаетесь! Нонче не старое время! При советской власти маленьких нет, все большие.

— Правильно, товарищ Ивановна, правильно, — сказала Анна Григорьевна. — Кто еще, товарищи, просит слова?

Молчание.

— Можно мне, — тихо попросила Софья Петровна. Она встала, потом села опять. — Я хотела всего несколько слов, насчет Фроленко... Конечно, это ужасно, ужасно то, что она написала... но ведь у каждого в работе бывают ошибки, не правда ли? Она написала не Красная Армия, а «Крысная» просто потому, что в машинке — это все машинистки знают — буква «ы» находится неподалеку от буквы «а». Товарищ Тимофеев говорил, что она написала крысиная, но ведь она написала крысная, а это немного не то... это не имеет нехорошего смысла. Простая описка. Фроленко — высокой квалификации работник и очень старательная. Это просто случайность.

Софья Петровна смолкла.

— Будете отвечать? — спросила у Тимофеева предместкома.

— Доку́менты, — отозвался из-за стола Тимофеев и постучал косточками пальцев по бумаге, — против доку́ментов не пойдешь, товарищ Липатова. Крысная или крысиная — это значения не имеет. Классово-враждебная вылазка со стороны гражданки Фроленко налицо.

— Кто-нибудь хочет еще слова?.. Объявляю собрание закрытым.

Люди быстро расходились, торопясь домой. У вешалки, в раздевалке, уже слышны были разговоры о том, что пятый номер трамвая редко ходит и что в детском отделе Пассажа появились прекрасные рейтузы. Бухгалтер приглашал Эрну Семеновну покататься на лодке.

— Да ну вашу лодку! — говорила она, протягивая к зеркалу губы, как бы для поцелуя. — Вот в кино бы сходить.

О собрании, о вредительстве — никто ни слова.

Софья Петровна быстро, не замечая дороги, шла домой. Ей казалось, что, когда она придет в свою комнату и закроет дверь, голова перестанет болеть, все кончится, ей будет хорошо. В висках у нее стучало. Почему это так болит голова? Ведь на собрании, кажется, не курили. Бедная Наташа! Не везет ей в жизни! Отличная машинистка и вдруг...

В комнате, на Колином столике, лежала записка:

«Уважаемая Софья Петровна! Я опять приехал. Яша Ройтман подал на меня заявление в комсомол, что я был связан с Николаем. Меня исключили из комсомола благодаря тому что я отказался отмежеваться от Николая и сняли с работы. Очень тяжело быть исключенным из рядов. Подойду завтра. Ваш Александр Финкельштейн».

Софья Петровна повертела записку в руках. Боже мой, сколько неприятностей сразу! С Колей, потом с Наташей, теперь с Аликом. Но Алик, наверное, сам виноват; наговорил там чего-нибудь на собрании. Он стал такой резкий. В день его отъезда, когда она опять спросила его осторожненько, не водился ли Коля с худыми людьми, он весь покраснел, как-то вжался в стенку и закричал на нее: «Да вы понимаете, что вы спрашиваете, или нет? Коля ни в чем не виноват, вы что — сомневаетесь, что ли?» Конечно, на самом деле ни в чем, смешно говорить об этом, но ведь подал же Коля какой-нибудь повод?.. Теперь, наверное, на собрании Алик надерзил начальству. Разумеется, он должен был заступиться за Колю, но как-нибудь осторожно, тактично, выдержанно...

У Софьи Петровны болела голова. Собрание для нее будто еще не кончилось. В ушах звучал голос Тимофеева. У нее теснило в груди, ей казалось, что это голос Тимофеева стесняет ей грудь. Лечь? Нет, не то. Она решила принять ванну.

Что-то было такое в словах Тимофеева, от чего она вся оцепенела. Ей казалось, что, если принять ванну, это сразу пройдет. Она сама принесла дров из чулана и затопила колонку. Раньше дрова ей всегда приносил Коля, потом стал носить Алик, а после вторичного отъезда Алика в Свердловск — носила Наташа. Ах, этот Алик! Он, конечно, хороший мальчик и предан Коле, но очень уж резкий. Нельзя так сплеча. Не из-за его ли резкости и Коля сидит? Один раз в очереди, на Шпалерной, когда она сказала Алику, что деньги для Коли опять не приняли, он громко воскликнул: «Бюрократы проклятые!» Он и в Свердловске, на заводе, мог так же себя держать.

Софья Петровна пустила воду, разделась и села в ванну — в белую широкую ванну, купленную еще Федором Ивановичем. Мыться ей не хотелось. Она лежала неподвижно, закрыв глаза. Как она теперь будет на службе без Наташи? И все эта Эрна Семеновна! Бывают же на свете такие завистливые, злые люди! Ну, ничего, Наташа поступит на другое место, где-нибудь неподалеку, и они будут часто видеться. Скорее бы Коля вернулся.

Она лежала, глядя на свои руки, измененные водой. Неужели секретарша директора была вредительницей? Лучше не думать об этом. Какой сегодня тяжелый день. Собрание по-прежнему теснило ей грудь. Она лежала с закрытыми глазами в тепле и покое.

На кухне кто-то потушил примус, и сразу стали слышны голоса и грохот посуды. Медицинская сестра, по обыкновению, произносила какие-то колкости.

— Я пока еще не сумасшедшая и не без глаз, — медленно говорила она. — Керосину я третьего дня самолично приобрела три литра. А теперь тут капля на донышке, псу под хвост. С некоторых пор ничего невозможно на кухне оставить.

— Кто у вас керосин брать будет? — басом отозвалась жена Дегтяренко. По голосу слышно было, что она стоит согнувшись — моет пол или плиту растапливает. — У всех своего керосина хватает. Я, что ли?

— Я не о вас говорю. В квартире, кроме вас, люди

живут. Если ж один член в тюрьме — то от остальных всего можно ожидать. За хорошее в тюрьму не посадят.

Софья Петровна замерла.

— Что ж, что сын в тюрьме, — сказала жена Дегтяренко. — Посидит, да и выпустят. Он не карманник какой-нибудь, не вор. Образованный молодой человек. Мало ли теперь кого сажают. Муж говорит, многих теперь берут порядочных. А про него и в газете писали. Знаменитый ударник был.

— Ударник, подумаешь! Маскировался, вот и все, — сказал Валин голос.

— Овечка какая невинная нашлась, — снова заговорила медицинская сестра. — Нет уж, извините, пожалуйста, зря у нас не сажают. Уж это вы бросьте. Меня же вот не посадят? А почему? Потому что я женщина чистая, вполне советская.

Софье Петровне сделалось холодно в ванне. Вся дрожа, она вытерлась, накинула халат и на цыпочках прошла в свою комнату. Она улеглась под одеяло и сверху, на ноги, положила подушку. Но дрожь не унималась. Она лежала, дрожа, и смотрела прямо перед собой в темноту.

Ночью, часа в два, когда все уже спали, она встала, накинула на рубашку пальто и пробралась в кухню. Она взяла свою керосинку, свой примус, свои кастрюли и все перенесла к себе в комнату.

Заснула она только под утро.

12

На другой день у дверей издательства ее поджидал Алик. Оказалось, что он и Наташа, ничего не сказав ей. чтобы она не беспокоилась зря, с утра заняли очередь в прокуратуре. Они стояли шесть часов, сменяя друг друга, и полчаса назад барышня в окошечке сказала им, что дело Николая Липатова находится у прокурора Цветкова. Тогда они заняли для Софьи Петровны очередь к прокурору Цветкову. В комнату № 7. Алик уговаривал Софью Петровну зайти домой пообедать, но она боялась пропустить очередь и шагала быстро, изо всех сил. Она шла спасать Колю. От того, что она скажет сейчас прокурору, зависит Колина судьба. Она шла, задыхаясь, и на ходу обдумывала свою речь. Она расскажет прокурору о том, как Коля мальчиком вступил в комсомол, почти против

воли матери; как старательно он учился и в школе и в вузе, как его ценили на заводе, как его похвалил ЦО «Правда». Он был замечательным инженером, честным комсомольцем, заботливым сыном. Разве такого человека можно заподозрить во вредительстве или контрреволюции? Какой вздор, какое дикое предположение! Она, его старая мать, свидетельствует перед судьями, что это неправда!

Алик распахнул тяжелую дверь, и она вошла.

За последнее время Софья Петровна много перевидала очередей, но такой еще не видывала. Люди стояли, сидели, лежали на всех ступеньках, на всех площадках, на всех подоконниках огромной пятиэтажной лестницы. По этой лестнице невозможно было подняться, не наступив кому-нибудь на руку или на живот. В коридоре, возле окошечка и возле дверей комнаты № 7, плотно, как в трамвае, стояли люди. Это были те счастливцы, которые уже простояли лестницу. Наташа горбилась у стенки с большим плакатом: «Выше знамя революционной законности!» Добравшись до нее, Софья Петровна и Алик остановились и вместе тяжело перевели дух. Алик снял запотевшие очки и начал протирать их пальцами.

— Ну, я пошла, — сразу сказала Наташа. — Вы будете вот за этой дамой.

Софье Петровне хотелось рассказать Наташе про вчерашнее собрание и про то, как она выступила в ее защиту, но Наташина спина уже мелькала далеко, возле лестницы.

— Плохие дела Натальи Сергеевны, — сказал Алик, кивнув подбородком вслед Наташи. — На работу ее нигде не берут. Вроде как меня.

Оказалось, что Наташа успела уже побывать в нескольких учреждениях, где требовались машинистки, но никуда ее не приняли, справившись на месте предыдущей работы. Алик тоже прямо с вокзала зашел в одно конструкторское бюро, но, узнав, что он исключен из комсомола, с ним и разговаривать не стали.

— Волчий паспорт, так я понимаю, выдали нам. Ну и мерзавцы! И откуда это вдруг столько сволочи всюду набралось? — сказал Алик.

— Алик! — укоризненно произнесла Софья Петровна. — Разве так можно? Вот-вот, за резкость вас и из комсомола исключили.

— Не за резкость, Софья Петровна, — ответил Алик,

и губы у него задрожали, — а за то, что я не пожелал отречься от Николая.

— Да нет же, Алик, — мягко сказала Софья Петровна, прикасаясь к его рукаву. — Вы молоды еще, уверяю вас, вы ошибаетесь. Все зависит только от такта. Вот я вчера на собрании защищала Наталью Сергеевну. И что же? Ничего мне за это не сделали. Поверьте, меня замучила история с Колей. Я мать. Но я понимаю, что это временное недоразумение, перегибы, неполадки... Надо перетерпеть. А вы уже сразу: негодяи! Мерзавцы! Помните, Коля всегда говорил: у нас еще много несовершенного и бюрократического.

Алик молчал. На лице у него застыло упорное, упрямое выражение. Он был небритый, осунувшийся, с синевой под глазами. И глаза смотрели из-под очков по-новому: сосредоточенно и угрюмо.

— Я уже подал заявление в райком. А если там не восстановят меня, в Москву поеду. Прямо в ЦК комсомола, — сказал он.

«Бедняга! — думала Софья Петровна. — Трудно ему будет, пока он без работы. Тетка, верно, уже сейчас попрекает его». И Софья Петровна, наклонившись к Алику, прошептала:

— Вот выпустят Колю — вас и восстановят сразу. — И улыбнулась ему. Но Алик не улыбнулся в ответ.

А до дверей прокурора все еще было далеко. Софья Петровна сосчитала: человек сорок. Туда входили по двое, так как в комнате № 7 принимал не один, а сразу два прокурора, и все-таки очередь двигалась медленно. Софья Петровна разглядывала лица: ей казалось, что большинство этих женщин она уже видела раньше — на Шпалерной, или на Чайковской, или здесь же, в прокуратуре, возле окошечка. Возможно, что это те самые, а может быть, и другие. У всех женщин, стоящих в тюремных очередях, есть что-то одинаковое в лицах: усталость, покорность и, пожалуй, какая-то скрытность. Многие держали в руках белые бумажки, Софья Петровна знала уже, что это и есть «путевки» в ссылку. В здешней очереди слышны были все время три вопроса: «Вы куда?», или «Вы когда?», или «У вас была конфискация?»

Софья Петровна прислонилась к стене и на минуту закрыла глаза. Какая бессердечная, какая злая и глупая женщина — жена бухгалтера! Вообразить, что Коля — вредитель! Ведь она его с детства знала. Софья Петровна теперь никогда, никогда не переступит порога кухни.

До тех пор, пока медсестра не попросит у нее прощения. Можно себе представить, как станет ей стыдно, когда Коля вернется! Софья Петровна все расскажет Коле: про его замечательных друзей, Наташу и Алика (без них ей ни за что не справиться было бы с очередями) и про эту змею, жену бухгалтера. Пусть он знает, какие встречаются на свете мерзавки.

Открыв глаза, Софья Петровна обратила внимание на маленькую девочку, сидевшую на корточках возле стены. Девочка была в пальто, застегнутом на все пуговицы. «Как это у нас привыкли всегда кутать детей, — подумала Софья Петровна, — даже летом». И вдруг, вглядевшись, она узнала девочку — это была маленькая дочка директора Захарова. Девочка ерзала спиной по стене и хныкала, изнывая от жары. А высокая стройная дама в светлом костюме, за которой вот уже час стояли Софья Петровна и Алик, — это была жена директора. Конечно, она.

— Ну что, цела еще твоя дудочка? — ласково спросила Софья Петровна, наклоняясь к ребенку. — Или кисточку ты уже оторвала? Помнишь меня? На елке? Дай я тебе ворот расстегну.

Девочка молчала, глядя на Софью Петровну круглыми глазами и дергая за руку мать.

— Что же ты? Отвечай тете! — сказала жена директора.

— Я знала вашего мужа, — обратилась к ней Софья Петровна. — Я работаю в издательстве.

— А! — сказала жена директора и как-то болезненно скривила губы. Губы у нее были подкрашены, но не по губам, а выше и ниже. Безусловно, красивая женщина, но теперь она уже не казалась Софье Петровне такой нарядной и молодой, как полгода тому назад, когда она приходила на минутку в издательство к мужу и в коридоре приветливо отвечала на поклоны служащих.

— Ну что ваш муж? — осведомилась Софья Петровна.

— 10 лет дальних лагерей.

«Значит, он таки был виноват. Вот уж никогда б не сказала. Такой приятный человек», — подумала Софья Петровна.

— А меня вот с ней в Казахстан, — в деревню или в аул, как там... Завтра ехать. Там я с голоду подохну без работы.

Она говорила громко, резким голосом, и все оглядывались на нее.

— А куда направили вашего мужа? — спросила Софья Петровна, чтобы переменить разговор.

— А я почем знаю, куда. Разве они скажут, куда.

— Но как же вы потом... через 10 лет... когда он освободится... найдете друг друга? Вы не будете знать его адреса, а он — вашего.

— А вы думаете, — сказала жена директора, — что хоть одна из них, — она махнула рукой в толпу женщин с «путевками», — знает, где ее муж? Мужа уже увезли, или завтра увезут, или сегодня увозят. Жена тоже уезжает к черту в тартарары и понятия не имеет, как она потом найдет своего мужа. Откуда же мне-то знать? Никто не знает, и я не знаю.

— Надо проявить настойчивость, — тихо ответила Софья Петровна. — Если здесь не говорят, надо писать в Москву. Или поехать в Москву. А то как же так? Вы же потеряете друг друга из виду.

Жена директора смерила ее взглядом с ног до головы.

— А у вас кто? Муж? Сын? — спросила она с такой энергической яростью, что Софья Петровна невольно подвинулась ближе к Алику.

— Ну так вот, когда вашего сына отправят, — тогда и проявите настойчивость, разузнайте его адрес.

— Моего сына не отправят, — извиняющимся голосом сказала Софья Петровна. — Дело в том, что он не виноват. Его арестовали по ошибке.

— Ха-ха-ха! — захохотала жена директора, старательно выговаривая слова. — Ха-ха-ха! По ошибке! — И вдруг слезы потекли у нее из глаз. — Тут, знаете ли, все по ошибке... Да стой же ты наконец хорошенько! — крикнула она девочке и наклонилась к ней, чтобы скрыть слезы.

Между дверьми и Софьей Петровной стояли пять человек. Софья Петровна повторяла про себя слова, которые сейчас она скажет прокурору. Она со снисходительной жалостью думала о жене директора. Хороши мужья, нечего сказать! Натворят бед, а жены мучайся из-за них. Едет теперь в Казахстан, с ребенком, да еще очереди эти — тут поневоле нервная сделаешься.

— Знаете, я пойду с вами, — сказал вдруг Алик. — В качестве сослуживца и друга. Я расскажу товарищу прокурору, что в Николае мы имеем кристально чистого человека, несгибаемого большевика. Я расскажу ему о применении на нашем заводе долбяка Феллоу, которым мы обязаны исключительно изобретательности Николая.

Но Софья Петровна не хотела, чтобы Алик шел к про-

курору. Она боялась его резкости: надерзит и все дело испортит. Нет, уж лучше она пойдет одна. Она уверила Алика, будто посторонних прокурор не принимает.

Наконец настала ее очередь. Жена директора открыла дверь и вошла. Следом за ней с замирающим сердцем вошла Софья Петровна.

У двух противоположных стен большой пустой полутемной комнаты стояли два письменных стола и перед ними — два ободранных кресла. За столом направо сидел полный белотелый человек с голубыми глазами. За столом налево — горбун. Жена директора с девочкой подошла к белотелому, Софья Петровна — к горбатому. Она уже давно слыхала в очередях, что прокурор Цветков — горбатый.

Цветков разговаривал по телефону. Софья Петровна опустилась в кресло.

Цветков был маленького роста, худой, в синем засаленном костюме. Головка остренькая, а горб большой, круглый. Длинные кисти рук и пальцы поросли черным волосом. Трубку от телефона он держал как-то не на человечий, а на обезьяний манер. Он вообще показался Софье Петровне до такой степени похожим на обезьяну, что она невольно подумала: если ему захочется почесать за ухом, он, наверное, сделает это ногой.

— Федоров? — кричал Цветков в трубку охрипшим голосом. — Это Цветков, здорово. Скажи там Пантелееву, что я уже все провернул. Пусть пришлет. Что? Я говорю — пусть пришлет.

А за другим столом белотелый полный человек, с ясными фарфоровыми кукольными глазами и маленькими пухлыми, дамскими ручками вежливо беседовал с женою директора.

— Я прошу переменить мне село на какой-нибудь город, — отрывисто говорила она, стоя перед столом и держа за руку девочку. — В селе я окажусь без работы. Мне не на что будет кормить ребенка и мать. По профессии я стенографистка. В селе стенографировать нечего. Я прошу послать меня не в село, а в город, хотя бы и в том же самом — как его? — Казахстане.

— Садитесь, гражданка, — ласково сказал ей белотелый.

— Вам что? — спросил Софью Петровну Цветков, оставив телефон и мельком взглядывая на нее маленькими черными глазками.

— Я о сыне. Его фамилия Липатов. Он арестован по

недоразумению, по ошибке. Мне сказали, что его дело находится у вас.

— Липатов? — переспросил Цветков, припоминая. — 10 лет дальних лагерей. — И он снова снял трубку с телефона. — Группа А? 244-16.

— Как? Разве его уже судили? — вскрикнула Софья Петровна.

— 244-16? Морозову позовите.

Софья Петровна смолкла, придерживая сердце рукой. Сердце стучало медленно, редко и громко. Стук отдавался в ушах и в висках. Софья Петровна решила дождаться, пока Цветков кончит наконец говорить по телефону. Она с испугом смотрела на его длинные волосатые кисти, на усыпанный перхотью горб, на небритое желтое лицо. Терпение, терпение. И слушала стук своего сердца: в висках и в ушах. А за противоположным столом белотелый прокурор мягко говорил жене директора:

— Напрасно вы расстраиваетесь, гражданка. Присядьте, пожалуйста. Как представитель законности, я обязан напомнить вам, что великая сталинская конституция обеспечивает право на труд всем без различия. Поскольку никаких гражданских прав вас никто не лишает, право на труд остается вам обеспеченным, где бы вы ни жили.

Жена директора порывисто встала и пошла к дверям. Девочка мелкими, сбивчивыми шажками бежала за нею.

— Вы еще здесь? Чего ж вам надо? — грубо спросил Цветков, положив наконец трубку.

— Я хотела бы знать, в чем мог провиниться мой сын, — спросила Софья Петровна, напрягая все силы, чтобы голос у нее не дрожал. — Он всегда был безупречным комсомольцем, честным гражданином...

— Сын ваш сознался в своих преступлениях. Следствие располагает его подписью. Он террорист и принимал участие в террористическом акте. Вам понятно?

Цветков выдвигал и задвигал ящики письменного стола. Выдвинет и толчком задвинет. Ящики были пустые.

Софья Петровна мучительно вспоминала, что она еще хотела сказать. Но она все забыла. Да и в этой комнате, перед этим человеком, все слова были тщетными. Она поднялась и побрела к дверям.

— Как же я узнаю теперь, где он? — спросила она от дверей.

— Это меня не касается.

В коридоре ее ожидал верный Алик. Молча протискивались они сквозь толпу по коридору, потом по лестнице. Молча вышли на улицу. На улице звенели трамваи, блестело солнце, толкались прохожие. Душному летнему дню еще далеко было до конца.

— Ну что, Софья Петровна, что? — тревожно спросил Алик.

— Осужден. В дальние лагеря. На 10 лет.

— Шутите! — вскрикнул Алик. — За что же?

— Участвовал в террористическом акте.

— Колька — в террористическом акте?! Бред!

— Прокурор говорит: он сам сознался. Следствие располагает его подписью.

Слезы ручьем текли по щекам Софьи Петровны. Она остановилась у стены, схватившись за водосточную трубу.

— Колька Липатов — террорист! — захлебываясь, говорил Алик. — Сволочи, вот сволочи! Да это же курам на смех! Знаете, Софья Петровна, я начинаю думать так: все это какое-то колоссальное вредительство. Вредители засели в НКВД — вот и орудуют. Сами они там враги народа.

— Но ведь Коля сознался, Алик, сознался, поймите, Алик, поймите... — плача, говорила Софья Петровна.

Алик твердо взял Софью Петровну под руку и повел к дому. У дверей ее квартиры, пока она искала в сумочке ключ, он заговорил опять:

— Коле не в чем было сознаваться, неужели вы в этом сомневаетесь, что? Я ничего не понимаю больше, совсем ничего не понимаю. Я теперь одного хотел бы: поговорить с глазу на глаз с товарищем Сталиным. Пусть объяснит мне — как он себе это мыслит?

13

Софья Петровна всю ночь напролет пролежала с открытыми глазами. Которая уже была эта ночь со времени ареста Коли — бесконечная, бездонная? Она уже наизусть знала все: летнее шарканье подошв под окном, крики в соседней пивной, замирающий зуд трамваев, потом недолгая тишина, недолгая тьма — и вот уже снова заползает в окно белый рассвет, начинается новый день, день без Коли. Где-то сейчас Коля, на чем спит, о чем думает, где он, с кем он? Софья Петровна ни секунды не

сомневалась в его невиновности; террористический акт? Бред! — как говорит Алик. Просто следователь попался ему слишком старательный, запутал и сбил его. А Коля не сумел оправдаться, он ведь так еще молод. К утру, когда опять рассвело, Софья Петровна вспомнила наконец то слово, которое вспоминала всю ночь, — alibi. Она где-то читала про это. Он просто не сумел доказать свое alibi.

В первые часы на службе ей стало как будто немного полегче. Ярко светило солнце, и пыль клубилась в солнечном луче, и так деловито стучали машинки, и машинистки в перерыве бегали вниз, на улицу, и потом без конца сосали эскимо на палочках — все было так обычно... 10 лет! Днем, при солнечном свете, становилось ясно, что это чепуха. Она 10 лет не увидит Колю! Да почему же? Что за вздор! Не может этого быть. В один прекрасный день — и совсем скоро — все станет по-старому: Коля будет дома, будет по-прежнему спорить с Аликом о машинах и паровозах, по-прежнему чертить — только теперь уж она ни за что не отпустит его в Свердловск. Можно ведь и в Ленинграде устроиться.

В перерыве она вышла побродить в коридор: сидя, она боялась уснуть. В коридоре висела новая стенная газета. Перед нею толпились служащие. Софья Петровна тоже подошла почитать. Это был большой нарядный номер, с красными заглавными буквами и портретами Ленина и Сталина по обеим сторонам ярко-красного названия «Наш путь». Софья Петровна подошла к газете. «Как же могло случиться, чтобы вредители в течение целых пяти лет без помехи обделывали свои грязные дела перед носом советской общественности?»—прочла Софья Петровна. Это была передовая Тимофеева. На столбце рядом начиналась статья предместкома. Анна Григорьевна язвительно уличала Тимофеева в том, что выступление его на собрании было недостаточно самокритично. Если общественность проглядела вредительство, то первым за это должен отвечать товарищ Тимофеев, бывший парторг. Тем более что, как выяснилось, парторгу своевременно сигнализировали снизу — сигнализировала товарищ Ивановна, давно раскусившая секретаршу своим пролетарским чутьем. Софья Петровна перевела глаза на следующий столбец. И прежде чем она поняла, что читает, у нее стало жарко в груди. Статья была о ней самой, о Софье Петровне, о ее выступлении в защиту Наташи. Автор, скрывшийся под псевдонимом Икс, писал:

«На собрании произошел возмутительный факт, за который, по нашему мнению, недостаточно дали по рукам. Товарищ Липатова выступила с настоящей адвокатской речью. И кого же она сочла необходимым защищать? Фроленко, полковничью дочь, позволившую себе грубый антисоветский выпад против нашей любимой Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Известно, что товарищ Липатова постоянно покровительствовала Фроленко, предоставляла ей сверхурочную работу, посещала с ней вместе кинотеатры и пр. и т. п. Теперь, когда издательству предстоит напрячь все силы честных работников, партийных и беспартийных большевиков, чтобы возможно скорее ликвидировать последствия «хозяйничанья» Герасимова-Захарова и К° — допустимо ли, чтобы в этот ответственный момент в рядах работников издательства находились подобные лица? Выше знамя большевистской бдительности, как учит нас гениальный вождь народов товарищ Сталин! Выкорчуем с корнем всех вредителей, тайных и явных, и всех, расписавшихся в сочувствии к ним!»

Раздался звонок, возвещающий конец обеденного перерыва, Софья Петровна пошла к себе в бюро. Как это она раньше не заметила, что сегодня все смотрят на нее особенными глазами?

Вернувшись домой, она прильнула к подушке — к своему последнему прибежищу. И сон сразу сомкнул ей глаза. Она спала долго, ей снился Коля. На нем был пушистый серый свитер. Он привязал к сапогам коньки. И потом, низко наклонившись, заскользил по коридору издательства. Когда она проснулась, за окном синели поздние сумерки, а в комнате горел свет. Возле стола шила Наташа. Видно было, что она шьет здесь уже давно.

— Сядьте сюда, поближе, — слабым голосом сказала Софья Петровна, облизывая губы, невкусные после дневного сна.

Наташа покорно перенесла свой стул к изголовью кровати и села.

— Вы знаете, Колю осудили, на 10 лет. Вам, верно, уже сказал Алик? — Наташа кивнула.

— Ах, да, знаете? — вспомнила Софья Петровна. — Обо мне написали в стенной газете, будто я защищаю вредителей и мне не место...

— Алик арестован. Сегодня ночью, — ответила Наташа.

14.

Если Софья Петровна ночью не спала, все часы и минуты суток были для нее одинаковы. Свет резал глаза, болели ноги, ныло сердце. Но если ночью удавалось заснуть, то самой тяжелой минутой, бесспорно, была минута, следующая после пробуждения. Открыв глаза и увидев окно, спинку кровати, свое платье на стуле, в первый миг она не думала ни о чем, кроме этих предметов. Она узнавала их: окно, стул, платье. Но в следующий миг где-то в области сердца возникала тревога, похожая на боль, и сквозь туман этой боли она вдруг вспоминала все сразу: Коля осужден, Наташу прогнали, Алик арестован, о ней написано, что она заодно с вредителями. Да, еще: керосин.

На работе она ни с кем не разговаривала больше. Даже бумаги, которые приносили ей для переписки, клала перед машинистками молча. И с ней никто не разговаривал. Сидя за своим столиком в бюро, она вглядывалась в лица машинисток, стараясь угадать, кто из них написал про нее в газете. Вероятнее всего — Эрна Семеновна. Но разве она умеет так гладко писать? И когда это она видела их с Наташей в кино? Ее они не видели ни разу.

Однажды, слоняясь в тоске по коридору, она чуть не столкнулась с Наташей. Наташа шла, как лунатик, ступая, будто в темноте.

— Наташа, что вы здесь? — испуганно спросила Софья Петровна.

— Я прочла газету. Не разговаривайте со мною. Увидят, — ответила ей Наташа.

Вечером она пришла к Софье Петровне. Теперь она казалась возбужденной и говорила без умолку, перескакивая с предмета на предмет. Софье Петровне еще никогда не доводилось слышать, чтобы Наташа говорила так много. И она не вышивала, не шила на этот раз.

— Как вы думаете, Коля еще здесь, в городе, или уже далеко? — спросила она вдруг.

— Не знаю, Наташа, — со вздохом ответила Софья Петровна. — Ведь на Шпалерной его буква 20-го, а сегодня только 10-е.

— Нет, я не о том. А как вы чувствуете? — Наташа провела рукой по воздуху. — Он еще здесь, близко от нас, или уже далеко? Мне кажется, далеко. Я вчера вдруг

почувствовала: сейчас он уже далеко. Его уже нет здесь... А знаете, Софья Петровна, ведь лифтерша отказалась поднять меня в лифте. «Я не обязана поднимать всяких...» Да, Софья Петровна, вам необходимо сейчас же, завтра же, уйти из издательства. Обещайте мне, что вы уйдете. Милая, обещайте! Завтра же, хорошо!

Наташа коленями стала на диван, на котором сидела Софья Петровна, и умоляюще сложила перед ней руки. Потом она села к столу, схватила перо и сама написала заявление от имени Софьи Петровны. Она уверяла Софью Петровну, что ей необходимо уйти по собственному желанию, иначе ее непременно уволят за связь с вредителями («Это со мной», — улыбнувшись бледными губами, сказала Наташа) — и тогда уже ни на какую новую службу ни за что не примут. Софья Петровна подписала заявление. Она и сама уже подумывала уходить. Страшно как-то стало в издательстве. От одного вида хромого Тимофеева со связкой ключей в руке ее пробирала дрожь.

— Но мне ведь все равно в Ленинграде не служить, — грустно сказала она. — Меня ведь все равно вышлют. Всех жен и матерей высылают.

— Как вы думаете, — спросила Наташа, беря с полки книгу и сейчас же ставя ее на место, — чем объясняется, что Коля сознался? Можно сбить, запутать человека, я понимаю, но ведь это в мелочах только. Как можно было так сбить Колю, чтобы он сознался в преступлении, которого никогда не совершал? Этого я, как хотите, не пойму. И отчего все признались? Ведь всем женам говорят, что их мужья признались... Всех сбили?

— Он просто не сумел доказать свое alibi, — сказала Софья Петровна. — Вы забываете, Наташа, что он так молод еще.

— А почему Алика арестовали?

— Ах, Наташа, если бы вы знали, какие грубости он говорил вслух в очереди. Я теперь уверена, что и Коля погиб из-за его языка.

Наташа собралась уходить. На прощание она порывисто обняла Софья Петровну.

— Что с вами сегодня? — спросила Софья Петровна.

— Со мной ничего... Сидите, не вставайте, не надо! Как вы похожи на Колю, то есть Коля на вас... Вы подадите заявление завтра же, да? Не раздумаете? — спрашивала она, заглядывая Софье Петровне в глаза. — И потом не забудьте, что 30-го — «Ф», надо будет непременно передать Алику деньги, у него ведь ни гроша, а тетка

побоится передавать... И потом — дорогая, умоляю вас, пойдите к врачу! Прошу вас! Ведь вы на себя не похожи!

— Что мне врач... Коля, — сказала Софья Петровна и опустила налившиеся слезами глаза.

На другой день с утра она вошла в кабинет директора и молча положила заявление на стекло стола. Тимофеев прочел его и также молча кивнул головой. Увольнение ее было оформлено с необычайной поспешностью. Через два часа на стене уже висел приказ. А через три вежливый бухгалтер уже выдал ей полный расчет. «Покидаете нас? Ай-я-яй, нехорошо! Смотрите же, заглядывайте, не забывайте старых друзей».

В последний раз идет она по этому коридору. «До свидания», — сказала она машинисткам после звонка, когда все с треском уже надевали покрышки на свои «ундервуды». «Всего хорошего!» — хором, как Наташе недавно, ответили все, а одна даже подошла к Софье Петровне и крепко пожала ей руку. Софья Петровна была очень тронута: какая мужественная, благородная девушка! «Счастливо!» — весело крикнула Эрна Семеновна, и Софья Петровна сразу перестала сомневаться, что именно Эрна Семеновна и никто другой написала ту статью.

Она вышла на улицу — в летний шум, в грохот. Вот и кончилась служба — кончилась навсегда. Она пошла было к дому, но скоро повернула к Наташе. Всюду на углах босые мальчишки сжимали в потных пальцах букеты колокольчиков и ромашек. Все благополучно, вот даже цветы продают. Но оттого, что Коля сидит в тюрьме или едет куда-то под громыханье колес, весь мир стал бессмысленным и непонятным.

Поднявшись — боже, как с каждым днем все тяжелее подниматься по лестнице! — поднявшись на пятый этаж, она позвонила. Ей открыла женщина, соседка Наташина, вытирая мокрые руки о передник.

— Наталью Сергеевну утром в больницу отправили, — шумным шепотом сказала женщина. — Отравилась. Вероналом. В Мечниковскую.

Софья Петровна попятилась от нее. Женщина захлопнула дверь.

17-й долго не шел. Прошли уже две девятки и два 22-х, а 17-й все не шел. Потом 17-й пополз медленно, еле-еле, подолгу задерживаясь у каждого светофора. Софья Петровна стояла. Были заняты даже все места для пассажиров с детьми, и, когда вошла девятая женщина

с младенцем — никто не пожелал уступить ей место. «Скоро весь вагон займут! — кричала старуха с клюкой. — Ездиют взад-вперед! Мы небось детей на руках таскали. Подержите, не помрете».

У Софьи Петровны тряслись колени — от испуга, от жары, от злого крика старухи. Наконец она вышла. Она почему-то не сомневалась, что Наташа уже умерла. Больница сверкнула ей навстречу всеми своими вымытыми стеклами. Она прошла в прохладный белый вестибюль. Возле справочного окошечка стояла очередь — три человека. Софья Петровна не решилась подойти без очереди. Справки выдавала красивая сестра в накрахмаленном белом халате. Возле нее, перед телефоном, в стакане стоял букет колокольчиков.

— Алло, алло! — закричала она в телефон, выслушав вопрос Софьи Петровны. — Второе терапевтическое? — и потом, положив трубку: — Фроленко Наталья Сергеевна скончалась сегодня в четыре часа дня, не приходя в сознание. Вы родственница? Можете получить пропуск в покойницкую.

15

Девятнадцатого вечером, надев осеннее пальто, и платок под пальто, и калоши, Софья Петровна заняла очередь на набережной. В первый раз предстояло ей продежурить всю ночь бессменно: кто теперь мог сменить ее? Не было больше ни Наташи, ни Алика.

Софья Петровна одна проводила Наташин сосновый гроб через весь город на кладбище. В тот день долго шел дождь, и большое колесо колымаги плескало ей грязью в лицо.

Наташа лежала в могиле, в желтой земле, недалеко от Федора Ивановича. А где были Алик и Коля? Этого понять невозможно.

Она стояла на набережной всю ночь напролет, прислонившись к холодному парапету. От Невы поднимался мокрый холод. Тут впервые в жизни Софья Петровна увидела восход солнца. Оно встало откуда-то из-за Охты, и по реке сразу побежали мелкие волны, будто ее погладили против шерсти.

К утру у Софьи Петровны от усталости онемели ноги, она совсем не чувствовала их, и когда в девять часов толпа кинулась к дверям тюрьмы, Софья Петровна не в си-

лах была бежать: ноги стали тяжелые, казалось, надо взяться за них руками, чтобы приподнять и сдвинуть с места.

На этот раз номер у нее был 53-й. Через два часа она протянула в окошечко деньги и назвала фамилию. Тучный, сонный человек поглядел в какую-то карточку и вместо обычного «ему не разрешено» ответил: «Выслан». После разговора с Цветковым Софья Петровна была вполне подготовлена к такому ответу, и все-таки ответ оглушил ее.

— Куда? — без памяти спросила она.

— Он напишет вам сам... Следующий!

Она пошла домой пешком, потому что стоять и ждать трамвая было ей труднее, чем идти. Пыль уже пахла жарой, она расстегнула тяжелое пальто и развязала платок. Казалось, прохожие разучились ходить: они наталкивались на нее то спереди, то сбоку.

Коля напишет ей. Она снова получит письмо, как получала когда-то из Свердловска. Раз сказали в окошечке, что напишет, значит, напишет.

Все последующие дни, не завтракая, не убирая постель, Софья Петровна с утра уходила искать работу. В газетах было много объявлений: «требуется машинистка». Ноги сделались у нее как тумбы, но она покорно ходила целый день по всем адресам. Всюду задавали ей один и тот же вопрос: у вас есть репрессированные? В первый раз она не поняла. «Арестованные родственники», — объяснили ей. Солгать она побоялась. «Сын», — сказала она. Тогда выяснилось, что в учреждении нет утвержденной штатной единицы. И нигде ее не было для Софьи Петровны.

Теперь она боялась всего и всех. Она боялась дворника, который смотрел на нее равнодушным и все-таки суровым взглядом. Она боялась управдома, который перестал с ней раскланиваться. (Она больше не была квартуполномоченной — вместо нее выбрали жену бухгалтера.) Она как огня боялась жены бухгалтера. Она боялась Вали. Она боялась проходить мимо издательства. Возвращаясь домой после бесплодных попыток найти себе службу, она боялась взглянуть на стол в своей комнате: быть может, там уже лежит повестка из милиции? Ее уже вызывают в милицию, чтобы отнять паспорт и отправить в ссылку? Она боялась каждого звонка: не с конфискацией ли имущества пришли к ней?

Она побоялась передать Алику деньги. Когда вечером, накануне 30-го, она приплелась в очередь, к ней подошла Кипарисова. Кипарисова наведывалась в очередь не только в свой день, но чуть ли не каждый день, чтобы узнать у женщин: нет ли чего новенького? Кого уже выслали? А кто еще здесь? Не переменилось ли вдруг расписание?

— Напрасно вы это делаете, вполне напрасно! — зашептала Кипарисова на ухо Софье Петровне, когда та рассказала ей, зачем пришла. — Дело вашего сына свяжут с делом его приятеля — и получится нехорошо, пятьдесят восемь-одиннадцать, контрреволюционная организация... Зачем вам это нужно, не понимаю!

— Но ведь там не спрашивают, кто передает деньги, — робко возразила Софья Петровна. — Спрашивают только, кому.

Кипарисова взяла ее за руку и отвела подальше от людей.

— Им незачем спрашивать, — произнесла она шепотом. — Они все знают.

Глаза у нее были огромные, карие, бессонные.

Софья Петровна вернулась домой.

На следующий день она не встала с постели. Ей больше незачем было вставать. Не хотелось одеваться, натягивать чулки, спускать ноги с кровати. Беспорядок в комнате, пыль не раздражали ее. Пусть! Голода она не чувствовала. Она лежала в кровати, ни о чем не думая, ничего не читая. Романы давно уже не занимали ее: она не могла ни на секунду оторваться от своей жизни и сосредоточиться на чьей-то чужой. Газеты внушали ей смутный ужас: все слова в них были такие же, как в том номере стенной газеты «Наш путь»... Изредка она откидывала одеяло и простыню и смотрела на свои ноги — огромные, отекшие, как водой налитые.

Когда со стены ушел свет и начался вечер, она вспомнила про Наташино письмо. Оно всегда лежало под подушкой у нее. Софье Петровне захотелось снова прочесть его, и, приподнявшись на локте, она вынула его из конверта:

«Дорогая Софья Петровна! — написано было в письме. — Не плачьте обо мне, все равно я никому не нужна. Мне так лучше. Быть может, все наладится еще правильно, и Коля будет дома, но я не в силах ждать, пока наладится. Я не могу разобраться в настоящем моменте

советской власти. А вы живите, моя дорогая, настанет время, когда можно будет посылать посылки, и вы ему будете нужны. Пошлите ему крабов, консервы, он любил. Крепко вас целую и благодарю за все и за ваши слова на собрании. Я жалею вас, что вы из-за меня претерпели. Пусть моя скатерка лежит у вас и напоминает вам про меня. Как мы с вами в кино ходили, помните? Когда Коля вернется, положите ее к нему на столик, на ней цвета веселые подобраны. Скажите ему, что я никогда про него худому не верила».

Софья Петровна снова положила письмо под подушку. А не разорвать ли его? Она тут пишет про настоящий момент советской власти. Что, если это письмо найдут? Тогда Колино дело свяжут с Наташиным делом... А быть может, оставить? Ведь Наташа уже умерла.

16

Прошло три месяца, потом еще три — наступила зима, январь, годовщина Колиного ареста. Через несколько месяцев будет годовщина ареста Алика и сразу за нею годовщина Наташиной смерти.

В день Наташиной смерти Софья Петровна побывает у нее на могиле. А в годовщину Колиного ареста некуда ей поехать. Неизвестно, где он.

Письма от Коли не было. Софья Петровна по пять, по десять раз в день заглядывала в почтовый ящик. В ящике иногда лежали газеты для жены бухгалтера или открытки для Вали — от ее многочисленных кавалеров, но письма для Софьи Петровны все не было.

Второй год она уже не знала, где он и что с ним. Не умер ли? Могло ли ей когда-нибудь прийти на ум, что настанет время, когда она не будет знать: умер Коля или жив.

Она уже снова служила. От голодной смерти спасла ее только статья Кольцова в «Правде». Через несколько дней после этой статьи — замечательной статьи о клеветниках и перестраховщиках, понапрасну обижающих честных советских людей, Софью Петровну приняли на службу в одну библиотеку: не в штат, правда, а вне штата, но все-таки приняли. Она должна была особым библиотечным почерком писать карточки для каталога: четыре часа в день, сто двадцать рублей в месяц. На своей новой службе Софья Петровна не только ни с кем не разговаривала, но даже не здоровалась и не прощалась. Сгор-

бившись над заваленным книгами столом, в очках, с седыми стрижеными волосами, падающими на очки, она высиживала на стуле свои четыре часа, потом поднималась, складывала карточки стопочкой, брала палку с резиновым кончиком, стоящую всегда возле ее стула, запирала карточки в шкаф и медленно, ни на кого не глядя, выходила.

Целая колонна крабовых консервов возвышалась уже на подоконнике в комнате Софьи Петровны, под ногами скрипела крупа, и все-таки ежедневно после службы она отправлялась по универмагам закупать продукты еще и еще. Она покупала консервы, топленое масло, сушеные яблоки, свиное сало — всего этого было в магазинах вдоволь, но ведь когда Коля пришлет письмо, то или другое может как раз исчезнуть. А иногда рано утром, до службы еще, Софья Петровна брела на Обводный, на барахолку. Жестоко торгуясь, купила она там шапку с ушами, шерстяные носки. По вечерам, сидя в своей неряшливой, нетопленой комнате, она сшивала из старых тряпок мешки и мешочки. Они понадобятся, когда нужно будет уложить посылку. Из-под кровати торчали фанерные ящики разных размеров.

Она теперь почти никогда ничего не ела — только чай пила с хлебом. Есть не хотелось, да и денег не было. Продукты для посылки стоили дорого. Из экономии она топила у себя не чаще раза в неделю. И потому дома всегда сидела в старом летнем пальто и напульсниках. Когда ей делалось очень уж холодно, она забиралась в кровать. В холодной комнате убирать было незачем — все равно холодно и неуютно, — и Софья Петровна не мела больше пол и пыль сметала только с Колиных книг, с радио и шестеренки.

Лежа в кровати, она обдумывала очередное письмо к товарищу Сталину. С тех пор, как Колю увезли, писем товарищу Сталину она написала уже три. В первом она просила пересмотреть Колино дело и выпустить его на свободу, потому что он ни в чем не виноват. Во втором она просила сообщить, где он, чтобы она могла поехать к нему и увидеть еще один раз перед смертью. В третьем она умоляла сказать ей только одно: жив он или умер? Но ответа не было. Первое письмо она просто опустила в ящик, второе сдала заказным, а третье — с обратной распиской. Обратная расписка вернулась к ней через несколько дней. В графе «расписка получателя» стояло что-то непонятное, с маленькой буквы: «...ерян».

Кто такой этот Ерян? И передал ли он письмо товарищу Сталину? Ведь на конверте было написано: «В собственные руки. Личное».

Регулярно раз в три месяца Софья Петровна заходила в какую-нибудь юридическую консультацию. С защитниками беседовать приятно, они учтивые, не чета прокурорам. Там тоже очередь, но пустяковая, не больше, чем на какой-нибудь час. Софья Петровна терпеливо ждала, сидя на стуле в коридорчике и опираясь обеими руками и подбородком на свою палку. Но ждала она зря. К какому бы защитнику она ни обращалась, каждый вежливо объяснял ей, что помочь ее сыну ничем, к сожалению, невозможно. Вот если бы дело его было передано в суд...

Однажды — это было ровно год, один месяц и одиннадцать дней после ареста Коли — в комнату Софьи Петровны вошла Кипарисова. Вошла она не постучавшись и, тяжело задыхаясь, опустилась на стул. Софья Петровна взглянула на нее с удивлением: Кипарисова опасалась, как бы дело Ивана Игнатьевича не связали с Колиным делом, и потому никогда не заходила к Софье Петровне. И вдруг пришла, села и сидит.

— Выпускают, — хрипло сказала Кипарисова, — людей выпускают. Сейчас в очереди сама своими глазами видела: один из выпущенных пришел за документами. Не худой, только лицо очень белое. Мы его все обступили, спрашиваем: ну, как там было? Ничего, говорит.

Кипарисова смотрела на Софью Петровну. Софья Петровна смотрела на Кипарисову.

— Ну, я пойду, — Кипарисова поднялась. — У меня очередь в прокуратуре занята. Не провожайте, пожалуйста, чтобы нас в коридоре никто вместе не видел.

Выпускают. Некоторых людей выпускают. Они выходят на улицу из железных ворот и возвращаются домой. Теперь и Колю могут выпустить. Раздастся звонок, и войдет Коля. Или нет, раздастся звонок, и войдет почтальон: телеграмма от Коли. Ведь Коля не здесь, он далеко. Он пошлет телеграмму с пути.

Софья Петровна вышла на лестницу и отворила дверцу почтового ящика. Пусто. Пусто в его нутре. Софья Петровна с минуту смотрела на его желтую стенку — как бы надеясь, что взгляд ее вызовет из этой стенки письмо.

Не успела она вернуться к себе и вдеть нитку в иглу (она шила очередной мешок), как дверь ее комнаты опять отворилась без стука и на пороге показалась жена бухгалтера и за ней управдом.

Софья Петровна встала, загораживая спиною продукты.

Ни медсестра, ни управдом не поздоровались с Софьей Петровной.

— Вот видите! — сразу заговорила медсестра, указывая на керосинку и примус. — Обратите ваше внимание: целую кухню здесь устроила. Копоть, гадость, весь потолок закоптила. Разрушает домовое хозяйство. На кухне, с другими, не желает, видите ли, стряпать — гнушается с тех пор, как мы уличили ее в систематических покражах керосина. Сын в лагере, разоблачен как враг, сама без определенных занятий, вообще — подозрительный элемент.

— Вы, гражданка Липатова, — сказал управдом, оборачиваясь к Софье Петровне, — вынесите немедленно принадлежности на кухню. А то в милицию заявлю...

Они ушли. Софья Петровна перенесла примус, керосинку, решето и кастрюли в кухню, на прежнее место, потом легла на кровать и громко зарыдала.

— Я не могу больше терпеть, — говорила она вслух, — я не могу больше терпеть. — И снова, высоким голосом, не сдерживая себя, по слогам: — Я не могу, не мо-гу боль-ше тер-петь. — Она произносила эти слова так убедительно, так настойчиво, будто перед нею стоял кто-то, кто утверждал, что, напротив, у нее еще вполне хватит сил терпеть. — Нет, не могу, не могу, невозможно больше терпеть!

К ней вошла жена милиционера.

— Вы не плачьте, — зашептала она, укутывая Софью Петровну в одеяло, — да вы послушайте, что я вам скажу! Они не по закону поступают. Муж говорит: раз не выслали вас — значит, никто права не имеет притеснять. Да вы не плачьте! Муж говорит, многих сейчас выпускают — бог даст, и Николай Федорович скоро вернется... Ейная дочка выходит замуж — вот мамаша и нацеливается на вашу комнату. А вы не выезжайте, и все. Мамаша для дочки нацелилась, а управдом для полюбовницы для своей. Вот они и передерутся... Да вы не плачьте! Я верно вам говорю.

Зимою сквозь двойные рамы уличные звуки по ночам почти не проникали в комнату. Зато квартирные шорохи и скрипы слышны были Софье Петровне всю ночь. Настойчиво скреблись мыши — как бы они не подобрались к салу, купленному для Коли. В коридоре скрипели половицы, и, когда мимо проезжал грузовик, вздрагивали входные двери. В комнате бухгалтера каждые пятнадцать минут важно били часы.

Коля скоро вернется. В эту ночь Софья Петровна не сомневалась больше, что Коля скоро вернется. Кипарисова говорит и милиционер Дегтяренко... Он должен вернуться, потому что, если он не вернется, она умрет. Раз невиновных начали выпускать, значит, и Колю скоро выпустят. Не может же быть, чтобы других выпустили, а его нет. Коля вернется, и как тогда будет стыдно медицинской сестре! И управдому. И Вале. Они глаз на него не посмеют поднять. Коля не станет даже и здороваться с ними. Пройдет мимо, как мимо стены. Когда он вернется, ему сразу дадут какую-нибудь ответственную службу — и даже орден, — чтобы поскорее загладить свою вину перед ним. На груди у него будет орден, а с медицинской сестрой и с Валей он не станет здороваться...

Под утро Софья Петровна уснула и проснулась поздно, только в десять часов. Проснувшись, она вспомнила: что-то вчера было хорошее, что-то она узнала хорошее про Колю. Ах, да, людей стали выпускать из тюрьмы. И раз начали выпускать — значит, скоро и Коля вернется. И Алик. Все будет хорошо, все по-прежнему. Софья Петровна поймала себя на быстрой мысли: значит, и Наташа вернется. Нет, Наташа не вернется, но Коля — Коля уже едет домой, может быть, вагон его уже подъезжает к вокзалу.

Возвращаясь в этот день из библиотеки, Софья Петровна остановилась перед витриной комиссионного магазина и долго перед ней простояла. В витрине был выставлен фотографический аппарат «Лейка». Коля всегда мечтал о фотографическом аппарате. Хорошо бы продать что-нибудь и купить Коле ко дню его возвращения «Лейку». Фотографировать Коля научится быстро, ведь он такой умелый, такой сообразительный.

Весь день Софья Петровна была в приподнятом, радостном состоянии духа. Ей даже есть захотелось — впервые за много дней. Она уселась на кухне чистить

картошку. Если приобрести для Коли фотографический аппарат, то вот затруднение: где он будет проявлять снимки? Необходима абсолютно темная комната. Ну конечно, в чулане. Там дрова, но можно очистить место. Можно потихоньку часть своих дров унести в комнату и попросить жену Дегтяренко, чтобы и она взяла вязанку к себе — она не откажет, — вот и очистится место. Коля всех будет фотографировать: и Софью Петровну, и близнецов, и знакомых барышень, только Валю и медсестру снимать ни за что не будет. У него составится целый альбом фотографий, но Вале и медсестре в этот альбом не попасть.

— У вас еще много дров в чулане? — спросила Софья Петровна жену Дегтяренко, когда та вошла в кухню за веником.

— Вязанки этак три, — отозвалась жена Дегтяренко.

— Вы любите сниматься? Я очень любила в молодости, у хорошего фотографа, конечно... Знаете, что? Колю выпустили.

— Да ну! — вскрикнула жена Дегтяренко и выронила веник. — Ну вот, а вы убивались! — Она расцеловала Софью Петровну в обе щеки. — Письмо прислал или телеграмму?

— Письмо. Только что получила. Заказное, — ответила Софья Петровна.

— А я и не слыхала, как почтальон приходил. С этими примусами совсем оглохнешь.

Софья Петровна ушла к себе в комнату и села на диван. Ей надо было посидеть в тишине, отдохнуть от своих слов, понять их. Колю выпустили. Выпустили Колю. Из зеркала смотрела на нее сморщенная старуха с зелено-серыми, седыми волосами. Узнает ли ее Коля, когда вернется? Она вглядывалась в глубь зеркала до тех пор, пока все не поплыло перед нею и она перестала понимать — где настоящий диван, а где отражение.

— Знаете, моего сына выпустили. Из тюрьмы, — сказала она в библиотеке сотруднице, писавшей карточки за одним столом с ней. Та до сих пор не слышала от Софьи Петровны ни единого слова, а Софья Петровна не знала даже, как ее зовут. Но ей необходимо было повторять свое заклинание.

— Вот как! — ответила сотрудница. Это была неряшливая, толстая женщина, вся осыпанная волосами и пе-

плом от папирос. — Ваш сын, вероятно, ни в чем не был виноват — вот его и выпустили. У нас не станут держать человека зря... И долго сидел ваш сын?

— Год два месяца.

— Что ж, разобрались и выпустили, — сказала толстая женщина, отложила папиросу и принялась писать.

Вечером, столкнувшись с Софьей Петровной в коридоре, милиционер Дегтяренко поздравил ее.

— С вас магарыч, — сказал он, пожимая ей руку и широко улыбаясь. — А когда же Николай Федорович к мамаше пожалует?

— А вот проработает месяц-другой на заводе, потом поедет в Крым отдыхать — он так нуждается в отдыхе! — а потом и ко мне. Или, может быть, я к нему съезжу, — ответила Софья Петровна, сама удивляясь легкости, с какой она говорит.

Она была радостно возбуждена, и даже ноги носили ее быстрее. Ей хотелось каждую минуту говорить кому-нибудь: «Колю выпустили. Знаете? Выпустили Колю!» Но некому было говорить. Вечером она вышла в магазин за хлебом и сразу встретила любезного издательского бухгалтера. Еще день тому назад, увидев его, она перешла бы на другую сторону, потому что все, что напоминало ей службу в издательстве, причиняло ей боль. Но теперь она приветливо заулыбалась ему.

Он галантно поклонился и сразу спросил:

— Слыхали наши новости? Тимофеев арестован.

— Как? — смутилась Софья Петровна. — Ведь он же... ведь он же всех и разоблачил... вредителей...

Бухгалтер пожал плечами.

— А теперь его кто-то разоблачил...

— У меня, знаете, радость, — поспешно сказала Софья Петровна. — Сына выпустили.

— Вот как! Примите мои поздравления. А я и не знал, что сын ваш был арестован.

— Да, был, а вот теперь выпустили, — весело сказала Софья Петровна и простилась с бухгалтером.

Возвращаясь домой, она машинально заглянула в почтовый ящик. Пусто. Нет письма. У нее сжалось сердце, как всегда сжималось возле пустого ящика. Ни строчки за целый год. Неужели потихоньку ни с кем невозможно переслать письмо? Год и два месяца нету от него вестей. Не умер ли он? Жив ли он?

Она легла в кровать и почувствовала, что ни за что не заснет. Тогда она приняла люминал, двойную порцию. И заснула.

18

— Сегодня я получила еще письмо, — рассказывала в кухне Софья Петровна на следующее утро. — Представьте, моего сына директор завода назначил своим помощником. Правой рукой. Местком приобрел для него путевку в Крым — роскошная там природа, я бывала в молодости. А когда он вернется, он женится. На одной девушке, комсомолке. Ее зовут Людмила — правда, красивое имя? Я буду звать ее Милочка. Она ждала его целый год, хотя имела много других предложений. Она никогда не верила про Колю худому, — Софья Петровна победоносно взглянула на жену бухгалтера, стоящую возле своего примуса. — И теперь он на ней женится — сразу, чуть вернется из Крыма.

— Внучат, значит, нянчить будете, — сказала жена Дегтяренко.

Медсестра даже бровью не повела. Но через минуту, когда Софья Петровна, сходив к себе за солью, снова вышла в кухню, медсестра сказала ей: «Здравствуйте!», будто видела ее сегодня впервые. Первое «здравствуйте» за целый год.

У Софьи Петровны был выходной день, и она решила прибрать свою комнату. Если Коля еще и не на свободе, то ведь его должны освободить с минуты на минуту. Он придет, а в комнате такой разгром. Взглянув на себя мельком в зеркало, Софья Петровна решила, что ей необходимо снова начать завиваться. А то седые патлы висят. Женщина должна следить за собой до своего последнего дня. Она вытащила из-под кровати ящики и растопила ими печь. Фанера горела отлично, с веселым треском. Софья Петровна раздумывала, куда бы засунуть консервы, чтобы они не валялись на подоконнике? И к чему столько банок? Когда понадобится, всегда можно в магазине купить.

Она решила вымыть окна и пол. Ноги у нее болели, как всегда, и поясница болела, но что же делать, надо потерпеть. Она разорвала мешки на тряпки.

Пока греется вода, надо вытряхнуть коврик. Софья Петровна вытащила коврик на площадку. В скважинах

почтового ящика что-то темнело. Софья Петровна, тяжело ступая, пошла за ключом.

В ящике лежало письмо. Конверт был розовый, шершавый. «Софье Петровне Липатовой», — прочла она. Ее имя было написано незнакомым почерком. И ни адреса, ни почтового штемпеля — ничего.

Забыв коврик на площадке, Софья Петровна кинулась к себе. Села у окна и вскрыла конверт. От кого бы это?

«Милая мамочка! — написано было в письме Колиной рукой, и Софья Петровна сразу опустила листок на колени, ослепленная этим почерком. — Милая мамочка, я жив, и вот добрый человек взялся доставить тебе письмо. Как-то ты поживаешь, где Алик, где Наталья Сергеевна? Все время думаю я о вас, мои дорогие. Страшно мне думать, что ты, может быть, живешь сейчас не дома, а где-нибудь в другом месте. Мамочка, на тебя вся моя надежда. Мой приговор основан на показаниях Сашки Ярцева — помнишь, такой мальчик был у меня в классе? Сашка Ярцев показал, что он вовлек меня в террористическую организацию. И я тоже должен был сознаться. Но это неправда, никакой организации у нас не было. Мамочка, меня бил следователь Ершов и топтал ногами, и теперь я на одно ухо плохо слышу. Я писал отсюда много заявлений, но все без ответа. Напиши ты от своего имени старой матери и в письме изложи факты. Тебе ведь известно, что я Сашу Ярцева со времени окончания школы даже ни разу не видел, так как он учился в другом вузе. И в школе я с ним никогда не дружил. Его, наверное, тоже сильно били. Целую тебя крепко, привет Алику и Наталье Сергеевне. Мамочка, делай скорее, потому что здесь недолго можно прожить. Целую тебя крепко. Твой сын Коля».

Накинув пальто, нахлобучив шапку, с грязной тряпкой в руках, Софья Петровна побежала к Кипарисовой. Она боялась, что забыла номер квартиры Кипарисовой и не найдет ее. Письмо она сжимала в кармане. Она не взяла с собой палку и бежала, хватаясь за стены. Ноги подводили ее: как ни торопилась она, до Кипарисовой все еще было далеко.

Наконец она вошла в парадную и из последних сил поднялась на третий этаж. Здесь, кажется. Да, здесь. «Кипарисова М. Э. — 1 звонок».

Ей открыла какая-то девочка и сейчас же убежала. Пробравшись по темному коридору мимо шкафов, Софья Петровна наобум отворила дверь и вошла.

Кипарисова, в пальто и с палкой в руках, сидела посреди комнаты на сундуке. В комнате было совершенно пусто. Ни стула, ни стола, ни кровати, ни занавесок, один телефон возле окна на полу. Софья Петровна опустилась на сундук рядом со старухой.

— Меня высылают, — сказала Кипарисова, не удивляясь появлению Софьи Петровны и не здороваясь с ней. — Завтра утром еду. Все до нитки продала и завтра еду. Мужа уже выслали. На 15 лет. Видите, я уже уложилась. Кровати нет, спать не на чем, просижу ночь на сундуке.

Софья Петровна протянула ей Колино письмо.

Кипарисова читала долго. Потом сложила письмо и запихала его в карман пальто Софьи Петровны.

— Пойдемте в ванную, тут телефон, — шепотом сказала она. — При телефоне нельзя ни о чем разговаривать. Они вставили в телефон такую особую пластинку, и теперь ни о чем нельзя разговаривать — каждое слово на станции слышно.

Кипарисова провела Софью Петровну в ванную, накинула на дверь крючок и села на край ванны. Софья Петровна села рядом с ней.

— Вы уже написали заявление?

— Нет.

— И не пишите! — зашептала Кипарисова, приближая к лицу Софьи Петровны свои огромные глаза, обведенные желтым. — Не пишите, ради вашего сына. За такое заявление по головке не погладят. Ни вас, ни его. Да разве можно писать, что следователь бил? Такого даже думать нельзя, а не только писать. Вас позабыли выслать, а если вы напишете заявление — вспомнят. И сына тоже упекут подальше... А через кого прислано это письмо? А свидетели где?.. А как доказать?.. — Она безумными глазами обвела ванную. — Нет уж, ради бога, ничего не пишите.

Софья Петровна высвободила руку, открыла дверь и ушла. Она торопливо, но медленно брела домой. Нужно было закрыться на ключ, сесть и обдумать. Пойти к прокурору Цветкову? Нет. К защитнику? Нет.

Выкинув из кармана письмо на стол, она разделась и села у окна. Темнело, и в светлой темноте за окном уже загорались огни. Весна идет, как уже поздно темнеет. Надо решить, надо обдумать, но Софья Петровна сидела у окна и не думала ни о чем. «Следователь Ершов меня бил...» Коля по-прежнему пишет «д» с петлей на-

верху. Он всегда писал так, хотя, когда он был маленький, Софья Петровна учила его выписывать петлю непременно вниз. Она сама учила его писать. По косой линейке.

Стемнело совсем. Софья Петровна встала, чтобы зажечь свет, но никак не могла отыскать выключатель. Где в этой комнате выключатель? Невозможно вспомнить, где был в этой комнате выключатель? Она шарила по стенам, натыкаясь на сдвинутую для уборки мебель. Нашла. И сразу увидела письмо. Измятое, скомканное, оно корчилось на столе.

Софья Петровна вытащила из ящика спички. Чиркнула спичкой и подожгла письмо с угла. Оно горело, медленно подворачивая угол, свертываясь трубочкой. Оно свернулось совсем и обожгло ей пальцы.

Софья Петровна бросила огонь на пол и растоптала ногой.

Ноябрь 1939 — февраль 1940
Ленинград

КОММЕНТАРИИ

Тынянов Ю. ВОСКОВАЯ ПЕРСОНА. Впервые опубликована в журнале «Звезда» — 1931. № 1. С. 5—51, № 2. С. 5—48. Первое отдельное издание: Тынянов Ю. Восковая персона. (С примеч.). Л.—М., Гос. изд-во лит-ры, 1931. Входила в состав сборника: Тынянов Ю. Рассказы: Подпоручик Киже. Малолетний Витушишников. Восковая персона (с примеч.). М., «Советский писатель», 1935.

Первое «объективное» описание книги, изнутри раскрывающее социально-классовые критерии оценки, было дано в июльском выпуске бюллетеня библиографического института за 1931 год: «Восковая персона» представляет собой ряд исторических эпизодов (создание петербургской кунсткамеры, смерть Петра I и др.) и бытовых, психологических портретов (светлейший взяточник Меншиков, разгульный генерал-прокурор Ягужинский и др.) периода последних дней жизни Петра и начала царствования Екатерины. Связью этих эпизодов и портретов служит историко-анекдотическая ситуация: Петр умирает, а «подобие» Петра, вылепленное из воска, страшит легкомысленную и развратную Екатерину, и «восковая персона» отсылается императрицей в кунсткамеру, где покойный император собрал уродов — «человечьих, скотских, звериных и птицьих». В романе явно ощутима параллель между кунсткамерой всяческих раритетов и цветом дворянской знати, представляющей собою истинную кунсткамеру тупых, жадных и развратных государственных уродов.

Повесть написана мастерски. Тынянов умеет дать почувствовать, что каждая бытовая деталь обоснована на историческом материале. Но «Восковая персона» лишена глубокой идеи и лишена серьезного познавательного значения: Тынянов рисует быт (к тому же главным образом придворный) и психологию действующих лиц, а не социальные отношения и жизнь эпохи. Социальные функции исторических персонажей заслонены их личной жизнью. Трактуя Россию начала XVIII века с точки зрения буржуазных принципов исторической науки, Тынянов явно преувеличивает «величие» Петра, героизируя «восковую персону», тем самым смазывает социальный смысл повествования.

«Восковая персона», несомненно, шаг вправо по сравнению с «Кюхлей» и «Смертью Вазир-Мухтара». «Восковая персона» написана чрезвычайно трудным языком; Тынянов дает здесь иллюзию воспроизведения специфического говора эпохи, явно впадая при этом в изощренную стилизацию. Приложенный список старых, а также иностранных слов и выражений мало облегчает чтение» (Книга строителям социализма. 1931. № 20. С. 88—89). «Восковая персона» стала приметным объектом ортодоксальной критики. Так Инн. Оксенов «основной порок» повести Юрия Тынянова, которого он назвал одним «из столпов ленинградского формализма», усмотрел «в отсутствии подлинного политического содержания, в отсутствии связи с социально-экономическим фоном и бытом эпохи... Мы не говорим уже о социальной философии произведения. Эпоха, являющаяся темой «Восковой персоны», характерна сложностью своей социально-политической обстановки и партийной борьбы, за которой скрывалась борьба классов — бояр-феодалов и торговой буржуазии... Для неискушенного читателя сущность этой борьбы осталась совершенно нераскрытой» (Оксенов Инн. Монстры и натуралии Юрия Тыня-

нова // «Новый мир». 1931. № 8. С. 177, 178). И далее, используя привычное словосочетание, критик усугублял претензии к «Восковой персоне»: «основной порок повести — ее «формализм», применение формального метода, являющегося одной из новейших разновидностей идеалистического мировоззрения. Все методологические особенности «Восковой персоны», упор на «общечеловеческие» свойства личности ее крупнейших исторических героев, отсутствие подлинной связи последних с реальной исторической почвой эпохи и неизбежно отсюда вытекающая статичность этих восковых (хотя и искусно вылепленных) фигур — все это вытекает из основной формалистической установки автора.

«Восковую персону» в целом нельзя даже назвать реалистическим произведением (несмотря на наличие в повести ряда отдельных реалистических черт и сцен) — она в значительной степени является отвлеченно-эстетической композицией на историческом материале.

Вся высокая литературно-историческая эрудиция и стилистическое своеобразие автора привели лишь к созданию галереи «монстров» и «натуралий» — к созданию произведения, имеющего буквально лишь музейную ценность. Этому виной порочный в своей основе творческий метод — метод формального идеалистического мировоззрения, еще пытающегося завоевать кое-где позиции на современном литературном фронте» (С. 179, 180).

Вскоре в критике зазвучали и иные — «боевые», доносительные, налитпостовские интонации. «Гнилой либерализм за счет кровных интересов большевизма» называлась статья И. Рубановского, в которой подвергалась сомнению литературная направленность ленинградского журнала «Звезда» за 1931 год. «Первые номера журнала открываются повестью Ю. Тынянова «Восковая персона», рисующей Петровскую эпоху. Обращение к исторической тематике не могло бы считаться признаком отставания, если бы изображаемые авторами «Звезды» исторические факты осмысливались в духе нашей современности, если бы их показ стоял на уровне марксистско-ленинского анализа. Однако трактовка материала в повести Тынянова является прямым снижением жанра исторического романа и, по существу, идеалистическим искажением всех основных фактов эпохи» («Вечерняя Москва». 1931. 22 декабря. С. 2). За «открывателем», застрельщиком шли соучастники, апологеты: «Роман В. Каверина «Художник неизвестен» является откровенной апологетикой идеалистических принципов художественного творчества, встающих в органическое противоречие с обстановкой советской действительности, трактуемой весьма негативно. Подобно «Сумасшедшему кораблю» О. Форш... этот роман является боевым документом той части попутчиков, которая открыто сопротивляется процессу перестройки своего мировоззрения на основе диалектического материализма» (с. 2) (До печально знаменитого Постановления было 15 лет...).

Любое проявление «сопротивления» не терпелось, и журнал «На литературном посту» дал тройной залп по «Восковой персоне»: «...тревожным симптомом является новое произведение Юрия Тынянова — роман «Восковая персона», в котором характерный для этого писателя формализм, сказывающийся в «деформации материала», не идет по линии преодоления, но, напротив, развивается вглубь, приводит к такому разрыву с объективной материальной действительностью, за которым образ вытесняется символом, реальность ирреальностью, то есть все более последова-

тельным идеализмом» (Лузгин М. За подлинную перестройку // «На литературном посту». 1931. № 13. С. 25).

В. Ермилов назвал «Восковую персону» произведением, «отражающим буржуазную активизацию»:

«Идея этого произведения замаскирована. «Восковая персона» хочет выглядеть как совершенно безобидная историческая стилизация. Но, товарищи, мы не наивные реалисты — мы хотим вскрывать классовый смысл литературного явления. Разве случайно самое устремление внимания Тынянова и других писателей, отодвигающихся сейчас на все более и более реакционные позиции, к кризисной эпохе Петра? Разумеется, нет. Но несомненно, что сущность «Восковой персоны» Тынянова состоит в том, что здесь нашли выражение настроения тех общественных групп, которые воспринимают нашу эпоху чрезвычайно мрачно и подавленно, — в этом вся психологическая атмосфера повести, ее эмоциональная доминанта. Все настроения, весь объективный смысл романа раскрывается в его концовке, где проводится идейка о том, что в эпоху кризисов и переломов господствует безвыходная тоска и маразм и брат равнодушно проходит мимо казни брата. «Восковая персона» — сгусток, кристаллизация настроений определенных общественных групп, — настроений безысходного мрака, социального маразма. И, конечно, не случайна форма исторической стилизации для выражения настроений этих общественных групп: они легче и удобнее всего могут быть выражены именно в форме «безобидной» исторической стилизации» (Ермилов В. За боевую творческую перестройку // «На литературном посту». 1932. № 4. С. 7).

Налитпостовский критик В. Бакинский «вскрывал» политические, исторические, методологические «пороки» повести Ю. Тынянова: «Политический смысл «Восковой персоны» состоит в том, чтобы *отвлечь внимание от непосредственной классовой борьбы, объявить ее выдумкой, доказать, что не классовые интересы, не классовая борьба определяют отношения людей и характеризуют тот или иной исторический период, а неизвестные, слепые силы и хаос руководят миром и человеком* (выделено курсивом. — *А. В.*). «Восковая персона» есть объективное выступление против материалистической истории общественного развития, против материализма, в защиту субъективного идеализма, мистики, символики, в защиту буржуазного мировоззрения, буржуазной подделки истории...

Пороки творческого метода Ю. Тынянова — это пороки мировоззрения художника, вскрывающиеся как формалистический, идеалистический подход к действительности. Идея «Восковой персоны» и ее творческое разрешение — это фактический уход от современности, от эпохи социалистического строительства» (Бакинский В. Хаос «исторических» случайностей. О повести Ю. Тынянова «Восковая персона» // «На лит. посту». 1932. № 8. С. 26.)

Отсюда был только один шаг до вывода о реакционности повести, реакционном историзме Ю. Тынянова. И он не заставил себя ждать. Охраняя «советскую действительность» от любых намеков на «издевку», В. Кирпотин писал «к 15-летию Октября»: «...Петр I (в «Восковой персоне») Тынянова продиктован реакционной идеей бесплодности исторических переворотов. Это реакционный историзм, в котором нет ни грамма подлинного реалистического реализма в искусстве...

Не наше дело защищать Петра, создавшего основы дворянско-крепостническо-торговой России самыми зверскими средствами, истреблением жизни и благосостояния масс. Но роман Тынянова — это роман не только о Петре, он имеет общий историко-философский смысл о значении переворотов в истории. Смысл, который диктуется «Восковой персоной» читателю, — смысл реакционный» (Кирпотин В. Советская литература к 15-летию Октября // «Октябрь». 1932. Кн. II. С. 174.).

«Восковая персона» заняла узловое место в критических спорах о прозе Ю. Тынянова, путях советского исторического романа, художественных принципах изображения Петра I и социалистическом реализме. Сравнивая два романа о Петре Первом — тыняновский и толстовский и явно отдавая предпочтение последнему, А. Алпатов писал: «Сам Петр I и его двор, приближенные и министры, императрица Екатерина, скульптор Растрелли, пьянствующие в кабаке подмастерьи, солдаты и крестьяне — все даны как-то анекдотично, в резко гротескном преломлении... Художественная манера Тынянова весьма далека от реалистической» (Книга и пролетарская литература. 1933. № 4—5. С. 160, 161).

Показательно мнение А. Старчакова, который считал, что в «Восковой персоне» Ю. Тынянов «изменил диалектике», «свернул в тихую заводь исторического анекдота» и потерпел «неудачу»: «Восковая персона» грешит тем же пороком, что и «Поручик Киже». Петровская эпоха дана не через раскрытие ее движущих сил и противоречий, но стилизаторски, через подробности быта, лексику. Тынянов загромождает «Восковую персону» раритетами и монстрами... Повесть статична, мертва... И ни в какой мере не дает представления об ожесточенной борьбе, которая сейчас же после смерти Петра возникла» (Старчаков А. Проза Тынянова // «Известия». 1933. 20 октября. С. 3).

В. Шкловский попытался наметить художественные противоречия повести Ю. Тынянова: «По началу «Восковая персона» — лучшая вещь Тынянова. Исторические знания, найденные детали, понятые документы стали ощущениями.

Но в книге есть срыв. Этот срыв чувствуется во второй части, кунсткамерной. Документальные, взятые из книги «Кабинет Петра Великого», но смягченные, корректированные уроды ушли из-под умелой водительской руки Тынянова в кабак обычного исторического романа, в наезженную колею достопримечательностей» (Шкловский В. Об историческом романе и о Юрии Тынянове // «Звезда». 1933. № 4. С. 174).

Как «переходную стадию в творчестве Тынянова» рассматривал «Восковую персону» в ходе пустопорожней дискуссии «Социалистический реализм и исторический роман» Ц. Фридлянд: «В «Восковой персоне» вы присутствуете как бы в лаборатории человека, который собирает материал для нового исторического романа... Это не живые люди, не исторические эпизоды — это маски и символы, даже тогда, когда в основе их лежат подлинные документы и события.

В «Восковой персоне»... отдельные фигуры оторваны одна от другой, они не воспринимаются нами в одной общей картине исторической эпохи.

Тыняновское превращение прошлого в мучительно трагический анекдот интересно тем, что мы видим процесс внутреннего преодоления своего прошлого автором-формалистом. Все это переходная стадия — как будто писатель хочет показать нам, ка-

кие этапы он проходит при изображении прошлого от формализма к социалистическому реализму» («Литературная газета». 1934. 6 июля. С. 4; «Октябрь». 1934. № 7. С. 209).

Идея о некоем символическом «колеблемом», мистическом смысле повести «Восковая персона» была доведена до логического предела в книге Л. Цырлина «Тынянов-беллетрист» (Л., 1935): «Философия повести — философия скептическая, философия бессилия людей перед лицом исторического процесса.

И восковая персона — это уже не Петр I, это уже символ некоего исторического закона, символ той философии истории, поэтическая формула которой дана была Пастернаком:

Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход...

Эта концепция присутствует не в самой художественной ткани, не образует собой идейного сцепления всей системы образов, а скорее таится где-то в порах повествования, между строк» (с. 101, 107).

Признав, что «классовый конфликт... Петровской эпохи уловлен Тыняновым правильно», Л. Цырлин тем не менее считал, что «интерпретирован» он «ошибочно»: «Историческая конкретность эпохи заранее была подчинена Тыняновым абстрактному философско-этическому замыслу. И эпоха взята как произвольный символ измены...

В «Восковой персоне» колеблемость смысла художественного образа становится символической потому, что этот образ погружен в некую мистическую систему, алогическую и отвлеченную» (с. 99, 106).

Суд Л. Цырлина был безапелляционным: «Философия съела историю потому, что философия эта — ложная философия» (с. 108).

Однако в первой половине 30-х годов в борьбе с вульгарно-социологической, псевдофилософской критикой наметился и иной реально-объективный, подлинно эстетический подход к историческим повестям Ю. Тынянова. «Если подойти к повестям и романам Тынянова, отбросив узкое мерило метафизического достоинства, то сразу становится ясным все их громадное эстетическое познавательное значение, — писал, например, Ан. Тарасенков. — И надо быть благодарным Тынянову за то, что он делает большое и нужное дело показа истории в художественных образах, а не наставительно поучать его философской метафизике» (Тарасенков Ан. Анекдот или история? // «Знамя». 1934. № 6. С. 193, 195).

Новое прочтение повести было предпринято уже в 50—60-е годы. «Школа истории не проходит бесследно для народного сознания» — это верное методологическое положение позволило Б. Костелянцу «раскрыть новые оттенки» произведения. Но инерция старого подхода оказалась так велика, что путала, искажала исследовательскую мысль и через тридцать лет. «В «Восковой персоне», при всей глубине замысла этого произведения, ощущается... усложненность формы, перенасыщенность иносказаниями, «расшифровка» которых надолго отвлекает усилия читателей в сторону от главного конфликта произведения. Противоречия художественной манеры Тынянова... сказываются в этой повести особенно резко», — писал тот же автор (Костелянец Б. Проза Тынянова // Тынянов Ю. Сочинения: в 3-х т. М.—Л. 1959. Т. 1. С. XXXIX, XLII).

Проницательные наблюдения над повестью Ю. Тынянова, ко-

торый «всю жизнь... ненавидел историческое чистописание», отличали оригинальную работу А. Белинкова: «Тема Петра была вызвана революцией, и трактовка деятельности великого человека и его эпохи отразила отношение писателя к событиям современности» (Белинков А. Юрий Тынянов. М. 1960. С. 296, 302). Однако в белинковской концепции тыняновского творчества «Восковая персона» ложилась как «тяжелое поражение» художника.

«Почему писатель, превосходно чувствующий подлинные импульсы исторического процесса, изобразил одну из переломных эпох, когда «Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, — при стуке топора и при громе пушек», как время крушения, растерянности, разочарований, гибели надежд, обреченности и всеобщей измены? Почему этот строгий и точный писатель так разошелся с историей? (с. 312) — ставил А. Белинков прокурорские вопросы и тут же выдавал судейские ответы: — Исторические законы оказались подмененными надуманной схемой. Не обошлось здесь и без вульгарного социологизма» (с. 313).

Отрицательный художественный результат, по мысли исследователя, имел и «спор» Тынянова с Пушкиным: «Повесть Тынянова полемически обращена против Пушкина. Медному всаднику Пушкина Тынянов противопоставляет своего воскового всадника... спор Тынянова с Пушкиным кончился для автора повести поражением» (с. 309, 320).

Более верное восприятие повести Ю. Тынянова сохранили писатели-современники:

«Повесть «Восковая персона» стоит несколько в стороне от других произведений Тынянова, хотя нисколько не уступает им ни в конкретности исторического отображения, ни в силе, с которой нарисованы деятели петровского времени. Она порою трудна для чтения...

По самой современной книгой Тынянова — и не только современной, но и предсказавшей некоторые явления недавнего прошлого, — была, без сомнения, «Восковая персона» — В. Каверин; «Подпоручик Киже» и «Восковая персона» были нам глубоко понятны» — И. Эренбург (Юрий Тынянов. Писатель и ученый. Воспоминания. Встречи. М. «Молодая гвардия». 1966. С. 40—41, 184).

Печатается по: Тынянов Ю. Н. Рассказы. М., «Сов. писатель». 1935.

Платонов Андрей. КОТЛОВАН. 4 октября 1929 года в издательстве «Молодая гвардия» был заключен договор, согласно которому Андрей Платонов должен был представить не позже 10 декабря 1929 года «повесть (художественную), основанную на современном материале», под названием «Вещество существования» (условно) размером до восьми печатных листов (ЦГАЛИ. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. хр. 15. Л. 1).

В архиве писателя хранится машинопись, на первом листе которой обозначено:

«Андрей Платонов.

Котлован.

декабрь 1929 —
апрель 1930».

И далее указано: «И издательство «Пролетарий» (ЦГАЛИ. Ф. 2124. Оп. 1. Ед. ф. 71. Л. 1, 2). Ни в одном из советских издательств

«Котлован» А. Платонова в 30-е годы не вышел и был впервые опубликован у нас в журнале «Новый мир». 1987. № 6. С. 50—123.

Платонов Андрей. Впрок. Бедняцкая хроника. Первая и единственная при жизни автора публикация: «Красная новь», 1931. № 3. С. 3—39.

Трудную судьбу повести А. Платонова определило злобное отношение к автору Сталина. Как вспоминала В. А. Герасимова, жена А. А. Фадеева, в 1925—1932 гг.: «Я лично видела на странице повести Андрея Платонова «Впрок» в журнале «Красная новь», который тогда редактировал Саша, рукой Сталина вписанное краткое словцо «сволочь» (Герасимова В. Беглые записи // «Вопросы литературы». 1989. № 6. С. 129).

«В № 3 «Красной нови» за 1931 год помещена «Бедняцкая хроника» Андрея Платонова под названием «Впрок». Темой этой хроники является коллективизация сельского хозяйства, материалом для нее служат районы центральной черноземной области» — так начиналась первая погромная статья А. Селивановского «В чем сомневается» Андрей Платонов» («Литературная газета». 1931. 10 июня. С. 3), направленная против и писателя, и журнала. Критик сразу перешел на поражение цели: «Можно было предположить, что годы решающих побед социализма пойдут «впрок» Платонову, «душевному бедняку», как он рекомендует себя. Однако годы не изменили существа автора. Оно — все то же: обывательское, злобствующее, насквозь реакционное. Изменились лишь формы проявления этого существа. Кое-кого «Впрок» может вначале сбить с толку. Произведение А. Платонова построено в двух планах: образный показ коллективизирующейся деревни перемежается с пространными рассуждениями о достижениях колхозного движения». «Не опасаясь вульгаризации», А. Селивановский и не выходил за ее пределы в определении художественных принципов А. Платонова-публициста и сатирика: «Сей «душевный бедняк», единственное имущество которого — сомнение», полно и всесторонне развивает мысли Андрея Платонова последнего периода его литературной работы, и мы можем в данном случае, ни в малой степени не опасаясь вульгаризации, поставить знак равенства между автором и лицом, ведущим повествование в «Бедняцкой хронике».

Собственно, слово «сомнение» тут мало подходит: гораздо правильнее будет слово «издевка». Объектом этой издевки служит бедняцко-середняцкое крестьянство, идущее в колхозы. Тщетно стали бы мы искать у Платонова фигуры подлинных руководителей колхозов, выдвинутых социалистической революцией из масс бедняцко-середняцкого крестьянства». Враждебность классовой позиции А. Платонова правоверный критик усматривал в том, что автор «бедняцкой хроники» «подставляет кривое зеркало. И что же обнаруживается? ...на определенном этапе коллективизации перегибы — за редким исключением — были сплошным явлением, что в них повинно центральное руководство»; «...огромная и напряженная борьба за генеральную линию партии изображается Платоновым как нелепая бюрократическая выдумка», «ведь нужно же умудриться — написать «Бедняцкую хронику» — и обойти в ней вопросы классовой борьбы. Ни кулаков, ни подкулачников, ни вообще классовой борьбы в селе Платонов не «хочет» видеть».

«Почему же Платонов изобразил коллективизацию как бюрократическую выдумку, почему он с презрением отнесся к энтузи-

азму масс? — риторика А. Селивановского была убийственно-доносительной. — Потому что Платонов есть анархиствующий обыватель, все более отчетливо превращающийся на деле в литературного подкулачника».

«Редакция «Красной нови» совершила грубейшую ошибку. Будем ждать ее исправления» — так завершался этот критический выстрел.

«Больше внимания тактике классового врага» — вот мишень в литературном «подвале» «Правды» (1931. 18 июня. С. 2), где расстреливались «кулак-кондратьевец Андрей Платонов и его «Бедняцкая хроника» под многозначащим заголовком «Впрок».

«Эта «Бедняцкая хроника» написана в щедринской манере и задумана как пасквиль на генеральную линию партии в целом и на политику сплошной коллективизации в частности и в особенности.

Конечно, «далеко курице до ястреба»: далеко и платоновскому косноязычию до щедринских блистательных сатир. Оставим, однако, «стиль» в стороне. Нас интересует сейчас кулацко-кондратьевская исповедь, поскольку ей любезно предоставили возможность публично потешать истосковавшегося по бульварщине обывателя», — заданный и наигранный «сарказм» автора правдинской статьи В. Дятлова опирался на официоз: «победно развивающееся наступление социализма по всему фронту, крупнейшие успехи генеральной линии партии» и был рассчитан на известную реакцию сталинских заединщиков начала 30-х годов: «Платонову «глаза бедняка» понадобились, во-первых, для того, чтобы напустить тумана в глаза легковерной редакции, а во-вторых — и это самое существенное, — для придания наибольшей политической остроты своей «сатире». Стержень всей философии платоновского «бедняка» среди обильной шелухи нарочитого косноязычия выпирает наружу весьма явственно: прежде всего, правый уклон — это вовсе не главная опасность. Действительная главная опасность — какая бы вы думали?.. генеральная линия партии, политика сплошной коллективизации, по существу-де левая, троцкистская политика». В. Дятлов настойчиво стремился доказать, что «Впрок» А. Платонова — это «пахнущая белогвардейщиной пошлятина» «в форме контрреволюционного пасквиля», и формулировки обвинений соответствовали цели: «Ленин изображается Платоновым как вождь... люмпен-пролетариата, а ленинизм как несбыточная утопия»; «Платонов открыто высмеивает классовую борьбу, правда, опять-таки не поднимаясь выше уровня мещанско-обывательского зубоскальства»; «гнусные измышления Платонова насчет идиотизма колхозной жизни» и т. п.

В той же мастерской была отлита и третья «пуля» — статья И. Макарьева «Клевета» («На литературном посту». 1931. № 18. С. 22—27), выпущенная против «Бедняцкой хроники» А. Платонова. Для налитпостовского критика «Впрок» — «это клевета классового врага на колхозы, на колхозные кадры, на всю нашу работу» (с. 22), «пошлейшее издевательство над нашей страной, над рабочими и колхозниками нашей страны» (с. 23), «законченная кулацкая программа» (с. 24). Чтобы уж бить наверняка, И. Макарьев перешел и на личности: приведя упоевское упоминание о Сталине, он негодовал: «Пошлость кулацкого писателя доходит здесь до предельной наглости распоясавшегося классового врага» (с. 26).

В полном соответствии с вульгарно-социологическими «тео-

риями» классовой борьбы на литературном фронте, «срывания всех и всяческих масок» автор статьи считал, что в очерке А. Платонова «оклеветана вся советская действительность. Перед нами — *наглое выступление классового врага* (выделено курсивом в тексте. — *А. В.*) Но враг этот хитер и изворотлив» (с. 27).

«Изворотливостью врага» попытался И. Макарьев объяснить и «излишнюю доверчивость», и «политическую ошибку» редакции журнала «Красная новь»: «Замаскированное выступление классового врага (отнюдь не дурака, а ловкого и хитрого) напечатано в советском журнале, да еще как «бедняцкая хроника». Только излишней доверчивостью редакции можно объяснить, что ее так облапошили. Иначе объяснить нечем, ибо *никакими художественными достоинствами очерки Платонова не блещут* (выделено курсивом в тексте. — *А. В.).*

Классовый враг может быть и талантливым художником. Здесь, к счастью, мы этого не видим.

Все 40 страниц очерков сплошное сухое, серое, скучное сукно! Убогий, с претензией на оригинальничание, *юродствующий язык* лесковских дьяконов, *вымученное и противоестественное словосочетание,* словесное манерничание, фиглярство и кривляние, *абсолютное незнание быта и языка деревни* (выделено курсивом в тексте. — *А. В.)* — все это говорит о том, что вылазка произведена хитрым, но малоталантливым представителем кулачества.

Но тем более трудно найти оправдание для редакции «Красной нови», сделавшей совершенно недопустимую политическую ошибку, позволившую классовому врагу использовать для клеветы на нас нашу же печать» (с. 27).

Чрезвычайно показательна и реакция журнала: в книгах 5—6 «Красной нови» за 1931 год были напечатаны статьи члена редакционной коллегии А. Фадеева под говорящим названием «Об одной кулацкой хронике» и заметка «от редакции», дающие выразительный образец «коммунистической» литературной критики и самокритики начала 30-х годов.

«Всякий, знающий классовую борьбу в нашей деревне и участвующей в ней, знает этот тип хитрого, пронырливого классового врага, знает, как часто пытается кулак надеть маску «душевного» бедняка», заботящегося за народ, «за всеобщую действительность». Подобного типа кулацкие агенты стремятся использовать и художественную литературу. Одним из кулацких агентов указанного типа явился писатель Андрей Платонов, уже несколько лет разгуливающий по страницам советских журналов в маске «душевного бедняка», простоватого, беззлобного, юродивого, безобидного, «усомнившегося Макара».

Он сыплет шуточками, прибаутками, занимается нарочитым и назойливым косноязычием, вздыхает о душе, о том, что «трактора горячие, а жизнь прохладная» (см. его «Бедняцкую хронику. Впрок», напечатанную в 3-й книжке «Красной нови»). Но, как и у всех его собратьев по классу, по идеологии, под маской простоватого «усомнившегося Макара» дышит звериная, кулацкая злоба, тем более яростная, чем более она бессильна и бесплодна» (с. 206) — таков портрет А. Платонова лета 1931-го, набросанный резкой критической кистью А. Фадеева. А повесть Платонова «Впрок», как он считал тогда, «с чрезвычайной наглядностью демонстрирует все наиболее типичные свойства кулацкого агента самой последней формации — периода ликвидации кулачества

как класса и является контрреволюционной по содержанию» (с. 206): «Основной смысл его «очерков» состоит в попытке оклеветать коммунистическое руководство колхозным движением и кадры строителей колхозов вообще» (с. 207). А каким макаром это сделано? «Платонов постарался прикрыть классово-враждебный характер своей «хроники» тем, что облек ее в стилистическую одежонку простячества и юродивости» (с. 206). Но наш «неистовый ревнитель» и тут начеку, уж он-то раскроет все хитрости классового врага, выведет все на чистую воду: «Платонов обнаглел настолько, что позволяет себе заниматься своими юродивыми пошлостями и тогда, когда он говорит о Ленине» (с. 207); «озлобленная морда классового врага вылезает из-под «душевной» маски. Платонов распоясывается. Изобразив колхозную жизнь как царство бестолочи, он переходит затем к описанию лжеартели, кулацкого колхоза, состоящего из переродившихся бывших героев гражданской войны. Наш юродивый Андрей Платонов просто воспроизводит чаяновскую кулацкую утопию» (с. 208—209). Когда же приходит время «самокритики», «пролетарский писатель», как и «пролетарский революционер», не отступает от ритуала: «Коммунисты, не умеющие разобраться в кулацкой сущности таких «художников», как Платонов, обнаруживают классовую слепоту, непростительную для пролетарского революционера. И потому нас, коммунистов, работающих в «Красной нови», прозевавших конкретную вылазку агента классового врага, следовало бы примерно наказать, чтобы наука пошла впрок» (с. 209).

«Редакция присоединяется к оценке «очерков» Платонова, данной в статье т. Фадеева, и считает грубой ошибкой напечатание их в «Красной нови» (с. 209) — так звучало покаяние образца 1931 года редакционной коллегии в составе Ф. Горохова, Вс. Иванова, Л. Леонова, А. Фадеева.

Весь набор уже стандартных обвинений против платоновской «хроники» услужливо был тиражирован в воронежском журнале «Подъем»: «В настоящее время певцы ликвидируемого кулачества выступают в роли юродствующих шутов, клеветнически высмеивающих колхозное строительство. В этом смысле наиболее показательна «Бедняцкая хроника» А. Платонова, которую, конечно, следовало бы назвать *кулацкой* хроникой.

Колхозники в кривом зеркале А. Платонова выглядят обитателями сумасшедшего дома. Они занимаются чудовищными по своей нелепости делами... Такими же идиотами выводит Платонов и партийные кадры, руководящие колхозным движением» (Плоткин А. Классовая борьба на литературном фронте // «Подъем». 1932. Кн. 3—4. С. 93). Весьма «оригинально» попытались на родине А. П. Платонова отвергнуть и опровергнуть писателя: «Не только сама действительность опровергает выдумки Платонова, но и такие произведения, как «Бруски» и «Разбег», средствами художественного слова разоблачают злобные поклепы кулацких бардов» (с. 93).

Массированный налет на А. Платонова и его рассказ «Впрок» произвел ежемесячник литературы, науки и общественной жизни «Пролетарский авангард». Они оказались в самом центре критического шельмования «под... углом зрения... усиления классовой борьбы» литературных произведений, «которые вышли из печати в год построения фундамента социализма» и отразили «наиболее

яркие выступления классового врага» (Березов П. Под маской // «Пролетарский авангард». 1932. № 2. Стлб. 167—168).

«Наиболее ожесточенные удары враг направлял и направляет прежде всего против социалистического строительства вообще, в частности и в особенности — против коллективизации сельского хозяйства. В этом отношении особенно характерны рассказы Андрея Платонова («Впрок. Бедняцкая хроника...») и Андрея Новикова («Гоночное поле». «Федерация». 1931) о колхозном движении», — намечал П. Березов свое «оперативное поле» и начинал показательный процесс «срывания маски»: «Если А. Новиков ведет рассказ целиком от своего имени в порядке непосредственного авторского впечатления, не пытаясь даже порой скрывать своего издевательства над колхозной жизнью, то А. Платонов прибегает к дополнительной маскировке, скрываясь за спину «душевного бедняка», со слов которого и передается рассказ. Однако этот прием А. Платонова «шит белыми нитками»: он только характеризует хитрость классового врага. Есть все основания утверждать, что этот «душевный бедняк» является alter ego самого автора, является рупором для авторских высказываний... Тем не менее при первом чтении трудно отличить, где кончается автор и где начинается «душевный бедняк» (стлб. 168).

Не затрудняясь анализом природы «повествования от имени действующих лиц», «пролетарский авангардист» торопился поставить на все классовое клеймо: «Этот «странник на колхозной земле», которого «глаза для наблюдения» избрал автор, является, по существу, не «душевным бедняком», а настоящим кулаком» (стлб. 168).

Современный читатель с трагическим прозрением видит, как классовая зашоренность отвергает здравый смысл и принимает доподлинную правду за «неприкрытую карикатуру»: «Платонов заставил своего героя побывать в нескольких колхозах, чтобы убедиться в полной бессмыслице колхозного движения. Ни в одном из колхозов он не обнаружил творческого труда, ростков новой жизни, активности колхозных масс в направлении преобразования своего бытия на социалистических началах: всюду бестолковщина, отсутствие осмысленной организации, сплошное безделие.

А. Платонов все колхозное движение рассматривает как результат насильственного мероприятия в отношении якобы малосознательных, отсталых слоев крестьянства, которые идут в колхозы по принуждению, без веры и убеждения в успех этого навязанного эксперимента» (стлб. 169).

«Авторы усиленно подчеркивают беспочвенность механизации в наших условиях, диссонанс между тем, что намечается планами, и тем, что есть в действительности...» (стлб. 170).

«Перед читателем проходят сплошь уродливые маски, которыми А. Платонов сознательно клеветнически пытался скрыть доподлинное лицо колхозных кадров» (стлб. 173).

«Классово-враждебная», «издевательская», «клеветническая» позиция А. Платонова была прямо связана П. Березовым с «открытой апологией буржуазного искусства» в творчестве О. Форш («Сумасшедший корабль»), Б. Пастернака («Охранная грамота») и В. Каверина («Художник неизвестен»). По мнению этих хранителей старины, не только искусство блекнет, но и вся жизнь замирает, сереет в «сумерках» социализма.

Но с особой выразительностью этот мотив о серости совет-

ской действительности звучит у А. Платонова. В его колхозах царит безрадостная, колхозная тусклая жизнь, бродят скучные и печальные колхозники...» (стлб. 179—180).

Объединил «пролетарский прокурор» в одну «преступную» группу повести А. Платонова, Б. Пастернака и В. Каверина и «кажущейся раздробленностью и разобщенностью отдельных частей и интеллигентской изысканностью», желанием «в известной степени затушевать композиционной сложностью сущность своего мировоззрения, скрыть его от широких читательских масс «за семью печатями» формальной эквилибристикой» (стлб. 181).

Публичное избиение А. Платонова было организовано так, чтобы заставить его замолчать, не дать вырваться из его уст даже «самоискупительному» слову. Не было напечатано ни одно из двух писем А. Платонова в редакции «Правды» и «Литературной газеты» 9 и 14 июня 1931 года, которые свидетельствуют сейчас, что били больно и что писатель смог преодолеть боль.

«В редакцию «Правды» и «Литературной газеты». Просьба поместить следующее письмо. Нижеподписавшийся отрекается от всей своей прошлой литературно-художественной деятельности, выраженной как в напечатанных произведениях, так и в ненапечатанных (выделено мною для наглядности сравнения двух редакций. — *А. В.*).

Автор этих произведений в результате воздействия на него социалистической действительности, собственных усилий навстречу этой действительности и пролетарской критики пришел к убеждению, что его прозаическая работа, несмотря на положительные субъективные намерения, приносит почти сплошной контрреволюционный вред сознанию пролетарского общества.

Противоречие — между намерением и деятельностью автора — явилось в результате того, что автор ложно считал себя носителем пролетарского мировоззрения, тогда как это мировоззрение ему предстоит еще завоевать.

Нижеподписавшийся, кроме указанных обстоятельств, почувствовал также, что его усилия уже не дают больше художественных предметов, а дают пошлость: вследствие отсутствия пролетарского мировоззрения.

Классовая борьба, напряженная забота пролетариата о социализме, освещающая, ведущая сила партии — все это не находило в авторе письма тех художественных впечатлений, которых эти явления заслуживали. Кроме того, нижеподписавшийся не понимал, что начавшийся социализм требует от него не только изображения, но и некоторого идеологического опережения действительности — специфической особенности пролетарской литературы, делающей ее помощницей партии.

Автор не писал бы этого письма, если бы не чувствовал в себе силу начать все сначала и если бы он не имел энергии изменить в пролетарскую сторону свою идеологию. Главной же заботой автора является не продолжение литературной работы ради ее собственной «прелести», а создание таких произведений, которые бы с избытком перекрыли тот вред, который был принесен автором в прошлом.

Разумеется — настоящее письмо не есть искупление моих вредоносных заблуждений, а лишь гарантия их искупить — и разъяснение читателю, как нужно относиться к прошлым моим сочинениям.

Кроме того, каждому критику, который будет заниматься произведениями Платонова, рекомендуется иметь в виду это письмо. Москва. 9 июня 1931 г.

Андрей Платонов».

«В редакцию «Литературной газеты» и в «Правду». Просьба поместить следующее письмо (предыдущее на эту же тему прошу считать недействительным ввиду ряда ошибочных формулировок, допущенных автором по субъективным причинам) *.

Я считаю глубоко ошибочной свою прошлую литературно-художественную деятельность. В результате воздействия на меня социалистической действительности, собственных усилий навстречу этой действительности и пролетарской критики я пришел к убеждению, что моя работа, несмотря на положительные субъективные намерения, объективно приносит вред. Противоречие — между намерением и деятельностью автора — явилось в результате того, что автор ложно считал себя носителем пролетарского мировоззрения, тогда как это мировоззрение ему предстоит завоевать.

Это убеждение явилось во мне не сразу, а началось еще с прошлого года, но лишь теперь вылилось в форму катастрофы, благодетельной для моей будущей работы («Впрок» написана более года тому назад, что не может, конечно, служить каким-либо оправданием).

Кроме указанных обстоятельств, я почувствовал также, что мои усилия уже не дают больше художественных предметов, а дают пошлость: вследствие отсутствия пролетарского мировоззрения.

Классовая борьба, напряженная забота пролетариата о социализме, освещающая, ведущая сила партии — все это не находило во мне тех художественных впечатлений, которые эти явления заслуживают. Кроме того, я не понимал, что начавшийся социализм требовал от меня не только изображения, но и некоторого идеологического опережения действительности — специфической особенности пролетарской литературы, делающей ее помощницей партии.

Я не мог бы написать этого второго письма, если бы не чувствовал в себе силу начать все сначала и если бы не имел энергии изменить в пролетарскую сторону свое творчество — самым решительным образом. Главной же моей заботой является теперь не продолжение литературной работы ради ее собственной «прелести», а создание таких произведений, которые бы с избытком перекрыли тот вред, который был принесен автором в прошлом.

Разумеется, настоящее письмо не есть искупление моих заблуждений, а лишь гарантия их искупить и разъяснение читателю, как нужно относиться к прошлым моим сочинениям.

Кроме того, каждому критику, который будет заниматься произведениями Платонова, рекомендуется иметь в виду это письмо.

14 июня 1931 г. Андрей Платонов».

Трагическое положение, в котором оказался в это время

---

* Фразу в скобках печатать не следует.

(Перхин В. В. Два письма Андрея Платонова // «Русская литература». 1990. № 1. С. 230—231).

А. Платонов, ярко раскрывает его письмо М. Горькому от 24 июля 1931 года: «Глубокоуважаемый Алексей Максимович!

Вы знаете, что моя повесть «Впрок», напечатанная в № 3 «Красная новь», получила в «Правде», «Известиях» и в ряде журналов крайне суровую оценку.

Это письмо я Вам пишу не для того, чтобы жаловаться, — мне жаловаться не на что. Я хочу Вам лишь сказать, как человеку, мнение которого мне дорого, как писателю, который дает решающую, конечную оценку всем литературным событиям в нашей стране, — я хочу сказать Вам, что я не классовый враг, и сколько бы я ни выстрадал, в результате своих ошибок, вроде «Впрока», я классовым врагом стать не могу и довести меня до этого состояния нельзя, потому что рабочий класс — это моя родина, и мое будущее связано с пролетариатом. Я говорю это не ради самозащиты, не ради маскировки — дело действительно обстоит так. Это правда еще и потому, что быть отвергнутым своим классом и быть внутренне все же с ним — это гораздо более мучительно, чем сознать себя чуждым всему, опустить голову и отойти в сторону.

Мне сейчас никто не верит — я сам заслужил такое недоверие. Но я очень хотел бы, чтобы Вы мне поверили: поверили лишь в единственное положение: я не классовый враг.

«Впрок» я писал более года назад — в течение 10—12 дней. Отсюда его отрицательные качества технического порядка. Идеологическая же вредность, самое существо дела, произошла не по субъективным причинам. Но этим я не снимаю с себя ответственности и сам теперь признаю, после опубликования критических статей, что моя повесть принесла вред. Мои же намерения остались ни при чем: хорошие намерения, как известно, иногда лежат в основании самых гадких вещей. Ответственности за «Впрок», повторяю, я с себя не снимаю, — это значит, что я должен всею своей будущей литературной работой уничтожить, перекрыть весь вред, который я принес, написав «Впрок».

Лично для Вас, Алексей Максимович, я должен сообщить следующее. Много раз в печати упоминали, что я настолько хитрый, что сумел обмануть несколько простых, доверчивых людей. Вам я должен сообщить: эти «несколько» равны минимум двенадцати человекам: причем большинство из них старше меня возрастом, старше опытом, некоторые уже сами видные литераторы (во много раз сделавшие больше, чем я). Рукопись проходила в течение 8—10 месяцев сложный путь, подвергалась несколько раз коренной переделке, переработкам и т. д. Все это совершалось по указаниям редакторов. Иные редакторы давали такую высокую оценку моей работы, что я сам удивлялся, ибо знал, что по художественным качествам этот «Впрок» произведение второстепенное. Теперь я понимаю, что такие редакторы были неквалифицированные люди. Но тогда мне было понять это трудней. Член одной редколлегии сказал мне следующее: «Ты написал классическую вещь, она будет жить долгие годы» и т. д.

Я редко видел радость, особенно в своей литературной работе, естественно, я обрадовался, тем более что другие редакторы тоже высоко оценили мою работу (не в таких, конечно, глупых словах, как упомянутый член редколлегии). Однако я умом понимал: что-то уж слишком! Жалею теперь, что я поверил тогда

и поддался удовольствию успеха. Нужно было больше думать самому.

Теперь же вышло, что я двенадцать человек обманул — одного за другим. Я их не обманывал, Алексей Максимович, но вещь все же вышла действительно «обманная» и классово враждебная. Я не хочу сказать, что 12 человек отвечают вместе со мной перед пролетарским обществом за вред «Впрока». И чем они могут ответить? Ведь никакой редактор не станет писать таких произведений, которые поднялись бы идеологически и художественно на такой уровень, чтобы «Впрок» бесследно бы исчез.

Я автор «Впрока», и я один отвечаю за свое сочинение и уничтожу его будущей работой, если мне будет дана к тому возможность. У редакторов же было не одно мое дело, и они могли ошибиться, но только я их не обманывал. Некоторых из них я не перестал уважать и теперь.

Если же допустить хитрый сознательный обман с моей стороны, то напрашивается юмористическая мысль: не сделать ли того, кто сумел последовательно обмануть 12 опытных людей, самого редактором, ибо уж его-то но обманет никто!..

Я хотел бы, чтобы Вы поверили мне. Жить с клеймом классового врага невозможно — не только морально невозможно, но и практически нельзя. Хотя жить лишь «практически», сохраняя собственное туловище, в наше время вредно и не нужно.

Если Вас интересует что-нибудь в связи с моим делом, если я здесь сказал не то, что нужно, то я Вам напишу дополнительно.

Глубоко уважающий Вас

Андрей Платонов».

24/VII.1931.

(«Вопросы литературы». 1988. № 9. С. 177—178.)

Государственное издательство художественной литературы расторгло с А. Платоновым договоры на рукописи «Впрок», «Сокровенный человек» и «Дирижабль» (ЦГАЛИ, Ф. 2124. Оп. I. Ед. хр. 15. Л. 8). Платоновское слово было «заперто», он не печатался до 1934 года. 23 сентября 1933 года А. Платонов писал М. Горькому: «Прошу Вас как председателя оргкомитета писателей Советского Союза помочь мне, чтобы я мог заниматься литературой. Меня не печатают 2,5 года. Все это время я, однако, усиленно писал. Но мои рукописи отклонялись и отклоняются — отчасти потому, что я действительно не вышел еще из омраченного состояния, отчасти — автоматически. При этом никто никогда со мной не говорит теперь — в чем именно порочность моих сочинений, так что я работаю, как в запертом сундуке. Вся причина этого положения: опубликование «Впрока» 2,5 года тому назад. Я прошу Вас, если Вы не считаете нужным поставить на мне крест, оказать мне содействие... Мне это нужно не для «славы», а для возможности дальнейшего существования. Существование же мне нужно для того, что я еще буду полезным в советской литературе...» («Вопросы литературы». 1988. № 9. С. 181—182).

К новым поколениям читателей «Бедняцкая хроника» А. Платонова пришла через 56 лет: «Дон». 1987. № 12. С 72—112. Печатается по тексту первой журнальной публикации.

Пастернак Б. *ОХРАННАЯ ГРАМОТА.* Журнальные публикации: «Звезда». 1929. № 8. С. 148—166; «Красная новь». 1931. Кн. 4. С. 3—23. Кн. 5—6. С. 32—46. Первое книжное издание: Пастернак Б. Охранная грамота. Л. 1931.

Первое печатное свидетельство о замысле «Охранной грамоты» относится к февралю 1928 года: «В феврале 1926 года я узнал, что величайший немецкий поэт и мой любимейший учитель Райнер Мариа Рильке знает о моем существовании, и это дало мне повод написать ему, чем я ему обязан. В то же приблизительно дни мне попалась в руки «Поэма конца» Марины Цветаевой, лирическое произведение редкой глубины и силы, замечательнейшее со времен «Человека» Маяковского и есенинского «Пугачева». Оба эти факта обладали такой сосредоточенной силой, что без них я не довел бы работы над «Девятьсот пятым годом» до конца. Я обещал себе по окончании «Лейтенанта Шмидта» свидание с немецким поэтом, и это подстегивало и все время поддерживало меня. Однако мечте не суждено было сбыться — он скончался в декабре того же года, когда мне оставалось написать последнюю часть поэмы, и весьма вероятно, что на настроении ее последних страниц отразилась именно эта кончина. Тогда ближайшей моей заботой стало рассказать об этом удивительном лирике и об особом мире, который, как у всякого настоящего поэта, составляет его произведения. Между тем под руками, в последовательности исполнения, задуманная статья превратилась у меня в автобиографические отрывки о том, как складывались мои представления об искусстве и в чем они коренятся. Этой работе, которую я посвящаю его памяти, я не придумал еще заглавие. Я ее еще не кончил. Размером в лист или полтора она явится в одном из весенних номеров «Звезды» («Читатель и писатель». 1928. № 4—5. 11 февраля. С. 4).

Журнальная публикация первой части «Охранной грамоты» открывалась таким предуведомлением «от авторов»: «Продолжение «Охранной грамоты» появится в одном из зимних номеров «Звезда». Все сделанные в отрывке оценки являются воспоминаниями: их жар надо отнести к тем далеким годам, когда они составлялись и впервые произносились. Как именно остывали эти убеждения и какими заменились, будет сказано дальше» («Звезда». 1928. № 8. С. 148).

После окончания «Охранной грамоты» Б. Пастернак начал писать «Послесловие» в форме «письма» к Р.-М. Рильке: «Если бы Вы были живы, я бы написал Вам сегодня такое письмо. Сейчас я закончил «Охранную грамоту», посвященную Вашей памяти, а вчера вечером меня просили из Вокса зайти по делу, лично касающемуся Вас. Из Германии для посмертного собранья Ваших писем затребовали записку, в которой Вы обняли и благословили меня. Я на нее тогда не ответил. Я верил в близкую с Вами встречу. Но вместо меня за границу поехали жена, сын.

Оставить такой дар, как Ваши строки, без ответа было нелегко. Но я боялся, как бы, удовольствовавшись перепиской с Вами, я не поселился навеки на полдороге к Вам. А мне надо было Вас видеть. Когда же я ставил себя на Ваше место (по-

тому что моя безответность могла удивить Вас), я успокаивался, вспоминая, что в переписке с Вами Цветаева, потому что, хотя я не могу заменить Цветаевой, Цветаева заменяет меня...

Итак, я жил и принадлежал тогда семье — как я помню тот день...

В это время позвонили с улицы, я отпер, подали заграничное письмо. Оно было от отца, я углубился в его чтенье. Утром этого дня я прочел в первый раз «Поэму Конца». Мне случайно передали ее в одном из ручных московских списков, не подозревая, как много значит для меня автор и сколько вестей пришло и ушло от нас друг другу и находится в дороге. Но поэмы, как позднее полученного «Крысолова», я до того дня еще не знал. Итак, прочитав ее утром, я был еще как в тумане от ее захватывающей драматической силы. Теперь с волнением читал отцово сообщенье о Вашем пятидесятилетии и о радости, с какой Вы приняли его поздравленье, и ответили, я вдруг наткнулся на темную для меня тогда еще приписку, что я каким-то образом известен Вам. Я отодвинулся от стола и встал. Это было вторым потрясеньем дня. Я отошел к окну и заплакал.

Я не больше удивился бы, если бы мне сказали, что меня читают на небе. Я не только не представлял себе такой возможности за двадцать с лишним лет моего Вам поклоненья, но она наперед была исключена и теперь нарушала мои представленья о моей жизни и ее ходе. Дуга, концы которой расходились с каждым годом все больше и никогда не должны были сойтись, вдруг сомкнулась на моих глазах в одно мгновенье ока. И когда! В самый неподходящий час самого неподходящего дня!

На дворе собирались нетемные говорливые сумерки конца февраля. В первый раз в жизни мне пришло в голову, что Вы — человек и я мог бы написать Вам, какую нечеловечески огромную роль Вы сыграли в моем существованьи. До этого такая мысль ни разу не являлась мне. Теперь она вдруг уместилась в моем сознаньи. Я вскоре написал Вам.

Я боялся бы теперь взглянуть на то письмо. Я его не помню. Сказать Вам, кто Вы такой, было самой легкой задачей на свете. Но если я заговорил и о себе, то есть о нашем времени, я едва ли справился с незрелою темой.

Едва ли сумел я как следует рассказать Вам о тех вечно первых днях всех революций, когда Демулены вскакивают на стол и зажигают прохожих тостом за воздух. Я был им свидетель. Действительность, как побочная дочь, выбежав из затвора и законной истории, противопоставила всю себя, с головы до ног незаконную и бесприданную. Я видел лето на земле, как бы не узнававшее себя, естественное и доисторическое, как в откровенье. Я оставил о нем книгу. В ней я выразил все, что можно узнать о революции самого небывалого и неуловимого» (Пастернак Б. Воздушные пути. Проза разных лет. М. 1982. С. 479—481).

Послесловие осталось «недописанным», потому что, как объяснял Б. Пастернак, «упраздняется целиком и для печати не предназначается» (с. 479).

Завершалось печатание «Охранной грамоты» в журнале «Красная новь» следующей заметкой «от редакции»: «Печатая повесть Б. Пастернака «Охранная грамота», редакция оговаривает свое несогласие с содержащимися в повести отдельными

философскими характеристиками и оценками явлений искусства, носящими идеалистический характер. Развернутую критику этой повести редакция даст в ближайших номерах» («Красная новь». 1931. Кн. 5—6. С. 46).

Первая развернутая характеристика «Охранной грамоты» была приведена в декабре 1931 года в библиографическом бюллетене «Книга строителям социализма»: «Охранная грамота» — проза поэта. В этом произведении несомненны элементы лирической повести, мемуаров, дневника, но в нем есть также ряд философско-эстетических отступлений, искусствоведческих формулировок, характеристик отдельных художников, поэтов. При всей внешней разобщенности отдельных кусков повести она представляет собою и единство в том смысле, что вся она пронизана отчетливым и единым в своей философской сущности мировоззрением.

Пастернак — один из крупнейших поэтов современности. Его поэтическая система представляет собой выражение сознания слоев буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции, внешне принявших пролетарскую революцию, но сохранивших до конца нетронутым свое индивидуалистическое, субъективистское мировоззрение. Вырастающий на этой основе импрессионистический художественный метод Пастернака есть, по существу, метод субъективного идеализма. Мир действительности преломлен в сознании поэта в хаос случайно сцепленных между собой, глубоко субъективных переживаний. Действительность для Пастернака — иллюзорна. На ее месте встает сложный комплекс интуитивных «прозрений».

Художественная система Пастернака, образно реализованная в его стихах, нашла себе почти тождественное выражение и в рецензируемой книге прозы.

«Охранная грамота» начинается с воспоминаний детства. Образы немецкого поэта-символиста Рильке и композитора Скрябина, в общении с которыми протекает детство Пастернака, занимают здесь центральное место. «Для меня жизнь открылась там, где он (читатель. — *Ред.*) склонен подводить итоги» — так своеобразно формулирует Пастернак утверждаемый им поднятый «над реальностью» «индивидуализм». «Область подсознательного учения не поддается обмеру» — из этого чисто идеалистического представления в сознании художника вырастает далее и определение музыки Скрябина как явление искусства: «Возводилось невымышленное лирическое жилище, материально равное всей, ему на кирпичи перемолотой вселенной». Таким образом, искусство Пастернака трактуется как некая идеальная сверхреальность, преодолевающая «материальную вселенную».

Это — кантианский идеализм.

Интересна последовательность художественных и идеологических симпатий, возникающих у Пастернака: здесь мы находим А. Белого, А. Блока — поэтов с явно идеалистическим творческим методом, философа-идеалиста Платона и, наконец, главу марбургской философской школы — неокантианца Когена.

Последующие главы повести посвящены пребыванию автора в Марбурге, общению с Когеном, восхищающим Пастернака борьбой против метафизики с позиций скептицизма. Здесь же даются развернутые определения искусства. «Искусство, — говорит Пастернак, — интересуется жизнью при прохождении сквозь нее луча силового» (под «силой» Пастернак разумеет «чувство»).

И дальше: «направленное на действительность, смещаемую чувством, искусство есть запись этого смещения».

В полном соответствии с идеалистическим, неокантианским существом этих определений искусства Пастернак строит и образную ткань своего лирического повествования, отличающегося крайним субъективизмом определений реальности: «Была ночь, из тех, что с трудом добираются до ближайшего забора и, выбившись из сил, в угаре усталости свешиваются над землей». Точно так же и любовно-лирические переживания трактуются Пастернаком с точки зрения внутреннего, имманентного, в себе самом замкнутого психологического движения, начисто отрешенного от всего реального, земного.

Последние главы повести посвящены Маяковскому. Образ поэта рисуется Пастернаком как образ человека огромной внутренней силы и мощи. В соответствии с этим истолковывается и творчество дореволюционного Маяковского (трагедия «Владимир Маяковский», «Облако в штанах», «Флейта позвоночника»). Акцент сделан на индивидуалистических чертах творчества Маяковского. Именно этими своими сторонами Маяковский оказывается близок Пастернаку. Но Маяковский-революционер становится Пастернаку непонятным, чуждым. Об этом Пастернак откровенно заявляет: «Со времени написания «150 000 000» происходит отчуждение». В потрясающе трагических тонах дана смерть поэта. Однако опять-таки и здесь налицо идеалистическая трактовка Маяковского как гения, «опережающего эпоху». При всем восторженном удивлении перед современной эпохой, истинным (и даже «редчайшим») гражданином которой Пастернак считает Маяковского, эта эпоха остается для Пастернака некоей terra incognita.

В повести закреплены правые колебания крупного писателя-попутчика, не сумевшего еще преодолеть своих субъективно-идеалистических мировоззренческих и творческих установок, целиком находящегося в плену «легкомысленного аполитизма», непреодоленной буржуазной интеллигентщины» (Книга строителям социализма. 1931. № 34. С. 101—102).

Основные положения этой рецензии были повторены, а отдельные — дополнены, заострены ее автором — Ан. Тарасенковым в статье с броским заглавием «Охранная грамота идеализма», напечатанной в «Литературной газете» (1931. 18 декабря) на странице под «шапкой»: «Искусство социализма и буржуазное реставраторство».

«Охранная грамота» — философское произведение. Именно поэтому она приобретает характер развернутого программного документа, характер творческой декларации.

«Охранная грамота» есть, по существу, художественная платформа, выражающая настроения части попутничества, наиболее остро и болезненно реагирующей на необходимость идейно-творческой перестройки, но реагирующей в отрицательном для нас смысле» (с. 2), — писал Ан. Тарасенков в полном соответствии с господствующей вульгарно-социологической философией.

Этим же духом была проникнута большая статья Р. Миллер-Будницкой «О философии искусства Б. Пастернака и Р.-М. Рильке» («Звезда». 1932. № 5. С. 160—168), в которой «Охранная грамота» и тесно примыкающий к ней цикл стихотворений 1928—1931 годов («Другу», «Смерть поэта», «Волны» и др.) рассматривались как «развернутый программный документ, своеобразная

творческая декларация, обрисовывающая с полной четкостью философско-методологические позиции Пастернака» (с. 168).

Отметив в самом начале, что «центром тяжести «Охранной грамоты», ее философским ядром является вопрос о взаимоотношении искусства и действительности, художника и эпохи» (с. 160), Р. Миллер-Будницкая настойчиво и прямолинейно пыталась показать «органическое философское единство миропонимания» немецкого поэта-символиста Р.-М. Рильке и Б. Пастернака, его субъективно-идеалистическое мировоззрение, «своеобразно преломленный кантианский агностицизм», «идеалистическое понимание Пастернаком искусства как культа и вытекающее отсюда утверждение жреческой, магической природы художника, гения» (с. 164). Однако и исходным, и конечным пунктом критической заботы было все то же нахождение политического, классового смысла художественного творчества: «Так Пастернак вместе с Рильке кладет бессознательное в основу своей творческой работы... Политический смысл этой проповеди бессознательного совершенно ясен — это теория обреченности искусства в эпоху диктатуры пролетариата» (с. 161); «в свете высказываний Пастернака в «Охранной грамоте» об искусстве как о стихийной, мятежной силе, противящейся всякой попытке подчинить ее целям классовой борьбы, противостоящей разуму, организованности» (с. 166), «...смысл классовой борьбы, борьбы за социалистическое переустройство мира остается непонятым Пастернаком» (с. 167).

«Ошибочность, ложность философских посылок Пастернака», по мысли Р. Миллер-Будницкой, «неизбежно приводит его к искажению объективной исторической истины» (с. 165), что наиболее отчетливо проявляется в последней части «Охранной грамоты», где судьбу гения, смерть Маяковского Б. Пастернак истолковывает в «мистическо-романтическом плане» — «не как пораженье, а как высшую победу поэта, победу воинствующего романтического мировоззрения, искупления прежней измены его своему творческому назначению» (с. 164).

Как считал наш «двойной» специалист, в полном соответствии с философской позицией Пастернака («крайний субъективизм») находятся и его поэтика, творческий метод, «импрессионистическое изображение мира»: «В Охранной грамоте» Пастернак подробно развивает основы своей поэтики, особенно останавливаясь на принципе многозначности образа, образа-символа, образа-иероглифа» (с. 163).

«Разрыв Пастернака с неокантианством и философией символизма (Рильке) — необходимое условие его творческой перестройки» (с. 168) — таков был окончательный «вердикт» Р. Миллер-Будницкой.

Используя насаждаемую «товарищескую» критику, власти запретили печатание «Охранной грамоты» в составе прозаического сборника Б. Пастернака «Воздушные пути» (М. ГИХЛ, 1933). 3 марта 1933 года Б. Пастернак писал М. Горькому: «Внушили издательству, чтобы предложило само оно мне отказаться от «Охранной грамоты», входящей в сборник, под тем предлогом, что «Охр<анная> гр<амота>» неодобрительно была принята писательской средой, и будет не по-товарищески с моей стороны пренебрегать этим неодобреньем. Но тут ничего, очевидно, не поделать: руководство ГИХЛа само истощило все возможности в склоненьи влиятельных виновников запрещенья в

мою пользу и ничего не добилось, а я и подавно» (Переписка Бориса Пастернака. М. «Художественная литература». 1990. С. 449), М. Горький сообщал П. П. Крючкову 18 марта 1933 года: «Пастернак жалуется, что Главлит забраковал его «Охранную грамоту» — вещь бесспорно литературную»... Ну, черт! Когда же у нас литературой будут ведать толковые люди» (с. 451).

Внутренней полемичностью по отношению к идеологическим оценкам «Охранной грамоты» начала 30-х годов отличалась статья И. Гутнера «Проза поэта» («Литературный современник», 1936. № 1. С. 118—131), в которой сразу же было сказано: «Игроком в слова»... Борис Пастернак никогда не был. Ни в «Детстве Люверс», ни в «Охранной грамоте» чрезвычайно затрудненный стиль Пастернака не ведет никаких подкопов под тему, не разрушает ее реальности... Пастернак всегда предельно серьезен, все метафорическое в его повестях подчинено целям непосредственно-эмоциональной выразительности, всячески третируемой иными новаторами» (с. 118).

«Мы не можем здесь подробно останавливаться на «Охранной грамоте», художественной автобиографии, развивающей общефилософские взгляды Пастернака и уже по задачам своим отличающейся от остальной прозы поэта. «Охранная грамота» — произведение «смешанного жанра»: повествование о людях, с которыми довелось встретиться поэту, перемежается с теоретическими «параграфами» — философские отступления эти, в свою очередь, сменяются рассказом о чисто лирических переживаниях и т. д. И, однако, при всей «гибридности» «Охранной грамоты», возникшей в результате скрещения различных жанров, она сохраняет многие типичные для прозы Пастернака черты», — пытался наметить возможность эстетического подхода к «прозе поэта» автор «Литературного современника», — «Охранная грамота» — конечно, документ идеологический, но разговор в ней, как и в остальных вещах Пастернака, идет не столько об идеологии, сколько о вещах, с идеологией ничего общего не имеющих. В идеологических «параграфах» Б. Пастернак с большой теплотой говорит о людях, с которыми ему пришлось встретиться на своем творческом пути: о Скрябине, Когене, В. Маяковском и т. д. Это повествование о больших творческих характерах сближает «Охранную грамоту» с художественными автобиографиями обычного типа. Но есть в «Охранной грамоте» описания, которых в обычных мемуарах найти нельзя. Не с меньшей теплотой, чем о людях, Пастернак повествует и о своих встречах с ландшафтами, об очной ставке поэта с природой. Оказывается, что созревающее творческое сознание формируют не столько даже различные идеологические влияния, сколько случайные встречи с вещами, предельно интимное «ощущение природы» (с. 123).

Вместе с тем критик оказал Б. Пастернаку «медвежью услугу, приписав ему представление об искусстве как о «дезертире» из области надстройки, истории: «...принцип пастернаковской прозы — уравнение в правах людей и вещей, идеологического и элементарно-чувственного — и в «Охранной грамоте» остается в силе. И функция пейзажа в этой автобиографии — та же, что и в других вещах. Люди в «Охранную грамоту» входят лишь постольку, поскольку говорят от лица искусства, единственной из «надстроек», для которой Пастернак всегда делал исключение и широко открывал двери своих повестей. И в «Охранной грамо-

те» это исключение делается лишь потому, что в представлении Пастернака искусство, как в «Люцерне» Л. Толстого, действует заодно с природой, некоторым образом дезертирует из области надстроечного, и в качестве такого дезертира противопоставлено истории и всем верным ей идеологиям» (с. 128). Этот провокационный пассаж имел вполне определенную цель — направить Б. Пастернака на путь служения революционной «истории», государству, уже освященный именем В. Маяковского: «В последние годы Пастернак убедился, что полюс лирики — полюс, вообще говоря, воображаемый, что всем в реальной действительности заправляет история... Не случайно... «Охранная грамота» кончается повестью о человеке, все свое громадное дарование отдавшем на службу революции и пролетарскому государству, — о В. Маяковском.

Новая творческая позиция Пастернака неизбежно должна расширить горизонт его прозы. Б. Пастернак, на съезде так тепло говоривший о «величайших людях» нашей эпохи, несомненно, найдет и новых героев» (с. 131).

Реальное содержание пастернаковской «повести о человеке» приносилось в жертву политиканским интересам, становилось разменной монетой в литературно-критической «игре». Особенно выразительно в этом плане выступление Дж. Алтаузена на четвертом пленуме правления Союза советских писателей СССР, посвященном памяти А. С. Пушкина, которое было опубликовано в «Литературной газете» 26 февраля 1937 гда под заголовком «Не отставать от жизни».

«Позволительно будет в свете пушкинского триумфа, в свете тех задач, которые выдвигает перед нами жизнь, проверить отдельные качества и особенности поэзии Пастернака (с. 5), — такую демагогическую задачу выдвинул «союзный» поэтический «контролер» и легко выполнил ее, сорвав бурные аплодисменты присутствующих советских писателей. Вот сокращенная стенограмма выступления Дж. Алтаузена, документально передающая атмосферу времени — «процессов», «судов» 1936—1938 годов:

«...корни пастернаковского творчества не в нашей действительности, а в предреволюционной, его творчество взошло на почве старой буржуазной рафинированной культуры.

Прочтите его «Охранную грамоту», где он обнаглел до того, что осмелился заявить, что Маяковский только до революции был поэтом, что выстрел Маяковского был закономерен и что этот выстрел напомнил ему, Пастернаку, что Маяковский когда-то был поэтом...

Присовокупьте к этому его строки из стихотворения «Смерть поэта», где он, восторгаясь выстрелом Маяковского, говорит:

Твой выстрел был подобен Этне
В предгорьи трусов и трусих.

И вам станет ясно, для чего Пастернак приземляется в нашей действительности из области чистого духа.

Вспомните его издевательские стихотворения, в которых есть такие строчки:

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,

Оставлена вакансия поэта —
Она опасна, если не пуста.

В этом стихотворении Пастернак развивает тезис о несовместимости социализма и искусства. Я, мол, не против вашего социализма, но как быть с поэзией, с моей творческой индивидуальностью?

...у Пастернака затемнение смысла, зашифровывание мыслей, пресловутая непонятность есть не что иное, как сознательный принцип ухода от действительности.

Ах, этот творческий метод Пастернака! Если подойти к нему с точки зрения пушкинской ясности и простоты, с точки зрения просто психологически здорового человека, с точки зрения здравого смысла, то что останется от этого творческого метода,

...за поэзию, очищенную от всякого формалистического уродства. за поэзию пушкинской ясности и простоты, за поэзию сталинской мудрости, сталинской страстности, сталинской четкости, сталинской ненависти и сталинского накала». (Бурные аплодисменты.) (с. 6).

Теперь ясно, что эта первая репетиция «суда» над Б. Л. Пастернаком 1958 года прошла вполне успешно (см.: стенограмма общемосковского собрания писателей 31 октября 1958 года // «Горизонт». 1988. № 9. С. 37—67).

В автобиографическом очерке 1956 года «Люди и положения» Б. Л. Пастернак так характеризовал и оценивал «Охранную грамоту»: «В «Охранной грамоте», опыте автобиографии, написанной в двадцатых годах, я разобрал обстоятельства жизни, меня сложившие. К сожалению, книга испорчена ненужною манерностью, общим грехом тех лет... Я не люблю своего стиля до 1940 года, отрицаю половину Маяковского, не все мне правится у Есенина. Мне чужд общий тогдашний распад форм, оскудение мысли, засоренный и неровный слог» (Пастернак Б. Воздушные пути. Проза разных лет. Л. 1982. С. 413, 448).

Печатается по первому отдельному изданию 1931 года.

Добычин Л. ГОРОД ЭН. Единственное издание 30-х годов: Добычин Л. Город Эн. М. «Советский писатель». 1935: обложку (гравюру на дереве) сделал художник Визин. Ответственный редактор К. Зелинский. Сдана в набор 13 июля 1935 г. Подписана к печати 20 октября 1935 г. Тираж 7200 экз. Цена 1 р. 75 коп.

Первая уничтожающая рецензия появилась в «Литературной газете» 20 января 1936 года. Автор ее, Ю. Островский, отказал книге Л. Добычина во всем — органичности, современности, значимости, литературной оригинальности: «Есть книги, которые рождаются и существуют органически. Они не могут не быть написаны... И есть книги, в которых никакая увеличительная лупа не откроет и малейших следов присутствия этой необходимости, придающей ценность и значение написанному слову. Именно к последней категории принадлежит книга Добычина.

Довольно трудно дать представление о содержании этой книги. И не потому, чтобы оно было сложным, а потому, что оно в высшей степени мелочно и незначительно» (с. 4).

Опираясь на уже сложившийся «обычай» героизации действительности, «великих людей», рецензент никак не мог понять ни «мелкого» добычинского героя, ни добычинской позиции, ни

добычинского топа: «В центре книги — «детство и отрочество» мальчика из мещанской семьи... Среда, в которой протекает его жизнь — русская провинция конца прошлого и начала нынешнего столетия...

«Герой» книги — ничем не примечательный, сентиментальный, фальшивый и ограниченный мальчик — сохраняет эти качества и в юношестве.

В юности героями обычно выбирают великих людей. Наш милый юноша выбирает себе в качестве образца человеческого совершенства — кого бы вы думали? — Манилова и Чичикова.

Зачем же понадобился автору такой герой? Рассказывая откровенно и чрезвычайно подробно об этом довольно пакостном юноше, он, может быть, хотел его высмеять, заклеймить, как тип ничтожный и отвратительный? Отнюдь нет! Если бы Добычин стремился написать сатиру на своего героя, тогда и тон, и расположение красок, и выбор деталей, и язык — все должно было быть другим».

В апологетическом духе нормативной критики и эстетики 30-х годов рассматривал Ю. Островский и добычинскую форму изображения действительности: «В том-то и дело, что ничтожный мирок, в котором живет его герой, Добычин восстанавливает с любовной внимательностью, во всех ее мелочах, шаг за шагом, черта за чертой.

Все эти бесконечные обывательские визиты, ухаживания, свадьбы, страхи, опасения смерти он описывает столь подробно, с таким вкусом и пылом, что иной раз кажется, что он пишет апологию этого мира. Если порой его интонация и бывает ироничной, то она никогда не бывает гневной и беспощадной».

Приписав Л. Добычину взгляд на действительность «глазами идиотического барича» и сомнения в культурности советского читателя, критик не увидел ни существа добычинской «заботы о стиле», ни самого смысла книги: «Книга Добычина насквозь ретроспективна и литературна. Автор стремится к тому, чтобы достигнуть эффектов чисто внешних, по и в стиле его сохраняется тот неприятный тон, которым пропитана вся книга. Добычин настолько поглощен заботой о стиле, что вы перестаете следить за существом дела и все время только и видите перед глазами автора, озабоченного тем, чтобы его фраза была «красивой».

Чрезвычайно злоупотребляет Добычин ударениями... Очевидно, Добычин считает, что советский читатель недостаточно культурен, чтобы правильно прочитать его текст.

Книга Добычина плохая, ненужная. И совершенно непонятно, зачем она издана, на кого рассчитана и кому она может понравиться в наше время» (с. 4).

Искренним стремлением объективно представить художественное своеобразие повести Л. Добычина была проникнута рецензия Н. Степанова в ленинградском журнале «Литературный современник» (1936. № 2. С. 215—216).

«В городе Эн» Добычин обращается к предреволюционной эпохе, давая провинциальную хронику девятисотых годов. Книжка Добычина во многом напоминает автобиографию, в ней описаны детские годы главного персонажа повести в небольшом провинциальном городке на западной границе...

Казалось бы, идя по этому пути, по пути разоблачения пошлости предреволюционной буржуазной интеллигенции, трудно дать что-либо новое. Добычину, однако, было что сказать. Его

«герой» — результат предельного измельчания ставших уже «классическими» провинциальных обывателей (с. 215), — проницательно заметил Н. Степанов и точно описал специфику авторской позиции: — Добычин выступает почти как (выделено мною. — *А. В.)* мемуарист, его повествование внешне почти бессюжетно... Автор является как бы наблюдателем, хроникером... Читая Добычина, как бы перелистываешь семейный альбом, передающий быт той эпохи с точностью, которая кажется даже несколько утрированной... Добычин ничего не комментирует и не поясняет» (с. 215).

Многое верно сказал критик и о теме, и о герое, и о тоне повести, проникая иногда как бы в «подтекст» книги Л. Добычина: «наряду с приглушенной иронией через всю книгу Добычина проходит и затаенная где-то в глубине ее лирическая нота.

Исковерканное детство, одиночество героя среди мучительного однообразия и тусклости окружающей среды — подспудная лирическая тема, которая противопоставляется изображению торжествующей пошлости и обывательщины.

Не случайно в конце книги оказывается, что герой был близорук и, получив очки, впервые увидел, что «звезд очень много и что у них есть лучи». Ему кажется, что все, что он видел до этого, — он «видел неправильно». Это глубоко пессимистическая нота говорит о том трагизме личной ущемленности, которая определяет поведение и психологию основного героя повести, через восприятие которого показана окружающая действительность» (с. 215—216). Однако далее Н. Степанов не вышел за пределы допустимого и оборотил художественные достоинства повести Л. Добычина в ее недостатки: «Близорукость героя возводится в творческий прием... она мешает автору показать действительное соотношение предметов, найти подлинную историческую перспективу... Иронический скептицизм Добычина индивидуалистичен, его ирония съедает без остатка изображаемое им... Книга Добычина принадлежит к числу книг экспериментальных, рассчитанных на узкий круг любителей. Однако в «экспериментальности» Добычина слишком много от формалистических ухищрений и объективизма» (с. 216).

9 марта 1936 года Л. Добычин писал М. Л. Слонимскому в Минск, где заседал пленум правления Союза писателей СССР: «Дорогой Михаил Леонидович! Вчера вечером Коля Степанов сообщил мне по телефону, что ему только что позвонил Лозинский и объявил, что вычеркивает из сделанной Колей Степановым рецензии (для «Литер. Соврем.») на «Город Эн» все похвальные места, так как имеется постановление бюро секции критиков эту книжку только ругать. Рецензия, по словам Коли Степанова, была составлена очень осторожно, и похвалы были очень умеренные и косвенные, так как К. С. приблизительно предвидел, где будут зимовать раки.

Я бы относился ко всему этому с коленопреклонениями и прочим, если бы знал, что это делается с какой-то точки зрения или какой высоты, но вся тут высота-то — высота какого-нибудь (...) и точка зрения — его левая нога.

Очень прошу Вас поговорить с московскими людьми, которых Вы увидите, и выяснить, действительно ли следует в этом отношении осенить себя крестным знамением, как выразился в 1861 году митрополит Филарет, и призвать благословение божие на свой свободный труд, залог своего личного благосостояния и

блага общественного, — или возможны какие-нибудь варианты.
Кланяюсь.

Ваш Л. Добычин», («Звезда», 1989, № 9. С. 179).

В марте 1936 года Л. И. Добычин попал под убийственный (как оказалось, для него) «каток» кампании борьбы против формализма и натурализма, которая прошла под видом «творческой дискуссии в связи со статьями «Правды». (См.: Сумбур вместо музыки // «Правда». 1936. 28 января. С. 1; Балетная фальшь // «Правда». 1936. 6 февраля. С. 1.)

На общем собрании писателей в Ленинграде Е. Добин в докладе «Формализм и натурализм — враги советской литературы» заявил: «Когда речь идет о концентратах формалистических явлений в литературе, в качестве примера следует привести «Город Эн» Добычина. Добычин всецело идет по стопам Джойса» («Литературный Ленинград». 1936. 27 марта. № 15. С. 1). Докладчик приписал Л. Добычину классово чуждое происхождение, а его произведению — идейно враждебный дух: «В нашей литературе существует ряд произведений, тему которых можно условно назвать «прощание с прошлым». Советские художники, вышедшие из рядов буржуазии либо мелкой буржуазии, прощаются со своим прошлым с проклятиями, с презрением, с ненавистью, с чувством злобы и т. д. И вот кое-кому казалось почему-то, что «Город Эн» входит в эту серию «прощальных вещей». Ничего подобного. «Город Эн» в отличие от этих произведений — любование прошлым. Причем каким прошлым? Это — прошлое выходца самых реакционных кругов русской буржуазии — верноподданных, черносотенных, религиозных.

Любование прошлым и горечь от того, что оно потеряно, — квинтэссенция этого произведения, которое можно смело назвать произведением, идейно глубоко враждебным нам».

Обозвав «Город Эн» Добычина «монстром», «одиночным явлением в нашем искусстве», Е. Добин доносительно указал на «родимые пятна формализма» в целом ряде других произведений, например, в книге Лаврухина «Невская повесть», которая, несомненно, страдает формалистическим импрессионизмом»: «Это разложение действительности на мгновения и зашифровка этих мгновений».

«Местным ленинградским грехом», «писателем показательным» старался представить Л. Добычина на собрании Н. Берковский:

«Беда Добычина в том, что у него это прошлое, вот этот город Двинск 1905 года увиден двинскими глазами, изображен с позиций двинского мировоззрения. Добычин — это такой писатель, который либо проэевал все, что произошло за последние девятнадцать лет в истории нашей страны, либо делает вид, что прозевал...

Конечно, ни в коей мере Добычин не новатор, это стилизатор».

Как зафиксировал «дневник дискуссии», «недоумение собрания вызвало выступление Л. Добычина. Он сказал несколько маловразумительных слов о прискорбии, с которым он слышит утверждения, что его книгу считают идейно враждебной. Вот и все, что мог сказать Добычин в ответ на политическую оценку его книги, в ответ на суровую критику «Города Эн», формалистическая сущность которой была на собрании доказана» (с. 1). И это

тем более поразительно, что здесь же звучала «самокритическая речь А. Толстого», которая «с интересом была выслушана собранием».

Показательна попытка Б. Лавренева отвести от Л. Добычина классово-политические обвинения, сохраняя претензии к «плохим результатам» в книге и предостережения о «ложности» творческого пути писателя: «Книгу эту нельзя, по-моему, назвать книгой классово-враждебной, как она здесь была названа. Это книга выхолощенного равнодушия к социальной теме, это книга очень, может быть, хорошей игры в бирюльки. И, конечно, было бы смешно, когда некоторые товарищи пытались утверждать еще до дискуссии, что это почти Флобер» («Литературный Ленинград». 1936. 8 апреля. № 17. С. 2).

В сознание читателей упорно внедрялась мысль о том, что «Город Эн» Л. Добычина — это «формалистическое пустословие». Так называлась статья Е. Поволоцкой, напечатанная в «Литературном обозрении» (1936. № 5. С. 8—9). Задание Е. Поволоцкой было ясно, и «результаты прегрешений» Л. Добычина услужливо связывались с лозунгом дня — «бороться против формализма и натурализма — боевая задача советской литературы»:

«Красоты» стиля.. изобилие литературных реминисценций, назойливая расстановка ударений — вот основные «достижения» Добычина, и все это у него превращается в самоцель...

Сатирическое разоблачение символического города Эн бесконтрольно передоверено герою, который годен лишь на то, чтобы самому стать объектом сатиры.

Читатель тонет в скучных, пустых мелочах натуралистического бытописания...

Вывод ясен: «Город Эн» — вещь сугубо формалистическая, бездумная и никчемная. Формализм тут законно сочетается с натурализмом» (с. 9).

«Об эпигонстве», «подражательном позерстве» Л. Добычина вещал критик «Октября» С. Герзон: «...пренебрегая конструкцией обычной русской речи, Л. Добычин упорно помещает сказуемое в конце предложения; словно уверенный в малограмотности читателя и необходимости поучать его отечественному языку, автор расставляет, где нужно и где не нужно, ударения и развлекается словесным скоморошеством.

...в добычинской галиматье отдаленно и скверно звучат наименее удачные мотивы «Котика Летаева» Белого.

...книга Добычина — хилое, ненужное детище, весьма далекое от советской почвы» («Октябрь». 1936. Кн. 5. С. 214—215).

Под стать критической риторике шла герзоновская глухота: «Изоляция личности в той форме, как у Добычина, была характерна для той поры российского безвременья; когда буржуазная интеллигенция растерянно ощущала дыхание великих катастроф. Но сейчас — она просто нелепа...» (с. 215).

«Город Эн» Л. Добычина оказался забытым до конца 80-х годов: «Родник». 1988. № 8—11; Добычин Л. Город Эн. Рассказы. М. «Художественная литература». 1989.

Печатается по тексту первого издания.

Чуковская Л. СОФЬЯ ПЕТРОВНА. Повесть. Проникновенный историко-литературный комментарий к повести содержится в «Записках об Анне Ахматовой» Л. Чуковской.

«4 февраля 40.

Сегодня у меня большой день. Я читала Анне Андреевне свои исторические изыскания о Михайлове* (идет примечание Л. Чуковской: *Шифр. Читала «Софью Петровну».

Повесть о М. Михайлове была мною задумана в 37-м году. Толчком для этого замысла послужила заметка Герцена под названием «Убили» — о гибели поэта на каторге. Я начала собирать материал. Но о Михайлове я так и не написала, а написала «Софью Петровну» — повесть о 1937 годе «впрямую». О ней и идет речь»).

Я читала долго и, читая, все время чувствовала стыд за плохость своей прозы. Читать — ей! Зачем я это затеяла? Но податься уже некуда, я читала.

Первую половину, мне кажется, она слушала со скукой.

Я сделала перерыв, мы попили чайку.

Вторую половину она слушала внимательно, не отрываясь, и, как мне казалось, с большим волнением. В одном месте, мне кажется, она даже отерла слезы. Но я не была в этом уверена, я читала, не поднимая глаз.

Все это длилось вечность. Длинная, оказывается, история!

Когда я кончила, она сказала: «Это очень хорошо. Каждое слово — правда!»

В половине третьего ночи я отправилась ее провожать.

Путешествие на этот раз было трудным, словно по кругам ада...

Я доставила ее до дверей комнаты.

— Спасибо, что вы терпеливо все выслушали, — сказала я ей на прощанье.

— Как вам не стыдно! Я плакала, а вы говорите — терпеливо» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Том 1. 1938—1941 // «Нева». 1989. № 6. С. 30—31).

В предисловии («Вместо предисловия») к «Запискам об Анне Ахматовой», написанном в июне—июле 1966 года, Л. Чуковская отмечала: «15 мая 1941 года, то есть за месяц до войны, я вынуждена была покинуть Ленинград вторично. На этот раз потому, что до Петра Иваныча (условное наименование НКВД) дошли слухи о существовании какого-то «документа о тридцать седьмом», как называли неизвестный документ следователи, допрашивавшие Иду (На самом деле это была «Софья Петровна», повесть о 37-м, написанная мною зимой 1939/40 года)» («Нева». 1989. № 6. С. 4).

Через год, в июне 1967 года, вспоминая то время, Л. Чуковская писала: «Прочитав «Софью Петровну» Анне Андреевне, я, приблизительно в то же время, прочитала повесть своим друзьям. Я пригласила к себе восемь человек; девятый явился незваный, почти против моей воли. Нет, он не был предателем и не побежал в Большой дом докладывать. Но он был болтлив. Он рассказал кому-то интересную повесть, а кто-то еще кому-то, и в конце 40-го года повесть, в искаженном виде, «по цепочке» проникла *туда* (выделено в тексте. — *А. В.*); там стало известно, что у меня хранится некий «документ о тридцать седьмом» — как именовал «Софью Петровну» следователь, вызывавший на допросы далеких и близких.

Даже сейчас, через 30 лет после ежовщины, когда я пишу эти строки, власти не терпят упоминания о тридцать седьмом. Боятся памяти. Это сейчас. А что же было тогда? Преступления

еще были свежи, кровь в кабинетах следователей и в подвалах Большого дома еще не просохла; кровь требовала слова, застенок — молчания. Где вы — журавли Ивика?, где ты — говорящий тростник?

Я до сих пор не постигаю, почему, прослышав о моей повести, меня сразу же не арестовали и не убили. А начали предварительное расследование (Анна Андреевна сказала мне однажды: «Вы — как стакан, закатившийся под скамью во время взрыва в посудной лавке)» («Нева». 1989. № 7. С. 138).

В примечании Л. Чуковской к «Запискам об Анне Ахматовой» в 1980 году было указано: «Моя повесть «Софья Петровна» попала в Самиздат через 17 лет, за границу через 25. Напечатана она под правильным названием в Нью-Йорке в 1966 году в «Новом Журнале» (в номерах 83 и 84), а под неправильным — отдельной книжкой — в 1965-м в Париже («Опустелый дом», изд-во «Пять Континентов») («Нева». 1989. № 6. С. 72).

На родине повесть Л. К. Чуковской «Софья Петровна» опубликована в журнале «Нева» (1988. № 2. С. 51—93).

СОДЕРЖАНИЕ

Трудные повести: 30-е годы / Сост. и предисл.
Т 78 А. И. Ванюкова. — М.: Мол. гвардия, 1992. —
588[4] с., ил.

ISBN 5-235-01793-5

В сборник входят русские советские повести трудной издательской, критической, читательской судьбы. Это произведения 30-х годов Ю. Тынянова, А. Платонова, Б. Пастернака, Л. Добычина, Л. Чуковской. Это вторая книга. Первая вышла в 1990 году и вызвала большой читательский интерес.

Т $\frac{4702010201-022}{078(02)-92}$ 056—92

ББК 84Р7

ИБ № 7371

ТРУДНЫЕ ПОВЕСТИ

Заведующий редакцией **В. Перегудов**
Редактор **Л. Барыкина**
Художник **В. Конопкин**
Художественный редактор **П. Илькк**
Технический редактор **Т. Шельдэва**
Корректоры **Т. Пескова, Е. Дмитриева, Т. Контиевская**

Сдано в набор 30.07.91. Подписано в печать 11.01.92. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 31,08. Усл. кр.-отт. 31,5. Учетно-изд л. 33,7. Тираж 100 000 экз. Заказ 1212.

Типография акционерного общества «Молодая гвардия». Адрес АО: 103030, Москва, Сущевская, 21.

ISBN 5-235-01793-5



